РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

первой половины XIX века

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

М. Муравьев
Н. Полевой
Н. Карамзин
А. Марлинский
Ф. Глинка
А. Корнилович
К. Масальский
А. Пушкин
Н. Бестужев
А. Вельтман



РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

первой половины XIX века



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

84 Р1
Р 89

Составление
В. Т. БАШКИРОВОЙ

Вступительная статья
Н. Е. Носова

Комментарии
Н. Е. Носова,
С. Н. Носова

Иллюстрации и оформление
С. М. Харламова

Р $\frac{4702010100-870}{080(02)-86}$ 870 – 86



РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Русская литература по праву принадлежит к одной из наиболее философических и вместе с тем к одной из наиболее исторических литератур мира. Это особенно характерно для «самого литературного», проникнутого подчеркнутым литературоцентризмом XIX столетия в истории России. Историческое прошлое стало тогда для русских писателей поистине неиссякаемым источником тем и мотивов. И дело не только в том, что анналы русской истории богаты значительными и драматическими событиями, которые невольно приковывали внимание русских писателей, а легендарное «призвание варягов», монгольское нашествие, кровавая опричнина Ивана Грозного, великие реформы Петра I, грозные народные восстания Разина и Пугачева в самом размахе и динамике исторических коллизий являли богатейшую сюжетную почву для художественной литературы. В не меньшей степени доминанта исторической литературы в развитии российской словесности XIX века (а, думается, имея в списке классики «Бориса Годунова» А. С. Пушкина и «Войну и мир» Л. Н. Толстого, уже можно говорить о преобладании в русской литературе сознания исторического) определяется и тем, что при всем событийном богатстве русская история была впервые глубоко осмыслена и, можно сказать, даже заново пережита в XIX веке.

Публикуемые в данном сборнике русские исторические повести первой половины XIX века, кроме историко-художественных произведений А. С. Пушкина и Н. М. Карамзина, включают и целый ряд сочинений, мало известных современному читателю. Не все они в художественном отношении совершенны. Различны и исторические взгляды, и политическая ориентация их авторов. Разнообразна стилистика публикуемых повестей. Печать только еще зарождавшейся русской исторической литературы заметна на многих из включенных произведений. Но данные исторические повести весьма интересны и показательны именно тем, что позволяют самому широкому читателю, интересующемуся русской историей и историей русской литературы, наглядно проследить за тем, как же складывалась рус-

ская историческая беллетристика XIX века, каковы были предпосылки ее выдающихся достижений, одно из которых — замечательная повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» — также включена в сборник.

Далеко не случайно, что период зарождения русской исторической повести и самого исторического самосознания в России связывается — и это отражено в подборе авторов и произведений сборника — с первыми десятилетиями XIX века. Век XVIII — век Просвещения, рационализма, веры во всемогущество «разума» — не был веком расцвета исторической мысли. Возвращение к историческим изысканиям, к национальным истокам культуры, проблемам национального сознания ознаменовало наступление нового XIX столетия — это был процесс всеевропейский. Появление на литературном небосклоне Англии Вальтера Скотта, замечательный феномен немецкого романтизма и другие факты и явления литературной жизни западноевропейских стран символизировали повышенный интерес к национальным, народным началам, к историческому познанию. Но особенно ярким, сильным, всеобъемлющим было пробуждение интереса к национальному прошлому в России, и это с наибольшей силой и глубиной отразилось не в специально исторических исследованиях, а в художественной литературе.

Для России XVIII столетие и в отношении социально-политического развития и в области культуры стало эпохой поистине переломной. Петровские реформы, вся многосторонняя деятельность «царя-преобразователя» буквально всколыхнули страну, и пробудившиеся силы молодой российской словесности были захвачены общим потоком — поисками нового, многочисленными и многоразличными заимствованиями у западных литератур, описанием казавшихся грандиозными и действительно имевшими большое историческое значение событий современности. Основное внимание ведущих мастеров тогдашней русской литературы (прежде всего А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова, позднее Г. Р. Державина) привлекали, с одной стороны, текущие исторические реформы и свершения, а с другой — попытка отобразить человеческую личность, внутренний мир которой в русской литературе допетровского времени отражался весьма слабо, неявно, скрыто. Поглощенная новаторством, русская литература XVIII века не часто всерьез оглядывалась на историю. До написания в период с 1804 по 1826 год 12 томов знаменитой «Истории Государства Российского» Карамзина история России в едином и доступном широкому читателю повествовании, которое сумело бы сохранить «цвет и запах» минувших эпох, собрана и рассказана не была. Писатели XVIII века, такие, как, скажем, М. Херасков в «Россиаде» (1776 г.) или Я. Княжнин в «Вадиме Новгородском» (1789 г.), оставались один на один с океаном еще не осмыс-

ленных современниками в подлинном философско-историческом измерении фактов русской истории, былин и легенд о знаменитых ее «действователях» и героях. В результате избираемый путь освещения событий и создания образов был в конечном счете определен подражанием западноевропейским образцам — не бесталанным, но затруднявшим постижение исторической правды.

На долгий и трудный путь создания подлинных — национальных по художественной форме и исторически достоверных по своему содержанию — произведений о национальном прошлом России русская литература вступила фактически только с утверждением в России на рубеже XIX столетия сентиментализма и предромантизма.

У истоков постепенного вытеснения сентиментализмом классицизма в тогдашней российской словесности стоят два имени — М. Н. Муравьева (1757—1807 гг.) и Н. М. Карамзина (1766—1826 гг.). Оба талантливые писатели и яркие мыслители (хотя на имя Н. М. Карамзина и при жизни и посмертно выпало много больше славы), они явились авторами интересных и значительных историко-художественных и научных исторических произведений. М. Н. Муравьев известен в русской литературе более всего как поэт, но он же автор целого ряда исторических работ, посмертно собранных Карамзиным в двухтомном издании сочинений Муравьева «Опыты истории, словесности и нравоучения» (М., 1810). Занимая с 1785 по 1796 год при дворе должность преподавателя русской словесности, русской истории и нравственной философии, Муравьев в ходе подготовки к занятиям с внуками Екатерины II — Александром и Константином глубоко изучил русскую историю, стремясь составить себе о ней цельное знание, которое способно было бы синтетически объединить многочисленные разрозненные факты и свидетельства исторических источников. Своих предшественников в области исторического знания — Татищева, Щербатова, Болтина — Муравьев не без критики называл «собирателями истории нашей» [1], указывая на их всепоглощающий интерес к фактической стороне истории России и неумение воссоздать ее живую картину. Попытка «оживить» историю в характерах и лицах, глубоко укорененная в исканиях мысли Муравьева, и привела его к написанию целого ряда художественных произведений на исторические темы. Художественность позволяла Муравьеву свободно выражать свои представления и идеи, далеко выходя за сухие и узкие рамки научных сочинений, используя фантазию и интуицию, что для него как для мыслителя, не признававшего безраздельного господства разума и логики в истории, представлялось существенным и важным. Историко-художественные сочинения Муравьева неравнозначны по своему историческому значению и неодина-

---

[1] Муравьев Н. М. Сочинения., т. II, с. 110.

ковы в отношении жанра, смысла и авторских задач. Есть у него исторически назидательные вольные переводы произведений европейских писателей, как, например, художественный пересказ исторического романа французского просветителя аббата Бартелеми «Путешествие Анахарсиса» (1788 г.). Целый пласт историко-художественных сочинений Муравьева составляют так называемые «Разговоры мертвых» — философические споры-диалоги, в которых автор сводит исторических деятелей разных стран и эпох: Владимира I и Карла Великого, Карла XII и Святослава I, патриарха Никона и Феофана Прокоповича (и др.). Избранная для данного сборника историческая повесть Муравьева «Оскольд, повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов»[1], представляет собой высокопатриотическое произведение, по форме приближающееся к сказанию и органически соединившее в себе лирическое начало с торжественной исторической героикой. Повесть написана патетическим, красочным языком, призванным передать все очарование легендарного времени, о котором она повествует. «Яростно дыхание ветров, страшен вид твой, русское море, и черные волны со злобою умирают между сими острыми скалами, которыми усеян залив отчаяния»,— так романтически красиво и торжественно начинает ее Муравьев. Историческим основанием для повести послужили легендарные свидетельства о правлении в IX веке в древнем Новгороде варяжского князя Рюрика и о военных походах варяжских дружин на юг. Во времена Муравьева эти свидетельства в основном не подвергались сомнению и в исторических сочинениях. Так, первый русский ученый-историк В. Н. Татищев писал в своей известной «Истории Российской»: «А прежде жители в Новегороде словяне, в Полоцку кривичи, в Ростове меря, в Белозере весь, в Муроме мурома. Над всеми же сими облада Рюрик. Были же у него два мужа знаменитии, Оскольд и Дир. Сии выпросились у него с родом своим ко Царюграду и пошли от Смоленска по Днепру»[2]. Прямо следуя за Татищевым и наполняя живыми художественными красками его рассказ, Муравьев подчеркнуто в «высокой», торжественной тональности писал: «Духу моему более благоприятствует дерзостный подвиг Оскольда. Из дома Севера заманил он с собою сонмы ратников кровожаждущих, убийственных. Как орел низвергся он с высоты небес на добычу, на величест-

[1] Повесть написана в период занятий Муравьева с великими князьями (1785—1796 гг.) с целями в значительной степени педагогическими. Дореволюционный биограф жизни и творчества Муравьева Е. Петухов на этом основании даже полагает, что повесть «Оскольд», равно как и другие повести этого периода, можно считать чисто литературными «лишь при особой точке зрения на них, определяемой педагогическим их назначением» (Журнал Министерства Народного просвещения, 1894, июль — август, Отдел наук, с. 290).

[2] Татищев В. Н. История Российская, т. II, М.-Л., с. 33.

венный град царей, процветавший тысящи лет в непроницаемой ограде, в недрах вечной весны, у подножия которого два моря усмиряют свои ярящиеся волны». Нельзя, конечно, сказать, что повесть Муравьева обладает подлинной исторической характерностью, глубоко проникая в быт и нравы древней эпохи, относящейся к скупо освещенной в письменных источниках предыстории древнерусского государства. Но поэтическое представление об этом времени повесть «Оскольд», безусловно, создает, запоминаясь своей героикой, образностью и стилистическим мастерством повествования.

К повести Муравьева «Оскольд» по своему пафосу и историко-героической тональности близко стоит знаменитая в свое время повесть Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1802 г.), являющаяся одним из последних художественных произведений Карамзина в прозе и предвосхитившая знаменательный поворот в его творческой деятельности — обращение к работе над многотомным трудом «История Государства Российского». Карамзин, являясь блестящим писателем и оригинальным мыслителем, был и одним из сравнительно небольшого числа деятелей российской словесности конца XVIII — первых десятилетий XIX века, которые достигли в своих произведениях органического слияния художественности и мысли, ставшего в середине — второй половине XIX века замечательной чертой русской литературы вообще. Начав свою творческую деятельность в конце 80-х годов XVIII века как писатель-сентименталист и переводчик, Карамзин вскоре добился признания и славы как публицист и политический мыслитель, когда в 1791—1792 гг. в печати появились «Письма русского путешественника», явившиеся итогом путешествия Карамзина по Западной Европе. Оказавшись непосредственным свидетелем развертывания революционных событий во Франции, Карамзин сумел в непринужденной форме путевых впечатлений, пожалуй, впервые в русской литературе XVIII века ярко, достоверно, с подлинностью очевидца и глубиной тонкого наблюдателя рассказать своим русским современникам о тогдашнем политико-экономическом устройстве Европы, ее социальных движениях, гражданских идеалах, искусстве. Успех «Писем», как и само путешествие по Западной Европе, совпавшее с бурным и во многих отношениях переломным временем в ее социально-политической истории, преобразили творческую личность Карамзина, обострив и углубив его интерес к истории, политическим и социальным проблемам. И хотя одновременно на долю Карамзина выпала слава беллетриста (в начале 90-х годов Карамзин пишет и публикует целый ряд повестей, наибольшей известностью из которых пользовалась повесть «Бедная Лиза» — 1791 г.), начало мысли постепенно становится преобладающим в творчестве писателя. Публикация повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» наглядно сим-

волизировало первостепенность историко-политических задач в творчестве зрелого Карамзина. В самой художественной ткани повести (как впоследствии и в «Истории Государства Российского») скрыта глубокая политическая аллегория, заключены широкие исторические обобщения. Повесть воспринимается как своеобразный литературный монумент трагической борьбе Великого Новгорода за свою независимость от московского Великого князя. Эта борьба развернулась, как известно, в XV в. и достигла особого накала во время княжения в Москве Ивана III. Решительное столкновение между Новгородом и Москвой произошло, в частности, в 1470 г., после того как новгородское вече выступило за союз с Литвой. Иван III ответил на этот шаг военным походом против Новгорода. В битве на реке Шелони 14 июля 1471 г. новгородское ополчение было полностью разбито, и отношения жестокого вассалитета Новгорода к Москве восторжествовали. Не остановившись на достигнутом, Иван III предпринимает через шесть лет новый поход на Новгород, на этот раз ликвидируя новгородскую республику полностью. Увезен в Москву был даже символ новгородской «вольности» — вечевой колокол. Таковы исторические факты, которые легли в основу повести.

Надо сразу сказать, что как в самом художественном описании драматического исторического противостояния Новгорода и Москвы, так и в трактовке его социального и политического значения для развития России Карамзин стремится быть реалистичным[1]. В повести заметно, конечно, некоторое уподобление событий и «действователей» русской истории историям греческой и римской. В научной литературе не без некоторых оснований утверждалось, что «новгородские герои у Карамзина... это античные герои, в духе классической поэтики»[2]. Но все же такой вывод — только часть правды. Известная стилизация «под античность» нужна была Карамзину, чтобы рельефнее выявить гражданский смысл описываемых исторических событий — борьбу демократического вечевого начала с самодержавным самовластием. Тема борьбы за гражданские свободы была как бы намеренно трансплантирована Карамзиным на российскую почву. Писатель хотел этим показать всеобщность, универсальный смысл понятий «гражданские права», «личностная независимость», «власть народа», которые в его глазах были не менее значимы в истории России, чем в традиционно «гражданской» истории Древней Греции и Рима. И хотя Карамзин пытается оттенить законность требований «великого князя Иоанна», его симпатии всецело на стороне новгородцев. «Да славится князь московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли русской, которыми она

---

[1] Единственным существенным отступлением Карамзина от исторической истины является изображение писателем сцены отказа новгородцев признать власть польского короля и литовского великого князя Казимира IV, за помощью к которому Новгород на самом деле неоднократно обращался и вассальную зависимость от которого формально признал в 1470 году.

[2] Гуковский Г. А. Карамзин.— История русской литературы, т. V, М.-Л., 1941, с. 79.

еще славится в мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новгородцев!» — за этими патетическими словами повествователя в «Марфе-посаднице» чувствуется голос автора, негодующий, страстный.

В конечном счете повесть «Марфа-посадница» выявила трагизм мировоззрения самого Карамзина, его пессимистическую убежденность, что все лучшее, справедливейшее и благороднейшее в истории обречено на гибель. Считая поражение Новгорода в борьбе с Москвой предопределенным, даже в известном смысле исторически необходимым в целях объединения Руси, Карамзин тем не менее преклонялся перед идеалами «новгородской вольницы», символически олицетворявшей в его изображении утраченную политическую свободу России.

Художественные образы повести — образ самой Марфы-посадницы, предводителя новгородского войска Мирослава, московского посла и воеводы князя Холмского и др.— обрисованы запоминающимися, яркими красками, хотя и не без торжественности и некоторой заданности, столь характерных для уже уходившего в прошлое в эпоху Карамзина классицизма.

Новый импульс историческим произведениям русских писателей придала Отечественная война 1812 года. Подъем патриотических настроений, последовавший за разгромом наполеоновской Франции, оказался благодатной почвой для обращения к героическому историческому прошлому русского народа. Именно тогда, на волне патриотического подъема, охватившего почти все слои русского общества, развернулась литературная деятельность Ф. Н. Глинки (1786—1880) — поэта, писателя и смелого офицера, участвовавшего во всех крупных военных кампаниях русской армии периода наполеоновских войн. Литературную славу Федору Глинке принесли «Письма русского офицера» (1815—1816 гг.), рассказывающие о событиях Отечественной войны 1812 года. Публикуемая в сборнике повесть Глинки впервые появилась в печати в 1817 году как продолжение историко-патриотического повествования, начатого в «Письмах русского офицера». Повесть была помещена в отдельном издании вместе с историко-философическими отрывками и рассуждениями под общим заглавием: «Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования: Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Героическая тональность повести и патриотизм автора, сквозящий в ней от первой и до последней страницы, вполне традиционны, так что в жанровом и стилистическом отношении это произведение нельзя назвать новаторским. Но повесть Глинки примечательна тем, что в ней впервые ярко проявились не только антикрепостнические взгляды автора, но и стремление выявить национальное своеобразие русской истории — в речи ведущих персонажей, в авторских описаниях, в самой идейно-художественной ткани произведения. Впоследствии, однако, увлечение национальными началами русской истории и быта привело Глинку — в молодые годы участника ранних декабристских организаций «Союз

спасения» и «Союз благоденствия» — к сотрудничеству (в конце 1830-х годов) в консервативно-славянофильском «Москвитянине», издававшемся М. П. Погодиным.

Начало 1820-х годов ознаменовалось для русской литературы целым рядом значительных перемен. Романтизм, окончательно завоевавший главенствующие позиции в этот период, в значительной степени вытеснил из исторической повести напыщенную риторику и стилизацию под классические образцы европейской исторической литературы. Стремление создать исторические образы, в которых добродетель переплетается с пороком, а идея патриотического долга вступает в конфликт с идеей личностной свободы, отразило дальнейшее развитие представлений об истории как о процессе трагическом, в котором не всегда возможно отыскать безусловную истину и справедливость. Типическим представителем романтизма в русской исторической повести был Александр Бестужев-Марлинский (1797—1837 гг.) — гвардейский офицер-декабрист и известнейший в свое время писатель, которым в 20—30-е годы была увлечена вся читающая публика в России. Автор многочисленных повестей, стихотворных произведений, критических статей, Александр Бестужев создал и целый ряд произведений на исторические темы. Публикуемая в сборнике историческая повесть «Изменник» (1825 г.) — произведение безусловно яркое, оставившее заметный след в русской литературе. В главном герое — князе Владимире Сицком — со страстностью и силой, предвосхищающей лермонтовские произведения, воплощено начало демонического бунта и мщения миру и людям. Действие повести отнесено автором к так называемому периоду Смутного времени — периоду польской интервенции в России, самозванчества и народных восстаний в начале XVII века (обычно историки ограничивают эту эпоху 1604—1612 годами). Страдания отверженной любви, бремя отчуждения от людей будят в сильной и в своей сущности мужественной натуре Сицкого демонические силы, он восстает против самого дорогого — Родины, уз родства, веры и готов принять любую кару за эту сознательную измену. Сицкий погибает, убив родного брата, пойдя по пути преступлений, который стал итогом трагического решения — предать отечество. В своем историко-философском значении повесть «Изменник» — о столкновении личности и истории, о дерзостном бунте яркой индивидуальности против всего миропорядка. Александр Бестужев и осуждает Сицкого, и нет. Кажется, в самом авторе симпатия и уважение к своему герою борются с осуждением и обличением его. И, может быть, именно в этой нерешенности основной коллизии повести кроется драматическая сила ее воздействия, ее жизненность.

В истории русской литературы и мысли не только Александр Бестужев, но и вся семья Бестужевых — яркое явление. Пожалуй, из всех братьев Бестужевых (а их было трое — Николай, Александр и Михаил) личностью наиболее замечательной и выдающейся был Николай Бестужев. Декабрист и писатель, автор исторических записок о восстании 14 декабря, Николай Бестужев был исключительно интеллектуально одаренным человеком. Известны слова скупого на

похвалы Николая I после допроса Н. Бестужева о том, что этот человек — умнейший среди заговорщиков.

В настоящем сборнике помещено одно из последних художественных произведений Николая Бестужева — повесть «Русский в Париже 1814 года» [1]. В известном смысле эту повесть можно назвать итогом декабристского периода в русской литературе, произведением, в котором современник декабристской эпохи и активный деятель декабристского движения рассматривает первое двадцатипятилетие XIX века уже глазами исторического писателя, пытаясь дать объективную реалистическую оценку бурным событиям этого времени — войне с Наполеоном, проблеме русского национального патриотизма. Одной из основных авторских задач было стремление создать живой исторический образ офицера-декабриста, будущего участника восстания на Сенатской площади. Таков главный герой повести Глинский, вокруг любви которого к молодой француженке графине де Серваль разворачивается действие произведения. По своей исторической достоверности и значению образ Глинского сопоставим с образом Чацкого в «Горе от ума» Грибоедова. Конечно, Глинский изображен Николаем Бестужевым не без известного апологетизма: он исключительно образован и умен, решителен и благороден, в его блестящем облике неразличимы черты того декабристского идеализма и той декабристской политической наивности, которые были не менее ума, благородства и образованности характерны для передового дворянского поколения александровской эпохи. Но — и это особенно важно подчеркнуть — Николай Бестужев все же близок в повести «Русский в Париже 1814 года» к историческому реализму. Он блестяще владеет мастерством передачи диалогов, его психологические характеристики лаконичны и точны, а в авторских отступлениях отсутствует ложноромантическая помпезность.

К декабристской исторической повести, которую можно отличить уже по ее демократическому, вольнолюбивому пафосу, следует отнести и включенную в сборник повесть А. О. Корниловича (1800—1834) «Андрей Безыменский» (написанная во время заточения автора в Петропавловской крепости, повесть была опубликована в 1832 году). Вместе с тем романтическая экспрессивность исторической прозы Александра Бестужева, в значительной степени типичная для декабристского романтизма, Корниловичу не свойственна. Посвященная времени петровских реформ, повесть примечательна стремлением к исторической достоверности в изображении бытовых сцен, которые в ней весьма многочисленны. Колоритно, жизненно изображены охота с гончими боярина Горбунова, пир в господском доме, заседание Сената, петровская ассамблея. Сюжетная основа повести вполне традиционна — романтическая любовь молодого дворянина Андрея Безыменского к дочери соседа-помещика, которая,

---

[1] Точное время написания повести «Русский в Париже 1814 года» неизвестно. В литературоведении принято датировать работу Бестужева над повестью 1831—1840 годами. Впервые опубликована повесть была лишь в 1860 году.

преодолевая превратности судьбы, приводит влюбленных к счастливой свадьбе. Но, несмотря на черты традиционализма, не дающие возможности слишком высоко оценивать художественные достоинства повести «Андрей Безыменский», отразившиеся в ней глубокие исторические познания автора, который был едва ли не единственным в декабристской среде ученым-историком, длительное время работавшим в государственных исторических архивах, позволяют отнести повесть к произведениям, в познавательном отношении весьма ценным.

Последекабристская эпоха в развитии русской исторической повести была лишена той цельности — как в отношении идейном, так и в отношении стилистическом,— которой отличалась историко-художественная литература первого двадцатипятилетия XIX века. До 1825 года, в александровскую эпоху, русскую словесность выделяло единство идейно-художественных задач и тенденций — стремление гуманистически, через призму личностного восприятия воссоздать в образах и лицах прошлое России. Историческая повесть этого периода (включая и произведения более раннего, сентименталистского времени — повести Муравьева и Карамзина) исключительно героична. Политическая реакция второй половины 20-х годов, внешне не нарушив традиции прежнего романтизма, создала род «велеречивой» патриотической литературы, дань которой отдали Н. В. Кукольник, М. Н. Загоскин и более сложная, во многом прогрессивная фигура николаевского безвременья — Н. А. Полевой (1796—1846).

Говоря о литературной деятельности Н. А. Полевого и о его исторических повестях в особенности, необходимо отметить, что, входя неотъемлемой частью в его творческое наследие, они не являются, однако, главным из того, что Полевой создал в русской литературе и русской мысли. Происходя из предприимчивой и относительно образованной купеческой семьи, Полевой наряду с О. И. Сенковским впервые в России создал журналистику буржуазного образца, которая, став практически единственным источником средств существования издателей и авторов популярных журналов — сам Полевой большую часть жизни прожил литературным и издательским заработком,— сумела тем не менее сохранить лучшее качество литературы элитарно-дворянской: оппозиционность самодержавию и стремление к вольной мысли и вольному слову. На историческом поприще полемизируя с морализаторством «Истории Государства Российского» Карамзина, Полевой и в области литературного творчества стремился противопоставить произведениям «светским», угождавшим вкусу дворянского читателя, сентиментально-романтическую повесть и драму, рассчитанные на самый широкий круг читающей публики. При этом его историческая роль определялась как бы совокупностью тех многочисленных «личин» — научно-исторической, писательской, литературно-критической,— которые попеременно принимала его кипучая деятельность. «Он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы»,— заметил о Полевом хорошо знавший его в пору творческого расцвета Герцен[1]. Во многом, очень во многом Полевой был прирож-

[1] Г е р ц е н А. И. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1956, с. 163.

денным популяризатором и полемистом, который даже свои исторические произведения «проецировал» на современность, прославляя могущество России и подчеркивая, что оно зиждется на народной поддержке, а отнюдь не на высоких качествах дворянско-бюрократических верхов.

Публикуемая в сборнике историческая повесть Н. Полевого «Семион, князь Суздальский» касается событий конца XV века. Повесть написана в период, когда Полевой приступил к изданию своей известной «Истории русского народа» (1829—1833), которую писатель задумал как своеобразный ответ Карамзину, имеющий целью «живописать» русскую историю не только как историю «российского государства», но и как историю русского народа. Это была «первая попытка» создать «истинно русскую историю», как назвал труд Н. Полевого А. А. Бестужев.

Повесть посвящена борьбе за присоединение к Москве Суздальско-Нижегородского княжества между сыном Дмитрия Донского, великим московским князем Василием I, и нижегородскими князьями Борисом Константиновичем и его племянником Семионом (Семеном) Дмитриевичем Суздальским. Именем последнего и названа повесть, хотя содержание ее, по существу, касается не столько судьбы этого князя-«неудачника», навлекшего на русские земли немало бед, сколько участия в ней его сторонников и противников из числа нижегородского и московского боярства и купечества.

В центре повествования события 1393 г., когда Василию I удается добиться от золотоордынского хана Тохтамыша передачи ему Нижегородского «княжеского стола». Тщетно пытается кн. Семион вернуть себе «свое наследство». Не помогло ему даже прямое предательство, когда он бежит сперва в Золотую Орду, а потом в ставку Тимура (Тамерлана) и пытается склонить его к походу на русские земли. Все тщетно — его упорство и личная корысть не принесли ему ни власти, ни счастья. Он выступил против объединения русских земель, призывая на помощь себе врагов и поработителей Руси, и был наказан — вот главная мораль повести. «И сей князь Семенъ Димитриевичъ Суздальский,— писал о нем русский летописец XV века, чьи слова воспроизводит Полевой,— въ веке своемъ многи напасти подъятъ, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добиваясь своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четыремя царямъ... и не успе ничтоже, по яко всуе труждаясь».

Идея повести, как мы видим, глубоко патриотична, глубоко национальна. По языку и особенно по бытовой фабуле повесть в известном смысле близка к широко распространенным в XVII—XVIII вв. русским историческим новеллам, весьма популярным в хорошо знакомой Полевому купеческой провинциальной среде. Это, кстати, характерно и для большинства других историко-литературных сочинений писателя, особенно его пьес на исторические темы конца 30—40-х годов XIX века.

30-е годы XIX века, внеся в русскую литературу известную буржуазность, заключавшуюся в немалой степени в стремлении удовлетворить вкусы и потребности в художественном чтении самого ши-

рокого круга читателей, явились и временем рождения в России так называемой занимательной литературы — произведений остросюжетных, доступных для понимания среднего читателя, способных развлечь и увлечь его. Увлекательность — это, пожалуй, главное, к чему стремились авторы беллетристики такого рода (М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников, К. П. Масальский). Одна из исторических повестей К. П. Масальского (1802—1861), повествующая о времени правления императрицы Анны Иоанновны и озаглавленная «Регентство Бирона» (1834 г.), включена в данный сборник. Масальский неплохо знал русскую историю, ему принадлежит, например, небесталанное историческое сочинение «Жизнь, заслуги и деяния князя Александра Даниловича Меньшикова», и та, казалось бы, нарочитая остросюжетность исторических повестей писателя, которая бросается в глаза образованному читателю нашей эпохи, если не полностью, то во многом объяснима далеко не праздным, связанным с научно-историческими изысканиями интересом Масальского к кризисным эпохам в русской истории, ко времени, когда не столетия и десятилетия, а годы, месяцы и даже считанные дни решали судьбу страны, ее политическое будущее. В авторских отступлениях в повести «Регентство Бирона» Масальский достаточно верен историческим фактам, более того — стремится к живому воспроизведению описанной исторической эпохи, к подлинному правдоподобию в изображении столичной жизни XVIII века, хотя и грешит явным преувеличением роли некоего «немецкого заговора» в придворной борьбе за власть после смерти Петра II и победе в этой борьбе Бирона.

В сборнике публикуется также повесть А. Ф. Вельтмана (1800—1870) «Не дом, а игрушечка» (1850 г.). Это глубоко оригинальное произведение может быть отнесено к жанру исторической повести с некоторой долей условности. Рассказывая о событиях двадцатилетней давности, связанных с реальным эпизодом — затеей приятеля А. С. Пушкина П. В. Нащокина построить модель своей квартиры, так называемый «нащокинский домик»,— повесть Вельтмана с редкостным своеобразием передает колорит русской провинциальной жизни, живописно обрисовывая ее традиционные типы.

Говоря о русской исторической повести первой половины XIX века, необходимо подчеркнуть, что с 1830—1840-х годов интерес к истории сливается с увлечениями и исканиями философского характера. В истории ищут разгадку особенностей русского национального характера и самого феномена России — феномена государства, на протяжении многих веков воспринимавшегося как «форпост» между Востоком и Западом. В этой обстановке в начале 1830-х годов к глубокому изучению русской истории обращается А. С. Пушкин. Уже в 1832 году у Пушкина возникает замысел романа о дворянине-пугачевце, работа над которым шла в тесной связи с исследованием истории «пугачевского бунта», имевшим характер строго научный (плодом этих исследований стала, как известно, написанная на основании многочисленных архивных и мемуарных материалов «История Пугачева»). На протяжении последующих лет пушкинский замысел

историко-художественного произведения о событиях крестьянской войны существенно менялся, и лишь в 1836 году Пушкин окончил работу над «Капитанской дочкой» — исторической повестью, ставшей наивысшим достижением русской литературы первой половины XIX века в этом жанре. Помещение этого блестящего и хорошо известного произведения великого писателя в настоящем сборнике помогает представить, в каком историко-литературном окружении жил и работал Пушкин, каковы были стремления и достижения его непосредственных предшественников и современников в русской литературе.

А. С. Пушкин первым из русских писателей «прорвал» молчание о восстании Пугачева, воспоминания о котором были еще столь ярки в его время, что и сам «пугачевский бунт» воспринимался современниками Пушкина отнюдь не только как драматическое событие истории, но и как реальность недавнего прошлого, слишком живая и волнующая, чтобы отнестись к ней бесстрастно.

Сложным, допускающим неоднозначные трактовки, вырисовывается отношение Пушкина к великой крестьянской войне 1773—1775 годов, к ее историческому значению. В уста героя повести Гринева Пушкин вкладывает трагические слова: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» В какой мере слышен — и слышен ли — здесь авторский голос? Ответы и истолкования были различны. Пушкин, автор знаменитой антикрепостнической «Деревни», создатель первого в отечественной литературе глубоко человеческого образа вождя восстания Емельяна Пугачева, не мог не преклоняться перед силой русского народного духа, в котором увидел много невыявленного, загадочного. Впечатление некоторой неразгаданности, «тайны» русской народной души остается и по прочтении «Капитанской дочки». Гений великого писателя удержал его от окончательных выводов и заключений, которые суждено было произнести последующим историческим эпохам.

Н. Е. Носов

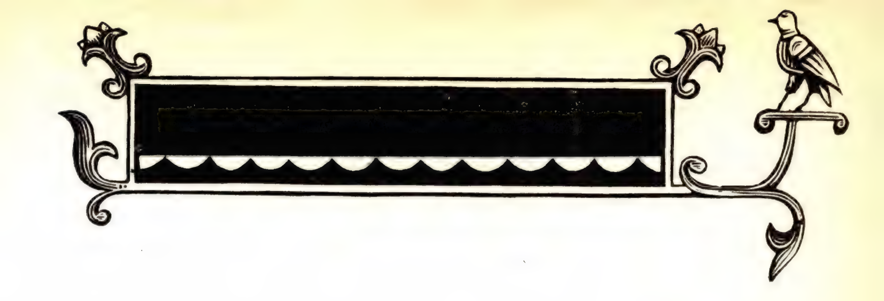


М. Муравьев

ОСКОЛЬД

Повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов







ростно дыхание ветров, страшен вид твой, русское море, и черные волны со злобою умирают между сими острыми скалами, которыми усеян залив отчаяния. Какого воителя, Варяга или Готфа, приготовляешься поглотить, гордое ополчение? Какие корабли гонят сюда девы-мстительницы, неутомимые Валки? Тщетно курения воссылают к небесам под спокойным кровом. Ах, дщерь князей! Без пользы приходишь ты каждое утро к стану, где точется брачное одеяние твое. Зри запекшиеся уста его; потемненны ланиты дыханием Гелы, безжалостной богини. Дух бранный витязя восходит в чертоги Одина, где друзья его разделяют с ним вечное пирование. Пусть сладостные песни восторженного Скальда принесут утешение во грудь отчаянной девы. Взор Скальдов проницает столетия, и в столетиях глас их не умирает. Дух, обитающий хладные пещеры и возвевающийся над стремнинами, дух творения и песни! Для кого велишь ты златым струнам арфы моей наполнять воздух сладостным стенанием? Велик Артус, отец витязей на холмах Аль-

биона, и знаменит белокурый Варяг, который похитил оружием плодоносные поля Нейстрии. Но духу моему более благоприятствует дерзостный подвиг Оскольда. Из дома Севера заманил он за собою сонмы ратников кровожаждущих, убийственных. Как орел низвергся он с высоты небес на добычу, на величественный град царей, процветавший тысячи лет в непроницаемой ограде, в недрах вечной весны, у подножия которого два моря усмиряют свои ярящиеся волны. Несчастные сокровища, непостижимые художества, достойные чертогов Одина, горящее злато поражают блеском очи не приученных Варягов, когда они потрясают страшное копие, окружая престол священного властителя Греков. Игры, удивительные ристалища занимают ежедневно праздность бесчисленного народа. Приходят на зрелище, достойное зрения, любви достойные Грекини, которых голубые отверзтые очи, которых черные кудри, развевающиеся по высокому лону, льют сладость в окружающий воздух. Счастлив, кто видел все сие единожды в жизни! Сладостное воспоминание распространится на остальное течение дней его и облегчит ему бремя ненавистной старости. Но бессмертным подобен неустрашимый Варяг, который по стонам Одиновым не убоялся подвергнуться трудам, опасностям, смерти, чтоб присвоить столько сокровищ, столько наслаждений самому себе и племени своему. Пусть завистливый рок преторжет шествие его среди прекрасного подвига! Когда для всякого смерть неизбежна, то для чего же оставаться в презрительном мраке и ждать старости бесславной, не оживляемой никакою хвалою?

Солнце погружалось в синюю тучу пред закатом своим. Утомленное долгим шествием, воинство Оскольдово спускалось с холмов медлительно в пространную долину; чистый источник украшал ее, не гордый в начале своем, расширяющийся течением и становящийся порывистою и бурною рекою. Борисфен имя сей реки славной, коей должно было принять в недро свое ладьи Оскольдовы. Удивленные Кривичи, обитатели исходищ Борисфена, стесняются видеть вождя и ратников, которые от озер и скал

финских и от Великого Новаграда предупреждены повсюду слухом прихода своего. Удивляются сиянию оружия и доблести мужей. Но никто не привлекает столько внимания, как русоволосый Оскольд. На бодром коне, белом как снега скандинавские, далеко опередил он первые ряды являющегося воинства. Княжеская дружина, младые щитоносцы и княжичи, теснятся с почтением вокруг варяжского героя. Ульфон, которого седые власы покрываются железным шлемом, Ульфон, приявший повеление Оскольдово, устремляется по долине обширной, и копия, вонзенные в землю на необъятном пространстве, уже означают становище, в котором воинство насладится отдохновением нощи. Высокий шатер, раскинутый на возвышении, ожидает Оскольда. Старейшины Кривичей, предводимые Сигурдом, приносят витязю дары и поздравления народа своего. Величественно нисходит он с коня, которого верный Олай приемлет за бразды звенящие. Со взором, исполненным дружества, простирает он руку свою Сигурду и возвращает приветствия старейшинам. Между тем звук бубнов явственнее повторяется в слухе, облако праха рассыпается, и блистающее воинство открывается изумленным очам. Первый Ульфон открывает шествие. Нет вождя более испытанного в опасностях бранных, ни более искусного к исправлению внезапностей брани хитростью и размышлением, как терпеливый Ульфон. Низкой породы, не уваженный в отечестве своем, он разделяет общество князей. Имя его далеко славится на Севере и на берегах Британии. Ему последуют отборные юноши, которые ищут случая ознаменовать руку свою отважными ударами: Сельмар, который вырвался из объятий нежной Сельмы, между тем как еще не увяли цветочные цепи, коими златая Лада соединила их; Извет, который, оставив сокровища отца своего и спокойную торговлю Новагорода, пустился за славою по стезям Оскольда; Добрыня, которому ответы богов предсказывают сияющее потомство, и ты, обреченный року юноша, неукротимый Думба! И ты оставляешь священный холм, где юность твоя воспитана была под кровом бессмертных! Не умягчают тебя слезы родителя, дряхлого, сирого, который предсказывает неминуемый рок твой под стенами цареградскими. Множе-

ство других устремляется с сими на конях резвых и бесстрашных. Как простые всадники, они развозят мгновенно приказы полководцев и сами в состоянии заменить их и повелевать полками. Две тысячи пращников, в легком одеянии, из приморской Чуди последуют сонму витязей. Крепки, как дикий камень их родины, презирают они непогоды. Зимою на легких досках, прикрепленных к подошве ног, перелетают моря и пустыни и внезапно нападают на неприятеля. Их князь, угрюмый Гиарн, оставил убежище Биорка, откуда воздымал он волхвованиями море и обуздывал ветры. За сими последует священный сонм Скальдов с златыми арфами. Они возжигают вдохновенными песнями мужество воинов в час брани, описывая чертоги Одина: отверзтые храбрым, умирающим прекрасною смертью за отечество. Нетерпеливый, добрый, отличается между ними юный Славянин, который на влажных берегах моря и на краю земли почувствовал вдохновение Скальда; оставил сети и парусы, способы скудного пропитания, оставил хижину отца своего и воспел соотчичам своим неслыханные песни о бранях и героях. Десять тысяч Варягов устремляются на знакомый подвиг. Прекрасный Гаральд, наследник Свериги, ими предводительствует. Предприимчив во брани и в любви, обладает он всеми дарованиями; долго служил славе и заснул в объятиях роскоши. Счастлива красота, которой песни его придавали новые прелести! Плененный взорами дев Новаграда, он позабыл славное определение свое в самовольном изгнании, доколе блестящее предприятие Оскольдово не поразило сердце его стыдом и соревнованием. Под ним повелевают мудрый Варемунд, дерзкий Рулаф, Стемид и кичливый Гернанд. За Варягами является сильное поколение, восприявшее от славы именование свое. Великий Новоград испустил из врат своих седьм тысяч ратников. Крепость воинства, оскорбленный Вадим, который не может забыть отчуждения своего от престола новаградского, угрюмый, безмолвный, снедаемый оскорбленною гордостию, предводительствует частию тех, коих считал некогда своими подданными. Одеяние простое и щит без знамений не могут сокрыть в нем витязя, повелителя мужей. Он надеется бессмертными деяниями заменить венец княжеский или с оружием в руках най-

ти конец своих печалей в гробе. Строгими очами взирает он на гордых Новогородцев, проходя и уклоняясь перед Оскольдом, и взоры его изображают, кажется, столько же упреков, сколько строгости воинской. Но Оскольд умеет уважать несчастие в герое. Ему поручил он особое начальство над всеми славянскими полками. Пришедшие от берегов Невы, от возвышающихся стен Ладоги повинуются Освяту, которого мужественная юность воспитала при дворе великого князя. Непреклонный Свид выводит пятьсот ратников из области древней Русы, которой источники производят питательную соль. Мягкосердечный Озар, воспламененный звуком славы, испрашивает себе как милость начальствовать над юношами, исходящими от Белого Езера, от берегов Шексны и Мологи, полей, усеянных железом. Он надеется еще увидеть князя своего и рассказать свои гордые подвиги. Возвратясь, найдет он высокий холм, насыпанный над хладными останками Синеуса. Свирепый Рогдай — неизвестно, Славянин или Волгар, — долго ужасный для гостей богатых, плавателей волжских, ныне товарищ героев, ведет за собою немногочисленный полк воинов, испытанных в опасностях и искусных в плавании. Челубей, исполинского вида, заключает шествие с подвластным ему племенем Мери. Не послужила ему чрезвычайная сила, которая доставляла ему начальство в дремучих лесах отчизны его, и греческая стрела остановила в одно мгновение и гнев и биение бесстрашного его сердца. Кто может назвать имена бесчисленного множества воинов, которые последуют сим храбрым полководцам? Таковы тучи пернатых, наполняющих воздух криком, когда, почувствовав приход зимы, оставляют крутые берега русского моря, не памятуя любви и прекрасных дней, коими там насладились они летом; удивленный путешественник забывает дорогу свою, на них взирая, и унывает в сердце, видя себя оставленного в свирепости морозов и буйных ветров. Уже по данному Оскольдом знаку воины входили в назначенные им для отдохновения шатры, и при легких ударах грома из приближающейся тучи Славяне поклонялись богу, мечущему громовые стрелы. Оскольд не может найти спокойствия, убегающего от очей его. Встает и один во мраке бурной ночи идет без намере-

ния. Неизвестное предчувствие влечет его ко древнему, секирой не оскорбленному лесу. Священные страхи живут под тенью оного, и Кривичи славят в нем присутственное божество. Погружен в глубокую задумчивость, Оскольд вступал в первые отверстия леса. Вздохи, стенания как бы человека, умирающего насильственною смертью, поражают бесстрашное его внимание. Витязь устремляется с сострадательным любопытством на помощь несчастному. Уже признак изнемогающего воина мечтается ему в пустоте сплетшихся ветвей древесных. С великодушною нетерпеливостью Оскольд простирает руку свою для его восстановления. Коварный воин устремляется на Оскольда, величествен и более смертного, но чертами и взорами таков, как яростный Рингвольд, когда при струях Роцелайны для пагубы своей вызывал на единоборство Оскольда, которого предпочла ему прекрасная Етельвинда. Гнев заступил место удивления в Оскольде; уже блестящий меч его рассекал воина; но тело воздушного обитателя, легко разделяемое ударами меча, столь же легко составлялось паки, и признак язвы не оставался. Багровый пламень проницал эфирное существо его; и с гордым посмеянием сей витязь так вещает: «Слабый смертный, Оскольд, Оскольд ненавистный! Не мечтай удостоиться моих ударов. Скоро, изнемогая под ударом смертного, простертый на полях византийских, извергнешь ты гордую душу, и отчаяние видеть надменные замыслы твои разрушенными огорчит последнее твое дыхание. Тогда возьму тебя на суд Одинов, в вечную обитель Валгаллы, и воздам тысячекратно удары, которыми пронзил ты меня при струях Роцелайны».

Он рек, и видение разлилось в окружающем мраке. Великодушный Оскольд ответствует хладнокровно: «Несчастный! Или ласкался ты угрозами восколебать постоянство мужа? Смерть, к которой поспешают безвоспятно человеки, может ли известностию своею удержать нас от сияющего поиска славы? Бедственная ли смерть умирающего с оружием в руках, в первых рядах воинства? Нет, Рингвольд! Тщетное знание твое будущего не нарушает спокойствия души моей. Оно придает более величества подвигу моему, и бессильная вражда твоя возлагает на меня

новое обязательство не терять ни единого мгновения для снискания славы». Он рек; особенное спокойствие сияет на челе его. Расступилися ужасы леса, умолкли громы, и тихие молнии едва мелькали в редеющих тучах. Никем не видим, Оскольд входит в шатер свой, и сладостный, легкий сон смыкает удрученные вежды его. Между тем сердце Одиново услаждается твердостию героя, которому он благоприятствует с высоты небес. Еще не было Готфа, в котором бы бессмертный Один находил более сходства с пламенною душою, вознесшую его на степень богов, как в великодушном Оскольде. Один хотел сим ужасным привидением испытать героя, Один посылает веждам его сладостное успокоение; собирает перед одром его златые мечтания, которые служат вместо бытия воображению. Тайные предвкушения небесного блаженства, обхождения героев, неописанные радости Валгаллы глубоко напечатлеваются в душе его. Изглаждены в ней надежою страшные предвестия ночи, и солнце, озлатив горы, нашло Оскольда мужественнее прежнего, раздающего повеления вождям и советующегося с мудрым Сигурдом.

Уже большая часть кораблей были приготовлены для воинства Оскольдова. Подобны лебедям величественным, спустились они у стен Смоленска на струи Борисфена. Радегаст, которому от юности жить на водах было роскошью и который на легкой единодревке, теряясь в разверзающихся волнах варяжских, приносился толь часто от утесистых Чудских берегов к пологим Скандинавским; Радегаст, управлявший кормилом корабля, на коем Рюрик пристал к берегу Ладоги, Радегаст проводил целую зиму в дубравах Кривичей, испытуя секирою древние дубы и повергая на землю безжалостно их гордые верхи. Разорилось священное убежище лесов, пристанище сильных зверей и птиц воздушных, и оскорбленный Борисфен с негодованием видел исходище свое откровенно. Возмутились воды его, и страшную весть брани пронесли до Черного моря, отца потоков и бурных рек. Во влажных чертогах сидит древний бог, окружен тьмою сынов и дщерей своих. Сошлись к нему и Борисфен, и гордый Тирас, составляющий владычество Сарматов, и двурогий Истр, питатель народов. Их яростные советы, подобные вечному шуму порогов,

призывают ветры и черные бури на дерзкое предприятие Оскольда. Более всех стремительный Боспор подгнетает негодование влажных богов: «Забыли вы,— говорит он,— чем угрожают нам чада неукротимого Севера. Вашим стыдом покупают они себе сияющую славу и возносятся к богам бессмертным. Им суждено, думают они, наложить некогда узы на ваши священные воды. Страны, напояемые вами, любовь природы суть добычею тех, которые не находят ничего трудного для своего мужества и могут менять тленную жизнь на неувядающую славу. От нее хотят они производить гордое свое имя и, называя себя Славянами, напоминают друг другу гордое свое определение. Сколько раз желал я сокрыть главу мою в недрах земли или уйти в которое-либо море! Противились мне неодолимые преграды. С одной стороны ударяли в меня кипящие волны Евксинского Понта, с другой — огромное море от столпов Гадитанских. Далеко ли было тогда падение еллинского имени? Готфы, прошедшие оплот сей, указали народам погибельный путь, коим найдут они роковой день священного града. Не престает еще действовать Один, враг греческих богов. Не видите ли, что он воспаляет своим неистовством душу Оскольда? А между тем священный повелитель Греков, отсутственный от угрожаемой столицы, ведет бесславные брани с мягкосердыми племенами Востока. Спешите, спешите; возбудите от нерадивого сна Великий град, над которым багровое облако готово извергнуть пламень». Он рек и простирает повелительную руку. Глубокая тишина вокруг царствует. Тонкий туман восходит с поверхности вод и на крылах зефира прикасается слуху Ексарха. Уже скорый гонец отряжен ко властителю Греков с ужасною вестию Оскольдова похода. Грозный властитель седых валов воспрещает взором буйному негодованию рек. «Оставим,— гласит он,— бренным человекам быть игралищами страстей. Их замыслы высоки и непостоянны; единое дуновение рассеивает их. Поверженным среди вечных сил природы, довольно им бороться с волнами счастия в беспокойных подвигах или в презрительной неге. Златая цепь судеб соединяет небо и землю, и не может быть отторжено ни единое звено ее. Довольно препятствий добродетели. Неоспорима слава смертного, который гибнет в

борении с гневными стихиями и враждебным счастием. Опасности бранные не суть единые, ни самые страшные. Прежде нежели устрашимся рабства, коим сей витязь угрожает, увидим еще, не подвержен ли он сам позорному рабству страстей». Он рек, и подвластные боги ощутили более покорности, нежели успокоения. Между тем граждане Смоленска тщетно стараются удержать еще несколько времени в стенах своих нетерпеливого Оскольда, изъявляя гостеприимство великолепными торжествами. Таков поток, низвергающийся с высокой горы после зимних снегов. Устрашенный селянин бесполезно воспящает бурное его стремление, повергая огромные дубы. Он превозмогает преграды и далеко опустошает богатые жатвы.

Но Сигурд желает видеть сына своего, нежного Радмира, препоясанного мечом от руки Оскольдовой, да вступит в сословие мужей. Радмиру едва исполнилось шестнадцать лет, но сердце его упредило возраст.

Оно билось с нетерпением, когда златая арфа Скальда оживляла пред воображением его тени древних Варягов и битвы славные в течение веков. Оно билось так же сильно, но сладостнее, при тихом возрении или отрадной улыбке опасной подруги его младенчества, высокой Искерды. Колеблемый порывами славолюбия и другого нежнейшего чувствования, юноша обнажал смертоносное железо или полагал его к ногам прекрасной подруги. Веселость незлобия составляла игры их, и сладостная задумчивость отягощала вежды Искерды, когда ей должно было наказывать дерзость юноши.

Как затрепетало в ней сердце, когда нескромные подруги упомянули в присутствии ее, может быть, без намерения, о назначенном вооружении друга ее! Тогда узнает она таинство своей нежности и свойство подозрительной дружбы; узнает, что не может существовать без Радмира; в мечтаниях она или бежит к ненавистному Оскольду и требует от него юноши, или сама покрывает нежное чело его тяжелым шлемом и с восторгом бросается между любовником и греческою стрелою. Умереть за Радмира или жить с Радмиром сливается для нее в единое чувствование. Бесполезные намерения! Строгая честь, девический

стыд удаляют, как легкий пар утра, сии златые мечтания. Должно, несмотря на побледневшие лилеи лица, на утомленные очи, должно заключить тоску в сердце и быть свидетельницею ужасных обрядов, которыми Радмир обречется свирепому богу браней. Сколь желала бы теперь юная девица, чтоб никогда варяжская секира не оскорбляла древних дубов днепровских и чтобы величественный град кесарей наслаждался ненарушимою тишиною! Уже отверзаются огромные врата священного храма, и толпа наполняет пространные его притворы. Со страхом взирают Кривичи на древнее изображение бога, наполняющее с величеством недра святилища. Согбенные старцы в одеяниях белейших снега одни дерзают войти в внутреннюю ограду и, отметая земные различия, отверзают всем человекам равное прибежище к жертвенникам. Приближается сияющий сонм вельмож, еще более возвышенный важным присутствием Оскольда. Прекрасен, как юный бог, последует ему Радмир с потупленными очами, с откровенною главою и распущенными власами юношества. Гибкий стан его объемлется простою и легкою одеждою, истканною сестрами его из мягкой волны агнцев. Украдками взирает он по временам на ту сторону храма, где знаменитые матери семейств, гордящиеся красотою последующих им дщерей, привлекают к себе почтительное внимание народа. Он ласкается увидеть обожаемую Искерду, сокрывающуюся в средине прекрасного сонма и опирающуюся на руку искренней Алвиды, дабы невольный трепет ее был менее приметен. Уже священные обряды, более и более ужасая несчастное сердце любовницы, производят в душе народа восторг благоговения. Возникают сердца мужей любовию отечества, исступлением храбрости при песнословиях, возглашаемых богу браней. Взоры Радмировы оживляются не одним пламенем любви; одна любовь владычествует в сердце Искерды. С трепетом видит она железо в руках Оскольдовых, коим надлежало обрезать юношеские длинные власы Радмировы, и между тем как один из жрецов возлагает их на жертвенник бога браней и другой приносит сияющий меч для препоясания Радмира, юноша остается на коленях в боязливом молчании, главу преклонив на сложенные длани; тогда Оскольд, исполнен духа Одино-

ва, приемлет Радмира в число мужей и прерывает молчание величественным наставлением геройства. «Благородный, любви достойный юноша! Восстань мужем. Се изъемлю тебя из недр спокойного семейства и посвящаю отечеству. Сии власы, отделенные мною от главы твоей, возвещают тебе отречение от домашней неги и любви спокойствия; оставь попечение о красоте цветущим девам и женам. Твое убранство да будет прах военный и воздержание и твердость. Мечом сияющим препоясываю чресла твои. Ты вступил в возраст защитников народа своего, доколе седины и опытность приведут тебя некогда к соучастию в советах, ежели не рассудит иначе неизвестный рок сражений. Те живут для отца и матери, которые ожидают бесславного рока под домашним кровом; но для отечества живут те, которые дерзают умереть за него бестрепетно. Сладостна смерть за отечество». Он хотел продолжать: вопль девицы, рыдания, имя Радмира, громко ею произнесенное, движение целого народа влекут Оскольда к сонму жен, призывающих к жизни Искерду. Омрак смерти отягощает очи ее. «Искерда! Искерда! — вопиет Радмир. — Твой друг с тобой, воззри, или мгновение смерти твоей будет последним для Радмира!» О чудо любви! По гласу ее смерть отпускает добычу свою. Голубые глаза Искерды отверзаются медленно и спокойно; прежде ничего не видят, кроме тусклого света, но скоро обращаются на лицо Радмира... О зрение! О радость неизобразимая! Жестокие сердца, никогда не любившие, осудите, ежели можете, преступление девицы! Опасность смерти примирила стыдливость с любовию, и взоры Искерды покоятся без гнева на пламенных очах юноши; рука ее, согласная с сердцем, упала на длани Радмировы. Свидетель сего мгновения, Оскольд воздохнул от глубины сердца своего и вспомнил прекрасную Етельвинду, которую немилосердная Гела похитила резвящуюся на краю бездны, оставя вечное сожаление Оскольду. Как молния, сверкнувшая во тьме ночной, изобразилось то счастливое мгновение, в которое нарекла она его властелином сердца своего. Ему показалось, что душа Етельвинды оживляет черты Искерды. Но, овладев смущением своим и схватив десницу Сигурда, варяжский витязь приближается к встревоженной ма-

тери Искерды. «Почтенная Людмила (так называлась она) и ты, благоразумный Сигурд,— вещает Оскольд,— не оскорбите гостя вашего отказом и примите меня ходатаем за двух любовников. Не разделяйте тех, которых сочетает любовь и красота и благосклонное небо. Ах! Где есть зрелище священнее и сладостнее, как союз красоты и мужества под покровительством природы? Супруг и отец, Радмир будет достойнее защитником племени своего. Подлый и боязливый не заслуживает сожалений красоты. Но любовь не терпит, чтобы глас ее был пренебрегаем. Родители любовников! Бойтесь отмщения любви. Я не увлеку юноши, призываемого к алтарям ее. Довольно будущих походов, коими Радмир напомнит согражданам, что Оскольд «препоясал его мечом витязя». Сказал, и Людмила не уклоняется принять от руки Оскольдовой Сигурдова сына. В народе все благоприятствует герою. Теснятся вокруг Оскольда и покровительствуемых им любовников. Дивятся красоте невесты, дивятся величественной бодрости жениха; но все еще более восхищаются Оскольдом: с любовию видят нежное умиление того, кто привык разить ужасом толпы свирепых супостатов. Так думают человеки. Но Один оскорбляется в исполинских чертогах своих, видя сердце любимца своего толь скоро волнуемое любовию и сожалением. Уже раскаивается он, что вверил Оскольду предприятие, драгоценное сердцу своему,— унижение Греции. Но попутные ветры зовут варяжского витязя на знаменитый подвиг, и Оскольд вступает в ладию, последуемый ополчением Славян...

1810

Н. Полевой

ПОВЕСТЬ О СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ СИМЕОНЕ





Благочестивые жители Нижнего Новгорода шли к вечерне в соборный Архангельский храм. Сквозь окна храма мелькали тусклые огни восковых свеч, зажженных перед образами. Церковь была полна народа; на крыльце и в ограде церкви толпился народ, но многие бежали еще опрометью к храму, и все, казалось, чего-то ждали. Нетерпеливое внимание заметно было в толпе. Подле затворенных лавок, на площади, собрались нижегородские купцы. Сложа руки и устремив любопытные взоры на княжеский дворец, они говорили между собою. Вокруг дворца в тесноте негде было яблоку упасть. Богато убранные кони, под бархатными попонами, подведенные к крыльцу, видны были с площади сквозь тесовые растворенные ворота.

За толпою купцов у навеса лавок сидел на складном стуле седой старик, угрюмо опершись на палку. Руки его, сложенные на верхушке палки, обделанной в виде костыля, закрыты были длинною бородою его. Красный кушак по синему кафтану показывал доста-

ток его. Он смотрел то на дворец, то на народ, покачивал головою, поднимал ее и опять опускал на руки. Другой старик, сухой и тщедушный, отличавшийся от всех одеждою, подошел к уединенному зрителю, низко поклонился ему и сказал громко: «Бог на помощь!»

— Будь здоров, гость московский! — отвечал нижегородец,— подобру ли поздорову?

— Слава те, господи! Вот получил из Москвы грамотки. Жена, дети здоровы, и товар доплелся до Москвы...

Слова «из Москвы», казалось, оживили старика. Подвинув свою шапку на затылок, он обратил любопытный взор на москвича и невольно повторил слова его: «Из Москвы?»

— Да, но вот что ты будешь делать: невзгода Москве нашей, да и только — опять была немилость божья, пожарный случай...

— Что? Опять?

— Да, почитай весь посад выгорел, а пожар начался с дома окаянного Аврама Армянина...

— Хм! Часто горит у вас на Москве!

— Да Москва-то не сгорает! — отвечал москвич, улыбаясь,— а вот у вас в Нижнем раз выгорело, да зато ловко...

— Его воля! — вздыхая отвечал старик и обратил взоры к небу. Заходящее солнце блеснуло ему в глаза, и он, зажмурясь, опустил голову к земле.— Да, о петровках уже пятнадцатый год минет, как Нижний Новгород впадал в руки бусурманские, а следы все еще не заглажены. Нижегородцы прображничали наш городок благословенный, и справедливо повелась в народе пословица: за пьяною люди пьяны!

— Москва не вашему городу чета, да и тут после вражьего меча десятый год проходит, а трава растет там, где прежде высились терема и хоромы. Но ведь на нашу Москву и враг-то какой нападал! Долго стоять земле русской, а не видать такого злодея, каков Тохтамыш окаянный! Ни в устах милости, ни в сердце жалости. Огнем палит, чего не возьмет, идет и метет!

— Истома Захаров любит только издалека греть руки, а нейдет сам в огонь,— сказал кто-то подле разговаривавших.

Старики оглянулись и увидели, что к ним подошел богатый купец нижегородский, Замятня. Москвич переменился в лице, а седой нижегородец обратился к Замятне.

— Держал бы ты язык свой на привязи,— сказал он.— Точно меч обоюдоострый слова твои: ни брата, ни друга не щадишь.

— Да ведь господин Истома мне ни брат, ни друг,— отвечал Замятня смеясь.— Кто с ним торгует, тот и помолчать может, а целому миру рта не завяжешь. Иной наживает там, где все проживают.

Истома покраснел и побледнел.

— Добрая слава под лавкой лежит, а худая слава всегда на почетном месте сидит,— пробормотал он.— Мало ли что говорят о князьях и о боярах!..

— Так будто все и неправду говорят? Будто князь да боярин уж все и хорошо делают? Как ты думаешь, старинушка, господин Некомат?— сказал Замятня, обращаясь к старику в синем кафтане.

Некомат поднял голову.

— Слушай, Замятня,— сказал он, дрожа от досады,— язык твой не доведет тебя до добра! К чему ты приплетаешь речь о князьях и боярах? Нынче и стены слышат, а не только что площадь, где народу так же просторно, как немецкой рыбе оселедцам в бочонке.

— Я ведь не порицаю никого; поговорю, так и только того! Вот иной и не говорит, да еще каждый раз приговаривает к имени своего князя: батюшка наш, милостивый князь, а как придет к разделке, так в «милостивого» князя первый камнем бросает. Бывало ведь дело — рассказывают...

— Не всякому слуху верь.

— Вот и об Истоме мало ли говорят! Сказывают, будто он и в люди пошел с тех пор, как погрелся у татарского огонька в Тохтамышево нашествие.

— Я был на Волоке-Ламском, когда вражья сила находила на Москву, а потом скрывался в Троицком монастыре. Когда же грелся я у татарского огня?

— Ведь ты не на исповеди теперь,— сказал Замятня смеясь,— и если и попадался в табор татарский, так уж, верно, неволею, а не волею. Что же делать с татарами! Сабля вражья и прямую душу кривит. Времена тяжелые — поневоле свихнешь либо направо, либо налево!

— Ох! Тяжелые, тяжелые! — подхватил Некомат, как будто стараясь отдалить от себя неприятный разговор.— Пришествие языка чуждого от стран неведомых — явное знамение пришествия кончины мира!

— Почему же языка неведомого! Кто не знает по-татарски, тому он и неведом, а кто знает, так он и ведом ему... Если б в христианском мире побольше правды было, так и дело шло бы иначе. Все мы хнычем да головой качаем, а что руки наши не чисты да сердца наши омрачены, о том не подумаем. Вот уж двести лет с лишком, как мы кряхтим под татарскою плетью и ждем преставления света, а приготовились ли мы к тому?

— Правда твоя,— отвечал Истома, отдохнувши после слов Замятни.— Вот и нашу мать Москву выдают со всех сторон — стоит она, как сиротина на могиле отца и матери, нет ни помощи, ни пособия от других княжеств! Когда Тохтамыш пришел к Москве и три дня стоял, сам не зная, что делать, когда была у нас потом потеха и на самострелах, и на мечах и наш воевода князь Остей не сдавался ни на какое льстивое слово, кто уговорил его, кто п р а в и л тогда на святом Евангелии, что татары не сделают зла Москве? Ваши княжичи — Василий да Симеон! На них пала кровь Москвы!

— Кто тебе сказывал? Там их вовсе не было!

— Нет! были они и Москву они погубили! Ты ведь знаешь все дела князя Симеона, злодея, холопа поганого хана. Некомат, скажи, правду ли я говорю, что он, злодей, всему виною?

— Почти что правду! — отвечал Некомат задумчиво, как будто нехотя и наклонив голову. Он, казалось, читал дела прошедшего в темной думе своей.

— Старик, старик! — отвечал Замятня с выражением упрека,— ты в гроб глядишь, а не щадишь своей совести! Симеон изменил Руси?! Симеон продал свою веру и разорил Москву?! Не в оковах ли приведен он был туда? Не поклялся ли ему Тохтамыш своим проклятым Махметом, что он не тронет в Москве ни синя-пороха? И когда безбожный хан нарушил свою клятву, когда московитяне поверили бусурману,— Симеона обвиняешь ты во всей беде, во всем невзгодьи!

Некомат покачал головою, встал с своего стула и тихо начал говорить, поднявши глаза к небу:

— Сердца людские грудью закрыты, и кто же узнает тайные помышления их? Но последствия всегда оправдают праведного и накажут грешника. Если бы Симеон был муж праведен, то, по глаголу, должно бы ему быть счастливым и благоденственным, и роду его величаться. Где же Симеон? Погиб! Где род его? В тюрьме! Князь наш, Борис Константинович, княжит благоденственно над Нижним и смиряет злобу кротостью. Он праведен; а Симеон злый зле погиб!

— И отец его был такой же вероломный и пагубный! — прибавил Истома хриплым голосом.

— Пощадите хоть кости-то доброго князя вы, Некомат и Истома, вы, кому счастливый кажется праведником, а несчастливый грешником! Нет! Я ел хлеб князя Дмитрия Константиновича и не попущу злому слову пасть на память его! Вспомни ты, горделивый москвич, не он ли получил от хана Агиса грамоту на московское княжество и отказался от московского престола, довольный суздальским уделом? Не он ли потерял любимого сына, когда козни Москвы навели на него злого Арапшу? Не его ли дочь, благочестивая Евдокия, была супругою вашего Димитрия и матерью юного князя московского, которому ты восписываешь такие хвалы и похвалы? Не сам ли Димитрий возвел Симеона на престол нижегородский? А теперь, — продолжал Замятня, понизив голос, — теперь, когда князь Борис выкланял себе Нижний, обнадеяв хана большою податью, вы славите его величие, а Симеон у вас злодей и отступник...

— Да что судить нам о делах княжеских, — отвечал Некомат. — Мир явно клонится к гибели и злу — брат восстает на брата, отец на сына. Горе идущему, горе и ведущему! Немцы, которые селятся теперь в Москве и Нижнем, до добра не доведут. Слышал ли ты, что какой-то немец вывез в Москву бесову потеху — стреляет живым огнем!

— О, да какая ж была страсть! — подхватил Истома. — Как выстрелили первый раз из той адовой потехи, так души у всех замерли — огонь и гром, дым и смрад пошли из ее жерела, словно свету преставленье! Ох! да что уж нынче — и мертвым костям покоя не стало! Затеяли копать у нас на Москве ров кругом

города — и гробы разметали, и косточки родительские повыкидали...

Тут шум и крик народа прервали беседу. Все оборотились ко дворцу и увидели, что князь Борис выезжает из ворот дворцовых, окруженный своими сановниками и боярами. Золото блистало на сбруях коней и одежде князя и свиты его. Некомат и Истома втеснились в толпу, спешившую на встречу князя.

— Вот заступники твои, князь Симеон,— проговорил Замятня, смотря вслед Некомату,— вот люди, которых осыпал ты благодеяниями, которым благодетельствовал отец твой! Первый рубль подкупает их и первая полтина перевешивает все добро...

— А Замятня забыл, что на площадях не говорят того, что думают,— сказал кто-то. Замятня оборотился и увидел человека с длинною бородою, в худом нищенском кафтане.

— Эх, товарищ! Плох стал народ! — отвечал Замятня вполголоса.— Нет ни совести, ни правды!

— Правды искать у торгаша Истомы! Кто ищет клада на кладбище, приятель?

— А Некомат, человек, которому благодетельствовал князь наш: послушал бы ты, что говорил он об нем и об роде его!

— Что говорить ему! Язык его как добрый жернов вертится: куда повернут его на вороту,— а ворот его серебро да золото!

Они пошли к церкви и тихо разговаривали дорогою.

— Наболтали мне они бог знает чего,— сказал Замятня,— а одно залегло у меня на сердце... Послушай: откроешь ли ты мне всю свою душу?

— Для тебя ничего нет скрытого — спрашивай!

— Правду ль говорил мне Истома, будто Симеон изменил вере отцов своих? Уверен в нем, но человек в невзгоде так хил, так плох... С чего бы взять ему, окаянному!

— Нет! Он клевещет, он лжет! Симеон не изменил ни слову своему, ни вере своей! Храбр, как меч, тверд, как адамант-камень.

— Но горяч, как раскаленное железо; а мир, с своей славой и почестями, светится, как звезда полуночная,— стол княжеский слепит глаза...

— Нет, говорю тебе! Горяч, но добро дороже ему золота и имя честное лучше стола княжеского — он не изменит вечному блаженству за временные блага!

— Ты успокоил меня.

— Но послушай, Замятня: ты сам не стоишь доброго слова. Дурак в тебе все высмотрит, как в стеклянной чарке, и болтун собьет тебя с толку! Будь осторожнее, будь умнее! Эй! береги слова!

— Бог видит душу мою, как я стою за правое дело, да язык мой злодей мой... А уж Истоме, окаянному, напишу я на иссохшей его роже правду...

— Тише, тише... отойди от меня.

Князь Борис ехал мимо них. Все сняли шапки. Говор в народе уподоблялся жужжанью пчел.

— Какой он дородный! — говорил народ. — То-то настоящий князь, то-то добрый князь Нижнего!

— Помнишь ли ты, — шепнул опять нищий Замятне, — помнишь ли, когда Димитрий Иоаннович так же ехал здесь с князем Симеоном? Не тот ли самый народ смотрел на Димитрия как на орла быстропарного, а на Симеона как на сокола золотокрылого, и не мог нарадоваться красоте двух братьев? А теперь, что Симеон!

— Что Симеон? Посмотри, как красуется князь Борис на своем вороном коне, а вглядись-ко лучше: ведь коня-то этого подарил тогда князь Димитрий Симеону.

— А кожух на боярине Румянце подарен был ему за верную службу Симеоном!

— Это что за толстяк едет подле князя? — спросил, смеясь, Замятня.

— Неужели не знаешь? Белевут, боярин московский. Он давно приехал сюда с уверением в дружбе от князя московского. Вот и другой московский боярин, Александр Поле. Он живет здесь уже месяца три.

— А зачем?

— Как зачем? Уверяет в дружбе.

— Разве князь Борис сомневается?

— Бог весть! Видно, что у кого болит, тот о том и говорит. Что там за толпа такая народа остановила коня княжеского? Смотри — падают на колени! Пойдем ближе.

Замятня и нищий протеснились сквозь народ и стали подле свиты князя. Князь Борис остановил коня.

Первый боярин его, Румянец, подскакал к небольшой толпе народа, стоявшей на коленях, и поспешно спросил: «Что вам надобно?»

— Мы не к тебе, боярин Румянец, а к князю Борису Константиновичу,— отвечал седой старик.

— Все равно — говорите мне! — поспешно вскричал Румянец.

— Между князем и его народом, когда мы стоим пред лицом его, не надобно посредника!

Румянец покраснел от гнева и грозно закричал им:

— Прочь с дороги!

Князь Борис, безмолвно смотревший на действия Румянца, тихо промолвил ему:

— Что тут за люди, боярин?

— Князь великий! — отвечал Румянец, преклонив голову в знак покорности.— Это бродяги вятчане. Они пришли сюда сбирать милостыню и рассказывать сказки.

— Нет, князь нижегородский,— отвечали несколько голосов,— мы не нищие и не милостыни просим, но княжеской милости!

— Помилуй, государь! — воскликнул старший из вятчан.— Будь нашим спасителем — смилуйся над нами!

— Но зачем же вы здесь встречаете меня? Зачем вы не пришли в мой дворец?

— Высоко крыльцо твоего княжеского дворца, и бояре твои стоят настороже. Боярин Румянец уже третий день гонит нас от твоего двора.

— Боярин! что такое они говорят? — небрежно спросил князь у Румянца.

— Все последние дни ты был занят важными делами, и то ли время — слушать их жалобы! Они то и дело р а г о з я т с я !

— Всегда время князю пособить своим подданным и везде место спасти! — сказал старший вятчанин.— Государь, князь великий! помилуй!

— Ну, да теперь уж не время и здесь не место суда... После,— сказал князь и хотел ехать.— Допустите их ко мне,— промолвил князь, обращаясь к вельможам, за ним ехавшим.

— Нет, князь, мы не сойдем с места. Спаси и помилуй! Жены, дети наши гибнут — защити и спаси нас!

Князь помолчал с минуту. Глубокое молчание было вокруг него.

— Говорите: чего хотите вы от меня? — сказал он, нахмурив брови.

Все вятчане поднялись на ноги. Старший из них подступил ближе и начал говорить:

— Ведомо тебе, государь, что жили мы в Вятке нашей тихо и мирно. Но теперь прошло прежнее время. С тех пор, как на Волге появились суда татарские, не стало нам покоя. Уже несколько раз приближались татары к пределам хлыновским. Мы откупались деньгами, отражали силою, а теперь нет нам спасения! Хан Тохтамыш грозит нам огнем и мечом. Его воинство уже давно сбирается на Волге и готовит суда. Мурза Беркут идет воевать Вятку. Государь! спаси нас!

— Я не могу ни спасать, ни оборонять вас, — отвечал князь, — вы не мои!

— Мы люди и христиане! Мы отдадим тебе Вятку со всеми городами — пошли защитить нас!

— Не могу защитить вас и не стану ссориться с ханом, моим владыкою! Он решает судьбу вашу, и да будет вам, что он судил!

— Они сами разгневали великого хана, — закричал Румянец, — сами грабили его суда, убивали посланцев, крамольничали, ссорились, не платили дани!

— Платили, боярин, платили; но нет у нас более чем платить! Куда нам деваться, если вы откажете? Кровь христианская не даст покоя вашей совести!

— Видишь ли, государь, буйство лапотников? — сказал Румянец. — Так-то они поговаривают всегда!

— Кровь наша говорит, боярин! Князь, если ты отринешь нас, тебя отринут от престола твоего!

— Замолчи, старый буян! — вскричал князь и повернул коня в сторону.

— Итак, нет нам надежды ни от Нижнего Новагорода, ни от Великого Новагорода — один отталкивает, и другой не принимает! Князь! предшественники твои не оставляли нас. Князь Симеон и князь Василий ходили помогать нам — не заставь нас пожалеть, что венец Симеона возложен на твою голову!

— Выгоните их из Нижнего! — вскричал князь. —

Они буяны, нахалы, крамольники — не повинуются власти хана! — И гневно он удалился.

Горестно заплакали вятчане, когда воины оттолкали их с дороги. Блестящий поезд князя с презрением проехал мимо, и народ хладнокровно смотрел на людей, отверженных князем.

Солнце закатилось. Алая заря горела еще на дальних облаках и струи Волги тихо плескали в берег, когда нищий, говоривший с Замятнею, шел с площади, откуда в разные стороны расходился народ. День был воскресный. Подле ворот почти каждого дома сидели беседы женщин и девушек, пели песни и играли. Молодые мужчины, в праздничных кафтанах, ходили по улицам и кланялись красным девицам. Нищий шел тихо и медленно. Он поравнялся с забором одного дома и, не доходя до ворот его, остановился. На лавочке у ворот дома сидела молодая девушка, в богатой повязке, с которой множество алых лент падало на спину, и жемчужные подвески спускались почти на полвершка на лицо. Нищий задумчиво смотрел на нее. Тяжелый вздох вылетел из его груди. Он был неподвижен и не приметил, заглядевшись, когда подошел к нему Некомат.

— Куда бредешь ты, божий человек? — спросил Некомат ласково, остановясь подле нищего.

— Куда ноги несут,— отвечал нищий.

— Я видаю тебя часто,— сказал Некомат,— и часто смотрю, как бредешь ты мимо дома. Для чего не зайти тебе ко мне и не попросить честной милостыни? Рука Некомата всегда отверзта на благостыню.

— Бедность робка, господин, и боится помешать тебе считать твое золото. Спасибо за приветное слово!

— От слов сыт не будешь — пойдем ко мне: я велю накормить тебя и дам на дорогу хлебца и деньжонок.

Нищий, не отвечая, побрел вперед. Некомат не отставал от него.

— Ты полоумный человек или юродивый, когда от милостыни отказываешься. Кажется, похорон богатых нигде не было и напиться было негде. Князь и бояре его не щедры.

— Щедра рука каждого дающего, а всякое даяние приемлю я во благо.

Некомат и нищий поравнялись с воротами дома, подле которого сидела девушка. Некомат остановился и сказал ласково:

— Это ведь мой дом, зайди ко мне и отдохни!

— Гость Некомат, что ты так ласково говоришь со мною?

— Не знаю, отчего благообразное лицо твое мне нравится. Ты, я чай, не моложе меня. Молитва бедного лучше жемчуга перекатного — зайди ко мне и помолись.

— Подай мне милостыню, гость Некомат, и все равно я подарю тебя благословением и на улице!

— Не мечи бисера — размечешься и не все говори на улице, что можешь сказать в светлице. Мне есть нужда поговорить с тобою.

— О чем же тебе говорить с нищим? Я ничего такого не знаю...

— А я кое-что знаю. В ы с о к о с о к о л л е т а е т, с е б е ц а п л ю в ы б и р а е т.

Невольно вздрогнул нищий.

— Пойдем, гость Некомат, если ты требуешь. От хлеба-соли не отказываются!

Они пошли в дом. Девушка, дочь Некомата, тоже ушла в дом, увидя отца. В темноте взобрались Некомат и нищий на высокое крыльцо, в сени и в комнату. Лампадка теплилась перед иконами в углу. Некомат повесил на крючок свою шапку. Между тем приказчик Некомата, высокий худощавый мужчина, вошел со свечою, поклонился, поставил свечу на стол и удалился опять с поклоном. Нищий стоял у дверей. Прошло с минуту, пока Некомат молчал. Наконец он поднял руки над головою и громко сказал:

— Буди благословен тот день, когда я увидел опять сына души моей! Боярин Димитрий! — воскликнул он, — ты ли скрываешься от меня?

Нищий молчал и стоял неподвижно.

— Боярин Димитрий! — продолжал Некомат, — ты не хочешь сказать мне ни одного слова?

Тут нищий ступил вперед два шага, распрямился и мужественно и твердо отвечал Некомату:

— Если ты узнал меня — не буду скрываться, да и к чему скрываться мне? Если ты хочешь выдать меня князю Борису — выдавай; но прежде умру я, не скажу ни тебе, ни ему ни одного слова!

Слезы потекли из глаз Некомата. Он закрыл глаза рукою и дрожащим голосом сказал Димитрию:

— Неужели я не доказал тебе прежде, боярин, как любил я тебя и доброго князя нашего Симеона? Не ты ли просил у меня благословения на брак с моею дочерью? Не я ли прежде обнимал тебя, как сына? Если ты не отстал от нашего князя, если прошло года два, как мы не видались с тобой, так я забуду тебя?

— Полно, Некомат,— отвечал Димитрий,— я не шутить пришел к тебе, и меня не обольстишь сказками. Душа твоя по золоту ходит: было счастье — и ты был друг мне; прошло оно — и ты друг Румянца и князя Бориса.

— Не думал я на старости лет услышать от тебя такое горькое слово! Где же и когда я сотворил зло тебе и твоему князю? Да, я не говорю вслух, как Замятня вздорливый, что князь Борис неправедно сел на столе нижегородском, я не кричу, что он безбожно отнял суздальское княжество у своих племянников, боярин Димитрий! Но я отец; много гниет в тайниках молодцов за то, что громко поговаривали! Подумай — я узнал тебя: не в моей ли было воле указать на тебя князю и сказать: «Вот любимый боярин Симеона — возьми его, князь!»

— Некомат! Я не могу оскорбить тебя укорою за прежнюю жизнь. Ты всегда был сребролюбив; но никогда не слыхал я, что злое дело легло на твою душу.

— И теперь чиста она, и теперь я вижу в тебе моего друга и сына! — Он обнял Димитрия и крепко прижал к груди своей.— Узнай меня лучше, вглядись в меня пристальнее!

Димитрий молчал.

— Соглашаюсь, что ты помнишь еще благодеяния Симеона,— сказал он,— но чего же ты от меня хочешь?

— А! ты открыл наконец неприступную душу твою! Теперь узнаешь, чего хочу я,— теперь возвеселится душа моя!

Он потянул веревочку, привязанную к надворному колокольчику. Явился приказчик его.

— Поди и позови гостей моих,— сказал ему Некомат,— а ты, Димитрий, пойдем со мною.

Не отвечая ни слова, Димитрий пошел за ним в сени и на лестницу. Некомат отворил дверь. Они вошли в девичий терем. Здесь сидела подле окна дочь Некомата с своею нянею. Она встала и почтительно поклонилась отцу и гостю.

— Няня! поди и принеси нам хорошего меду! — сказал Некомат. — Хочу выпить с нищим братом моим из любимой золотой чары. Тебе не впервые угощать у меня нищую братию!

Няня вышла. Несколько минут все молчали. Некомат как будто ожидал, пока няня сойдет с терема.

— Дочь моя ненаглядная! — сказал тогда Некомат. — Помнишь ли ты жениха своего?

Девушка вздохнула и не знала, что сказать.

— Ах! батюшка, — прошептала она, запинаясь.

— Жениха твоего, боярина Димитрия? Отвечай мне, Ксения!

Слезы навернулись на глазах Ксении и покатились по лицу ее. Кисейным рукавом своим стерла она их и промолвила:

— Батюшка! все забыто, кажется — все... и давно...

— Нет! я не забыл...

— И где теперь мой жених! В какой стороне скитается он...

— Он здесь, Ксения! Посмотри — вот он, твой суженый!

— Ах! — вскричала Ксения, и ноги ее подломились, она, как полотно, побледнела.

— Боярин Димитрий! Разве ты не хочешь открыть ей своей тайны? Видишь ли теперь, что я не изменник, что я не зла желал тебе, что родное дитя мое я не отнимаю у тебя, не отнимаю того, что мне всего дороже...

— Некомат! — вскричал Димитрий. — Вижу все и обнимаю тебя как друга и отца! Ксения! Димитрий опять с тобою!

Ксения плакала навзрыд.

— Я не понимаю тебя, Некомат, — сказал печально Димитрий, — не понимаю, что ты делаешь со мною и чего ты хочешь, обновляя то, что я хотел, что я старался забыть!

Некомат улыбнулся.

— Поцелуй свою невесту, свою суженую, а потом

я расскажу тебе все. Некомат, поверь, не дремал в то время, когда не спала злоба врагов Симеона.

Димитрий обнял трепещущую Ксению и напечатлел поцелуй на губах ее.

— Ты не узнала меня? — спрашивал он. — Ты видела меня в наряде боярина, а теперь я нищий — поддельная борода и рубища мои представляют тебе старика дряхлого. Не кручинься, душа моя — узнай меня опять!

— Сердце мое не забыло тебя! — шептала ему Ксения.

— Но вот идет няня! — сказал торопливо Некомат. — Она не ведает нашей тайны. Пойдем, Димитрий, пойдем! — Он вырвал руку его из рук дочери и повлек за собою.

Они опять сошли в Некоматову светлицу. Как изумился Димитрий, увидя накрытый стол, блистающий серебряною посудою, и когда два человека, сидевшие на передней лавке, встали, узнал в них Александра Поле и Белевута, бояр московских.

Дружески подошли к нему бояре и приветствовали его ласково.

— Добро пожаловать, боярин Димитрий! — говорил Поле, обнимая Димитрия. — Юный годами, ты равен мне саном и подвигами! Мы не видались с тобою с самой Куликовской битвы. Тогда еще я заметил тебя в рядах воинов суздальских. Вот как теперь ты закутался, что тебя не узнаешь!

Димитрий не понимал, что значит все им виденное и слышанное. Он пробормотал несколько слов и остановился.

— Чара меду развяжет уста его, — сказал Некомат и налил четыре огромные стопы из оловянного жбана. — Да здравствует князь Василий Димитриевич Московский, племянник и друг князя Симеона! — воскликнул Некомат.

— Да здравствует! — повторили московские бояре.

Димитрий взял стопу; все разом чокнулись и разом же все стопы были осушены.

— Куда он запропастился? Куда девался? Вот уж загорается заря на востоке — не сделалось ли с ним беды какой? — так говорил сам с собою человек, бро-

дивший по берегу Волги и беспокойно глядевший во все стороны.

Вдруг вдалеке показался другой человек, он шел прямо к тому месту, где бродил нетерпеливо ожидавший. Тот остановился, огляделся пристально, и видя, что идут прямо на него, запел вполголоса: «Высоко сокол летает». Подходивший повторил так же: «Себе цаплю выбирает».

— Ты ли, Димитрий? — спросил первый.

— Я, — отвечал подходивший. — Ты давно ждешь меня, Замятня?

— Давно! Хорош молодец! Спрашивает, как будто и не знает, что я с полуночи торчу здесь, словно грань поверстная, а теперь скоро светать начнет!

— Терпи, товарищ! — сказал Димитрий, крепко ударив его в руку. — Терпи: скоро и на нашей улице праздник будет!

— Да ты и то как будто с праздника! Некстати, брат, затеял ты веселиться, куда некстати!

— Не ври, Замятня, пустая башка! У тебя сквозь голову слова летят, ума не спросившись.

— Димитрий! Что тебе вздумалось?

— Слушай, Замятня! Ты добрый человек, но точный колокол! Стоит раскачать язык твой, и ты зазвонишь на весь мир! Знаешь ли ты, до чего было доводил ты всех нас? До плахи, безумный болтун!

Замятня содрогнулся.

— Да, Некомат знал уже, что ты сбираешь верных слуг Симеона, знал, где скрытно хранится у вас оружие и где вы собираетесь. Третий день, как я в Нижнем; а вчера Некомат уже заметил меня — и все по твоей милости!

— Провались я сквозь землю, если сказал хоть слово...

— И полуслова довольно для такой хитрой головы, какова Некоматова! Ты кричал везде и всегда, пел даже песню нашу при Некомате, и он все разведал, все узнал...

— Ах! сгинь он, окаянный! Да я ему сегодня же шею сверну — вот и концы в воду...

— Молчи и слушай. Ты знаешь, что Некомат был одним из любимых слуг князя Димитрия Константиновича — Симеон вырос при нем, и в былое время, когда глазки его Ксении зажгли мое ретивое, дело у нас

было слажено. Но князь Борис завладел Нижним, Симеон бежал, и я следовал за князем. У Некомата сердце заперто в золотом сундуке его, но я прощаю ему, что он не расстался с Нижним и с сундуком своим. Он наш...

— О! если бы слова твои были правда!

— Слушай далее. Князь московский послушался благого совета своей матери. Он теперь в орде и когда, поехавши туда, подле Симеонова монастыря взглянул он в последний раз на Москву и на расставаньи горько заплакал, княгиня Евдокия Димитриевна молвила ему золотое слово: «Сын милый! не обижай дядьев, не тронь Нижнего! Москвы довольно тебе и детям твоим — так и отец твой думал!» Князь умилился и дал ей слово передать Нижний Симеону, Суздаль Василью, а Бориса пересадить в Городец по-старому, когда воротится подобру-поздорову из орды. Тогда приехал в Нижний московский боярин Поле...

— Но ведь он приехал к Борису?

— Что станешь делать, когда в нынешнем свете и правду делать можно только через неправду,— таков обычай завелся! Боярин Поле бражничал с Борисом и разведывал о добротах Симеона. Наших товарищей никто не знал, но Некомат перемолвился с Полем, догадался, а теперь они поладили, и за веселой беседой втроем мы все кончили!

— Кончили? Чем?

— Быть Симеону князем нижегородским, под рукой племянника своего, князя московского, по благословению сестры его, княгини Евдокии. Князю Василью отдать Суздаль, а князь Борис добро пожаловал по-старому в Городец! Завтра либо послезавтра явятся сюда послы татарские и московские. Крови лить не будем. Придем к князю Борису и ласково скажем ему: не на своем столе сел, князь городецкий...

— И тогда-то запируем, товарищ! Вместе горе, вместе радость! Да здравствует Симеон!

— Тише, тише! Вон народ уже зашевелился. Ползут на белый свет суеты и заботы — пойдем скорее.

Они замолчали и спешили идти. Но, поравнявшись с домом Некомата, Димитрий остановился, посмотрел несколько мгновений на терема его и узорчатые кровли и невольно промолвил:

— Свет мой, невеста нареченная! почивай спокойно да просыпайся на радость! Взойдет и для нас красное солнышко!..

Когда от избытка радости говорил Димитрий, ворон сел на кровлю Некоматова дома. В тишине утра зловещий голос его раздался как вестник горя и несчастия, и собака жалобно завыла на ближнем дворе. Димитрий содрогнулся — сердце его замерло.

Солнце только что осветило Нижний Новгород и яркими лучами заиграло в струях Волги, как в ворота Некоматова дома застучали железным кольцом. Глухой стук в медную бляху раздался по улице, и через минуту полусонный дворник Некомата откликнулся, не отворяя ворот.

— Кто там?

— Добрые люди! — отвечал человек, стучавший в ворота и пожимавшийся от утреннего холода. — Отворяй!

— Да кого надобно? — спросил опять дворник, унимая двух огромных собак, громко лаявших на дворе.

— Самого хозяина твоего, старый хрыч! Отвори скорее — разве ты меня не знаешь?

Ворча про себя, дворник отпер огромный висячий замок, отворил немного ворота, высунул голову и увидел человека в беличьем тулупе, огромного и толстого. Он хотел повторить свои вопросы, но, видно, гость не был расположен отвечать ему. Он грубо оттолкнул старика и вошел во двор. Собаки бросились на него.

— Уйми их, старый! — вскричал незнакомец.

— Сам уйми, боярин! — отвечал дворник сердито.

На лай и шум отдернулось волоковое окошко и показалась голова Некомата.

— Кто тут шумит? — вскричал Некомат, но, увидев незнакомца, переменил голос и ласково прибавил: — А! добро пожаловать, ранний гостенек, добро пожаловать!

— Вели проводить меня, Некомат! Дворник твой с товарищами загрызли меня.

— Тотчас, тотчас!

Волоковое окошко задернулось, и через минуту Некомат, в засаленном полукафтане и с огромною

связкою ключей у пояса, явился на крыльце. Гость пошел к нему.

— Милости просим, боярин Белевут! — говорил ему Некомат, растворяя дверь светлицы.

— Крепко ты живешь, гость Некомат. Видно, что деньги бережешь.

— И, боярин, какие у нашего брата, бедного торгаша, деньги! Уж так у нас заведено. Ведь мы не вам под стать и полоротыми ворот никогда не оставляем. Есть и недобрый народ — как не бояться...

— А особливо когда вот такое добро водится в доме! — сказал Белевут, усмехаясь и указывая на множество соболей и лисиц, раскладенных по лавкам, и на большую, окованную железом шкатулку, стоявшую на столе.

Некомат с трудом поднял шкатулку со стола и поставил под лавку.

— Извини, боярин, что прибраться не успел. Так, вздумалось было поразобрать товар — вчера купил. И кто ж думал, что так рано пожалует ко мне такой дорогой гость? Не знал я, что ты встаешь с петухами. Наши бояре долее залеживаются на своих пуховиках.

— Нет! Этого я не скажу: у вашего князя уж давно хлопают бичами и трубят в рога на Соколином дворе. Он тоже, видно, следует Мономахову наставлению: вставать рано и день начинать с солнцем.

— Что и говорить, боярин! На охоту у нас рано встают, а дела так и просыпают!

— Да, и Нижний-то едва ли не проспали!

— Кажись так, — отвечал Некомат, сомнительно взглянув на Белевута.

— Сказано — сделано, гость Некомат! Ведь мы обо всем переговорили, и я тебя еще вчера поздравил с дорогим зятем. Боярин Димитрий молодец хоть куда, — прибавил он, перебирая рукою рыжую бороду свою и усмехаясь.

— Добрый молодец, боярин, — отвечал Некомат, в недоумении глядя на Белевута.

— Ну и не бедный, прибавь к тому!

— Княжескою милостью, боярин, а с нею и богатство будет.

— Ведь он старого рода, так как же не быть у него и старинке отцовской!

— Какая же старинка, боярин, когда ему теперь головы негде приклонить! Да и отец его был такая беспутица и безголовица! Бывало, обеими руками сорит деньги, дает встречному и поперечному; а кроме того — пиры да гульба, бражничанье да беседы! Дом у него был как полная чаша — и теперь еще есть остатки, правда, не в его руках. Но если по милости вас, боярин, и князя нашего, Василия Димитриевича, Симеон будет князем нижегородским, так Димитрий с лихвою получит все, чем из добра его завладел Румянец с братией, и дочери моей, конечно, не придется самой варить щи.

— Но за такого честного боярина можно отдать дочку, когда и денег лишних у него не было бы...

— Оно так, да чем жить-то им будет, боярин? И курица пьет, а человек кровь и плоть — ест и пьет!

— Что тут говорить, Некомат! Честь чего-нибудь стоит!

— Честь не в честь, когда нечего есть, боярин. Правда, нашему брату посадскому с боярином породниться — почесть немалая, но все деньги при том не лишнее.

— Полно притворяться, гость Некомат! На твою долю станет и зятю дать еще останется. Будто в Нижнем и не знают, что у кого есть... Земля говорит!

— Хоть и праведно нажитым, а хвалиться не буду. Господь помог мне скопить кое-что, чем под старость дней моих могу пропитаться.

— Видишь, в нынешнее время, Некомат, на том все вертится: и чин да почесть не столь надежны ныне, как ларец кованый, где боярство и княжество твои лежат спокойно и звенят, когда велишь им звенеть. Было бы на что купить, а что ныне не продается!

Некомат слушал в изумлении; губы его дрожали; слова замирали на его устах. Он хотел, казалось, угадать, что такое скрывал Белевут под своими обиняками; но толстое лицо Белевута было неподвижно. Играя концами своего узорчатого кушака, он продолжал:

— Чего ты испугался, Некомат? Я взаймы у тебя просить не стану. Мне хотелось только сказать тебе, что я смотрю на все не такими глазами, какими, кажется, ты смотришь. Вы все глядите на Нижний свой,

а что бы вам не поглядеть через него далее — ну, хоть и в Москву...

— Как нам забывать Москву, боярин! От нея и смерть, и живот. От нашего князя ждем мы теперь милости.

— От вашего! Говори вернее — от какого.

— Как, боярин?..

— Так гость Некомат. Ужли тебе такая мысль в голову не приходила?

— Боярин! что ты хочешь сказать? Вчера ты говорил, что князь московский готов помогать нашему, показывал грамоту его...

Белевут встал и начал ходить по светлице.

Он, казалось, искал слов, не зная, как приступить к тому, что хотел сказать.

— Видишь что,— промолвил он наконец,— милости нашего князя неистощимы. Он щедр для тех, кто ему послушен, и грозен тем, кто его ослушается. В Москве и безопаснее, и привольнее житье. Кто поручится, что будет вперед... Ну, да я почитал тебя догадливее, гость Некомат! — вскричал сердито Белевут и взялся за свою богатую шапку.

— Боярин, господин честной и почтенный! — сказал Некомат, кланяясь.— Не гневайся! Ведь и мы, посадские, смекнуть умеем. Ты загонул загадку, а отгадка-то, видно, после сказана будет?

— Умный и теперь ее угадает, гость Некомат,— отвечал Белевут, смеясь.— Не ручаюсь за вашего Симеона — ведь еще будет ли он послушен нашему князю?.. Ну, а нашему брату что мешаться в княжие дела? Было бы нам тепло, а у какой печки греться, тебе что до того? Да вот к воротам подвели моего коня. Князь Борис звал меня с собою.— Некомат! Понял ли ты меня? Верь дружбе Белевута и на старости не одурачь себя. И в Москве есть женихи для дочерей богатых гостей нижегородских!

— Видишь! — сказал он Некомату, указывая на имена Димитрия, Замятни и других, подле коих поставлены были киноварью крестики. А вот и Некоматово имя! — Он указал на замаранное черными чернилами имя его.

Некомат побледнел, а Белевут спокойно прибавил:

— А вот этого молодца-то я и забыл — и ногтем провел черту подле имени брата Некоматова, Федора, горячего приверженца Симеонова.

— Господь, вразуми меня! — шептал про себя Некомат. Тут Белевут обратился к нему, но лицо Некомата уже прояснело. Никакого недоумения не изъявлял он и ласково, почтительно пожимал толстую Белевутову руку, провожая гостя с крыльца. Белевут остановился на первой ступеньке, подумал, шагнул еще — и воротился.

— Некомат! — сказал он. — дружба Белевута не изменит тебе. Она понадежнее дружбы боярина без боярства!

Он сошел поспешно, сел на своего коня и поехал ко дворцу княжескому.

Скорыми шагами возвратился Некомат в светлицу, остановился, подумал, еще подумал и, как будто недоумевая, громко сказал сам себе:

— Что же? Они думают погубить меня? Аль сберечь? Что говорил он вчера? А что теперь говорит? Боже, милостив буди мне грешному!

Жадно озирался он кругом, на груды соболей и чернобурых лисиц.

— Вот, — вскричал он — к чему и стяжание! Ты смотришь на свое злато и сребро, а между тем боярин какой-нибудь ставит красный крестик подле твоего имени, и дни твои изочтены суть!.. — В раздумье ходил он по светлице. — Однако ж, — вскричал он, остановясь, — не сули журавля в поле, а дай синицу, да в руки. Мне-то что же? Да! Безумный я был в то время, когда медом моим запивал посулы московские! Ждать бы мне, ждать да и только — нелегкая меня дернула...

И поспешно стал Некомат складывать в сундук дорогие товары свои. Потом схватил он шкатулку и, нагибаясь под ее тяжестью, вышел в задние двери.

Между тем Белевут подъезжал ко дворцу княжескому, и из ворот дворцовых высыпало на встречу его множество сокольников и охотников, вельмож, бояр, а за всеми выехал сам князь Борис. Дорогой сокол сидел на руке его. Конь шел гордо и величаво.

— Здравия боярину московскому! — сказал Борис весело. — Насилу приехал ты, старый сокол! Пора, пора! Видишь ли, какой у меня молодец?

Он щелкнул в нос своего сокола.

— Сокол хорош, и пора тебе пошевелиться с места, пора, князь нижегородский! — отвечал Белевут. — Я ждал ответа боярина Румянца.

— Все готово, боярин, — сказал Румянец, смеясь.

— Так поедем скорее. Кто погуляет утром часа два, тот запасется здоровьем на два года, — говорил мне когда-то армянин-лекарь.

— Сам сухой, как спичка, так уж как не поверить ему! — подхватил Румянец. Все засмеялись, и поезд княжеский отправился. Дорогой Белевут приблизился к Румянцу.

— Что, московский колдун, околдовал ли? — спросил его Румянец тихо.

— Высылай на Коломенскую дорогу. Они близко! — отвечал Белевут.

— Так пускай же князь тешится охотой, — шепнул Румянец, — а мы потешим его поладнее!

Он отстал от поезда княжеского в переулке, куда повернул Борис с своею свитою. Тихо простоял он там, пока все проехали, и поскакал назад. Ему попался боярин Поле.

— Что? — вскричал Поле. — Убаюкано ли твое дитя?

— Они распотешились охотою, — отвечал Румянец. — Далеко ли ваши?

— Не замешкают! Скачи во дворец и прибери все к рукам, да не положи охулы на руку!..

— Вот еще о чем тревога!

Между тем князь Борис и свита его выехали из города. День был осенний, но прекрасный. Перед ними открылся вдали густой лес, через который пробита была торная дорога к заповедным болотам княжеским. Сокольники поскакали вперед — и вот длинноногая цапля поднялась над лесом, вылетела на дорогу, и княжеский сокол спущен. Он взвился стрелою, прямо к цапле, но цапля уже стерегла его, быстро перевернулась через голову, сокол промахнул — крик, хохот и шум охотников раздались по лесу. Сокол опять взвился и камнем пустился вниз, стараясь пере-

бить ветер у своей добычи. Увертливая цапля видела опасность, хотела спастись от своего страшного преследователя и полетела в сторону. Все поскакали туда.

Вдруг вдалеке поднялась пыль. Казалось, что множество всадников скачут во весь опор. Князь и свита не могли понять, кто смел выехать на дорогу, где запрещено было ездить, когда князь охотится?

— Чего смотрят ваши сторожевые? — закричал гневно Борис.— Смотри, что за сволочь там шевелится? Схватить их, в город, в тюрьму!

— Князь! — отвечал один из бояр. — Сюда скачут какие-то всадники, и прямо на нас! Эй! Сокольники, сюда, к князю!

В смятении столпилась вокруг князя Бориса свита его. Всадники приближались. Их было около десяти человек, с головы до ног вооруженных. Между ними отличался один одеждою и величественным ростом своим. Он скакал впереди всех.

— Господи, помилуй! — вскричал князь Борис.— Что такое? Ошибаюсь ли я? Симеон? Вы меня хотите ему выдать?

— Нет, князь! — вскричали несколько голосов. Мечи были обнажены и бердыши выправлены.

— Остановитесь, остановитесь! — издали кричал воин, ехавший впереди других.— Князь Борис! Тебе кланяется твой племянник, или ты не узнаешь меня? Я — Симеон.

— Как не узнать тебя, нежданный гость! — вскричал Борис.— Откуда птица вылетела? Зачем залетела на Русь?

Симеон остановил всадников своих. Все они сделались неподвижны по слову Симеона. Он один приблизился к Борису и хотел говорить.

— Отойди прочь, изменник, отступник,— закричал гневно Борис.— Спрашиваю тебя еще раз: зачем явился ты сюда? Или, как второй Святополк, хочешь ты зарезать нового Бориса?

— Родимый дядя хорошо привечает племянника! — сказал Симеон, горестно улыбаясь.— Диво ли, что православная Русь погибает! Дядя крамольничает на племянника, племянник отнимает добро дядино — и вот как встречает родня родного через два года разлуки! Здравствуй, князь Борис Константинович!

Хоть не бранись, пожалуй, когда я не начинаю брани. Прежде Симеон не дал бы тебе в том переду; но время переходчиво, что делать! Дай мне свою руку и помиримся...

— Мне с тобой мириться, выродок князей суздальских! Преклони колени и жди суда дяди твоего и князя! Возьми его, дружина!

Вдруг бросились несколько человек на Симеона. Он осадил коня своего и схватился за меч рукою.

— Прочь вы, сволочь наемная, цаплины дети! — вскричал он громовым голосом. — Со мной нет золота — и кто подступит ко мне, тот переведается с железом!

Дружина Симеона прискакала к нему, видя его опасность. Еще раз остановил ее Симеон.

— Князь Борис! Дай мне вымолвить слово. Разве я сумасшедший, что приду гнать тебя из Нижнего с десятью человеками или приду отдаться тебе руками? Удержи твою челядь и слушай!

— Отдай оружие! — вскричал князь Борис.

— На, возьми его! — отвечал Симеон и гневно кинул к ногам его свой меч и свое копье. — Безумный князь! Гибель над твоей головой, а ты скачешь по болотам за цаплями! Симеон ходил, по-твоему, челобитничать о чужом наследстве у хана, а отнимал у тебя честным боем свое наследие. Я пришел к тебе мириться. Не требую твоего привета и ласки — не гордись и знай: ты и я — мы погибли оба!

— Что ты смеешь говорить мне, бродяга?

— Господи! Пошли мне дух кротости! — вскричал Симеон. — Князь Борис! Хорошо, я отдаюсь тебе — вели удалиться твоей дружине, и я расскажу тебе все. Три дня без отдыха скакал я в Нижний, и уж сутки не было у меня во рту макова зерна. Не врагом пришел я к тебе и не ссориться с тобою. Ты знаешь Симеона и поверишь, что, если бы не последняя мера, ты не увидел бы здесь меня безоружного!

— Вижу, что ты пришел с покорною головою, Симеон, — сказал Борис, успокоенный поступками Симеона. — Теперь здравствуй!

— Здравствуй, раб князя московского! — отвечал Симеон, презрительно усмехаясь.

— Как? Ты смеешь мне сказать?..

— Поезжай скорее в свой дворец и встречай послов московских. Они теперь уж, верно, в Нижнем и привезли тебе подарки от хана.

Борис побледнел и оглянулся на своих воинов.

— Где Румянец? — вскричал он. — Где Белевут? — И затрепетал, не видя их.

Общее смущение видно было на всех лицах.

— Симеон! Что ты говорил мне? Какие послы? Какие подарки?

— Ох! Князь Борис! И ты хочешь княжить в такое время? Он и не знает, что у него делается! Вот теперь-то спознаешь ты, кто тебе был враг настоящий и чего тебе беречься! Поедем скорее в Нижний — я все расскажу дорогою.

Он повернул коня. Безмолвно следовали за ним Борис и все охотники: с ними смешалась дружина Симеонова.

— Объясни мне, князь Симеон, — сказал наконец Борис, — что такое ты говоришь?

— Легко рассказать, да каково-то будет тебе слушать: ты уже не князь Нижнего Новгорода! Ты захватил мое наследие и не умел удержать его. Мне обещал отдать его хан Тохтамыш — отдал тебе; а теперь подарил князю московскому.

— Князю московскому!

— Подарил, и с придачею Мещоры, Торусы, Городца и Мурома. Хочешь ли ты ему отдать Нижний?

— Я? Нет! Никогда!

— Давай же руку, князь Борис, я с тобой! А не то дай мне управиться и с Москвою, и с ханом!

Борис молча подал руку. Забытое воспоминание родства как будто растрогало его сердце. Он пожал руку Симеона.

— Жива ли княгиня моя? — спросил Симеон изменившимся голосом.

— Жива и здорова.

— А дети мои?

— Здоровы.

— А брат Василий?

— Также.

— Где же они? В тюрьме? — спросил дрожащим голосом Симеон.

— Нет! — отвечал Борис, скрывая свое смущение. — Княгиня твоя и дети живут сохранно в Георги-

евском тереме, а князь Василий в Городце... под стражею...

— Бог с тобой, дядя! Сколько зла сделал ты нам твоею окаянною жадностью! — Симеон утер слезу. — Но что было, то было, и кончено! — промолвил он задумчиво.

— Князь Симеон! Я отдам тебе Городец и Суздаль.

— Спасибо! Щедро даешь, да еще дадут ли тебе самому хоть посмотреть на твой Городец... Кажется, бьют набат на Спасской колокольне!

Быстрее прежнего поскакали они в город.

— Не думал я, что так скоро отзовется здесь голос хана! — сказал Симеон. — Видно, и москвичи медлили не более моего. Поспешим!

Они въехали на пригорок, с которого открылся им весь Нижний Новгород. По всему заметно было, что в городе большое смятение. Уныло отдавался набат, хотя нигде не видно было пожара. Народ бегал по улицам. Воины, полуодетые, бежали из домов своих. Борис и Симеон въехали в город и смешались с толпами народа. Напрасно спрашивали они, что такое сделалось, — никто не знал. Все были испуганы набатом и спешили на площадь.

Там толпы народа уже сбежались со всех сторон. Воины нижегородские стояли рядами. Перед ними на коне был Румянец и что-то горячо говорил им. Увидя Бориса, он остановился в смятении...

Ни один человек в Нижнем Новгороде не оставался спокоен. Народ любит бежать на всякий шум, а теперь еще более все взволновались, видя, что в городе сделалось что-то необыкновенное. Набат, воины, собранные рядами у дворца, — все было непонятно нижегородцам. Говорили, что татары подступают к городу, что Симеон пришел к Нижнему с войском, кричали, спрашивали, отвечали и не знали, что такое говорят. Жены, дети стояли подле ворот домов своих и нетерпеливо преследовали встречного и поперечного вопросами: «Что там такое, родимый, сделалось?» У Некоматова дома была толпа его челядинцев, стариков, старух, детей. Разинув рты, смотрели они на волнение, когда подскакал к ним воин на борзом коне и в светлом шеломе.

— Дома ли гость Некомат? — вскричал он.

Изумленные зрители не знали, что сказать ему.

— Верно, дома! — сказал воин, спрыгнул с коня своего и побежал в светлицу.

— Ведь это боярин Димитрий? — говорили между собою свидетели неожиданного явления.— Откуда он взялся? Зачем он здесь?

Димитрий толкнул двери светлицы; они были заперты. С лестницы терема тащилась старая няня Ксении.

— Где гость Некомат, старушка? — спросил Димитрий.

— В саду, батюшка,— отвечала няня,— прикажешь позвать его?

Но Димитрий не дослушал слов старухи и бросился в сад. Там в углу между деревьями увидел он старика. На коленях, нагнувшись к земле, закрывал Некомат пожелтевшими листьями место, где заметно взрыта была недавно земля. Голос Димитрия заставил его содрогнуться. Он оборотился, испуганный, и не знал, что сказать ему.

— Готов ли ты на дело, гость Некомат? — вскричал Димитрий.

— Готово, сердце мое, готово! — отвечал Некомат, отталкивая ногою заступ, брошенный на землю.

— Что значит твое смущение, твой встревоженный вид? Зачем ты здесь, в саду?

— Я... я хотел бы знать, боярин, что за нужда тебе спрашивать? Куда ты спешишь? Зачем я тебе надобен?

— Колокол говорит тебе, Некомат, что мы начали свое дело. Вижу, что ты делал здесь: золото твое не давало тебе покоя, пока ты не схоронил его!

— Дивлюсь, бояре, что вам все чудится у меня золото, и вы только и допрашиваетесь его у меня!

— Некомат! Не схоронил ли ты с твоим золотом усердия к правому делу? Готов ли ты?

— Куда же, боярин? На что мне быть готовым? Не боишься — середи белого дня приезжаешь ко мне... Ну, если увидят...

— Что с тобой сделалось, Некомат? Чего ты боишься? Не кончено ли все было вчера? Теперь скрываться нечего: власть князя Бориса скоро разлетится, как дым! Все готово... Поспешим на Спасскую площадь! Мои молодцы все в сборе!

— Боярин! Зачем же я-то туда пойду? Человек я старый, не ратник, не воин... Дело, может, дойдет до мечей... Боярин Димитрий! И ты себя побереги, ради меня, ради моей Ксении, твоей Ксении...

Димитрий в изумлении смотрел на Некомата, бледного и трепещущего. Жалкая трусость видна была во всех движениях старика. Резкий звук трубы раздался вдалеке — другой звук отвечал ему с другой стороны.

— Слышишь ли, Некомат? Вот съехались и удальцы мои! Они подают вестовой голос. Идешь ли ты с нами?

— Ради Христа, боярин Димитрий! Голова моя кружится... Позволь мне молитвою участвовать в вашем деле... Благословляю тебя отцовским благословением... Береги себя, сын мой!

— Если мне суждено положить душу за моего князя — умру радостно!.. Но я точно ошибся, Некомат,— ты не годишься на наше дело... Я полагал в тебе более смелости. Жди же меня или мертвого, или... Прощай!

Громкие клики раздались перед садом. Блестящие оружия показались вдали.

— О! Пойдем к ним! — вскричал Некомат.— Пойдем к ним! Тебя ищут — не приводи их сюда!

Он поспешно пошел из сада, оглядываясь во все стороны с ужасом и трепетом. На дворе Некоматовом было множество всадников. Ворота были настежь растворены, и перед ними еще более видно было пеших и конных воинов и народа с дрекольем. Только что показался Димитрий с Некоматом, как брат Некомата, Федор, со смехом закричал им навстречу:

— Вот они оба! Поздравляю тебя, боярин: ты умел вытащить и моего тяжелого братища! Что, Некомат, не отсиделся?

— Федор! Я всегда был душою за Симеона!

— Кто ж узнает вас, хитрецов! Боярин! Пора, пора — мои все здесь! Только Замятня бог весть где девался!

— Что вам до него — он свое дело знает!

— Коли так, то мешкать нечего, Белевут только что проехал здесь. Он звал нас к Спасу и сам велел бить в набат. Московские воины и послы уже в городе и едут прямо туда. С ними и ханский посол.

Димитрий вскочил на коня.

— Прощай, Некомат, молись за нас усерднее!

— Как — молись? Разве он не с нами?

— У него голова болит и кружится. Оставьте его!

— Нет, нет! — вскричало множество голосов. — Он хитрит! Не пускать его!

Только тогда заметил Димитрий, что многие из воинов и народа были пьяны. Он хотел защитить Некомата. Толпа зашумела — начался спор. Смело растолкал Димитрий толпу, но послушание было потеряно. Тут прискакал еще воин.

— Ребята! — вскричал он. — Мы ошиблись: Борис не дремлет! Его дружина собралась подле княжеских теремов. Приверженцы Бориса поднялись! К делу скорее — там наших бьют!

Смятенный крик раздался в толпе:

— За Симеона! За Симеона!

Все бросились в беспорядке на улицу, но Некомата не оставили. Его ухватили за ворот.

— Спасите меня! — кричал он дрожащим голосом.

Димитрий был уже далеко и скакал по улице, в тесноте народа.

— Кричи с нами! Иди с нами! — шумели вокруг Некомата.

— Дайте мне хотя шапку взять!

— Уйдет — не пускать! На́ мою! — вскричал один из толпы и надвинул на него свою шапку. В отчаянии закричал Некомат громко:

— Да здравствует Симеон! — И его увлекли в толпе и смятении.

Тихо и спокойно светило солнце на суеты земные. Ни одного облачка не было на небе. Ветерок веял освежительным холодом. Неизменяема была природа — волновались только люди.

По условию с Белевутом, Димитрий собрал к Некоматову дому всех своих сообщников. К ним пристало множество недовольных князем Борисом и его боярами. Воины Симеона, жившие скрытно в Нижнем, все явились в условленное время. Безумцы! Они не знали, что коварство готовило сети для их погубления!

Разнообразное скопище, предводимое Димитрием, шумно бежало к Спасской церкви, где глухим воем отзывался набат.

Димитрий был впереди всех. Но только что хотел он повернуть на площадь, как навстречу ему прибежал воин.

— Боярин! Будь осторожен: дело наше худо! — вскричал он.

— Что ты говоришь?

— Послы московские уже там. С ними посол хана; но знаешь ли, кто посол ханский? Царевич Улан!

— Зачем послал Тохтамыш его, а не иного?

И Димитрий бросился опрометью; за ним последовали другие. Толпа, где находился Некомат, отстала от них.

Вот с боковой улицы бежит другая толпа и кричит громко: «За Бориса! За князя Бориса!»

— За князя Симеона! — отвечали яростно приверженцы Димитрия.

— Прочь Симеона!

— Прочь Бориса!

Тут в бешенстве бросились обе толпы друг на друга. Но приверженцы Бориса были сильнее. В несколько минут рассеялись заступники Симеона. Молодой боярин Бориса ринулся в самую середину их скопища, с мечом в руках. Некомат успел вырваться и броситься к нему.

— Ты зачем здесь, гость Некомат! — вскричал боярин.

— Я за Бориса, кормилец, я за Бориса! — едва мог проговорить Некомат, задыхаясь.

— Добрый человек, но как же попался ты к ним?

— Неволею, боярин! Меня прибили, уволокли.

— Я твой защитник — пойдем с нами!

И Некомат, махая чужою шапкою, пошел с боярином и его дружиной, при громких криках:

— За Бориса! За Бориса!

Со всех сторон стремились буйные толпы народа. В смятении почти никто не знал, что делает и куда бежит. Это предвидели, этого ждали Белевут и сообщники его.

Близ церкви Спаса в тесноте народной видны были блестящие ряды многочисленной московской дружи-

ны. Юный князь Димитрий Александрович Всеволож предводил ими. Несколько татарских воинов и посол ханский, царевич Улан, на вороном арабском коне, горделиво стояли там, оперщись на копья. Рядом с царевичем был другой знаменитый татарин, мрачный, угрюмый и седой как лунь.

Задыхаясь от жара и усталости, подъехал к ним Белевут, слез с коня, низко преклонился пред послом хана и дружески обратился к князю Димитрию.

— Насилу дождались мы вас, князь Димитрий! — сказал он. — Мы работали здесь обеими руками, и работы было нам довольно!

— Все ли ты сладил, боярин?

— Все, все. Вам остается только взять Нижний. Дураки думали, что и в самом деле мы хотим помогать их бродяге Симеону — они взворошились; а мы в мутной воде рыбы наловили.

— Мастер своего дела! Князь скажет тебе спасибо. Кроме Белевута, не всякий бы захотел здесь быть рыбаком.

— Ты еще молод, князь Димитрий, и не знаешь, что с своей храбростью ничего не сделал бы ты против ретивых нижегородцев. Ловко умел я облелеять князя Бориса, нашел друзей; но этого еще было не довольно. Нижний начинен приверженцами Симеона. Бешеная храбрость его кружит головы всем, и удаль нижегородская рада была вступиться за него. Да что? Были такие молодцы, что тайно скрывались здесь и крамольничали. Все высмотрено мною — замечены все их удалые головушки! Довольно было попировать с ними десятка два раз и уверить их, что князь московский идет защищать Симеона, так они и выложили сердца на ладони.

— Что же делать с ними?

— А что бог даст! В Волгу так в Волгу, а нет, так в Москву их или передать татарам, а лишнее у них обобрать!

Князь Димитрий с презрением отвернулся от него. Белевут горделиво взглянул на Димитрия и проворчал сквозь зубы:

— Молодой зверок, а как нос задирает; да мы с тобой переведаемся в Москве!

Тут приблизился к ним толмач и объявил, что царевич Улан требует к себе бояр московских. Они





окружили Улана, сняли шапки и слушали, что он начал говорить им. Улан требовал налицо князя Бориса.

— Вы привели меня на площадь, но я не торговать приехал к вам, а объявить, чтобы князь Нижегородский передал Московскому свое княжество. Приведите его ко мне!

— Мы ждем его сюда, знаменитый царевич! — отвечал князь Димитрий.

— Да я не хочу ждать! Подите и скажите ему, что непослушание его будет наказано. Посол могучего хана, повелителя русской земли, не повторяет своего приказа.— Он поправил шапку и гордо подперся рукой. Седой товарищ его хранил угрюмое молчание.

— Проклятые гордецы! — проворчал князь Димитрий, крепко сжимая рукоять сабли своей и отвращая гневный взор свой от ненавистных татар.— Когда-то рассчитаемся мы с вами!

Сюда, в сети врагов, спешили безрассудные приверженцы Симеона. Уловка московских бояр одним ударом подсекла все опоры Нижнего Новгорода. Измена Румянца и бояр Борисовых отдавала в их руки беспечного князя Бориса без боя, без сопротивления. Он не знал даже о приближении послов ханских и московской дружины, быстро мчавшихся из Коломны, где остановился на время князь московский Василий Дмитриевич, возвращаясь из орды.

Там, встреченный приветствиями вельмож своих и кликами народа, пришедшего навстречу ему из Москвы и окрестных городов, он обнял радостное семейство свое и известил боярскую думу о решении хана. Изумлялись успеху предприятия, почти неожиданного. Сильное Суздальское княжество подпадало власти Москвы с областями, даже и не принадлежавшими к Суздалю и Нижнему Новгороду. Думали, однако ж, что Нижний не поддастся Москве без сопротивления. Многие полагали даже поход на Нижний делом необходимым. Между тем и другие известия, привезенные князем из орды, тревожили бояр. Князь расстался с Тохтамышем на берегах Волги, где Тохтамыш ждал противника страшного и могучего. Тимур, гроза азийских царей, победитель Персии, властитель Вавилона, Бухарии и Грузии, прибли-

жался с бесчисленным войском. На Волге должна была решиться вражда, горевшая между двумя страшилищами народов. Опасение Тохтамыша за успех видели из его ласкового приема князю Московскому, из решения, коим он отдавал Москве обширную область своего союзного князя, только что за год перед тем получившего ее на обладание от самого Тохтамыша. Кто мог узнать, чем кончится битва Тохтамыша с Тимуром? Тимур тяготел над Русью, как тяготеет тяжелая неизвестность будущего над головою человека, испытанного прежним бедствием и окруженного угрожающими предвестиями, как гроза, чернеющая вдали, на краю небосклона, страшит земледельца, у которого молния недавно подпалила поле и сожгла хижину.

В таких обстоятельствах нельзя было отвести от Москвы войск, собиравшихся отовсюду. Надобно было встретить общую опасность, соединявшую всех под знамена Москвы. Опытные бояре, окружавшие юного князя Московского, не хотели соблазнять Русь междоусобием, в то время когда и небесные знамения предвещали ужасы и бедствия: каждый вечер, каждое утро кровавая заря загоралась в небесах.

Бояре помнили дела Симеона. Наследство княжества Суздальского было давним предметом споров между Димитрием Константиновичем и братом его Борисом. Димитрий, добрый, но слабый, еще при жизни своей вверил правление сыновьям. Он был в милости у хана Агиса. Когда Андрей, князь нижегородский, скончался, Димитрий, княживший в Суздале, объявил права свои на Нижний, но Борис, брат его, князь городецкий, захватил престол нижегородский. Димитрий прибегнул к помощи Москвы. Увидели зрелище невиданное: из Москвы не воинство явилось, не рать сильная пришла — явился смиренный пустынножитель Сергий. Он судил двух братьев и осудил Бориса. Борис затрепетал, уступил, и благословение пустынножителя возвело Димитрия на престол. Смерть Димитрия через несколько лет возродила новые распри. Симеон от смертного одра отцовского послан был в орду требовать Нижний как свое наследие. Туда явился и Борис. Золото покорило ему сердце вельмож ханских, но Симеон не смирился, бежал из орды в Москву, и Дмитрий Иоаннович, тогда

еще княживший, подвигся на защиту племянника. Борис укрылся в Городце, наследном княжестве своем, уступил Нижний Симеону, но снова явился в орде, полгода кланялся хану, обещал дань и покорность — и выкланял Нижний. Напрасно Симеон спешил в орду из Москвы, где посещал вдову, сестру свою Евдокию, оплакивавшую преждевременную смерть героя Донского: его ожидали цепи. Борис тверже прежнего сел на престол нижегородский. Но непродолжительно было торжество вероломного хищника. Двор ханов ордынских представлял тогда позорище смятений и неустройств. Все покупалось золотом. Веры и верности не знали. По призыву хана юный князь Московский, сын и преемник Димитрия Донского, явился в орде. Тохтамыш, беспокоимый слухом о Тимуре, хотел уладить мир с Москвою, уже сильною среди других русских княжеств. Бояре юного князя Московского, несмотря на бедственные предвестия новых ужасов отчизны, не хотели оставить без пользы милостивого приема ханского; они просили Нижний и Суздаль. Тохтамыш разодрал грамоту Борисову и отдал Нижний Москве. В число статей договора включен был вечный плен Симеона в орде. Но у Симеона были друзья, и он сгиб и пропал из орды. Мы видели, где очутился он.

Если бы московские бояре не были дальновидны и не отправили заранее в Нижний Белевута, боярина московского, хитрого и опытного в делах, покорение Нижнего было бы невозможно. Мы видели, как успел Белевут усыпить князя Бориса, умел найти изменников в окружавших его вельможах и между тем узнал тайных сообщников Симеона. Сношения Белевута с Москвою были беспрерывны. И когда московские бояре думали и не знали, на что решиться, известия от Белевута показали им, что хитрость уже успела сделать, чего недоумевала их мудрость. Белевут просил только поспешнее присылать дружину и послов ханских, уверяя, что Нижний покорится. Дружина и послы отправились. Он уговорил между тем сообщников Симеона возмутиться в самый день приезда их. В смятении легко можно было управиться со всеми.

Если бы князь Борис был деятельнее, если бы Симеон успел приехать в Нижний днем ранее, ничто не

помогло бы Белевуту. Но теперь все было потеряно. Князь Борис, встревоженный волнением сообщников Симеона, не слушал никаких убеждений его. Разгневанный смятением, он укорял его в измене и велел наложить на него цепи, а Румянцу с дружиною разогнать сообщников Симеона, пока сам отправлялся принимать ханских послов на площади у Спасской церкви.

Несчастный князь! Едва явился он туда, посол ханский объявил его княжество областью Москвы и бросил перед ним грамоты Тохтамыша, коими Борис возведен был на княжество. Подле той темницы, куда, по его повелению, повержен был Симеон, посадили и его, обремененного оковами. Бояр его развезли по разным областям московским. Буйные сообщники Симеона встречены были пищальным огнем московской дружины. Невиданное дотоле действие губительного оружия ужаснуло их — все разбежались, и на другой день в Нижнем Новгороде все было тихо и спокойно. Три дня угощал Белевут царевича Улана и татар в княжеском дворце. Пируя, они забыли даже закон Мугаммеда, пили вино из золотых кубков княжеских и прятали их себе за пазуху, на память угощения, как всегда велось у ханских послов. Белевут проводил их за город, низко поклонился им и поехал в Москву поздравить своего юного князя князем Нижегородским и Суздальским. С ним поехали избранные люди нижегородские.

Кто были сии избранные? Где были тогда Димитрий, пламенный юноша, всем жертвовавший своему князю, и Замятня, неосторожный, но верный дружбе и усердию? Где был Некомат, сребролюбивый, бездушный скряга? Что ожидало Белевута при дворе князя Московского?

Там, где вьется струистая Сетунь и где воды Раменки пробираются по каменистому дну в Москву-реку, рос в старое время густой лес. Простираясь на Воробьевы горы, в другую сторону он выходил далеко на Дорогомиловскую дорогу. По Сетуни и около нее, в лесу, рассеяны были хижины села Голеницева, принадлежавшего московскому митрополиту. Среди них белелась церковь Трех Святителей. Подле нее был дом митрополита.

Еще не подавали огня, и вечерняя заря тускло светила в окна митрополитской кельи. Митрополит Киприан сидел за большим столом. Вокруг него лежало множество пергаментных списков и бумажных свертков. Против него сидел благообразный инок. Они только что кончили чтение рукописи.

Кто-то постучался в дверь кельи. Дверь отворилась.

Князь Василий Димитриевич вошел первый, подошел к благословению митрополита и приветствовал его. Инок Димитрий робко встал, видя своего государя и повелителя. Василий, едва вступивший в юношеский возраст, был не величественного, но важного и сурового вида. Морщины уже видны были на челе его и показывали в нем ум твердый, нрав неуступчивый. Богатый бархатный терлик и шитый шелками охабень были на него надеты, и сабля его блистала дорогими каменьями. За ним шел старец высокого роста, седой, но еще не согбенный летами: то был князь Владимир Андреевич Храбрый. Бояре следовали за ним. Между ними был и толстый Белевут. Инок Димитрий низко преклонился перед всеми и вышел.

Задумчиво остановился он в ближней комнате, где келейник митрополита в бездействии дремал, сидя на лавке и сложа руки. Потом вышел в обширные сени, где широкие стеклянные оконницы были растворены. Долго смотрел Димитрий в растворенное окно, как тени вечера ложились на окрестные леса и горы, как обширная Москва вдалеке засвечивалась огнями и как Москва-река извивалась вблизи полукружием около Воробьевых гор. Вдруг вошел келейник митрополита и сказал, что митрополит требует его к себе.

Не понимая, зачем могли призвать его в совет князей и бояр, инок шел робко. Подходя к келье митрополита, он услышал многие голоса — заметно было, что говорят с жаром. Димитрий вошел в келью. На столе горели две свечи. Князь Василий и князь Владимир сидели подле Киприана. Бояре стояли в отдалении. Разговор прекратился.

— Князь! — сказал Киприан.— Инок сей мудр и благочестен. Ты можешь вверить ему все тайны. Он знает греческий язык и прочитает нам послание.

Князь молча вручил Димитрию свиток.

То было письмо грека, издавна жившего при дворе ордынских ханов. Он был некогда послан из Греции еще к хану Мурату, и звание лекаря доставило ему милость и любовь всех после Мурата ханов Золотой орды. Димитрий просмотрел письмо, и руки его задрожали. Нетерпеливое ожидание видно было во взорах князей и бояр. Трепещущим голосом начал он читать и переводить:

«Как единоверного государя и благодетеля моего, спешу уведомить тебя, благоверный князь, что судьба Золотой орды решена. Тимур-хан победил. Тохтамыш разбит, бежал и скитается в твоих, государь, или князя Витовта областях. Но горе нам, горе твоей Руси, горе благоверной Византии! Огнь и меч Тимура сровняли ханские терема с землею — уже нет ханского Сарая; погибло великое, погибло и малое: и мое убогое стяжание расхищено. Не забудь, государь, меня, твоего доброхота и радушника! Пишу к тебе, государю, среди развалин, потоков крови и груд смердящих трупов. Тьмы тем татар Тимур-хановых, как саранча, хлынули на берега Волги, и ни возраст, ни пол, ни род, ни сан — ничто не избегло гибели, посрамления и неволи! Железа недостает на цепи, и мечи воинов проржавели от запекающейся на них крови. Уведомляю тебя, государь, что Тимур-хан есть один из бичей, посылаемых на человека, пред коими исчезают и глад, и хлад, ровняются горы и высыхают реки, отверзая им пути. Страна есть некая, именуемая Арарь, и в ней родился, не от царя и не от старейшины, Тимур свирепый, лютый, кровожадный. Он был разбойник. Сперва грабил стада, но, пойманный пастырями, был ими зельно бит. Они изломали ему ногу. Он же перековал ногу железом, и оттого наречен Темир Аксак, иначе же Тамерлан, иже переводится Темир Хромец. И, завоевав всю Арарь с немногими разбойниками, потек он на другие страны, и от Синия Орды исшел в Шамахию и Персиду, где преклонились пред ним цари и князи, и военачальники. Тимур хочет перейти пучины Окияна и победить весь свет, и взять Индию, и Амазоны, и Макарийские блаженные острова; и уже приял он Ассирию и Вавилонское царство, и Севастию, и Армению и все тамошние орды попленил, и се имена их: Хорусани, Голустана, Ширазы, Испаган, Орнач, Гинян, Сиз,

Шибрен, Саваз, Арзанум, Тефлис, Бактаты, и ныне Сарай великий и Чегадай, и Тавризы и Горсустани, Обезы и Гурзи. Был он и в Охтее, и приял Шамахию, и Китай, и Крым. Шел он на орду безвестными степями: шесть месяцев не видал ничего, кроме неба над головою и песка под ногами; за полгода вперед сеяли просо для прокормления его войск. И сам Тимур яростен, злобен, пьет кровь и питается, страшно изречь, человеческою плотью! И слыша все сии вести, грозные и страшные, по все дни обносящиеся, ужасом все исполнились и все страхом великим и печалью одержимы пребывают. Грозится Тимур достигнуть и второго Рима, велелепныя Византии и обтечь всю землю...»

Здесь слезы заструились из глаз Димитрия, и бумага выпала из рук его. Все безмолвствовали.

— Владыко! Что нам предпринять? — спросил Василий, не изменяя своего угрюмого вида.— Мы ждали битвы Тохтамыша — она решила гибель его... Теперь настала чреда Руси. Темир Аксак идет на нас. Хочу стать с оружием против врагов отчизны моей, хочу поставить щит свой против злого хищника!

— Послушай совета моего, юный князь, меня, младшего по чину, но старейшего летами,— сказал князь Владимир.— Так некогда мы думали с отцом твоим и шли бороться против Мамая. Какая великая година чести была русской земле, когда мы в полях Куликовских пели победную песню на костях врагов! Богу угодно было моей руке предоставить удар, от коего пал Мамай и рассыпалась гордыня его. Но едва прошло два года, и Тохтамыш испепелил Москву!

— Должно ли мне сказать дружинам, отовсюду ко мне идущим: идите вспять, я не смею вести вас на битву? Должно ли самим себя оковать, прийти к Темир Аксаку и раболепно преклонить пред ним колени?

— Нет! Будь на коне, но не ратуй. Стереги Москву.

— Так, князь, таково и мое мнение,— сказал Киприан.

— Владыко! Ты не слышишь здесь воплей народа, не видишь горестных жен, бродящих с безутешными детьми, старцев, отчаянных на краю гроба! Нет! Я пойду отсюда, пока плач жен и вопли детей не погубили моей силы душевной! Прошу тебя, князь Владимир, быть в Москве и защищать ее, и если мы падем

в неравной битве,— твои лета и твое мужество порукой за храбрость малой силы, какую оставлю тебе.

— Князь! — отвечал Владимир.— Очисти же себя от греха, прекрати усобицу, губящую русскую землю, усмири совесть твою и не отринь совета старца: отдай Нижний Симеону!

— Нет, тому не бывать! Вспомни, князь Владимир, что я запретил даже и говорить мне о Симеоне!

— Князь! Вспомни о бедствии, грозящем России, вспомни, что горе будет человеку, алчущему корысти! Коварство и измена предали в руки твои деда твоего и дядей твоих. Но горе зиждущему дом свой неправдою! Отдай Симеону его наследие!

— Не говорите мне ни ты, владыко, ни ты, князь Владимир,— я не отдам Нижнего!

— Страшись и блюдись, да не постигнет тебя бедствие, которое ты готовишь другим!

— Нет! Не на того падет гнев, кто хочет собрать воедино рассыпанное и совокупить разделенное! Не ты ли первый, князь Владимир, уступил мне право первородства? Благо тебе, но Симеон и Борис противятся мне — они противники власти, а не законные наследники, и меч правосудия тяготеет над главами их!

— Молод, а умен,— сказал Белевут, входя в светлицу своего боярского дома и сбрасывая свой боярский ферез,— молод, а умен князь наш! Никто не уговорит его выпустить из рук, что однажды ему попалось.— Поздравляй меня, Некомат, наместником Владимира и Суздаля! — прибавил он, обращаясь к Некомату, который дожидался его возвращения и низко кланялся ему, стоя подле дверей.— Садись, и поговорим о деле.

Некомат сел и придвинулся к боярину.

— Слушай: князь наш одобрил все, что я сделал. Завтра объявят торжественно о присоединении Нижнего к Москве, и тебя и Замятню допустят к князю, как избранных посланников нижегородских. Что за шубы подарят вам — загляденье!

— Печорских аль сибирских соболей, боярин? — спросил Некомат, усмехаясь.

Белевут захохотал.

— Признайся, гость Некомат, что Белевут помнит дружбу. Как бы оплошал ты, вступившись за Симеона! Теперь все у тебя цело, все сохранно...

— Слепота, батюшка боярин, слепота окаянная пришла на меня! — Некомат плюнул на обе стороны и перекрестился.

— То-то слепота, старая ты голова! Надобно слушать добрых людей, кто тебе впрямь добра желает! Теперь отпустят тебя и Замятню с честью и почестью.

— И Замятню, боярин?

— Да! Ты знаешь, какую услугу оказал он нам в тогдашнем переполохе: он указал место, где лежало оружие, серебро и золото сообщников Симеона, выдал нам все и сам не только не явился на площадь, да и других отводил...

— Боюсь что-то я за его верность, боярин!

— А я так очень хорошо понимаю Замятню, и знаешь ли, что вот этакой-то душе всего скорее вверяйся — глуп или, что называется, добр! Ты да я, мы летим туда, куда нам хочется, а его просто ветер уносит, куда дует, к тому ж Замятня богат, как Аред! Он и не заикнулся, когда я попросил у него на княжеские расходы... чистым золотцем отсчитал, а теперь гуляет себе по Москве, да и только! Видно, что за душой у него ничего не таится. Нет! Я верю Замятне — да это дело сторона, а поговорим о нашем другом деле. Я тебе сказывал, что у тебя есть товар, а у меня есть купец, которому он приглянулся. Согласен ты, что ль?

— Боярин! Хоть сейчас по рукам. Сын твой куда молодчик, а моя Ксения девка на возрасте.

— Отлагаю все до приезда князя Василия Димитриевича в Нижний. Видишь: завтра вас примут и дадут облобызать княжескую ручку, а там поезжайте и готовьте ему прием поласковее. Князь хочет испить вашей волжской водицы и полюбоваться на Нижний. Я приеду вперед. Такая ведь у нас теперь завороха: тут Витовт, там Тверской князь, а тут еще черный ворон налетает на Русь! Татары дрались, дрались между собой, а теперь вон, слышишь, идут сюда... Бабы да старики воют, еще ничего не видя!

— А что же, боярин, ты думаешь?

— Что думать! Разумеется, у кого есть запас, тому и с татарами хорошо. Ваш боярин Кошка, смотри, как ладит с ними! И то правду сказать — голова умная!

Так беседовали между собой Некомат и Белевут в московском тереме боярина.

Жребий Нижнего Новгорода был решен. Ни упреки матери, ни слова князя Владимира, ни советы митрополита Киприана, ничто не могло склонить князя Василия Димитриевича на милость к Симеону и роду его. Участь князей нижегородских оставалась еще неизвестною. Князь Борис томился в темницах суздальских. Симеон и семейство его были заключены в темницах нижегородских. Бояре нижегородские иные предались князю Московскому, другие, непокорные, разосланы были в дальние города. О многих ничего не было слышно.

Зима прошла в совершенной тишине. Войска русские собрались около Коломны, отаборились там и не двигались с места. Князь Василий Димитриевич был в Москве, кипевшей воинской деятельностью. Спешили оканчивать вооружение войск, собирали деньги, ожидали вестей. Слухи из орды замолкли, но то была зловещая тишина, подобная той, какую чувствует страдалец, удрученный недугом, перед последним старанием смерти — она не покоит его; холодный пот, костенеющие руки и ноги, темнеющий взор говорят об его разрушении — он жив, но на него уже веет могилою, он предчувствует то близкое мгновение, которого содрогается все живущее!

Тимур остановился на Ахтубе. Полчища его не двигались на Россию. Но так было и за полтора столетия, когда при Калке погибла надежда на спасение России. Несколько лет прошло, пока Батый ринулся в пределы русские и потек огненною рекою.

Летом Белевут приехал в Нижний Новгород. С ним была многочисленная свита. Князь Димитрий Александрович Всеволож с дружиною московскою выступил навстречу Московскому князю. В Нижнем готовились встретить его торжественно. Жители были в больших хлопотах: вынимали и готовили праздничные платья, чистили улицы, даже мыли дома снаружи. Белевут беспрестанно окружен был воеводами, просителями, искателями милостей, приезжими из нижегородских городов. Бояре, гости, почетные люди нижегородские толпились у него в светлице. Обеды превращались в пиры.

Но никто не отличался таким разгульным весельем, как Замятня. Золото и серебро блистали на столах его. Две бочки мальвазии выписал он нарочно из Москвы и часто, среди гульбы и песен, горстями кидал за окошко серебряные деньги и хохотал, смотря, как дрались за них мальчишки и нищие. Добрые люди говорили, что у Замятни пируют на поминках Суздальского княжества, да кто стал бы их слушать, каких-то добрых людей, которые всегда ворчат и на которых угодить трудно!

В веселом разгуле прошло две-три недели. Однажды Замятня зазвал к себе на обед всех бояр и всех богатых и почетных людей. Никогда не бывало у него так весело. Столы трещали под кушаньями. Мед, пиво, вино лились реками. Многие из гостей со скамеек очутились уже под скамейками. В ином углу пели псалмы, в другом заливались в гулевых песнях. Настал вечер. Дом Замятни, ярко освещенный, казался светлым фонарем, когда туманная, темная ночь облегла город и окрестности, и в домах погасли последние огоньки; все улеглось и уснуло, кроме любопытных, которыми наполнен был дом и двор Замятни. Одни из них пили, что подносили им, потому что велено было всех угощать, иные громоздились к окошкам и, держась за ставни и колоды, смотрели, как пируют гости и бояре, пока другие зрители, подмостившись, сталкивали первых, а третьи любовались конями бояр и гостей, богато убранными и привязанными рядом у забора к железным кольцам.

И теперь еще найдете в собраниях старинных чарок русских чарки-свистуны. У них не было поддона, так что нельзя было поставить такую чарку, а надобно было опрокинуть ее или положить боком, и потому такими чарками подносили гостям, когда хотели положить своих гостей — верх славы и гостеприимства хозяина! Вместо поддона на конце чарки приделывали свисток: гость обязан был сперва выпить, а потом свистнуть. Старики наши бывали замысловатее нас на угощение.

Такого-то свистуна огромной величины поднес Замятня Белевуту. Говорили, что Белевута нельзя было споить, но и у него бывало, однако ж, сердце на языке, когда успевали заставить его просвистать раза

три-четыре и когда уже петухи возвещали час полуночи.

— Чокнемся, боярин! — вскричал Замятня, протягивая другого свистуна. — Чокнемся и обнимемся еще раз!

— Будет, гость Замятня! У меня и так скоро станет двоиться в глазах, — отвечал Белевут, смеясь и протягивая руку к свече, чтобы увериться, не исполняются ли уже слова его и не по десяти ли пальцев у него на каждой руке.

— Э! Была не была! Что за счет между русскими! Слушай: здоровье того, кто пьет да не оглядывается! Разом!

— Давай! Если за нами череда, чего мешкать!

Они разом выпили, свистнули и бросили чары на серебряный поднос, который держал перед ними один из кравчих.

— Подавай кругом! — вскричал Замятня. Кравчий повиновался.

— Эх ты, боярин! Ведь уж люблю тебя за то, что молодец — и дело делать, и с другом выпить! Так по-нашему! Все кричат, что Замятня гуляка, пустая башка! Врут дураки: я в тебя, боярин, вот что ни смотрю — точно братья родные.

— Ты диво малый! — вскричал Белевут, обнимая Замятню. — Точный москвич, а не нижегородец!

— Что тебе попритчилось, что ты сначала-то меня невзлюбил? Ведь я был все тот же!

— Нет, не тот же; а теперь чудо, не человек... Прежде ты глядел не так — немножко кривил голову... Ха-ха-ха!

— А ты ее повернул мне, куда следует?

— Сама повернулась.

— То-то же: сама. Видишь, не туда ветер дул! Что ты льнешь к таким, что исподлобья-то смотрят? Верь тому, кто прямо в глаза глядит. Вот посмотрика: здесь кого-то недостает...

— Кого? — сказал Белевут, смеясь. — Ведь не тринадцать их осталось — чего бояться, если кто и уплелся!

— Надо знать, кто! Вот, примером сказать, Некомат где? Вон там сидел он и морщился!

— Так не лежит ли он где-нибудь?

— Нет! Думаю, он бодро ходит на ногах: не тот он

человек, чтобы свалился. О, не люблю я этаких народов...

— Знаешь ли, Замятня, что и мне он не больно любится что-то? Я спас его от погибели, он не то, что ты: у него все проказы Симеоновы были скрыты. Он и на Спасскую площадь шел с симеоновцами, а я все-таки умел его выгородить!

— А он спустил тебя на посулах?

— Не то, не такого олуха царя небесного нашел он, да что-то не ладится у меня с ним никак — словно козьи рога, в мех не идет.

— Скоро ли у вас свадьба?

— Скоро ли свадьба! Приехавши сюда, я и сына привез. В Москве Некомат поддакивал, а здесь отнекивается. Видишь, говорит, дочка не хочет, дочка плачет; а просто жаль с сундуками расстаться — ведь богат как немногие бояре московские.

— Полно, оттого ли, боярин? Богат-то он богат; но, право, я что-то куда сомневаюсь... Вот я — был грех... стоял за Симеона (тихонько прибавил Замятня), а как пошло не туда, так я уж напрямик твой! Тогда кричал я, за кого стою, и теперь кричу: мне что за дело! Думай обо мне кому что угодно! А этот Кащей все молчит, и кто его знает, что у него на уме!

— Я знаю,— сказал Белевут, коварно улыбаясь.

— Ой ли? Хочешь, о большом медведе моем, моей любимой стопе, что вон там стоит на полке?..

— Полно̀ шутить, Замятня, теперь уж все старое кончено.

— Как не так! Ты думаешь, траву скосил, так и не вырастет; а коренья-то выкопал ли? Чего тут далеко ходить... Что ты думаешь, все уж молодцы у вас в руках?

— Все. Хочешь, покажу тебе роспись, кто и где теперь?

— Убирайся с росписью! Я всех их прежде тебя знал... Лучшего-то у вас и нет... Где боярин Симеонов Димитрий?

— Где? У беса в когтях! Только одного и недостает!

— Этак он пошутил: только его! Да знаешь ли, что этот один стоит сотни?

— Ну где ж его взять! Пропал, как в камский мох провалился!

— Его нигде не сыскали?

— Уж все мышьи норки перерыли!

— А Некомат тянет ваше сватовство?

— Ну, что же?

— Князь Роман жену терял,
Жену терял, в куски рубил,
В куски рубил, в реку бросал,
В ту ли реку, во Смородину...

Так запел Замятня. Хор гостей подтянул ему с криком и смехом.

— Что же ты хотел сказать? — спросил нетерпеливо Белевут.

— Постой, боярин! Пусть они распоются погромче, я нарочно затянул, чтобы нас не слыхали. Слышал ли ты, что у Некомата в бане появился домовой, стучит, воет, кричит в полночь?

— Бабьи сказки!

— Мужские сплетни, скажи лучше. Я... хм! Я видел домового!..

— Ты?

— Да, я. Ну как ты думаешь, каков собой этот домовой дедушка? Кто он? Черт, что ли? — Замятня плюнул.

— Говори, говори! — вскричал Белевут. Глаза его засверкали.

— Постой, дай одуматься, все порядком будет! Однажды ночью вздумалось мне подсмотреть, что там за чудеса такие творятся и правда ли это, — и вот пошел я подкараулить. Вот и идет Некомат, идет дочь его — и домовой идет... Месяц светил ярко... Провались я на месте, если это был не боярин Димитрий, переодетый бесом! А ведь оттуда недалеко и Егорьевский терем, где княгиня Симеонова, и тюрьма, где... Симеон!

— Если ты лжешь, Замятня... — вскричал Белевут и взялся за саблю.

— Вот — лжешь! Послушай, теперь полночь... Ну, хочешь ли, пойдем потихоньку, нас не заметят! Авось мы встретим домового.

Недоверчивость, суеверный страх, досада, смех сменялись на лице Белевута.

— У тебя сабля, а я с голыми руками! — сказал Замятня. — На домового крест, а ведь ты не веришь, что Некомат думает что-нибудь худое!

— Нет, не верю... не верю... Пойдем!

Голова Белевута была разгорячена. Тихо вывел его Замятня в заднюю дверь, засветил фонарь и повел в сад свой, говоря, что огородами пройти ближе. Ночь была темная. Осенняя мгла наполняла воздух. Все вокруг было тихо. Лишь из дома Замятни слышны были клики и песни. Белевут шел за Замятнею. Они перешли через заднюю улицу в переулок, и ни одна душа человеческая не встретилась им. Только собаки лаяли сквозь подворотни. Скоро пришли они к задам Некоматова двора. Маленькая калитка была отворена. Они входят в обширный сад Некомата, идут тихо, осторожно. Ночной сторож крепко спит на скамейке. Вот вдалеке блеснул огонь. Они не ошибаются — идет человек с фонарем. Замятня задувает свой фонарь. Он и Белевут прячутся за деревья, человек с фонарем подходит — это Некомат.

Он идет, озираясь, оглядываясь, видит спящего сторожа, дрожит, поднимает палку и останавливается.

— Господи, помилуй! Не узнали ль? Если кто-нибудь подметил... Он, верно в заговоре, проклятый пьяница... Если узнали! Горе мне, горе! — Некомат ворчал еще что-то про себя, пошел по дорожке к калитке и пропал вдали.

— Что, боярин?

— Ничего,— ответил Белевут, улыбаясь принужденно.— Ведь это не домовой, и что ж тут за беда, если Некомат бродит ночью?

— Пойдем далее; а позволь, однако ж, тебя спросить: куда и зачем бы этак, например, Некомату бродить, с твоего позволения?

Белевут молчал. Опять прошли они мимо сторожа и пустились в самую отдаленную сторону сада, где построена была у Некомата черная баня, к чаще вишневых дерев.

Низкое строение стояло уединенно и было покрыто дерном. Одно только окошечко было в нем вровень с землею. Огонек светил из окошечка.

Едва подвигался Белевут. Страх отнимал у него силы. Они подходят к окошечку, ложатся на землю. Внутри горит свечка. При мерцании ее видно, что на лавке сидит Ксения, дочь Некомата. Она плачет. Подле нее человек в каком-то странном наряде; свет па-

дает ему на лицо. Замятня не ошибся: он — Димитрий, боярин Симеона!

Как бешеный вскочил Белевут. Замятня удерживает его — напрасно! Белевут вырывается, бежит к дверям бани, спотыкается, падает, хочет встать, чувствует, что его держат крепко, и с изумлением видит, что его обхватил Замятня. Он борется с Белевутом и кричит. Огонь в бане погас. Дверь растворяется, Димитрий поспешно выходит и несет на руках Ксению, бесчувственную...

— Она умерла! Она умерла! Господи, боже мой,— говорит он отчаянным голосом.

— Сюда, помоги! — кричал Замятня, зажимая рот Белевуту и опутывая его своим кушаком. Димитрий оставляет Ксению на земле. Они с Замятнею вяжут Белевута, тащат его в баню, бросают туда, запирают двери и заставляют их запором.

— Пусть кричит себе там, сколько хочет! — сказал Замятня, оправляя платье.— Димитрий! Брат! Друг!

Они крепко обнялись...

— Доволен ли ты мною? — спросил Замятня.

— Скорее усомнился бы я в царстве небесном, а не в тебе...

— Что, дурак я аль нет? Не обманул ли я самых хитрых, самых сильных людей? Жизни моей недостанет отмолить все обманы, какие принял я в это время на свою душу! И как легко плутовать, только захоти! Гораздо легче, нежели сделать что-нибудь доброе; а еще хвастают, дураки...

— Замятня, друг и брат! Мир не знает души твоей, да он и не стоит того... Награда твоя не здесь!

— Да и чем наградили бы меня? Деньгами? Я бросал их горстями за окошко! Почестями? Какие почести тому, кто о жизни своей думает столько же, сколько об изношенной шапке!.. Димитрий! Ступай прямо к Симеону — там уже все готово, а я побегу к гостям моим — у меня все собраны, и я никого не выпущу до света...

— Замятня! Увидимся ли мы еще в здешнем свете?

— Бог знает, друг Димитрий... Ну! Все равно — прощай!

— Прощай!..

Еще раз крепко обнялись они, и Димитрий чувствовал, как горячие слезы Замятни измочили ему лицо. Димитрий был точно как окаменелый. Он отшатнулся от Замятни и как будто тогда только вспомнил о Ксении, без чувств лежавшей на земле. Он наклонился к ней, взял ее холодную руку.

— Умерла? — сказал он.— Прости! И я ведь не жилец на земле! Тебе нерадостна была жизнь — я погубил тебя, а мне разве лучше твоего было?.. Но нет, нет! Она жива!.. Замятня, друг мой! Ксения жива! Ради бога, пособи мне...

— Чем же, брат? — отвечал Замятня, сложа руки и горестно смотря на несчастную Ксению и Димитрия, который, стоя на коленях, сжимал в руках своих ее руки.— Если бог даст Симеону возвратиться с честью и на счастье, будете еще жить и довольны, и веселы...

— Димитрий, супруг мой, милый друг,— вскричала Ксения, тихо поднявшись с земли и обхватив Димитрия обеими руками.— Ты идешь? Надолго? Когда возвратишься ты? Скоро ли?

— Скоро, милый друг мой, скоро и навсегда! Иди домой, успокойся...

— Домой! И мне должно скрываться, таиться перед отцом моим, глотать слезы мои и не видать тебя...

— Димитрий! Время дорого! — сказал Замятня.

— Иду! Еще на часок...

— Вспомни, что от тебя зависит участь Симеона...

— Да, да... Могу ли я забыть?..— И он исчез.

Тут крик Белевута глухо отдался в бане. Ксения опомнилась, закричала пронзительно и быстро побежала в свой терем. Замятня остановился на минуту и слушал. Все умолкло. Холодный ветер шевелил листья дерев. Невольный какой-то трепет объял его, и он спешил идти.

Быстро пробежал Димитрий по саду, захлопнул за собою калитку и опять хотел отворить — ему хотелось еще раз взглянуть на дом Некомата, на сад, где с Ксенией провел он столько счастливых часов в несчастное время своей жизни! Тайный брак соединил их во время поездки Некомата в Москву. Золото обольстило няню Ксении. В зимнюю ночь, когда все спали в доме, Димитрий увез Ксению. Они были обвенчаны в отдаленной церкви. Счастье не было их уделом.

Только Замятня, сторож сада и няня знали тайну свиданий их.

Темница, где заключен был Симеон, стояла подле кремля. То был старый, огромный, опустевший дом. Высокий забор окружал тюрьму. Стража стояла подле ворот и вокруг дома. Двое московских бояр жили в самом доме. Рядом с сим домом был сад Некомата и небольшой старый домик его. Димитрий быстро пробежал к воротам темничного двора. Несколько человек показались из-за углов: то были его сообщники. У ворот не было ни души — стукнули в ворота; изнутри отодвинули засовы. Все вошли в маленькую калитку, Димитрий трепетал даже голоса товарищей. Три ратника, стоявшие у дверей дома, подошли к Димитрию и сказали, что сторожевые бояре еще не возвращались, а темничный пристав, не участвовавший в заговоре, спит в своей каморке. Прежде всего задвинули двери и ставень окна его каморки. Вот на другой стороне забора раздался громкий оклик часового. Один из ратников откликнулся; раздалось еще несколько окликов, и все умолкло. Не теряя времени, стали ломать замки на дверях. Они уступили усилиям. Дверные запоры упали. Двери растворились. Вдруг померещилось Димитрию, что по улице вдоль забора от ворот кто-то крадется... Холодный пот выступил на лице его... Боясь испугать других, он не сказал ни слова, велел идти всем далее и ломать другую внутреннюю дверь. Он один — весь обращен в слух... тихо... опять шорох... Так! Кто-то крадется к тому месту, где стоит Димитрий... Всемогущий! Если их открыли! Изнутри дома слышно было, как скрыпит замок от напряжения лома... Димитрий прячется — таит дыхание. Кто-то подходит ближе, вынимает из-под полы маленький фонарь, светит. Мерцающий свет отражается на лице незнакомца — Димитрий узнает Некомата.

— Недаром чуяло у меня сердце! — шепчет старик. — Здесь не добро! Мое все цело, а здесь... Посмотрим... калитка отворена — сторожей нет... Как? И дверь разломана!.. И здесь нет стражи!.. Измена! Ударим в набат!

Он спешит идти. Свет из фонаря его мелькает ярче. О ужас! Димитрий не заметил сначала новой предосторожности, взятой тюремщиком: в трех шагах от дверей его каморки протянута веревочка, проведен-

ная в набатную кремлевскую башню. Уже Некомат подле нее — одно движение рукой, и вся кремлевская стража пробудится!..

Дыхание сперлось в груди Димитрия. В глазах у него потемнело. Кровь застыла и опять, как огонь, полилась по жилам. Он не помнит себя, бросается, сбивает с ног Некомата — фонарь тухнет... началась борьба отчаяния...

Старик был довольно силен. Он выбивается и бросается снова к веревке. Димитрий опять нападает на него. Рука Некомата ловит, почти хватает веревку, старик хочет кричать, нож выпадает у него из-за пазухи, и как безумный он ищет его в темноте, схватывает его и поражает Димитрия. Димитрий чувствует, что теплая кровь течет по руке его,— он не помнит о себе, борется, зажимает рот Некомату... Крик, новое усилие, еще удушаемый крик, еще усилие, последнее, отчаянное, и за ним хрипение умирающего...

— Убийца! — вскричал Димитрий. Голос его глухо раздался во мраке.— Я убил его!

И ему чудится, что кто-то страшно захохотал вдали. Но вот идут из тюрьмы — слышны голоса. В забытьи оттаскивает Димитрий в сторону труп Некомата, бросается к выходящим — Симеон!..

«О! Стонать тебе, русская земля, помянувши прежнюю годину и прежних князей, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Мстислава Храброго! Ныне усобица князей на поганые погибла. Рекли князья, то мое и то мое же, и сами на себя стали крамолу ковать, а поганые со всех сторон с победою приходят на землю русскую. Тоска разлилась по земле русской, и печаль тучная бродит по всем весям и градам. О! Стонать тебе, русская земля, помянувши первую годину и первых князей!» Так пел ты, певец плена Игорева, и века протекли, но вещия слова твои роковым пророчеством носятся по земле русской!

Что там расстилается, как туман на синем море? То стелется дым от огня, попаляющего жилища православных! Что там белеет, как снега во чистом поле? То белеют шатры бесчисленной рати Тимуровой! Сбылись страшные знамения, сбылись предчувствия, ужасавшие Русь,— Тимур перешел Волгу и двинулся на полночь по берегу Дона. Пустынями шло его воин-

ство, не встречая ни града, ни веси, ни села. Если и «были там древлеграды красны и нарочиты видением, места их единыя только оставались, пусто же все и ненаселенно, нигде не видно человека, только дебри велия и зверей множество». При впадении Сосны в Дон раскинут был наконец привальный табор Тимуров.

Зачем между ордами татар явилась русская дружина? Зачем она не в цепях, не в плену? Кто сей русский князь, которого руку дружески жмет старый татарин? Он, седой вождь татарский, был в Нижнем Новгороде и безмолвно смотрел, как сорвали венец княжеский с главы князя Бориса и как бросили в темницу Симеона.

— Наконец и ты здесь, русский князь. Поедем же в ставку великого Тимура! — говорил татарин.

— Поедем, — отвечал князь русский.

— Дружина твоя останется у моих шатров.

— Пусть останется.

— Ты должен оставить здесь все свое оружие.

Русский князь безмолвно снял саблю, отстегнул кинжал, положил копье. Подводят коней. Они едут.

Место, где расположен был стан Тимура, тянулось на несколько верст по берегу Сосны и Дона и неправильно простиралось в лес. Передовые отряды Тимуровы были за пепелищем Ельца. Ясное летнее солнце сияло на небе. Взъехав на пригорок, откуда видны были и берега Дона, и быстрые воды Сосны, русский князь невольно остановился, и тяжкая печаль изобразилась на лице его.

Перед глазами князя раскрылся стан Тимура: ни в какую сторону не видно было конца бесчисленному множеству шалашей, палаток, шатров, землянок. Лес на несколько верст был вырублен. Вдали дым поднимался клубами от догоравшего Ельца. Стада коней, волов, верблюдов, овец, орудия, каких до того времени не видано в России, воины, разнообразно одетые — богатые бухарцы, покрытые овчинами курды, закованные в железо персияне, черные эфиопы, наездники горские, воины европейские, — женщины и дети пленные, телеги, нагруженныя снарядами и добычами, оружие, наваленное кучами и расставленное рядами, огни, вокруг которых сидели воины, балага-

ны, где разложены были богатства и товары из всех стран света и где шла деятельная торговля, как будто на каком торжище, рев животных, звуки бубнов и труб, клики, песни, плач, игры, уныние отчаяния и неистовство счастия, бешеная радость и вопль ярости — все раскрывалось в зрелище невиданном и неслыханном.

На самом высоком месте, среди табора, стоял шатер Тимура. На нем блистала, как звезда, золотая, осыпанная алмазами маковица. Полы шатра из драгоценных индийских тканей были опущены. Вокруг шатра постлан был бархат, вышитый золотом и жемчугом. На полверсты к нему трудно было пробраться сквозь толпу вождей, воинов, князей, купцов, духовных людей и странников. Тройная цепь стражей, скрестивши копья, опрашивала всех подходящих. При ярлыке, который показал татарин, пропустили его и русского князя. Тут протянуты были серебряные цепи, тянулись в обе стороны богатые шатры жен и вельмож Тимуровых. Бессмертная дружина Тимурова окружала его ставку. Совершенное безмолвие было в рядах сих воинов, прошедших от песков татарских до Китая и от Персии до берегов Дона. Облитые золотом, опершись на булатные секиры, они были неподвижны. Как будто не видали они, что татарин и сопутник его подняли полу шатра и вошли в первое его отделение. Здесь разостланы были парчи, и на бархатных подушках сидели писцы и муллы; одни писали на шелковых тканях, другие погружены были в чтение свитков. В стороне сидел какой-то человек со свертком в руке, молча, выпучив глаза, шевелил губами и размахивал руками. Другой человек, с черною длинною бородою, не сводя глаз с книги, перед ним лежавшей, протянул руку к татарину, взял его за руку, посмотрел ему на ладонь, потом взглянул в книгу, взглянул на какой-то странного вида математический инструмент и дал знак, что они могут идти далее. Тихо подняли татарин и русский князь балдахиновую завесу, преклонили головы, вступили внутрь и стали на колени. Глубокое молчание. Украдкой поднявши глаза, князь русский ослеплен был блеском драгоценных камней, из коих узорами сделаны были украшения стен шатра. Вокруг набросаны были дорогие ткани; стояли деревянные кадки и

горшки с жемчугом, золотом, серебром: в груде лежало множество золотых чаш; в стороне брошен был овчинный тулуп; шерстяной войлок лежал на куче бесценных соболей. Вокруг стен положены были подушки, бархатные и парчовые, и подле каждой из них на коленях, обратясь лицами к Тимуру, стояли люди, преклонив головы. Только старик, державший в руках развернутый свиток и читавший его вслух, и другой, державший атласный сверток и трость писальную, сидели несколько ниже хана. Посреди шатра стоял большой кувшин, глиняный, на огромном золотом подносе, и подле него лежали два черных невольника. Сам Тимур сидел, поджав ноги, на подушке из драгоценного балдахина, потупив глаза, окруженный оружием, с чашею в руках. Он прихлебывал что-то из чаши и слушал чтение свитка — то было утреннее чтение алкорана.

Увидев вошедших, Тимур махнул рукой. Чтение прекратилось. Все поднялись и сели на подушках около стен шатра. Русский князь с невольным трепетом устремил взоры на страшилище, ужаснувшее собою полсвета. Он увидел человека, которому, по-видимому, было не более 50 лет,— таким железным здоровьем одарен был Тимур. Смуглое, загоревшее лицо, черная с проседью борода, простая зеленая чалма, пестрый шелковый халат и кинжал за поясом — ничто не показывало ничего необыкновенного при первом взгляде. Но другой взгляд едва ли осмелился бы кто-нибудь возвести на Тимура! Глаза его сверкали, как глаза тигра. Лицо его не выражало ни одной страсти, но оно было смешением всех страстей. Ничего не высказывало отдельно лицо Тимура, но каждое движение резких черт его обнажало пучину страстей, подобную той пучине море-океана, где, как говорят, неугасающая смола горит, и кипит, и застывает — плавит камни и леденит воду в одно время.

— Вот истинная премудрость, Джеладин-Абу-Гиафар! — сказал Тимур, указав на алкоран жилистою рукою, показывавшею его необыкновенную силу.— Вот где язык человека должен замкнуться в храмину безмолвия! Нам ли, праху земному, мудрствовать и стучаться в двери небесной мудрости? Что мы? Муравьи, тлен! Век наш — тень былия на горе Ливана!

Писец, сидевший по одну сторону Тимура, принялся писать. Тимур обратился к нему.

— Разве я сказал что-нибудь достопамятное? — промолвил он. — Правду, простую правду сказал я!

— Правду небесную! — отвечал писец.

— На что же записывать ее? Она в сердце твоем и моем, и всех людей. Люди все одинаковы.

— Нет! — откликнулся кто-то у входа шатра. Это был тот человек, которого видел русский князь в преддверии и почел сумасшедшим за его кривлянья.

— Тебе могу поверить, — сказал тихо Тимур. — Ты поэт, вдохновленный небом, — говори!

И поэт проговорил быстро:

— Если все древа земные обратятся в писальные трости, если все семь океанов потекут чернилами, и тогда мы не испишем всех чудес бога, создавшего Тимура! Цари — рабы его; от взоров его колеблются столпы Византии и трепещут опоры Индии! Пилою могущества перепилил он землю; на одной половине престол его; на другой океан бедствий, где реют в волнах слез и разбиваются о скалы ужаса враги его! Древо блаженства смертных выросло в груди его и распростерло сени святых законов от полудня до полуночи! Как из растворенных врат рая веет радостью на смертных, так из уст Тимура веет премудрость, и, обтекая пучину времен, она пройдет века и воссияет над гробницею последнего смертного!

— Благословен Алла, создавший Тимура! — воскликнули присутствовавшие.

— Абу-Халеб! Возьми себе вот этот горшок, — сказал Тимур, указывая на огромный кувшин, насыпанный вровень с краями золотом, — и помни, что Тимур прервал сон наслаждений небесными розами поэзии, видя бедного пришельца у прага шатра своего. Говори мне, Эйтяк, — сказал он, обращаясь к татарину, пришедшему с русским князем, — говори: тот ли это человек, который просит помощи? Что ему надобно? Не отняли ль у него земли, по которой идем мы, с благословением пророка, восставить повсюду закон и правду?

— Нет, великий саиб-керем! Он князь в полунощной части земли Русь.

— Во сколько седмиц пройти можно землю его? Простирается ли она хоть на месяц пути?

— Нет! Он владел немногими городами, далеко отсюда, на берегу большой реки, и у него отняли его землю.

— Так угодно было судьбам вышнего! Зачем не отдаст он венца за мирную соху, при которой счастлив бывает человек? Что ему хочется менять блаженство тишины на заботы царей?

— Землица была его наследие. Он почитает обязанностью хранить ее, ибо в ней схоронен прах его предков.

— Не Москва ли было наследие его? Я слыхал о каком-то городе Москве?

— Нет!

— Где посол Баязета? — спросил Тимур.

— С восхождения вчерашнего солнца ждет он ответа, не двигаясь с места, не совершая молитв и омовения и не вкушая трапезы, близ своего шатра.

— Кто он?

— Он царь Эрзерума, взятый в плен Баязетом, и ныне раб его.

— Напиши, Шефереддин, ясно напиши на бумаге Баязету, что Тимур предвидит погибель его на скале гордости и что корабль его плывет через пучины безумия. Напиши, что воины мои покрывают полмира и что скоро приду я в анатолийские леса и там богу правосудия предам мою обиду! Напиши и пошли проводить посла его столько человек, чтобы глаз не видел конца рядов их. А ты, князь Руси, поди с моим именем, поди один и пешком, в Москву — поди и скажи князю московскому, что я отдал тебе Москву, и — возьми ее себе.

— Он не посмеет взять не свое,— отвечал угрюмо Эйтяк.

— Эта Русь мне нравится,— сказал Тимур, улыбаясь.— Здесь, мне кажется, были когда-нибудь царства сильные. Ты знаешь леса Индии и Персии? Здесь совсем другие леса — они гробницы жизни. Вчера я много думал, смотря на следы города, которые открылись в дикой, вырубленной воинами дебри. Тут был лес — он был уже некогда вырублен,— жили люди, и их нет, и на городах их выросли вновь леса. Люди здесь, на Руси, сжались в маленьких городках и также

называются ханами и отнимают друг у друга то городок, то землицу! Для чего желаешь ты, князь русский, владеть своею землею? Земли всего надобно тебе вот столько! (Тимур показал меру могилы.) Сегодня ты гордишься, а завтра никто и не вспомнит тебя! Стоит ли труда земля твоя и век твой? Я был на том месте, где стоял Вавилон великий, и никто не мог мне сказать имен ханов, которых могилы являлись предо мною длинным рядом обломков. А знаешь ли ты, что один из сих ханов построил стены города, которых в семь дней нельзя было объехать?

Глаза Тимура блеснули, как молния.

— Взгляни на звезды небесные,— сказал он,— и знай, что есть и в мире такие звезды! Собирается воинство и идет на край света. Для чего движутся сонмы их, для чего клики их будят дух безмолвных пустынь? Не для стяжания, не для корысти! Они ищут перлов славы, нетленных очей памяти. Полхлеба, купленного за одну копейку, насытит человека. И что я? Бедный грешник, старый и хромой, но мне суждено было покорить Иран, Кипчак, Туран и предать губительному ветру истребления силы великие и царства многие! Теперь мы идем в страны, орошаемые Гангесом, Нилом и Евфратом. Мы пройдем Эфиопию и перейдем через те горы, где сказал какой то бессильный богатырь: не далее! Придем сюда еще раз, но уже с запада и чрез железные ворота Каспия пронесем завет пророка в Самарканде! А, Мустафа! Исполнил ли ты повеленное тебе?

— Голова Корийчака и головы его советников складены подле шатра твоего.

— Поди же и объяви Темир-Кутлую, что Тимур избирает его владыкой Кипчака, вод Яика и вод Дона, до самого Крыма.

Один из присутствовавших повергся ниц на землю.

— Ты здесь, Темир-Кутлуй? Я и не заметил тебя! Воздай хвалу не мне, а богу. Будь милосерд, правосуден и — царствуй многие дни!

— Восемь верблюдов, навьюченных золотом, и восемь невольников повергает раб твой к стопам твоим! — отвечал Кутлуй.

— Восемь? — спросил, изумясь, Тимур.— Девять дверей рая, девять молитв пророка, и число девять благословляет человека на земле!

— Девятый раб твой — сам я, освещенный взором твоим, и девятый верблюд — царство мое! Пророк не отринул нескольких капель воды, принесенных ему усердием...

— Поди же, Темир-Кутлуй, отдай этому князю русскому то, что у него отняли Тохтамыш и враги его! А ты, князь русский, помяни в молитве твоей меня, бедного хромца, и воздай за добро благоденствием твоих подданных!

По данному знаку Темир-Кутлуй, Эйтяк и русский князь преклонились и вышли из шатра. Все остальные зрители оставались неподвижны, и сидевшие в преддверии шатра были, как прежде, на своих местах. Все как будто оставалось недвижимо, но первый предмет, поразивший князя русского, когда он вышел из шатра Тимурова, была пирамида из окровавленных человеческих голов, которую склали в краткое время бытности его в шатре Тимура. На вершине пирамиды лежала голова Корийчака, избранного за несколько дней прежде в ханы Золотой орды. Кровь из нее капала и падала на песок, по обезображенным головам друзей Корийчаковых.

Прошли годы, прошли века. Память о нашествии Тимура осталась только в молве народной. Летописи русские повествуют, как зверовидный Тимур устрашен был чудным видением — в трепете ночью вскочил с одра своего, завопил страшным голосом, обратил вспять от берегов Сосны полки свои и бежал, никем не гоним!

Поколения прошли по лицу земли. Пыль гробов отяготела на них веками. Если вы будете в Нижнем Новгороде, войдите в древний Преображенский собор, взгляните на ветхие гробы князей нижегородских, разберите старинные письмена на их гробницах: вы найдете там гробницу Симеона; подле него гробница князя Бориса. Гроб примирил их.

. . . .

Вы хотите знать судьбу Симеона после того, когда вы видели его в шатре Тимура. Разогните древние летописи и читайте:

«Лета 1424-го князь великий Василий Димитриевич посылал воевод своих, Ивана Андреевича Уду, да Федора Глебовича, а с ними рать свою искать князя Семена Димитриевича Суздальскаго и самого его обрести или княгиню его, или дети его, или бояр, крыяшеся бо в татарских местех. И идоша на мордву, и наехаша князя Семена княгиню Александру в мордовской земле, на месте, нарицаемом Цыбирца, у святого у Николы, идеже поставил церковь бесерменин Хазибаба. И изымаша тамо княгиню Семенову Александру, и ограбиша ея, и приведоша в Москву, и с детьми юными, и затвориша их на дворе Белевута. Слышав же князь Семен, что княгиня его и с малыми детьми изымана, и посла к великому князю с челобитьем, милости моля, и вниде в покорение, и во многое умиление и смирение, прося о п а с а. Был же тогда князь Семен в ордынских местех, бегаша от великого князя, от Василия Димитриевича. Князь же великий Василий Димитриевич даде ему о п а с. Он же прииде из орды на Москву и взяша мир с великим князем, и иде с Москвы на Вятку, с княгинею и с детьми, болен бо бяше уже, и пребысть на Вятке пять месяцев, и в больший недуг впаде, и преставися, месяца декемврия на 21 день. И сей князь Семен Димитриевич Суздальский в веке своем многи напасти подъят, и многи истомы претерпе, во Орде и на Руси, тружався, добиваяся своей отчины, и восемь лет сряду не почивая, по ряду в Орде служаху четыремя царям: первому Тохтамышу, и второму Темир-Аксаку, и третьему Темир-Кутлую, и четвертому Шадибегу, а все поднимая рать на великого князя, на Василия Димитриевича, как бы ему найти свою отчину, княжество Новагорода Нижняго, и Суздаль, и Городец. И того ради мног труд подъя, и много напастей и бед потерпе, пристанища не имея, и не обретая покоя ногама своима, и не успе ничтоже, но яко всуе труждаясь. Суетно есть человеческое спасение и упование...»

Такова была судьба князя Симеона Суздальского. Но его боярин Димитрий, но Ксения, но Замятня?

Если что успеем найти, перескажем когда-нибудь о Димитрии, Ксении и Замятне. Теперь же повесть о Симеоне кончена.

1828

Н. Карамзин

МАРФА-ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА

Историческая повесть







от один из самых важнейших случаев российской истории! — говорит издатель сей повести. — Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала ему! Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно: им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы.

В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных

великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историею. И летописи и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Катоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только *страстную*, пылкую, умную, а не великую и не добродетельную женщину.

КНИГА ПЕРВАЯ

Раздался звук *вечевого колокола*, и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на Великую площадь. Все спрашивают: никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославова, уже собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые со знаменами и старосты всех пяти концов новогородских[1] с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени,— всходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь Московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования... Посадник схо-

[1] Так назывались части города: Конец *Неровскій, Гончарскій, Славянский, Загородский* и *Плотнинский.*

дит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных,— храбрый в битвах, велеричивый в совете. Все безмолвствуют, боярин хочет говорить... Но юные надменные новогородцы восклицают: «Смирись пред великим народом!» Он медлит — тысячи голов повторяют: «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

«Граждане новогородские! — вещает он.— Князь Московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собою и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину.

Граждане новогородские! В стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сем месте они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы под державною рукою варяжского героя сделались ужасом и завистию других народов; и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостию, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства; но Великий Новгород был всегда десницею князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам ца-

реградским. Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван Владетелем мира.

Граждане новогородские! Не только воинскою славою обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь на все концы вашего града, видят повсюду златые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибли с шумом в быстрых волнах его, то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному богу, Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Ярослава) — здесь жил мудрый законодатель, благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное! Внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию... и в какие времена? О стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также... Бог в неисповедимом совете своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от стран никому не известных[1], подобно сим тучам насекомых, которые небо во гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут, земля русская обагряется кровью русских, города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах... Что ж делают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям своим?.. Нет! Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать *вечевого колокола*, как

---

[1] Так думали в России о татарах.

трубы суда Страшного! Наконец никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча... Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее племя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, в Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их; в Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей[1] иностранных! Русские считают язвы свои, новогородцы считают златые монеты. Русские в узах, новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. Но вы также рабствуете. Народ! Я говорю с тобой. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен,— но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! Потомки славян ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле именитые, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысячские, люди житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли, торгуют и благом народа; кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так, известны князю Московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола,* и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «Вы — рабы мои!» Но бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, ободрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и торжества христианско-

---

[1] То есть купцов.

го. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, избранный богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их права с земною перстию. Димитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все предвидит, и, зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети отечества, после горестной долговременной разлуки, объемлются с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратится под сень отечества. Вы оскорбляли его предков, он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с каким благоволением, с какою мудростью он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все концы града и веселые окрестности; вспомните, как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь Московский, великий и мудрый!» Такому ли государю не славно повиноваться, и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире. Вы будете *первыми* сынами России; здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумное *вече*, но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые? Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки самодержавного.

Народ и граждане! Да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! Или — внимаете его последнему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится пре-

жде глазам вашим, да усмирит мятежников!.. Мир или война? Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! Здесь лилась священная кровь твоя, здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан, что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече, но предки мои были друзья Вадимовы, я родилась в стане воинском под звуком оружия, отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего счастия...»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.

«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежниками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях древнего мира... Они утвердились на красных берегах Ильменя и все еще служили одному богу. Когда Великая Империя[1], как ветхое здание, сокрушалась под сильными ударами диких героев севера, когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежами, тогда славяне имели уже селения и города, обрабатывали землю, наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но все еще любили неза-

[1] Римская.

висимость. Под сению древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия[1], но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: «Никто во вселенной не может поработить нас, доколе не выдут из употребления мечи и стрелы!..»[2] О великие воспоминания древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

Правда, с течением времен родились в душах новые страсти, обычаи древние, спасительные забывались, и неопытная юность презирала мудрые советы старцев; тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да повелевают юным, мятежным воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим *Храбрый* звал его пред суд народа. «Меч и боги да будут нашими судиями!» — ответствовал Рюрик, — и Вадим пал от руки его, сказав: «Новогородцы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стенах ваших...» Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его свободно и независимо решить судьбу свою.

Так кончина Рюрика — да отдадим справедливость сему знаменитому витязю! — мудрого и смелого Рюрика воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от Новагорода с воинством храбрых варягов и славянских юношей искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными и гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников; народ избирал власти гражданские и, повинуясь им, пови-

---

[1] См. византийских историков Феофилакта и Феофана.
[2] См. Менандера.

новался уставу воли своей. В киевлянах и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую, служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность свою Владимир, здесь, среди примеров народа великодушного, образовался великий дух его, здесь мудрая беседа старцев наших возбудила в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их, да откроется истина ко благу людей; и когда, убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость называет отцов наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны; их признательность радовала его сердце, ибо только души свободные могут быть признательными: рабы повинуются и ненавидят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на сии древние стены, говорит с любовию: «Там жил друг наш!»

Князь Московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не может оправдаться! Так, конечно: цветут области новогородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства льются к нам рекою; Великая Ганза[1] гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: «Мы видели Новгород, и ничего подобного ему не видали!» Так, конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опу-

---

[1] Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде.

стели, люди, как звери, в лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на распутиях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне, несчастные, но всегда любезные нам братья! Не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни, когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих — без робости: ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Напрасно с высоты башен взор их искал вдали дружественных легионов русских, в надежде, что вы захотите в последний раз и в последней ограде русской вольности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы беглецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения; они требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!.. Напрасно граждане новогородские молили князей воспользоваться таким примером и общими силами, с именем бога русского ударить на варваров: князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг друга в замыслах против Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несчастию ложных!.. И если имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли новогородского оружия напоминал его земле русской? Не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное! Сей витязь, добродетельный, драгоценный остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставил здесь и славу и счастие, когда предпочел имя великого князя

России имени новогородского полководца: не величие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире — и тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом: не удивительно! Он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не престали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны; одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны! благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать гибели, но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новогородские всего святее нам по боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностью для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? Разве последнего счастия умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя; искренние сердца их свободно изливались в радостных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя Московского; мы хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его свергнет с России иго татарское: он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь Московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли

русской, которыми она еще славится в мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его своим данником: да идет Иоанн против монгольских варваров, и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову! Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: «Иоанн! Ты возвратил земле русской честь и свободу, которых мы никогда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском: они были собраны с земли твоей; на них нет клейма новогородского: мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою, залечи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших братий счастливыми — и если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавидуем благоденствию твоего народа, если всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда — клянемся именем отечества и свободы! — тогда приидем не в столицу польскую, но в царственный град Москву, как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику; и скажем — не Казимиру, но тебе: «Владей нами! Мы уже не умеем править собою!»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет мимо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы, и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к святым уставам его, когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы любим сокровища и негу более добродетели и славы, то скоро ударит последний час нашей вольности, и *вечевой колокол,* древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бледному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород! что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы, она привлекает иностранцев в наши стены с сокровищами торговли, она же окрыляет суда новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *концы* твои, широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь *был* Новгород!..»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! Мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса. — Новгород — государь наш! Да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — государь наш! Война, война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! Да возвратятся *клятвенные грамоты!*[1] Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и *знамя мира.* Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина...

---

[1] Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объявлении войны надлежало всегда возвращать их.

Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провождаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца угасали на их блестящем оружии.

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа (который, подобно бурным волнам, стремился по стогнам и беспрестанно восклицал: «Новгород — государь наш! Смерть врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во всех пяти *концах* города (в знак объявления войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу и слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга! — тихо вещает она с умилением. — Я исполнила клятву свою! Жребий брошен: да будет, что угодно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на великой площади... Земля колеблется под ногами... Набат и шум народный умолкают... Все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место... Сильный порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярославова, новое гордое здание народного богатства, пала с *вечевым колоколом* и дымится в своих развалинах...[1] Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют... Скоро тишина прерывается голосом — внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое величие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место, но след голоса исчез в воздухе вместе с словами: напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили: «Мы слышали!», никто не мог сказать, от кого? Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самым происшествием, всходили один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан. На-

---

[1] Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа.

род требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы: посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы; сильный ветер беспрестанно задувал их, беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли *вечевой колокол* и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его — услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил *вече*. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою, но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в домах (где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.

КНИГА ВТОРАЯ

В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя, жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр новогородских. Он семьдесят лет служил отечеству: мечом, советом, добродетелию и наконец захотел служить богу единому в тишине пустыни, торжественно простился с народом на вече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новагорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошедши с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом[1] и нашла

---

[1] В Новогороде было еще обыкновение называться древними славянскими именами. Так, например, летописи сохранили нам имя Ратьмира, одного из товарищей Александра Невского.

его стоящего на коленях пред уединенною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец! — сказала она.— Буря угрожает отечеству». — «Знаю»,— ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо[1]. Густая туча висела и волновалась над Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих... Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось: если Новуграду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию. «Великая дочь моего сына! — вещал он с умилением.— Последняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь Молинских: она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами; посвятив его небу, еще люблю славу и вольность Новаграда... Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары всевышней десницы? Душа моя содрогается: я предвижу бедствия!..» — «Судьба людей и народов есть тайна провидения,— ответствует Марфа,— но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей: они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует! Самая опасность веселит ее... Чтобы не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий... Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но должно поручить его вождю надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий[2] во гробе, в сынах моих нет духа воинского, я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает

---

[1] В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей.

[2] Муж ее.

роком в день битвы». «Разве мало славных витязей в Новеграде? — сказал Феодосий. — Ужас Ливонии, Георгий *Смелый*...» — «Преселился к отцам своим». — «Победитель Витовта, Владимир *Знаменитый*...» — «От старости меч выпал из руки его». — «Михаил *Храбрый*...» — «Он — враг Иосифа Делинского и Борецких; может ли быть другом отечества?» — «Димитрий *Сильный*...» — «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним». — «Кто ж будет главою войска и щитом Новаграда?» — «Сей юноша!» — ответствует посадница, указав на Мирослава... Он снял пернатый шлем с головы своей; заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.

«Никто не знает его родителей, — говорила Марфа, — он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава[1], рано удивлял старцев своею мудростию на вечах, а витязей — храбростию в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он — сирота в мире, но бог любит сирых, а Новгород — великодушных. Их именем ставлю юношу на степень величия, их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее в свете: вольности и Ксении! Так, он будет супругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей... Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши: он клянется победою или смертию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз достоин твоей правнуки: он заключается в день решительный для Новаграда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть

---

[1] Так называлось всегда главное училище в Новегороде (говорит автор).

или будущий спаситель отечества, или обреченная жертва свободы!»

Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею рукою снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе: Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми буквами слова: «Никогда врагу не достанется...» Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условие!» — Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя Московского, о верных и неверных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде, но для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ! Сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чудо гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославовой храбрости... (Марфа с жаром и красноречием описала их.) Сограждане! — сказала она в заключение.— Кого более всех должен ненавидеть князь Московский, тому более всех вы можете верить: *я признаю Мирослава достойным вождем новогородским!..* Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду: счастие ласкает юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран!.. «Да здравствует юный вождь сил новогородских!» — восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делинский, друг Марфы, вручил юноше златой жезл начальства. Старосты пяти концов новогородских стали пред ним с

секирами, и тысячские, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Димитрий *Сильный* обнимал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил *Храбрый*, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его: они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши,— говорила она,— жили всегда в мире и дружбе; у них было *одно* бедствие и счастие, ибо они *одно любили* и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новегороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: «Сердце на Великой[1], душа на Волхове». Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ваше, если условия, заключенные Великим градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его), то хвала единому небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного: гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным.— Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначили пред градом место для верной дружины псковской».— Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты, в шелко-

---

[1] Имя псковской реки.

вых красных мантиях, шли впереди, за ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поставили блюда на ступени его. *Ратсгер* города Любека *требовал слова* — и сказал народу: «Граждане и чиновники! Вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новуграду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, славимся приязнию новогородскою; знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! Примите усердные дары добрых гостей иностранных, не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас семь сот человек в великом граде, все умрем или победим с вами!» — Народ с живейшею благодарностию принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион; Марфа назвала его *дружиною великодушных*, и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже среди шумных воинских приготовлений день склонялся к вечеру — юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные: они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злополучная!.. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!.. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаждаться только одною своею ангельскою непорочностию и ничего более не желала; никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она краснелась, не зная причины: стыдливость есть тайна невинности и доброде-

тели. Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственною потребностию сей кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле светится, сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую, ожерелье жемчужное, серьги изумрудные, произносят имя матери ее, и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душою и дает волю слезам материнской горячности... Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило сердце ее: может быть, милая дочь казалась ей несчастною жертвою, украшенною для олтаря и смерти! Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей; наконец укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения! Сей день есть счастливейший в жизни твоей, нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы своей... Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури... Уже Ксения стоит пред олтарем подле юноши, уже совершается обряд торжественный, уже она — супруга, но еще не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее... О слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил[1] благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая, с нежностью обнимая дочь свою и Мирослава,

[1] Тогдашний епископ новогородский.

в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей,— говорил он,— отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских да живет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Новгород желает ныне угостить новобрачных!..» — «Нет,— ответствовала Марфа,— еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!..— И тихо примолвила: — О верный друг Борецких! Хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства!» — Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу, жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Новгород никогда еще не видел столь прелестной четы) — впереди Марфа — за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну, веселие сияло на лицах, и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим, и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее, она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести: теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими, везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол с детьми своими; ласкает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксения! — говорит она.— Нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастие, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность,

которой могут завидовать герои!.. О дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!..— Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились.— Было время, и вы помните его,— продолжала Марфа,— когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие и бедствие людей. О время блаженное! Твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная, с смелою твердостию председает теперь в совете старейшин, является на лобном месте среди народа многочисленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волнует народ, как море, требует войны и кровопролития — та, которую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в душе моей? Что пременило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь... к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным; наконец открыл мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову в сей войне кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моею смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен: ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь Московский, который тайно желает покорить Новгород. О друг моего сердца! Успокой его! Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен славянских: клянись мне превзойти их! Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете! Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы новогородской, клянись умереть защитницею прав ее! И тогда умру спокойно...» Я дала клятву... Он погиб вместе с моим счастием... Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его: я не о

слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила — и старцы с удивлением внимали словам моим, народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня, чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда; враги и завистники... Но я презираю их. Все видят дела мои, но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О Ксения! Я могу служить тебе примером, но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойство великого мужа; жена слабая бывает сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» Так Ольга любовию к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме, но сон не смыкал глаз ее.— В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет ее — и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, с златою на груди звездою, едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира; я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и называет *новогородскою Вандою...*[1] Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастие союзников и бедствие врагов его... Она с гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Новугороду свое заступление,— говорит

[1] О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса.

он.— Требуйте, и легионы польские окружают вас, своими щитами!..» Марфа задумалась... «Когда же спасем вас, тогда...» Посадница быстро взглянула на него. «...Тогда благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя — и властелина, который, без сомнения, не употребит во зло их доверенности...» — «Умолкни!» — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новогорода, если Казимир не защитит его от князя Московского... «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей! — с жаром ответствует Марфа.— Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему?[1] И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колена пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет! Если угодно небу, то мы падем с мечом в руке пред князем Московским: одна кровь течет в жилах наших; русский может покориться русскому, но чужеземцу — никогда, никогда!.. Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, но она велит ему ненавидеть Литву и Польшу... Вот ответ Казимиру!» — Посол удалился.

На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде являлись граждане в шлемах и в латах; старцы сидели на великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова: ударили в колокол, и граждане сели за них; воины клали подле себя

---

[1] Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения.





оружие и пировали. Рука изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с восточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского: внук с седою брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных: он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы Новогородской!..» Сама посадница налила ему серебряный кубок вина фряжского: старец выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. «Марфа! — говорил он. — Я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемог в стане: войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из великого града, и когда мы разили немецких рыцарей — когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их *святому прапору,* ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом победы, но Молинский упал мертвый на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но...» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид в больших корзинах лежали товары чужеземные: Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искусственными лаврами; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава: граждане, увидев то, воскликнули от радости, и Марфа с чувст-

венностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем; один Михаил *Храбрый* не хотел брать участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии.— Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал — и с печальным видом отдал письмо Марфе... «Друзья! — сказала она знаменитым гражданам.— Псковитяне, как добрые братья, желают Новугороду счастия,— так говорят они,— только дают нам советы, а не войско,— и какие советы? Ожидать всего от Иоанновой милости!..» — «Изменники!» — воскликнули все граждане.— «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомстим им!» — говорил народ.— «Презрением!» — ответствовала Марфа, изорвала письмо и на отрывке его написала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею ревностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области[1] с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Ловати, Шелоны одни за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стремительному нападению в присутствии жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами Московскими возвышался холм; туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли: там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга... Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Ксения

---

[1] Они назывались пятинами: Водскою, Обонежскою, Бежецкою, Деревскою, Шелонскою.

гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков — восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи; но чрез минуту слезы катились из глаз ее... Она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому граду с своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска, но верховный совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с *хоругви отечества...* Она возвеялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! В поле!» Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают: первая и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых; одежда их отличалась богатством, оружие — блеском, осанка — благородством, а сердце — пылкостью; каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил *Храбрый* шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай сими мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствительность... «Юноша! я — враг Борецких!..» — «Но друг славы новогородской!» — ответствовал Мирослав, и витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла *дружина великодушных*, под начальством ратсгера любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником, с надписью: «Дружба и благодарность!» Они вместе с новогородцами составляли *большой полк*, онежцы и волховцы — *передовой*, жители Деревской области — *правую*, шелонские — *левую руку*, а невские — *стражу*[1]. Мирослав велел войску остановиться на равнине... Марфа явилась посреди его и сказала:

---

[1] Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус, а стражею или сторожевым полком — ариергард.

«Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный: судьба его написана теперь на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители и жены новогородские, которые обнимут детей и супругов, если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым!

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и навеки утвердить благие законы его; вы любите тех, с которыми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие Новаграда? Отразите их — и тогда с радостию примиримся с ними!

Грядите — не с миром, но с войною для мира! Доныне бог любил нас, доныне говорили народы: «Кто против бога и великого Новаграда!» Он с вами: грядите!»

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом — и войско двинулось, громко взывая: «Кто против бога и великого Новаграда!» Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота — и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи. Жены новогородские не могли удержать слез своих, но Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером!»

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. *Торговая сторона*[1] опустела: уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз; огромные хранилища, наполненные богатствами земли русской, затворены; не видно никого на *месте княжеском,* где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских — и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи: священники не

---

[1] Часть города, где жили купцы.

снимают риз, свечи не угасают пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах, и молебное пение не умолкает на крилосах, народ толпится в церквах, старцы и жены преклоняют колена. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга... Так народ дерзко зовет к себе опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен! Одни чиновники кажутся спокойными — одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный.

Первый гонец Мирославов нашел их в саду: Ксения поливала цветы — Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его в дружбе, и всех более Димитрий *Сильный*, что Иоанн соединил полки свои с тверскими и приближается, что славный воевода московский Василий Образец идет впереди и что Холмский есть главный по князе начальник. — Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен пятьдесят московских дворян. — С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце Марфы наконец затрепетало: она спешила на Великую площадь, сама ударила в *вечевой колокол*, объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило... Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер... И Марфа сказала: «Я вижу облака пыли». Все руки поднялись к небу... Марфа долго не говорила ни слова... Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн — победитель!» — и бросилась в объятия к несчастной Ксении.

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами: так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих...

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее вопля жен малодушных... Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю — с горестию, но без стыда — люди житые и воины чужеземные; кровь запеклась на их оружии; обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя, сидел Михаил *Храбрый*, бледный, окровавленный; ветер развевал его черные волосы, и томная глава склонялась ко груди.

Колесница остановилась на Великой площади... Граждане обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия; он не мог идти: чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава... На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти... «Счастливый юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать *Храброму* Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабевшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! Разбито воинство храброе, убит полководец великий! Небо лишило нас победы — не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном!» — ответствовал гордый юноша — и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских: там Образец, славный воевода московский, принял их удары на щит свой... Мы пришли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблю-

дал движения и силу врагов. Воинство Иоанново было многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя Московского на белом коне, видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце Новогородское, на *хоругвь отечества*, видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окружить нас... Мирослав повелел, и стража невская с Димитрием *Сильным* двинулась навстречу к нему. Вероломный!.. Еще однажды и волховцы не могли занять бугров шелонских: меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем; мы взглянули — и знамена новогородские уже развевались на холмах — и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: «Кто против бога и великого Новаграда?», все ряды наши устремились в битву и сразились... На всей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братий есть самая ужасная!.. Тысячи падали, но первые ряды казались целы и невредимы: каждый пылал ревностию заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою, новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие за честь и вольность: мы шли вперед!.. за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь Московский был окружен знаменитыми витязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду — поднял руку — и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в главу, и шлем распался на части: он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы — и скоро главная дружина московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами... Мы с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское... Димитрий изменил согражданам!.. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окру-

жить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев: он помог им только умереть великодушнее! Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новогородский служил ему щитом. Он увидел Димитрия среди московской дружины — последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее...»

Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком, бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал — взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои... Чиновники положили тело его на колесницу, рядом с Мирославовым.

«Народ! — сказал Александр *Знаменитый,* старший из витязей,— благослови память Михаила! Он вышел из битвы с *хоругвию отечества,* с телом Мирослава, обагренный кровию бесчисленных врагов и собственною, собрал остатки храбрых людей житых, *дружины великодушных* и в самом бедствии казался грозным Иоанну — враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом: они купили ее смертию славнейших московских витязей. Народ и чиновники! Многие новогородцы погибли славно: радуйтесь! Некоторые спаслися бегством: презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их осталось менее половины, все они легли вокруг *хоругви отечества*».— «Сочтите нас! — сказал начальник *дружины великодушных,*— из семи сот чужеземных братий новогородских видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».

«Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением.— «Оба»,— ответствовал Александр *Знаменитый*[1] с горестию.— «Хвала небу! — сказала посадница.— Отцы и матери новогородские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ! будь строгим, неумолимым судиею и реши — судьбу мою! Унылое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю

[1] В летописях сказано, что сын ее Димитрий был взят в плен.

его властвовать в Новегороде; может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости!..»

«Нет, нет! — воскликнул народ в живейшем усердии. — Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они: мы пошлем их головы к князю московскому!» — Отцы, которые лишились детей в битве шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам! мы плакали!..» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ! — сказала она. — С такою душою ты еще не побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия: небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились свободными. Издревле счастие воинское славится превратностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте, видал надменного врага пред стенами своими: кто ж входил в них доныне? одни друзья его. Народ великодушный! Будь тверд и спокоен! Еще не все погибло! Борецкая жива и говорит с тобою! Когда железные ступени престанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя знаком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новаграда, тогда, тогда скажи: «Все погибло!..» Теперь, друзья сограждане! воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники ваши пекутся о безопасности града». — Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысячский положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти

в домы свои — боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» — Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов, и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах, никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новаграда положил во гробы *хартию славы*!..[1] Их опустили в землю под веянием *хоругви отечества*. Посадница стала на могилу; она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым! Стыд и поношение робким! Здесь лежат знаменитые витязи: совершились их подвиги; они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечною благодарностию. О воины новогородские! Кто из вас не позавидует сему жребию! Храбрые и малодушные умирают: блажен, о ком жалеют верные сограждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на сего старца, родителя Михаилова: согбенный летами и болезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество... Народ! Если всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место да будет для тебя священно! Жены знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезнейшего из сынов моих... (Марфа рассыпала цветы)... и витязя храброго, некогда врага Борецких, но тень его примирилась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и юноши да славят здесь кончину героев и да клянут память изменника Димитрия!» — «Клятва, вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане, — и брат Димитрия упал мертвый в толпе народной, — и

[1] На сих хартиях (говорит автор) изображались славные дела усопшего.

супруга его отчаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду и медленно окружали его: народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шаром увенчанный, стоял пред вратами Московскими — и степенный тысячский отправился послом к Иоанну. Новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным: она велела ему объявить всенародно успех посольства... «Граждане! — сказал он. — Ваши мудрые чиновники думали, что князь московский хотя и победитель, но самою победою, трудною и случайною, уверенный в великодушии новогородском, может еще примириться с нами... Бояре ввели меня в шатер Иоанна... Вы знаете его величие: гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения... «Князь московский! — я вещал ему. — Новгород еще свободен! Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольности: хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя — возьми наши сокровища: завтра принесем их в стан твой с радостию, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злата, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем, скажем: «Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того; хвала ему». Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением, а мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новаграда, доколе древние стены его не опустеют или не приимут в себя жителей, чуждых крови нашей!» — «Покорность без условия, или гибель мятежникам!» — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Алексан-

дру *Знаменитому* вручили жезл начальства — и битвы началися...

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность; юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя: иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфа бывало также радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа одно знаменовали в великом граде). Часто Иоанн, видя славную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли,— он с гневом ответствовал,— хотите ли, чтобы я венец Мономаха положил к ногам мятежников?..» И суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась *дружина княжеская,* из храбрых дворян состоящая, и знамена ее (на которых изображались слова: «С нами бог и государь!») дымились кровию.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он.— Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?..» — «Небо,— ответствовала посадница.— Влажная осень наступает, блата, нас окружающие, скоро обратятся в необозримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке *хоругвь отечества*; иногда, видя отступление новогородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная,

кроткая душа веселилась ужасами кровопролития — столь чудесно действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончину друга: Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обагренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелью на смелых противников. Александр *Знаменитый* с веселием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался; он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу — и при восходе солнца ударили в *вечевой колокол*. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников — и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное! Приими снова в недра свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и рода Молинских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником великого града! Исполни усердное желание верховного совета! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу владеть оружием; могу умереть в поле!.. Народ! Объяви волю свою!..» — «Да будет! Да будет!» — громогласно ответствовали граждане,— и Марфа сказала: «О славное торжество любви к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал, как мертвого, воскресает для его служения! Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанность гражданина: оставляет мирную пристань и хо-

чет делить с нами опасности времен бурных! Народ и граждане! Можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в верховном совете? Возвратился Феодосий: возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастие великих народов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в великом граде; они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить отечеству только усердными обетами чистой души своей — и бесполезными: ибо суды вышнего непременны!

Новый посадник, следуя древнему обыкновению, должен был угостить народ: Марфа приготовила великолепное пиршество, и граждане еще дерзнули веселиться! Еще дух братства оживил сердца! Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев.

Скоро открылося новое бедствие, скоро в великом граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели — шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов; все еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления... Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет

пламя свое... Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными: когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица,— и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании... Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорства посадницы и Делинского, некоторые даже советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми власами отирал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми.— Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее, во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами: там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и давала ему отчет в делах своих.

Наконец ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новогородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и что великодушное терпение есть должность их... В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела; казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивою, бесчеловечною... Она содрогнулась... Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой; он возвратит изобилие Новуграду: она хочет обратить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, вдруг упадает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее... Граждане, пораженные сим велико-

душным унижением, безмолвствуют... «В последний раз,— вещает она,— в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и небо да решит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие из граждан прослезились, многие сами упали на колена пред Марфою, называли ее *материю новогородскою* и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата Московские отворились, воины спешили в поле: она вручила *хоругвь отечества* Делинскому, который обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!», удалился.

Войско Иоанново встретило новогородцев... Битва продолжалась три часа, она была чудесным усилием храбрости... Но Марфа увидела наконец *хоругвь отечества* в руках Иоаннова оруженосца, знамя *дружины великодушных* — в руках Холмского, увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!», прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов — и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении, остатки воинства едва спаслися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей; она растворила окно, сказала: «Делайте что хотите!» — и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решительный ответ великого князя... Взор их невольно искал Марфы, невольно устремился на высокий терем ее: там угасла ночная лампада! Они вспомнили слова посадницы... Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласия на требование Иоанна; наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас

князю московскому; он будет отцом Новаграда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее: «Кто они?» — еще с тайным удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение, огни не угасали в домах: только в жилище Борецких все казалось мертвым.

Солнце восходило — и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне, под *хоругвию* новогородскою, среди воинского стана, полководцев и бояр московских; взор его сиял величием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону; за ним шли все чиновники великого града. Посадник стал на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Московских — тысячские преломили жезлы свои, и старосты пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новаграда!» — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь всея России и Новаграда!..» — «Государь! — продолжал старец.— Судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу. Если простишь нас, то будем верными подданными; ибо сердца русские не знают измены, и клятва их надежна. Твори, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость! — вещал он.— Милость всем чиновникам и народу...» — «Милость! Милость!» — воскликнули бояре московские.— «Милость! Милость!» — радостно повторяло все войско: казалось, что она *ему* была объявлена,— столь добродушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами,— сказал Иоанн,— кого наказал он, того милую! Идите; да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и принял начальство над градом: окрестные селе-

ния спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу: она и дочь ее сидели в тереме за рукоделием... «Не бойся мести Иоанновой,— сказали друзья,— он всех прощает». Марфа ответствовала им гордою улыбкою и в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что князь московский уважает Борецкую: он считает ее врагом опасным! Простите!.. Вам еще можно жить...» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову твоему...» — «Вот оно,— ответствовала посадница,— пусть Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию.— Граждане толпились вокруг дома Борецких: напрасно воины хотели удалить их, но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти концах, и народ, всегда любопытный, забыл на время судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород, под сению *хоругви отечества*, среди легионов многочисленных, в венце Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон колокольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь всея России и великого Новаграда!..» — «Давно ли,— сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза,— давно ли сей народ славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих, иногда с горестию будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия моего останутся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? неблагодарным! Я могла бы наслаждаться счастием семейственным, удовольствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеобщею любовию, почтением людей и — самою нежною

горестию о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе моего народа: самую чувствительность женского сердца — и хотела ужасов войны; самую нежность матери — и не могла плакать о смерти сынов моих!.. (Тут *в первый раз* глаза Марфы наполнились слезами *раскаяния*)... Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним гласом женской слабости. Я клялась заступить твое место в отечестве и, конечно, исполнила клятву свою: ибо князь московский считает меня достойною погибнуть вместе с вольностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы: награда признательности уменьшает ее... Теперь я спокойно ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новогородскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Герои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали себя жизни; бесстрашные боялись казни, я не боюсь ее. Небо должно располагать жизнию и смертию людей; человек волен только в своих делах и чувствах». — Ксения слушала мать свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня: Феофил и духовенство встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава угостил роскошною трапезою бояр новогородских и державною рукою своею сыпал злато на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкою выходили из домов и видели, в глубокую полночь, Иоанна и Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму; два воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь наклонился на могилу юного Мирослава; казалось, что он изъявлял горесть и с жаром упрекал Холмского смертию сего храброго витязя... Новогородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч

оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись — и никогда не могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше.— Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они видели множество пламенников на Великой площади, слышали стук секир — и высокий эшафот явился пред домом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежала секира. От конца Славянского до места Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом; воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец, железные запоры упали и врата Борецких растворились: выходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на *вече*. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие, ужасная тишина царствовала; посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на сердце ее — знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот — сорвала покрывало с головы своей: казалась томною, но спокойною — с любопытством посмотрела на лобное место (где разбитый образ Вадимов лежал во прахе) — взглянула на мрачное, облаками покрытое небо — с величественным унынием опустила взор свой на граждан... приближилась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы... Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли глаза рукою. Тело посадницы одели черным покровом... Ударили в бубны — и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли... Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее:

«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре! Не ужасайтесь: Иоанн не нарушит слова; на вас милующая

десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных; одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия; отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий – отцом и главою. Народ! Не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие* и *безопасность* суть три столпа гражданского счастия: Иоанн обещает их вам пред лицом бога всемогущего...»

Тут князь московский явился на высоком крыльце Ярославова дому, безоружен и с главою открытою: он взирал на граждан с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал далее:

«Обещает России славу и благоденствие, клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священна самодержцам российским – или да накажет бог клятвопреступника! Да исчезнет род его, и новое, небом благословенное поколение да властвует на троне ко счастию людей!» [1].

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах – и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново, и граждане наконец воскликнули: «Слава государю российскому!»

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне остается тайною. Из семи сот немецких граждан только пятьдесят человек пережили осаду новогородскую: они немедленно удалились во свои земли. *Вечевой колокол* был снят с древней башни и отвезен в Москву: народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

1802

---

[1] Род Иоаннов пересекся, и благословенная фамилия Романовых царствует.

ИЗМЕННИК

(Повесть)





...Never pray more; abandon all remorse;
On horrors head horrors accumulate:
Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd
For nothing canst thou to damnation add,
Greater than that.

S h a k e s p e a r e[1]

I



, родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем? Какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?»

Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы, и пажити, и рощи переславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна; но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотою природы, чувствами давно забытыми и новыми.

Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть

---

[1] «...Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромозди еще ужасы: пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятью, чем это». *Шекспир (англ.).*

оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешенных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремленьем тысячи ручьев, низбегающих в озеро.

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы и все, все уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня, припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее — и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир:

— Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег[1]. Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар![2]

Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла из могилы и сердечное *добро пожаловать* ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами под крылом родимого неба, и сон росою упал на утомленные члены путника — сон, какого давно не знала кипучая душа его.

II

Лениво подымалися утренние туманы с тихого Трубежа[3], и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены.

---

[1] Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно. *(Прим. автора.)*

[2] Жители Переславля, большею частию рыболовы, спасались, во время неоднократного нашествия татар, на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера. *(Прим. автора.)*

[3] На реке Трубеже, впадающей в Плещево, расположен Переславль-Залесский. *(Прим. автора.)*

— Это бревно никуда не годится,— сказал он плотнику,— в нем сгнила сердцевина.

— Так-то и с нашею Русью, Петрович,— ответствовал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец,— Москва, сердце ее, испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско то за них, то против них драться! Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господа неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое добро, моя голова будут у меня завтра?.. В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было.

— Нашел чем хвалиться! Нашему брату ратнику не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дождаться сюда литовцев; мы порастрясем их карманы.

— Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего.

— Зато много грабленого золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон.

— Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет.

— Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице[1].

— Кто же здесь останется воеводой?

— Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого... Ему, кажись, на роду написано повелевать,— что твой орел, когда взглянет!

— Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью — всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело, а еще хуже, коли его в дело не приняли.

— Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота.

---

[1] Воевода переславский Иван Васильевич Волынский был с своею дружиною для помоги Троицкой лавре в 1609 году. См. сказание об осаде Тр.-Серг. лавры, стр. 221. *(Прим. автора.)*

— Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену, а святая Русь у погибели от самозваных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край; когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?

— Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?

— Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михайлом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластиться к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михайла оставили у нас засадным воеводою!

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане: но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, облеченные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома.

Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так вы-

соко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно, что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкою.

III

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу; смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхнет и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блестках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо все и мертвенно, будто природа в тоске перед грозою.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда все живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или искушенье на новое подняло его с ложа?.. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами; иссохшие ветви цепляются в волосы; тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и все уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниею колдун, когда он с помощию ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воз-

духу, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса на посиделках от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе оконницы, при нечаянном треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом.

И вот уже проник он до поляны, венчающей холм; уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всеношной. Холодный пот проступил на челе отчаянного: медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест Христовой заутрени в подобный час полуночи... Все прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... Но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя — и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильней прежнего.

— Нет, не мне ворочаться! — вскричал Владимир, ступая на поляну.— Тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?

При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где-где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

— Пора,— сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца и за каждым разом повторяя призвание злого духа.— Явись мне, искуситель рода человеческого,— восклицал он,— стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой[1]; я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе

---

[1] Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа. *(Прим. автора.)*

без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой, за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного; как этот череп, попираю ногами все человеческое; как этот пояс, разрываю связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!

Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью; но ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова все тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса; он ближе и ближе с шорохом ветвей... Взор и слух призывателя настороже, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; но вот двоится огонь — и щелкание зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши, и, наконец, бешенство овладело им.

— Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха. Ты кажешься только детям и старухам, смущаешь только мирных отшельников, беседуешь с одними полоумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора, что рано или поздно я твой? Нет, нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу; в ней довольно силы, чтобы, назло тебе, я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. Небо и ад меня отринули!

В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии, и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

IV

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову, и, при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя, со времен самозванца еще, носили тогда польское и венгерское одеяние.

— Безумец ты, Владимир,— говорил он ему сквозь смех,— неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно, приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь,— ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду?

— Так, Хворостинин,— я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мною; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе; на свете есть еще огонь и железо.

— Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели.

— Кто противостанет мне? Что меня остановит?

— Каждая пуля. Полно, князь, мерить силы своим гневом. Будь ты сам Полкан-богатырь, но горсть пороху — и ты прах.

— Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым; тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи, друзья. Они станут за меня...

— Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего и тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись,— и когда я выхо-

дил из Переславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь, это не правда?

— Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

— Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша[1] перед Херувимскою. Однако же мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? Как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто светопреставленье. Едем, Владимир, кони за лесом...

— Нет, я хочу умереть здесь...

— Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю?

Владимир не слышал его.

— Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться в некоторое времечко, и это время теперь: отчины твои промотаны, твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нажил. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? Каких еще обид доискиваться? Ситцкий, я тянул с тобой одну лямку и чарку; я знаю, я ценю тебя; я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хваленое беспристрастие! Да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла,

---

[1] Так называют в просторечии одержимых бесом. *(Прим. автора.)*

презрела тебя,— чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в пятидесяти верстах, под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первоучинка дружиться с panami dobrodziejami[1], и Лисовский примет тебя — чуб до земли... и через два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь — и песни красных девушек. Князь, решайся!

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи.

— Злодей! — наконец вскричал он,— ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!

— Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы, не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? А ведь на людях и смерть красна.

— Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!

— Потомки если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами; а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? Одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: «За матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

— Нет, нет!

— Нет?.. Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя,— я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится измены; который все хочет и ничего не смеет!.. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать подержать твое стремя; грызи украдкою, как мышь, каблуки презирающих тебя врагов; ступай на вести к своему меньшому брату, жди подачки с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай моло-

---

[1] Паны-добродетели *(польск.)*.

дых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями; считай чужие поцелуи, нянчи будущих детей братниных...

— Этого я не стерплю никогда!..

— Ты не стерпишь? И, брат Владимир,— терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий, спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячьи сердца в грудях орлиных...

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. Взошло солнце, и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облег уже Переславль, уже отбил вылазку Михайла Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли; но облако дыма и пыли неслось еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих; но как они не слишком боялись недальнострельных орудий города, то очень близко притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседлывают коней, иные вываживают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие отирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Треща, разгораются огоньки и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели; вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселятся после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь, служить себе, без воли сейма и

против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам, для добычи и славы, привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные панами на разбой и на убой, бесстрашно сидят или спят вкруг огней. Наконец изменники русские; иные из привычки к мятежу и бездомью, другие алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно виделись в стане. Инде ходил часовой с заржавленным бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом скакуне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копье, завешивает из бурки сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который нежится на медвежьей полости, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинуто на грязной соломе. Все это было странно и дико, но все кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним двое изменников, Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое, загорелое лицо показывали в Лисовском обстрелянного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова Хворостинин уже спал беспробудно, утомленный сечею и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

— Пей, товарищ, пей,— говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы.— Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благовонною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ! пей, оно и твою утолит!

— Нет, Лисовский, нет. Злодейка тоска всплывает наверх, и вино подливает пламень в кровь, и без того

кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Димитрия. Я видел вблизи их обоих,— и верь: оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом, и... есть неизлечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!

Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души.

Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; соучастие отозвалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле; они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенны; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами,— и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят, и с ревом, неодоленные оба, сливают волны свои, и несутся одною дорогой.

Молча подал Лисовский руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

— Лисовский,— сказал тогда Владимир,— вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих,— я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбию! Наружность винит меня более, чем обвинит признанье, и ты можешь понять меня! Слушай!

Здесь повила меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, и гром, и кровь, и пламя кругом меня.

Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев[1] и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненный, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неутолимые страсти. Отца я не помню,— он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшого брата. Как буря по степи пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки; моею забавою было то, что и самих юношей пугало: бешеные кони, звериная ловля, и мрак ночей, и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями, и мое первое презренье было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды к двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела передо мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня,— но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозренье, зеркальные лица и ничем не подвижные сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба[2], которые не могут жить без низостей, ни к чему не нужных! С каждым днем опостывал мне двор... Я вырывался из душных палат кремлевских, чтоб подышать отзывным мне ветром и бурею, чтобы выместить на зверях свою ненависть к людям. Однако ж, по какой-то пагубной привычке, я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному,— и, наконец, труба мятежа

[1] Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. См. «Ист. гос. Росс.», том IX, стр. 315. *(Прим. автора.)*

[2] Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны. *(Прим. автора.)*

пробудила ее. Как ворон, встрепенулся я, послышав кровь, и радостно полетел к Новугороду-Северскому[1]. С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мне целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал тою жизнию, что отнимал у других,— но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы.

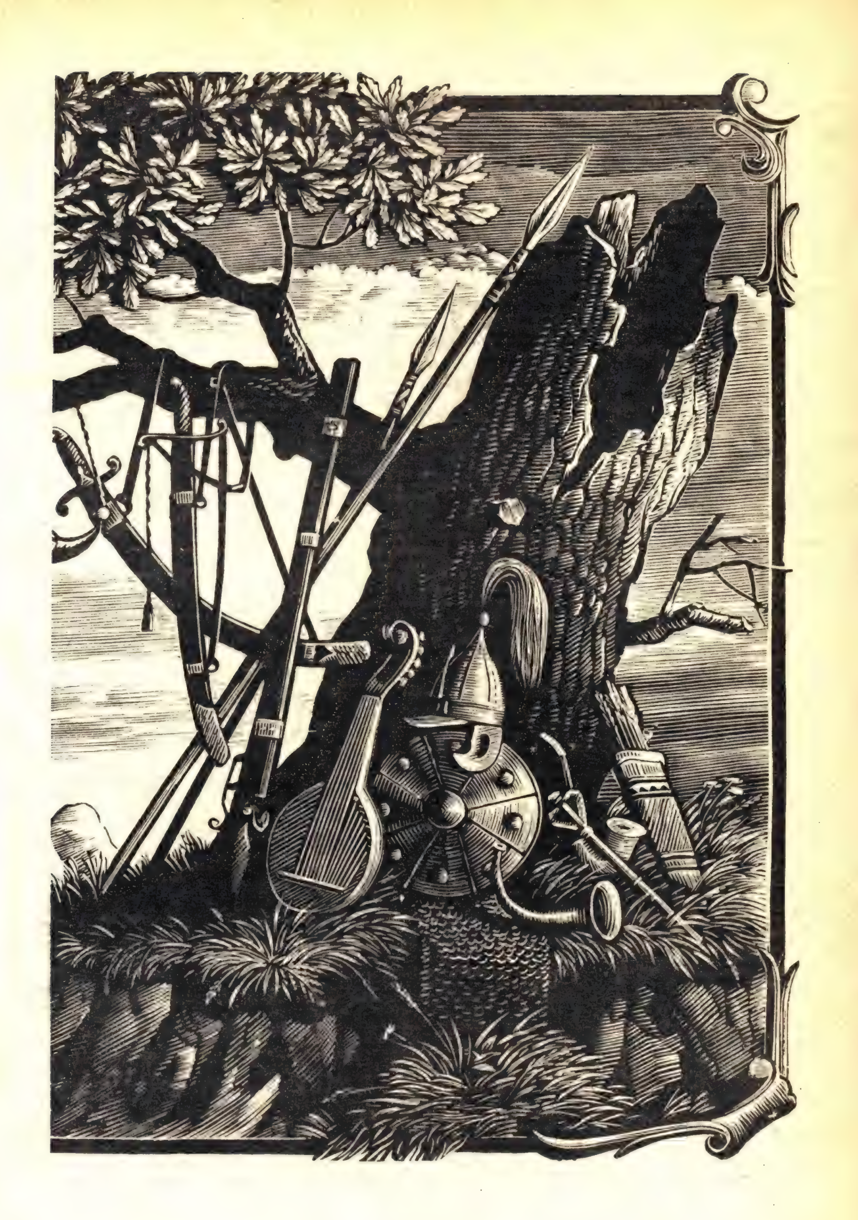
Ты знаешь, это длилось недолго; наши московские сидни признали Димитрия, и я со вздохом опустил меч и, увлеченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нянчить царских соколов, чтобы заполевать, при случае, воеводство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него возвыситься. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесток на платье, венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее; я уже был накануне исполнения моих желаний,— но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой,— но как? Подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновенье и наводит на него громовую стрелу!

Въезжая сюда, я как будто вновь народился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятежное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь все было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой и... признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой; неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало как переполненная сладким напитком чаша, любовь к ней проливалась на все меня окружающее. Я узнал тогда радость

---

[1] Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, покуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604, в ноябре). *(Прим. автора.)*





доброты и потребность дружества; весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои! Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг ласки! Три года протекли как одно майское утро; она росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву и славу и поляков и русских. Димитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... И это было настоящее изображение его царствования: гром и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь... Но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарованный ею, и как прелестна тогда была она! Как искренна была со мною!.. С какою нежною заботливостию спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостию веселилась, когда я был весел. Лисовский! Трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... Да... я не знаю средины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие, но она снедает ржавчиною булат моей сабли, — и, как эта персидская сабля, долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновенье настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он таился, но уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце — да и какое женское сердце не выбирает друга по

себе?.. Оно бессильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и не понятной душе! Только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть, счастие жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волынский удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волынский воспротивился. Все было готово... Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая, и ей в приданое — воеводство... И в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютый зверь, тогда вспрыгалось мое сердце; не знаю, как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Люди, ад, все изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду я... У меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любови. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого: Елена, живая или мертвая, будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия; смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... Слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое! «Источу из тебя кровь,— отвечал я ему,— чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут; пеплом пожара посыплю главу Переславля, который меня отвергнул,— и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!..»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспа-

ленная гневом... Волнение уходилось, и предрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест шагов: кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!..» — и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремит изумленные взоры на пришельца; перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимает он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» Это — Елена!

— Не дивись, Владимир,— говорила она,— что, откинув девичью робость и стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей нежданною переменой; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на все, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души. Так, Владимир!.. Я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя,— но будь же достоин моей любви и уважения всех — покинь это гнездо отступников; твой пример повлечет за собою тысячи русских изменников, твоя храбрость спасет Переславль, твое раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающемуся грешнику, и благословение на земле и спасение в небе — ждут тебя. Брат отдает тебе все, что ты хочешь; я — все, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжалься над моими слезами... умились моими молениями!

— Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир,— я не продаю ни добрых, ни злых дел моих; ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня,— идем!..

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загремел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его.

— Пора, Ситцкий, пора! — говорил он.— Заря занимается, и все готово: ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... Огонь в стены — и город наш!

— Неужели это был сон?! — вскричал, озираясь, обманутый мечтою Владимир.— Сон, злобный сон! Так-то все доброе, все прекрасное в свете — один рас-

сказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! Горе осажденным!

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя: но роковое *пали!* с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою, небо вспыхнуло, и град смерти, свистя, запрыгал между рядами. «Скорей, скорей,— раздалось отовсюду,— сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по набросанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали, ядра пронизывали ряды наступающих, и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась.

— Вперед, за мной! — воскликнул Владимир и, надвинув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех, с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице... Отряхая с себя камни и стрелы, уже схватясь за зубец, ступил он на стену.

— Стой! — загремело ему в слух. Пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся он грудь к груди,— и что ж? Над ним сверкала сабля Михаилова. Ужасное мгновение! Бледным от ярости, мелькнули им взоры друг друга, и смеркло все... Невольный трепет проник обоих. *«Он изменник»,*— была первая мысль; но *«он твой брат»* — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. *«Это враг мой»,* — мелькнуло в голове Владимира.— И пистолетный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

«Измена! Победа!» — раздалось от Трубежа, и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорогую испанскую кольчугу. Между тем целый день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь

его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Исхлынувшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей,— говорила она,— ты пожертвовал всем своей прихоти,— и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? Это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не сгибнет память предателя, заклейменная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче,— и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и прекратились... Тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

— Это он,— сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего,— это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? Он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его.

— Уважал! Можно ли уважать изменника! Если почитать людей за одну отвагу, так поэтому все равно умирать на виселице с разбойником! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!

— Стащим с него долой контуш,— он позорит польское платье!

— Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью.

— О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... А тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она или ее утопили — это неизвестно; но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... Да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело. Завидна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!

Как голос трубы Страшного суда, пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью,— и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... С этим взором выкатился свет из очей изменника.

1825

Ф. Глинка

ЗИНОВИЙ БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ИЛИ ОСВОБОЖДЕННАЯ МАЛОРОССИЯ







КНИГА I



иновий Богдан Хмельницкий, Малороссийский обеих сторон Днепра и войск Запорожских гетман[1]. Ревнитель благочестия, истребитель Унии, избавитель православного народа, находящегося во всей Малороссийской и Польской Украине, Подолии, Волынии, Чермноруссии, Белоруссии, Подгории, Полесии и в прочих странах Княжений Русских, Владимирову престолу наследственных, страждущего за благочестие в гонениях, мучениях, заточениях, под тяжким игом владения Польского и Папежского. Который народ за избавление свое от уз, темниц, смертей и поныне приносит ему, Богдану Хмельницкому, вопль, рыдание и слезы; и с жалостию, при упокоении его на вечное блаженство 1657 года, вопиет сию надгробную плачевную песнь: «вечная память».

В Чигрине.

---

[1] Сия надпись и следующие за оною строки списаны мною с одного старинного портрета Хмельницкого, выгравированного, как из надписи видно, в честь героя Малороссии от лица сетующего по нем народа.

Вступление

Около половины XVII столетия отечество наше было уже свободно и счастливо. Бурное время междуцарствия и кратковременное владычество поляков в Москве исчезло как печальный сон. Алексей, сын Михаила, избранного общею волею народа, управлял Россиею; но *Малороссия* сетовала еще под тяжким игом чуждой власти. Издревле короли польские, дорожа прекрасною страною сей и уважая воинственный дух не терпевших угнетения сынов ее, даровали им великие преимущества, украшая цветами железные узы, соединявшие их с народом польским, чуждым по вере и нравам храброму народу малороссийскому.(1) Но мудрость не есть наследственное достояние государей. Последние того времени короли уже не радели более о средствах кротости и благоволения, которыми предки их привлекали сердца малороссиян. Великие гетманы польские для личных выгод и по жадности и корыстиям нарушили права народа свободного, права, начертанные на могилах предков его и запечатленные их кровию. К жестокости и неразумению наместников королевских присовокупилось еще гонение на веру православную от духовенства польского. Оскорбление алтарей и древних прав долженствовало неминуемо возродить в народе великое негодование к притеснителям его.

Все сказания того времени и даже некоторых беспристрастных писателей польских явно свидетельствуют о несчастном состоянии Малороссии. Но лучше всего объясняют оное *мужи, избранные* из среды народа малороссийского, в *грамоте,* поданной ими на общем *сейме* в *Варшаве...* «Права наши нарушены и вольность попрана; священные храмы, издавна сооруженные, иные запустели, иные и доныне запечатаны, дабы возбранить нам в оные вход. Знаменитые особы наши изгнаны из правительства за то только, что они русские; не дозволяют жить в столичном городе и никто не защищает нас от сих и подобных бесчисленных обид и укоризн». Так говорили усердные защитники Малороссии. Но правители Польши не

внимали гласу истины, гласу самого бога в сердечных воплях народа.(2) «В вольном государстве мы ни в чем не имеем вольности! — восклицают в той же грамоте притесненные.— Гонение коснулось храмов наших и сокрушило алтари. Младенцы наши умирают без крещения; совершенно возросшие живут вне законного брака, и мертвецы наши погребаются без подобающих православной церкви обрядов!.. Последуйте,— продолжают они,— последуйте стопам предшественников своих и возвратите просящим со слезами прежнюю вольность нашу...» Поляки были равнодушны к слезам и стонам; но явился человек, предназначенный судьбами. «Слезы приличны только женам,— сказал он,— мужи должны действовать!» Так восклицал человек сей: и это был Зиновий Богдан Хмельницкий! (3) Глас сего ревностного сына отечества не был гласом вопиющего в пустыне: повторенный во всех краях Малороссии, он отозвался в сердцах сынов ее. Но неисповедимым судьбам всевышнего угодно было подвергнуть Хмельницкого трудному испытанию при самом вступлении на поприще великих дел. Чаплинский, гордый вельможа и *староста* польский в *Малороссии,* проникнув в тайну предприятий будущего героя, схватил и ввергнул его в преисподнюю одной из башен своего замка. Без помощи и надежды благородный узник томился, ожидая смерти. Но в тех же самых чертогах, где жил гонитель, наложивший цепи, обитала и красота, долженствовавшая снять оные. Любовь нашла средство разрушить затворы, расторгнуть оковы, и заключенный получил жизнь и свободу. «Жив бог! — воскликнул он, схватя и с восторгом лобызая саблю свою.— Жив бог, и матерь козаков не умерла еще!» (4) Свобода Хмельницкого была близкою представительницею свободы отечества его и тяжких бед для поляков. «О, если бы можно было предвидеть будущее,— восклицает один из польских стихотворцев того времени,— то ужасного Хмельницкого сего надлежало бы повергнуть в глубочайшие бездны земли, навалить над ним горы на горы или низринуть его в пропасти тартара и окружить пламенным течением многобрежного Стикса!» Но сии неприязненные восклицания врагов не суть ли лучшие доказательства того, сколь страшен был им герой наш? Быстрыми

шагами приближается он к великой цели своей. Разбив передовой отряд поляков под предводительством сына великого гетмана Потоцкого на *Желтых водах,* он идет в Крым, соединяется с ханом и вскоре с войском, до 100000 простиравшимся, вторгается в пределы Польши, требуя свободы Малороссии[1]. Долго продолжался кровавый спор, жестоки были битвы и велики дарования воинские Хмельницкого, долженствующие поставить его наряду с лучшими полководцами в свете. (5) Наконец по заключенному договору при Зборове 17 августа 1749 года Малороссия освобождена; но ослабленная великим пролитием крови, не могла уже стоять долго против новых ударов злобы врагов своих: ей надлежало искать надежной подпоры и верного крова. Корабль, гонимый ветрами по неизвестным морям, готов сокрушиться и погибнуть, искусный кормчий хватает кормило и спасает его: но не видя более средств сражаться с бурями, ищет надежной пристани, чтоб укрыть его в оной. Так сделал Хмельницкий, поруча судьбу освобожденной им Малороссии могущественному монарху России. (6)

С тех пор государи российские считают Малороссию драгоценнейшею перлою в венце своем. Тихий Дон, плодоносная Украина и цветущая Малороссия, составляя прелестнейшие края отечества нашего, высылают усердных сынов и храбрых воинов на службу и защиту оного[2]. Кто исчислит все подвиги и заслуги

---

[1] Шерер в Малороссийской Истории и другие летописцы говорят, что прежде еще соединения с татарами Хмельницкий получил знатную помощь с Дону. Донцы и малороссияне часто подавали друг другу руку братства и общими силами сражались за права и вольности свои.

[2] Всем известно, что малороссийские и украинские козаки, хотя и отделены от донских по теперешнему их местному положению, но происходят от одного колена и по близкому сходству образа жизни, обычаев и нравов составляют и поныне один народ. Родоначалие козаков производят иные от скифов, другие от козар, а некоторые от того славянского племени, которое Нестор называет «северою», что значит «всадники». Военными подвигами своими козаки начали становиться известны еще в начале XIII века. От малороссийских и донских козаков произошли: черноморские, запорожские, слободские, волжские, моздокские, терские, уральские и проч., из которых каждые в своем месте службою и верностию своею великую пользу России приносят. Все грамоты, жалованные донским и прочим козакам, доказывают признательность государей за великие службы их. Некоторые из старинных грамот начинаются сими словами: «Нашим атаманам-молодцам...» и проч.

жителей Дона и Малороссии на поприще воинском и гражданском?.. Сколько знаменитых мужей породили счастливые страны сии под ясным небом своим, мужей, которых имена живут в потомстве и будут сиять немерцаемым блеском и в позднейших летописях наших! Но долго еще, а может быть, и до сих пор счастливые области сии возмущались бы набегами беспокойных соседей и бурями свирепой войны, когда бы небо не послало в лице героя Хмельницкого избавителя оным. Что бессмертный *Тель* для Швейцарии, *Густав Ваза* для Швеции, *Вильгельм Нассау* для Голландии и *Пожарский* для отечества нашего, то знаменитый Хмельницкий для освобожденной им Малороссии. Но у нас нет еще и поныне истории жизни его, хотя память его дел и живет в сердцах соотчичей. «Они помнят еще славу Хмельницких!» — говорит о малороссиянах один из почтенных писателей наших. (7) Желая описать блистательную эпоху жизни героя, которая была вместе и незабвенною эпохою освобождения Малороссии, я старался получить о нем всевозможные сведения во время пребывания в Киеве, Чернигове и на Украйне. Я сбирал всякого рода предания, входил во все подробности и вслушивался даже в песни народа, которые нередко объясняют разные места истории его. Не упуская предмета сего из виду, я говорил о нем в *Литве* и Варшаве с людьми, знающими историю Польши. Но больше всего принесли мне пользы некоторые предания польских писателей запрошлого века. Сочинения о Малороссии г-д Шерера и Лезюра объяснили также многие темные места. Недавно г-н *Плотто* издал историю козаков, а на русском языке нет еще истории Малороссии!.. С благодарностию должен сказать, что недавно получил я от любителей своей родины почтенного В. И. Григоровича и М. К. Грибовского важные рукописи. Таким образом собраны наконец главные черты из жизни Хмельницкого и сделан, так сказать, *очерк* жизнеописания его, которого, однако ж, по недосугам и прочим обстоятельствам издать теперь еще не могу. Но пленяясь великими подвигами и славою героя малороссийского, я написал между тем основанное на исторических преданиях повествование: *Зино-*

вий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия. Вильгельм Тель Флорианов, *Батавцы,* или освобождение Голландии Битобея и прочие в сем роде сочинения всегда, если не ошибаюсь, приносили большое удовольствие читателям. Я не смею и думать сравняться в прелести слога и красоте вымысла с известным Флорианом и прочими ему подобными; но при несравненно меньших способностях и способах, восхищенный изящностию предмета моего, невольно отважился вступить на одинакий с ними путь. Помещая здесь начало повести, ожидаю приговора просвещенных читателей, которому повинуясь всегда с покорностию, увижу, оставить ли навсегда в забвении, или осмелиться выдать в свет и продолжение оной[1].

Примечания к вступлению

1. «Король польский Казимир IV учредил из малороссиян (в исходе XV столетия) воевод, кастелянов, старост, судей и урядников; а прочих дворян и боляр, *умных, заслуженных голов,* всех честию и *вольностию* с польскими чиновными людьми поравнять. Те же права и преимущества Ян Албрехт и Александр подтвердили и соблюли нерушимо». Так говорит малороссийский летописец. Все предания соглашаются в том, что козаки всегда были народом, любившим славу и подвиги военные. Земледелием и рыбною ловлею занимались они не иначе как с оружием в руках и вот почему без стен и окопов не страшились нападения врагов. «Слава не умирает!» — было любимое их выражение. Сии любители славы умели заставить себя уважать. Один из турецких султанов говорил: «Если все мои соседи на меня восстают, я сплю; но когда подымутся козаки — просыпаюсь!» Пред тем временем, как Хмельницкий задумал отдаться под покровительство России, султан, истощив все усилия привлечь его на свою сторону, написал прегрозную

---

[1] Повторяю еще раз, что повесть сия не есть история, но основана только на некоторых исторических событиях. Строгие исследователи истории сомневаются даже в существовании самого Вильгельма Теля; рассказ же о яблоке почитают сущею баснею.

[2] Шерер говорит, что это Амурат.

грамоту, в которой между прочим говорит, что он восстанет с огнем и мечом и во всей Малороссии не оставит следа жилищ человеческих. Хмельницкий на большом листе пергамента пишет в ответ следующее: *«Что будет, то будет, что будет, то будет, что будет, то будет...»* и, наполнив одними сими словами целый лист, необычайное *послание свое* заключает последним словом: «А будет то, что бог даст!»

2. Летопись говорит, что представители, или депутаты, народа малороссийского, ходатайствовавшие о восстановлении древних *прав*[1], принуждены были возвратиться из Варшавы, горестно восклицая: «Об нощь всю труждшеся, ничесоже яхом!»

Известно также, что Владислав, не имевший уже по причине преклонных его лет довольно бодрости, чтобы обуздывать дерзость сильных в народе вельмож, а между тем любя и уважая в душе своей малороссиян, отвечал присланным от них: «Что вы здесь жалуетесь, разве не стало у вас рук и сабель?» Сей ответ развязал руки и изострил сабли козаков на освобождение отчизны их.

3. В Успенском киевском соборе можно видеть изображение Хмельницкого в полном гетманском одеянии с булавою, означающею сан его. Там надписано: «Зиновий Богдан Хмельницкий Великий Гетман Малороссийский», и проч.

4. Подлинное выражение польского летописца.

5. Для освобождения малороссиян он должен был выиграть тридцать великих сражений. Быстрота была душою, а хитрость – отличительным свойством искусства его в войне.

6. Гетман Хмельницкий поручил освобожденный им народ государю Алексею Михайловичу 6 генваря 1654 года, дабы, по словам летописи, Малая Россия, *при целости вольностей своих,* в непременной милости всегда благонадежна пребывала.

7. Владимир Васильевич Измайлов в путешествии в *полуденную* Россию.

В царствование государя Павла I бугские козаки, желая сравниться в правах с донскими, посылали от себя капитана Хмельницкого с прошением. Хмельницкие и поныне существуют в Малороссии; но не

---

[1] В летописи права сии названы Конституциями.

могу утвердительно сказать: потомки ль они знаменитого освободителя оной, или происходят от другого колена[1].

Песнь I

Взошло прекрасное весеннее солнце и осветило грозные стены и прелестные окрестности Чигирина[2]. Весело пробуждались гордые литовцы, но с прискорбием взирали на свет дневной сыны Малороссии: первые господствовали, другие стонали под игом рабства. Старец, более по горестным опытам бурной жизни, нежели по числу лет убеленный преждевременными сединами и снедаемый тайною грустию, задолго еще до рассвета оставил омоченное слезами ложе и встретил солнце на высокой горе против Чигирина, среди опустелых развалин древнего замка. То был Филомар Хмельницкий, которого имя ужасало некогда турок, славилось в степях Крымских, уважалось в самой столице польской. С обнаженной головою, устремя взоры к небу, опершись на посох и погруженный в безмолвное созерцание великолепного неба, он, казалось, отлучался навеки от бурь мятежной земли. Но глубокая задумчивость его мгновенно исчезает при виде прекрасного стройного юноши.

— Отец мой! Дозволишь ли горячности сыновней излиться в сердце твое? Дозволишь ли вопросить себя, что виною размышлений твоих? Утешаешься ли повсеместным ликованием природы, или воссылаешь ты обычную жертву молений к небесам?

Филомар вместо ответа открыл объятия, и юноша упал на грудь его.

— Ночь старца коротка,— говорил Филомар,— сон оставил меня еще до рассвета, а молитва моя упредила солнце. Но ты спал крепким сном, мой милый Зиновий, горячая слеза родительская, окропившая румяную ланиту, не пробудила тебя.

— Так, сон мой был крепок: чрезмерная усталость причинила его. Ты знаешь, родитель, что я встретил весну далеко от нашей хижины, далеко в дремучих

---

[1] Начало сей пиесы было напечатано в «Письмах к другу Ф. Н. Глинки»; но здесь помещается с сделанными автором поправками и значительным дополнением.

[2] Известно, что Чигирин был в свое время укрепленным и богатым городом. Он отдавался потом обыкновенно на булаву гетманам; а в позднейшие времена главным местопребыванием их был город Батурин.

лесах. Преследуя диких зверей, переплывал я реки и провождал ночи в пустыне. Ты сам приучил меня к трудам. Вчера, утомленный дальностию пути, бросился я на кожу убитого мною медведя и спал так сладко, как ни один из гордых повелителей наших, верно, никогда не сыпал на роскошнейшем ложе своем. Прелестные мечтания услаждали душу мою. О родитель! Я и теперь еще трепещу в восторге от сих мечтаний! Не само ли небо послало мне столь восхитительный сон, и не предвещает ли он будущего? Выслушай, отец мой, что мне снилось, выслушай. Сначала все бедствия отечества нашего как бы в некоей пространной картине живо и совокупно представились взору моему. Бедные поселяне уныло влачили плуг под грозою бича. Кровавым потом и горькими слезами орошали они землю, которой плоды расхищали у них гордые властелины. Девы отторгались сластолюбием тиранов от сердец матерей; юноши насильно влеклись из домов отеческих под кровавые знамены врагов. Цвет полей и злак наших нив пожираем был конями литовскими — и сыны Малороссии, лишенные воли, собственностей и законов, изгибались под тяжким бременем даней и налогов. Томно отзывался скрытный стон народа, глухо звучали цепи рабства. Солнце, казалось, не хотело светить стране порабощенной. Ночь и безмолвие окружали отечество наше. Вдруг блеснула молния, прогремел гром, и раздался голос невидимого: «Восстаньте и бодрствуйте: час свободы настал!» В тысячах местах воспрянули рабы, и цепи сокрушились. Тысячи возникали среди полей; целые полки, как будто родясь из земли, стекались под хоругвия отечества. Везде слышны были клики призывные, везде сверкало оружие. От степей крымских до лесов Волынии; от Буга до Днепра; от Дона и Помория до рек Сулы, Ворсклы и Тесмины двигались ополчения. Поля дрожали под копытами коней. Является герой, вдохновенный небом, подкрепляемый счастием. Он велит — и тысячи малороссийские повинуются ему; подъемлет меч — и тысячи литовские бегут. Великий духом разделяет рати на ополчения, указует ополчениям пути — и вся Малороссия двинулась к бою. Долго свирепствовала брань. Наконец злодеи изгнаны, отечество наше очищено, и кровь, реками пролитая, смыла даже следы притеснителей с лица Малороссии. Тут солнце воссияло во всем своем блеске, мрак исчез; небо раскры-

лось, и богиня прелестная, как весна, цветущая всеми красками младости, остановилась в воздухе на златом облаке. Она улыбнулась — и громы браней потухли; простерла руку — и навела тучную зелень на томные поля. Тысячи овец зашумели вокруг источников; нивы озлатились, города начали возникать и реки покрываться судами... Все узнали в богине сей Свободу. «Свобода! Свобода!» — восклицали миллионы — и миллионы благоденствовали... Но ты плачешь, родитель мой!.. Ты плачешь? Что причиною твоих слез?

— Сладкие напоминания прошедшего и горесть настоящего. Было время,— говорил Филомар,— было время, когда и мне снились такие же сны, когда и я мечтал во сне, мечтал и наяву о свободе отечества нашего. Блистательна была заря жизни моей: я стоял на высшей степени у престола Сигизмундова. Государь литовский называл меня другом, обвивая скиптр свой лаврами, пожатыми мною за Дунаем и на берегах Евксина. Часто предлагал он мне дары: я всегда отрекался от даров его. Однажды неотступно спрашивал государь сей, в чем я полагаю мое счастие. «В свободе отечества моего»,— отвечал я. Ответ сей не полюбился самодержцу властолюбивому; зависть воспользовалась сим, клевета наполнила весь двор раболепным шепотом о каких-то злых умыслах, в которых старались меня обличить, и не обличив, отдалили от двора. Корыстолюбивые вельможи, под благовидным предлогом отнятия способов вредить *Польше,* отняли все мое имущество. Сей замок предков наших опустел. Я перешел в теперешнюю хижину. Там, не стерпя ударов рока, умерла нежная твоя мать — и там же в недрах нищеты возрос ты, сын мой! Ты, рожденный в счастливейшие времена и, может быть, определенный к жизни горестной, а что всего ужаснее — и к вечному рабству.

— Нет, родитель мой! Не рабу даровал ты жизнь, не для рабства воспитал меня... Ах! не сам ли ты возвысил дух мой, внушил мне благородство чувств, открыл всю прелесть свободы и весь позор рабства? Не ты ли озарил ум мой светом наук? Не ты ли наградил меня средствами пользоваться опытами древности, восхищаться бытописаниями греков и римлян? Удел рабства, родитель мой, есть невежество. И для чего знать рабу, что были люди, которых великий дух управлял народами, расторгал позорные цепи, двигал престолами и строил города среди глухих пу-

стынь? Для чего знать рабу, кто были Епаминонды, Скандерберги, Вирияты, Пелазгии, Сертории? Но почто вызывать мне сих великих мужей из столь отдаленных веков глубокой древности, когда и в самые недавние времена в родной и сопредельной нам державе найти подобных можно? Давно ль рассеялись грозные тучи, гремевшие в пространных небесах могущественной России? И не сии ли самые литовцы, которых иго угнетает нас ныне, дерзнули наложить оковы некогда на древнюю столицу великих царей? Так, мгновенные успехи довели их до сей дерзости; но громы ужасной и справедливой мести ниспали на главы ослепленных гордынею. Простой родом, но знаменитый любовию к отечеству гражданин Минин и славные вожди Пожарский, Трубецкой, Ржевский, Ляпунов и множество других, услышав стон притесненной России, восстали от глубокого уныния, восколебали народ, расторгли узы плена и даровали жизнь и свободу любезному своему отечеству. Торжествует Россия, но стонет Малороссия!.. Доколе продлится стон ее?.. Ужели позорное рабство сие будет вечно? Нет, я чувствую, что не умру рабом!.. Звук оружия приятен слуху моему, война занимает все мои мечтания, а слава есть крайнею целию желаний моих. Отпусти меня, родитель! Я полечу под знамена одного из соседственных государей; буду сражаться, как лев, и пролитием крови и слез испрошу одной милости, чтоб освободить хотя малейший уголок порабощенного отечества. Он, верно, не откажет мне в этом, и тогда пусть все вокруг меня пресмыкаются в тине рабства!.. Жизнь независимого процветет в сладком дыхании свободы, и кости мои уснут мирно в земле неподвластной.

— О! Если бы всякий малороссиянин мыслил и чувствовал, как мой Зиновий: Малороссия давно торжествовала бы свободу свою! — так воскликнул Филомар, обнимая сына.

— Позволь же, родитель мой, позволь мне, следуя влечению моего сердца, искать трудов воинских и славы.

«Кровь предков играет в жилах его, — говорил Филомар про себя, — та же пылкость, то же стремление к подвигам». Потом, обратясь к сыну:

— Моления твои, неоднократно повторяемые, должны исполниться. Скоро совершится тебе двадцать лет. В сии лета Филомар Хмельницкий был уже

покрыт ранами и славою... А сын его?.. Так! Нам должно будет, наконец, расстаться! Но прежде всего надлежит тебе исполнить священную для нас обоих обязанность.

Тут Филомар напомнил сыну о Вассияне, его крестном отце, о котором и прежде ему не раз говаривал. Мудрый Вассиян, близкий по родству и дружбе Филомару, был наставником его в юности и другом в зрелых летах. Задолго пред сим уклонился он в безмолвную пустыню на лесистом берегу Днепра. Филомар во всех важнейших случаях жизни советовался с ним и почел бы за преступление не представить Зиновия *юношею* тому, кто любил лелеять его на руках своих еще *ребенком*.

Между тем солнце стояло уже высоко; тени приметно сокращались; многочисленные стада овец с шумным блеянием спешили с полей в рощи; волы протяжно ревели под плугами. Утомленные рабы-земледельцы искали мгновенной прохлады под тению дерев... Все возвещало час полудня; а в роскошных чертогах вельмож литовских едва только начинался еще день. Филомар и Зиновий, заменивший собою посох отцу своему, тихо сошли в тенистую долину, где стояла их хижина. Зиновий помогал старому служителю приготовить дичь, принесенную им из лесов; потчевал отца своего медом диких пчел; постилал ему ложе из листьев и душистых трав — и Филомар плакал от умиления при сих знаках горячности сыновней. Для избежания дневного зноя положено отправить Зиновия с наступлением ночи. Филомар вручил ему тайное рукописание к Вассияну, указал путь к жилищу пустынника, снабдил советом опытности, благословением родительским — и юноша, играя легким копием, весело пустился в путь свой под алым блеском вечерней зари. Он зашел было проститься с другом своим Осмундом, но Осмунд был на охоте. К рассвету быстрый юноша любовался уже окрестностями Днепра, который в весенних разливах топил высокие берега свои и синелся, как море, в отдаленности. Три ночи продолжал Зиновий путь вверх, к истоку Днепра, провождая большую часть дня под тению дубрав. Дичь и лесные плоды составляли пищу его. Каждая стрела, пущенная меткою рукою юноши, приносила с собою добычу. Он не хотел заходить в села, где ничего не слышно, кроме звуку бичей литовских и стону малороссиян. Четвертая утренняя за-

ря осветила странника в жилище пустынника. Зиновий застал старца, совершающего утреннее моление. Обнаженными коленами стоял он на жестком граните. Белая брада струилась до чресл. Свежий утренний ветерок развевал кудри сребристых волос. Юноша с благоговением остановился и ожидал, пока моление кончится.

— Кто ты, юный звероловец? — вопросил Вассиян, окончив молитву свою.— Что заставило тебя проникнуть во глубину дикой пустыни?

— Воля родителя моего и собственное желание осенить себя твоим благословением. Я Зиновий, сын Хмельницкого из Чигирина.

— Сын друга моего Филомара! — воскликнул старец и дрожащими руками прижал юношу к сильно бьющемуся сердцу в ветхой груди своей. После некоторых предварительных расспросов и объяснений они вошли в хижину; одну стену в оной занимало большое деревянное распятие. Бледная лампада теплилась перед ним. Зиновий подал хартию от Филомара и между тем, как старец занимался чтением, юноша озирал хижину любопытными взорами и старался проникнуть в смысл изображенных на стенах ее картин. Живопись представляла разные лица из житий святых. На одной из картин написаны были страдания *мученицы:* отрубленная голова дымилась кровию в руках исступленного отцеубийцы. Другие изображали христиан, страждущих в глубочайших пещерах. Черный мрак темниц озарялся ярким сиянием от лиц ангелов, прилетавших окроплять несчастных узников небесною росою утешения. На прочих видел он дремучие леса, безмолвные пустыни, где отшельники, обремененные веригами, сражались с пылкими страстями. Распаленное воображение творило призраки и ужасы пустынные.

Между тем Вассиян, у которого старость притупила зрение, с трудом прочитывал писание своего друга и с частым помаванием головы (в знак сомнения): «Не ручаюсь,— говорил про себя,— трудно... Однако ж попробуем». И, обратясь к Зиновию:

— Внимание твое обращено на сии картины,— сказал он.— Это плоды прежних лет моего уединения. Я последовал примеру сих угодников божиих: каждый из них после бурного плавания в океане света уклонялся в мирную пристань уединения и, вечерея жизнию, тихо знакомился с смертию и вечностию. Но

счастливее стократ юноша, постигший всю цену уединения, всю суетность наслаждений земных! Тихо займется заря дней его, весело отсветит солнце жизни... Любезный юноша! Бури ужасают пловцов, бури заносят их из одной части света в другую — от берегов, блистающих великолепными городами, к диким необитаемым странам; но бури житейские свирепее морских...

Зиновий слушал старца и не мог понять, к чему клонились слова его. С любезною простотою угощал Вассиян гостя своего и после умеренной трапезы предложил успокоиться от трудов. Юноша уклонился под тень древнего дуба подле гремучего источника, положил голову на мшистые корни — и сладкий сон одел беспечного крылом своим.

Как приятен сон юности в лета счастливой невинности, доколе чувства безмятежны, душа покойна и совесть, ясная как лазурь неба, не затмится еще тлетворным дыханием страстей! Во время сна Зиновиева пустынник сидел у порога хижины в глубокой думе о важном поручении своего друга. Еще раз перечитывал он хартию его: «Я посылаю к тебе сына,— писал Филомар,— кровь Хмельницких кипит в жилах его и сердце сильно бьется при имени свободы и славы. Учение не могло довольно насытить всех его способностей. Скоро уразумел он язык *Гомера* и *Тацита*[1]; его деятельность неотступно требует новой пищи; оружие, лавры и слава — вот его милые мечты, предметы надежд и желаний. Испытай сего любимца души моей, друг мой! Проникни взором мудрости в тайные извития его чувств; может быть, есть еще средство утолить в нем сей глад юного сердца, сию жажду к войне, успокоить волнение души, готовой принять все страсти и подвергнуться всем бедствиям жизни. Пусть сладость беседы твоей смягчит в нем ретивость юного духа, умерит чувства и потушит, если можно, сию пламенную страсть к славе: ибо что такое слава мира сего? Я пробегаю ряд славных людей и не нахожу ни одного, который бы не страдал от самонравия государей, от неблагодарности народов и умер бы спокойно... И я сам не довольно ли испытал тщету всего величия земного? О! если бы я тебя послушал, скольких горестей, скольких бедствий изба-

[1] Известно, что Хмельницкий знал оба сии языка и на последнем писал грамоты к королям польским.

вился бы в жизни! Признаюсь, я желаю, чтоб сын мой забыл о свете и, сам забвенный светом, в спокойной неизвестности, подобно безыменному пустынному ручью, провел век свой мирным гостем юдоли земной. Жажда к военной славе растравляет только душу, не делая ее счастливою. Иное дело, если б у нас было отечество... Но мы рабы! Истинная слава и бессмертие не могут быть уделом нашим. Испытай же моего сына!.. Если увидишь, что дух его неукротим и стремление к подвигам необоримо, то... Видно, всему роду Хмельницких суждено бороться с бурями страстей и быть игрою случаев».

Кроткий Вассиян, все еще в задумчивости, пошел к тому месту, где уснул Зиновий; но его уже там не было. Чрез несколько часов юноша возвратился, обремененный ношею настрелянной им дичи.

С восторгом рассказывал он о множестве различных птиц в сих пустынях, о диких зверях, которых рев доходил до него из глубины леса.

— Если б был здесь,— говорил он,— друг мой Осмунд, мой верный товарищ в трудах и сподвижник в звериной ловле, то мы без страху проникли бы в самую мрачность ваших лесов и смело напали на берлоги черных медведей.

— Видно, ты очень любишь охоту? — сказал Вассиян.

— Как не любить ее! Ведь она точный образ войны!

— И притом такую опасную...

— Чем более опасности, тем больше славы!

Старец пожал плечами и вошел в хижину совершать вечернее моление. Зиновий остался один, оправлял свою дичь, смотрел на заходящее солнце и мечтал... Шум дерев, гул и шелест по лесам представляли пылкому воображению его шествие полков. Ему казалось, что дубравы преображались в ополчение, поля покрывались строями, а звук оружия далеко растекался по ветрам. Бурное течение Днепра еще более питало мечтательность сию, представляя образ сражений. День протек; солнце, озлатив зеленые венцы гор, остановилось на минуту в виде светлого алого шара, тихо зыблясь в сизых тенях среди зубчатых гранитных скал... Наконец оно угасло, и вечер со всеми своими прелестями наступил.

Пустынник кончил молитву, взял юного гостя за руку и медленными стопами пошел с ним на возвы-

шеннейший холм к Днепру. Они сели. Обширный круг окрестностей представился зрению: река шумела по долинам; берега ее потонули; верхи высоких гор зеленели в виде мелких островов; земляные глыбы и бурею исторженные дерева носились по волнам; луна тихо всплывала на горизонт; хладные лучи ее, казалось, приподымали край завесы, которою ночь покрыла землю. Вечерние росы рассыпались алмазными искрами и засветились. Все посребрялось в той стороне, тогда как в противулежащей темнели сумерки. Заря догорала в румяном сиянии; пурпур отсвечивался в зеркале тихого залива. Ничто не нарушало глубокой тишины ночи, кроме глухо ревущих вод и таинственного шепота засыпающих лесов.

При сем священном величестве природы пустынник и Зиновий долго безмолвствовали в умилении сердечном. Наконец первый прервал молчание.

— Ты видишь,— говорил он,— что с отсутствием дня вся природа умолкает и покоится: так проходит день сует наших! И целая жизнь не есть ли один мятежный день? Иные до самого гроба не знают успокоения, борясь беспрерывно с волнами пучин мирских, а я благодаря провидению, хотя скользкою стезею опытов, достиг надежной и бесшумной пристани. Живя в обществе среди бесчисленного множества воплощенных страстей, нельзя не покориться им. Но уединение ограждает человека от всех посторонних наветов, от всех внешних ударов судьбы. Когда война свирепствует в одной из чуждых нам областей, мы сожалеем только о бедных гражданах ее; но кто имеет там свои поместья и домы, горько сетует, страшась, что все его имущество погибнет от меча и пламени врагов. Общество людей есть поле вечных битв. Кто имеет в нем свою собственность, тот беспрестанно должен трепетать о потере...

Вассиян говорил с жаром. Юноша слушал с почтением и равнодушием; в продолжение речи старца острил он на отломке гранита копие свое, служившее ему вместо посоха. Пустынник приметил холодность слушателя и, продолжая испытание, завел совсем другой разговор:

— Сколько тебе лет?

— Отец мой говорит, что уже скоро кончится двадцать.

— И я думаю то же. Ты родился, любезный Зиновий, в блистающую эпоху жизни твоего родителя.

Ополчение козаков вверено было Сигизмундом отцу твоему; он воздвигнул хоругвь отечества, и тысячи малороссиян, ревностных любителей славы и браней, стеклись по гласу его. Филомару и мне вручены булавы начальства. Сыны Малороссии не могли сражаться для свободы, но им дозволено было сражаться для славы — и полки храбрых с веселием летели на брань. Война была с турками. Еще польские легионы не успели двигнуться, а быстрые козаки уже покрыли берега Днестра лесом копий своих. С великою силою визирь перешел реку и пестрые шатры свои раскинул на необозримых долинах. Турки не двигались далее, и мы стояли. С каждою утренней зарею воздух оглашался диким криком их тысячей, воссылавших моления к пророку. Топот и ржание бесчисленных коней, глухой бой по нахрам и резкие звуки труб наполняли окрестности бранною грозою; но отец твой, чуждый страха и враг бездействия, равнодушно взирал на гордость мусульман. Умышленно показывая, будто страшится множества их и желает окопаться, он повелел мне с частию легких войск обойти беспечного неприятеля с крыла. С вечера и до зари утренней шел я с ополчением своим по самым непроходимым и скользким в конце осенних месяцев путям. При слабом мерцании умирающей луны то взбирались мы на крутизну гор, то сходили в пропасти и с саблями в руках пробирались сквозь чащу дикого леса. Наконец восходящее солнце указало хребет неприятельских ополчений. Ревность к бою превозмогла усталость: никто не думал об отдыхе; мы подали условный знак...— Тут Вассиян остановился, чтоб взглянуть на Зиновия. Юноша пылал; глубокое внимание оковало все чувства его; он с жадностию пожирал каждое слово старца — и...

— Далее, отец мой, далее! Я сгораю нетерпением слушать тебя.

Старец посмотрел на юношу, улыбнулся и продолжал:

— И пушки, искусно скрытые отцом твоим, загремели... Мы ударили с тылу, а конница малороссийская, распахнув знамена, сомкнув ряды и громко воскликнув: «За веру и славу!» — быстрее вихря помчалась на чело стана турецкого... Ужасна была сеча — кровь разлилась по земле, и кровию обагрились воды. Наконец неприятель, смятый, опрокинутый смелым налетом наших войск, уступил поле. Страх

убыстрил отступление неверных и превратил, наконец, в решительное бегство. Мусульмане запрудили реку телами. Поражение было совершенно: огромный стан, великие обозы, богатства и трофеи достались в руки козаков, и отец твой, под тучами густого дыма, на полях, облитых кровию и устланных трупами, принял свежий лавр из рук победы.

— О мой отец! Великий отец мой! — воскликнул юноша вне себя, обливаясь горячими слезами.— Для чего не говорил ты мне никогда о славе твоей? С каким пламенным восторгом облобызал бы я победоносные длани героя! Но продолжай! Ради бога, продолжай! Беседа твоя приятнее млека в день жажды и слаще меда ароматных лип.

— Отец твой написал с поля сражения Сигизмунду: «Государь! Легионы польские были еще далеко, а неприятель в глазах; храбрые козаки горели нетерпением сорвать шатры неприятельские концами копий своих; мы сразились, матерь божия стала за нас; Магомет дрогнул, и сила гордых разбита в прах! Пленных пашей и трофеи с благоговением повергаю к стопам твоим». Сигизмунд, признательный на сей раз к заслугам Филомара, не умедлил благодарностию. Меч, осыпанный дорогими каменьями, булава гетманская и бунчук приготовлены в дар победителю. Супруга Сигизмунда собственными руками вышила почетное знамя для войска козацкого. С сими-то дарами отправилась к армии твоя мать, бывшая в великих почестях при дворе. Многие прелестные девы из соотечественниц сопутствовали ей. Между тем Филомар не дремал на лаврах: он взял валовым приступом крепость турецкую и разбил остаток войск, оградивших себя окопами в поле. Тем окончилась война.

В это время прибыла в стан победителей твоя мать. Она была беременна и вскоре разрешилась тобою. Ужасна была ночь, в которую родился ты! Осенняя буря возмутила природу; красные молнии раздирали черную завесу туч; гром катился за громом, и лезвия копий наших, подобно рядам зажженных свеч, горели неким синим пламенем, нисходившим с небес. Но с первым лучом зари тишина восстановилась, и солнце воссияло в полном великолепии своем. Белобрадые старцы, прозирающие в таинство судеб, заключили, что жизнь твоя будет бурна, мятежна, но...

— Будет ли она славна, отец мой? Ибо человек без славы есть напрасное бремя общества; ничто не отличает его в общем стаде тварей земных.

— Она озарится, наконец, славою!

— О, если бы провидение оправдало сие предвещание! — так воскликнул Зиновий, и в сию минуту исступленного восторга можно было видеть по блеску очей, пыланию ланит и движению лица, сколь сильно трогало его повествование сие и чем он некогда может быть. Старец видел это, но притворно показывался равнодушным.

— Итак, ты желаешь события сего пророчества, — говорил он, — и бури не страшат тебя, мой милый Зиновий?

— Одни малодушные страшатся определений судьбы. Я видал, что с наступлением бури, когда влажные облака, гонимые ветром, в великом беспорядке взбегают на горизонт, все робкие птицы, суетясь и тоскуя, с криком ищут убежища; но смелый орел, отважно ширяясь на ветрах, парит под блеском молний и сражается с тучами!..

— «Я понимаю, что ты хочешь сказать, — возразил Вассиян, перебив речь его, — но, сын мой, не лучше ли пройти поприще жизни сей стезею мира, стезею, усеянною цветами простых наслаждений? Не приятнее ли жить покойно, в светлой хижине, услаждаться дружбою, питаться млеком стад своих и одевать себя домашним руном, весело засыпать в благоуханни цветов и еще веселее пробуждаться сладким гласом утра? Не лучше ли, утолив беспокойство юного сердца, сочетать его с сердцем милой девицы — выбрать супругу верную, кроткую, соединяющую разум с нежностию? Не благоразумнее ли укрыть светильник жизни своей от вихрей случайности, от мятежа людских страстей под тень домашнего благополучия; *быть* для того, чтоб наслаждаться бытием своим и, процветя сединами, остудив привязанность к жизни, тихо угаснуть в объятиях любимицы души твоей — в кругу семейства, опершись на веру и чистую совесть?

Зиновий молчал.

— Юноша! Думаешь ли ты, что шум оружия доставляет приятнейший сон, чем журчание родных ключей?.. Где надеешься быть спокойнее: в теплой хижине или в ратном шатре, нередко раскинутом на снегах и окруженном всею суровостию зимних бурь и

трупами мертвых и умирающих? Отвечай же, как думаешь?

— Бури и слава, отец мой, да будут уделом жизни моей! Для славы готов сразиться со всеми бедствиями в мире. Но да поразит меня небо всеми громами своими, если честолюбие станет управлять поступками моими, если возжажду славы для личных своих польз. Нет, я хочу приобресть славу, чтоб получить доверенность народа и, уважая святость оной, употребить *ее* к его же благу. Теперь ли то время, о мой отец, чтобы помышлять о мирной жизни и тихих радостях семейного счастия? Что сказал бы ты о детях, празднующих брачный пир свой подле одра умирающей матери! А разве Малороссия не матерь нам? Разве не на смертном одре возлежит она? И кто не видит глубокой могилы, изрываемой ей самовластием тиранов? Так! Каждый малороссиянин должен забыть ныне все наслаждения человека, все радости жизни и помнить только одно отечество. Да угаснут свещи брачные, да исполнится край наш слезами, стонами и молением! Пусть каждый супруг отречется разделять счастие брачного ложа с младою подругою, жених да не вводит невесты во храм и матери да поклянутся не приближаться к колыбели первенцев своих, доколе не будет свободно отечество! Нет наслаждений в оковах, и жизнь, дар неба для благородных и свободных существ, не должна быть уделом рабов.

Вассиян глубоко вздохнул и, помолчав несколько: «Трудно одолеть определение неба!» — сказал он тихо и продолжал рассказ.

— Восхищенный родитель взял на руки новорожденного и вынес пред войско: гром пушек и восклицания ратников встретили — *тебя!* Среди железного леса копий и мечей, на поле ратном, в виду дымящихся ниспроверженных окопов неприятельских и разбитых стен почтенный пастырь церкви совершил крещение твое. Вода зачерпнута была из Днестра и налита в купель шлемами храбрых. Один из воинов, имевший почти столько же ран, сколько считал лет жизни своей, и другой — я были восприемниками твоими.

Зиновий с безмолвным почтением облобызал руку старца; Вассиян прижал его к сердцу и продолжал:

— Под звуки труб и веяние знамен ты был повит; хоругвь отечества осенила колыбель, повешенную на ратовье копия; родительница твоя, несмотря на знат-

ность сана, обещала быть сама твоею кормилицею, отец же — наставником твоим. «О боже! — воскликнул родитель твой, подъемля тебя к небу. — Даруй, да сделается младенец сей наследником славы предков своих и, если не силен будет разорвать цепей своего отечества, пусть обовьет их свежими лаврами».

Слова пустынника с неизъяснимою силою действовали на Зиновия: все струны сердца его потряслись.

— Так, я вижу ясно, — сказал по некотором молчании Вассиян, — я вижу, что не рожден ты для спокойствия!.. Будь здесь или последуй за мною в хижину: я напишу ответ твоему отцу.

Зиновий остался. Ночь неприметно пролетела. Уединенная звезда утра, как тлеющая искра, краснеясь, сверкала на синем краю неба; вечерний соловей умолкал, и ранний жаворонок, незримый в радужных кругах, казалось, ронял с высоты рассыпчатые звуки песни своей. Свежий ветерок прохладил воспаленные чувства юноши; заря осенила его розовым сиянием, и сладкий сон увел за собою по златым тропам в цветущие долины мечтаний. Вассиян, возвратясь в хижину, в сумерках догорающей лампады написал следующий ответ Филомару: «Я исполнил поручение. Не нужно дальнего испытания, чтоб увериться, что сын твой не рожден для спокойного уединения. Может быть, сердце его умягчилось бы и растаяло в обильном вертограде счастия, на мягком ложе роскоши и неги; но воспитание, доставленное ему тобою, и самая бедность ваша укрепили и возвысили дух его до степени геройства. Это новый лев, видящий добычу в единых подвигах; это орел, который умрет с тоски, если обрежут ему крылья. Скорей удержишь стремление Тясмины к Днепру, нежели порыв сына твоего к славе. Итак, молись за него богу, приготовляйся к разлуке и остри меч отцов твоих».

Три раза встречал Зиновий солнце в пустынном уединении Вассияна, и вечер третьего дня назначен был для разлуки. Пустынник благословил крестника своего образом Спаса Нерукотворного.

— Сей образ, — говорил он, — защищал грудь мою во всех кровопролитных боях от тысячи неприятельских стрел; да совершит он таковое же чудо и над тобою, сын мой! Я бы охотно подарил тебя мечом и копием моим, но, сделавшись орудиями мира, они уже

не будут годиться во бранях: копием я копаю питательные коренья, а мечом пожинаю целебные травы.

После сего взял пустынник копье и стрелы Зиновиевы, положил их перед иконами, прочел тихо таинственные молитвы и омочил священною водою. Из объятий пустынника, окропленный его слезами, осененный отеческим благословением, юноша спешил к дому родительскому. Свежая легкая кровь играла в жилах его; юность придавала крылья ногам — и он не ведал усталости.

Беспечная юность! Прелестная заря бурного дня жизни, цветущее преддверие тернового лабиринта горестей, сколь блаженна ты мирным спокойствием чувств своих, светлою совестию, новостию надежд, свежестию мечтаний, а более всего своею неопытностию! Ты не имеешь еще печальной способности предузнавать грядущие бедствия и увядать преждевременно в тоске предчувствия! Спокойно засыпаешь ты на краю глубокой бездны и весело играешь в цветах, не заботясь, что громы готовы ударить над тобою! Горесть ожидала Зиновия в жилище отца его. Нежный Филомар страшился быть вестником печали.

Зиновий имел редкое сокровище в жизни, священный залог благости небесной — он имел друга! Осмунд, прекрасный юноша, покорный сын, благочестивый почитатель веры отцов своих и страстный любитель свободы, был вернейшим и единственным другом его. Вместе читали они греческих поэтов и римских историков; вместе странствовали по лесам, совокупными силами поражали диких зверей и нередко рука об руку переплывали Днепр даже во время сильной бури. Осмунд, будучи несколько старее друга своего, был степеннее, рассудительнее. Первый, избегая опасностей, умел им противостоять; другой любил находить и побеждать их. Осмунд, никогда не плакавший о собственных горестях, проливал слезы о пленении отечества. Зиновий горел желанием пролить кровь свою за него. Один был осторожен в предприятиях, бережлив в домашней жизни, строг к себе и другим; другой щедр, великодушен, снисходителен. Оба одарены способностями ума, просвещены науками; но первый, может быть, от излишней точности, медлен в соображениях; другой ловил мысли, так сказать, на полете, быстро проникал в связь обстоятельств, в настоящее течение дел и смелостию заключений отгадывал будущие последствия, сло-

вом, Осмунд мог быть славным, а Зиновий великим человеком.

Свычка, подкрепляемая сходством воспитания, образа мыслей и правил, стеснила узы искренней дружбы между двумя юношами, и сию-то связь столь искренней, верной дружбы бесчеловечно расторгли жестокосердые литовцы. Дорожа слишком выгодным для них приобретением Малороссии и страшась выпустить из рук страну сию, хитрые властелины не щадили и самых уничтожительных средств к угнетению духа народного.

Все способы к обороне были отняты, огнестрельные орудия отобраны и порох запрещен. Даже не велено возить на торги в города тонких дров: боялись, чтоб народ не отбил дреколием прав своих. В столице польской у престола Владиславова ничем столько не занимались, как изобретением налогов на Малороссию. Хотели изнищить народ, полагая, что бедность и нужда скорее всего приучат людей вольных к покорности безответной. Сборщики податей, откупщики и приставы давили народ. Все было отдано на откуп: сбор податей, горячее вино, земля, леса, озера, рыбные ловли в реках и даже колодези — все, кроме воздуха: ибо наконец явились и такие наемники Литвы, которые не устыдились похищать молодых людей в Малороссии и увозить их в Польшу. Многие земледельцы, звероловы и пастыри пропадали без вести.

До сих пор жребию сему подвергались только беззащитные поселяне; наконец злодеи, разосмелясь, простерли хищение свое и на свободных благородных юношей. В один день, вскоре после отсутствия Зиновия, отец и мать Осмундовы прибежали к Филомару в слезах. «Мы лишились нашего сына! — восклицали они, рыдая.— Вчерашний день напала толпа *неведомых* и увлекла его с собою в то время, когда он подавал утешение бедным, утомленным тяжкими трудами земледельцам. Боже! Кто, кто, кроме бесчеловечных литовцев, сих лютых тигров, мог похитить у нас подпору нашей старости, утешение жизни — единородного нашего сына?» Вскоре верный слух оправдал их догадки. Филомар плакал вместе с друзьями и сам трепетал о судьбе своего Зиновия.

Священное дружество! Страсть, благословенная небом, надежная подпора на скользком пути жизни, приятная подруга в радости, сладкая утешительница

в горестях, сколь удивительно могущество твое! Один взор твой проясняет сгущенный туман печали; одна улыбка награждает все потери. Очаровательный голос твой, голос, проливающий неизъяснимую сладость до самой глубины души, водворяет спокойствие в мятежных чувствах. Прикосновение уст твоих врачует все раны сердца, пронзенного стрелами безнадежной любви или жалом диких страстей! Дружба, любимая дочь неба! Всегда постоянная в чувствах, всегда неизменная в действиях, ты подобна полной луне, равно освещающей стези путника во все часы ночи от вечерней и до утренней зари, между тем как другие страсти, сверкая лучом молнии или ложным светом блудящих огней, обольщают взор несчастного и заводят его в пропасти!

О дружба! Рай благородных душ, отрада убогих и несчастных, дружба, незнакомая вельможам и неизвестная царям! Твое стремление — забывать себя, твоя цель — счастие друга. Помощница в трудах домашних, участница во всех мечтах, во всех предприятиях, никогда не являешься ты в таком блеске, как в минуты бедствия друга твоего! Первая весть о его несчастии заставляет тебя забыть все свои наслаждения, оставить все надежды и лететь с неизъяснимым мужеством сквозь тысячи опасностей туда, где гремят перуны судьбы над главою страдальца; лететь и собственною грудию заслонять упадающего друга от ударов рока, от стрел злополучия! Свидание с другом есть перла в венце радостей; разлука — лютейшее мучение! И сие-то мучение, может быть, еще первый раз в жизни, должен был испытать Зиновий. Он испытал его в полной мере. Отчаяние родителей Осмундовых и слезы Филомара скоро известили возвратившегося о невозвратной потере его.

Кто выразит горесть юноши? Страстная горлица, наполняющая воздух жалобами, с беспокойством летая по лесам и бия темную грудь свою о жесткую кору дерев, не с такою горестию сетует о потере милого, как сетовал Зиновий о друге своем. Он ломал себе руки, раздирал одежды свои, вырывал клоки прекрасных власов и в диком, не растворенном слезами отчаянии проклинал тиранов Малороссии.

— Змеи! Вскормленные слезами, потом и кровию нашею гладные волки, враны хищные! Доколь будете питаться ранами отечества нашего? Вы, лютые! Вы погубили друга моего!.. Но трепещите! Раздраженная

дружба ужасна: я пробегу дикие пустыни, возмущу дремучие леса; вопли мои созовут плотоядных зверей, стоны дружбы покорят их мщению; мщение поведет прямо на сердце Литвы, исторгая стон за стон, слезы за слезы и проливая кровь за кровь! Ах! Отпусти меня, родитель мой, я буду ужасным мстителем отечества и дружбы!

Внезапное похищение Осмунда, справедливое опасение, чтоб не постигла такая же участь Зиновия, и решительный ответ Вассияна склонили Филомара отпустить немедленно своего сына. Родители Осмундовы решились переселиться в долину Филомарову; Вассиян обещал скоро посетить его и, может быть, навсегда с ним водвориться. Несколько дальних родственников и все друзья Хмельницкого собрались проводить Зиновия в далекий путь. Древний меч, переходивший от отцов к детям в роде Хмельницких, изострен и отдан Зиновию.

— Он покрыт ржею,— говорил Филомар,— ее смывают кровию!

Добрая мать Осмундова повесила на шее Зиновия крест и узелок с землею, взятою с гроба матери его.

— Это предохранит тебя,— сказала она,— в дальних странах от лютейшей сердечной болезни — *тоски по родине.*

Наконец час разлуки настал. Старец Хмельницкий, укрепя все силы души своей, с мужеством героя, без слез и рыданий, простился с другом души своей.

— Итак, сын мой! — говорил Филомар,— иди прямо в Крым, там еще не умерла слава имени нашего: старцы были очевидными свидетелями великих подвигов Хмельницких, а юноши знают о них по преданиям отцов!

Зиновий внял воле родителя своего и пошел в Крым.

Конец I книги

(КНИГА II)

Новость предметов, беспрерывное движение и твердая решимость достигнуть цели своей облегчают разлуку с местами родины. Быстро идет Зиновий по берегу Днепра, как будто преследуя бегущие к морю волны его. Красоты природы сильно действуют

на сердце, еще не истомленное летами жизни, но полное восторгов и любви к изящному. Быстротечный Днепр с легкою, светлою водою часто и почти всеминутно изменяет поверхность свою пред очами странника. Малейшая отмена неба изображается в чистом зеркале вод его. Займется ли утренняя заря — и розовый пожар востока отражается огнистым румянцем в синеве реки; выступит ли солнце — и лучи его, подобно золотым стрелам, вонзаются в глубокое лоно вод. Смешение света и влаги образует светлые радуги над поверхностию реки. Но не всегда глядится в нее небо веселым лицом: находят черные тучи, и мрачный сумрак ложится на воды.

Благотворная река сия невольно волнуется нашествием бурь, странствующих в пустынях воздушных. «Так,— думал юный путник,— нередко и добродетельнейший человек изменяется и страждет от чуждых страстей! Так и мирное благоденствие целых народов помрачается суетностию властителей их!» При сем размышлении Зиновий вздохнул из глубины сердца; он вспомнил об участи своего отечества. Талисман, возложенный на грудь юноши матерью друга его, не мог долее предохранить сердце от грусти, и сия грусть и жаркие слезы, катившиеся из глаз,— дань нежному родителю, оставленной родине!

Но Зиновий, издавна трудившийся в приобретении полной над самим собой власти, старался и теперь направить по собственному произволу течение своих мыслей. Удаляя все неприятное, он занимал ум свой размышлениями важными. Из преданий историков и рассказов отца своего составил он себе достаточное понятие о тех странах, к которым направлял путь свой. Ему известно было, сколь часто Крым — край прелестнейший на лице земном — видел изменение владычества над собою. Греки водворили в нем многие рои своих соотечественников. Древние тавры, жители каменистых скал, долго удерживали свободу и права в горных гнездах своих. Генуэзцы сбивали греков и на развалинах простых селений воздвигали цветущие города. Но не надолго! Во времена великого переселения народов стада кочующих ополчений: скифы, готфы, вандалы, козары и, наконец, турки — одни после других наводняли сонмищами своими весь Крым, разбивали шатры на опроверженных ими городах и, сталкивая друг друга с лица сего полуострова в шумящие волны морей, орошали кро-

вию своею поля и долины. Наконец мечи татарские одолели оружие всех племен. Побежденные рассыпались и покорились; потомки грозного Чингиса утвердили незыблемо владычество свое над тавро-скифскою страною.

. . . .

Углубляясь в сии мечтания о древности и с живейшим любопытством созерцая в туманной отдаленности прошедшего картину великих событий, Зиновий неприметно достигает пределов Крыма. Одетые серебристым пухом ковылей, обширные степи пред ним расстилаются, степи, в которых очам странника в течение многих дней пути не представляется ничего, кроме земли и неба. Соляные озера, как чистые кристаллы, светятся в сих необозримых пустынях. Бесчисленные стада овец и верблюдов испещряют единообразие полей. Гостеприимство, первая добродетель татарских аулов, с приветливою улыбкою встретило Зиновия у самого Перекопа и с нежною заботливостию провождала путника в области своего владычества. Тени древесные, хижины поселян и шалаши пастырей — все считалось там временною собственностию странника, гостя, посылаемого самим небом, по мнению татар.

Но оставим на минуту Зиновия наслаждаться приятностию гостеприимства и посмотрим, что происходит далее, в средине *Ески-Крыма.* Новый султан турецкий вознамерился ознаменовать вступление свое на престол Отоманов порабощением цветущего полуострова, который только по единству веры был в некоторой зависимости от Порты. Великий флот приготовлялся перевезти из Анатолии многие толпы янычар, спагов и арабов, долженствовавших наложить цепи рабства на свободный Крым.

Скорые вести уведомили крымцев о покушении их врагов. Хан крымский, старец, почтенный летами и знаменитый подвигами, выступил в поле с юным сыном своим. Не могли знать наверное, в каком именно месте пристанут турки к берегу, и потому надлежало принимать меры к обороне в различных местах одинаково.

Все было в тревоге и волнении, ибо всякий дорожил свободою более жизни. Все просили о защите небо, вождей своих и даже самую бездушную природу. «Свобода или смерть!» — восклицали пылкие юно-

ши, остря заржавленное оружие на приморских скалах. Моря, пустыни, долы звучали кликом свободы, и *любовь к отечеству* одела весь полуостров, как горная орлица гнездо свое златыми крылами, смело вопрошая: «Кто дерзнет обидеть чад моих?»

В таком-то величественном виде должен был Зиновий узреть древний Крым. Но путь степной затруднителен: надлежало идти по тропам, отвердевшим под стопами путников и раскаляемым солнечными лучами. Юноша уже несколько дней проходил сею степною дорогою. Везде слышал он о вооружении крымцев только поверхностно, никто не мог удовлетворить любопытство его обстоятельно; наконец счастливый случай представился. После продолжительного знойного дня наступал прохладный вечер; края чистого неба со всех сторон представлялись в соединении с гладию полей, и западающее солнце казалось уходящим *под землю.* Одна половина уже сокрылась, другая догорала еще в виде большого огненного полукруга на самом краю обзора, и последние лучи его длинным протяжением, как будто расстилаясь по земле, тускло освещали седое пространство степей. В это время Зиновий увидел недалеко от дороги сельский домик, тенистую рощу и старца, созерцающего захождение *степного солнца.* Надежда на гостеприимство назначила ему место сие для ночлега, приветливость встретила у порога хижины.

Два прекрасных отрока по повелению престарелого родителя нагрели воды, распустили в ней мыло из душистых целительных трав и умыли утружденные ноги Зиновия. Несколько кистей винограда, арбузы, алые как заря, сочные дыни, различных родов сливы, черешня и густое млеко, присоединяющее к отменному вкусу благоухание зелий, питающих стада на пажитях крымских,— все сие немедленно гостю представлено.

Мы еще не сказали, что Зиновий разумел хорошо татарский язык; отец и старый татарин, служивший некогда в доме их, доставили ему случай выучиться оному. Благоразумный юноша любит беседу старцев. Зиновий с удовольствием слушал хозяина своего, который с особенным восхищением описывал приятности пастушеской жизни. «Жизнь рыболовов и охотников,— говорил он,— трудна и заботлива: первые осуждают себя на вечное заточение в диких скалах

при шумных порогах или на берегах наших морей; другие, скитаясь по лесам, проводят век свой в беспрерывной страже за дикими зверями и в опасной войне с оными. Правда, что по расчетам корысти все выгоды на их стороне, ибо те и другие выручают много серебра за свои добычи; но приятности постоянной жизни, но безмятежность мирных дней, но совершенное неведение заразительных наслаждений роскоши и, наконец, ничем не нарушаемая независимость от самого рассвета и до сумерек жизни принадлежит, конечно, одним только пастырям. Ибо кто будет завидовать пастырю, не имеющему ни злата, ни сокровищ! Чья рука вооружится на отнятие простых даров природы, которые он с таковою же, как и она, щедростию предлагает каждому? Но если ополчатся злодеи на свободу нашу, тогда и мирные пастыри становятся страшными воинами, тогда посохи превращаются в копья, вместо свирелей блестят мечи и ценою лучших овец покупается оружие у наших горных соседей».

Далее, вопрошаемый Зиновием, рассказывал старец обстоятельно о вооружении народа, показал *фирман* ханский, которым призывались *вольные люди* из всех племен на защиту отечества, и продолжал: «Я отпустил трех сынов моих, и если враг усилится, пойду с сими двумя отроками пролить последние остатки хладеющий крови и положить тело свое в одну могилу с тысячами братий. Нет,— продолжал он с жаром,— не попущу, чтоб дерзкий победитель вломился в потаенную дверь моего гарема, чтоб ножи турецкие точили кровь моих стад и кони их топтали пажити долин моих, лучше стократно приму смерть!» Старец умолк, а Зиновий рассуждал, с каким пламенным рвением защищает народ отечество свое в то время, когда беспрепятственно пользуется своею природною свободою, но сколь, напротив, слабым и малодушным делает его лишение наследственного преимущества Гражданина и родового права человека!.. Ополчения рабов, влекомые корыстию, необходимостию или грозою на пролитие крови в чужой стороне, могут ли противустать людям вольным, обороняющим веру, законы и все частные выгоды, нераздельные с выгодами общества, которого они члены? «Бессмертия и похвал достойны те правители народов,— думал Зиновий,— которые, признав над собою торжественно владычество законов, не стремят-

ся отделять собственных выгод от выгод общих, которые богаты богатством народа, непобедимы его мужеством и счастливы счастием оного!» Так рассуждал юный Хмельницкий; тайное предчувствие говорило ему, что некогда и сам он может соделаться устроителем судеб народа.

Кратка бывает ночь путника, сгорающего желанием достигнуть цели своей. Еще не рассеялись утренние сумерки румяным блеском зари, а Зиновий готовился уже в путь. Блеяние ягнят, заключенных в зеленой ограде, и матерей их, прибежавших с полей с полными млека сосцами, пробудили юношу. «Куда так рано?» — сказал старец.

— Спешу принести о тебе весть сыновьям твоим,— отвечал Зиновий.

И тогда только узнал хозяин о намерении своего гостя, ибо по обычаю тех стран при угощении путника воспрещено любопытствовать о имени его и цели странствия. Старец обнял юношу и поручил повторить за себя сынам своим, что смерть их почтет благословением пророка, если они умрут свободными, исполнив великий долг свой; но умрет сам от горести, если увидит их рабами и отечество покоренным.

Они расстались. Скоро миновал Зиновий степную и вошел в каменистую полосу Крыма. Высокие скалы, покрытые кустарниками, развалины древних городов, цепи холмов и быстрые речки составляли в глазах его картину совсем противуположную наготе степей. Леса синелись в отдаленности. В сей части полуострова воздух был прохладнее, долины свежее. Большие табуны лошадей, не терпевших неволи, паслись на берегах протоков, наполняя окрестности ржанием. Нетерпение убыстряло шаги Зиновия, ему казалось, что турки достигли берегов, что храбрые татары уже пожали лавры победы и все сие свершилось без него! Он решился продолжать путь свой и по ночам. Но холодные ночи крымские не могли остудить пламенного воображения юноши — скалы, холмы и леса превращались в мечтаниях его в ополчения, а долины — в поля битв.

Мысленно двигал Зиновий великими ратями, указывал тайные пути, наводил их, как воды, на страны враждебные, силою речей своих воспламенял в сердцах угасающее мужество и быстро опровергал все оплоты врагов. Таким образом в юном Хмельницком неприметно созревал герой и великий полководец

того времени. Наконец в одно утро с высоты крутой горы увидел Зиновий море. Оно темнело в отдаленности. Радостно взыграло сердце юноши. «Там,— думал он,— встречу я врагов свободы, там буду сражаться и... может быть, обрету лавры и славу!» Зиновий направил путь свой к древнему Кезлову. Частые встречи с вооруженными толпами и всюду рассеянные шатры различных воинственных племен предвещали скорое достижение цели.

«Кто ты? Отколь? Куда идешь?» — сими вопросами встретили Хмельницкого сторожевые отряды молодых татар.

— Я малороссиянин, оставил отечество свое, убитое неволею... Крым сделался целию моего странствия.

Воины ласково приняли юношу и проводили сквозь тысячи вооруженных к намету ханскому.

«Кто ты, юноша?» — вопрошал его хан.

— Вольный гражданин порабощенной Малороссии.

«Куда идешь?»

— В Крым.

«Чем можешь быть полезен Крыму?»

— Меткою стрелою, острым мечом и неустрашимым сердцем!

«Почему тебе мила свобода наша?»

— Свобода есть общее достояние всех человеков.

Хан ободрил юношу взором, исполненным благосклонности, старцы похвалили разум ответов его.

«Как зовут тебя?» — вопросил его стройный молодой человек, это был сын ханский.

— Я Хмельницкий! — отвечал Зиновий.

«Хмельницкий из Чигирина!» — воскликнули вдруг несколько старцев.

«Хмельницкий! — повторил хан.— Я знал Филомара Хмельницкого, живет ли он еще?»

— Он жив, и в умирающей от старости груди его жива еще любовь к гостеприимному Крыму. Филомар отец мой!..

«Филомар твой отец?» — воскликнули старцы.

«Он был сопобедником и другом моим. И мы будем друзьями!» — сказал Аглаим, сын ханский, ласково подавая Зиновию руку. Вскоре слух о прибытии молодого Хмельницкого распространился по всем аулам. «Мы знали малороссиянина Хмельницкого,— (показывая раны свои). — Вот раны от него и вот

раны за него; первые получили мы в дерзновенных набегах на Малороссию, повсюду им отбитые; вторыми украсились в те дни торжеств и славы, когда, достигнув с ним берегов Дуная, везде побеждали!» Так говорили о Хмельницком в аулах татарских. Старцы рассказывали о подвигах его юношам, цепенеющим от удивления, и все спешили с любопытством смотреть на молодого Зиновия. Таково-то могущество твое, о слава, приобретаемая истинными заслугами предков! Не ты ли лучшее наследие потомков?

Между тем Зиновий принят в *почетное ханское* войско и включен в число приближенных его. Вместе с юным Аглаимом на быстрых горских конях объехали они обширные воинские станы, раскинутые на великом пространстве степей. Все, что могло быть вооружено в целом Крыму, вооружилось. Берега пестрели шатрами. Но Зиновий не мог взирать без прискорбия на беспорядок, с которым толпы татарские приготовлялись встретить турок. Зиновий, любивший страстно еще в летах ранней молодости читать деяния великих полководцев и приобыкший потом в мечтаниях своих учреждать строями войск, внутренне негодовал на неустройство татар, привыкших только нападать и не умевших защищаться. Зиновий не слыхал еще грома сражения, но мог уже равняться с опытнейшими из крымских вождей в науке сражаться: вот польза предварительного учения!.. Престарелый хан, зная, что праздность усыпляет мужество, питал деятельность юношей различными играми. На другой день по прибытии Зиновия назначены ристалища и стрельба из лука. Под гром *железных пушек,* при звуке труб распахнулись полы шатра ханского. Белобрадые старцы, судии подвигов, заседали в нем. Началось рыстание. Несколько сот юношей, устроясь в дальнем расстоянии, быстрее вихря пустились к цели. Конный строй волновался, одни упреждали других; некоторые уже попирали взорами лестную награду, но Аглаим на статном анатольском коне, равнявшийся прежде с прочими, вдруг в одно ока мгновение всех опередил и принял из рук восхищенного родителя лавровый венец.

После сего продолжалась несколько времени борьба, на которой многие юноши из разных племен остались победителями. Наконец приступили к стрелянию из лука. Белый египетский орел привязан был к золотому кольцу наверху высочайшей *раины.* Со-

кол и ворон находились несколько ниже. Столб украшался цветами, зеленью и шелковыми тканями, которые в радужной пестроте своей развевались по воздуху. Подан знак, и сподвижники выступили вперед, подан другой — натянуты луки; по третьему засвистали стрелы... Пронзенный ворон пал с высоты; множество стрел вонзилось в столб.

Выступил Аглаим, натянул позлащенный лук свой и сбил сокола; никто не мог поразить орла, который кружился по воздуху, тщетно стараясь прервать оковы. «Что же ты не испытаешь руки своей?» — говорили старцы Зиновию. Юноша, ожидавший только приглашения, скромно поклонился судиям, вынул надежную стрелу и, напрягши лук тугой: «Орлы любят свободу,— сказал он.— Счастлив буду, если подарю ее сему!» Сказал, пускает стрелу, стрела рассекает шелковые шнуры — и орел взвивается к небу! Раздались рукоплескания, тысячи похвал осыпали юношу, и старцы вручили ему награду — серебряный колчан с позлащенными стрелами. Юный Аглаим с живейшим чувством благородного соревнования взирал на юношу. С первого взгляда он его полюбил; после первых объяснений начал уважать, а первый подвиг Зиновия усугубил в нем уважение к нему. «Друг мой! — говорил Аглаим.— Ты не рожден быть простым воином: все показывает в тебе человека, достойного повелевать другими. Как воин будешь ты полезен только своею храбростию; как начальник принесешь несравненно большую пользу своим благоразумием. Отец мой,— продолжал он,— охотно поручил бы тебе часть войск своих; но он боится оскорбить самолюбие старейших вождей. Есть у нас, однако ж, другой способ сделаться начальником: древний обычай позволяет вольным татарам наниматься на службу, составлять особые полки и следовать предводительству того, кто дает им условную плату. Возьми от меня золото и...» Тут Зиновий вспомнил о драгоценностях, которые отец заставил его взять с собою и о которых он — думая только о славе,— совсем почти забыл. С благодарностию отказавшись от предложения Аглаима, принес он колчан свой, открыл потаенное отверстие и высыпал из оного драгоценные камни. Сокровища Зиновия оценены дорого; ему позволили нанимать войска — и вольные татары из всех племен толпами стеклись под знамя, дарованное ему ханом. Зиновий испросил позволение

составить особую береговую стражу. И с сей-то минуты показал он в себе дух полководца. Благоразумие, прозорливость и неутомимая деятельность ознаменовали все поступки Зиновия. Западающее солнце оставляло его на коне, и на коне же встречал он зарю утреннюю. По его повелению очищены берега; пушки сокрыты между гор; на высочайших скалах расставлены стражи, долженствовавшие смотреть неуклонно на море, передавать взаимно знаки и при первом появлении неприятеля привести все войско в движение. Столь мудрые распоряжения водворили во всех полную доверенность к Зиновию.

Вскоре на краю дальнего горизонта начали показываться корабли турецкие. В сумраке тихого летнего вечера белели бесчисленные паруса. Стражи тотчас подали голос с высоты гор. Загремели трубы в долинах; раздалось ржание коней; зазвучало оружие — и весь вооруженный народ в волнении!.. Сильно забилось сердце Зиновия — от радости.

Прибыл хан с юным Аглаимом. Предлагают различные способы к отражению; Зиновий смотрит спокойно; наконец, подъехав к хану, просит его усердно дозволить ему первому встретить турок и отдает голову свою под меч, если не победит плывущих за победами. Хан предложил о сем старейшинам, объявил войску — и раздался общий голос: «Да будет Хмельницкий вождем нашим!» С благодарною скромностию принял он сан военачальника. Спокойно созвал вождей, начертал на песке порядок строем и раздал некоторые тайные повеления... Вскоре весь берег опустел: все сокрылось в горы...

Между тем турки приближались; передовые суда осмотрели берег, пуст и безмолвен был он!.. Заключая по сему, что пристают к острову со стороны слабейшей, неприятели подали знак к высадке, и тысячи их в глубоком молчании покрывают берега...

Полная луна сияет на высоком небе. Крым кажется погруженным в глубокий сон, и гордые чада Порты уже мечтают обладать прелестными странами его... Войска овладели берегом, шатры раскинуты, корабли отчалили... Вдруг раздался гром невидимых орудий; воздух поседел от дыма, и стрелы посыпались градом из-за гор и ущелий. Турки в смятении; испуганные кони наполняют воздух ржанием; шатры пылают; неприятели притиснуты к самому морю и

под смертным поражением невидимых громов ограждают себя окопами.

Утро осветило утомленных работою под защитою высоких валов. Но подобно быстрому орлу, взирающему из-под облак на черных змей, ползущих в густой траве, Хмельницкий, заняв высоты окрестных гор, открыл неприятелей в самой средине окопов и одождил их с высоты тысячею стрел. Разъяренные Отоманы решились на вылазку. С громким криком, с пеной на устах, сверкая *ятаганами* и *кинжалами,* яростно бросились они к горам. Хмельницкий противупоставил силе и ярости хитрость. Татары с притворным страхом побежали быстро; турки преследовали их далеко. Благоразумие предводило первых, отчаяние ослепляло последних. Наконец, Хмельницкий остановил своих в обширной долине. Турки оглянулись — горы и засады замыкали их; хотели двинуться вперед — сабли татарские преградили им путь! Опасность остудила ярость гордых, страх заступил место надменности.

Сеча была великая и победа совершенная; но Крым еще не освобожден: другая половина войск осталась в укреплениях. «Малодушные! — кричали турки с высоты окопов своих. — Вы бежите, как робкие серны от страшных львов, и губите нас сетьми и хитростями!» Татары обиделись; пылкий Аглаим хотел требовать единоборства с вождем турецким. Хмельницкий остановил друга своего, приказал готовиться к новому приступу и послал сказать туркам, что татары готовы немедленно доказать им храбрость свою в самой средине их окопов. Во всю ночь валы неприятельские унизаны были смоляными светильниками. Турки ожидали нападения, а Хмельницкий — восходящего солнца, чтоб одержать победу при свете его. На утренней заре двинулись к приступу. Тут Хмельницкий забыл уже сан вождя и стал наряду с простыми ратниками. Одну половину храбрейших юношей отдал он Аглаиму, с другою пошел сам. Турки встретили наступающих ужасным сопротивлением: бревна летали, каменья сыпались, растопленная смола и вода кипящая лились на осаждающих. Действие пушек было губительно, но ничто не могло остановить татар, ничто не в силах было противустать Хмельницкому и Аглаиму. Как два сердитые потока, упитанные весенними снегами, стремятся с двух противных холмов, ломая деревья, исторгая камни и

сдирая кустарники с кремнистых бугров, так два юные героя, два друга, Аглаим и Хмельницкий, несли смерть и ужас в окопы турецкие. Хмельницкий получил рану — и шел вперед, получил другую — и не остановился в стремлении к победе. Отчаяние не спасло турок. Солнце, достигнув половину дневного пути, узрело окопы их, загроможденные трупами. Верховный визирь с малою только частию ушел на корабли. Три *паши* и все пушки достались в плен. Среди стона умирающих турок, при радостных криках татар, под звуком труб Хмельницкий обнял Аглаима, и оба провозглашены победителями. Аглаим не был ранен; раны Хмельницкого не были опасны... Хан ожидал их в великолепном намете своем; они поспешили туда с трофеями. «Сеймены, преклоните знамена! Мурзы, калги и нурадин салтаны, поклонитесь Избавителю Крыма!» Так воскликнул хан при вступлении Хмельницкого и в восхищении обнял его наравне с родным сыном своим.

* * *

Знаменитость в народе крымском, общее уважение и всеобщая любовь стали уделом Хмельницкого. Аглаим изыскивал все средства, чтоб доказать ему привязанность свою, и Хмельницкий, пользуясь доверенностию сына ханского, желал употребить ее в пользу его же отечества. Заметя однажды, что Аглаим с восторгом вспоминал о недавно одержанной победе и непритворно радовался освобождению Крыма, Зиновий говорил: «Мало еще, очень мало сделал государь, который умел только отвратить от народа мимотекущее бедствие, отклоня смело или искусно грозу неволи. Чтоб жить в сердцах, чтоб жить в истории, надлежит устроить прочное, постоянное счастие вверенных ему провидением людей».— «В чем же состоит сие постоянное счастие?» — воскликнул с живым любопытством Аглаим. «О мой друг! — продолжал Хмельницкий.— Желая наведаться о судьбе человечества, раскрой бытописание мира. Ты увидишь, что общества людей с древних времен были поприщами, на которых *своевольство* беспрерывно препирается с *правом»*. Аглаим слушал внимательно, но Хмельницкий видел ясно, что первоначальные законы обществ и права человека мало еще были ему знакомы. Желая объяснить другу своему важнейшие

истины, он беседовал с ним пространно, стараясь быть хладнокровным и ясным. «Было,— говорил он между прочим,— было, вероятно, время — история не запомнит его,— когда люди, вне состояния гражданского, странствовали по земле, еще никому не подвластной, один по одному или небольшими семействами. Полный властелин двух наследственных даров провидения — силы и свободы,— человек ничего не имел еще тогда собственного, но зато и сам не был ничьею собственностию. Бодрый, величавый, но дикий, как конь степей ваших, он готов был всякую минуту терзать свои и чуждые оковы[1]»...

После сего говорил Хмельницкий другу своему о непреодолимой тайной склонности, влекущей и связующей людей в общества; говорил о первоначальном населении земли, о том, как рассеянные шалаши рыбарей и пастырей совокупились в веси и как мирные веси, обогащенные торгами и промыслом, становились городами великолепными; как народы отдаленнейших стран знакомились, и шум жизни и деятельности растекался по лицу дотоле безмолвной земли. Но едва человек успел порадоваться красоте гражданского порядка, как должен был уже проливать слезы об утрате лучшего из наследственных сокровищ — свободы своей. Ибо не может существовать общество без большего или меньшего пожертвования природной свободой. Уступка свободы родила с одной стороны подчиненность, а с другой образовала власть, орудие спасительное, когда оно в руках благодетельных. Если уподобить общество гражданское кораблю, то власть для первого есть то же, что кормило для последнего. Ветрила суть страсти, а случаи — ветры, движущие корабли и общества; благо, когда *кормило* в руках мореходца мудрого, человека добродетельного!

. . . .

Хмельницкий умолк. Аглаим, чувствительный, благородный юноша, вне себя от изумления... Различные чувства волновали душу его. Так некогда сам Хмельницкий поражен был повествованием старца

---

[1] Предание говорит, будто степные крымские кони с дерзостью зверей плотоядных нападали некогда на обозы, терзали зубами упряжь, все, что обуздывало лошадей домашних, и уводили сих последних с собою в необозримость степей, далеко от жилищ человеческих.

Вассияна. Тому мечтались тогда гремящие битвами поля и грозное движение строев; этому воображение представляло в сей час страны, цветущие под благословенным владычеством *закона,* и народы, стенящие в рабстве под тяжким игом *своевольства,* слепо правящего судьбами миллионов по единому внушению страстей своих. Аглаим живо чувствовал различие и с жаждою истины вперял слух свой в беседу друга мудрого.

Тут раскрыл постепенно Зиновий Аглаиму все тайны счастия народного. Он советовал собрать *старейшин* из всех племен для составления законов, свойственных духу народа и времени, а посему твердых, ненарушимых. «Но что и в законах,— говорил он,— если всякий безнаказанно попирает их ради личных своих выгод? Нет! Все постановления государственные должны быть как древа в садах отцов твоих: всякий может поливать их и никто рубить не дерзает. Я хвалю,— продолжал Хмельницкий,— древний обычай ваш производить суд под открытым небом пред очами народа, даже при больших дорогах, чтоб и самый мимопроходящий мог слышать приговор и судить о беспристрастии самих судей... Истина не имеет нужды скрываться. Небо и землю призывает она в свидетели действий своих; но сколь немногие государства, даже гордящиеся отличным просвещением, могут похвалиться такою откровенностию и чистотою в действиях правосудия! Одна свобода мыслить и говорить способна обнаружить зло в сокровеннейших улусах его. Свобода — разумеется, законная, благоразумная — есть одна из главнейших составных частей счастия народного. Она столь же необходима для государства, как свет для целого мироздания и воздух для земли нашей. Коснется ли мыслей и чувств — они пробуждаются с невероятною быстротою, изливаются с удивительною истиною. Коснется ли благодатное дыхание свободы ремесел и торговли — и тысячи, миллионы рук, медленно двигавшихся для пользы чуждой, весело примутся за труд, им самим прибыточный. Движение, деятельность и выгодная мена огласят шумом веселой жизни безмолвие скучных пустынь, и мирные строи кораблей забелеют на синеве моря, неся с собою богатства далеких стран... Вот слабое только изображение блаженства народного при полном развитии свободы, спасительной для целого государства, благодетельной для каждого гра-

жданина, законного участника в общем благе своего отечества».

Таковые и подобные сей беседы просвещали ум, облагораживали сердце и возвышали дух Аглаима.

Между тем все татарские войска, обеспечась одержанною победою, расходились в жилища свои. Хмельницкий, зная, сколь опасно оставлять берега без надежной обороны, предложил в совете эмиров, или старейшин, что для будущей безопасности Крыма необходимо оградить берега его крепостями, способными предохранить страну от внезапного нападения и удержать стремление врагов. Совет сей принят, уважен, и тому же, кто его подал, поручено устроение сих крепостей.

Хмельницкий, убежденный эмирами и ханом, с скромною благодарностию принял поручение, осмотрел берега и, руководствуясь всеми правилами учения, сделал начертание искусное для твердынь необоримых. Тысячи рук ревностно принялись за сию работу. Хмельницкий везде был сам, везде советовал, наставлял — и все принимали советы его за закон. Последние месяцы лета, осень и зима протекли в успешных трудах. Уже жители степной и каменистой полос Крыма смело могли надеяться пасти в мире стада свои под сению грозных оплотов. Надлежало только обозреть и, если нужно, вооружить южную полосу полуострова, именуемую *счастливою.* Зиновий и Аглаим назначили наступающую весну для сего обозрения, и вскоре присутствие их там сделалось необходимым. Быстрые гонцы от мирных жителей *счастливого Крыма* известили хана о их опасности. Турки, пылая мщением и не смея нападать открытою силою, прислали в нескольких легких судах анадольских разбойников. Сии свирепые злодеи, подобно хищным волкам, пробегали из долины в долину и, неся повсюду меч и огонь, наполняли ужасом области южного Крыма.

Тотчас оба друга подняли знамя брани. *Бирючи* кликнули вольных людей, и толпы конных и пеших потекли вослед за героями. Теперь-то Хмельницкий увидит край, новый красотами, край благодатный, обильный и, может быть, счастливейший на всей земле. Едва переступили Салгир — и прелестнейшая, волшебная страна начала открываться глазам его, страна, которой он еще доселе не видывал. Теплый

ветер, заняв благоухание от горных долин и тихо вея в чувства неизъяснимую сладость, встретил пришельцев; гладкие равнины, покрытые тучною зеленью, улыбались пред ними. Множество речек с шумною быстротою бежали к морю по разноцветным каменистым путям, неся с покорностию в дань черной пучине серебряные воды свои. Стекловидные озера в тихой дремоте светились в зелени долин; бесчисленное множество рыб с златыми, розовыми и сребристыми чешуями испещряли поверхность их; и вся сия страна, сей волшебный сад увенчивался синевою отдаленной цепи гор.

Но никакая кисть не сильна изобразить тех совокупных красот дикой и вместе прелестной природы, которые представились изумленному Хмельницкому в горах крымских. Открытое море являлось тут во всем необозримом, во всем грозном великолепии своем. В сем новом мире Хмельницкий нашел новых людей: он не видал ни одного лица, на котором бы страсти или горесть углубили следы свои. Величавый вид древних греков и добродушие татар сливались на лицах жителей *счастливого Крыма.* «Мы счастливы! — говорили Хмельницкому старцы, у которых и под сединами еще алели ланиты румянцем здравия. — Небо у нас всегда светло; бури, глухо воющие за горами, не дерзают возмутить тишины долин наших. Кристальная влажность водопадов невидимо сеется по зеленому пуху наших лугов и придает всегдашнюю свежесть долинам. Самая зима, пожирающая загорные области, едва смеет навести на них только некоторую бледность и легкою дремоту. Мы не видели зимою снега, а летом пыли. Земля наша возвращает сторицею посеянное, бесчисленные стада дарят нас богатыми рунами и густым, ароматным млеком; виноградные лозы струят сладчайший винный сок; тысячи пернатых, скучая унылою пустотою степей, слетаются на вольный плен в сии горы и утомляют эхо разнозвучными песнями. У нас деревья нередко бывают покрыты плодами осени и цветом весны. Дикие пчелы, извлекая сладость из цветов и душистых трав, составляют янтарный, ароматный мед и наполняют им пустоты дерев, отколе, растопленный лучами, струится он и окропляет ветви и листья древесные златою, благоухающею росою. Поистине земля наша может назваться землею млека и меда...

До сих пор мы знавали о войне только по слуху и в первый раз еще из серпов сковали мечи, уведав о приближении врага свободы. Но теперь мы, несчастные, дожили дней столь злополучных, что в очах наших льется кровь человеческая и кровь стад наших как вода проливается... Следы злодеев опустошительны. Жены наши рыдают, девы трепещут, убиты пастыри, редеют стада, свирели онемели, алтари разрушены, узы любви расторгнуты, женихи пронзены железом, и невесты плачут на могилах возлюбленных. Наши дети, не зная, что такое вражда, с любовию приветствовали врагов, хотели забавляться их светлым оружием, но сие оружие мгновенно погружалось в трепещущую грудь злополучных! В первый раз еще кровь невинности закипела на цветах мирных долин. Кровь сия громко вопиет к небу и к вам о мщении. Избавьте нас от сих ужасных зол». Так говорили старцы. «Спасите! Защитите нас!» — восклицал весь народ пастырей. Хмельницкий и Аглаим обещали истребить злодеев и спешили исполнить обеты свои.

Оба предводителя, избрав надежнейших из воинов, устремились в горы. Сначала места были не столь дики: долы и подгорья покрыты плодоносными кустарниками, виноград, кизил, айва и черешня росли там в изобилии. Хмельницкий предпочитал всему простую черешню. Этот любимый плод малороссиян напоминал ему об отечестве. С углублением в горы везде усугублялась дикость мест, везде являлась природа в ужаснейшем виде: наместо виноградных лоз и златовидных жатв, пестревших на бедрах скал, ничего не видно стало, кроме дикого терна и каменных громад. Седые дремучие туманы, проливные дожди, море, биющее в подножие скал, реки, падающие с высочайших утесов и в бурном стремлении своем сдирающие с гор бугры, каменья, древние дубы; глухо воющие пропасти, везде изрытые стези и ниспроверженные леса соделывали путь отважных ратников едва проходимым. Но мужество и великодушие все превозмогает. Хмельницкий был повсюду, где предстояла опасность: всех ободрял речами, всех подкреплял и дивил примером. Ложем его были жестокие граниты; он отвергал пищу, когда воины его терпели голод, и отдал собственную обувь истомленному юноше, который не мог идти далее по камням

обнаженными стопами. Воины боготворили Хмельницкого, Аглаим удивлялся ему. Вопли пастырей служили извещением о злодеях, которых герои, неоднократно достигая, всегда поражали и наконец в обширной долине, на берегах светлой Эндоли после упорного боя разбили совершенно. На возвратном пути провидению угодно было представить Хмельницкому случай спасти жизнь своего друга, едва не пожертвовав собственной.

Пробираясь узкими тропами среди каменных громад, неосторожный Аглаим скользит, упадает... и в одно мгновение уже крутится в горном протоке. Все испускают вопль, один Хмельницкий бросается вслед за другом, борется с волнами, с смертию и наконец извлекает его на берег. Оба изранены острием камней; Аглаим лишается чувств, но дружба и усердие возвратили ему чувства и жизнь. Умолчим о благодарности. Между тем достигают опять благословенных долин, где прежнее спокойствие восстановилось.

Вокруг смертоносных копий уже вились виноградные лозы, и на щитах, приготовленных к брани, кроткие матери качали детей своих. «Ты герой и победитель!» — кричали воины Хмельницкому. «Ты избавитель наш!» — восклицал благодарный народ.

«Ты спаситель жизни моей!» — говорил Аглаим, обнимая своего друга. Все благословляло Хмельницкого, все стремилось делать его счастливым — и он не был счастлив! Тайная грусть об отечестве снедала его. О страсть, из всех священнейшая, страсть, вдыхаемая самим небом,— любовь к отечеству! Ты ограждаешь царства, ты блюдешь свободу их, как зеницу ока, ты укореняешь народы в пределах, положенных предками и утвержденных временами... Удалишься ли от лица земного — и все придет в смятение; народы забудут права и законы свои, посмеются местам родины, где впервой узрели свет, где нежные матери качали их в колыбелях. С презрением оставят они обычаи и домы отцов своих, покинут гробы предков и, подобно бродящим стадам, предпримут странствие из предела в предел, из царства в царство... Нет, *священная.* Не лишай смертных неоцененных благ твоего присутствия! Живи, *о небесная!* Живи вечно в отечестве моем, да каждый росс, тобою воспаленный, подобно великим предкам своим, не укоснет

принести жизнь, имущество и все дары счастия для блага родного предела!.. Не везде ли согревает единое солнце? Не везде ли питает один воздух? Отчего же люди прилепляются сердцем к степям диким, к лесам дремучим, к странам, засыпанным снегами?.. Кто виною чудесной привязанности сей? Никто, кроме тебя, о любовь к отечеству! Ты вселяешь в душу неизъяснимую привязанность к родным источникам, к родимым лесам, даже к самым бесплодным пескам отечества. Ты вселяешь необоримое влечение к родине!.. И сие-то влечение, усилясь в душе Хмельницкого до степени страсти, утвердило в нем решимость оставить Крым.

Аглаим проникнул намерение друга и старался отвратить или, по крайней мере, замедлить исполнение оного, надеясь очаровать его своею дружбою и красотами крымской природы. В один прекрасный вечер вышли они на цветущие долины поморья. Природа во всех разнообразностях представилась глазам их: море, объятое тишиною, синело в необозримом пространстве, златая тень вечереющего солнца слабо мерцала в томном колыхании зыбей; алая заря занималась в небе и отсвечивалась в водах; рассеянные скалы, темнея в виде развалин древних городов, осеребренные блеском луны, изображались в зыбучем зеркале морей. Испещренные цветами берега украшались в разных местах рассеянными оливковыми, миндальными, розовыми и померанцевыми рощицами. Громкое пение птиц раздавалось в окрестностях, благовонный меспил и душистые мяты окуривали теплый воздух. Неизъяснимая сладость вливалась в чувства вместе с ароматами. Хмельницкий погрузился в безмолвное восхищение. Аглаим воспользовался минутою и говорил: «Друг мой! Не благодатна ли природа наша, не прекрасен ли край сей? Ужели все наслаждения его не сильны заставить тебя позабыть Малороссию и остаться навсегда с нами?» — «Забыть мое отечество! Разве ты считаешь меня столь малодушным?» — «Нет, мой великодушный друг! Но сия очаровательная прелесть мест, сие изобилие, сей благотворный воздух, сие пение разногласных пернатых, сие повсеместное благоухание...» Хмельницкий не дал ему окончить и возразил: «Правда, здесь можно растаять сердцем и забыть о всем на свете, кроме отца и отечества. Ничто, о Аглаим! не может сравниться с теми простыми наслаждениями, которые вкушаем в

местах нашего рождения. Друг мой! Ты не испытал еще горестной разлуки с отечеством и не можешь знать, как жаждет душа сего вожделенного свидания, как сладки бывают для отлученного струи рек, вытекающих из его отечества, как любезен каждый странник, облагоуханный воздухом его родины, как нежит, исцеляет сердце ветер, дующий от пределов родной страны!.. Знай, что дым отечества приятнее всех благоуханий в мире, и голос родины утешительнее всех сладчайших гласов пернатых и певиц. Аглаим! Вспомни еще, что я имею родителя, что старец Филомар ожидает сына своего, что, может быть... кто знает, что без меня могло случиться?.. Нам должно расстаться; но мы останемся вечно друзьями; я останусь вечно благодарным гостеприимному Крыму и скоро, скоро, может быть, воззову его к помощи именем моего отечества. Теперь не удерживай меня». Аглаим уважил непоколебимость намерений друга и поспешил с ним к отцу.

Напрасно престарелый хан предлагал Хмельницкому злато и сокровища, напрасно представлял, что богатства, отнятые у турок, принадлежат ему, ибо по обычаю земли всею добычею располагает верховный начальник войск; он отказался от всего решительно. «Мне ничего не нужно, кроме вашей дружбы; а все, чем желаете наградить лично меня, соблюдите лучше для пользы моего отечества. Скоро, может быть, воззовет оно ко всем народам земли о защите прав и свободы своей». Хан оплакал Хмельницкого, как родного сына, народ осетовал его, как друга. Аглаим и несколько воинов сопутствовали ему до самого *Перекопа*. Они прибыли к *Тафре* в поздний час ночи: все было тихо на полях, только эхо вторило томные крики ночных птиц и звонкие свисты подземных жителей степных. Стада и пастыри дремали; угасающие степные огни курились... Серебряное сияние луны растекалось по седому пространству ковыли. Там-то надлежало им расстаться. Аглаим повел друга своего на ближайший холм, положил руку на сердце, указал на звездное небо и произнес: «Понятия о вере, обряды богослужения различны в народах, но чувства к существу верховному одинаковы. Сему-то вождю светлых легионов, сему блюстителю земли и небес поручаю тебя, друг мой! Клянусь богом, присутствующим в священных мраках ночи и взирающим сию минуту сквозь светлый круг луны на целую половину

земли сей, клянусь, что пребуду вечно, до истления последней искры жизни моей твоим верным, неизменным другом!» Тут оба обнялись, зарыдали и расстались надолго, а может быть, и навсегда!..

Для чего убыстряешь стопы свои, о путник дальних стран? Для чего пламенеешь так желанием достигнуть пределов родины своей? Ты мечтаешь, что дружба и родство, что милые сердцу твоему встретят тебя, как прежде, отверстыми объятиями... Увы! Завеса неведения лежит на очах твоих, непроницаема завеса сия!.. Ты не знаешь, что в отсутствии твоем алчный гроб разверзал уста свои и смерть заходила в хижину твою; ты не ведаешь, что сладкий мир уже нарушен в жилище твоем, что злоба и притеснения разрушили убогий твой кров, что бурные воды потопили долину спокойствия, что величавое древо, под которым играл ты в младенчестве, медленно умирает, сломленное на корне своем, что странник не ищет более гостеприимства в обители добрых и ветер пустынный рыдает в развалинах ее!.. Но слабый смертный не ведает будущего и счастлив неведением своим!..

Неописанно восхищение Хмельницкого, достигшего пределов отечества. С жадностию дышал он воздухом, веющим от стран Малороссии. Он желал бы остановить, заключить в объятия, как друга, каждую бегущую волну Днепра, лобызавшую берега его родины!.. Но скоро на быстром арабском коне, под косматою татарскою буркою, достиг он и сам Чигирина. Что ж встречает в местах своей родины?.. Запустение!.. Долина, где стояла хижина, наполнилась водою, нивы потонули, все признаки бывшего жилища изгладились. Древнее течение реки Ирклея преграждено огромною новою плотиною, и составившееся от того обширное озеро потопило все окрестности. Изумленный, он взглянул на противулежащий берег — увидел новый сад и движение в замке Чаплинского: это доказывало, что вельможа сей, живший до того времени в Варшаве, возвратился в поместья свои. Тайное предчувствие осыпало мраком сердце его. Он идет прямо к церкви и к усугублению грусти своей едва находит одни только развалины ее! Далее, на возвышенном холме, гроб матери его уцелел — он приближается и видит еще другую, свежую могилу. На диком камне начертаны слова: «Здесь после бурного дня жизни опочил Филомар...» Горестный сын,

как громом пораженный, не мог дочитать эпитафии и упал на гроб родителя. Обильное течение слез облегчило наконец стеснение скорби. Он пришел в себя. Но куда обратиться? Где преклонить главу? Где искать изъяснений? Решается идти на прежнее жилище родителей Осмундовых; находит их еще в живых. Добрые окропили пришельца горячими слезами сострадания и рассказали ему печальную историю случившегося. Тут узнал Хмельницкий, что вскоре после него Вассиян, по обещанию своему, переселился к Филомару вместе с родителями его друга, что некоторое время наслаждались они покоем, дружбою и независимостию; но приезд из столицы могущего соседа их, Чаплинского, внезапно разрушил сие мирное счастие. Чаплинский, обогатя древний замок свой вымыслами новой роскоши, пожелал окружить его великолепными садами и облить водою. Высокомерный вельможа едва удостоил послать к Филомару с требованием, чтоб уступил ему долину и срыл сооруженный им храм. «Я не могу,— отвечал Филомар,— сдвинуть храм божий и перенести кости предков моих. Хижина теперь еще мне необходима; пусть повременит немного: я чувствую, что скоро переселюсь из нее в могилу». Но своенравный вельможа не вытерпел: он приказал преградить течение реки — и с злобною радостию смотрел, как разлитие вод поглощало долину и хижину. Рабы Чаплинского разрушили церковь. Все ополчалось противу злосчастного Филомара. Одна только дочь Чаплинского со слезами умоляла отца своего пощадить мирных жителей долины. Сия прелестная девица нарочно приходила утешать опечаленных и сама приносила целительные пития болящему Филомару, который, однако ж, вскоре, удрученный болезнию и горестями, перешел к неизменным радостям. Вассиян, упокоив прах своего друга, возвратился в прежнюю пустыню, где надеялся умереть спокойнее в отдалении от людей.

Сие повествование возмутило душу Хмельницкого; он решился идти к гордому поляку и поставить меч судиею между им и собою. Родители Осмундовы не могли отклонить его от смелого предприятия. С полною надеждою на провидение и с чувством своего достоинства пошел Хмельницкий в замок Чаплинского. Отважность и благородный вид доставляют везде свободный доступ. Многочисленные рабы вельможи, объявя, что владелец их гуляет в садах

своих, не смели остановить *неизвестного.* Величественная осанка, татарский меч, осыпанный дорогими каменьями, висевший на серебряных цепях, и богатое одеяние возбуждали в них благоговейное почтение. И сам Чаплинский поражен был внезапным появлением незнакомца. «Я тебе неизвестен,— говорил Хмельницкий,— но выслушай меня... Зиновий Богдан, сын Филомара Хмельницкого, вопрошает вельможу литовского: кто поверг во гроб моего родителя? кто разрушил сооруженный им храм? кто покрыл водою места родины моей и вымыл из земли еще не дотлевшие кости предков? Отвечай! И суди, чего должен я требовать от человека, все сие совершившего?» Хмельницкий умолк. Глаза героя горели тем страшным огнем негодования, который некогда приводил целые ополчения в трепет; кровь его кипела, и меч, блистая алмазами, при бедре колебался... Чаплинский воззрел кругом себя: не было рабов! Вид героя приводил его в трепет. Он сокрыл злобу и отвечал с притворною кротостию: «Удержи гнев твой, сын Филомара! Единая старость виною смерти твоего родителя, весеннее разлитие реки потопило вашу долину и...» — «Нет! — воскликнул Хмельницкий.— Ты, злодей, ты единый всему виновник! Ты принес на жертву ненасытной роскоши древнее достояние мирных семейств! Ты, дерзкий святотат, разрушил храм божий, ты погреб в живых родителя моего!.. О вы, змеи, сосущие грудь моего отечества! Доколе будете питаться слезами и кровию нашею? Доколе?.. Но ты первый должен принять мзду от руки мстителя Малороссии: извлекай меч и защищайся!..»

Чаплинский испустил вопль отчаяния и оцепенел от страха. Хмельницкий блеснул мечом... как вдруг жалобный крик остановил его. Девица, прелестная как ангел, устремляется из-за дерев, восклицая сквозь слезы: «Пощади, пощади родителя моего!» Прелести ее были неописанны, мщение покорилось красоте, и меч выпал из рук Хмельницкого. О! Сколь могущественно воззрение красоты!.. Так великодушный царь лесов смягчает гнев свой при виде Андрокла или укрощается стоном отчаянной матери в ту минуту, когда уже готовился поглотить младенца ее. Но малодушный соперник коварно пользуется минутой; он хватает лежащий меч и предается подлому бегству, громко скликая рабов своих. «Ах! Кто бы ты ни был, уйди, уйди скорей отсюда, несчастный,— го-

ворила трепещущая девица Хмельницкому.— Отец мой ужасен во гневе своем, ты погибнешь, юный воин... Беги!» Но Хмельницкий не мог последовать совету прелестной. Он не умел спасаться бегством. Между тем раздраженный тиран, с пеною на устах, скрежеща зубами и задыхаясь от ярости, поспешно ведет за собою толпу рабов, гремящих оружием и цепями.

Хмельницкий хочет защищаться... но меч его в руках злодея! Малодушные трепещут одних взоров героя и долго не смеют еще к нему приступить. Наконец, бросясь все толпою, обременяют обезоруженного тяжелыми веригами. «Теперь докажи мужество свое! — восклицает Чаплинский с коварным удовольствием.— Ты погибнешь, дерзкий раб! Все мучения истощу на тебя!» Но Хмельницкий, сей питомец свободы и чести, не ведавший оков, безмолвно внимал укорам злодея, роняя невольно крупные слезы, вытесняемые скорбию из потупленных очей. Так плачет могущий лев, внезапу опутанный сетьми хитрых ловителей... «Повергните его в преисподнюю башен моих! Пусть вериги и глад усмирят буйный дух сего мятежника!» Рабы повиновались голосу властелина и повлекли Хмельницкого!.. Он слышал издалека, как нежная дочь умоляла о помиловании свирепого родителя... Но открылся зев подземной могилы; несчастный узник опущен в нее, и три железных двери заскрыпели на ржавых вереях, и громко зазвучали запоры, и глухо отозвался стук камней, которыми заваливали вход в темницу сию.

Конец II книги

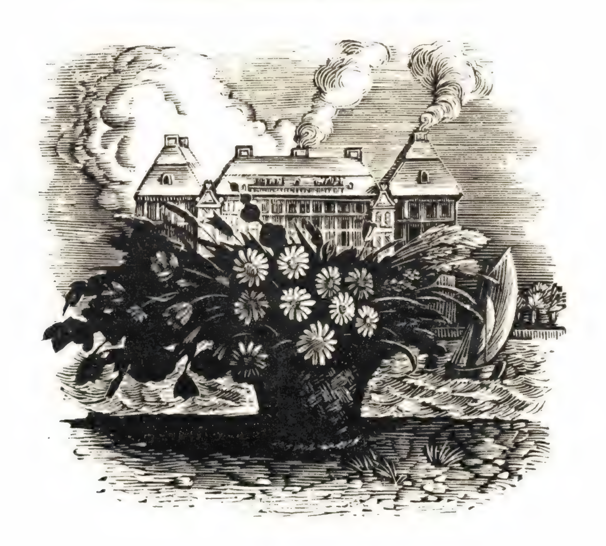
(Продолжение впредь)

1817

А. Корнилович

АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ

(Старинная повесть)





Глава I



ыла осень. Лес в окрестностях Валдая, верстах в двух от большой дороги из Петербурга в Москву, находился в оцеплении. Охотничьи рога, свист арапников, шум листьев от конских копыт, лай, визг, вой легавых, когда несшихся по опушке, когда уходивших в глубину рощи, по мере того как след зверя горохо- вел, стыл, терялся, изумляли слух дикой смесью разнородных звуков. Везде деятельность, живость, быстрота. Поднимали зверя на поляну, где, держа на сворах неспокойных от нетерпения гончих, находились верхом на известных расстояниях охотники, окрестные помещики, полевавшие в угодьях окольничего Ивана Семеновича Горбунова-Бердышева. Сам он в середине, окруженный доезжачими, на лихом аргамаке под турецкою сбруей, с неугасшим от лет пламенем в очах ожидал появления добычи. Но вместо зверя показалась на дороге из лесу телега, в коей сидело двое мужчин. Едва взъехала она на поляну, старший, в некрытом овчинном тулупе, остановил лошадей, соскочил с телеги, снял шапку и, будто за-

нявшись поправкою хомутов, внимательно рассматривал лица охотников. Младший, по-видимому лет двенадцати, окутанный шерстяным платком, обратил взоры на погоню за выскочившими в это самое время из пороши двумя зайцами.

Лов был удачен. Между тем вечерело. Раздался звук рога, возвестивший конец охоте. Ловчие, сомкнув и сосворив гончих, отправились вперед с тороками, тежелыми от затравленных зайцев, лисиц; за ними в другом поезде владелец села Воздвиженского с деревнями и его соседи. С появлением барина высыпали на двор конюхи для принятия лошадей. Гости разошлись по своим комнатам, дабы, переодевшись, вздохнув, собраться снова и увенчать тревоги дня веселым ужином. Иван Семенович, прежде чем скинул охотничий наряд, подошел по обычаю к окну посмотреть, как проводят по двору коней, и видит, что телега, которую заметил еще на охоте, остановилась у ворот. Мужчина в тулупе, привязав вожжи к одному из колец, коими тогда усеяны были заборы наших барских домов, без шапки, держа за руку спутника, пробирался вдоль боковых строений к господским хоромам. Иван Семенович свистнул.

— Кто приехал? — спросил он у вошедшего на призыв слуги.

— Из Тихвина, от Александра Семеныча, Николай Федоров.

— От братца Александра Семеныча? — повторил с изумлением барин.

— Точно так-с,— отвечал слуга.

— Послать сюда Федорова.

Вошел рослый, плотный, румяный мужчина; коснулся челом земли и, по преимуществу людей дворовых, поцеловав руку господина, подал перевитый шелковинкою свиток с висевшей восковой печатью.

— Что скажешь, Николай Федоров?

— Александр Семеныч приказал долго жить.

— Братец скончался? — прервал Горбунов.— Упокой, господи, его душу! — промолвил, вздохнув и с крестом обратившись к образу. Затем развернул свиток и вполголоса прочел следующее:

— Государь братец, Иван Семенович! Десять лет ложный стыд удерживал меня от сознания, что я оскорбил тебя, и господь тяжко наказал медлившего.

Наконец, ложась в могилу, готовый предстать перед судиею праведным, прошу тебя, отпусти мне вину; прости кающемуся! Посылаю тебе своего Андрюшу, одно, что осталось от нашей Веры, потому что она была твоя сердцем, хотя мне принадлежала по закону. Ее именем, по ее последней заповеди, заклинаю тебя, будь отцом и матерью сироте: яви на сыне примирение с тенью родителя.

Горбунов кончал чтение письма, когда Андрюша, вошедший между тем в комнату, облобызал его руку. «Это она, это моя Вера! — вскричал старик, взглянув на племянника и утирая рукавом слезы.— Так! вы не обманулись в ожидании. Завет ваш святая для меня заповедь. Отныне, Андрюша,— продолжал он целуя его в голову,— ты мой сын».

Иван Семенович Горбунов служил в молодости в Москве, в дружине одного из знатнейших бояр царя Алексея. Узнал Веру у пожилой родственницы, которая приняла к себе бездомную сироту. Ее беззащитное положение пробуждало участие, красота и душевные качества привязали к ней юношу. Они полюбились всем пламенем первой любви. Между тем наступила война с Польшею. Иван, верный долгу, расстался с Верой, поручив ее надзору брата Александра. Прелесть лица, сладость речей очаровывали всех, кто ни встречал, ни слушал Веру. Александр находил удовольствие в ее беседе, не замечал закрадывавшейся в сердце страсти, когда же заметил, был уже не в силах ее побороть. Мысль, что Вера достанется другому, терзала ослепленного: он решил добыть ее преступлением. Является к ней с грустным лицом и вестию о кончине брата; плачет с горюющею, и когда миновались первые месяцы печали, предлагает ей вместе с рукою подпору и заступление. Между тем Иван, полный любви и отваги, подвизался на поле ратном. Бился под Смоленском, под Витебском; доходил до Вильны; наконец, по наступлении Андрусовского перемирия, богатый милостию царской и славой, с чином окольничего и почетным прозванием Б е р д ы ш , которое получил, когда при вылазке врагов из Смоленска своеручно иссек польского военачальника, спешит в Москву с надеждой на отдых от трудов бранных в объятиях Веры. Накануне его приезда Вера обвенчалась с Александром. Иван не

хотел видеть брата, но не мог расстаться с Москвой, не упрекнув изменницы. Они свиделись, и не на радость. Вера, вышедшая за Александра не по склонности, оставалась верною обязанностям супруги, но не могла уважать того, кого почитала рушителем счастия собственного и счастия существа, которое любила более себя. Томимая тихой грустию, тем более тяжкою, что скрывала ее от ревнивой подозрительности мужа, чахла несколько лет и, наконец, истаяла, произведши на свет сына. По ее кончине Александр только и знал напасть. Строптивый нравом, поссорился с начальником и принужден был выйти из Приказа, в котором служил; вотчину его подле Тихвина отобрали на государя; наконец, доведенный до нищеты, не смея прибегнуть к брату, которого оскорбил, мучимый прошедшим, настоящим, будущим, слег в могилу, поручив опеке Ивана Андрюшу, с которым мы познакомились выше.

Глава II

Длинный, по обычаю, стол, уставленный яствами в серебряных судках под крышками, возвещал о наступлении времени ужинного. Впрочем, только умноженное число приборов и бутылок с винами в поставце позволяло догадываться, что собрание собеседников будет значительно. В хлебосольный век, к которому принадлежит наша повесть, истинно держались пословицы Не красна изба углами, а красна пирогами. Не щеголяли убранством в домах: стены голые, иногда покрытые цветной бумагой или завешанные коврами; вместо диванов, кресел — лавки, обитые кожею или сукном. Но на столе не было пустого места. Мясо говяжье, свиное, баранье, все домашние птицы, дичь, рыба жареные или вареные, в похлебках, взварах, студенях, притом пироги, куличи, оладьи, коврижки, медовые варенья — всего вдоволь. Кушай, сколько душе угодно! Правда, не заботились об утонченностях вкуса: лук, чеснок и перец, необходимая принадлежность старинной русской кухни, слышались в каждом почти кушанье, но зато волей-неволей встанешь сыт из-за стола. Случались ли гости, все блюда разносили собеседникам; ку-

шал ли хозяин один или с домашними, яствами более обыкновенными, по примеру древних наших царей, жаловал слуг, которым хотел явить милость.

Гости, проголодавшиеся от воздуха и верховой езды, собрались в гостиной, нетерпеливо ожидая хозяина. Наконец, он явился, ведя за руку Андрюшу. «Извините меня, дорогие соседи, что замешкался,— проговорил он к собранию,— господь послал мне сына. Благослови сироту, отче Григорий! — промолвил, обратясь к священнику,— ты знал отца и мать».

В то время как Андрюша подходил к руке священника, вошли слуги, неся подносы, уставленные разноцветными плодовыми и травными водками. Когда гости, чтоб не оскорбить хозяина, отведали каждой, раздалось громкое восклицание: «кушанье поставлено», и все с шумом понеслись в столовую.

Долго слышался лишь стук ложек, ножей, вилок. Когда несколько обнесенных блюд поуспокоили первый позыв к пище, а усердно полнимые слугами медовые и винные кружки пробудили говорливость, хозяин, обратясь к соседу, молвил, глубоко вздохнув:

— Дожили мы до поры, Лука Матвеич! И детям рад не будешь! Волей-неволей посылай мальчика в школу, не то сам попадешь в опальные, да и молодца-то не женят, венечной памяти не дадут. Бывало, и нас учили: узнаешь грамоту, много — цифирь, и дело с концом! И живи, как дай бог всякому! Нет, вишь, хотят, чтоб дети были умнее отцов. Учат, мучат, а что-то будет проку? Не так ли, Лука Матвеич?

Лицо, к которому обращалась сия речь, мужчина полный, тучный, на щеках коего играло здоровье, некогда пятисотенный в стрелецком войске, был сосед Горбунову по деревне. Он безошибочно распознавал на бегу зайца — русак или беляк, с виду определял достоинство гончей, по вкусу — лета меду, но в делах, кои требовали некоторых усилий рассудка, соглашался со всяким, кто с ним заводил речь: не из угодливости, а потому что не имел своего мнения. Долго находился под властию родителей, потом жены, которые за него рассуждали. Наконец, овдовев в тех летах, когда учиться поздно, недоросль в сорок четыре года, почитал лишним труд, без которого столь долго обходился.

— Точно так-с,— отвечал Лука Матвеич.

— Мало того. Кончит ученье, посылай молодца на службу. Бывало, и мы ходили на войну, и мы бивали врагов,— продолжал Иван Семенович, гордо озираясь на стены, увешанные доспехами,— но то ли дело? В наше время боярин в суде, боярин в думе, боярин на поле ратном — везде боярин. Сядешь на коня, сотни, тысячи глядят тебе в глаза. Куда ни кинь оком, везде твои люди. А нынче? И дворянин, и холоп на одну стать: всем та же напасть! Поставят тебя в строй, дадут в руки ружье, и слушайся, кого же? Добро бы своего брата, православного. Нет! у нас-де, вишь, на Руси нет умных людей! Какого-нибудь, прости господи, выписного, заморского сорванца, нехриста, у которого ни кола, ни двора, что двух слов по-человечески промолвить не сумеет. Не правда ли, Лука Матвеич?

— Совершенная правда, Иван Семенович,— ответствовал сосед.

— Да это ли одно? Ума, право, не приложишь, коли посмотришь кругом себя. Затеяли строить город, где же? На краю земли, в болоте, где и лягушкам нет приволья, селят людей, словно куликов. И имя-то дали городу не христианское, что и вымолвить не сможешь. Губят народ, сорят деньги, а будет ли прок, про то ведает один бог.

Тут Иван Семенович окинул взором собрание, как бы желая прочесть одобрение на лицах собеседников, и, наконец, остановив очи на приходском священнике, спросил: «Что ты молчишь, отче Григорий?»

Отец Григорий, старик седой как лунь, жил уже третье поколение. Природный ум, образованный чтением священных книг, многолетняя опытность и житие неукоризненное окружили его уважением. Большую часть века провел в Москве, наконец, в преклонные годы, по давней приязни к Горбуновым, перешел на отдых в приход села Воздвиженского.

— Мое мнение не ваше,— ответствовал он, оправляя длинные, развевавшиеся по плечам волосы.— Ученье — свет, неученье — тьма. Царю ниспослана свыше мудрость, и нам подобает возносить мольбы ко господу, да поможет ему излить ее на свою паству! Иноземцы опередили нас в науке и всяком знании; нет стыда, подавно греха, перенимать хорошее; придет, может быть, время, что они в свою оче-

редь будут от нас заимствоваться. Вы жалуетесь, что бояре несут одну службу с холопями. Послушайте же. Лет двадцать назад случилось мне быть у священника села Коломенского под Москвою. Пора была осенняя, как нынче, на дворе холод, буря, дождь ливнем, непогодь, что на улицу и калачом не заманишь. Против нашего дома, у дворца государыни Натальи Кирилловны, стоял ратник лет шестнадцати, промок, сердечный, продрог, а выстоял под ружьем свое время, пока его не сменили. Кто ж, мыслите, был этот ратник! Государь Великия, Малыя и Белыя России, наместник бога на земли! Что же против царя ваш боярин, будь его имя на всех листах Разрядной книги? Санктпитербурх, правда, перевел много православных, но послушайте, что бают в народе: «Коли-де сам государь-батюшка, с топором в своих царских руках, валит лес, по пояс в воде, долбней сбивает сваи, как же нам, рабам его, не терпеть? Сам-то он болеет за нас душою, да, видно, дело-то нужное. Не трудил бы, не мучил бы себя, коли б не видал нашей пользы». И порассудишь, увидишь, народ прав. Государи живут не для одних современников, а бросают семена, растящие плод, от коего снедят потомки, и внуки наши будут благословлять Великого за построение города, который вы нынче зовете болотным гнездом. Но зачем ходить далеко? Не видите ли кругом себя благотворных последствий трудов его? Слуги ваши ходят в сукне, какое, в мою память, кой-когда появлялось на боярах; в доме вашем убранство, какое только видали в царских палатах. Перейдите к другому. Вспомните Азов, Калиш, Лесное, Полтаву, имена, кои будут жить, пока живет Россия. Чем подобным похвалится ваша старина?

Иван Семенович привык с детства уважать своего духовника и дозволял ему противуречить, но унижение старины, времен его славы, его подвигов почитал личным оскорблением. Не возразить было свыше его сил.

— Чем похвалится наша старина? — прервал он с запальчивостию.— Иной помыслит, батька, лета отшибли у тебя память. Чем похвалится наша старина? Этот бунчук, отче Григорий,— тут он указал на стену,— эта сбруя добыты мною у турского паши в поход Чигиринский, когда мы карали бусурман за Ма-

лую Россию; эта кольчуга принадлежала мурзе татарскому, которого полчища мы иссекли у порогов днепровских; лезвие этого меча рубило поляков под стенами Витебска, и, наконец, этот бердыш, который еще багровеет запекшеюся кровию врагов, по коему блаженныя памяти государь Алексей Михайлович, упокой господи его душу, изволил пожаловать мне, холопу своему, прозвание, этот бердыш есть памятник завоевания Смоленска, всей Литвы и в ней шестидесяти городов. Чем подобным похвалится ваше нынешнее, хваленое время?

Отец Григорий, не хотевший дальнейшим разногласием гневить хозяина, которого знал слабую сторону, помолчав немного, спросил вместо ответа: «Скоро ли чаете отвезти Андрея Александрыча в школу?»

— Я! Нет, отче! Я в Новгород не ездок. Туда являйся не иначе как в немецком платье, а мне на старость поздно рядиться скоморохом. Это твое дело, Терентьич!

Терентьич, к которому обращена была речь, мужчина малорослый, перебывавший в трех приказах, исчах над деловыми бумагами. В то время на Руси судов и судей еще не было: отдавали ее, матушку, на корм воеводам, кои в областях были как дома: вершили, рядили, никого не спросясь; катались как сыр в масле. Каждый помещик имел у себя в доме подьячего, наторевшего в законах, которого обязанность была отстаивать милостивца у воеводы.

Вотчина Горбунова окружена была поместьями, незадолго перед тем пожалованными любимцу Петра I, князю Меншикову. Князь неоднократно предлагал Ивану Семеновичу продать имение или взамен выбрать любое из его поместий, но Горбунову-Бердышу расстаться с селом Воздвиженским, которое получил в награду за многие верные службы, на коем основывал честь своего рода, казалось более чем преступлением. Отказ произвел неудовольствие и частые между соседями споры. Терентьич вел битву за Ивана Семеновича. И действительно, трудно было в околотке отыскать борца искуснее. Уложение и новоуказные статьи, притом все крючки, все натяжки, какие искони водились между приказными, были ему свои: приискать закон, перетолковать его в пользу или

против, проволочить или ускорить дело, задобрить кого словом, кого мздою — никто лучше Терентьича не ведал. Пронырливый, изворотливый, неразборчивый в средствах к достижению цели, умея принять все личины, нередко самого Горбунова приводил в изумление и страх, чтоб клеврет не сделался противником.

Терентьич, сидевший на конце стола, привстал, ответствовал тоненьким голоском: «Как ваша милость приказать изволит».— «Вот настанет зима, и тогда с богом!»

Между тем самозвонные часы пробили восемь. Собеседники, усталые от охоты, чтоб к следующему дню собраться с силами для новых подвигов, осушив в заключение по братине меду, разошлись по своим комнатам на покой. Так миновался первый день пребывания Андрюши в селе Воздвиженском.

Глава III

Несколько месяцев спустя после вышеприведенной беседы, от раннего утра все было в движении в доме Горбунова. Перед крыльцом стояла большая крытая кибитка, на дворе несколько саней, тяжело нагруженных чемоданами, сундуками, кульками, кулечками. Старики наши были домоседы, ограничивали путешествия уездным, много областным городом, но и те совершали не иначе как обозом. Дело-де холопское пускаться в дорогу на одной телеге; дворянин, чтоб не уронить звания, вез с собою весь дом. По отслужении напутственного молебна посадили Андрюшу, укутанного между Терентьичем и дядькою Николаем Федоровым, и обоз потянулся к Новгороду.

В то время заря просвещения едва начинала проявляться на горизонте России. До Петра I воспитание у нас находилось исключительно в руках духовенства. Государь сей, до учреждения гражданских училищ, введши преподавание некоторых светских наук при архиерейских школах, повелел обучать в них детей всякого звания. В Новгородской школе, после Киевской и Московской важнейшей, было всего двое учителей. Дьячок Никандр, незадолго прибывший из Славяно-греко-латинской академии, обучал закону

божию, чтению книг по старому и новому письму и церковному пению; воспитанник морского училища, что на Сухаревой башне, преподавал цифирь, географию и начала геометрии. В этом заключалась премудрость, к таинствам которой готовились приобщить нашего Андрюшу.

После четырехдневного пути Терентьич привез к новгородскому архиерею юного питомца с письмом, живою стерлядью и бочонком заморского вина от своего милостивца. Преосвященный, давний знакомец Ивана Семеновича, поручил Андрюшу надзору келаря, приказав ему поместить мальчика в своей келье.

Между школьными товарищами Андрей преимущественно подружился с Желтовым. Оба были одинаковых лет и способностей, дворяне, сироты; различествовали нравом и положением. Андрей, живой, резвый, отличался добрым сердцем и шалостями. Желтов, тихий, важный, прикрывал вялою наружностию редкую в эти лета решимость. Первый, без состояния, нашел дядю, тужившего об нем, как о сыне; второй, богатый наследник, попал к опекуну, который старался об удалении племянника, дабы в отсутствие юноши рачительнее править его имением. Дьячок Никандр, надзиратель и главный учитель школы, муж твердый в священном писании, особенно изучил два изречения: *муж мудр биет дитя неразумно* и другое: *иже щадит жезл, ненавидит сына своего; любяй же наказует прилежно*. Дабы явить себя вместе мудрым и чадолюбивым, педагог весьма усердно следовал наставлениям царя израильского. Каждую субботу по окончании классов стены школы оглашались криком и визгом несчастных страдальцев его мудрости и чадолюбия. Андрюше доставалось реже: он жил в доме архиерейском, находился под покровительством преподобного отца келаря; притом Терентьич являлся в Новгород всякие три месяца с фурой разных запасов в поклон начальникам юноши, причем и на часть Никандра перепадали когда кусок байки на сюртук, когда иной, другой рублишка. Но Желтов, без защиты, без покровителей, в конце каждой недели чувствовал тягость руки грозного наставника, когда за вину, чаще для примера. Долго мальчик переносил, крепил-

ся, наконец, увидев, что ни прилежание, ни скромность не избавляли от деятельного сердоболия дьячка, вышел из терпения. «Шали, не шали, все те же розги, пускай же хоть будет за что». В классе на возвышении находилась кафедра, над коею висело жестяное люстро, которое на лето снимали. Никандр, близорукий, полуглухой, взошед по лесенке на кафедру, имел обычай, наклонившись на лежавшую перед ним тетрадь или книгу, выслушивать уроки подходивших учеников. Желтов, забравшись в класс в часы отдыха, привязал к вделанному в потолок кольцу люстра бечевку, в конце которой прикрепил загнутую крючком булавку, и когда подошел к кафедре для высказания урока, осторожно зацепил крючком косичку строгого ментора. Пробило одиннадцать. Учитель, сложив тетрадь, встает, сходит с лесенки, но едва ступил на вторую ступень, не тут-то было, хочет оборотиться, не может. Между тем от этого движения лесенка падает, и дьячок Никандр, гроза школы, за два дня до посвящения в дьяконы, повис между потолком и полом, при громком смехе тех, кои дотоле трепетали от одного шума его шагов.

Преступление было велико, и преступник недолго укрывался. Товарищ, которому неосторожный открылся, напуганный, назвал Желтова, и раба божия отвели в исправительную, дабы, продержав там до субботы, нещадно наказать в виду всех учеников и потом позорно выгнать из школы. Исправительною звали в отдаленной части архиерейского дома уголок, огражденный перегородкою в два человеческих роста. Там Желтов, на хлебе и воде, лежа на голом полу, со страхом в сердце, и днем и в ночных грезах видел перед очами роковой день. Вдруг ночью слышит сквозь сон, кто-то зовет его по имени. На отзыв тот же голос: «Вставай, времени терять некогда, не ждать же завтрашнего дня!» С сим вместе спустилась к нему с перегородки веревочная лестница. Желтов поспешил выбраться из тюрьмы. Встретил его Андрюша: «С помощью Николая Федорова мне удалось обмануть бдительность о. келаря. От тебя теперь зависит избегнуть мстительности Никандра. Вот тебе все, что теперь имею»,— промолвил он, подавая Желтову одной рукою несколько серебряных рублей, а

другою отпирая окно, выходившее на улицу,— поспеши до свету выбраться за город, чтоб нам обоим не попасть в беду, а там, господь тебя не оставит!» И не дав Желтову высказать благодарности, с братским поцелуем спустил его по веревочной лесенке, поднял ее и, заперши окно, без шума воротился в келью.

Недолго спустя после сего подвига кончился курс учения. Андрюша в четырехлетнее пребывание в школе бегло выучился русской грамоте, вытвердил большую часть псалтыри, твердо знал цифирь до правила товарищества, умел отличить квадрат от треугольника, параллелограм от круга, назвать европейские государства с их столицами и награжденный похвальным листом от преосвященного, со славою многоученого воротился к нетерпеливо ожидавшему его дяде.

Глава IV

Наступило время отправления героя нашего на службу, но Иван Семенович, привязавшийся к племяннику, как к сыну, со дня на день откладывал. «Онде еще ребенок, куда ему мыкать горе, таскаться с ружьем», хотя ребенку, ростом вершков девяти, миновался уже двадцатый год. Андрей между тем полевал с дядей зайцев и лисиц, травил соколами журавлей, стрелял на близлежавшем болоте гусей и уток. Когда ходил с рогатиной и ножом на медведя или гнался за быстрою ланью, когда умучивал диких коней дядина завода. Смелый, не зная ни страха, ни усталости, радовал старика Горбунова, которому подвиги юноши приводили на память собственную удалую молодость.

В одно летнее утро Андрей ехал лесом на борзом коне арабской породы, дотоле мало носившем седоков. Что-то шорохнуло в листьях, испуганный конь взвился дыбом и пустился молнией в сторону по случившейся просеке. Андрей хотел удержать его на поводьях, поводья оборвались. Тогда, схватившись за гриву, предоставил себя на волю ретивого. Сей, несясь через пашни и луга, примчался к пруду, обсаженному деревьями в два ряда. Между березами качались девицы под звук заунывной песни, которой вто-

рила пожилая женщина в телогрее, сидевшая за пряжей подле, на берегу пруда. Поодаль стояло несколько мужчин, по-видимому, слуг. Вдруг одна из девушек при виде несомого стрелой всадника вскрикнула. Андрей, дотоле ездок внимательный, оглянулся; между тем конь в воду, и седока на нем не стало.

Пришед в чувство, он увидел себя в постели, укутанный одеялами. Подле сидела женщина преклонных лет, которую по шелковой фрези и богатому платку на голове принял за боярыню. Перед кроватью стол с огромной шашечницей, шашки в беспорядке и отодвинутые от стола к середине комнаты кресла показывали, что игра была недавно прервана. Стены, обитые цветною бумагой, развешанный по ним охотничий наряд, большая печь с лежанкой, в углу кивот с иконами в серебряных окладах — говорили Андрею, что он в незнакомом месте.

— Где я? — спросил он вполголоса.

— Насилу-то ты очнулся, батюшка,— ответствовала старушка.— Куда ты нас было перепугал! Ивановна! — продолжала она, обратившись к стоявшей в углу женщине,— попроси скорее Луку Матвеича. Что, каково тебе, мой родной?

— Слава богу! — отвечал Андрей,— только немного знобит.

— Как не знобить? — прервала незнакомка.— Легкое ли дело? Мало ли ты, голубчик, пробыл в воде? Да беда, что тебе здесь и пособить нечем. Я человек заезжий, а в доме братца, Луки Матвеича, такая безладица, что ничего не найдешь. Сейчас потороплю их, чтоб подали тебе чаю.

В дверях встретилась она с Лукой Матвеичем.

— Ну, Андрей Александрыч,— сказал он, придвигая к кровати большое, обшитое черной кожей кресло,— перепугал ты нас порядком. Бог с тобой! уж мы тебя и раскачивали и оттирали; да спасибо надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, положить тебя в постель. Наказал тебя господь за удальство, не будешь вперед молодечествовать. Да и то сказать, лихого ты коня себе подобрал. Я теперь только смотрел его. Как ни в чем не бывал! Как ты это так оплошал?

— Поводья оборвались, Лука Матвеич.

— Поводья! Уж бы за это конюхов! Иван Семено-

вич такой благодушный, по мне — всех бы до одного передрал.

— За что же всех? — возразил Андрей.

— Виновного за то, что провинился, а прочих в острастку, чтоб знали, каково провинившемуся,— ответствовал хозяин.— Так ведется у меня от дедушки. Ведь счастие, что моя Варвара очутилась на ту пору у Ольгина пруда; не то упаси чего боже, поминай, как тебя звали.

Между тем воротилась княгиня со слугою, несшим на подносе кипевший чай. «Покушай, батюшка! Согрейся и усни! Увидишь, как рукой снимет».

Предсказания старушки сбылись. Живительная влага действительно произвела благотворное влияние на оцепенелые члены Андрея, но сон не приходил ему на ум. Почувствовав в себе довольно крепости, встал и оделся, чтоб поблагодарить хозяев за ласковую внимательность, поспешить домой успокоить дядю в долгом отсутствии. Прошед из спальни через несколько комнат, ступил в одну, в которой светлые бумажные обои, дубовая софа, явление в то время редкое, и несколько кресел, обитых кожею, большое зеркало в зеркальных же узорчатых рамах показывали, что то была гостиная.

Но убранство комнат не занимало Андрея. Все его внимание обратилось на окно, у которого за большими пяльцами, в объяринном сарафане с золотыми пуговками, сидела девица, в коей он узнал незнакомку у пруда. Кто из вас, любезные читатели и читательницы, буде таковые найдутся, не испытывал на себе того изумления, той немоты чувств, какую ощущаешь при первой встрече с предметом, к коему что-то невольно влечет тебя? Когда, не понимая, что в тебе происходит, утратив память, мысль, язык, весь погружаешься в созерцание стоящего перед тобой существа? В таком положении был Андрей, когда Варвара подняла на него голубые очи, когда поразили взор юноши ее высокое чело, осененное светлорусыми кудрями, румянец, вспыхнувший было на белых как снег щеках, полная грудь, пробивавшаяся из-за ревнивой дымки. Варвара была не в меньшем изумлении. Уже при царе Алексее, подавно в правлении Софии, женщины начали покидать у нас затворническую жизнь. Варенька, лишившись матери в детстве, от

ранней юности привыкла быть хозяйкой в доме, и вид чужого мужчины был для нее не диковинкой. Но при воззрении на юношу взрослого, статного, который пожирал ее пламенными глазами, на черные усики, придававшие мужественную наружность его чистому, белому лицу, боязливая, как серна, румяная, как роза, то поднимала робкие очи, то опускала их в землю. Наконец, Андрей, приободрившись, первый прервал молчание.

— Я пришел извиниться перед вами, Варвара Лукиниша,— сказал он заминаясь,— в испуге, который нехотя причинил вам.

— Благодарение богу,— отвечала она застенчиво,— что он вас сохранил.

— Благодарение богу и вам. Без вашего драгоценного участия я, может быть, доселе лежал бы на дне пруда.

Неблаговременный приход отца не дал Вареньке отвечать. «Исполать тебе, Андрей Александрыч!— вскричал он, ступив в комнату.— Дело говорит сестра, княгиня Ирина Матвеевна, в двадцать лет нет у людей недуга. Не прошло трех часов, как тонул, ан опять молодец хоть куда, как ни в чем не бывало!»

Андрей, повторив извинения и благодарность перед стариком, хотел было раскланяться. «Нет, Андрей Александрыч,— возразил хозяин,— ты и то у нас редкий гость. Благо, заполучили! Видано ль, чтоб я тебя, охотника, отпустил, не похвалившись псарней, не показав тебе конского завода! Он хоть и не чета вашему, да за себя постоит. О батюшке не беспокойся, спасибо, надоумила сестра, княгиня Ирина Матвеевна, я давно уже отправил к нему вершника сказать, что ты у меня ночуешь».

Горбунову было в эту минуту не до псов и коней; но он невесть на что бы согласился, чтоб видеть еще Варвару, провести ночь под одним с нею кровом.

— Пойдем же! времени терять нечего,— сказал Лука Матвеевич, таща Андрея за рукав,— до обеда успею еще кой-чем тебя потешить.

Вскоре привел он гостя к длинному сараю, у которого ловчие в зеленых куртках с изображением медного рога на груди ждали барского прихода. Внутренность псарни чистотой и порядком едва ли не

превосходила жилых покоев. Каждый из множества псов имел свой короб, выложенный войлоком и устланный свежей соломой; в стенах вделаны были на равных расстояниях медные кольца, к которым их привязывали. При входе посетителей псы с радостным визгом бросились к своему милостивцу. «Прочь, негодные! прочь, Зарез! Стрела, на место! Эй, привязать их по местам! Вот, любезный Андрей Александрыч! — продолжал Лука Матвеевич с торжествующим видом, — Сокол, который в одну погоню травит двух зайцев; Стрела, уж подлинно стрела, никакому коню ее не обскочить! А Вихрь? весь околоток на него зарится; сосед Бегунов невесть что давал в обмен; да, небось, Лука Матвеич не даст промаха!»

Удержимся от дальнейшего исчисления достоинств и родословной собак, соколов, коней Луки Матвеевича, исчисления, которое, вероятно, столько же надоело бы вам, любезные читатели и милые читательницы, сколько Андрею. Крепя сердце он нес муку, пока, после доброго часа, не отвела души весть, что кушанье поставлено. За столом Андрей сидел против Варвары. Несносно было слушать или притворяться слушающим рассказы хозяина о подвигах его осенней охоты, отвечать на назойливые вопросы княгини, но, глядя на Вареньку, Андрей забывал скуку. Взоры их встречались редко и, словно по какому-то механизму, тотчас опускались вниз; но в сих мгновенных встречах юноша, еще неопытный и по слуху не ведавший любви, успел уже прочесть, что он не противен: так понятен и для начинающих язык очей.

После обеда, когда, по обычаю предков, старики ушли отдохнуть, они опять свиделись наедине. Не было между ними и помину о любви. Говорили — Варвара о поездке в Москву, из которой только что перед тем воротилась с теткой, Андрей — о жизни села Воздвиженского. Но в сих речах, по-видимому обыкновенных, внимание, с каким собеседники друг друга слушали, нескромности, мимо воли у обоих вырывавшиеся, обнаруживали скрываемую каждым из них тайну.

С сего дня Андрей ожил новою жизнию. Опостылели стрельба, скачки, охота. Из коней только и был

ему дорог Араб. К соседу ездил он так часто, как лишь позволяло приличие. Лука Матвеевич приписывал сии посещения удивлению его псарне; княгиня, страстная до шашек,— желанию доставить ей удовольствие игрою; одна Варвара не ошибалась в догадках. Пылкость Андрея, бесстрашие, самая опасность, от коей она некоторым образом его спасла, заронили искру в сердце красавицы. Притом он имел у любезной усердного ходатая. «Уж куда как мил этот Андрей Александрыч! — говаривала вместо обычных сказок няня Ивановна, раздевая барышню по вечерам,— лицо — кровь с молоком, голос, словно соловей поет, глядишь, не наглядишься, слушаешь, не наслушаешься; и какой чтивый! Награди его бог. Меня, старуху, подарил объярью на телогрею: «Ты-де, нянюшка, ходила за мной больным». Дал бы мне бог попировать на вашей свадьбе! Чем он тебе не жених, Варвара Лукинишна? Сродясь лучше не видала. И богат, и молод, и уж куда как тебя любит! Во всем околотке не найдешь пригоже». Такие и подобные речи вела няня, кладя барышню в постелю, и если верить источникам, откуда мы заимствовали сию повесть, Варвара, слушая их, не засыпала по обычаю.

Глава V

— Ты сегодня, Андрей, останешься хозяином в доме,— говорил одним утром Иван Семенович племяннику.— Меня звал сосед Лука Матвеич. Сегодня минуло его дочке шестнадцать лет; выводит ее, вишь, в люди.

— Батюшка! — ответствовал Андрей, целуя руку старика.— Я люблю Вареньку, она меня любит, благословите, помогите нам!

— Как? — вскричал с удивлением дядя, глядя племяннику в очи.— Ты любишь Вареньку? То-то, бывало, спрошу — где Андрюша? Все одна песня — уехал-де в село Евсеевское. И Варенька тебя любит? Ай да сокол! Еще не оперился, а уже добыл добычу. Исполать тебе, Андрей! Чего же тебе хочется? Жениться? И меня берешь в сватья? Изволь! Быть делу так! Варенька девка разумная; одна дочь у отца, и приданое хоть куда! Только смотри, молодец, не ударить ли-

цом в грязь! Дай мне потешиться на старости, понянчиться с внуками!

В это время подвезли сани, и Горбунов-Бердыш в собольей шапке, обвязанный шерстяным платком, укутанный в медвежью шубу, отправился в село Евсеевское.

Там сараи и обширный двор уже несколько дней набиты были кибитками, санями, конюшни лошадьми. В людских и девичьих теснились толпы прибывших с барами и барынями слуг, девок, карл, дур, дураков. В гостиных покоях, убранных по-праздничному коврами и занавесами, собрались свойственники, родные по отцу и по матери и знакомцы Луки Матвеевича пожилых лет, съехавшиеся из ближних и дальних мест на праздник шестнадцатилетия его дочери. Ныне время первого выезда девицы в свет проходит почти без внимания; догадаешься разве только по локонам, небрежно опущенным за уши, и еще не вьющимся трубками кругом чела, что она не оставляла родительского дома. Но в первой четверти XVIII в., когда жизнь общественная начинала у нас проявляться, старики, справедливо полагая, что появление женщины в свет — важнейший шаг в ее жизни, считали обязанностию праздновать день ее совершеннолетия особенным торжеством. Вы, конечно, слышали о постригах, какие в старину совершались над юношами, когда их впервые облекали в оружие. Обряд введения девиц в люди имел с постригами некоторое сходство. Девица до шестнадцатилетнего возраста носила на заплечьях крылышки, видом похожие на бабочкины. Когда наступал ей семнадцатый год, по приезде родственников отправлялись в домашнюю церковь или за неимением церкви в одну из комнат поболее, где поставлен был налой. Духовник читал громким голосом сочиненную на сей случай молитву, в которой, благодаря бога за сохранение именинницы, поручал святому его промыслу юную виновницу торжества. За сим все садились кругом, старшие на почетном месте, прочие ближе или далее, по летам. Наставало глубокое молчание. Отец или старший мужчина, с ножницами на серебряном подносе в одной руке, вводил другою дочь или племянницу в круг и после обычных во все стороны поклонов подходил с нею к самой пожилой из родственниц. Внучка кланя-

лась бабке в ноги. Сия, привстав, обращалась к ней с поучением: что доселе, свободная, как бабочка, она беспечно предавалась движениям детской откровенности, но наступило время, когда, скованная приличиями, должна будет отказаться от прежней невинной веселости и подчинить себя тягостным требованиям света. От сего дня каждое ее слово, взор, поступь сделаются предметом толков, замечаний, пересудов; посему будь она чрезвычайно осторожной и всегда помни, что скромность — лучшее украшение, а доброе имя — самое драгоценное сокровище ее возраста и пола. За сим, взяв с подноса ножницы, при звуке труб, литавр, громких кликах присутствовавших и слезах внучки, обрезывала ей крылышки, сию красноречивую эмблему счастливого детства. Тогда отец представлял собранию дочь как совершеннолетнюю. Между тем являлись слуги с подносами, на коих стояли стопы, полные вина. Именинница подносила каждому из гостей, который, осушив кубок, оканчивал поздравлениями и поцелуем, последним, какой позволялось девицам давать или принимать от чужого мужчины.

По свершении обряда, когда Варвара, обошед всех собеседников, с пылавшим лицом и вздувшимися от поцелуев губами, поднесла последний кубок отцу, сей, выпив до дна, примолвил: «Дал бы господь, Варенька, также счастливо выдать тебя замуж, как мы вывели тебя в люди!»

— За этим дело не станет! — подхватил Горбунов-Бердыш. — Появись лишь Варвара Лукинишна в свет, а женихи прильнут, что мухи к меду.

— Каков жених, батюшка Иван Семенович! — молвила княгиня Ирина. — Бывало, у нас молодые не видались, не слыхивали друг про друга до свадьбы, а нынче, православным на соблазн, родители ни про что не ведают, не гадают: сами слюбляются, сами берутся.

В другое время, в другой вещи Горбунов-Бердыш не преминул бы приобщиться к нареканиям на испорченность века, но, вспомнив, что сам некогда любил и был любим, удовольствовался ответом: «Не то время, княгиня, не те обычаи!»

— Стыда, право, не стало у людей, — продолжала Ирина. — Проезжала я намеднись через Москву. Заве-

ли там, вишь, по-немецки какие-то *асамлеи*. Свозят дочек на показ: поплясать-де, повеселиться. И добро бы со своими. Нет! Сзывают, словно о масляной в собачью комедь, встречного, поперечного: всем гостям рады. Дочки обнимаются, шепчутся с незнакомыми мужчинами, а матушкам то и любо — глядят да похваливают. Далеко ли, прости господи, до греха?

— Нынче, вишь, народ больно умудрился,— молвил Иван Семенович.— Мы с вами, княгиня, не изменим старине. Что бы вы, например, сказали, если б мне вздумалось явиться к вам сватом?

— Милости просим, батюшка! — ответствовала княгиня Ирина.— Не так ли, братец Лука Матвеич?

— Прошу покорно,— промолвил Лука Матвеевич.

— Есть у меня жених на примете: молодец собой, не без достатка, словом, постоит за себя. Ваша Варвара Лукинишна с сегодняшнего дня невеста, и пара из них вышла бы славная.

— Кто таков-с, позвольте узнать? — с любопытством спросила княгиня Ирина.

— Ни дать, ни взять, мой Андрюша. Молодцу минует скоро двадцатый год. Хотелось бы на старости понянчить внуков. Мы с тобой, Лука Матвеич, лет тридцать жили добрыми соседями, почему бы не кончить родством?

— По мне,— ответствовала княгиня, вспомнившая о готовности Андрея играть с нею в шашки,— благослови их господь! Андрей Александрыч умен, пригож. Вареньке лучше жениха не найти. Как ты думаешь, Лука Матвеич?

— Вестимо, вестимо, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! Я одних с вами мыслей,— промолвил Лука Матвеевич.

— О чем же дале толковать? По рукам, да и дело с концом! — продолжал Иван Семенович, протянув свою к соседу. Старики скрестили ладони, княгиня разняла, восхищенный Горбунов-Бердыш назвал Варвару, еще более счастливую, дорогою дочкой.

Между тем в столовой ждал гостей богатый пир, заключение торжества. Все прихоти старинной русской и тогдашней полуевропейской кухни, все, что могла придумать затейливая изобретательность века, было тут собрано, начиная от жареных павлинов и фазанов до огромной литого сахару башни, под ко-

нец пира распавшейся по трубному звуку и открывшей удивленным зрителям старуху карлицу, которая, провизжав осиплым голосом свадебную песню, поднесла имениннице цветочный венок. Но ни в чем не явил хозяин более тароватости, как в винах. В тот век пир был не в пир, если гости могли встать из-за него без чужой помощи. Ни лета, ни здоровье не избавляли от участия в веселии. Закон беседы для всех один: старики и молодые, крепкие и слабые, осушай до дна круговую чашу. Отговорки, жеманство — оскорбление хозяину, неуважение собеседникам. Или совсем не приходи на пир, или, пришедши, пей, пока вино не отнимет ног, рук, памяти. Вдоль стены на брусьях стояли выкаченные из погреба бочонки с романеей, мальвазией, бордосским, в течение нескольких лет береженные именно для сего торжества; у всякого бочонка — кравчий, цедивший вино в стопы, подставляемые слугами. Каждый из собеседников предлагал свой тост; если он нравился, пили, изъявляя одобрение громким кликом, в противном случае молчали, а все-таки пили.

За сею шумною беседой последовало событие, сильно встревожившее собрание. Горбунов-Бердыш, который, почитая праздник собственным, и примером, и побуждениями побуждал пировавших к веселости, сильно занемог. Княгиня Ирина Матвеевна, по обычаю тогдашних женщин занимавшаяся целением недугов, поила больного чаем, ромашкой, мятой и доставила ему облегчение, но ненадолго: Бердыш потребовал священника и пожелал видеть Андрюшу. По приобщении святых тайн, изъявив желание остаться с племянником наедине, обратил к рыдающему следующую речь: «Я обещал праху твоих родителей, Андрюша, быть тебе отцом и, бог свидетель, держал слово с верой. Ныне господь зовет меня к себе. Оставляя тебе все мое, прошу одного, исполни мою последнюю заповедь. Знаешь, блаженные памяти государь Алексей Михайлович, ниспошли ему господь царство небесное,— промолвил он крестясь,— пожаловал в род наш мне, холопу своему, за бедную мою службишку, чин окольничего, прозвание Бердыш и село Воздвиженское с деревнями. Есть у нас сосед сильный, который десять лет приступал ко мне, чтоб я продал ему поместье. Я пребыл крепок

противу просьб, золота, угроз! Завещаю тебе ту же твердость. Обещай мне ее, не отдавай за корысть жалования царского, достояния родового, не уступай боязни! Ты молод, и не сегодня, завтра вступишь в царскую службу, да не прельстят тебя обещания, не страшат козни! Облекись в броню правды, стой крепко в вере богу и царю, и о щ и т е е п р и т у п я т с я р а з ж е н н ы е с т р е л ы л у к а в о г о, и с и л ы а д о в ы н е о д о л е ю т т я. Господь избавит праведного от руки нечистивых!» Когда Андрей, едва говоря от плача, уверил, что волю его почтет священной, старец продолжал: «Я выполнил твое желание и хочу, перед тем как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным. Попроси сюда Луку Матвеича, княгиню и Вареньку». Едва Андрюша воротился с ними, умирающий, взяв со стола поставленный перед кроватью образ, дрожащими руками благословил юную чету. Молодые, положив земные поклоны пред ликом пречистой и запечатлев обет верности первым поцелуем, бросились было лобызать хладеющие руки старца, но его уже не стало, и счастье надолго закатилось звездою для обрученных.

Глава VI

Есть ли счастие на земле? Обратитесь с сим вопросом к сребролюбцу, копящему сокровища, к вельможе, алчущему чинов, почестей, вам скажут — н е т. Спросите у любящихся, верно получите в ответ — д а. Так! сие счастие, несказанное, незаменимое, предвкусие блаженства небесного, живет в сердцах, полных любви; с нею радость — радость двойная, напасть не в напасть! Согласен, оно кратковременно, преходчиво, как все земное; зарница во мраке ночи, на миг озаряющая вселенную и снова оставляющая ее в прежней темноте, но не менее того существует, и любившие изведали его. Горесть Андрея об утрате отца-благодетеля была сносной, потому что с ним вместе горевала, вместе плакала Варвара.

Миновались тягостные, нестерпимые для сердца чувствительного поминки покойника, в которых, по обычаю того времени, осиротевший, деля с другими радость и печаль, долженствовал угощать пиром

провожавших тело и за чашей вина желать скончавшемуся царства небесного. Андрей занялся управлением доставшейся ему вотчины и отдыхал от дел хозяйственных в Евсеевском в обществе невесты. Одним утром известили его о приезде Степана Михайловича Белозубова. Белозубов, малорослый, плотный мужчина лет под сорок, был некогда сотником в Стрелецком войске. Расторопностию привлек на себя внимание князя Меншикова, который взял его к себе и за верную службу поставил управителем над новгородскими поместьями. Белозубов имел все пороки и одно доброе качество — безусловную преданность к своему милостивцу. Искусный в притворстве, дерзкий, решительный, не разбирал закона от беззакония, когда дело шло о выгодах вельможи, у коего находился в услужении, и в усердии к его пользе, уверенный в безнаказанности, часто без ведома князева, смело пускался на все неправды. Доверенность первого в России сановника стяжала ему большое уважение в околотке, но Андрей никогда не видал его в доме дяди, который, гордясь длинным рядом предков и внутренно ставя себя выше самого князя, оказывал явное презрение к его клеврету.

После обычных приветов первого знакомства: — Занятия хозяйственные,— сказал Белозубов,— для вас, Андрей Александрыч, новы и человеку ваших лет немного представляют веселого. Почему бы вам не избавить себя от этих хлопот?

— Нельзя же,— ответствовал Горбунов,— имея вотчину, сидеть в ней спустя рукава.

— Вы меня не понимаете,— продолжал Белозубов.— Вам известно, село Воздвиженское словно чересполосное владение в поместьях князя Александра Даниловича. Он не раз предлагал себя в купцы покойному вашему дядюшке, но упрямый старик не хотел расстаться с имением. Не доставите ли вы князю этого удовольствия? Можете сами назначить условия продажи. Князь не постоит за лишнюю тысячу или две рублей.

— Это имение родовое, и я не намерен его продавать,— возразил Андрей.

— Если слово «продажа» вас так пугает,— подхватил Белозубов,— не угодно ли вам выбрать любое из

княжих поместий? У него их много в Малороссии, около Москвы, во всех концах России. Уверяю вас именем князя, вы от сей мены не останетесь в накладе.

— Вы напрасно беспокоите себя, Степан Михайлыч,— прервал Горбунов.— Уже один пример дядюшкин долженствовал бы служить мне правилом, но скажу более: умирая, он наказал мне оставаться при владении Воздвиженского, а воля покойного для меня закон. Я не расстанусь с вотчиной.

— Послушайте, Андрей Александрыч! — молвил с важностью Степан Михайлович.— Я для вашей же пользы не хотел бы, чтоб ответ сей был решительным. Извините откровенность, на которую лета и опытность дают мне право. Вы еще молоды, готовитесь вступить в свет. Вспомните, кто таков князь? Ваше согласие доставит вам могущественного покровителя, отказ — сильного врага.

— Врага? — вскричал, вспыхнув, Горбунов.— Хорошее же вы мнение подаете о князе Александре Даниловиче, грозя его враждой тому, кто в удовлетворение его прихоти не захочет расстаться с собственностию. Благодарение богу, мы живем в стране законов, рабы царя правосудного, в державе коего невинность найдет защиту от гонений сильного.

— Вы меня не поняли,— возразил Белозубов хладнокровно.— Я не мыслил грозить вам негодованием князя. Но точно ли вы уверены, что село Воздвиженское ваша собственность?

— Кто дерзнет в этом сомневаться? Оно досталось мне по наследству и укреплено за мною духовною записью покойного дядюшки.

— Очень верю,— продолжал Белозубов,— но могут случиться обстоятельства непредвиденные, кои дадут другой вид делу. Впрочем, это одни догадки. Повторяю: для вашей же пользы, Андрей Александрыч, прошу вас, не отпускайте меня с отказом. Не накликайте на себя неприятностей пустым упорством.

— Это упорство,— живо сказал Горбунов, оскорбленный последним выражением,— говорю вам, пустое в очах людских, для меня священная обязанность. Повторяю раз навсегда: усыпай золотом князь Александр Данилович всю дорогу отселе до Нового-

рода, предложи мне все свои поместья за одно село Воздвиженское, я с ним не расстанусь.

— Итак,— отвечал Белозубов, взяв шляпу и раскланиваясь,— мне остается пожалеть только, что вы не послушались благого совета. Искренно желаю, дабы после не раскаивались в упрямстве.

Едва он уехал, Андрей, встревоженный двусмысленными намеками о правах своих на вотчину, велел позвать Терентьича.

— Вы не очень ему верьте, Андрей Александрыч,— сказал в ответ дядька Николай Федоров.— Он, кажись, замышляет что-то недоброе.

— Как так? — спросил Горбунов.

— Бог его ведает! Вот уже недели две ездит к нему какой-то посадский человек. Запираются вместе, толкуют до поздней ночи. Илья же Иванов, дворецкий, говорит, гость этот в службе у Белозубова. Да и дивное дело: взъедет на двор на пустом возу, а со двора — воз набит, словно фура.

— Ты что-то завираешься, Николай Федоров! — отвечал Андрей.— Однако ж пошли-ка Терентьича!

Но Терентьича не нашли. Занимаемая им изба была пуста, словно нежилая. Сей отъезд, походивший на потаенное бегство, еще более встревожил Андрея. Он открыл письменный стол дяди: жалованная грамота на село Воздвиженское, духовная запись покойного, все бумаги были на месте. «С этими свидетельствами,— сказал он про себя,— не страшны мне угрозы, пускай их делают, что хотят!»

Неделю спустя явился в селе Воздвиженском гонец из Новагорода. Андрею подали бумагу следующего содержания: «По указу его царского величества, самодержавца всея России, от воеводы новогородского недорослю из дворян Андрею Горбунову. Бил челом оному воеводе подьячий Прохор Терентьев, что в бытность его в Тихвине мещанка Палагея Тихонова, служившая в доме стольника Александра Горбунова в мамках, перед кончиной объявила на духу попу церкви Спасова преображенья отцу Петру, будто, быв беременной в одно время с Верой Горбуновой, женой Александра, и знав о желании последнего иметь сына, она подменила своим родившуюся в одно время с ним от Веры дочь, которая вскоре у нее,

Тихоновой, и умерла. Сын же ее, прослыв за сына Александра Горбунова, перешел по его смерти под именем Андрея в дом брата Александрова, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша; и сие показание в присутствии его, Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова подтвердила, за неумением грамоты, приложением собственноручного креста. Он, Терентьев, представив воеводе извет Тихоновой в подлиннике, движимый усердием к пользам казны, бьет челом: означенному Андрею название Горбунова воспретить и доставшуюся ему по смерти Ивана Горбунова-Бердыша вотчину, село Воздвиженское с деревнями, как имение выморочное, отобрать на государя. Воевода новогородский, извещая о сем недоросля из дворян Андрея Горбунова, предписывает ему представить немедленно доказательства, что он родился действительно от Александра и Веры Горбуновых; в противном же случае поступить с ним и вотчиной его по законам».

Андрей ожидал неприятных для себя последствий от отказа в продаже имения, но никогда не чаял, чтоб дерзость его противников простерлась так далеко. Изумление, гнев, негодование попеременно волновали его душу при чтении бумаги. «Понимаю! — молвил он наконец. — Не могли принудить меня силой к уступке Воздвиженского, надеются вымолить его у государя, как милость. Но я сорву личину лжеусердия, обнаружу коварство». Покамест, однако ж, надлежало удовлетворить требованию воеводы. Приглашает на совет о. Григория и Николая Федорова, кои оба знали его родителей. Извет Терентьича поразил и того и другого столько же, сколько самого Андрея. Особенно Николай Федоров, взросший в доме Горбуновых, всосавший вместе с молоком уважение и привязанность к господам и после бога и царя не знавший никого выше, оцепенел, словно ушибленный громом. «Господи, прости мое прегрешение, — вскричал он, крестясь, — кто лишь раз видал барыню и взглянет на вас, Андрей Александрыч, скажет, вы ее сын, как две капли воды схожи одна с другой. И Тихоновна! перед смертию продала душу лукавому! Ела барский хлеб, была одета, пригрета, одарена и пустилась на такое беззаконие, стакалась с вашими врагами!»

«Боле грешный неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа, и падет в яму, юже содела»,—промолвил священник.

— Это явный подлог!—вскричал Андрей.—За неделю поверенный князев предлагал мне невесть что за село Воздвиженское и вслед за тем оспаривает у меня право на владение. Будь иск справедлив, кто велел бы ему сулить мне золотые горы?

— Слова нет, Андрей Александрыч,—возразил отец Григорий,—но если нет других доказательств в законности вашего рождения, этого одного недостаточно. Истец не Белозубов, а Терентьич. Мы оба, знавшие Веру Петровну, готовы подтвердить присягой ваше с нею сходство, но в суде и этим свидетельством не удовольствуются. Природа так играет наружностию человека, что иногда людей, друг другу совершенно чужих, творит похожими. Мой совет съездить вам самим в Тихвин. Исследуйте на месте весь ков. Николай Федоров пускай вам сопутствует. Отыщите отца Петра. Расспросите, что сталось с Тихоновной. Существуй подмен действительно, надлежало б ей иметь помощников. Она была в то время родильницей и сама не могла встать с постели, а в извете упоминают об ней одной. Между тем попросите у воеводы отсрочку, и если не соизволит, перенесите дело в Сенат. Там, пока дойдет до него очередь, вы, может быть, успеете что разведать.

Горбунов пристал к мнению отца Григория. Велит дядьке приказать приготовить коней, чтоб на другой день отправиться в путь, вознамерившись заехать сперва в Евсеевское успокоить семью Луки Матвеевича. Несчастный! Не знал, что в это время дом нареченного тестя был уже для него заперт.

Глава VII

Белозубов, радея о выгодах своего милостивца, не пренебрегал собственными. Почитая брак с богатой наследницей верным путем к достижению независимости, давно метил на союз с будущей владычицей Евсеевского, но мыслил: «Окрестные помещики — или старики, для которых прошла пора женить-

бы, или люди ничтожные, кои не посмеют простереть видов на дочь Луки Матвеевича, высокого рождения, владельца трехсот дворов. Варенька же еще ребенок, цветок нераспустившийся и добыча верная в глуши, где нет опасных соперников. Будет-де еще время объявить свое притязание». Можно посудить, каково ему было, когда узнал о помолвке Вареньки за Горбунова. «Ужели суждено,— вскричал с негодованием,— что этот щенок, мальчишка с необсохшим на губах молоком, был мне во всем помехой?» Едва известился о решении воеводы новогородского на извет Терентьича, спешит в Евсеевское.

— Милости просим! — молвил Лука Матвеевич, когда Белозубов, приказав наперед доложить о себе, вошел в гостиную; — очень рады. Давно вас не видать, Степан Михайлович!

— Дела не позволяли мне навестить вас в день рождения Варвары Лукинишны,— отвечал гость.— Я провел все это время в Новегороде.

— Что нового слышно в Новегороде?

— Все старое-с, разве одно, о чем, думаю, вы уже сведомы; неприятный случай с нашим новым соседом Горбуновым.

— С Андрей Александрычем, моим нареченным зятем? — прервал с беспокойством хозяин.— Что такое, батюшка, Степан Михайлыч?

— Как? Вы сговорили за него Варвару Лукинишну? — спросил с притворным удивлением Белозубов.— Нелегкая же привела меня объявить вам столь печальную новость.

— С нами крестная сила! Уже не уголовное ли дело? — молвил Лука Матвеевич, час от часу в большем страхе.— Скажите, батюшка, что такое?

— Был у них в доме,— продолжал Белозубов,— какой-то подьячий, как бишь, Трифонов, Терентьев, не вспомню?

— Терентьич, батюшка Степан Михайлович! Знаю, он хаживал и по моим делам.

— Этот Терентьич, извольте видеть, бил челом воеводе, что Андрей Александрыч не сын Александра Семеныча Горбунова, а подкидыш: родился-де от мещанки, которая служила у них в доме в мамках; и на сем основании требует, чтоб его вотчину, село Воздвиженское с деревнями, отобрать на государя.

— Горбунов подкидыш! — сказал Лука Матвеевич, заминаясь и будто не смея выговорить,— Андрей Александрыч сын мещанки! Степан Михайлыч? уж не ошиблись ли вы?

— Я и сам бы тому не поверил,— ответствовал Белозубов,— но поверенный мой в Новегороде прислал мне вчерась указ воеводы. Вот он,— продолжал гость, подавая хозяину бумагу.— Оставьте его у себя, если угодно. Впрочем, извет, может быть, ложен, и Андрей Александрыч успеет доказать его несправедливость.

В тогдашнее время в России почти не было дворянства по заслугам. При царях, в существование местничества, примеры людей, вышедших в люди из низкого звания, являлись чрезвычайно редко. Давность рода давала право на уважение; личные достоинства одни ставились ни во что. Имей иной все качества тела, ума, души; хватай звезды с неба — его презирали, если не поддерживал их длинным рядом предков. Посему можно судить, какое влияние имела речь Белозубова на Луку Матвеевича. Едва гость уехал, он с грустным лицом и сердцем побрел на половину сестры.

— Не в добрый час, сестрица, княгиня Ирина Матвеевна,— сказал он, вошедши,— сговорили мы Горбунова за Вареньку. Ведь он не из дворян!

— Что такое? — вскричала княгиня Ирина, глядя брату в глаза.— Андрей Александрыч Горбунов, сын стольника Александра Семеныча, племянник окольничего Ивана Семеныча, не из дворян? В своем ли ты уме, батюшка?

— Вот то-то беда, изволишь видеть, сестрица, дело на поверку выходит не так. Андрей наш сын не Александра Семеныча, а какой-то мещанки. Был у меня Степан Михайлович Белозубов: он лишь только что из Новагорода; слышал об этом у воеводы.

— Не прогневайся, батюшка Лука Матвеич! — ответствовала княгиня Ирина,— а я плохо верю твоему Степану Михайловичу. Про него идет слава, что не больно стоек на правду. Долго ли обвести человека?

— Я и сам было усомнился, да бумаге-то нельзя не верить. Он оставил мне список с указа воеводы.— Тут Лука Матвеевич развернул указ и, прочитав, промолвил:

— Послушался я вас, сестрица княгиня Ирина Матвеевна! А нехудо было бы повременить сговором Варвары и Андрея.

— Ах, господи! — вскричала княгиня Ирина, — кто же его, батюшка, знал? С виду и умен, и красив, чем не похож на дворянина? И кому верить, как не родному дяде?

— Ихти мне! бедная моя головушка! — продолжал Лука Матвеевич. — Что мне прикажете теперь делать?

— О чем тут спрашивать? Отказ, да и только! Беды великой нет! И из-под венца расходятся. Ведь не быть же Вареньке за холопским сыном.

— Да, изволишь видеть, сестрица! молодец-то ей полюбился. Опечалить мне ее не хочется.

— Разлюбит, коли узнает,что не дворянин, — отвечала княгиня Ирина.

— Я чай, горевать будет, бедненькая!

— Погорюет, поплачет и перестанет. Полюбился один, полюбится и другой! Что за баловство? Иной подумает, братец, ты не между людьми живешь. Нас выдавали не спросясь, и прожили милостию господней как дай бог всякому! Думать не о чем. Садись и пиши к Горбунову, что свадьбе не бывать!

Покорный велениям сестры, старшей летами, Лука Матвеевич присел за письменный стол: начинал, разрывал листы и, наконец, составил следующее послание:

«Государь мой, Андрей Александрович! Степан Михайлович Белозубов привез мне из Новагорода весть о неприятном случае, какой вас постиг. Сестрица, княгиня Ирина Матвеевна, полагает, что после того вам нельзя быть включенным в нашу семью. По ее воле, возвращая при сем подарки, учиненные вами моей дочери, покорно прошу вас считать все обязательства с нашим домом прерванными».

Письмо было кончено, но предстоял подвиг более трудный — надлежало известить Вареньку о происшедшем, истребовать ее согласия на разрыв. Лука Матвеевич любил дочь нежно и, должно отдать ему справедливость, охотно искупил бы лучшей собакой или конем малейшее ее огорчение. Но мысль, что нареченный его зять — холопский сын, и боязнь гнева грозной сестрицы, к уважению которой привык с

детства, придали ему бодрость. Медленными шагами потянулся в светелку Вареньки.

Женщины, существа, созданные, чтоб составлять с мужчинами одно, как истинно оправдываете вы свое назначение! Кто сравнится с вами в любви? С каким самоотвержением, с каким восторгом жертвуете вы богатством, почестями, всеми благами сего мира для услаждения участи того, с кем вы связаны! Как безропотно делите с ним все напасти! Для вас нет невозможного! От природы робкие, слабые телом и духом, вы, когда гроза висит над предметом вашей любви, одолевая естество, изумляете силою, крепостью, бесстрашием.

Варвара встала в тот день с счастливым расположением духа, какое только встречаем у девиц-невест. В ее передней портнихи, башмачницы, швеи, свои или призванные от соседей, мерили, кроили, готовили приданое барышне. Тихий шепот раз или два в утро, прерванный появлением приехавших из Новагорода купцов с тканями, жемчугом, нарядами для новобрачной. Собственная ее светелка оправдывала сие название господствовавшими повсюду порядком и опрятностью. Вы увидели бы тут и кровать под пологом зеленого штофа, подобранного под тень узорчатых бумажных обоев; и лоснившийся уборный столик дубового дерева с круглым подвижным зеркалом в дубовых же резных рамах; и в углу кивот с иконами в горевших, как жар, вызолоченных окладах и теплившеюся перед ними лампадою; по сторонам столика большие сундуки, обитые светлой жестью, заключали наряды бабушки и матушки, перешедшие по наследству, дабы составить часть приданого; наконец, несколько увесистых стульев с высокими круглыми спинками дополняли убранство комнаты. Четыре сенных девушки за пяльцами вышивали под надзором няни Ивановны, женщины дородной, румяной, излелеянной в недрах барского дома, вскормленной на господском столе и по праву пестуна барышни пользовавшейся преимуществами, коих не имели другие слуги. Няня заведовала чаем и серебряной посудой, подавала голос в совещаниях о делах семейных, блюла за порядком, тишиной и нравственностью многолюдной женской челяди, была советником и поверенным барышни. Ивановна, в синем плат-

ке с золотыми цветами и штофной телогрее, сидела на низкой скамейке за прялицей у ног Вареньки. Варенька у окна, перед коим вилась дорога в Воздвиженское, нарядная, как невеста, в узком кирасе и широком атласном роброне, с убранными á la Fontanges[1] волосами, горевшим от удовольствия лицом, закрепленным алмазной пряжкой жемчужным ожерельем на шее и запястьями сканого золота, подарком жениха, также за пяльцами выводила серебром цветы по голубому бархату, в котором хотела, чтоб Андрей явился под венцом. Пробило десять,— заглядывает в окно. Смотрит в него чаще, чаще. Наконец, иголка покинута, работа брошена. Варенька с устремленными на дорогу очами — вся ожиданье. Как радостно билось сердце, когда, бывало, завидит издали черное пятнышко, потом отличает всадника, и Андрей, словно писаный, на вороном Арабе, то плавно несся стройным лебедем, то, дабы выказать ловкость, поднимал коня на дыбы, и прежде чем Варенька успела от страха вскрикнуть, пустившись стрелой, становился будто вкопанный перед возлюбленной. Лицо ее то светлеет надеждой, то вдруг опять подергивается туманом, когда обманывала ожидания пыль, взметенная вешним ветерком или поднятая крестьянином, медленно тянувшимся на барский двор с возом снопов. Пробило одиннадцать.

— Ивановна! что-то не видать моего Андрюши! Бывало, об эту пору он давно тут.

— Эх, дитятко! что тут за диво? — возразила няня.— Вотчина у него немалая; дел полон короб. А нынче, вишь, он один. Терентьич ведь бежал от них.

Варвара взялась за иголку. Прошло еще полчаса.

— Нянюшка, мне грустно! Сердце что-то вещает недоброе! Уж не занемог ли Андрюша?

— С нами крестная сила! Что тебе привиделось, моя родная? Мало ли что может приключиться? Явись к Андрею Александровичу человек чужой, ведь не выгнать же гостя!

Миновалась пора обеденная; наступал вечер, а жених не показывался. Наконец, когда подали свечи,

---

[1] Убор волос, так названный по имени девицы de Fontanges, которая явилась в нем при дворе Лудовика XIV.

Варвара услышала в девичьей мужские шаги. Бежит навстречу и, завидев отца,— «батюшка,— говорит,— что это сделалось с моим Андрюшей? Я вся не своя. Выглядела все очи, а его нет как нет. Был бы занят делами, прислал бы сказать. Верно занемог!»

— Не быть тебе, Варенька, за Горбуновым! — с грустью молвил Лука Матвеевич.— Он не из дворян!

— Что вы говорите? — с изумлением спросила дочь, как бы не веря слышанному.

— Он не из дворян, сын мещанки,— повторил отец.

— Мой Андрюша? Кто взвел на него эту небылицу?

Отец вместо ответа подал ей указ новогородского воеводы.

— Откуда у вас эта бумага? — сказала Варвара, быстро пробежав указ глазами.— Кто ее привез вам? Знаю, здесь был Белозубов. И вы ему верите? Неужели не знаете, что Белозубов искони враг Горбуновым?

— Враг ли он или нет, Варенька, и все-таки Андрей Горбунов не дворянин.

— Стыдитесь, батюшка! Вам бы следовало заставить молчать злые языки, а вы им потакаете, повторяете их нелепости! О мой бедный Андрюша!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, Варенька, что тебе не бывать за холопским сыном. Я отказал ему от дома и пришел взять у тебя его подарки.

— Как? — прервала дочь.— Разве не вы сами благословили нас образом богоматери? Батюшка! — продолжала она с укором,— изменить в слове людям стыдно, изменить богу грешно!

— Сестрица княгиня Ирина Матвеевна говорит, что даже из-под венца расходятся.

— Батюшка! — медленно молвила Варвара.— Я ваша дочь и должна вас слушаться, однако ж есть предел родительской власти. Вы можете не выдавать меня за Андрея, но я перед богом была ему обручена и останусь его невестой до смерти.— За сим, обратившись к няне, которая глядела на происходившее, смиренно сложив руки, повелительным голосом, словно давая знать, что не потерпит возражения, «Ивановна! — говорит,— завтра чем свет отправься

к Андрей Александрычу, скажи ему, что я не верю клевете и хочу с ним сама проститься у Ольгина пруда».

Няня, изумленная решимостью барышни, не смея ни отказать, ни согласиться в присутствии барина, отвечала: «Как его милость молвить изволит».

Но изумление его милости было гораздо сильнее. Сам он не имел понятия о любви. Семнадцатилетнего привезли в церковь, поставили рядом с девицей, которой дотоле не видал в глаза, и, обведши три раза кругом налоя, приказали ему любить жену, как душу свою. Он исполнил повеленное по своему разумению: в десятилетний брак и мыслию не изменил верности супружней. Когда же увидел, что Варенька, незадолго бросившая куклы, дотоле робкая, как серна, послушная, как ягненок, вместо вздохов и слез являет решимость и сопротивление его воле, совершенно потерялся: «Делай что тебе приказывают!» — сказал няне Лука Матвеевич.

Глава VIII

На другой день, едва Андрей проснулся, вошел к нему Николай Федоров с извещением о прибытии гонца из Евсеевского. «Этого только недоставало! — вскричал Горбунов, прочитав письмо бывшего нареченного тестя. — Неужели и Варвара мыслит одно с отцом и теткой?» Посмотрел на подарки, которые дядька выложил между тем на стол: лежали тут шелковые ткани, бухарские платки, жемчуг, румяны; не было одного золотого колечка, освященного прикосновением к персту св. великомученицы Варвары, которое Андрей получил в наследство от матери и наложил на палец возлюбленной в день сговора. «Так! — сказал он со вздохом, — ее принудили к разрыву, но сердцем она мне не изменила!»

Внезапный стук привлек его к окну. Одноколка взъехала на двор, и няня Ивановна с видом торжественным, словно министр, идущий на переговоры, от коих зависит судьба государства, в шелковом шушуне и богатом платке ступила на крыльцо.

— Ох, нянюшка, нянюшка! — вскричал Андрей, бросившись к ней с распростертыми объятиями.

— Позвольте-с, батюшка Андрей Александрыч! — прервала с важностию няня, не допуская его к себе рукой. Потом, сотворив молитву, продолжала, не переводя духу, как рядовой, когда, сменившись с часов, доносит старшему: — Варвара Лукинишна изволила прислать меня к вашей милости доложить, дескать, что она не верит-с наговорам людским и хочет, дескать, сама проститься с вашей милостью у Ольгина пруда-с.

— Я был уверен, — произнес с восхищением Горбунов, — что Варенька мне не изменит! здорова ли она?

— И! батюшка Андрей Александрыч! — ответствовала Ивановна, перешед к обычной говорливости, — не дай бог и ворогу! Пришел вчерась барин, ни слезинки не выронила. Чуть он за дверь, бросилась на постелю и ну плакать! И к ужину не пошла-с, не изволит кушать, моя сердечная, на свет божий не глядит, все горюет. Уж я-то с ней примаялась: и кивот уставила свечками, и перед Спасом клала земные поклоны, и ей-то говорю: «Не губи себя и нас, дитетко! Не греши против бога! Милость господня велика! Все переменится! Не думаешь, не гадаешь, жених твой поведет тебя к венцу». Нет! ничего не помогло: мечется, родная, из стороны в сторону, только и молвит всего: «О, мой бедный Андрюша!» Не погневайся, ваша милость! Наконец, к свету, слава тебе господи, немного уснула.

Андрей, у коего при слушании сего рассказа, в котором каждое слово говорило о любви Варвары, навернулись слезы умиления и участия, молвил: «Присядь, няня! Ты, чай, натощак. Обогрейся, напьемся вместе чаю!»

— Покорно благодарим-с, батюшка Андрей Александрыч! но мешкать-то мне некогда-с. У девиц сон, изволишь видеть, недолог: барышня, чай, пробудилась и меня дожидается. Прощенья просим, батюшка Андрей Александрыч!

Вскоре после отъезда Ивановны подвели оседланных коней к крыльцу. Многолюдная челядь, старый и малый, столпилась перед домом проститься с молодым барином. Андрей в дорожной однорядке, с ружьем, прикрепленным к седлу, и парой заряженных пистолетов в чушках, предосторожность, без коей в то время не выезжали из дому, сопутствуемый Нико-

лаем Федоровым в широком плаще, по отслушании молебна, иных допустив к руке, иных приветствовав, кого милостивым словом, кого наклонением головы, при благословении отца Григория и желаниях счастливого пути от дворни, оставил Воздвиженское. Вскоре показались березы, осенявшие Ольгин пруд. Горбунов ускорил бег коня, завидев между березами нечто белеющееся. На сем самом месте он встретился с Варварой впервые, когда с веселой беспечностию красовалась как пава в толпе сверстниц. Накануне еще счастие играло на ее щеках: ласкавшие воображение мечты так были сладостны. Тут же, бледная, с впалыми от бессонной ночи очами, цветок, убитый морозом, представилась ему тенью прежней Варвары.

— Я хотела видеться с тобою, мой милый,— сказала она медленно, когда, соскочив с аргамака и бросив поводья Николаю Федорову, Андрей побежал к ней,— проститься с тобою, прежде чем нам расстаться.

— Злые люди разлучили нас, Варенька! Но ненадолго. Я обнаружу коварство, выведу на свет все козни. Прошу тебя одного: успокойся, крепись и надейся на бога! Враги мои сильны, но господь не попустит восторжествовать неправде.

— Ах, дай бог,— промолвила Варенька со вздохом, набожно сложив руки.— Куда ты это едешь, друг мой?

— Теперь в Тихвин, потом должен буду отправиться в Санкт-Петербург.

— О да сопутствует тебе господь и пресвятая богородица!— вскричала она, бросившись к нему и обливая его слезами.— Друг мой! бабушка, умирая, благословила меня этим образом Иверской божией матери.— Тут надела она на него оправленный в золото образок.— Да сохранит он тебя от всякой напасти! носи его в память своей Варвары, молись ему. И я с тобой буду молиться!

Они слились устами и несколько времени пробыли обнявшись. Наконец, Андрей, более твердый, с тяжелым вздохом отторгнулся от любезной. Медленно удалился, долго еще не покидал Варвары взорами. Наконец, образ ее становился час от часу меньше, меньше, исчез белым пятнышком в туманной дали, и

Горбунов, болея сердцем, понесся по излучистой дороге.

На четвертые сутки, время было пасмурное, при въезде в дремучий бор, Николай Федоров, который, чтоб разогнать грусть барина, не раз уже заводил речь и не получал ответов, молвил будто про себя: «Слава тебе, господи, наконец доехали. Авось господь приведет сегодня ночевать в Тихвине».

— Разве мы недалеко от города? — спросил Андрей.

— Этот лес тянется под самый Тихвин,— отвечал дядька.— Здесь, бывало, в старые годы, Андрей Александрыч, не приведи бог, проезда нет ни днем, ни ночью. Только и слыхать о разбоях. Иначе не отправлялись как обозом, и солнце еще высоко, а уж смотрят, как бы добраться до ночлега. Купец ли с товаром, крестьянин ли с запасом приедут в Тихвин, прямо с воза в церковь отслужить молебен пресвятой богородице, что ее заступлением остались здравы и невредимы.

Едва он кончил, раздался выстрел. Николай Федоров повалился с коня. Андрей хочет броситься к дядьке на помощь; другая пуля просвистела мимо его ушей, и аргамак, почуяв опасность, взвился на дыбы и помчался вихрем. Горбунов опомнился только, чтоб услышать за собой погоню. Оглядывается, три всадника, с ног до головы вооруженных, скачут за ним во всю прыть. Мешкать было некогда, сопротивление невозможно. Поворачивает на выходившую из леса тропинку и отдает себя на волю коня. Под ним свидетели многих поколений, покрытые мхом и сросшиеся с землею пни звенят от копыт, листья хрустят, ветви хлещут, царапают лицо; впереди трущоба все чаще, чаще, темная и в ясное солнце, тогда же еще мрачнее; над головой носятся тяжелым полетом тетерева, испуганные необычайным шумом, и вороны карканием приветствуют наступление сумерок. Но Андрей ничего не слыхал, не чувствовал; мыслил только о сохранении жизни. Наконец лес стал редеть; конь умерил бег, и всадник перевел дух. Тут впервые пришло ему на память случившееся: вспомнил о дядьке и горько всплакался. Николай Федоров учил его ходить, лелеял его детство, ходил за отроком и потом служил ему так усердно, как только мог. Из

многолюдной челяди, которая досталась ему в наследство после дяди, Николай Федоров был один предан ему душою, один знанием обстоятельств семейных мог пособить ему в тогдашнем положении. Тяжело вздохнув, «да будет воля твоя, боже! — произнес он наконец,— дай ему царство небесное! благодарю тя, господи, что меня спас от руки злодеев». Между тем ночь спустилась на землю. Андрей очутился на небольшой поляне и, завидев вдали огонек, чувствуя нужду в отдохновении себе и коню, тихой рысью пустился к одинокой в лесу избе. Он въехал в околицу, привязал коня к изгороде. «Нельзя ли у вас, голубка, пообогреться и перекусить чего-нибудь?» — спросил у женщины, которая на стук в окно вышла к нему с горящей лучиной.

Незнакомка несколько времени смотрела ему в лицо, как бы удивленная, что видит странника в такой глуши, и наконец отвечала: «Взойди, кормилец!»

Изба, в которую ступил Андрей, ничем, кроме обширности, не отличалась от тех, какие видим ныне в деревнях. Но кровать под холщовым занавесом, заменявшая полати, окна, в которых вместо стекол были кусочки слюды, скрепленные выведенными в узор жестяными пластинками, и несколько медной посуды на полках показывали, что хозяин не простой поселянин. Между тем как странник с любопытством и сомнением осматривал место своего ночлега, хозяйка положила на стол каравай хлеба, поставила с солонкой вынутую из большой печи корчагу щей, горшок гречневой каши и, поклонившись, молвила: «Милости просим, батюшка! Кушай на здоровье! Чем бог послал!»

Утолив первый позыв к пище: «Неужели ты здесь, молодка, одна?» — спросил Андрей у хозяйки, которая, приклонившись к печке и подперши голову рукою, на него глядела.

— Мать со мною, кормилец, живет-не живет. Злая немочь мучит сердечную: ноги не поднимет, рукой не пошевелит, языком не перемолвит. Хозяин уехал в Тихвин да замешкался. Чай, сегодня уж не будет.

— И тебе не страшно оставаться одной в таком захолустье? — продолжал Горбунов.— Кругом жилья не видать, а в лесу у вас неспокойно.

— Эх, родимый,— ответствовала хозяйка.— От лихого человека нигде не убережешься! Мы жили в го-

роде, да и там злые люди подожгли избу. Ночью тревога, оборони бог! Все дотла сгорело; сами еле живы остались. Здесь же милует господь. Вот уже полтора года ничего не слыхать!

— А далеко ли отсюда до города?

— А бог весть! Мы сами туда не ездим. Бают, коли до свету отсюда выедешь, приедешь в Тихвин к обеденной поре.

Скромный ужин кончился. Горбунов помолился и, бросив несколько копеек на стол, промолвил: «Спасибо, голубушка, за хлеб, за соль!»

— На здоровье, батюшка,— ответила молодица.— Что это? Деньги? Возьми их назад, кормилец!— продолжала она с неудовольствием.— Слава тебе, господи! И без твоих копеек есть у нас чем накормить проезжего!

Между тем в люльке, повешенной на длинном, прикрепленном к печи шесте, запищал младенец. Мать поспешила успокоить его грудью. Андрей, измученный дорогой и треволнениями дня, пустив коня свободно по двору, положил к себе в головы, в углу избы, под иконами, седло, протянулся на лавке и, пожелав хозяйке доброй ночи, скоро заснул глубоким сном.

Перед рассветом пробудил его внезапный блеск. Глядит, не верит глазам. Старуха, бледная как мертвец, у коей лета и болезнь избороздили глубокими морщинами лицо, осененное длинными космами седых волос, в беспорядке ниспадавших из-под изорванной кички, в рубище, до половины прикрывавшем иссохшую грудь, держа дряхлою рукою горящую лучину, вперила в него серые, сверкающие очи. Невольный холод обнял Андрея. В ребячестве он слышал о ведьмах, колдуньях, леших, всех существах, коими досужее воображение наших предков населяло мир мечтательный. Существованию их тогда верили, и Андрей разделял заблуждения современников. Ободрился, однако ж, заметив, что старуха творит молитву: нечистая-де сила боится креста. Привстал и хотел было приветствовать мнимую колдунью, но она подала знак к молчанию и, схватив его окостеневшими пальцами за руку, вывела на двор.





— Что за нелегкая принесла тебя сюда? — сказала она осиплым голосом, между тем как Андрей седлал коня.

— Еду в Тихвин, бабушка, и сбился с дороги.

— А зачем тебе в Тихвин? — продолжала старуха.

— Долго рассказывать. Не слыхала ли ты про отца Петра?

— А на что тебе отец Петр?

— Послушай, бабушка,— молвил вместо ответа Андрей.— Жил здесь в Тихвине стольник Горбунов...

В это время послышался поблизости конский топот. Старуха, вероятно, от испуга, зашаталась и как показалось Андрею, упала. Он сидел уже на аргамаке и, вообразив,что подъезжают разбойники, накануне за ним гнавшиеся, быстро понесся по тропинке, ведшей в Тихвин.

Глава IX

На берегах Невы красовалась новая столица России, возникшая по мановению Петра из болот финских и уже в то время, семнадцать лет после основания, обширностью и красотой изумлявшая иноземцев. Весь левый берег реки от Смольного двора, где ныне Смольный монастырь, до Новой Голландии был застроен. В длинном ряду зданий отличались бывший дворец царевича Алексея Петровича (теперь Гоф-Интендантская контора), Литейный двор, не переменивший тогдашней наружности, Летний дворец, деревянный дворец Зимний (где теперь императорский Эрмитаж), огромный дом адмирала Апраксина (сломан под нынешний Зимний дворец), Морская академия, Адмиралтейство, здание глиняное с деревянным шпицем и двуглавым орлом на вершине, окруженное валом и рвом; каменный Исаакиевский собор, в то время еще не достроенный, и, наконец, на месте нынешнего Сената, австерия князя Меншикова. Вообще странная пестрота и разнообразие: домы каменные подле деревянных или мазанок, построенных из фашиннику и глины; крыши железные или муравленой черепицы подле тесовых; здания высокие с мезонинами, бельведерами, четвероугольными и круглыми, всеми затеями тогдашней причудливой архитектуры,

обок низких лачужек. Великолепные ныне Малая Миллионная и обе Морские заселены были адмиралтейскими служителями, завалены лесами, канатами, смоляными бочками. Левую сторону Невского проспекта, и в то время уж обсаженного деревьями от мостов Зеленого (Полицейского) до Аничкова, занимали иноземные ремесленники: на правой виднелись Гостиный двор (ныне дом графини Строгановой) и деревянный собор Казанския божия матери. Пространство от Аничкова моста до Александро-Невского монастыря, тогда еще строящегося, занимали слободы Аничкова, заселенные солдатами его полка, и Ямская. Из прочих зданий в сей стороне замечательны были на левом берегу Фонтанки Итальянский дворец, в коем до вступления на престол жила императрица Елисавета, и дом графа Шереметева, еще не доконченный. Впрочем, Адмиралтейская сторона, составляющая ныне главную часть Петербурга, почиталась тогда предместьем: центром города была так называемая Петербургская сторона. Там, кроме крепости, еще деревянной, с множеством ветряных мельниц на валу, и соборов Петропавловского и св. Троицы, красовались, между прочим, каменные палаты графа Головкина, Брюса, Шафирова, князей Долгоруких, Кикина и особенно дом князя-папы, Ивана Ивановича Бутурлина, замечательный по колоссальному Бахусу на бочке, занимавшему в крыше место фронтона. Впрочем, на нем не было ни колонн, ни фронтонов, никаких вообще украшений, которых требует от больших зданий изящная простота нынешней архитектуры.

Но все строения Петербурга превосходил великолепием и обширностью на Васильевском острову дворец владетельного князя Ингрии, Эстонии и Ливонии генерал-фельдмаршала князя Александра Даниловича Меншикова, составляющий ныне часть стороны 1-го кадетского корпуса, которая обращена на Неву. Сей любимец Петра, самый усердный, самый деятельный его сотрудник в подвиге преобразования России, красавец телом, исполин духом и умом, на поле бранном отважный ратник, прозорливый полководец, в Государственной думе советник проницательный, дальновидный, исполнитель без медления, усталости и отдыха, по уставу природы, которая, да-

бы явить беспристрастие, не раздает доблестей великих без великих слабостей, имел главным недостатком непомерную, с каждым днем усиливающуюся алчность почестей и корысти. От сего покровитель щедрый, заступник ревностный своих приверженцев, гонитель непримиримый противников, стяжал себе в кругу первостепенного русского дворянства многочисленных врагов. Пока жил Петр, пока властвовала Екатерина, высокий, корнистый дуб смеялся бурям, бушевавшим у подошвы и не дерзавшим сигать до вершины, в державу Петра II рухнул, на высоте могущества не столь великий, как в падении, когда на крае земли, во льдах Сибири, некогда нареченный тесть императора, с духом покойным и ясным челом, полудержавными руками срубил церковь, в которой и покоятся останки Великого.

В отдаленной половине князева дома, в небольшой слабо освещенной комнате, сидели у круглого стола за кубками вина двое мужчин; один, развалившись в широких покойных креслах, другой против на стуле, являя в наружности середину между почтительностию и простым обращением.

— Ну, Терентьич,— сказал первый, полня кубок собеседника,— перестанешь ли, наконец, трусить? Ведь в Сенате решили и приговорили дело по-нашему.

— Да еще не подписали, Степан Михайлыч! Не хвалися о утрие, не веси бо что родит находяй день, гласит премудрый царь Соломон. По моему разумению, дело тогда кончено, когда увижу благодатную подпись исполнить. Горбунов здесь и завтра, изволите видеть, хочет подать новую челобитную в Сенат. А ведь он был в Тихвине, и кто ведает, не доискался ли следа?

— Полно тебе прикидываться!— возразил первый, в котором читатели наши, конечно, узнали Белозубова,— толкуй другим! Мне ли тебя не знать? Что ты завяжешь, того и сам лукавый не распутает.

— Молодец-то не таков, Степан Михайлыч, чтоб его легко провести,— молвил Терентьич.— С ним держи ухо востро. Но меня более беспокоит Николай Федоров. Наши, как его повалили, до ночи гнались за барином; воротились, ан убитого на дороге нет. Спра-

влялись в околотке, а там и видом не видали, и слыхом не слыхали.

— Вздор, братец! Все пустое мелешь,— прервал Белозубов.— Ну кому придет в голову, что это твое дело? Ты, вишь, виноват, что по дорогам грабят и убивают проезжих?

— У вас все вздор, все пустое,— сказал тоненьким голосом Терентьич,— и не диво, вы за стеной. Придет до расправы: Степан Михайлыч в стороне, а Терентьича, раба божия, потянут на дыбу. Степан Михайлыч ни о чем не знает, не ведает, Терентьич за все, про все отвечай!

— Ах ты, негодная приказная строка! — вскричал в гневе Белозубов.— Смотри, пожалуй, он еще недоволен. Много ли ты выслужил в десять лет у Бердыша? Явился ко мне оборванный, в истертом кафтане, гол, как ладонь. Посмотри же теперь на себя. Иной с виду и впрямь подумает, что ты человек порядочный!

— Да я не жалуюсь, Степан Михайлыч,— пропищал подьячий.— Вы есть и были мой милостивец. Оно только так, к слову пришлось.

— Однако ж,— молвил Белозубов,— шутка плохая, если Горбунов успеет до подписи приговора подать свою челобитную. Съезди-ка завтра раненько к обер-секретарю.

— Да, изволишь видеть, Степан Михайлыч, народ-то у вас больно мудрен. У нас в воеводстве, будь лишь в дело замешана казна, она уж непременно выиграет, дари не дари. А здесь говорят тебе: царь-де не хочет неправосудия. Что казенное, то казенное, что обывательское, то обывательское. Намеднись нелегкая понесла меня намекнуть обер-секретарю о благодарности, он взбеленился и так на меня напустил, что я не знал, куда деваться. Жизни не рад, что обмолвился.

— Бестолковая голова,— прервал Белозубов.— Тебе только и таскаться по уездным да воеводским канцеляриям. Вели-ка завтра заложить в одноколку пару моих вятских. Когда будешь у обер-секретаря, постарайся в разговоре притащить его к окну, да невзначай заведи речь о лошадях. Он неравно спросит о цене. Я заплатил за них сто рублей; ты же скажи, они тебе стоят пятьдесят, а с него-де возьмешь половину. Он тебе даст обязательства, может быть, выложит чистые. Улики нет, он-де купил и прав. А о деле уже не

поминай и не беспокойся! Он не бит в темя, и не тебе его учить! Сам сумеешь все сладить.

— Век живи, век учись,— отвечал Терентьич, взявшись за шляпу.— Покорно вас благодарю, Степан Михайлыч!

— Выпей последнюю на сон грядущий,— промолвил Белозубов. Они осушили в заключение беседы по кубку вина и разошлись на покой.

Глава X

На другой день после приведенного нами разговора Андрей явился у сенатского обер-секретаря Приволгина. Немногим пособила ему поездка в Тихвин. Неопытный, утратив в Николае Федорове полезного советника, который помог бы ему в разысканиях, сам ничего почти не узнал. Отец Петр скончался за два месяца. Из дворовых людей его отца одни, поступив с имением в казенное ведомство, были усланы, другие сами разбрелись в разные стороны. О бывшей мамке Палагее Тихоновой не умели также сказать ему ничего верного. Жила в Тихвине, была больна и, как полагали, сгорела во время пожара. Одно показалось ему замечательным: с Тихоновой жила девка, слывшая под именем ее дочери, меж тем как Терентьев в извете показывал, что ее дочь умерла вскоре после рождения, но и сие обстоятельство, одно, основанное на слухах, ни к чему не могло ему послужить. При всем том однако же решился оборонятьcя, сколько мог. Изложив все подозрения свои в лживости извета со смелостию, внушенною чувством правоты и грозившей ему крайностию, явился с челобитною, как мы выше сказали, у обер-секретаря.

Приволгин, мужчина лет пятидесяти, важной, строгой наружности, принял Андрея с возможной вежливостию, снисходительно выслушал его объяснения, дал ему несколько полезных советов. Андрей, очарованный сею приветливостию, сообщил ему свою челобитную. Обер-секретарь, прочитав ее, похвалил бесстрашие юноши: «Государь наш,— продолжал он,— хочет правды, и не сомневаюсь, обратит внимание на ваше прошение. Долг службы воспреща-

ет мне сказать вам, в каком состоянии дело, но, принимая участие в вашем беззащитном положении, позволю себе присоветовать, повремените несколько дней. Люди не без слабостей, и, чтоб успеть с ними, надобно им нескольно потворствовать. У нас же скопилось ныне множество дел. Вашу челобитную примут, потому что не могут в этом отказать, но примут с предубеждением. Впрочем, не принимайте совета за понуждение, я нимало не хочу стеснять ваших поступков, действуйте, как заблагорассудите, я сказал только вам свое мнение, основанное на знании лиц, от коих зависит участь дела». Андрей, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, последовал совету столь благонамеренному, и чрез несколько дней, пришед в Сенат для узнания об успехе, получил от Приволгина обратно, к великому его сожалению, свою челобитную с надписью, что дело уже решено.

Знакомо ли вам, любезные читатели, состояние души после сильного непредвиденного удара, когда вся кровь поднимается к сердцу; вас что-то давит, душит, жжет; исчезают мысль, память, все чувства; минувшее, настоящее, будущее сосредоточиваются в гнетущее вас несчастье? Состояние убийственное, которого человеческая природа не могла бы выдержать, если б, по благости провидения, оно не было кратковременным. В таком положении был Андрей, когда вышел из Сената. Ничего не помня, не видя, не слыша, он быстро несся из улицы в улицу, из переулка в переулок, куда, зачем? Сам не ведая. Солнце садилось. Он почувствовал усталость и, увидев перед собою открытое здание с надписью «Австерия его царского величества», вошел туда для отдыха.

Образ жизни наших дедов был не тот, что ныне. В царствование Петра I присутствие в казенных местах начиналось летом в шесть часов, кончалось в двенадцать. Государь вставал в три часа утра, в четыре выходил для обозрения городских работ и возвращался во дворец около полудня; а дабы от девятичасового воздержания не ослабеть, повелел учредить в трех концах города трактиры, куда заходил перекусить: один в своем кабинете редкостей (ныне Музей императорской Академии наук), находившемся в то время у Смольного двора, другой неподалеку от то-

гдашней Канцелярии Сената, на площади собора св. Троицы (что на Петербургской стороне), а третий поблизости от Адмиралтейства, где ныне здание Сената. Последние два трактира назывались австериями — первая царской, вторая австерией князя Меншикова, потому что сей вельможа, переправляясь чрез Неву из своего дворца на Адмиралтейскую сторону, к ней всегда приставал. Обыкновенный завтрак Петра состоял из рюмки водки и куска ржаного хлеба с солью. Все люди, порядочно одетые, имели право на вход в австерию и на ту же порцию, которая и выдавалась им за счет государя. За прочие требования платили по таксе, подписанной самим царем. Петр поощрял собрания в австериях, полагая оные в числе средств к сближению сословий, дотоле разделенных местничеством.

Андрей вошел в обширную приемную. За решеткою, как в иностранных трактирах, стоял хозяин, толстый, румяный мужчина, впереди множество слуг, готовых к удовлетворению требований гостей, на столах в разных концах залы бутылки с винами, табак, голландские глиняные трубки, шашки и шахматы. Кругом в облаках дыма люди, высокие и низкие чином, военные, статские, шхипера, иностранные ремесленники играют, беседуют, шумят, спорят.

Андрей сел отдельно в углу и, подперши голову руками, погрузился в думу. Тут представился ему весь ужас его положения. Давно ль, вотчинник обширных поместий, он был одним из самых значительных лиц в округе, ныне — безродный, бесприютный сирота: ни кровных, ни друзей, никакой помощи, утешения, нечего терять, не на что надеяться. Одно существо во всем мире его любило, одно принимало в нем участие, и с ним он был разлучен, может быть, на всю жизнь. «Бедная Варенька,— помыслил он,— тебя ласкает теперь надежда, что твой Андрюша разрушит ков злых людей; что станется с тобой, когда узнаешь, что он жертва их ухищрений? Изноешь, сердечная, от тоски!»

Погруженного в сии грустные мысли пробудил раздавшийся позади радостный клик: «Горбунов, любезный Горбунов!» И с сими словами высокий мужчина в мундире Преображенского полка бросился к нему на шею.

— Здравствуй, Желтов,— молвил Андрей медленно, оправившись от первого изумления,— но не зови меня Горбуновым, а то неравно обнесут тебя как преступившего царский указ.

— Что с тобой, любезный,— вместо ответа спросил с беспокойством воин, глядя собеседнику в очи,— ты не болен ли, мой милый!

— Ах, как бы я хотел, чтоб это был бред горячки,— сказал со вздохом Андрей.— К несчастью, говорю горькую истину: я более не Горбунов!

— Изъяснись, пожалуй! что такое?

— Тяжко говорить об этом,— ответствовал Андрей.— На, читай, все узнаешь,— и при сем подал ему из бокового кармана бумагу.

— Друг мой,— сказал Желтов, прочитав и возвращая Андрею челобитную,— дело твое, правда, не в завидном положении, но отчаиваться и грешно и стыдно. Уверять мне тебя в искренности лишнее. Я еще помню, что ты в Новегороде избавил меня от розог и позора. Послушайся же доброго совета. Рано ли, поздно ли тебе надобно служить: вступи к нам в полк. Царь, слова нет, доступен для всякого, но служа в полку, которого он шефом, ты будешь иметь более случаев лично с ним объясниться. Притом он любит людей грамотных. Я, помнишь, был в школе плохой ученик, а теперь поручик от того только, что поученее моих товарищей. А узнай он дело, так тебе и тужить нечего: он правосуден.

— Правосуден,— отвечал Горбунов, горько улыбнувшись.— Помнишь ли, любезный Желтов, в букваре, по которому учил нас чтению дьячок Никандр, в изречениях греческих мудрецов выражение: «Правосудие — паутина, которая задерживает малых насекомых и рвется от больших?»

— Нет, уж воля твоя, голубчик, а за это я тебе ручаюсь, что никакие козни, никакое лицеприятие на него не действуют. Не спорю, он может погрешить, но от неведения. Расскажи же ему дело, как оно есть, и он, не стыдясь сознания в ошибке, сам переменит свое решение. Право, послушайся меня, запишись к нам в службу!

— Любезный,— молвил Андрей в половину убежденный,— и этого мне теперь нельзя сделать. Зло-

деи принуждают меня отречься от своего отца. Под каким именем явлюсь я к вам в полк?

— За этим дело не станет! Я представлю тебя под именем Безыменного. Да где ты здесь живешь?

— На постоялом дворе, который при въезде первый мне попался.

— Этому быть не должно! Я ведь у тебя в долгу, любезный! Ты меня ссудил в час нужды всем, что имел. Переезжай ко мне! Нечего совеститься! — продолжал Желтов, заметив, что Андрей хотел возражать.— Я не тот бедняк, что был в школе; с наступлением совершеннолетия уволил почтенного дядюшку от опеки и теперь, слава богу, не без достатка. Да полно тебе кручиниться! Увидишь, все кончится благополучно! Эй, бутылку иоганисберга! — закричал он слуге.— Обновим, друг мой, приязнь стаканом рейнского!

Нежданная встреча с Желтовым оживила убитого грустью. Согретый дружбой и вином, Андрей поуспокоился и вышел из австерии рука об руку с приятелем, решив облечься на другой день в солдатский мундир лейб-гвардии Преображенского полка.

Глава XI

Внутренний быт владельцев села Евсеевского изменился после разрыва с Горбуновым. Княгиня, приехавшая ко дню совершеннолетия племянницы, задержанная ее сговором, воротилась в свою ярославскую вотчину. Лука Матвеевич делил время между псарней и конским заводом. Варвара была уже не Варварой-невестой. Тихая грусть сменила прежнюю живую, беспечную веселость: в гостиной являлась только перед столом, прочие же часы дня проводила или в своей светелке за пяльцами, или у Ольгина пруда, где впервые и впоследние свиделась со своим Андрюшей. Но и тут качели висели в покое или колыхались разве только от ветра, не слышалось песен, какими бывало оглашался берег, не было, как прежде, резвой толпы девушек, коих невинные забавы обманывали время, одна или с Ивановной находила облегчение от тоски в воспоминаниях о былой счастливой поре.

Белозубов, по удалении соперника частый гость Евсеевского, быв принужден отправиться по делу Горбунова в столицу, решил во что бы то ни стало убедить Луку Матвеевича к переезду в Петербург. «Пока я здесь,— мыслил,— Варвара моя, уезжай я, кто мне порукой, что не найдется новый Андрей, который похитит у меня и ее, и Евсеевское? К тому же тут все напоминает ей о прежней связи. В столице же, окруженная предметами новыми, среди забав и рассеяния, скорее забудет возлюбленного и охотнее выслушает предложение о новой женитьбе».

Государь Петр I ходил сам в толстом сукне и заплатанных башмаках, предпочитая щи, солонину и ржаной хлеб блюдам утонченной французской кухни, но хотел, чтоб окружающие его лица жили с пышностью, соответственною их звания. Князь Александр Данилович, носивший титул владетельного, в угодность царю и собственному честолюбию устроил дом свой по образцу мелких немецких государей. На его половине пажи, камер-юнкеры, камергеры; на половине княгини — фрейлины, камер-фрейлины, вообще все придворные чины. Белозубов в награду за отторжение у Горбунова села Воздвиженского с деревнями исходатайствовал у князя для будущей своей супруги звание фрейлины его двора. Отъезд княгини Ирины Матвеевны способствовал его замыслам. Уже издревле знатные бояре имели обычай держать у себя во дворе молодых дворян, мужчин и девиц, под именем знакомцев и подруг, и сие звание нимало не было унизительным. Но Меншиков вышел из низкого звания — пятно неизгладимое в очах коренных русских дворян. Княгиня, числившая между предками немало бояр, вдова одного из знатнейших сановников при дворе царя Алексея, не дозволила бы племяннице, в укор своему роду, служить у вельможи, который обязан был возвышением одному себе. Лука Матвеевич сам был не без спеси, но покорный внушениям чужим, любя дочь нежно, в надежде, что забавы столичные прогонят ее тоску, не мог противустоять приглашению князя Александра Даниловича. За несколько лет перед тем повелено было дворянам, владельцам известного числа дворов, иметь домы в новостроившемся Петербурге. В одно утро Лука Матвеевич под предлогом обозрения своего дома, сев с

дочерью в старинную, веером сделанную колымагу на цепях и низких колесах, со всею челядью, начиная от няни Ивановны до шестидесятилетней дуры, забавлявшей в молодости барыню-бабку и на старости разгонявшей грусть внучки, от толстого дворецкого до карлы, со стаей псов и табуном верховых и цуговых коней, длинным обозом потянулся в Петербург.

Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная Арсеньева, была из самых почтенных жен своего века. Душевно преданная супругу, любила в нем не светлейшего, не генерал-фельдмаршала, а Александра Меншикова. Не ослепленная блеском почестей, ведая, с какими они сопряжены опасностями, проводила дни и ночи в страхе, чтоб чрезмерное его могущество не рушилось на погибель всего семейства. Но бессильная к обузданию властолюбивой души князя, в угодность ему несла бремя величия с притворным удовольствием. Предчувствия ее сбылись наконец, и когда чрез несколько лет гроза разразилась над домом Меншиковых, в рыданьях о муже и детях выплакав очи, вскоре за зрением утратила в ссылке и жизнь.

Княгиня, коей нетрудно было отгадать причину тоски новой фрейлины, обходилась с нею весьма ласково. Но сия снисходительность не возвратила Варваре веселости; тайная грусть грызла сердце. Любовь к Андрею, освященная религией, казалась ей долгом; измена жениху, и жениху, терпящему напасть,— смертным грехом. Посему-то покорная во всем воле родителя, в этом одном дерзнула ему воспротивиться. Частые посещения Белозубова, в коем видела гонителя Андрюши, внушили ей подозрения, кои утвердились при поездке в Петербург и вступлении в дом князев. Лука Матвеевич не смел говорить дочери ясно о новом женихе, но позволил Белозубову искать ее благоволения, и сей, мужаясь заступлением своего милостивца, уже не скрывал притязаний на ее руку. К тому же об Андрее — совершенное неведение или слухи более горькие, чем самая неизвестность. Наконец, даже Ивановна, дотоле поверенная в печали, переменила речь: «Не промаяться же тебе, мое дитятко, весь век сиротой. Андрей Александрыч, нечего сказать, пригож, да если он и впрямь не дворянин, без рода, без дома: ни за ним, ни перед ним? Не

таскаться же тебе с ним по миру. И Степан Михайлыч, чем не жених? Еще не стар, в чести у людей, а уж как тебя любит! Так и глядит тебе в глаза. Свыкнешься, влюбишься, моя родная».

Так Варвара, предоставленная самой себе, одному богу открывала свою горесть, мешая в молитвах со своим именем имя Андрея.

Одним утром, когда Варвара сидела за пяльцами в кабинете у княгини Марии Андреевны, явился паж с докладом о приезде царицы. Тотчас вслед за ним взошла и государыня, так что застала еще фрейлину в комнате. По ее удалении, «я никогда еще не встречала у вас этой девицы»,— сказала Екатерина, после того как княгиня облобызала ей руку.

— Она с небольшим неделя, как ко мне поступила, ваше царское величество.

— Кто она такая?

— Дочь соседа князева по имению; тиха, скромна, мастерица шить, и я ею очень довольна.

— Ее наружность меня поразила. Какое у ней бледное, жалкое лицо!

— Она действительно достойна сожаления, государыня! Ее, бедненькую, отторгнули от жениха и, кажется, хотят против воли выдать за другого.

— И вы, княгиня, ужли не употребите своего влияния, чтоб тому воспротивиться?

— Ваше величество,— грустно сказала княгиня, потупив взор,— есть вещи, в которых Мария Меншикова не имеет голоса.

— Признаюсь,— продолжала царица,— ее наружность возбудила во мне большое участие.

— Государыня! Одно ваше слово может возвратить ей покой и радость.

— Пришлите ее завтра ко мне,— молвила Екатерина.

Глава XII

Рано испытанная превратностями рока, Екатерина, едва умея грамоте, из дома сельского ливонского пастора перешла на престол и явилась на нем достойною супругою русского царя. Величественная осанка, высокий рост, гордая поступь, взор живой,

пламенный, всегда сохранявший должную важность, уже означали монархиню сильного народа. Но блестящая наружность исчезала при великих качествах души. С добросердечием неистощимым, с ангельскою кротостию Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Ее одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей и направлять ко всему великому, возвышенному. Сим неизменным поведением Екатерина приобрела над Петром влияние, которое удержала почти до самой его кончины. Властитель России, изумлявший мир железною волей и нравом непреклонным, становился агнцем перед слабой женщиной. И никогда не употребляла она во зло своего влияния! Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей. В приемных ее комнат непрестанно толпились матери, жены, дочери опальных: прибегали к заступнице несчастных, к матушке Екатерине Алексеевне. Она не всегда могла исполнить их просьбы, но всех отпускала с милостивым словом, иногда со слезою участия, проливавшего утешение в души страдалиц.

С 1711 г. Екатерина редко разлучалась с супругом. Весь турецкий поход проводила дни на коне, в мужском платье, впереди войск, ночь же под шатром или не раздеваясь на голой земле, под открытым небом; в сражениях находилась обок государя. В минуты тягостные, когда Петр, усталый от борьбы с препятствиями, какие отовсюду предстояли его великим предначертаниям, искал в ее беседе отдыха, увещеваниями, поощрениями, упреком подкрепляла изнемогавшего, пробуждала мгновенно засыпавшую в нем твердость. Екатерина на берегах Прута спасла русское войско, сохранила Петра для России. Целя душу супруга, целила и тело. Известно, государь Петр I от отравы, данной ему в молодости, подвержен был припадкам исступления. В беседах, на пирах волосы его вдруг становились дыбом, глаза наливались кровью, изменившееся лицо подергивало в разные стороны, пена у рта, скрежет зубов, крики, подобные звериному реву, наводившие ужас на самых бесстраш-

ных. В эти грозные минуты, когда никто не дерзал предстать перед больным, Екатерина, подошедши, склоняла его голову к себе на грудь и усыпляла исступленного, тихо водя по ней рукою. Сей род магнетического сна, длившегося не более четверти часа, возвращал государю здоровье и веселость. Но всего в ней удивительнее ничем нерушимый, ни в каких обстоятельствах не падавший дух. Однажды, незадолго до кончины, Петр, сильно разгневанный, влечет ее к окну и, ударив в окончину, в то время как окно с треском рухнуло, говорит, указывая на разбитые стекла: «Видишь ли,— это презренное вещество, облагороженное искусством человека? Оно потускло, и мне стоило только поднять руку для его сокрушения. Я, правда, окровавил руку, но его обратил в ничтожество». Сие мгновение было решительным. Екатерина знала, что стоит на краю погибели, и с ясным челом, с обычною на устах улыбкою ответствует: «Не гораздо ли достойнее вашего величества пощадить слабого и не являть могущества перед ничтожным?» Обезоруженный сим спокойствием, Петр обтер слезы и, обняв ее, сказал: «Бог тебе, Катя, судья, а не я. Тяжко мне на сердце, но... забудем прошлое».

Впрочем, кроме сего неприятного случая, нарушившего на время спокойствие высоких супругов в 1724 г., жизнь их представляла умилительную картину согласия, и Петр на престоле вкусил сладость счастья семейственного, редкий удел государей. Разведшись в молодых летах с Евдокией, искал развлечения от дел правительственных в обращении с женщинами. Случай свел его с Екатериной; ее качества привязали непостоянного. Это была первая, единственная его любовь. Тут он впервые стал скрываться перед приближенными. Екатерина жила в Москве, в небольшом домике подле Лефортова дворца. С наступлением вечера государь, улучив время, когда полагал, что никого не встретит, тайком выходил от себя и на другой день, еще с рассветом, возвращался во дворец, дабы являвшиеся по делам не подозревали его отсутствия. Потом, спустя уже долгое время, принимал у Екатерины немногих близких особ: Меншикова, Шереметева, Шафирова. Когда сия взаимная привязанность освятилась узами брака и плоды оного утешили счастливых родителей, внутренность государева

семейства являла патриархальную простоту. В 1714 г. Петр, ограничив удельные имения и распределив оные между членами царского дома, назначил для собственных издержек доходы с 900 душ в Новогородской губернии, что, судя по тогдашней ценности имений, едва составляло 9000 рублей. Екатерина вела им расход, и с бережливостью, какую редко встретить в частном быту. Окорока, солонина, пиво закуплены в свое время, дрова на отопку дворца в зиму запасены летом, везде порядок, во всем самая строгая отчетливость. В разговоре, в письмах к супруге Петр не иначе называл ее, как друг мой Катя! Сии письма, полные чувства, дышат любовью, которая не ослаблялась годами, а напротив, с каждым днем становилась более пламенною, более романтическою. Некоторые начинаются или оканчиваются словами: Катя! мне грустно. Тебя нет со мною!

Государь всегда почти кушал в семействе. В четыре часа утра, когда уходил, Екатерина с великими княжнами Анной и Елисаветой отправлялись в Царицын сад, потом известный под именем Малого Летнего и ныне принадлежащий к Александровскому дворцу. В сем саду был деревянный павильон, разделенный сквозными сенями на две половины, каждая в две комнаты. На половине великих княжен одна комната была их учебной. Сюда приходили давать им уроки: Феофан — закона божия и русской словесности, Остерман — языков немецкого и итальянского, истории и географии; для французского языка и приятных искусств выписаны были мадам и учители из Парижа. Смежная с учебною комната заключала в себе птичник великой княжны Анны Петровны: канареек, попугаев, всех птиц стран южных, живых или в чучелах.

Вторую половину павильона занимала сама государыня. В то время вышивание было единственным занятием женщин высшего и среднего сословий. Мужья носили кафтаны, шитые шелками, серебром, золотом; лавок же модных еще не было, все приготовлялось дома. Посему во дворце, во всяком дворянском доме приемные, гостиные, спальни, девичьи уставлены были пяльцами; за ними просиживали по целым дням и царица, и самая бедная дворянка, и старуха, и носившая на заплечьях крылышки. За пяльцами в широкой соломенной шляпке с заброшенным на

тулью зеленым флером, в белой кисейной кофточке и широкой юбке зеленого атласа застала Екатерину представшая ее очам Варвара.

— Здравствуй, милая! — молвила государыня, стараясь ласковой улыбкой ободрить робкую.— На лице твоем написано страдание, и я хотела тебя видеть, чтоб узнать, не могу ли тебе помочь?

— Велика милость вашего царского величества,— отвечала Варвара, кланяясь в пояс.

— Тебя хотят выдать за человека, как я слышала, достойного. Для чего ты не хочешь идти за него?

— Матушка-государыня! Я перед богом была уже обручена; могу ли без греха изменить жениху?

— Суженый твой в милости у князя Александра Даниловича; можешь надеяться на чины, почести.

— Сердцу не прикажешь, ваше царское величество! Будь он знатен и в чести, все-таки он мне не милее моего Андрюши!

— Но если выходит, что твой Андрюша, что ли? как ты его зовешь, не из дворян?

— Он мне жених.

— Слова нет! Но нельзя же быть тебе его женой. Ты сама не захочешь поступить противу воли родительской.

— Матушка-государыня! Знаю, что мне не бывать за Андреем, и несу безропотно свою участь. Молю об одном,— промолвила Варвара, бросившись на колени и залившись слезами,— не разлучайте меня с моим горем, оставьте при мне мое вдовство!

— Встань, милая,— молвила Екатерина, приподнимая лежавшую у ее ног.— Успокойся! Оботри слезы! Мне душевно тебя жаль! Я постараюсь сделать, что могу, хотя не ручаюсь за успех. Впрочем, господь милостив, молись ему! Он тебя не оставит.

Глава XIII

Кто из вас, петербургские мои читательницы, чтоб людей посмотреть и себя показать, с наступлением весны не кружил около полудни по тенистым дорожка Летнего сада? Кто из вас, провинциальные мои читатели, не знает Летнего сада по слуху? Но ныне Летний сад не то, что бывал в старину. На месте насто-

ящей, великолепной решетки на Неву возвышались три деревянных галереи, к которым приставали приезжавшие в сад, а правом сим пользовались люди всех званий, порядочно одетые. Мостов на Неве в царствование Петра не существовало. Хозяевам домов повелено было, по достатку, иметь известное число лодок. Привязав суда к кольям, коими усажен был берег, посетители сада пробирались по деревянному намосту в галереи, где в дни гуляний встречали их рюмка водки, подносимая с поклоном государыней или великими княжнами, как хозяйками сада, и стол с закусками. Из галерей были выходы в аллеи, прорезывающие сад в длину. На площадках средней, главной аллеи, и в то время украшенной теми же статуями и бюстами, что ныне, с разницею, что они тогда еще сохраняли в целости носы, пальцы у рук, ног и пр., шумели фонтаны. Площадки сии, по званиям лиц, кои собирались на них в праздники, назывались дамской, архиерейской и шхиперской; боковые аллеи уставлены были изображениями окрашенной жести из Эзоповых и Федровых басен: ворон, заслушавшись лису, выпускал изо рта сыр; волк пил из одного ручья с ягненком; цапля вынимала кость из пасти волчьей; а под изображениями, в науку добрым людям, заключались в четырех или шести стихах содержание и нравоучение басни. Пруд Летнего сада отдан был во владение царского карлы, который разъезжал по нему на раззолоченном челноке в четыре фута длиной. Посреди пруда находился островок, занятый беседкой, в коей за столом умещалось шесть человек. О воскресных днях, когда в саду собрания бывали, отправлялись туда самые отважные весельчаки по плавучему мосту, который вслед за тем снимался. Когда, по осушении покрывавших стол бутылок, в беседке становилось тесно, пирующие — заметьте, по большей части люди высокого сана, первые государственные чиновники — в забаву себе и взиравшей на то публике выталкивали один другого в воду. Вправо от пруда находился грот, выложенный разного рода поростами, мхами и раковинами, с подробным описанием, где и как они добываются. Сей-то сад служил Петру I местом прогулок, забав и отдыха; здесь, отложив величие царского сана, отцом среди многолюдного семейства, гражданином

среди сограждан, собеседником между пирующих, государь вместе с ликовавшим народом праздновал победы сынов России, им пересозданной, им вознесенной.

Между высокими качествами Петра особенно замечательна необычная деятельность: ум его не ведал отдыха. Проникнутый святостию великой своей обязанности, царь днем и ночью, в трудах и забавах, в дороге и на месте, в беседах, на пирах изобретал, сочинял, обдумывал способы к возвеличению России. Когда ложился, дежурные денщики клали на стол у изголовья аспидную доску с грифелем; когда выезжал, брали с собой десть бумаги и чернильницу; в токарной, в кабинете редкостей, где ежедневно проводил по нескольку часов, приготовлены были очиненные перья и бумага; даже не раз в прогулки по Петербургу останавливал прохожих и писал, оперщись на их спины. Так дорожил он минутами вдохновения, гениальными мыслями своего творческого ума. Неподалеку от Летнего дворца, под дубом, который посадил сам государь, находился стол с аспидною доской и чернильницей, на сей же предмет вделанными в крышке, и ящиком внутри с бумагой; подле кресла и особенный часовой для отклонения нескромного любопытства. Одним утром, недолго спустя по издании указа об учреждении двенадцати коллегий, Петр, уходивший из Сената в одиннадцать часов и проводивший дообеденное время в прогулке по саду, сидя за столом, излагал на бумагу предначертания об образовании областных судов. Когда кончил, восторженный мыслью о пользе сего нового постановления, полный благоговения ко всевышнему за видимую благодать его предприятиям, положил перо и, вознесши к небу признательные очи, громким голосом произнес следующую молитву:

«Благодарю тя, Господи, что сподобил меня пожать плоды моих усилий! Сердцеведец! Ты зрел чистоту моих помыслов и благословил мои начинания. Свет наук начинает озарять тобою вверенное мне царство. Трудолюбие и довольство проявляются в хижине земледельца. Суд и расправа заменяют произвол. Боже, сыплющий щедрою рукою блага по земли, осени мя твоею мудростию на предлежащем мне пути, укрепи мышцы мои на труд, мне предназначенный, вознеси, возвеличь Россию! Да спеет народ

мой на стезе просвещения, во славу пресвятого имени твоего! Да восторжествует истина, воссядет правда на суде!..»

— Молвишь о правде, а сам не творишь правды,— раздалось в ушах государя [1].

Гром, разразившийся над головою, не столько изумил бы Петра. Озирается, никого не видит, только часовой стоит неподвижно у ружья. Не веря своим ушам, спрашивает: «Что такое?»

— Молвишь о правде, а сам правды не творишь,— повторил часовой.

Изумление государя возросло еще более: «В своем ли ты уме? Помыслил ли о своей голове? На часах под ружьем, а говоришь дерзости неслыханные, и кому — мне, своему государю?»

— Пугай тех, кому есть чего бояться! — отвечал ратник.— Ты отнял у меня достояние, честь, имя, все, что привлекает к жизни... Что мне после того твои угрозы?

— Кто ты таков? Как тебя зовут? — спросил царь, весь пылая гневом.

— Звали меня Андрей Горбунов, ныне я Андрей Безыменный.

— Горбунов? Знаю. Твое дело недавно решено в Сенате. В чем же ты винишь меня? Осудил тебя не я, а закон.

— Закон,— с горькою улыбкою сказал Безыменный,— узда для слабых, а для сильных поощрение к беззаконию! Держись ты закона, приговор мой не был бы подписан.

— Послушай, Горбунов! — молвил царь после некоторого молчания,— мне жаль тебя! Ты малый не глупый и, как я слышал, обучен наукам, а мне таких людей надобно. Доселе никто не слыхал твоих дерзостей, кроме меня. Верю, что тебе горько, но не потерплю, чтоб ты продолжал поносить меня и господ Сенат, облеченных моею доверенностью. Говорю тебе, я рассматривал твое дело, и оно решено справедливо. По закону ты уже заслужил смертную казнь, но перестань презорствовать, а я забуду слышанное.

— Велика милость твоя, государь, но я был бы ее недостоин, если б тебя послушался. Мне перестать жаловаться? Отказаться от собственной крови, от-

---

[1] Обстоятельство о молитве и слова, вложенные в уста ратника, не вымышлены; любопытные могут в том удостовериться в «Анекдотах о Петре I» Голикова.

речься от рода, опозорить предков, согласившись, чтоб их потомок прослыл холопским сыном? Робкая голубица боронит гнездо от насилия и бьет крыльями, которые господь дал ей для бегания от людей, а ты хочешь, чтоб молчал человек? Нет, государь! Урежь мне язык, поставь на дыбу, мучь, рви, терзай, а я до последнего издыхания не перестану твердить, что, осудив меня, ты сотворил неправду.

— Но чем же ты докажешь истину своих слов? — вскричал вспыхнувший снова Петр.

— Доказать не могу, потому что враг сильный отнял у меня все способы, но я указал тебе, государь, путь к истине, а ты им пренебрег, возвратил мне челобитную с надписью, что дело решено.

— Какую челобитную? Я ни о какой челобитной не ведаю.

— Вот она! — ответствовал Безыменный, вынув ее из бокового кармана.

Петр внимательно прочел поданную бумагу раз, другой и, обратившись к часовому, молвил: «Есть тут обстоятельства, которых я не знал, но все одни догадки, ничего положительного. Ты винишь государственного сановника, мужа мне близкого, в злодейском умысле, и, не подтвердись твое обвинение, подвергаешься за это одно смертной казни. Впрочем, я еще раз рассмотрю дело с господами Сенатом, и если твой извет несправедлив, не прогневайся! Я тебя предостерег. Миша! — закричал он карле, который в это время находился у своего пруда, — пошли мне караульного офицера».

— Г. поручик, — продолжал государь, когда офицер предстал перед него, — этого часового сменить и содержать на гауптвахте до моего повеления! А завтра, при суточном рапорте, напомните мне о деле Горбунова и накажите то же самое офицеру, которому сдадите караул.

При сих словах Петр отправился во дворец, а нашего Андрея отвели под стражу.

Глава XIV

— Орлов! — молвил государь на другой день одевавшему его денщику. — После моего ухода отправься к князю Александру Даниловичу. Скажи ему от меня, чтоб он не ездил нынче в Сенат, а занялся делами

в Адмиралтейств-коллегии. Сам же я туда сегодня не буду.— Засим Петр, сев на ялик, пустился грести к Смольному двору. Пробыв несколько времени в своем анатомическом кабинете, на обратном пути въехал в Фонтанку для обозрения воздвигавшихся на берегах ее зданий, осмотрел строившиеся в Новой Голландии суда, посетил крепостные работы и, наконец, пристал в виду Царской австерии, почти у нынешнего Троицкого моста. Подкрепив себя, по обычаю, рюмкой водки и куском ржаного хлеба с солью, отправился в канцелярию Сената.

Тогдашняя канцелярия Сената, каменное здание в два жилья, находилась между домиком государевым, что на Петербургской стороне, и собором св. Троицы. Нижнее жилье занимали служители и мелкие чиновники, в верхнем находились архив, арестантская, куда приводили преступников до выслушания приговора, три небольших покоя для канцелярской и, наконец, судейская. Тут голые стены, всего убранства — портрет государев во весь рост, в раме простого дерева, под стеклом статья из высочайшего указа, что сенаторам, в силу данной присяги, «творить суд и расправу честно, без лицеприятия, совестью и правдой», наконец, длинный, под красным сукном стол, за коим сидели сотрудники Петра в деле правления. На первом месте, в шитом французском кафтане и длинном напудренном парике, старший сенатор, восьмидесятилетний граф И. С. Пушкин, живая летопись трех царств, сороковой год бессменный в Верховной Государственной думе; против, в чекмене зеленого сукна, князь Ив. Фед. Ромодановский, наследовавший от отца титул кесаря, прямодушие, суровость и любовь к старине; подле них в генерал-кригс-комиссарском мундире, уже тогда маститый старец, князь Як. Фед. Долгорукий, прямой слуга и советник царский, коего имя соделалось у потомков знамением бесстрашия и правоты, и вице-канцлер барон П. П. Шафиров, обширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел обуздать пылкий дух; далее появлялись граф Б. П. Шереметев и граф Ф. М. Апраксин, сподвижники царя на поле ратном и по миновании войны служившие ему советом, граф П. А. Толстой, славный посольством в Константинополь, умный и честолюбивый князь Д. М. Голицын и, наконец, обер-прокурор П. Я. Ягужинский, которому Петр дал почетное имя друга правды.

Едва пробило девять часов, вошел государь и, чтоб не развлечь внимания присутствовавших, тихо вдоль стены пробравшись к президентским креслам, занялся рассматриванием лежавшего перед ним протокола. Когда прочтенное обер-секретарем дело было выслушано и по произнесении приговора готовились перейти к другому: «Господа Сенат! — сказал Петр.— Недели за три перед сем, по указу нашему, основываясь на извете подьячего Терентьева, при коем он представил показание, учиненное перед смертию мещанкой Палагеей Тихоновой тихвинскому попу отцу Петру, в присутствии его, подьячего Терентьева, и посадского человека Ефима Фролова, вы решили и приговорили недоросля, называвшего себя Андреем Горбуновым, признать сыном ее, мещанки Тихоновой, а оставшееся после мнимого дяди его, окольничего Ивана Горбунова-Бердыша, имение, село Воздвиженское с деревнями, отобрать у него, как вымороченное, в нашу государеву казну. Ныне Андрей Горбунов бьет мне челом, что поверенный князя Меншикова, Белозубов, за два дня до подания извета предлагал ему продать означенное имение, на каковую продажу Горбунов не изъявил согласия, и что в извете участвует посадский человек Ефим Фролов, который-де клеврет Белозубова, из чего он, Горбунов, и выводит следствие о подлоге извета. Я рассматривал внимательно все обстоятельства дела и, признаюсь, нахожусь в большом затруднении. Отца Петра, перед коим Тихонова учинила сознание, нет в живых; сама она скончалась вскоре после показания; Николай Федоров, дядька Андрея Горбунова, на которого сей ссылался в челобитной к воеводе, убит на пути».

Вдруг прервал слова государевы необыкновенный стук и визг в канцелярской: «Пустите, пустите, я хочу их видеть; сам господь прислал меня к ним, я должна их видеть». Распахнулись двери судейской: предстала пред очи изумленных сенаторов старуха, бледная, как привидение, покрытая рубищем и морщинами, едва влачившая ноги, опираясь на толстого мужчину, больного лицом, по-видимому, едва оправившегося от недуга. «Что это за люди?» — вскричал Петр в негодовании на дерзость. Старуха с усилием произнесла — «мещанка Палагея Тихонова» и повалилась на землю. Подбежавшие подняли безжизненный труп.

Еще при жизни Бердыша, за два года перед сим, Терентьич продал себя его противникам. Ведая желание князя Александра Даниловича иметь в своем владении село Воздвиженское с деревнями и убежденный, что Горбуновы не соизволят на продажу имения, внушил Белозубову мысль о подлоге и предложил употребить для сего мамку Андрея. Белозубов подослал к Палагее Тихоновой клеврета своего Ефима Фролова, который под именем посадского вкрался к ней в дом и, женившись на дочери, обещанием большой награды и возвышением дочери в дворянки преклонил тещу к лжесвидетельству. Тихонова, притворившись больной, в присутствии Терентьича и Ефима Фролова показала священнику церкви Спасова Преображенья, отцу Петру, что она мать Андрею. Но цель заговора еще не была достигнута: надлежало скрыть существование дочери и отклонить последствия от возможного раскаяния матери. Для сего Фролов, заранее приняв меры к спасению имущества, поджег в одну ночь ее дом и перевез старуху с женой за тридцать верст от Тихвина, в захолустье, где мы их видели. Тихонова, грызомая совестью, приписывая самый пожар каре господней, впала в болезнь, лишилась употребления рук, ног, языка, но сохранила память, слух и сознание в преступлении. Между тем Бердыш скончался. Белозубов, после тщетных усилий склонить Андрея обещаниями и угрозой к продаже имения, решил пустить в ход дело. Но, по сродному злодеям беспокойству, опасаясь, что, не взирая на все предосторожности, Андрей с помощью Николая Федорова, знавшего семейственные обстоятельства, успеет доискаться истины, поручил Фролову, подобрав двух негодяев, напасть на них в тихвинском лесу. Тихонова слышала, как Терентьич и ее зять, которого не беспокоило присутствие расслабленной, переговаривались о погибели Андрея, и когда он прибыл в следующую ночь в избу, влекомая каким-то любопытством, которого сама себе объяснить не умела, сделала усилие и, к удивлению своему, впервые почувствовала возможность встать и двигать языком. Сходство Андрея с матерью, коей образ она увидела в юноше, и немногие произнесенные им слова открыли, что то был ее вскормленник. Тогда решилась во что бы то ни стало обнаружить свое преступление. «Господь дал мне почувствовать раскаяние, дает силы явить его и на деле». С сей верой, воспользовав-

шись несколькодневным отсутствием зятя, вышла из дома и, слышав, что дело Горбунова производится в Петербурге, потянулась пешком в столицу. Прибыв туда, встретила на постоялом дворе больного Николая Федорова, которого подняли замертво ехавшие в Петербург с припасами крестьяне и по его желанию повезли с собою. Николай Федоров, зная, что Горбунов перенес дело в Сенат, привел туда Тихонову.

Глава XV

Государь Петр I в предположении пересоздать Россию, связав нас с народами Западной Европы просвещением, торговлей, мыслил, что не вполне достигнет цели, если совершенно не изменит существовавших между двумя полами отношений. До царя Алексея женщины вели у нас затворническую жизнь. При нем, и особенно в правление Софии, оне получили более свободы, но сия свобода была еще весьма ограничена. Стоило девице сказать несколько слов чужому мужчине, не родственнику, чтоб навсегда потерять доброе имя. Решительный переворот в положении женщин последовал с воцарением Петра. Узрев в посещения заграничных купцов в Москве, какую прелесть уважение к прекрасному полу разливает на всю жизнь, как много оно способствует к очищению нравов, царь примером, увещаниями, угрозой старался доставить женщинам право гражданства в наших обществах. Наконец, для большего развития светской жизни и вместе для сближения сословий, с переездом двора в Петербург, когда низложение врага сильного позволило ему вполне предаться занятиям мира, особенным указом (1714), постановил еженедельные собрания мужчин и женщин, известные под именем ассамблей, и для поддержания сего нововведения сам принимал в них деятельное участие. Двадцати четырем государственным сановникам предписано было иметь у себя раз в зиму ассамблею, то есть осветить и отопить по крайней мере три комнаты, накормить и напоить гостей, иметь музыку для танцев и отдельный покой для слуг. Ассамблеи начинались с наступлением осени, оканчивались великим постом. Посещали их дворяне обоего пола по указу, купцы и ремесленники по произволу, под одним условием — быть порядочно одетыми; духовенство

появлялось в ассамблеях в качестве зрителей, с правом не участвовать в забавах.

В один из первых дней сентября возвещено было жителям Петербурга барабанным боем и прибитыми к фонарным столбам объявлениями, что будет ассамблея у генерал-фельдмаршала князя Меншикова, которого собраниями начинались и оканчивались зимние увеселения столицы. Безыменный, освобожденный из-под ареста, получил от государя, вместе с правом восприять снова имя Горбунова, повеление явиться того вечера у князя. В шесть часов сел на ялик с Желтовым, оба без шпаг (для предупреждения дурных последствий от прилежного осушения бутылок строго было запрещено являться в ассамблеи при шпагах), и пустился ко дворцу Петрова любимца. Великолепно освещенная пристань, горевшие у крыльца смоляные бочки и яркие огни в окнах уже издали возвещали, что у князя собрание. Пажи у пристани, камер-юнкеры у крыльца, скороходы на ступеньках лестницы, камергеры наверху, в синих ливреях, улитых серебром, стояли для встречи царицы. У дверей находились два гайдука, великаны вершков в тринадцать, которым приказано было принимать всех и никого не выпускать прежде девяти часов. В приемной приехавшие друзья поспешили объявить имена свои полицейскому офицеру для избежания пени, коей подвергались пропускавшие ассамблею, если не оправдывали отсутствия достаточными причинами.

При входе в гостиные комнаты изумила Горбунова пышность, какой еще не встречал. Государь и весь двор жили чрезвычайно просто. Дворяне русские щеголяли столом, винами, лошадьми, псами. Князь же Александр Данилович стоял на том, чтоб во всем образе жизни сравняться с владетельными особами. Восемь больших покоев открыты были для посетителей. Везде штучные полы, гобеленовые или штофные обои, хрустальные люстры, бронза, мрамор, фарфор, венецианские зеркала, мебель, выписная из-за границы. Комнаты были набиты людьми, но ни князь, ни княгиня не появлялись. Хозяева не заботились о гостях, гости о хозяевах. И те и другие заняты были своим делом. Хозяин угощал, потому что ему было повелено, и расточал великолепие в угодность государю и собственному тщеславию. Гости же, которым также приказано было веселиться, исполняли приказ с

верноподданническим усердием и уж точно веселились от души. Основной закон ассамблеи — совершенная непринужденность. У каждой двери повешено было напоминание посетителям не чиниться, не беспокоить себя ни для какого лица, под опасением наказания осушить огромный кубок Большого Орла, который тут же под крышкой находился на мраморном пьедестале.

Горбунов изъявил желание обойти комнаты. Рука об руку два друга вошли в покой, назначенный для разговоров. Тут заметили Стефана Яворского, председателя Синода, первую духовную особу в России, являвшего в частной жизни строгое воздержание инока, фельдмаршалов Шереметева и Голицына, равно высоких доблестями воинскими и гражданскими, кои одни в этот пьющий век, когда не только у нас, но и при всех европейских дворах излишество в вине считалось если не добродетелью, по крайней мере не пороком, когда, по свидетельству современников,[1] в Берлине, Лондоне, Париже, Варшаве королевские обеды не раз кончались вытаскиванием собеседников из-под столов, одни, говорю, из обыкновенных посетителей бесед имели право отказываться от участия в попойках и освобождены были от наказания Большого Орла, которому подвергались сам царь, царица, все мужчины и замужние женщины, с тою разницею, что женский кубок был втрое менее против мужского: так справедливо, что истинное достоинство везде и всегда приобретает уважение! Далее являлись братья Долгорукие, князь Яков и Григорий, изумлявший парижан любезностью и образованием, Толстой и Шафиров, славные переговорами с Оттоманскою Портою, и, наконец, соперник последнего, засыпанный табаком, Анд. Ив. Остерман, обессмертивший себя договорами Нейштатским и Белградским, тогда еще мелкий чиновник, но уже уваженный за тонкий ум и многостороннее образование. Все, за исключением последнего, были предметом ненависти для хозяина, который ни в чем не терпел соперников, но ненависти тайной, потому что явная не смела обнаружиться при Петре. Перед ними стояли группами молодые люди, с благоговением слушая, с жадностью ловя из уст сих мужей доблестных уроки мудрости,

---

[1] См. журнал Берхгольца, Mémoires de la P-sse Sopphie de Prusse, Mémoires sur la Régence и пр.

которой живые примеры видели в их жизни,— обстоятельство, достойное замечания при малообразованности тогдашнего поколения.

Перешед в следующую комнату, друзья очутились будто в другом мире; шум, говор, крик, чоканье стаканов, где обнимаются, целуются, где спорят и мирятся за кубками. Совершенное равенство. Иные, кои до вступления в залы ассамблеи не смели взглянуть на соседей, тут словно свои; в рясах, в мундирах, в кафтанах; без различия чинов, званий, лет, без порядка, кто сидя выше, кто ниже, как кровные, как братья, с румяными от вина и веселости лицами — все пьют из одной круговой чаши. Полная свобода! Пир горой! Вино льется! Одно преступление — отставать от соседей. Тут Желтов указал Горбунову товарищей Петра в совете и веселии: знаменитого архиепископа новогородского Феофана, красноречивого оратора, глубокомысленного политика, историка и столь же усердного собеседника, затем Ягужинского, равно бесстрашного в Сенате и за чашей, далее князя-кесаря Ромодановского, в одном изменявшего старине, что предпочитал медам заморские вина, адмирала Апраксина, который со слезами радости осушал кубки, Ив. Ив. Бутурлина, получившего титул князя-папы за подвиги на пирах, и разгульных членов его общества.

Разительную противоположность представляла третья комната. На столах вместо вина — пиво и пунш. Осененные облаком, с глиняными трубками в зубах собеседники также пьют, но молча и отдыхая только, чтоб всасывать и выпускать из себя табачный дым. «Здесь, брат! — сказал Желтов Горбунову,— муха пролетит, услышишь, а если кто и обмолвится, то верно не по-нашему». Действительно, пировавшие тут были исключительно иностранцы: офицеры, служившие в нашей армии и флоте, шхипера, оставшиеся на зиму в Петербурге, иноземные купцы. Андрей заметил меж ними герцога Голштейн-Готторского, перешептывавшегося с вице-адмиралом Крюйсом и не уступавшего в беседах ни одному из самых отчаянных наших весельчаков, так что, по словам его камер-юнкера Берхгольца, никогда не выходил из беседы своими ногами.

Обозрев четвертую комнату, где в разных концах посетители то стучали шашками, то двигали безмолвно шахматами, и заметив тут особенный стол и

поставленные подле с раззолоченным на спинке орлом кресла для государя, обыкновенно игравшего в шахматы с графиней Пушкиной, Горбунов перешел на половину дамскую. Вдоль по стене сидели длинным рядом матушки, напудренные, в кирасах и широких робронах, глядя на дочек и повторяя про себя последние два стиха молитвы господней: и не введи их во искушение, но избави от лукавого; впереди дочки стояли строем, расчесанные, разряженные, перетянутые; против — молодые мужчины, также в строю. О разговорах с женщинами, этом обмене ума и любезности, который ныне составляет главное наслаждение в обращении с прекрасным полом, в то время не было и помину. Да и говорить было не о чем. «Грамота не женское дело»,— твердили старики. Иные девицы не только не читали, да и совсем не видали книг, разве в церкви, когда дьякон выносил из алтаря евангелие. Пяльцы и одни пяльцы были их занятием, мастерство шить — лучшей похвалой. Притом умы находились тогда в каком-то ребячестве, которому ныне с трудом поверят. Герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, царевна Екатерина Ивановна, сестра императрицы Анны, жившая в России после развода с мужем, женщина лет тридцати, нрава веселого, в пребывание двора в Москве в 1722 г. принимала у себя, в селе Измайлове, раз в неделю дам и девиц. Чем же, думаете, они весь вечер занимались? Ни дать, ни взять, играли с кошками. И это чрезвычайно их забавляло. «Не поверишь, мой свет,— писала царевна к графине Авд. Ив. Чернышевой,— как нам вчерась было весело; кошки смешили нас до упаду». А потому и в ассамблеях, до начатия танцев, только и дело было что глазели: мужчины глядели во все глаза на девиц, девицы украдкой на мужчин, и если встречались взорами, опускали, краснея, очи или закрывали платками лицо. Горбунов и Желтов присоединились к толпе зрителей на сии живые картины, как вдруг внезапный блеск привлек их к окну. Великолепное представилось зрелище. Нева горела от разноцветных огней, коими освещены были буера, яхты, ялики, в стройном порядке двигавшиеся от противоположного берега к пристани: подъезжал царский двор. Вскоре раздались трубные звуки, и вошел в покои Петр, ведя под руку Екатерину, а за ними блистательный, многолюдный послед мужчин и женщин. Горбунов с удивлением взирал на величествен-

ную красоту русской царицы, ее высокий рост, казавшийся еще выше от длинных темно-русых волос, зачесанных, по тогдашнему обычаю, вверх, ее широкое чело, большие темно-голубые глаза, лицо чистое, покрытое румянцем стран полуденных, стройный стан и гордую поступь. Подле находились великие княжны: Елисавета, незадолго покинувшая крылышки,[1] поразила его с первого взгляда: ее мягкие, как шелк, спускавшиеся до плеч локоны, большие голубые глаза, дышавшие негой, ослепительная белизна шеи и рук, полная грудь — останавливали самого равнодушного зрителя. Наружность Анны не имела ничего блестящего, отличного; но в чертах, во взорах, во всех движениях сияла душа чистая, нежная, исполненная любви ко всему окружающему. Желтов указал между прочим другу княжен Марию Александровну Меншикову и Катерину Алексеевну Долгорукую, кои потом обе, жертвы отцовского властолюбия, отторженные от женихов, чтоб одна за другой быть обрученными одному императору, кончили дни невестами-вдовами в заточении, графиню Нат. Бор. Шереметеву, последовавшую за женихом в ледяные дебри Сибири, гр. Матвееву, тогда невесту А. И. Румянцева, отца знаменитого фельдмаршала, и славных в то время любезностью графинь Головкиных и княжну Черкасскую.

Появление великих княжен оживило немую картину, какую являли покои, занимаемые прекрасным полом. Их снисходительное, милостивое обращение со всеми, без различия званий, и свобода с мужчинами служили образцом для фрейлин. Сии последние имели уже своих угодников: в числе роившихся кругом молодых людей проявлялись известные заслугами и саном в последующее время: Ив. Ив. Неплюев, славный посольством в Турцию и особенно управлением Оренбургского края, С. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков и, тогда из первых красавцев, А. Б. Бутурлин, предводительствовавшие в Семилетнюю войну нашими армиями; наконец, знаменитый Миних, в то время еще генерал-майор, который со всею германскою неловкостью был самым страстным воздыхателем женского пола и сохранил сию слабость до преклонной старости, так что по возвращении из Сиби-

---

[1] Автор позволил себе несколько подвинуть эпоху совершеннолетия в. к. Елисаветы. Государь Петр I обрезал ей крылышки в день торжества о заключении Нейштатского мира, 21 ноября 1721 г.

ри, утружденный летами и недугом, писал еще любовные письма к молодым графиням С. и В., составлявшим украшение двора императрицы Екатерины II. Впрочем, и сия угодливость была совсем не то, что ныне. В движениях самый церемонный этикет, в словах все изысканные выражения осмеянных Мольером умников de l'hôtel Rambouillet, не подходили без многократных поклонов, в танцах едва прикасались к пальцам дамы: какая непринужденность между мужчинами, такое жеманство в обращении с женщинами.

Обыкновенно по прибытии государыни начинались танцы, но тут медлили, потому что не было души собрания, того, по мановению коего оно двигалось. Петр, имевший обычай со вступлением в ассамблею тотчас обойти всех посетителей, прошел прямо в кабинет, повелев следовать за собою хозяину, который, привыкнув читать на лице государевом происходившее в его душе, с трепетом ожидал последствий свидания.

— Данилыч! Долго ли ты будешь играть моим терпением? — строго спросил царь, садясь в кресла. — Что у тебя за дело с Горбуновым?

— Никакого, государь! — ответствовал князь.— Я хотел купить у его дяди имение, но старик отказывался от продажи. По его смерти обратился к наследнику, и этот молокосос, невзирая на мои выгодные условия...

— И потому, — прервал Петр, — что этот молокосос, как ты его зовешь, не хотел удовлетворить твоей прихоти, ты решил злодейским умыслом лишить его собственности?

— Злодейским умыслом? — с изумлением возразил князь.

— Данилыч! — продолжал царь, не замечая восклицания. — Пока ты довольствовался похищением государственной казны, я, памятуя твои заслуги и, может быть, по слабости к тебе, чтоб не срамить тебя, разделывался с тобой по-домашнему и довольствовался наказанием тебя денежной пени, иногда же пополнял ущерб из своих доходов. Но если, издеваясь моим снисхождением, ты употребляешь свое могущество на угнетение беззащитных, если для достижения своих замыслов прибегаешь к подлогам, поджогам, убийству и прикрываешь сии преступные козни предлогом государственного интереса, Данилыч, — промолвил Петр, возвысив голос, — я, божий

слуга, отмстить в гнев творящему злое, поставлен на то, чтоб карать преступление. Слезы невинно терпящих вопят на меня к богу, и тяжко мне придется отвечать за них, если не исполню долга; а ты лучше другого ведаешь, что я умею его выполнить.

— Государь! — отвечал князь.— Ваше величество изволите упоминать о подлоге, зажигательствах, убийстве, о коих я не имею понятия. Поверенный мой, Белозубов, писал ко мне, что бежавший из дома Горбуновых подьячий Терентьев открыл ему, будто наследник Бердыша подкидыш, а следовательно, владеет имением незаконно, и просил моего согласия повести о том дело у новгородского воеводы. Я соизволил, но что тут были злоумышление, козни — того не ведал и не ведаю.

Петр не спускал с князя очей. «Верю словам твоим, еще более лицу,— сказал он наконец,— но не менее стыда тебе иметь клевретов, способных на такие злодеяния. Не погневайся! Я повелел Белозубова, Терентьева и Фролова предать суду. И горе тебе, если окажется, что ты тут сколько-нибудь замешан». Потом, встав, промолвил уходя: «Я приказал Горбунову быть сегодня здесь, хочу, чтоб ты перед ним извинился».

Едва лишь государь воротился в собрание, подали знак к танцам. В ассамблеях перед начатием бала хозяин подносил даме по выбору бронзовый, вызолоченный жезл, наподобие кадуцея, и перчатку в знак державства, как бы давая знать, что в светской жизни господство принадлежит женщинам. Дама, принимающая затем название царицы бала, подзывала любого мужчину, заставляла его стать на колени и, посвятив в маршалы бала, по примеру древних рыцарей — приложением двух пальцев к его щеке, передавала ему с кадуцеем свою власть. Обязанность маршала была исполнять безропотно все, самые прихотливые повеления своей дамы и по ее наставлениям распоряжаться балом. В сей вечер князь Меншиков подошел к Екатерине и на коленях поднес ей знаки власти над собранием. Когда хотел встать, государыня, остановив его, молвила: «Позвольте, князь! Я намерена избрать вас в маршалы и по праву господства моего над вами хочу, чтоб вы исполнили требование, которого, верно, не ожидаете».

— Ваше величество! — возразил князь.— Для сего не нужно мне маршальского жезла. Я раб ваш, и ва-

ша воля была и будет мне всегда непреложным законом.

— К вам недавно поступила фрейлина, не помню, как ее зовут, спросите о том у княгини Марии Андреевны. Я принимаю ее под свое покровительство. Употребите свое влияние, дабы ее не выдавали замуж против желания.

— Государыня! — ответствовал князь. — В угодность вам я сделаю более: и если ваше величество повелите, постараюсь соединить ее с предметом ее любви. Дворянство бывшего ее жениха доказано, и ничто не мешает их союзу.

— Вы мне доставите этим удовольствие, — сказала царица.

Между тем как судьба таким образом без ведома Андрея готовилась вдруг вознаградить его за все напасти, сам он с любопытством смотрел на мелькавших перед ним танцовщиков. Восхитила его прелесть, с какою двигалась в менуэте великая княжна Елисавета, ловкость в контрдансе графинь Головкиных, первых танцовщиц после великой княжны, умилило снисхождение царя, который то участвовал в пляске, то, положив одну ногу на другую, с трубкою в зубах беседовал за одним столом с архиереями о богословии или с иноземными мореходами об опасностях их плавания, то, наконец, вместе с пировавшими пил из круговой чаши. Но всего более поразил его танец, изобретенный Петром, трогательное доказательство благодушия царева и его желания видеть на всех лицах веселость. Это был род нашего гросфатера. При игрании похоронного марша от шестидесяти до ста пар двигались погребальным шествием; вдруг, по движению маршальского жезла, музыка переходит в веселую, дамы покидают своих кавалеров и берут новых между нетанцующими, кавалеры ловят дам или ищут других, от этого кутерьма ужасная, толкотня, беготня, молодые танцовщицы хватают стариков, молодые мужчины тащат старух, те отказываются, отбиваются, шум, крик, все собрание, тысяча или полторы тысячи человек, поднято, словно играют в жмурки. И заметьте, Петр, Екатерина, вся царская фамилия тут же: за ними бегают, гонятся, сами они ловят, безо всякого от других отличия, словно в своем семействе. Наконец, новое движение жезла: все приходит опять в прежний порядок, и те, кои остаются без дам или кавалеров, осушают кубки Большого

или Малого Орла, единственное наказание за все проступки в ассамблее.

Андрей едва оправился от суматохи, в которой волей-неволей принужден был принять участие, увидел перед собою того, кого почитал главным себе врагом. «Господин Горбунов! — молвил князь Александр Данилович. — Мне весьма больно было узнать о неприятном деле, какое навязали вам, и еще более, что при этом употребили во зло мое имя. Уверяю вас честью, что все против вас злоухитрения и козни, на какие дерзнул поверенный мой Белозубов, чинились без моего ведома и воли. Чтоб доказать, что не питаю к вам неприязни, предлагаю вам свою дружбу (тут князь протянул руку) и постараюсь явить ее на деле. Не угодно ли вам перейти со мною в боковую комнату?» Андрей в изумлении последовал за князем. Вдруг раздалось: «Андрюша! мой Андрюша!» — и Варвара очутилась в его объятиях.

ПРИПИСКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ

Два месяца спустя после сей нежданной и счастливой встречи обрученных, в два часа пополудни, несколько дрог четвернями, нагруженных сундуками, заказною в Петербурге мебелью орехового дерева, всем, что новобрачная приносит в дом супруга, покрытых богатыми персидскими коврами, медленно потянулись из села Евсеевского в село Воздвиженское. Впереди в карете веером, расписанной золотыми и серебряными городками в виде шахматной доски, покидавшей сарай только при торжественных случаях, гордая как пава, пышная как маков цвет, Ивановна в высоком чепчике, который принуждена была надеть со вступлением в дом князя Александра Даниловича и потом уже не снимала, и богатой штофной телогрее, открывала шествие цугом убранных перьями коней. Рослые слуги позади и вершники по сторонам умножали пышность поезда. Едва он показался в виду ярко освещенного дома Горбуновых, Андрей, испросивший дозволения уехать из Петербурга для женитьбы вместе с Желтовым, который также взял отпуск, чтоб быть шафером у своего приятеля, вышли на крыльцо встретить дорогую гостью. После первых приветствий, когда няня Ивановна заняла по-

ловину дома, назначенную для будущей владычицы села Воздвиженского с деревнями, и жених вместе с другом отправились к нареченному тестю благодарить за приданое, Николай Федоров, род первого министра у молодого барина, дворецкий Илья Иванов, малорослый, дородный, плешивый мужчина, и ключница Анна Васильевна, которую в силу сего звания и потому, что по догадкам пользовалась особенным благоволением покойного Бердыша, прочие слуги честили Анной Васильевной, как некогда наших бояр — с «вичем»,— все, с детства кормившиеся от подачек господского стола и составлявшие высшую аристократию в многолюдной дворне Горбуновых, следуя приказу барина, угостили роскошным ужином нового товарища. Когда блюда одно за другим были разнесены между собеседниками, и сладкое вино развязало языки:

— Слава тебе, господи! — воскликнула Ивановна,— наконец привел бог дождаться.— Прошел бы завтрашний день благополучно, а там и дело с концом.

— Уж тут далеко ли? — молвила Анна Васильевна.— Жаль только, что отец Григорий изнемогает. Уж куда как ему хотелось обвести молодых кругом налоя. Да больно стар, сердечный! С постели, вишь, подняться не может.

— Я, чай, Маланья Ивановна, Варвара-то Лукинишна рада,— промолвил дворецкий.

— И, батюшка! — отвечала няня.— От радости света божьего не взвидит. И здоровье, и веселье, все мигом прикатило! Глядит, как наливное яблочко! А то, бывало, не дай бог и ворогу, только и ведала, что горе, особенно в Санкт-Петербурхе, словно свечка, истаяла, иссохла, как лучинка. И день и ночь то и дело, что тоскует. Слез нет, а только что вздыхает, да так тяжело, что не приведи господь! Уж я, ах ты, владыка небесный, и молитвы над ней творила, и сама плакать, и ей-то говорю: «Полно тебе, свет мой, кручиниться, господь милостив, не оставит тебя горемычной, не убивай себя и нас». Нет! Что прикажешь делать? Все грустит. А пуще всего, коли заговоришь о Белозубове. Да и он, душегубец, прикинулся влюбленным и ну свататься! А ей это пуще, чем нож в сердце.

— Мало того,— подхватила Анна Васильевна,— Андрей Александрыч чуть со двора, а он на

двор. Прикатил сюда, в Воздвиженское, да и распоряжается, словно своим добром.

— Далеко кулику до Петрова дня,— прервал дворецкий.— Каково-то им всем теперь распоряжаться на каторге в Рогвихе, что ли?

— Да и поделом их! — молвил Николай Федоров.— Слыханное ли дело, пуститься на такое беззаконие!

— Мне жаль дочки Тихоновой,— сказала тут няня.— Она, бают, ни про что не ведала. Ан теперь без мужа, чай, горемычная, по миру пойдет.

— Не тревожьтесь, Маланья Ивановна! — отвечал дядька.— У нашего барина душа христианская: приказал отвести ей двор и пожаловал месячную дачу.

— Куда какой добрый! — промолвила няня.— Дай бог ему много лет здравствовать!

Тут Илья Иванов велел подать из поставца большую заздравную чашу, наполнил ее и, громко произнесши: «Здравие и многолетие нашему барину и барыне! Пошли им, господи, много чад и домочадцев! Да здравствуют на многие лета!» — осушил ее до дна.

Собеседники почли долгом, повторив тост, последовать примеру. Между тем пробило 8 часов. Николай Федоров, не без основания почитавший себя старшим и в постоянную бытность при господах получивший понятия о светскости, подал руку няне, для которой после дневных трудов и веселого ужина сия подпора не была лишней, и в сопровождении собеседников, доведши новую гостью до вверенной ее надзору половины, пожелал ей доброй ночи. «Покорно благодарим-с!» — отвечала Ивановна.— «Прощенья просим-с, Николай Федорыч, Илья Иваныч, Анна Васильевна».

Прощенья просим, гг. читатели!

1832

К. Масальский

РЕГЕНТСТВО БИРОНА





I



На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах домов петербургских погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собою промокший зонтик, спешил к дому и робко посматривал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесах разлитое сияние свечей беспрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату ходили торопливо люди. Это было 17 октября 1740 года.

В слабо освещенной зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитан Ханыков шепотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием по временам глядели на дверь спальни.

Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.

— Все кончено! — сказал он прерывающимся голосом. — Императрица скончалась.

Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.

Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, тихо пронесли фрейлины через залу в ее комнаты. За нею следовал супруг ее.

Когда привели ее в чувство, она возвратилась в залу и, бросясь в креслы, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к супруге своей, старался ее утешить и умерить ее горесть.

Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведенного милостию умершей царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подле него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке держал князь какую-то бумагу, другою рукою по временам отирал слезы, навертывавшиеся на глаза его.

— Кто в зале? — вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.

Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, приблизился опять к Бирону и назвал бывших в зале по именам.

— Пойдем к ним! — продолжал герцог, вставая. — Не теряя времени, объявим последнюю волю императрицы.

Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошел от кресел, в которых сидела его супруга.

Властолюбивому Бирону во время тяжкой и продолжительной болезни императрицы неотступными просьбами нетрудно было убедить ее подписать акт о назначении его правителем государства на время ма-

лолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Браунщвейгского.

Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:

— Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю ее величества?

Принц, внутренне оскорбленный вопросом наглого властолюбца, скрыл однако ж свои чувствования и, отойдя от своей супруги, со спокойствием на лице приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.

На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содержание двора его. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался полновластным правителем их; что еще семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.

II

Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту (который можно назвать предком нынешнего) встретились два человека в темно-зеленых широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головою.

— Нет ли чего нового? — спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.

— Ничего важного не случилось,— отвечал на том же языке низкопоклонный.— Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме, в Красной улице, и что потом ее высочество цесаревна Елис...

— Тс! Тише!.. Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идет. Ну, а не разведал ты еще ничего об его друге, поручике?

— Он заодно с капитаном; в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится Феодосеевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.

— Право? Это недурно! А где он живет?

— Вон дом его.

Он указал на деревянный дом, уединенно стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского института.

— Притом узнал я, что отец поручика довольно богат.

— И это недурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его, что он держится раскола?

— Уличить мудрено. Он во всем запрется. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.

— Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?

— Какой безграмотный! С утра до вечера все сидит за своими писанными книгами.

— Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от Феодосеевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу в доказательство, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!

— Бесподобно вы вздумать изволили!

— То-то же! Потом я скажу ему, что должен буду доложить об его ослушании герцогу, и что он будет сожжен, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.

— А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?

— Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны его имение? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много еще их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг сжечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!

Довольный своею глупою остротою, он засмеялся.

— Иллюминация! истинно иллюминация! — подхватил низкопоклонный с принужденным хохотом. — Однако ж я все не понимаю еще вашего намерения.

— Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и не русский.

— Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.

— Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублевиков.

— А! теперь все ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречение от ереси.

— Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему в пользу. Он, верно, и сам сделается умнее и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то берегись!.. Я искусный охотник, а ты его собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.

Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.

— Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, — продолжал низкопоклонный, — то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.

— Нимало! Подписанное отречение послужит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу об нем герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.

— Совершенная правда.

— О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом в Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромен и осторожен. Ты сам знаешь, как дело это важно.

Поговорив еще что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.

III

На берегу Фонтанки... но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесемся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу *Фонтанной речки.*

При ее истоке из Невы никакого моста тогда еще не было. По берегам ее, в некоторых местах укрепленных сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Против Летнего дворца, от Невы до церкви св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное бревнами и огороженное забором. Тут находилась *партикулярная верфь,* где строили мелкие суда для *Невского флота*[1].

Подле этой верфи находилась (поныне существующая) каменная церковь св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования императрицы Анны Иоанновны вместо деревянной, которую воздвиг Петр Великий в память победы, одержанной им над шведским флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.

Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четвероугольное строение, где хранились разные запасы, для двора приготовленные, почему оно и называлось *Запасным двором.*

Церковь св. Симеона и Анны тогда уже существовала. Ее построила императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил

---

[1] При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командою Невского адмирала.

Петр Великий в 1712 году, во имя ангела четырехлетней дочери его, цесаревны Анны Петровны.

Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окруженный рощею, которая граничила с *Итальянским* садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил свое название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянском вкусе, близ Фонтанки.

У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после ее коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого монастыря, несколько загородных домов, построенных при императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, *светлицы* Семеновского и Измайловского полков, и наконец посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казенном доме церковь св. Екатерины, устроенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.

Теперь перейдем из Калинкиной деревни по узкому деревянному мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейских и морских служителей, потом *охотный ряд,* где продавали певчих и других птиц; войдем в слободу *Аничкову,* где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к *ягд-гартену* (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гоньбы и стреляния оленей, кабанов и зайцев на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, его окружающие. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим *слоновый двор,* устроенный в 1736 году для приведенного из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесенную на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.

Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.

На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашева. Федор Власьич (так его называли) был в свое время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану; во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона; в-третьих, еще со времен Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки, и, в-четвертых, страстно любил книгу. Много перенес он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенес с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.

Вместе с Мурашевым жили сестра его, Дарья Власьевна, и дочь Ольга. Первая еще при Петре Великом, на ассамблеях, ратовала в рядах невест и наводила *сильную кокетства батарею*[1] на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она не без основания считала главным виновником прекращения всех общественных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания ее батарею? От горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?» — Дарья Власьевна всегда притворялась крепкою на ухо или рассеянною и заводила речь совсем о другом. Единственным ее утешением сделались наряды и в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, которой бока они украшали. Всякая знатная дама считала тогда обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлышком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелью о рангах, начиная от 1 до 14 класса, фижмы суживались, и у жен купцов и других нечиновных лиц среднего клас-

---

[1] Стих Панкратия Сумарокова.

са заменялись обручиками, которые нередко по благоразумной, хозяйственной бережливости снимались с рассохшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить и обручики и пользовались только правом смотреть с удивлением на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтобы узнать внутреннюю сущность этих возвышений.

Дарья Власьевна по званию сестры придворного поставщика рыбы перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто ее в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом фижмы ее, как растение, как два цветка, неприметно росли и достигли величины, которая составила средину между фижмами коллежских секретаршей и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14 до 4 класса включительно, чтобы быть готовою тотчас одеться по чину ее будущего мужа, который, по ее расчетам, мог быть и «штатской действительной советник» (как тогда говорили). Любимое препровождение времени Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запершись в своей комнате, по очереди примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев наконец генеральские, повертывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распустивший хвост, танцевала менуэт, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперед по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы и смотрят на нее, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на нее метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бедная Дарья Власьевна не спала целую ночь и все мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы ее скло-

нялись то в ту, то в другую сторону и долго бы остались в движении, если б сваха не принесла наконец верного известия, что сообщенный слух о женихах вышел пустой.

Дочь Мурашева Ольга была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил ее без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал ее прекрасного стана. Мурашев, сам знавший плохо грамоту, передал ей все свои познания и через год после начатия курса наук принужден был прекратить учение, потому что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупик самого учителя. Однажды Мурашев выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было еще в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русскою гражданскою печатью в Петербурге в 1725 году, под заглавием: *Приклады како пишутся комплименты разные,* и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения: *Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведенные.* Последнее сочинение при Бироне считалось запрещенным. Впоследствии переводчик поднес его императрице Елисавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб по крайней мере сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатану увидеть». Мурашев, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из «Советов премудрости» наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя начальствует в своем доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов женский гнев наистрашнейший и прековарнейший в вымышлении изменятельств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены, или способы ко избавлению и спасению себя от них бегом изыска-

ны быть могут; но рассерчание взбесившейся жены неизбежимо есть. Ты не можешь ни укротить ее, ни усмирить, да ниже и отбыть от нее. Ее бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на нее жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему ответствуют».

— Сущая истина! — сказал Мурашев со вздохом.— Из всех гневов женский гнев есть наистрашнейший! Да!.. Так, кажется, сказано? Одно средство против него — упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти еще что-нибудь.

Он раскрыл в тетради другую страницу. Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твое сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся ее приближения и приветливого приема, бойся ее разговора, ее глядения и ее осязания. Что в другом за ничто признавается, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел ее прежде побежания, то не убежишь уже от нее далеко. Обещаваемые ею тебе вещи имеют на ее языке крайне бедственные обаяния. С самой той минуты, в которую ее увидишь, начинаешь ты бояться, и о весьма скором времени твоего заплакания извещаться».

— Ну уж книга! — воскликнула Дарья Власьевна.— Да не с ума ли ты сошел, братец? Еще дочери даешь читать такие соблазны.

— Полно, сестра! — возразил Мурашев.— Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе все растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщина — ты этого на свой счет не бери,— а вообще, особа женского пола. Вот тут и пишется, что довольно одного глазом ее мигнутия к повалению тебя, то есть она — не успеешь мигнуть — даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что бойся обещаваемых ею тебе вещей и ее осязания,— помнится так — то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!

— Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!

— В печь? Да кто тебе даст? Советы премудрости хочет бросить в печь! Ах ты безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.

Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок и что в книге дается наставление остерегаться порока.

— Ну вот, вот! то и есть! — воскликнул с радостью Мурашев. — Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь то же толковал! Что ж тут худого? Племянница-то, я вижу, умнее тетушки.

— Скажи: и батюшки! — сказала обиженная Дарья Власьевна. — Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.

Мурашев хотел возразить, но не нашелся, проворчал сквозь зубы: «Дура!» — и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».

«Сумасшедший! — сказала про себя Дарья Власьевна. — Совсем с ума спятил от своих премудростей!»

— Тетенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? — спросила вдруг Ольга.

Этот вопрос имел силу громового отвода. Без него сбылось бы сказанное в Слове о полку Игоревом: «Быть грому великому!»

IV

В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашеву капитан Семеновского полка Ханыков с молодым поручиком Аргамаковым, который страстно влюблен был в Ольгу.

— Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? — говорил Мурашев, усаживая офицеров на кожаный диван.

— Не до того было! — отвечал Ханыков.

— Да, да, Павел Антонович! Истинно не до того! — продолжал хозяин шепотом. — С позволения ва-

шего, я сегодня с заутрени до вечерни все плакал да охал.

— Скоро и все заохаем! — заметил Аргамаков.

— Однако ж, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори,— сказал Ханыков.— Подслушают, так и впрямь заохаешь.

— Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домовой разве, с позволения вашего, нас подслушает!.. Однако ж не мешает за дверь заглянуть.

Удостоверясь, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:

— Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да все как-то не верится. Что за напасть такая!

— Уж нечего говорить! Времена! — сказал Ханыков.

— Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче — с позволения вашего — он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, как потащат на сковороду.

— Да еще молчи притом, как рыба! — прибавил Аргамаков.

— Щука нечестивая! Кит проклятый! — воскликнул Мурашев, ходя в волнении по комнате.— Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в раздолье, как белуга в Волге. А с тех пор, как завелся этот иноземец Бирон — чтоб ему, с позволения вашего, щучьею костью подавиться! — все идет вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идет,— продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор.— Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.

Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашева.

При входе Ольги у Аргамакова сильно забилось сердце от радости, как будто он не видал ее уже несколько лет, а между тем они виделись не далее как накануне. Дарья Власьевна, жеманно поклонясь го-

стям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.

— Ну что, сестра, много народу было в церкви? — спросил Мурашев.

— Не слишком много; все больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила; должна быть знатная: большие фижмы и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!

— Ну, дай бог ей здоровья! — сказал Мурашев, которому вседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели.— Шлейф! — продолжал он, усмехнувшись.— А что такое, с позволения вашего, шлейф и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:

Щука шла из Новагорода;
Она хвост волокла из Бела-озера.

Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной словно невод: так и хочется запустить его в воду!

Ханыков улыбнулся, а Аргамаков разговаривал в это время с Ольгою, и оба ничего не слыхали.

— При выходе из церкви,— продолжала Дарья Власьевна,— попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала — это ужас!

— А что такое? — спросил Мурашев.

— Она слышала от верного человека, который служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то недолго усидит на своем месте.

— Вот тебе на! — воскликнул Мурашев, взглянув на Ханыкова.— Извольте прислушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, изволите видеть, не бывала еще в тайной канцелярии! Ей очень туда хочется.

— Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! — возразила, обидясь, Дарья Власьевна.— Я без тебя знаю, где и что сказать.

При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.

— Так! — прошептал Мурашев.— Только все-таки советую тебе быть поосторожнее.

— Что же вы слышали? — спросил Ханыков.

— Вообразите! Бирон хочет... нет! не могу выговорить!.. Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!

— Да что с тобой сделалось, сестра! — сказал Мурашев. — Ты из себя выходишь. Если бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их госпожами эти хвосты таскают.

— Шлейфы носят только за самыми знатными госпожами, а все прочие дамы, даже генеральши, завертывают шлейф, как и я, на левую руку. Не об них и речь.

— Так о чем же? — продолжал Мурашев. — Уж не о фижмах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?

— Да, сударь, о фижмах, именно о фижмах, от которых никто еще с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!

— Я стал бы носить что угодно; от того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что...

— Ну!.. заговорил о своих премудростях, конца не будет!

— Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за один совет премудрости я охотно отдал бы все фижмы на свете, да еще осетра средней величины в придачу!

— Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться, как наша кухарка, без фижм! Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?

— Этого быть не может, сударыня! — сказал Ханыков. — Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фижм!

— Так вы полагаете, что этот слух пустой?

— Кажется.

— Пустой или нет, все равно, — прервал Мурашев, — а поужинать во всяком случае не мешает. Уж девять часов.

В это время вошел в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамако-

ва. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, которой душа погружена была в фижмы, почувствовали, более или менее, от слов дворника неопределенный испуг. Мудрено сказать, произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от тогдашних времен, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.

Аргамаков вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханыкову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашев заметил это и, взяв его за руку, подвел к окну.

— Верно, недобрые вести? — спросил он шепотом.

— Не совсем хорошие! — отвечал также шепотом капитан.— Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичем ушел. Они идут уж сюда.

— Господи боже мой! Что ж мы станем делать?

— Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.

Мурашев большими шагами прошел несколько раз взад и вперед по комнате.

— Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.

— Вы себя погубите вместе с нами!

— Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как и всегда то делаю. Пусть же допрашивают и пытают моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. Притом, вероятно, этим господам и в голову не придет там вас отыскивать, а вы по крайней мере успеете обдумать, что вам делать? Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и с богом за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!

— На это нужны деньги, а со мной только два рублевика,— сказал Ханыков.

— У меня и того нет,— прибавил Валериан.

— Я вам дам взаймы. Червонцев пятьдесят будет довольно?

Ханыков пожал руку Мурашеву, а у Валериана навернулись на глазах слезы. Это пожатие и эти чуть заметные слезы выразили сильнее их благодарность, нежели все возможные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелек и тихонько передал Валериану.

Во все время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тетки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.

Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьевна, все еще углубленная в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:

— Итак, вы полагаете, что слух насчет фижм неоснователен?

— Я вижу, сестра, что в пустой фижме более мозгу, чем у тебя в голове! — проворчал в досаде Мурашев.— Пойдемте, господа!

Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: прости навсегда!

V

Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок вместе с денщиком и Мурашевым, за которым бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они по очереди подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.

— Цыц! Молчать! — закричал хозяин.— Это наши.

Собаки подбежали к Мурашеву, ласкаясь. Он ввел офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, в полу сделанную, и указал им веревочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.

— У кормы,— сказал он,— найдете окошко, через которое легко будет в случае нужды перелезть в одну из лодок, привязанных к садку. Прощайте! Да сохранит вас господь!

Выйдя из каюты, он погладил каждую из собак. Они проводили его до перил, и когда он запирал решетчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Еруслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мурашева руку, а Мохнатка и Полкан,

положив передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.

Валериан и друг его вскоре отыскали окно, о котором говорил Мурашев. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоящих рядом и привязанных у кормы. Можно было из окна прямо спуститься в одну из лодок. Вскоре услышали они, как Мурашев захлопнул калитку.

Все потом замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашептывала садку донос на спрятавшихся офицеров.

Чрез несколько времени собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на громкий лай их, скрывшимся в садке слышно было, как кто-то стучался в калитку.

— Это, верно, посланные за нами! — воскликнул Аргамаков.

— Не воспользоваться ли временем, покуда они будут дом обыскивать? Перелезем скорее в лодку и поплывем к Неве; потом пустимся прямо в Кронштадт,— сказал Ханыков.

— А если нас заметят?

— Да и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко сыщут. Решимся! Что будет, то будет!

Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел ее и отвязал. Лай собак между тем усилился.

— Все готово, барин! — сказал денщик, всунув в окно голову.

Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.

— Думали ли мы, Валериан, сегодня,— сказал Ханыков,— что проведем ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пойманных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под этою рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас еще остается надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.

— Удивляюсь, как ты можешь теперь шутить! — сказал Валериан.

— А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? — возразил Ханыков.— Я давно уверился, что мое хладнокровие гораздо полезнее твоей чувстви-

тельности. Люди пылкие, похожие на тебя, каждый почти день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый взгляд ее, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лежа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ж я нового и особенного ничего не вижу, потому что вечер претемный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака: нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! далеко ли еще до Невы?

— Уж недалеко, ваше благородие!

— Греби сильнее! — сказал Аргамаков.

Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых летах форейтором в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога курляндского Иакова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашева, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашева сильно забилось сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повел он незваных гостей на садок. Когда он подошел к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему. «Усь! Чужие!» — шепнул Мурашев, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчиненных, что все они, струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:

— Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.

— Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.

— Ты еще рассуждать смеешь! — закричал Гейер, топнув. — Именем его высочества правителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтен оскорблением его высочества.

— Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не бу-

ду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: «Мертвии бо срама не имут», то есть ни за что не отвечают.

— Свяжите его и ведите за мной! — закричал Гейер.— Завтра же донесу о тебе его высочеству, как о бунтовщике и ослушнике.

Мурашева связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг при свете месяца увидел несколько человек, которые к нему приближались.

— Ба! Это, кажется, наши! — сказал он.— Они ведут трех связанных. Браво! гуси пойманы.

Валериана, друга его и денщика вели шесть лазутчиков, одетых в платье гребцов. Мурашев побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выражалось глубокое сострадание.

— Где вы нашли их? — спросил Гейер.

— По приказанию вашему,— отвечал один из лазутчиков,— мы дожидались вас на катере у невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дна лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин,— продолжал он, указывая на поручика,— схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.

— Отдайте ваши шпаги! — сказал Гейер.

— Возьмите сами,— отвечал Ханыков.— У меня руки связаны, как видите.

— Я никому своей шпаги не отдам, кроме командира! — вскричал Валериан.

— Полно, братец, понапрасну горячиться! — шепнул друг его.— Чем более будешь оказывать сопротивление, тем будет для нас хуже.

Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.

— Обыщи карманы их! — продолжал Гейер,— не спрятано ли там оружие?

У Ханыкова нашлись два рублевика, у Валериана кошелек с пятьюдесятью червонцами.

— Подай сюда! — сказал Гейер, жадно смотря на золото.— Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? — продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком.— Ба! я по

платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.

— Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно,— заметил Ханыков.— Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.

— Это все будет исследовано. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочери и сестры этого старого плута. Их также надобно будет завтра допросить.

Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошел в комнаты и велел доложить о себе герцогу.

— Он очень занят и никого не велел принимать,— сказал камердинер герцога.

— Скажи его высочеству, что весьма важное дело.

Через несколько минут Гейер позван был во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошел в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и с братом своим, генералом Карлом Бироном, сидел за столом и играл в бостон.

— Господин секретарь! — сказал герцог, тасуя карты.— Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.

Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановясь у дверей.

— Это единственное мое развлечение после дневных тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?.. В сюрах шесть!.. Что у тебя за дело?

— Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказание, взяты.

— Где они теперь?.. Ну, брат, умел сходить! Разве не видал ты, что два короля и две дамы уже сошли?

— Они теперь у крыльца стоят, связанные.

— Кто? Два короля и две дамы? — заметил Бирон, улыбнувшись.— Дурак ты, Гейер!

— Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высочеству,— сказал секретарь с подобострастною ужимкой.

— Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи... Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.

— С ними еще взят придворный рыбный поставщик Мурашев и денщик их, потому что...

— Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!.. Гран-мизер-уверт!

Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у них были завязаны.

— Можно ли нам говорить между собою, господин секретарь? — спросил Ханыков.

— Позволяется, — отвечал важно Гейер, довольный покорностию капитана. Он подумал притом, что из разговоров своих арестантов узнает несколько их характеры и что это ему поможет успешнее произвести допросы.

— Валериан! Валериан! Ты здесь? — продолжал Ханыков.

— Здесь.

— Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Все пройдет.

— Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.

— В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! — сказал шепотом Мурашев. — У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости»; в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тужением и грущением. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопясь и не грустяся». Ба! мы, кажется, идем теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся на какой-то мостик. Как доски-то гнутся под нами! Чтобы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь — бог весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывем. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?

— Перестань! — закричал Гейер. — Говори да не заговаривайся!

— Извините меня, глупого, господин секретарь! С горя мало ли что сболтнется. И в некоторой мудрейшей книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно

надлежит его отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». А впрочем, как прикажете.

— Теперь я ничего не приказываю,— сказал Гейер.— Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоем рте замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.

Через несколько времени арестантов высадили на берег и повели далее. Потом они приметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжелая дверь, захлопнулась за ними и щелкнул ключ два раза.

— Развяжите им глаза и руки,— продолжал Гейер.

— Боже мой! Где мы? — воскликнул Валериан. Ханыков мрачно посмотрел вокруг себя, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашев и денщик, охая, начали креститься.

Висевший под сводом фонарь освещал довольно обширную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небеленые кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом освещении фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарем стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены были разные орудия и машины странного вида. Против стола, на стене, висели большие часы.

Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потер руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:

— По приказанию его высочества регента должен я вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всем том, в чем вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством, регентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы черная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он подъемлет ко благу общему и вашему, если б вы, вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии, вздума-

ли оказывать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда ваша Россия... что я говорю!.. когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моем месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытать, не сказав вам ни слова; но ныне уже не те времена. Его высочество регент и мой всемилостивейший патрон, в Германии почерпнувший свое глубокое просвещение, пересадил, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагодарную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унизительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввел порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещенных государствах. Будьте уверены, что не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханыков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме ее высочества цесаревны Елисаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры; что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте; что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещании покойной императрицы Екатерины I, по 8-й статье которого цесаревна Елисавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра II будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет, неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что все мною прочитанное не подлежит уже ни малейшему сомнению; что ваше преступление доказано, и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали раскаяние, открыли всех сообщников ваших, объяснили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!

— Я точно был несколько раз у ее высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.

— Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас... но делать нечего. Господин поручик! Вы обвиняетесь, как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдаетесь вы? Сверх того вы должны подробно объяснить: когда и как отец ваш старался вас увлечь в феодосеевскую ересь?

— В этих обвинениях только то справедливо, что я друг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: все это самая низкая клевета!

— Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоразумно, любезный поручик. Ну, а вы что скажете? — продолжал Гейер, обратясь к Мурашеву и денщику.— Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, вероятно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также все сказать, что знаешь. Отвечайте!

— С позволения вашего,— сказал Мурашев дрожащим голосом,— осмелюсь доложить, что я нисколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слыхал и сказать не могу.

— Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! — продолжал скороговоркою денщик, вытянувшись.— Мое дело исполнять, что приказывают.

— Итак, вы все, как вижу, не признаетесь и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterrition. Я, может быть, неблагоразумно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий; но это по крайней мере удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемилостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещенных, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей.

Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:

— Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам по моей обязанности.

Подробно описав все орудия пытки[1], Гейер в заключение объявил арестантам, что для избежания истязаний остается им один способ — полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.

— Вы меня принуждете приступить к действию, называемому Realterrition. Господин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину. Эй, вы! — продолжал Гейер, обратясь к своим подчиненным.— Покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!

— Нет, я не могу в том признаться, в чем не виноват.

— И Realterrition, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!

Ханыков стиснул зубы и побледнел.

— Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?

— Я невинен; говорю вам, что невинен!

— Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть еще раз винт,— и тогда не ручаюсь за целость костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать минут сроку.

— Замучьте меня до смерти, но я все буду говорить одно и то же! — сказал твердо Ханыков.

Посреди последовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханыков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до

---

[1] При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещеннейшие государства Европы и что Екатериной Великою уничтожена была пытка тогда еще, когда в Европе считали ее необходимою принадлежностию судопроизводства.

истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решился признанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе.

В это время раздался стук в двери.

— Кто там? — спросил сердито Гейер.

— Отопри! — раздался повелительный голос.

Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил ее. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачно, брови нахмурены.

— Покажи мне признание преступников,— сказал он Гейеру.

— Ваше высочество! Я еще не успел...

— Не успел? — закричал герцог, топнув.— А что я тебе приказывал сегодня утром? Я не велел терять ни минуты. Научу я тебя не медлить исполнением повелений регента!

— Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра...

— Ты еще осмеливаешься мне возражать! Молчи, бездельник. Завтра!.. Я велю обуть тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постараешься сегодня же все узнать и меня успокоить; но тебе, я вижу, все равно, спокойно ли сплю я ночь, или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.

Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины переменялась в ненависть, решился прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал, заикаясь:

— Я всех арестантов пытал по порядку *мекленбургским инструментом.* Никто ни в чем не признался.

— А испанские сапоги? Все мне надобно тебе указывать!

— Я решился прежде испытать действие этой стальной машины.

— В который раз винт повернут?

— Во втор... в третий, ваше высочество.

Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.

— В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?

— Ни одной строчки подозрительной.

Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханыкова, он спросил:

— Это кто?

— Капитан Ханыков, главный из обвиняемых,— отвечал Гейер.

— Итак, ты не хочешь ни в чем признаваться? — сказал герцог, устремив на него грозный взор.

— Я невинен, ваше высочество!

— И ты мне это смеешь говорить! — закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула.— Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать,— пусть он, закладенный в стене, умрет с голоду!

Все содрогнулись. Ханыков, призвав на помощь все свое хладнокровие, твердо сказал герцогу:

— Я готов на казнь, какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам,— казните!

— Зачем был ты в доме ее высочества?

— Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть еще преступление.

— Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом ее высочества и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?

— В бумагах моих, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.

Герцог, пересмотрев бумаги, нашел письмо, о котором говорил Ханыков. В нем отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему цесаревною Елисаветою, питать к ней во всю жизнь благодарность.

Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.

— Это письмо ничего не доказывает... В чем обвиняются все прочие преступники? — спросил он Гейера.

— Они обвиняются только как сообщники капитана.

— Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны,— продолжал Бирон,— но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако ж предваряю вас, что если после этого вы в чем-нибудь окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.

Ханыкову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре почувствовали они себя на свежем воздухе. Потом посадили их в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.

Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кланяться капитану, поручику и Мурашеву.

— Имеем честь поздравить! — сказал один из них.

— С чем? — спросил Ханыков.

— С милостию герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! — продолжал прислужник, почесывая за ухом.— Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!

Мурашев, пожав плечами, дал ему рублевик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.

— Где мы теперь? — сказал Ханыков, осматриваясь.

Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдали освещенные месяцем здания.

— Мы, кажется, посередине Царицына луга,— сказал Мурашев.— Вон, справа, чернеется Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! Не в аду ли мы были?.. Куда же пойдем теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.

VI

Все пошли к дому Мурашева. Приблизясь к воротам, начали стучать в калитку.

— Кто там? — закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.

— Я хозяин этого дома. Пустите!

— Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.

— Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог...

Окно захлопнулось, и Мурашев замолчал. Как ни стучались в калитку, все понапрасну.

— Что станешь делать? — воскликнул Мурашев. — Придется ночевать на улице, у ворот своего дома.

— Пойдемте к моему батюшке! — сказал Аргамаков. — Вон, дом его отсюда виден.

— Это дело! — подхватил Мурашев. — Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынник!

Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший правила *феодосеевщины,* наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в *суету,* то есть сообщился в тот день с *никонианами*[1]. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то все бы досчитал он прежде положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына[2].

Даже хладнокровный Ханыков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка и шарообразно обстриженная голова с седою бородой высунулась оттуда[3].

— Кто там?

— Это я, батюшка!

— Да ты не один?

— Это два мои приятеля и мой денщик. Нельзя ли

---

[1] Так называли они всех не отделившихся от православной церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.

[2] В 1751 году 1 октября были сочинены раскольниками феодосианского толка сорок шесть правил Феодосеевского собора. За нарушение их положены в наказание большею частию поклоны, которых в сложности определено 13600. Раскол этот основан в 1706 году дьячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по перекрещении в раскол, назвался Дионисием.

[3] По правилам феодосиан, наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло и даже отлучались от их сообщества.

нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.

— В беде? Что мудреного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадет. Нынче и днем-то ходи да оглядывайся.

— Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.

— Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас отворю ворота.

Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.

На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пище и питье не сообщиться с никонианами.

— Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! — сказал Мурашев.— А близко друг от друга живем!

— Что делать, Федор Власьич! Не одного мы стада овцы.

— С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор, как вы рассудили перекреститься в феодосеевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.

— В феодосеевскую? Что за феодосеевская! Скажи — в истинную, Федор Власьич.

— С позволения вашего, я спорить с вами не стану. У меня есть книжица небольшая, именуемая «Советы премудрости», в ней сказано: «Неоднократно во всяком веке случается, что маленький философ хватается свидетельствовать веру или переделывать элементы и перевертывать свет низом вверх. Не доверивай сам себе и твоему рассуждению. Новизна есть такой путь, который приводит к древнейшему греху, то есть отступлению».

— Федор Власьич! Пристало ли тебе в моем доме говорить мне укорительные слова?

— Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма, Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким-то философом назвать нельзя: он был дьячок да и только; а многих, однако ж, приманил на свою уду и поймал.

— Федор Власьич! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.

— Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу; но, с позволения вашего, никогда бы не поверил я дьячку.

— Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!

— Да чем доказать можно, что оно истинно?

— Чем!.. чем!.. Давай, например, мне самого злого зелья: я выпью — и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь! Я сейчас готов испить чашу с зелием для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь меня: я готов приять венец мученический; не устрашусь угроз твоих

— Разве Бирон угрожал вам, батюшка? — спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство последние слова отца.

— Да, любезный сын. На меня кто-то донес ему; секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а все мое имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.

— Боже мой! — воскликнул сын, вскочив со стула. — Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?

Он любил искренне старого отца своего, несмотря на все его странности. Никогда и мысленно не осуждал он его за усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать

ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика; зато и старик, горячо любя сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят наконец сына принять учение, которое считал старик истинным.

Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении феодосеевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.

— Вот до чего дожил я! — воскликнул старик, подняв глаза к небу.— Сын искушает меня и хочет ввергнуть душу мою в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искуситель! Не совратить тебе меня с пути истинного; не лишишь ты меня венца мученического. Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совратив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты...

Старик закрыл лицо руками и заплакал.

— Бог свидетель,— воскликнул с жаром сын,— что я не о себе теперь думаю, батюшка; одна любовь к вам заставила меня говорить.

— Чрез день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром; временный огонь спасает меня от вечного.

Сказав это, старик подошел к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелек, наполненный золотом.

— Любезный сын! вот все, что накопил я честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе... Не забывай бедных... Если ты уже не можешь быть счастливым в этой жизни без брака, даю тебе мое благословение... Прости, господи, слабость мою!.. Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоцененное сокровище целомудрия, ко-

торое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей и молись за грешного отца твоего.

— Нет, любезный батюшка! вы не умрете: я спасу вас во что бы то ни стало.

Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперед по комнате. Мурашев, растрогавшись, утирал рукавом слезы, которые навертывались на глазах его. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твердой решимости и сожаление о его заблуждении сливались странным образом.

Мурашев тихонько вышел из комнаты и побрел к своему дому, придумывая средство к спасению отца молодого своего приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разбранил и отогнал хозяина от ворот. Мурашев, в свою очередь, разбранив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправился отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашев поздно вечером принужден был опять возвратиться для ночлега к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханыков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.

Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завернутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симеоновском мосту.

— А! — сказал он.— Да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.

Все повиновались.

— Ну, почтенный! — продолжал он, обратясь к старику Аргамакову.— Я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решился отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я представлю ее герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф да за тобой приставят надзор.

— Я уже сказал, что ни за что в свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь то же повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от бла-

женной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться господу поклонением истинным.

— Ого, любезный! да ты, я вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.

— Делайте со мною что хотите: на все готов за веру истинную.

— Хорошо! Прекрасно!.. Стереги его и никуда не выпускай! — сказал Гейер своему прислужнику.— Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всем доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!.. До свидания!

Гейер удалился, а Валериан и Ханыков с Мурашевым немедленно вошли опять в комнату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханыков пожал плечами и вздохнул, а Мурашев начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:

— Ах, господи боже мой! Что за напасть!

Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.

— Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты? Я, авось, уломаю старика: он подпишет отречение и штраф заплатит.

— Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! — отвечал прислужник.

— Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.

Федор Власьич после того куда-то отправился и вскоре возвратился, неся в стклянке какую-то жидкость.

— Ты обещал нам, Илья Прохорыч,— сказал он старику Аргамакову,— показать чудо для обращения нас к вере истинной и спрашивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.

— Поклянись в этом! — воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.

— Изволь, клянусь! Только...

— Что у тебя в стклянке?

— Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!

— Давай сюда! Помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить еще одного ближнего на путь истины.

— Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Федор Власьич, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.

— Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда стклянку, Федор Власьич!

— Не давай, не смей давать! — закричали Валериан и друг его, бросаясь к Мурашеву.

— Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему нашему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду и поступлю осторожно: не бойтесь!

Офицеры, хотя и не поняли еще намерений Мурашева, но удостоверились, что он вреда никакого не сделает.

Взяв стакан, Мурашев вылил в него из стклянки половину жидкости.

— По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! — сказал прислужник.

— И! почтенный! — возразил Мурашев. — Будь спокоен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!

Старик Аргамаков между тем неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали, что делать, и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашева, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.

К изумлению всех, выпитый яд не произвел никакого действия. Одного Мурашева это не удивило; он для спасения своего соседа от костра придумал дать ему под видом яда голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.

— Веруешь ли теперь? — спросил Аргамаков Мурашева торжественным голосом.— Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зелие мне не повредило. Поклонись же нашему богу и отрекись от вашего[1]. Помнишь ли свою клятву?

— Удивительное дело! — прошептал Мурашев с притворным смущением.— Может быть, я достал яду не такого сильного? Притом ты выпил менее половины стклянки.

— Давай еще, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не сделается.

— Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.

— Наливай, не сомневаясь! Узришь еще большее чудо, и тогда отречешься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, еще третий стакан, если двух мало, для обращения твоего к нашей вере истинной.

— Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.

Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к веселости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами феодосеевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее полноводье речка через ветхую плотину.

— Ну что, любезный Федор Власьич,— сказал он, бодро расхаживая по комнате, ты теперь уже наш?

— Нет еще, Илья Прохорыч.

— Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так что-то на душе легко.

— Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдешь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная, тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернешь в сторону, на север или на юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от нее отречешься и будешь наш.

---

[1] Феодосиане утверждали, что у них один бог, а у не принадлежащих к их расколу — другой.

— Изволь, любезный Федор Власьич, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол и не сверну ни направо, ни налево.

Мурашев усадил старика на софу и, когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твердыми шагами пошел в другой угол.

— Видишь, Федор Власьич,— сказал он, остановясь посредине комнаты,— сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоем неверии?

— Да ведь ты еще не дошел до другого угла, Илья Прохорыч.

— За этим дело не станет, вот, смотри!

— Эй, эй! К югу заворачиваешь; или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя невидимая сила несет прямо к северу.

— Неправда; летом прямехонько против этого окошка солнце восходит: именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!

В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феодосеевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.

— Горе мне, грешнику! — воскликнул он, сплеснув руками.

— Теперь уж видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрел в такую сторону, где солнце никогда не восходит.

— Горе мне, грешнику! Что я сделал? Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.

— А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.

— Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! — воскликнул старик, вскочив с софы.

— И, верно, не захочешь быть клятвопреступником?

— Клятвопреступником? Чтоб я сделался клятвопреступником! Нет, не будет этого! Не только клятву,

но и простое слово всегда я свято исполнял... Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддержу. Сам ты виноват; вперед своих не выдавай.

— Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко другие поддерживали, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.

— Не говори хулы! — сказал старик с глубоким вздохом. — Может быть, я недостоин его помощи, и он от меня отступился.

— Ну так ты отступись от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. Притом клятва твоя...

— Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Поторопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!..

— И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?

— Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, — сказал Ханыков. — Если же решитесь ее нарушить, то вы останетесь клятвопреступником перед вашим наставником в вере и не можете после того ожидать от него ничего доброго.

— Правда, правда! — сказал старик. — Господи! покажи мне путь истинный!

— Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! — продолжал Мурашев, подавая ему бумагу, оставленную Гейером. — Вот тебе и перо.

Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сомнением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.

Сын бросился обнимать его. Мурашев, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханыков подошел к нему и крепко пожал ему руку.

— Теперь остается заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества — и дело будет кончено! — заметил прислужник Гейера. — Только советую всем не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного

хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.

— За штрафом остановки не будет,— сказал Мурашев.— Молчать также мы умеем, а теперь не мешало бы и пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.

Старик Аргамаков послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный по тогдашнему времени обед.

Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он еще не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые он потребовал, и секретарь с прислужником удалились, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашева Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.

Все сели потом за обед. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувствовав, по привычке, упрек совести за сообщение в пище с никонианами.

После стола Мурашев, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уж его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошел в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьевна оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Федоровна очень плакала, садясь в карету.

— Что за вздор! — воскликнул удивленный Мурашев.— Верно, сестра вздумала против воли увезти ее куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? — спросил он дворника.— Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.

— Не знаю, хозяин; кажись, енерал приезжал; а и то сказать, наверное не ведаю. Может статься, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я толь-

ко, что у него на кафтане многое множество золотых вычур.

— Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра изволила отправиться в гости к Ивану Иванычу. Выбрала же время, сумасшедшая!

Успокоясь этою догадкою, Мурашев пошел в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамакову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза книги его: *Приклады, како пишутся комплименты разные.* Он приискал *форму благодарного писания за доброе угощение* и переписал ее слово в слово, не приметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргамаков получил следующее письмо:

«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!

Моя должность и повеление от всея компании, которая честь имела от вас тако изрядно удовольствована быти, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особно обнадежити, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность чрез возможное воздаяние в самом деле пако воздать. Дорога в город назад нам зело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испорожнять, тако что господин имерек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имерек штраф или пеню наложила, что он принужден последующего утра колляцию (или вечеринку с конфектами) учинить, при которой и о вас, высокопочтенном господине, не однажды напоминали, и правда общее желание к тому было, чтоб мы могли вскоре честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам чрез возможное услужение нашу преданность и склонное благоволение показать, егда б вы, мой высокопочтенный господин, нам здесь то великое счастие вкратце изволил подать, то б вы чрез то многих вящше облиговал: между которыми я осо-

бливо себя вам высоко обязанна быти признаваю и того ради в ревностном прилежании пребываю моего высокопочтенного господина и знатного патрона ко услугам готовый

Федор Мурашев».

Наступил вечер. Мурашев послал дворника к своему знакомому камер-лакею Ивану Ивановичу, чтоб звать сестру и дочь скорее домой; но дворник возвратился с ответом, что они во весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала неожиданно ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.

— Побери его нелегкая со всеми его штанами! — воскликнул Мурашев.— Не знаю, что и делать! Куда это, господи, девалась моя Ольга?

Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Ханыковым.

— А! дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин сесть хотели,— сказал старик Аргамаков.— Да скажи ради бога, что за письмо ты ко мне прислал?

— Мы трое его разбирали, но не все поняли,— прибавил Ханыков.

— Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уж так водится между всеми хорошими людьми.

— Благодарствую, Федор Власьич! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе трудна была? Ведь и я живу не за городом, по сю сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!

Мурашев, у которого вместе с парами наливок вылетело из головы содержание выписанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.

— Еще ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здравие прекрасных. В наши ли лета, Федор Власьич, пить за их здравие? Я подумал, что ты

надо мной смеешься. Ты ведь один давеча от меня домой пошел?

— Один-одинехонек. С кем же мне было идти?

— А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пеню наложила, а именно: вечеринку с конфектами, на которую и я приглашен. Пожалуй, я бы пошел, да не знаю, к кому и куда.

— Неужто это у меня в письме написано? — сказал Мурашев, смутясь.

— Вот письмо твое: посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? — продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашеву.

— Экой ты, Илья Прохорыч! Да ведь все это так только пишется; это называется комплимент; а ты подумал, что уж все так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь: у меня дома неблагополучно.

— Что такое? — спросили все в один голос.

— Сестра и дочь пропали.

— Как пропали! — воскликнул Валериан, бледнея.

— Дворник мой говорит, что какой-то генерал увез их в карете. Не знаю, что и подумать.

По общем совете решили: если Дарья Власьевна и Ольга не возвратятся к ночи домой, на другой день на рассвете разведывать об них по всему городу.

VII

Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.

В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неограниченной гордостью), назначена была, по ее требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решетки Летнего сада тогда еще не было. На ее месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не обделанному еще гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 го-

ду императрицею Анной Иоанновною; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в виде грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ныне Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведен был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, на берегу последнего канала находившийся, назывался Красною улицей. Примечательнейшее из этих зданий было собственный дворец императрицы Елисаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.

Наступил вечер, по счастию сухой и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу, между дерев, зажглись изредка плошки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами березы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромная качель и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на веревках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные оседланные лошади, а между ними столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханыков и Мурашев печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.

— Авось сегодня загадка разгадается! — говорил Мурашев со вздохом.— Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или по крайней мере глупую мою сестру.

— Я все думаю,— заметил Ханыков,— не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гулянье.

— Да от чего ж бы моя сестра нарядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащит к себе, тому не до нарядов.

Долго бродили они по саду и наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окруженной деревьями площадке, где стояла карусель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина с копьями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,

> Как будто тронулся обоз,
> В котором тысяча немазанных колес.

При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание: «Браво!»

— Что за дьявольщина! — проворчал Мурашев, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину.— Это, кажется, моя сестрица изволит отличаться?

— Быть не может! — возразил Ханыков.

— Это именно она! — воскликнул Валериан.

— Что за диковина! — продолжал Мурашев.— Подойдем поближе.

Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в черной бархатной шапочке с красным страусовым пером, в *генеральских* фижмах, в длинной мантилье ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьевна на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьем развешанные кольца. На лице ее сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив на копье кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясало ее сердце, нежели клик «ура!» потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с нею разговаривал и смеялся, вероятно, стараясь ее развеселить. Судя по ее потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.

Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоять шпаги, и он верно бы

бросился к генералу, если б Ханыков не остановил его, крепко схватив за руку своего друга.

— Ради бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?

— Пусти меня! — кричал Валериан, вырываясь.— Пусти меня к этому бездельнику!

— Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!

По счастию, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близстоявших зрителей не мог расслышать слов его.

Между тем Мурашев с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такою досадой, что у него в горле дух перехватывало.

Случайно увидела она его в толпе. Мурашев, выйдя из себя, погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головою, прищурила один глаз, улыбнувшись, в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.

— Недаром сказано в «Советах премудрости»,— ворчал сквозь зубы Мурашев, желая чем-нибудь себя успокоить.— «Приключилась в нашей натуре порча, коя производит беспутные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слезы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своенравием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим».

Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посреди круга у столба секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:

— Девица фон Мурашева осталась победительницею!

— Браво! — закричали все участвовавшие в игре и захлопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она на-

чала раскланиваться и приседать, повертываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с нею из саней, адъютант его взял под руку Дарью Власьевну, и все общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.

Генерал, шедший с Ольгою, был старший брат Бирона, Карл. Сначала служил он в России, попался в плен к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешел в русскую службу и по милости брата в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если б они были получены им на сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.

На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угождать и был ревностный исполнитель его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навел генерала на добычу. В то время как Дарья Власьевна и Ольга сидели под караулом в доме Мурашева, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюбленным в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же переехать к нему на несколько дней с его невестой в загородный дом. Дарья Власьевна совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось, что Ольга должна считать себя счастливейшею из смертных, выйдя замуж за брата регента; что отец Ольги будет тех же мыслей; что не исполнить требования брата герцога — значит погубить и Ольгу и всех родных ее. Все это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все ее опасения, почти насильно ее одела в лучшее ее платье и вынудила ее согласие отправиться в карете с генералом.

— Чего ты, дурочка, боишься? — говорила она, одевая Ольгу. — Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно должно исполнить просьбу генерала; не то попа-

дем все в большую беду. Будет еще время, после подумаем и с отцом посоветуемся. Вообрази — ты будешь родня его высочеству герцогу! Шутка ли это!

Карл Бирон, со своей стороны, старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не понравится, то принуждать ее не станет выйти за него замуж. «Впрочем,— прибавил он,— мудрено не полюбить меня, узнав покороче».

Дарья Власьевна, одев Ольгу, вывела ее к генералу и с трепетом сердца сказала:

— Так как и я удостоена счастия быть приглашенною к вашему превосходительству, то не позволите ли мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в блистательном доме вашем?

— Да, да! — отвечал Карл Бирон, удерживаясь от смеха.— Это необходимо; я этого требую.

Дарья Власьевна тотчас облеклась в *генеральские* фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала еще несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой теткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там всеми мерами старался он веселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как Дарья Власьевна, не подозревая истинных намерений генерала, блаженствовала в его доме, обходилась с ним как родственница, величалась своими широкими фижмами и любовалась перед зеркалами своим длинным шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила возвратить ее в дом отца. Бирон говорил, что он жить без нее не может, и упрашивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности когда-нибудь ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению преступной цели своей, медлил и в этом медлении находил наслаждение. Так сытая кошка, поймавшая молодую птичку, которая еще не может летать, любуется своей жертвой, играет с нею и не вдруг ее съедает.

Утром того самого дня, когда праздновали рожденье герцогини, Карл Бирон неожиданно вошел в комнату, которую он отвел в своем загородном доме для Ольги и ее тетки. Ольга была уже одета, а Дарья Власьевна стояла еще перед зеркалом и оканчивала свой

туалет. Волосы ее еще не были причесаны; она только что приладила на один бок фижму, когда послышались шаги Бирона в соседней комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила из рук другую фижму на пол, схватила платье со шлейфом и надела его на себя почти так же быстро, как переменяют платье на актерах, когда они превращаются в волшебных операх и балетах. Ольга помогла ей кое-как застегнуть крючки лифа.

— Извините! — сказал, войдя, Бирон.— Я, кажется, перепугал вас. У меня просьба до вас, Дарья Власьевна: сходите поскорее в гостиный двор и купите две мантильи для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером назначено в Летнем саду гулянье. Вот вам деньги.

— Мне, право, так совестно! — сказала жеманно Дарья Власьевна, поправляя волосы и прикрывая рукою бок, на котором не было еще фижмы.— Я еще не кончила своего туалета; я никак не ожидала так рано вашего посещения...

— Ничего, не беспокойтесь! Между родственниками что за церемонии. Сходите же скорее в гостиный двор.

— С величайшим удовольствием. Позвольте только кончить туалет. Осмелюсь вас попросить на минуту выйти из комнаты.

— Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь, чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, подите скорее. Вот вам мантилья ваша.

Делать было нечего, Дарья Власьевна надела мантилью, закрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одною фижмою. «Подумают, что я или кривобока, или с ума сошла,— размышляла она дорогой, браня вполголоса Карла Бирона.— Ай батюшки, срам! Я со стыда сгорю! Этак целый гостиный двор насмешишь».

— Мы остались одни, Ольга! — сказал Бирон, взяв ее за руку.— Давно хотел я поговорить наедине с тобою. Реши судьбу мою, скажи: любишь ли ты меня?

— Оставьте меня, генерал, ради бога! — сказала умоляющим голосом Ольга, вырывая руку свою из руки Бирона.

— Ты боишься меня? — продолжал он. — Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! я без тебя жить не могу. Сядь сюда, сядь на эту софу, моя милая! Успокойся. Поговори со мною. Неужели ты захочешь погубить меня? Если ты не согласишься быть моей женою, я застрелюсь, я в воду брошусь, я...

Он с силой посадил трепещущую Ольгу на софу и обнял стан ее одною рукою.

— Помогите! Помогите! — закричала девушка.

— Ты напрасно будешь кричать: во всем доме никого нет, я разослал всех людей моих; мы только двое в этом доме. Ольга, обними меня, назови женихом своим. Ты будешь счастлива; все будут тебе завидовать. Не забудь, что я родной брат герцога.

— Вы забыли это, генерал, — отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, — вы поступаете как разбойник!

— Разбойник! — вскричал Бирон. — О! за эту дерзость надобно наказать тебя. Перестань же упрямиться, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, как я люблю тебя: кто бы, кроме тебя, назвал меня безнаказанно разбойником? Невесте моей я все прощаю. Перестань же дичиться, я жених твой, да! Я или никто!

С отчаянным усилием Ольга вырвалась из объятий Бирона, подбежала к столику, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив ножик, приставила его к своему сердцу.

— Ольга! Ольга! Что ты делаешь! — закричал Бирон, вскочив с софы.

— Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг — и на твоей душе будет смерть моя!

— Брось, брось ножик! Я не подойду, не трону тебя, я выпущу тебя сейчас же из моего дома.

— Поклянись в том твоею честью, если она в тебе есть. Но как поверить тебе? Ты обманешь меня. Нет, смерть, одна смерть спасет меня. Отошли меня теперь же к батюшке, чтобы он похоронил меня. Не хочу и мертвая быть в твоей власти. Боже мой!

Она занесла руку, метя острием ножа в сердце.

— Остановись! — вскричал в ужасе Бирон, бросаясь на колени. — Клянусь честью, что отпущу тебя в дом отца твоего, клянусь честью! Я никогда не изменял своему честному слову.

— И ты правду говоришь?

— Никто меня до сих пор не смел об этом спрашивать,— сказал гордо Бирон, вставая.— Успокойся, Ольга, я тебя уважаю. Брось ножик и дай мне руку. Мир, мир! Забудь нашу ссору и мое безумство. Я потерял рассудок от любви к тебе.

Ольга положила ножик на стол.

— Я верю твоему честному слову.

В самом деле Бирон оставил ее в покое и повторил обещание отпустить ее тотчас же в дом отца, как скоро возвратится Дарья Власьевна. Между тем эта однофижменная особа, ни жива ни мертва, ходила по гостиному двору. Ей мерещилось, что все на нее указывают пальцами, хохочут и спрашивают: где ее другая фижма? Уперши одну руку в бок, она оттопыривала локтем свою мантилью, чтобы скрыть ужасный дефицит своего наряда, и оттого принуждена была вынимать деньги из кошелька, получать сдачу и брать покупки все одною рукою: другая была на бессменной страже при бесфижменном боке во всю дорогу до гостиного двора и обратно, до загородного дома Карла Бирона.

С помощью тетки Бирон успел упросить Ольгу остаться у него до завтрашнего дня и вечером поехал вместе с ними в Летний сад на гулянье, нимало не опасаясь встретиться с отцом Ольги, в уверенности, что он легко одурачит рыбного поставщика так же, как и сестру его; а в случае нужды прикажет Гейеру унять его, если б этот купец из нижних и подлых людей (так в те времена говорили и писали не только о черни, но и о среднем классе народа) осмелился что-нибудь пикнуть против человека из знатных. Он не терял еще тайной надежды заслужить любовь Ольги и придумывал к тому средства.

— Здравствуй, сестра!— сказал робко Мурашев, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно смотрела на качавшегося льва.

— А, братец! Давно уж мы не видались.

— Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь!— продолжал Мурашев вполголоса, опасаясь, чтоб его не услышал генеральс-адъютант, который стоял подле Дарьи Власьевны в звании ее кавалера.

— Не всякому удастся на таких конях поездить, братец! — возразила Мурашева. — Карусель сделана только для знатных.

— Вот что, изволишь видеть! — сказал с досадой брат, которого забирала непреодолимая охота вцепиться в волосы умной сестрице. — А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом?

— Она его невеста. Я тебе все после растолкую, братец!

— Невеста! Не спросясь отца, она замуж выходит! Да я ее прокляну и тебя с нею вместе.

Адъютант взглянул в это время на Мурашева, и он, понизив голос, продолжал:

— Не ты ли дочь мою сосватала?

— Его превосходительство сам изволил к ней присвататься.

Мурашев знал поведение Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душою. Перед его глазами была гибель дочери; но где, в ком искать правосудия и защиты против брата регента? В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и бросилась со слезами отцу на шею. Безмолвно прижал он несчастную дочь к груди своей.

— Это не отец ли моей невесты? — спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо приблизясь к ней.

— Точно так, ваше превосходительство.

— Рекомендуй меня ему, пожалуйста, мы еще с ним незнакомы. Господа! извольте отойти подальше отсюда! — закричал он толпившемуся народу. — Для гулянья довольно здесь места и кроме этого.

Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому о случившемся происшествии, опасаясь, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о брате герцога, не закричал: «Слово и дело!»

— Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, — сказал Бирон ласково Мурашеву. — Ты, вероятно, знаешь уже мое намерение и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься от чести быть тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.

Он вынул из кармана кошелек с золотом и подал Мурашеву.

— Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! — отвечал Мурашев, едва держась на ногах. Кровь кипела в нем, в глазах у него темнело; он задыхался.— От подарка позвольте отказаться!.. Если смею сказать, мне кажется, что дочь рыбного поставщика не годится в невесты вашему превосходительству.

— И! какой вздор! Почему ж не годится? Мое дело выбирать себе жену. Да что ты так бледен? Верно, нездоров? Мы с тобой еще поговорим об этом, я к тебе приеду. Гейер! Возьми под руку этого почтенного человека и отвези домой в моей карете. Я советую тебе, любезный, тотчас же лечь в постель, ты очень нездоров.

Гейер взял под руку Мурашева и повел к карете.

Ольга хотела броситься вслед за отцом, но Бирон, взяв ее за руку, сказал ей:

— Я тебя сам домой отвезу, а теперь еще не лишай меня удовольствия погулять с тобою. Я приказываю! — прибавил он повелительно, и Ольга, оробев, почти в беспамятстве, подала ему руку.

Между тем Валериан, вырвавшись из рук Ханыкова, с чрезвычайным усилием увлекшего его в толпу, побежал прямо к Бирону.

— Генерал! — сказал он прерывающимся голосом.— По какому праву отнимаете вы у меня невесту?

Бирон, приметив, что Ольга лишается чувств, посадил ее на качель и оборотился к Валериану, поддерживая Ольгу одною рукою.

— Это что значит? — воскликнул он гордо.— Вы, сударь, забыли субординацию — мне и чести не отдаете! Я вас велю арестовать.

— Не говорите о чести, у вас нет ее. Вы недостойны произносить это слово! Пусть отрубят мне голову, но я говорю и до казни буду повторять, что вы низкий и подлый человек! Велите же схватить меня; я ведь знаю, что вместо вас палач разделается со мною.

— Дерзкий мальчишка! — вскричал в бешенстве Бирон, отскочив от Ольги, которую поддерживала с другой стороны Дарья Власьевна.— Я тебе обрублю уши в доказательство, что я никогда не отказываюсь

от дуэли и понимаю законы чести; потом уже тебя расстреляют за дерзость.

— Скажите лучше, расстреляют прежде, а потом уши обрубят. Вам стоит, по законам чести, принять мой вызов и потом попросить только к вам в секунданты вашего брата.

— Замолчи, безумец, или разрублю тебе голову!

— Тогда и поединка опасаться нечего. Что ж вы медлите? Рубите, вот моя голова!

Валериан снял шляпу. Лицо его пылало, как у больного горячкою. Бирон скрежетал зубами.

— Выбирай оружие! — сказал он, задыхаясь от бешенства.

— На саблях!

— Хорошо! Драться будем без секундантов?

— На все согласен!

— Завтра явись в пять часов утра в Екатерингоф. Я не заставлю ждать себя.

— Итак, до свидания! — сказал Валериан и медленно пошел от качели, ничего не видя перед собою.

— Возьмите этого молодца! — раздался голос.— Он, видно, забыл, что регенту должно честь отдавать. Я тебя проучу, негодный!

Валериан опомнился и увидел близ себя герцога Бирона, который с женою своей и многочисленною блестящею свитой шел к карусели.

Два человека в плащах, гулявшие вместе с другими, выскочили вдруг из толпы и схватили Валериана.

— Ведите его, куда должно! — продолжал герцог.— Странно для меня, фельдмаршал, что ваши подчиненные отваживаются при ваших глазах на такие беспорядки.

Граф Миних, к которому были обращены эти слова, в самых почтительных выражениях извинился перед герцогом.

Приблизясь к карусели, герцог остановился перед одною из деревянных лошадей и начал внимательно ее рассматривать.

— Скажите мне, принц! — сказал герцог принцу Брауншвейгскому,— какие недостатки находите вы в этой лошади?

— Главный недостаток тот, что на ней далеко не уедешь. Все надобно кружиться около столба.

— Гм! А вы не пробовали на ней ездить?

— Нет, я вообще не большой охотник до лошадей. Страсть к ним не слишком прилична для принцев!

— Это сказано на мой счет, принц! Но я не стыжусь своей страсти к этому благородному животному. Я не сержусь: однако ж за насмешку попрошу поездить на деревянной лошади.

— Охотно согласен! Не слишком будет странно видеть живого человека на деревянной лошади; гораздо страннее видеть на живой лошади деревянного всадника. Мне случалось это видеть... когда диких лошадей объезжают.

— Но всадник, на которого вы намекаете, умеет управлять не только всякою бешеною лошадью, но и людьми, не исключая даже принцев. Не угодно ли сесть на коня. Советую вам быть осторожнее: иногда и с деревянной лошади можно упасть неожиданно и гораздо скорее деревянного всадника.

— Они опять поссорятся! — шепнула Миниху супруга принца Анна Леопольдовна.— Постарайтесь, фельдмаршал, предупредить ссору.

— Попробую я этого буцефала! — сказал Миних, вскочив на лошадь и взяв копье для снимания колец.— Не угодно ли будет вашему высочеству последовать моему примеру? Пусть этот круг покружит принца и фельдмаршала точно так, как колесо счастия кружит на свете всеми смертными.

— Иногда с колеса счастия можно попасть на другое колесо,— сказал сквозь зубы герцог, видя, что Миних берет сторону принца.

— Подождите, фельдмаршал,— вскричала супруга Бирона,— я сяду в сани и начнем игру. Посмотрим, не удастся ли мне пристыдить фельдмаршала и остаться победительницей.

— Пред всеми дамами я без сражения кладу оружие; но если вашему высочеству угодно, я готов сражаться с вами. Это от вашей воли зависит.

Начали вертеть круг, и вскоре Миних снял почти все кольца на копье; принц нехотя снял три кольца; герцогиня ни одного.

— Какой грубиян! — сказала она вполголоса.— Мой муж должен заступиться за честь мою. Я прошу тебя, мое сердце.

Герцог, нахмурив брови, сел на лошадь и взял копье. Не терпя чужого торжества над собою

даже в игре, он начал со всевозможным старанием снимать кольца, но Миних опять остался победителем.

— Довольно! — сказал с досадой герцог. — Теперь пусть фельдмаршал покажет свое искусство на качели. Это будет едва ли не первый в свете случай, что фельдмаршал покачается на веревке. Впрочем, чего не может случиться в свете!

— Чтоб сделать угодное вашему высочеству, я сяду верхом на этого льва и размашу его на славу. Пусть все скажут, что я умею взнуздать даже неукротимого повелителя зверей и ездить на нем верхом, как на самой смирной кляче.

Между тем как Миних при общем смехе качался на деревянном льве, по наружности предаваясь веселости, а в глубине сердца скрывая негодование на самовластного Бирона, несчастного Валериана вели два лазутчика к берегу Невы. Его убивала мысль, что брат Бирона, явясь на другой день на место поединка, не найдет его там и что Ольга лишится в нем последней защиты. Неожиданно увидел он высокого и широкоплечего солдата, находившегося у него под командой, который с женою своей, присев под дерево, наслаждался также гуляньем и щелкал с нею взапуски каленые орехи.

— Служивый! — закричал Валериан.

— Что прикажете, ваше благородие? — отвечал солдат, мигом пересыпав орехи из полы своей шинели в передник жены и подбежав к своему офицеру.

— Освободи меня из рук этих бездельников.

— Сунься-ка, смей нас тронуть! — проворчал один из лазутчиков. — Мы ведем его по приказанию его высочества. Убирайся прочь и не в свое дело не мешайся.

— Ах ты барабанная палка! — крикнул солдат. — Да как ты смеешь мне приказы давать! Завернулся в суконный балахон, да уж и думает, что ему черт не брат! Неужто я этакого, как ты, балахонника скорее послушаюсь, чем моего законного командира? Пустите тотчас же его благородие, не то худо будет! Прикажете, ваше благородие? — продолжал солдат, сжав преогромный кулак и становясь в наступательное положение.

Валериан подал знак солдату, и тот наскочил, как лев, на одного лазутчика, отвесил ему такого раза по шее, что сразу сшиб его с ног; потом кинулся на другого, схватил за воротник, приподнял и бросил на землю.

— Молодец! Спасибо! — подумали стоявшие вокруг люди, но никто не смел и знаком показать, что он одобряет поступок солдата.

— Беги со мной, — сказал Валериан, — чтобы бездельники к тебе не привязались. Проводи меня до дому. Махни жене твоей, чтоб она от нас не отстала.

Валериан приближался уже к своему дому, когда попался ему навстречу бывший его товарищ, отставной капитан Лельский. Дав солдату рубль за его услугу, он отпустил его домой; но солдат, убежденный в совести, что он поступил как должно, исполнив в точности приказание начальника, и что за это приказание, если б оно было неправильно, должен отвечать начальник, спокойно возвратился с женою на Царицын луг и прогулял благополучно все время, на которое был отпущен,

— Что ты так встревожен, Валериан? — спросил Лельский.

Тот рассказал ему подробно свое приключение.

— Все это должно же когда-нибудь кончиться! — воскликнул с негодованием Лельский. — Дай мне честное слово, что ты никому на свете не скажешь, что я тебе открою.

— Изволь! Клянусь честью!

Лельский, войдя в комнаты Валериана, имел с ним продолжительный тайный разговор.

Прощаясь с Лельским, Валериан подал ему руку и сказал:

— Тотчас после поединка, если жив останусь, явлюсь к тебе, и располагай мной. Я ваш!

Около одиннадцати часов вечера Ханыков возвратился домой. (Он жил в одном доме с Валерианом.) Несмотря на свое хладнокровие, Ханыков чуть не бросился с горя в Неву после происшествия с его другом. Он видел, как его повели два человека по приказанию герцога, и считал уже Валериана невозвратно погибшим. Но как удивился он, когда, подходя к дому, увидел свет в окошках Валериана. Немедленно

побежал он к нему в комнаты и застал, что друг его точит на оселке саблю.

— Что это значит? — спросил он, указывая на саблю.

— Завтра в пять часов утра назначено у нас свидание с братом герцога.

— Так ты только за этим вырвался у меня из рук, пылкая голова?

— Дело уже сделано; теперь советы и упреки не у места.

— Согласен; но за несколько часов советы мои были бы очень у места. Жаль, что я не вдвое сильнее тебя. Ни за что бы на свете ты у меня не вырвался.

— Позволь сказать, что было бы низко с твоей стороны меня удерживать. Кто бы мог на моем месте хладнокровно вытерпеть эту пытку: видеть бедную Ольгу в руках гнусного обольстителя? Кто бы это вытерпел, тот был бы не человек.

— Первый я был бы не человек на твоем месте. Конечно, я не бывал никогда порядком влюблен и не могу хорошенько судить об этой приятной горячке; однако ж мне кажется, что я бы никак не бросился браниться с Бироном. Я бы наперед посоветовался бы, например, с фельдмаршалом, попросил бы его защиты, и, верно, дело бы уладилось без дальних хлопот. А теперь что вышло от твоей запальчивости? Или он тебя убьет, или ты его, а не то кто-нибудь из вас другого ранит. Если он останется победителем, чего не дай бог, то он будет считать Ольгу своею неотъемлемою добычею, взятою с боя. Если ты его убьешь или ранишь, то герцог об этом непременно узнает — и ты пропал.

— К чему теперь все эти рассуждения? — сказал с досадой Валериан.

— А к тому, чтобы ты пошел к фельдмаршалу Миниху и просил его покровительства. Я уж рассказал ему твою историю. Он берется быть посредником между братом герцога и тобою, и, без сомнения, дело кончится выгодным для тебя миром. Его посредничество для тебя много значит.

— И Карл Бирон после этого будет везде называть меня подлым трусом. Нет, нет! Мы должны с ним драться. Пусть я лишусь Ольги, лишусь жизни, но я должен драться! Честь мне дороже жизни.

— А что такое честь?

— Странно, что капитан гвардии меня об этом спрашивает.

— Для меня было бы страннее, если б капитаны всего света и со мной вместе сделали точное и безошибочное определение чести. Оно не так легко, как кажется. По общему понятию о чести, она велит без страха идти на неприступную батарею и лить кровь за отечество; она же велит вступиться за неосторожно сказанное слово, которым задето наше самолюбие, или за подобный вздор, и так же проливать кровь, как и за отечество. Воля твоя! Не клеплют ли на честь, когда говорят, что она велит делать такие глупости? Кто украдет у другого рубль, все кричат: бездельник! А кто похитит на поединке жизнь, которой за сокровища целого света возвратить нельзя, все твердят: он прав, ему честь это велела!

— По крайней мере мы не за вздор будем драться с Бироном.

— Согласен; но, как я сказал уже тебе, дело могло бы обойтись без драки и кончиться гораздо для обоих вас выгоднее. Послушайся дружеского совета: пойдем к фельдмаршалу.

— Ни за что на свете! Я вызвал врага и должен с ним драться. Теперь уже размышлять поздно.

— Зачем же ты поторопился его вызвать? Не лучше ли бы было размыслить не поздно, а поранее?

— Не все одарены твоим рыбьим хладнокровием. Посмотрел бы я, что бы ты сделал, если б тебя кто-нибудь обидел.

— Я бы простил обидчика — и торжество осталось бы на моей стороне.

— А если б он не извинился?

— Тогда бы еще более было великодушия простить его.

— Но тебя все стали бы называть трусом.

— Кто? Молодые, ветреные мальчики, которые еще порохового дыма не видали в сражении, воображают себя героями и кричат о чести, которой не понимают. Смешно было бы окуренному порохом капитану плясать под их дудку. Я бы сказал им: господа! что я не трус, то могут засвидетельствовать все мои сослуживцы, бывшие со мною в одиннадцати сражениях. Вы еще не были ни в одном, и обо мне судить не

можете. Я берегу кровь свою для отечества и не намерен тратить ее на поединках. Советую и вам вашу молодую кровь и будущую храбрость поберечь до первой битвы. Там доказывается истинная храбрость. Но теперь некогда пускаться в рассуждения. Пойдем скорее к фельдмаршалу.

— Оставь меня! Напрасно слова теряешь; не убедишь меня ничем!

— Ты говоришь решительно?

— Решительно.

— А кто твой секундант?

— Никто.

— Как никто? Да тебе без секунданта снесут, пожалуй, голову с плеч прежде, нежели ты саблю вынуть из ножен успеешь.

— Мы так условились.

— Глупо сделали. Если ты, чего не дай бог, убьешь Бирона, то тебя просто казнят, как убийцу. Он уж не засвидетельствует, что ты его отправил на тот свет по всем правилам чести, а ты хоть и будешь божиться, да тебе не поверят.

— Что же делать?

— Я съезжу к Бирону и скажу, чтоб он выбрал секунданта.

— А мой кто будет?

— Да уж подурачусь раз в жизни. Может быть, мне и помирить вас удастся.

— Напрасный будет труд! Я поссорюсь с тобой! Сделай милость, не мири нас.

— Ну, ну, хорошо! Не стану мирить; дерись, сколько душе будет угодно. Послушай, Валериан, посоветуйся, пожалуйста, с благоразумием в ожидании моего возвращения. Я теперь же еду к Бирону. До свидания!

Через несколько времени Ханыков возвратился с ответом, что Бирон на предложение о секундантах согласился.

— Ну, что тебе сказало благоразумие? — спросил Ханыков, глядя с участием на своего друга. — Ехать к фельдмаршалу?

— Нет, в Екатерингоф.

— Видно, и благоразумие иногда может давать преглупые советы. Делать нечего! Да полно уж тебе точить саблю. Я думаю, что ею можно теперь вы-

брить бороду Бирону за недостатком бритвы. Ложись скорее в постелю. Проведя ночь без сна, ты ослабеешь. Желаю тебе на сегодня богатырского сна, на завтра богатырской силы да хладнокровия, которое везде полезно, даже на поединке. Доброй ночи, Валериан. Я не стану раздеваться и усну здесь, на твоей софе. Ну вот, перестал точить, так принялся из угла в угол ходить по комнате! Ложись, говорят тебе, скорее. Что будет, то будет, а будет то, что бог даст.

VIII

В Екатерингоф, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятия им и Меншиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, Валериан явился в пять часов утра с своим другом, задолго до рассвета. Вскоре прибыл и Бирон с своим адъютантом. Удалясь с потаенным фонарем в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханыков и адъютант Бирона взяли по зажженному факелу и стали один с правой, другой с левой стороны поединщиков. Красное сияние отразилось на блестящих саблях.

— Начинай, храбрый мальчик! — сказал Бирон, желая смутить Валериана. — Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Карла Бирона! Не далее как сегодня вечером, тебя понесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование.

— Еще неизвестно, к кому оно относится, — возразил спокойно Валериан. — Вам следует начать, генерал! Я вас вызвал.

— Но прежде должно условиться, — заметил Ханыков, — насмерть ли драться, или до первой раны?

— До тех пор, пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву! — отвечал Бирон.

— Говоря о моей голове, вы забыли о своей! — сказал Валериан. — Впрочем, я согласен драться насмерть.

— Я бы советовал — до первой раны,— продолжал Ханыков.— Генерал! Мой друг так молод...

— Прошу секунданта не мешаться не в свое дело. Условия от нас зависят.

— Начинайте же! — сказал Валериан.— Мы не разговаривать сюда пришли.

Бирон, взмахнув высоко саблю, повернул ее несколько раз над своею головою так быстро, что раздался свист, и отблеск сабли образовал круг, едва заметный по бледному и красноватому сиянию. Пристально смотря на ногу Валериана, как будто намереваясь нанести удар по ноге, Бирон вдруг выпал и, без сомнения, разрубил бы противнику голову, если бы Валериан, отстранясь, не отвел удара. Сабля, шипя, соскользнула по клинку и ушла до половины в землю.

Бирон, невольно пошатнувшись всем телом вперед, едва устоял на ногах.

— Выньте скорее вашу саблю. Я не хочу пользоваться вашим положением.

Бирон с усилием выдернул из земли свое оружие и снова напал на Валериана. Быстро наносимы были удары и еще быстрее отражаемы. Гул глухо повторял вой дребезжащей стали. Как красные лучи молнии, вдали сквозь сгущенный воздух сверкающей, вились сабли, отражавшие блеск факелов; яркие искры вспыхивали над головой и у ног противников почти в один и тот же миг.

— Ай да Валериан! — думал про себя Ханыков.— Не забыл моего совета: хладнокровно дерется!.. Тьфу, как тот озлился!.. Ай, ай, чуть-чуть сабля не задела друга по голове!.. Ну, скверно! И он горячиться начинает!

Вдруг сабля Бирона вылетела у него из руки от искусного удара Валериана, который в тот же миг занес свою саблю над головою смутившегося противника.

— Вы должны теперь, генерал, признать себя побежденным. Дарю вам жизнь, но с тем условием, чтобы вы дали слово отступиться от моей невесты и не мешать моему счастию.

— Руби! — вскричал Бирон в бешенстве, сложив гордо руки на грудь и свирепо смотря на Валериана.— Карл Бирон никогда не страшился смерти!

— Согласны ли на мое предложение?

— Нет!.. Руби! Брат мой отомстит смерть мою. Тебя обвенчают на колесе с твоею невестой!

Сказав это, Бирон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта.

— Низкая душа! — воскликнул Валериан.— Я этого ожидал от тебя. К чему ж ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы на верное сохранение в подлые руки палача. Но это не спасет тебя. Умри!

Валериан, высоко взмахнув саблю, разрубил бы череп Бирону, если б Ханыков не удержал руки его.

В это время в некотором расстоянии, между деревьями, показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога Гейер с четырьмя вооруженными прислужниками стал между противниками.

— Свяжите их! — сказал он, указывая на Валериана и Ханыкова.— Хорошо, что мы еще вовремя отыскали вас.

— Не троньте их! — закричал Бирон.

— Я исполняю повеление его высочества герцога,— продолжал Гейер.

— Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения?

— Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже и то, что каждый думает. Вяжите их!

— Остановитесь! Я беру на себя всю ответственность в этом деле и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти, куда хотите. Карл Бирон знает законы чести!

— Это благородно, генерал! — сказал Ханыков.— Вы, верно, оправдаете моего друга пред его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью.

— Нимало! Ты удержал его руку: я ему ничем не обязан! Мы по-прежнему враги, враги непримиримые.

— Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли? — спросил Валериан презрительно.

— Дерзкий мальчишка! Поединок наш еще не кончен! Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою го-

лову скорее, чем топор палача. Гейер! не смей их трогать волосом, пока я не объяснюсь с братом.

Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бироном и его адъютантом, а Валериан и Ханыков пошли в другую сторону.

— Ну что, Валериан? Не правду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему доброму тебя не приведет? Теперь судьба Ольги еще безнадежнее, чем прежде; а мы оба должны ожидать неминуемой гибели. Герцогу уже все известно; на ходатайство врага полагаться можно столько же, сколько на весенний лед, когда он кажется твердым, но стоит только ступить на него, чтобы провалиться. Я, впрочем, о себе не думаю! Умереть надобно же когда-нибудь! Мне тебя жаль, Валериан. Без сомнения, герцог...

— Недолго будет он!..— воскликнул Валериан и вдруг прервал речь, вспомнив честное слово, данное им Лельскому.

— Что ты сказать хотел?

— Так, ничего!.. Мысли мои очень расстроены... Да, мой друг, положение наше ужасно!

— Ты что-то таишь от меня, Валериан? — продолжал Ханыков, глядя пристально в глаза другу.— Давно ли я лишился твоей доверенности?

Валериан почувствовал справедливость этого упрека; сердце его рвалось открыться другу, но честное слово, слишком скоро и необдуманно им данное, его связывало.

— Ты молчишь? — продолжал Ханыков.— Не боишься ли, что я донесу на тебя?

— Ах боже мой! Не обижай меня, друг. Если б ты мог видеть, что происходит здесь,— сказал Валериан, указав на сердце,— ты бы ужаснулся и пожалел меня.

— Я опять повторяю мой всегдашний совет: старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должно. Я бы тебе мог дать совет основательнее, если б ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал твоих мыслей и чувствований от друга; но ты уже не хочешь быть со мною откровенным!

— Я ничего от тебя не скрываю.

— И ты правду говоришь? — сказал Ханыков голосом, выразившим дружескую укоризну. — Ты не обманываешь своего друга? Почему ж ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тайный замысел. Дай бог, чтоб не пришло время, когда ты раскаешься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений? Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя к тебе всегда брала их отсюда! — Он положил руку на сердце.

— Друг! Не усиливай упреками моих мучений, — сказал с жаром Валериан. — Я связан честным словом и должен молчать.

— Ах, Валериан! Недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия чести. Обдумал ли ты хорошо твое честное слово? Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игралище страстям.

— Обдуманно ли я поступил — увидим это скоро, — отвечал Валериан, подавая Ханыкову руку.

В это время перешли они по узкому деревянному мосту из Калинкиной деревни на другой берег Фонтанки и вскоре поравнялись с слободами адмиралтейских и морских служителей[1]. Молча дошли они по обросшему травою берегу Фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком Обуховым.

— Валериан! Это какое здание? — спросил Ханыков, взяв друга за руку и указывая на большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным частоколом.

— Это бывший загородный дом кабинет-министра Волынского.

— А теперь чей этот дом?

— Теперь живет в нем полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты, с придворными егерями и собаками.

— Почему?

---

[1] Слободы эти начали строиться после ужасных пожаров 1736 и 1737 годов, когда дома адмиралтейских и морских служителей, занимавшие нынешние Морские улицы, превращены были в пепел. Новое место, для постройки им домов отведенное, называли Колониею. Это слово превратилось в простонародном употреблении в Коломну.

— Странный вопрос! Разве ты не знаешь, что все имение Волынского конфисковано в казну после того, как отрубили ему голову? Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырех месяцев.

— А за что отрубили ему голову?

— Опять странный вопрос! Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Волынский осмелился против него действовать.

— Валериан! Тогда еще герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Волынского: что случилось с ним, то и с другим ныне гораздо легче случиться может; не правда ли?

Валериан невольно содрогнулся и ничего не отвечал.

Миновав Аничков мост, они приблизились к дому старика Аргамакова.

— Куда же мы теперь? — сказал Ханыков. — Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдем прямо к графу Миниху и будем просить его защиты, он один нас спасти может.

— Я зайду на один миг к батюшке и вслед за тобой явлюсь к графу.

— Ради бога, не замедли. Прощай!

Ханыков пожал руку Валериана и поспешно пошел вперед. Когда он повернул в переулок, молодой друг его, посмотрев несколько времени на дом отца, воротился к Аничкову мосту и вошел чрез калитку на обширный, заросший дикою травою огород, окруженный ветхим забором, который, начинаясь на берегу Фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты.

Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг вышла монахиня и приблизилась к Валериану.

— Чем кончился твой поединок? — спросила она.

— Ах, Лельский! Я едва узнал тебя; как ты хорошо перерядился.

Они вошли опять в хижину, и Валериан рассказал ему подробности поединка.

— Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя! — воскликнул Лельский. — Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик...

— Разве решено уже приступить так скоро к делу?

— Нет еще. Сегодня все наши соберутся в дом графа Головкина, к назначенному в три часа обеду; там приступим к общему совещанию. Мы, однако ж, пойдем к графу несколько ранее. Я еще должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина. Вон дом его!

Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект.

— Боже мой! Сюда кто-то идет! — воскликнул Валериан, глядя в окошко.

— Не бойся! Это также наш; я его ожидал.

Вскоре вошел в хижину тот самый прислужник Гейера, который был вместе с ним в доме отца Аргамакова, когда принуждали его подписать отречение от раскола. Валериан, тотчас узнав прислужника, изумился.

— А! Да здесь знакомый! — сказал вошедший.— Видно, и он из наших?

— Точно так,— отвечал Лельский.— При нем можно все говорить. Ну, что нового, любезный Маус?

— Ни всемогущий герцог, ни всеведущий Гейер ничего еще не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь! — продолжал прислужник, обратясь к Валериану.— Брат герцога отстоял только вашего друга капитана за то, что он не допустил вас разрубить ему голову на поединке. И в вашу защиту он сказал слова два, три; но когда герцог закричал: «Расстрелять его!» — то ваш противник, не найдя, видно, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал.

— Я думаю, теперь везде поручика ищут? — спросил Лельский.

— Как же! Гейер велел мне везде искать вас и схватить,— сказал Маус Валериану.— Берегитесь, господин поручик! Я вас днем и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, что иногда и найденного можно искать пуще ненайденного. Между прочим, должен вам еще сказать, что Гейер велел, покуда вас не сыщут, держать под караулом вашего отца и объявил ему, что если он не скажет, где вы, то подписанное им отречение от ереси будет представлено герцогу в виде признания и отца вашего сожгут.

— Что с вами, поручик? Вы ужасно побледнели и

дрожите,— сказал Лельский.— Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит.

— Да, да! Я шучу, хотя и не совсем,— сказал Маус.— Гейер пугает вашего отца; ну, а сожгут ли его, это еще вопрос. Может быть, он сказал так, для шутки, хотя это, по моему мнению, шутка плохая.

— Мы предупредим это злодейство,— сказал Лельский Валериану,— успокойтесь.

— Веди меня к Гейеру! — воскликнул вдруг Валериан, обратясь к Маусу.

— Что вы, поручик! Шутите? — сказал удивленный прислужник.

— Веди! Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить злодеев и спасти бедного отца моего. Веди!

— Я не пущу тебя! — вскричал Лельский.— Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть все и предать всех нас. Притом вспомни, что ты поклялся честию действовать с нами заодно до окончания дела.

— Клянусь честию, что никакие мучения пытки не принудят меня изменить вам.

— И что ты так же твердо сдержишь и эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употребить силу и даже... этот кинжал. Он приготовлен для защиты от злодеев; он же может наказать и бесчестного человека, который нарушает свое слово. Если пойдешь к Гейеру, то докажешь, что ты подлый человек.

Чувство чести и чувство любви к родителю, восставленные одно против другого в душе Валериана, боролись между собою и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга.

Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели наконец убедить его, что успех их предприятия не подлежит никакому сомнению и что он, действуя с ними, скорее и вернее спасет отца своего.

— До свидания, господа! — сказал Маус.— Мне пора идти, везде искать вас, господин поручик. Гейер, я думаю, давно ожидает моего возвращения.

Он удалился.

— Скажи, ради бога, что побудило этого человека передаться на нашу сторону? — спросил Валериан,

приближаясь к дому Головкина с Лельским, переодевшимся в свое обыкновенное платье.

— Побудило то, за что люди, подобные этой твари, продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает: герцог ему хорошо платит, мы платим еще лучше, и почтенный Маус усердно служит обеим сторонам.

— Однако ж такой двоедушный или, лучше сказать, бездушный слуга для нас опасен.

— Конечно, но зато и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностию, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними; а мы уверены, что герцог не знает об нас ничего,—и спокойно действуем у него под носом.

— Дома граф?—спросил Лельский, войдя в переднюю.

— У себя-с!—отвечал слуга, ввел пришедших в залу и пошел доложить об них графу.

Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайный советник и сенатор, отличался строгою добродетелью, непоколебимою твердостью и пламенною любовью к отечеству. При начале царствования императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож; но герцог Бирон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости государыни. Несколько раз Головкин смело обличал пред монархинею ее любимца во вредных для отечества мерах, злоупотреблениях и несправедливых поступках и, без сомнения, сделался бы жертвою его злобы, если бы не спасало графа то, что супруга его была двоюродная сестра императрицы[1].

Головкин отличался гостеприимством. Его ласковое обхождение, искреннее ко всем доброжелательство привлекали к нему сердца всех тех, которые посещали дом его.

Вскоре Лельский и Валериан приглашены были в гостиную. Граф сидел на софе и читал книгу.

— А! любезный Лельский!—сказал он, положив

---

[1] Супруга царя Иоанна Алексеевича царица Прасковия Федоровна (мать императрицы Анны Иоанновны) происходила из рода Салтыковых. Сестра царицы, Наталья Федоровна, была в замужестве за князем Ромодановским. От них родилась дочь, княжна Екатерина Ивановна, вступившая в брак с графом Головкиным.

книгу на стол.— Давно я тебя не видал. Добро пожаловать!

— Осмелюсь представить вашему сиятельству моего сослуживца, поручика гвардии Валериана Ильича Аргамакова.

— Весьма рад с вами познакомиться,— сказал граф ласково Валериану.— Прошу, господа, садиться.

Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводят в подобных случаях. Граф, однако ж, из немногих слов Валериана заметил в нем ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Пробило три часа — и все сели за стол.

Во время обеда веселые и остроумные разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бироне.

В половине обеда вдруг слуга поспешно отворил обе половинки дверей, и вошел Карл Бирон. Граф принял его учтиво, но холодно, и посадил за стол. Бирон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать и вознаграждал себя за холодность хозяина, согревая кровь свою лишним бокалом рейнвейна.

Валериан, сидевший подле Лельского, вздрогнул и изумился, увидев Бирона. «Лельский обманул меня! — подумал он.— Есть ли здесь что-нибудь похожее на тайное совещание!»

Между тем Бирон сел за стол почти напротив Валериана и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное ему кушанье, глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились. Губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валериана. Гордо и мужественно смотрел Валериан прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в жилах. Оба молчали.

«Странно, что он еще не взят под стражу! — подумал Бирон.— Приказание брата, конечно, ему еще не-

известно. Он обедает в последний раз в жизни: не стану мешать ему!»

Серебряная кружка с рейнвейном, поднесенная Бирону, отвлекла его внимание от Валериана. Он разом осушил ее и принялся за кушанье.

Валериан бросил на Лельского значительный взор, который, казалось, спрашивал: что все это значит? — но Лельский, разрезывая прилежно рябчика, показывал вид, что он ни о чем другом не думает, как о кушанье, которое было у него в тарелке. Валериан ничего не мог есть во все остальное время обеда. Граф, гости его, великолепно освещенная столовая, роскошный стол — все исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего, да еще мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного обольстителя, и старик, отец его, который простирал к нему руки с пылающего костра.

Обед кончился, и все из столовой перешли чрез залу в гостиную. Некоторые остались в зале. Валериан, взяв за руку Лельского, подвел его к окну с намерением требовать от него объяснения; но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо:

— Потерпи! Ты видишь, что здесь еще есть не наши.

Часов в девять вечера Бирон уехал. Потом и другие гости, один за другим, стали разъезжаться. Пробило десять часов. Обыкновенно в это время в царствование императрицы Анны Иоанновны прекращались уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу; но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Валериан, остались еще у графа и посматривали исподлобья на одного седого сенатора, который, разговорясь с графом о старинном, прошлом времени, совсем, казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиною превзошли бы дюжину нынешних, сложенных вместе, и имели сходство с большою репою, старичок воскликнул:

— Что за чудо! Уж одиннадцать... нет, виноват!.. без двух минут одиннадцать часов! Как я засиделся! Прощайте, ваше сиятельство!

Граф проводил гостя и возвратился в гостиную. Графиня давно уже ушла в свои комнаты.

— Ваше сиятельство! — сказал ему вполголоса отставной майор Возницын. — Все, которых вы здесь теперь видите, уважают и любят вас как отца. Зная вашу опытность, обширный ум государственный и горячую любовь к отечеству, мы решились просить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на все решились для блага отечества.

— Что это значит? — спросил удивленный граф. — Вы неосторожны, майор! Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать!

Лельский стал у растворенной двери, глядя чрез нее в пустой зал.

— Вы одни, граф, — продолжал тихо Возницын, — как истинный сын отечества, осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго во зло доверенность покойной монархини. Он поклялся вечною к вам враждою и ждет давно случая погубить вас. Теперь враг ваш — полновластный правитель. Но кто не знает, какими неотступными просьбами, какими происками успел он убедить монархиню подписать акт о регентстве. Он не устыдился беспрестанно тревожить ее на одре болезни. Она желала назначить правительницею принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего императора, и говорила на просьбы Бирона: «Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели!» Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий. Из этого всякому ясно: была ли воля монархини на то, чтобы герцог был правителем. Черная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя или, лучше сказать, похитителя власти? Мы решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть перешла по праву в руки родительницы императора. Средств у нас много. Мы их откроем вам, граф! Отдадим их на суд ваш. От вас будет зависеть избрать из них одно или все отвергнуть. Мы свято исполним решение ваше, уверенные, что оно основано будет на долговременной опытности в делах государственных и на прямой любви к отечеству.

— Вы поставили меня в самое трудное положение, — отвечал граф, — вы поступили безрассудно! Спрашиваю вас: если я в совести признаю Бирона

правителем, получившим власть в свои руки по праву, то что я должен теперь делать?

— Донести на нас! — отвечал Возницын.

— Кто подписал акт о регентстве?

— Покойная императрица; но можно ли считать этот акт ее волею, когда Бирон...

— Остановитесь! Кто вам или мне дал право быть судьею в таком важном деле? Где доказательство, что Бирон назначен правителем против воли императрицы?

— Могла ли она добровольно назначить правителем такого злодея и обидеть родную племянницу? Утверждать это — значит оскорблять память монархини!

— Но какие причины побуждают вас действовать против Бирона?

— Он сжег моего родного брата!

— Уморил с голоду моего отца! — сказал Лельский.

Все начали один за другим исчислять жестокие и несправедливые поступки Бирона и описывать бедствия, причиненные им отечеству.

— Он погубит и вас, граф! — сказал Возницын.

— Пусть погубит; но это не дает мне право против него действовать. Власть дана Бирону монархиней, и долг мой велит ему повиноваться. Один бог будет судить его. Акт о регентстве должен быть свято исполняем.

— Но он сам первый нарушил этот акт. Монархиня повелела ему оказывать должное уважение родителям императора, а он беспрестанно оскорбляет их. Вы сами, граф, это знаете.

— Справедливо; но в этом случае родители императора сами имеют средства принудить Бирона к исполнению акта. Какое имеете вы право вступаться в это дело без их воли?

— По точной воле их мы действуем, граф! — отвечал директор канцелярии принца Брауншвейгского Граматин.— По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы отечества. Я уполномочен объявить вам это. Чрез меня они ожидают ответа вашего.

Граф задумался.

— В числе придуманных средств к свержению Бирона,— продолжал Граматин,— находится и то, чтобы с семеновским полком, которым принц командует, идти во дворец, схватить Бирона с его приверженцами, лишить звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регентстве. Одобряете ли вы это средство, граф?

— Бирон — враг мой, и потому мнение мое легко может быть пристрастно. Скажите, однако ж, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной нарушенной части акта нарушить весь акт.

— Но какое же, граф, ваше собственное мнение?

— На этот вопрос мне отвечать затруднительно. Мнение мое не будет приятно для принца. Сказать лесть или ложь против совести я не могу, открыть же истинное мое мнение не хочу и на это имею причины.

Все начали убедительно просить Головкина, чтобы он сказал свое мнение; все умоляли его именем отечества.

Убежденный неотступными просьбами, граф сказал:

— Поклянитесь прежде, что вы сохраните до гроба втайне мое мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие: да! И это будет самая священная клятва.

Все исполнили требование графа.

— По завещанию императрицы Екатерины I, право на престол принадлежит теперь цесаревне Елисавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол. Если бы она захотела воспользоваться ее правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регентстве недействительным, так как этот акт состоялся после завещания императрицы Екатерины, которое не уничтожено и имеет полную силу. Но Бирон на все решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролитие. Это лишь удерживает цесаревну Елисавету от предъявления неоспоримых прав ее. Без ее воли акт о регентстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права ее на престол будут еще сильнее, неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать.

Без акта и малолетний император и родители его лишатся всех прав своих.

— Однако ж принц твердо решился низвергнуть Бирона,— сказал Граматин.— Что должен я буду ему сказать от вас о мере, им придуманной?

— Скажите принцу, что я считаю эту меру насильственною и опасною. Измайловским полком командует меньшой брат Бирона Густав, а конным — сын герцога Петр. Если принц поведет семеновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противостанут. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может. Если же принц непременно уж решился действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она приняла на себя управление государством во время его малолетства и избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Бирона всей его власти. Все ненавидят его, и, без сомнения, никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему; пусть он окончит это дело. Я не хочу присваивать себе чужих заслуг; ему принадлежит эта мысль; пусть принц и принцесса будут ему обязаны и за исполнение его мысли.

Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал:

— Я открыл вам то, что следовало бы таить во глубине души. Теперь от вас зависит предать меня.

Все поклялись хранить в нерушимой тайне участие графа в этом деле.

IX

На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому с приготовленною просьбою, множеством лиц подписанною. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал втайне к Бирону такую же ненависть, как и все они. Тем с большею уверенностию в успехе последовали они совету Головкина.

Князь велел пришедших позвать в кабинет.

— Что вам угодно, господа?— спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью.

Возницын объявил цель их прихода и подал приготовленную бумагу.

— Прекрасно!— сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть свое волнение.

— Это ваша мысль, князь,— продолжал Возницын,— отечество вам вечно будет благодарно!

— Как моя мысль? Кто вам сказал это?

— Вы бы не сказали «прекрасно», если бы думали иное.

— Поймали меня, майор!.. Ну, герцог! Теперь немного осталось тебе властвовать! Не должно терять ни минуты; я сейчас же поеду с этой просьбой к ее высочеству принцессе. До свидания, господа! Я пойду одеваться. Советую, однако ж, быть как можно осторожнее, без того можно голову потерять. Впрочем, успех несомнителен! Я вас ожидаю к себе завтра утром.

Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись в хижину на огороде, где были накануне.

Князь Черкасский, оставшись один, начал расхаживать большими шагами взад и вперед по комнате. Сначала решился он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Бирон нарочно подослал приходивших с просьбой людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети.

— Нет, господин герцог, не поймаешь меня!— подумал князь и поехал немедленно к Бирону, для представления ему поданной просьбы.

Между тем Маус явился к Лельскому с донесением.

— Ну, что доброго нам скажешь?

— Все благополучно. Герцогу ничего еще неизвестно.

— Не забудь: ни слова о Головкине при этой твари!— сказал Лельский на ухо Валериану.

— Что это, господа? Вы шепчетесь? От меня, кажется, не для чего таиться.

— А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо? Это неприятная для тебя новость.

— Какая?

— Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уж порядочно позавтракал. Признайся: верно, выпил полынной?

— Нет, я всегда пью только сладкую водку, и весьма умеренно. Нос мой покраснел от холоду... Ба! Что это? Сюда идут люди! Спасайтесь, господа!

Маус вскочил на печь и прижался в угол.

— Вяжите их! — вскричал Гейер, входя в хижину с прислужниками. — Обыщите всю избу: нет ли еще кого-нибудь здесь.

— Я здесь, господин Гейер! — отвечал спокойно Маус, слезая с печи. — Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ; у меня волосы стали дыбом: они условились убить герцога. Под печкой спрятано у них платье монахини и кинжал. Вот, извольте посмотреть! Я давно уж присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне подозрение, я решился их подслушать и сделал свое дело, несмотря на то, что жизни моей грозила величайшая опасность.

— Ты усердный и искусный малый! — сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. — Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом. Вот как надобно служить! — продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. — Берите все с него пример.

— И от нас тебе спасибо, Маус! — сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем как тот затягивал ему руки веревкою. — Ты нам так же усердно служил до сих пор.

— Ге, ге! Старая песня, почтенный! — возразил Маус. — Кого из нас, грешных, пойманные нами злодеи не оговаривают, да жаль, что никто им не верит.

— Не стоит и отвечать на клевету, Маус! Ведите их! — сказал Гейер.

Возницын и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены еще прежде Лельского и Валериана. С огорода вывели их на берег Фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырех вооруженных прислужников и Мауса, Гейер сказал последнему:

— Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников; ты знаешь куда. Смотри, чтоб все было готово для допроса. Герцог приказал представить

ему немедленно признания всех заговорщиков. Вези их скорее. Я приеду вслед за тобой.

Валериана и Лельского повезли по берегу Фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал.

— Бедный батюшка! Ты уж никогда не увидишь твоего сына! — произнес он прерывисто.

— Вот дом твоего отца! — сказал ему Маус.— Тебе еще неизвестно, что и почтенный твой родитель в наших руках. Господин Гейер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. С еретиками суд короток: взведут на костер — и поминай как звали!

Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова на Валериана. Готовясь к скорой и неизбежной смерти, несчастный вдруг узнал, что, отвлекшись обманчивою надеждой на успех предприятия против герцога, он возвел престарелого отца своего на костер.

— Боже! Неужели я отцеубийца? — с ужасом и неизобразимою тоскою спрашивал он мысленно самого себя.— Ты мог спасти и не спас отца твоего! Да, ты отцеубийца! — говорил ему неясный внутренний голос. Трепет пробегал по всем членам Валериана, и холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги — и терзаемое раскаянием сердце отвергло свою любимицу. «Любовь к ней,— думал Валериан,— сделала меня отцеубийцею!»

Ханыков, несколько дней везде искавший понапрасну своего друга, узнал об его участи вскоре после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более, что граф Миних, убежденный просьбами Ханыкова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступиться за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил свое намерение отцу несовершеннолетнего императора, принцу Брауншвейгскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратило бы ему Ольгу.

Немедленно Ханыков побежал к фельдмаршалу и рассказал ему случившееся с Валерианом, все еще питая слабую надежду, что твердость и необыкновенный ум графа найдут средство по крайней мере спасти Валериана от казни и облегчить судьбу его.

Выслушав Ханыкова, Миних пожал плечами и сказал:

— Жаль, очень жаль! Пылкость увлекла его слишком далеко: теперь уж спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом.

Ханыков невольно признал справедливость слов графа и вышел от него, погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идет, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собою дворец цесаревны Елисаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ. Желая испытать еще какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханыков, без определенного, впрочем, намерения, решился войти во дворец Елисаветы, презирая опасность, которой подвергался; потому что это могло опять навлечь на него подозрение и подвергнуть пытке, как уже прежде то случилось.

Он вошел в залу. Фрейлина, там бывшая, по просьбе Ханыкова доложила о нем цесаревне Елисавете.

Хотя Елисавета в то время достигла уже тридцатого года жизни, но и осьмнадцатилетняя красавица могла бы втайне позавидовать цесаревне, смотря на ее лилейную белизну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках, на пурпуровые уста, которые украшались постоянною улыбкою, на темнокарие, полные жизни глаза, на черные прелестные брови. Сверх того Елисавету отличали высокий рост, тонкий и стройный стан, величавая походка, ясный взор, который выражал проницательность и живость ума и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца.

— Здравствуй, капитан! — сказала цесаревна приветливо, выйдя из внутренних комнат в зал в сопровождении ее фрейлины.

Ханыков поклонился и почтительно поцеловал руку, которую подала ему цесаревна с таким доброжелательством во взоре, что не заметно в ней было и

тени важно-холодного соблюдения дворских обычаев.

— Я слышала, ты пострадал, Ханыков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я для собственного удовольствия оказывала покойному отцу твоему. Я сердечно о тебе пожалела.

— Мне бы следовало благодарить ваше высочество, но... простите солдата! Чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства.

— Странно, что герцог и меня вздумал подозревать в замыслах против него! Это меня удивило. Его обращение со мной, с тех пор как он сделался правителем, стало гораздо лучше, чем прежде. Он, кажется, искренне расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову назначить мне по пятидесяти тысяч рублей в год пансиона, если б он питал ко мне неприязнь и считал меня для себя опасною.

— А я смею думать иначе, ваше высочество: это именно и доказывает, что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны. Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли своей служат укором всех его поступков. Ах, ваше высочество! Долго ли отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времен лучших?

Цесаревна вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от нее отдалении, сделала ей знак рукою, чтоб она удалилась.

— Если бы провидение вложило в сердце вашего высочества намерение потребовать исполнения неоспоримых прав ваших на престол, то Бирон...

— Не говори мне этого, Ханыков! Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться. Мне ли, слабой женщине, управлять обширнейшим в свете царством, когда тяжесть этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой! Достанет ли у меня сил принять на себя пред богом ответственность за счастие миллионов? Последний подданный, по моему небрежению или неведению несправедливо обвиненный и погибший в напрасном ожидании моей защиты, потребовал бы меня на страшном суде к престолу царя царей и обвинил бы меня пред ним.

— Ваше высочество! Скажу вам прямо, что думаю и чувствую. Если пред царя царей потребуют вас все

погибшие от злобы Бирона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут: «Елисавета могла бы спасти нас, и не спасла»,— что вы скажете в оправдание?

Слова эти произвели глубокое впечатление на цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну и в задумчивости устремила взоры на покрытое тучами небо.

— Не проходит дня, чтобы кровь новой жертвы не обагрила секиры палача!— продолжал с жаром Ханыков.— Воздвигаются костры, и стоны сожигаемых летят к небу. Нестерпимые мучения пытки исторгают признания у невинных в небывалых преступлениях, и невинные гибнут жертвами гнусных доносов, тайной вражды!

— О! Если бы я имела власть, я истребила бы навсегда все эти ужасы в памяти русских; но власть в руках герцога. Ее твердо охраняют его лазутчики и телохранители.

— Одна любовь народная может назваться неизменным и надежным телохранителем властителя; один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Бирона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят; каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям; но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет! Он только возжигает их! Цесаревна!.. Воскресите для отечества славный и счастливый век Петра Великого!

У Елисаветы навернулись на глазах слезы.

— Если б я была уверена,— сказала она с чувством,— что у меня достанет сил для этого подвига, то я решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовала спокойствием жизни для блага отечества; но я должна прежде испытать себя... Теперь стану молиться о счастии русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать. Ханыков! Ты заставил меня сказать более, нежели следовало; но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор! Ни слова более об этом!

— Ваше высочество! Осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния?

— Все готова сделать, что от меня зависит.

Ханыков рассказал все случившееся с его другом. С необыкновенным волнением и участием слушала Елисавета рассказ его.

— Спасите несчастного, ваше высочество! — продолжал Ханыков.— Ходатайство ваше за него, без сомнения, подействует на герцога.

— Оно будет бесполезно! — возразила Елисавета с тяжелым вздохом.— Герцог тем ужаснее мстит, чем более встречает препятствий в своем мщении.

— Итак, друг мой должен погибнуть! Боже мой! Как перенесет этот удар престарелый отец его? Лишиться единственного сына и так лишиться... О! Это ужасно!

Ханыков не знал еще об участи, готовившейся отцу Валериана. Елисавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханыкову:

— Отдай бедному отцу от меня это. Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания. Утешай несчастного старика, Ханыков, не оставляй в дни его скорби. О! Если б от меня зависело спасти его сына!..

Тронутый Ханыков взял перстень и, откланявшись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ, с надвинутою на глаза шляпой. Незнакомец шел с заметною робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погруженный в горестные размышления, не обратил на это внимания. Войдя на лестницу и отпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца, который шел за ним по лестнице.

— Спасите меня! — сказал тихо незнакомец жалобным голосом, приблизясь к капитану.

— Кто ты?

Незнакомец, распахнув плащ, снял шляпу.

— Боже мой! — воскликнул изумленный Ханыков: перед ним стояла Ольга. Прелестное лицо ее было бледно; страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нем изображались.

— Войдите! — сказал Ханыков, взяв ее за руку и входя с нею в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу.

— Я хотела идти к батюшке,— начала Ольга слабым голосом, после некоторого молчания,— но побоялась: там могут легко отыскать меня. Я могла бы и

батюшку погубить; он защитить меня не может. Брат герцога стал бы мстить ему.

— Вы пришли сюда из загородного дома Бирона?

— Да; он довел меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек! Какая ему польза обижать беззащитную девушку? Что я ему сделала?.. Давно ли вы видели батюшку? Здоров он? Ради бога, не обманывайте меня!

— Здоров. Мы недавно с ним виделись.

— Вы меня не выгоните отсюда? Ради бога, позвольте несколько дней у вас остаться. Я не буду долго подвергать вас опасности, я убегу, должна убежать...

— Но куда же?

— Куда-нибудь... сама не знаю!.. Туда, где брат герцога не может найти меня.

— Успокойтесь, вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит: я имею случай просить за вас цесаревну Елисавету. Она возьмет вас под свою защиту; в этом я уверен.

— Я вам целую жизнь буду благодарна.

— Вы очень ослабели; вам нужно отдохнуть. Будьте, ради бога, повеселее! Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправляюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть когда кто-нибудь придет ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы и без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь шуметь за двух. Теперь позвольте мне удалиться на аванпост и затворить эту дверь, чтоб вам было покойнее в вашем укрепленном лагере.

Чрез несколько часов пришел к Ханыкову знакомец его, отставной премьер-майор Тулупов. По праву соседства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его неохотно. Премьер-майору до этого дела не было; цель его посещений ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку.

— Здравия желаю, капитан! — сказал он громогласно, войдя в комнату.— Я думал, что вас дома нет, вы ныне запираетесь. Я было поцеловал пробой да и пошел домой; однако ж посмотрел в замочную скважину и увидел, что ключ тут; я и смекнул отдернуть

задвижки у двери внизу и вверху и вошел, как изволите видеть!

Премьер-майор в заключение громко и басисто засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия.

— Очень рад вашему посещению,— отвечал Ханыков, в мыслях посылая гостя к черту.

— Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик, так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто нас не подслушает.

— Какой заговор? — сказал Ханыков в замешательстве, опасаясь, чтоб он чего-нибудь не сказал о Валериане.

В это время еще кто-то вошел в переднюю. Ханыков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив к губам палец, замолчал.

Вошел Мурашев.

— А! любезный дружище! — воскликнул Тулупов, обнимая Мурашева.— Мы уж с тобой с месяц не видались! Позволь поздравить тебя: мне сказали, что брат его высочества на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю! этакое счастье, подумаешь!

Мурашев ничего не отвечал, тяжело вздохнул и сел в кресла.

— Да что ты смотришь таким сентябрем? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с зверобоем: я пришлю полштофа; такое лекарство, что мертвых только не воскрешает! А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка. Постой, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа; я ведь знаю, где твой графинчик стоит.

Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крякнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство.

— Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет,— продолжал он.— Набить было трубочку!.. Люблю за то Бирона: отцу родному не спустит... Славный табак!.. Человек пятнадцать в беду попались, я слышал... Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан: горечь в рот попадает... Вашего приятеля также грех попутал! Весьма это жалко! Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича... Верно, у вас табак сыр: трубка погасла.

Мурашев, сплеснув руками, взглянул на Ханыкова и спросил:

— Неужели и Валериан Ильич...

— Пустые слухи! — прервал Ханыков. — Мало ли что говорят!

— Какие пустые! — возразил Тулупов. — Я вам говорю, что...

— Граф Миних просил за него герцога — и он прощен.

— Слава богу! — сказал Мурашев. — Я именно затем пришел к вам, чтобы наведаться о Валериане Ильиче.

— Помилуйте! — закричал Тулупов. — Да я слышал от верного человека...

— Что, теперь дождь идет? Это правда! Когда же вы мне пришлете зверобойной настойки? Ведь давно уж обещали.

— Виноват, все забываю! Завтра же пришлю, и вот, узелок на платке завяжу на память.

Ханыков был на иголках. Опасаясь, чтобы Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости, неожиданно не услышала ужасной вести о Валериане, он заминал речи словоохотливого премьер-майора и наконец успел навести его на любимую колею, напомнив о ссоре с помещиком Дуболобовым из-за похищенного у премьер-майора неизвестно кем селезня. В этот раз Ханыков весьма был рад, когда началось повествование о селезне, давно ему уже известное. Рассказ начался с деда Дуболобова: кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько взял душ в приданое, словом сказать, истощены были все биографические известия о деде похитителя селезня, потом о сыне его, наконец о внуке. Повествование лилось рекою не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, схоластическому требованию единства действия, времени и места, и кончилось тем, что пропавший селезень (которого не отыскали, несмотря на все старания и меры) совершенно пропал и в рассказе.

— Таким образом, изволите видеть, — заключил премьер-майор, — этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, между тем, как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал го-

роховым киселем. Это не выдумка, поверьте моей совести, это сказывала мне Марфа Поликарповна, моя соседка, а она слышала от ее покойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова, как гороховым кисельником. Он жаловался воеводе; и однажды, по злобе, назвал Марфу Поликарповну за именинным обедом у помещика Губина трещоткой. Она также жаловалась воеводе; однако ж дело ничем не кончилось; гриб съел, разбойник!

Мурашев, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рассказа, ушел домой. Вскоре и повествователь, приметив, что уж десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи.

Ханыков подошел тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. «Дай бог, чтобы бедняжка ничего не расслушала о Валериане»,— подумал он и вскоре услышал, что Ольга произносит вполголоса молитву. Вздохнув, он сел на софу и не прежде полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что Валериану отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханыков вскочил и никак не мог уже потом заснуть.

X

В пять часов утра явился Гейер в Летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков, вынужденные пыткою.

Герцог накануне еще приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же, как скоро явится Гейер.

Бирона немедленно разбудили, и вскоре Гейер был позван в кабинет. Там Бирон, в малиновом бархатном халате, подбитом собольим мехом, неровными шагами расхаживал вдоль и поперек по кабинету. Лицо его было бледно; глаза от беспокойного и невовремя прерванного сна были мутны и красны; непричесанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове Медузы. Ужасный вид герцога мог окаменить всякого, как и вид этой баснословной головы. Даже Гейера, давно привыкшего уже к Бирону, в этот раз проняла сильная дрожь.

— Что ж ты стоишь, как чурбан? — закричал Бирон, топнув.— Читай!

Секретарь начал торопливо читать признания заговорщиков, заикаясь от робости.

— Майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе, сам писал просьбу, и никто другой его к тому не подговаривал. Он всему зачинщик по злобе против вашего высочества за смерть своего брата.

— Га! — воскликнул Бирон ужасным голосом,— колесовать его!

— Капитан Лельский не признался...

— Что ж ты не записал моего приговора, болван?

— Я полагал, что по закону суд должен прежде...

— Суд?.. Ты полагал?.. Ты, ты смеешь меня учить! — закричал Бирон, едва дыша от гнева.— Пиши: колесовать! Чтобы ночью в четыре часа за городом без огласки приговор этот был исполнен, как скоро все приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в четыре часа ночи все преступники были казнены. Читай далее!

— Капитан Лельский ни в чем не признавался. Но Маус показывает, что он хотел якобы лишить вашего высочества жизни.

Бирон онемел от ярости; губы его дрожали, глаза, страшно сверкая, как у безумного, остановились на Гейере. Он смотрел на него, как тигр, готовый броситься на свою жертву.

— Сжечь злодея! — сказал он наконец с усилием, ударив кулаком по столу.— Сжечь медленным огнем!

— Поручик Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от костра и чтобы освободить якобы из рук брата вашего высочества какую-то свою невесту.

— Расстрелять, а отца его сжечь!

Таким образом Гейер прочитал признания всех приходивших к князю Черкасскому. Все они сдержали слово, данное ими Головкину. Пытка не принудила их упомянуть даже его имя. Бирон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, Грамати-

на, показавшего, что он действовал по воле принца, то Бирон закричал:

— Отрубить обоим головы! Принц не защитится тем, что он отец малолетнего императора!

Чрез несколько минут Бирон одумался.

— Отрубить голову одному Граматину,— сказал он,— а к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. О всех уже преступниках доложено?

Гейер отвечал, что осталось доложить об одном еще; что он в тот день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуболобов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однажды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем.

— Прикажете его допросить? — спросил Гейер.

— Не о чем допрашивать, это напрасная потеря времени! Немедленно послать за ним в уезд, схватить и в мешке бросить в воду.

Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлеченный ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается.

Дуболобов, живя спокойно в деревне, не знал и не заботился о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селезня, без всякой его вины пропавшего у соседа года за три перед тем, его наконец приговорят к смертной казни.

Гейер по знаку Бирона удалился, а герцог, одевшись в богатое платье, пошел со свитою в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решетки Летнего сада.

Вскоре приехали к герцогу, один за другим, с докладами кабинет-министры: граф Остерман, князь Черкасский и Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказал никому ни слова и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубовую, украшенную золотом и резьбою дверь, чрез которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчании, которого никто не осмеливался первый нарушить.

Наконец дверь отворилась, и вошел принц Браунштейгский.

— Принц! — сказал Бирон, не встав с кресел и глядя прямо в глаза Антону Ульриху.— Известно ли вам, что я правитель государства и что я облечен полною властию решать все дела в империи, как внутренние, так и внешние?

— К чему клонится этот вопрос? — сказал спокойно принц.— Вы, без сомнения, помните, что я читал акт о регенстве?

— Но вы, вы не хотите помнить этого! — закричал гневно Бирон, топая обеими ногами.— Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая и вас, принц! Советую вам оставить ваши замыслы, а не то... страшитесь!

— Чего?.. Не вас ли, герцог?

— Да! Меня!.. Прошу вас воздержаться от этой презрительной улыбки; вы за нее можете заплатить очень дорого!

— Что значат эти угрозы? Я в свою очередь спрашиваю: помнит ли герцог Бирон акт о регенстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подает другим опасный пример!

— Не вам судить мои поступки! Вы на то права не имеете! Отвечайте мне, я вас спрашиваю, как полновластный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня?

— Замыслы?.. На этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать и не хочу.

— Я вам приказываю.

— А я вас прошу не преступать границ вашей власти.

— Не поставьте меня в необходимость поступить с вами, как с явным ослушником и мятежником!

— Остерегитесь, чтоб с вами не поступили как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем.

— Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови! Вы забыли все, чем вы мне обязаны. Знайте, что Граматин ваш во всем признался; все замыслы ваши мне уже известны.

— Я не обязан отвечать за слова и поступки друго-

го. Пыткой вы могли, без сомнения, заставить Граматина признаться, в чем вам было угодно.

— Не скроете хитростью вашего преступления: оно слишком явно, неблагодарный, кровожадный человек!

Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Бирона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога и потряс шпагу, схватив эфес левою рукою. Бирон, как бешеный, вскочил с кресел.

— Я готов с вами разделаться и с этим в руках! — закричал он, ударив по своей шпаге ладонью.

— До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?.. Все кончено между нами!.. Не знаю, не унижу ли я себя, приняв ваш вызов? Впрочем, предоставляю это вашему решению; я на все буду согласен.

Принц поспешно удалился. Бирон начал ходить большими шагами взад и вперед по зале, произнося вполголоса угрозы. Все, там бывшие, в молчании смотрели на него с беспокойством.

— Я слишком расстроен! — сказал наконец Бирон. — Я не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал! — продолжал он, обратясь к графу Миниху. — Я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить сегодня же.

Миних поклонился. Герцог, тяжело дыша, сел в кресла и подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из залы.

XI

Вдали раздавался звук барабана: били вечернюю зо́рю. Ханыков, сидя в своей комнате с Ольгою, шутил наперекор сердцу, удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от нее участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец ее бедствий, и чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслию: «Несчастная! она не знает ужасной истины. Достанет ли у нее силы перенесть удар, который неминуемо и скоро ее постигнет? Найду ли я средство защитить ее? Мудрено мне бороться с братом герцога!»

Осторожный стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханыков отворил дверь на лестницу и удивился, увидев Мауса.

— Что надобно тебе? — спросил он сухо, не впуская его в комнаты.

— Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине о весьма важном, как думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?

— Никого нет; а если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчета. Говори скорее, чего ты от меня хочешь? Мне пора спать.

— Дайте мне честное слово, что свидание наше и разговор останутся втайне.

— Вот еще какие требования! Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому хочешь, только не мне.

— Вы раскаетесь, капитан.

— Легко статься может, если поговорю с тобой подолее. Ступай, любезный! Желаю тебе доброй ночи.

— Чей это почерк? — спросил Маус, показывая записку и держа ее крепко в руке, из опасения, чтобы Ханыков ее не вырвал. Спрятав проворно записку в карман, Маус продолжал: — Что, капитан? дадите ли мне честное слово, что я могу полагаться на вашу скромность?

— Честное слово!.. Отдай мне записку.

— Позвольте войти прежде к вам; здесь, на лестнице, говорить о таких делах опасно.

— Войдем скорее!

Ханыков ввел Мауса в комнату и торопливо взял поданную записку. Он прочитал:

«Единственный, верный друг мой! Гейер уехал за город, чтобы приготовить все к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть, Маусу, если он доставит тебе эту записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня под ружья. Пользуясь отсутствием Гейера, он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспеши к другу! Может быть, слова твои несколько облегчат мои страдания.

Меня не страшит смерть; я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце,— тогда конец моим мучениям! Друг мой! если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучусь! Я строго разбирал мои поступки: бог свидетель, что я не хотел никому зла, не воображал, что родителя моего... Боже! и выговорить ужасно!.. подвергнут смертной казни!.. Не могу писать более: рука дрожит, в глазах темнеет. Поспеши ко мне. Неужели я лягу в могилу отцеубийцею? О, если бы ты мог как-нибудь оправдать меня пред моею совестью! Я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь, виновен ли я в смерти отца моего или нет. Будь судьею моим, судьею строгим, беспристрастным; поклянись мне в том именем бога. Если бы ты после того сказал мне, что я не виновен, с какою радостью, с каким облегченным сердцем пошел бы я на казнь; как бы горячо обнял тебя в последний раз! Поспеши ко мне. Тебя ждет, как ангела-утешителя, верный друг твой

В. А.»

Легко можно вообразить, что чувствовал Ханыков, читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате, и горестно воскликнул:

— Бедный Валериан!

Смертельный холод пробежал по жилам Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце ее менее бы замерло, когда б кто-нибудь, схватив ее на вершине утеса, стал держать над глубокою пропастью и готовился ее туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в которых сидела; только одно прерывистое дыхание показывало в ней признак жизни.

— Впрочем, беда небольшая!— продолжал спокойно Ханыков, тотчас после восклицания своего вспомнив об Ольге.— Мы и все туда скоро отправимся; там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице.

Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачав головою, возразил:

— Веселее? А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан!

— Как не был! Я провел там ровно три недели.

— Ага! Шутить изволите?

— Нимало!

В это время послышался шум на лестнице. Маус выбежал в переднюю и спрятался за бывшею там перегородкою. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханыков отворил ее и увидел перед собою Мурашева. Он был бледен, расстроен.

— Ради бога,— сказал он дрожащим голосом, схватив Ханыкова за руку,— позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде: мне должно бежать из города.

— Что сделалось с вами? Войдите и успокойтесь.

Мурашев бросился на стул и, ломая руки, воскликнул:

— Да, убегу отсюда, убегу, куда глаза глядят!.. Вы меня никогда уж не увидите!.. Бедная моя дочь!.. Где она теперь?.. Может быть, там?.. Он указал на небо.— Рад, всем сердцем рад, если она там: там злодей Бирон не властвует, ему нет туда дороги; ему и взглянуть туда страшно!

— Тише, ради бога, тише! — прошептал Ханыков.— Вас могут подслушать.

— Пусть подслушают, пусть перескажут слова мои Бирону!.. Я в глаза ему скажу то же!.. Сегодня утром змей Гейер пришел ко мне и сказал, чтобы я не скрывал долее моей дочери и что мне худо будет, если не послушаюсь. Злодеи отняли, украли у меня дочь и у меня же спрашивают: где она?.. Вечером вдруг приехал ко мне брат Бирона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я-де женюсь на ней. Не вытерпело мое отцовское сердце: «Вон отсюда, грабитель!» Он оттолкнул меня; я упал навзничь. Он вышел тотчас же из комнаты, говоря угрозы. Я не мог расслушать их... Да, мне должно бежать! Кто знает!.. Может быть, дочь моя спаслась уж от гонителя; может быть, она убежала от него... в Неву... И я за нею убегу туда же...

— Я здесь, батюшка! — вскричала вне себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросясь в объятия отца.

Мурашев весь задрожал, крепко обнял дочь и поднял благоговейный взор к небу. По временам опуская

глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, которая лишилась чувств, и снова устремлял глаза на небо.

— Не отнимете ее у меня, злодеи! — проговорил он наконец трепещущим голосом.— Сорвите прежде с плеч мою голову. Не дам, не дам вам ее, злодеи Бироны!

— По-настоящему я обязан донести обо всем этом,— сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату.— Я все слышал: так честить герцога и его брата!.. Воля ваша, я не смею не донести.

— Хорошо, доноси,— сказал спокойно Ханыков.— Меня также станут допрашивать, и я должен буду сказать, для чего ты сидел у меня в передней за перегородкой. Записка у меня в кармане.

— Я не говорю решительно, что донесу; я сказал только, что следовало бы донести. Это большая разница!.. Что же, вы идете со мной, капитан?

— Пойдем!

Ольгу привели в чувство. Ханыков просил Мурашева остаться с дочерью в его квартире.

— Вы будете здесь безопаснее, чем в своем доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус?

— У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести... но так и быть! Пойдемте, капитан!

XII

Через полчаса Ханыков с проводником своим были уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериан. Маус осторожно отпер дверь, ввел Ханыкова за руку в маленькую, совершенно темную комнату, запер снова дверь и, сняв крышку с принесенного им потаенного фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разлившееся по кирпичному полу сияние свечи заставило его поднять глаза; но он закрыл их рукою, отвыкнув смотреть на свет.

— Кто пришел? — спросил он.

— Это я, Валериан.

— Друг, бесценный друг! — воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханыкова. Он не мог гово-

рить более, крепко жал друга к груди своей и плакал. Растроганный Ханыков тихо подвел его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему:

— Не о жизни ли ты плачешь? Право, земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о ней. Нынче или чрез несколько лет, так или иначе, но все неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь: за несколько часов от смерти. Сильные и слабые, счастливцы и несчастные, угнетатели и угнетенные, все будут рано или поздно на твоем месте. Ты приговорен к смерти; но не все ли люди приговорены к тому же? Успокой себя, сколько можешь, размышлением, положись на милосердие божие, и ты встретишь смерть с твердостью христианина.

— Ах, друг! Я бы отдал теперь две земные жизни, все возможные блага за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть; я не устрашился бы тогда смерти. Но может ли спокойно умереть отцеубийца!

— Ты осуждаешь себя строго и несправедливо. Клянусь, что говорю по совести. Скажи, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, которая его ожидает?

— И ты можешь меня об этом спрашивать!.. Никогда!

— Мог ли ты предвидеть несчастие отца твоего?

— Мог. От меня зависело предаться в руки Гейера и спасти моего родителя. И я решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ними заодно.

— Разбери себя строго; что побудило тебя переменить твое намерение: ложное ли понятие о чести, или твердая надежда на успех вашего предприятия?

— Я был уверен в успехе. Мне казалось, что, действуя с Лельским, я скорее и вернее спасу отца моего, спасу... Ольгу; но не могу дать себе отчета, что меня более увлекало: любовь к отцу или любовь к Ольге? Трудно постигнуть и разобрать побуждения сердца! Два сильные чувства влекли его. Меня мучит сомнение: не страсть ли к Ольге меня ослепила? Если бы я не любил ее, то, может быть, решась предаться в руки Гейера, спас бы отца моего.

— Скажи мне: если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде?

— Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих; но прежде... прежде я спас бы отца моего. Так, я не обманываюсь.

— Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего отца. Ты видишь, что надежда спасти его влекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге.

— Ах, друг мой! Теперешние чувства мои, на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал еще пред собою длинный путь жизни, когда меня обольщала еще надежда, когда я думал, что бедствия и горести минуются, а вдали ждут меня счастие и радость. По теперешним чувствам моим нельзя судить прежних.

— Вижу, что сердце твое теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если б ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлеченный другим чувством, не отвратил ты гибели отца твоего, то вспомни, что одна минута истинного раскаяния может загладить пред бесконечным милосердием божиим целую жизнь, исполненную преступлений.

Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Растроганный, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и навернувшиеся на глазах слезы свидетельствовали об его благодарности за слова утешения.

Маус, неподвижно стоявший близ двери в продолжение этого разговора, подошел к столу и, взяв свой потаенный фонарь, сказал:

— Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом; но я опасаюсь, чтобы Гейер невзначай не возвратился. Благоволите проститься с вашим приятелем и удалиться до беды.

Сердце Ханыкова сжалось; неизобразимая грусть объяла его. Он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану.

— Ты уже идешь, друг? — сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу самую нечувствительную. — Неужели я смотрю на тебя в последний раз?! О!.. это ужасно! Да... я уж тебя никогда, никогда не увижу!

Слезы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столь-

ко ему любезного. Ханыков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала; он не хотел ее обнаружить, зная, что этим усилил бы мучения своего друга.

Маус накрыл между тем крышкою свой фонарь, и по тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак.

— Пойдемте, капитан; долее медлить не смею.

— Я уж не вижу тебя, друг! — продолжал Валериан. — Так будет темно в моей могиле. Теперь уж кончено, мы никогда не увидим друг друга!.. По крайней мере, я еще держу твои руки. Скажи мне что-нибудь; мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это, ты, кажется плачешь?

— Нет! — отвечал трепещущим голосом Ханыков, задыхаясь от удерживаемых слез. — Не унывай, Валериан: мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того только светит, чтобы наконец погаснуть, исчезнуть в земле, посреди червей и тления!

— Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собою. Ради бога, пойдемте; мне послышался шум.

Маус схватил Ханыкова за руку и начал тащить его к двери.

— Прощай! — сказал отчаянным голосом узник, отпустив руки друга. — Благодарю тебя! Дружба твоя усладила последние, горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!

— Не предавайся унынию, Валериан; призови на помощь твое мужество и иди смело навстречу смерти. Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда: мы увидимся в мире лучшем.

Ключ щелкнул два раза, шум шагов, раздавшийся по коридору, постепенно затих, и гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти в беспамятстве. Отчаяние задушило его в своих леденящих объятиях. Только по временам казалось ему, что вдали он слышит еще голос друга и последние слова его: «Мы увидимся в мире лучшем».

XIII

Премьер-майор Тулупов сбирался уже лечь в постелю, как вдруг услышал, что с улицы кто-то стучится в двери его квартиры.

— Кого это нелегкая принесла ко мне так поздно? — проворчал он, испугавшись, и со свечою в руке пошел отпирать двери.

— Царь небесный! — воскликнул он, увидев Дарью Власьевну.— Что это значит? Так поздно и одни! Да вы ли это?

Надобно сказать, что Тулупов лет за восемь перед тем предлагал руку свою Дарье Власьевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомства с Мурашевым; он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием: он ни в чьем доме не находил лучшей полынной водки. Между тем Дарья Власьевна, проведя несколько лет в напрасном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулупову. Наконец она решилась употреблять все хитрости кокетства, чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника; но он своею невнимательностью приводил ее в отчаяние. «Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность»,— думала она и ошибалась. Чуждый мщению, он даже расположен был возобновить свое предложение; но его развлекала неизвестная Дарье Власьевне опасная ей соперница — полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждения в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз в гостях у Мурашева стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власьевна, явясь со скатертью в руках, начинала ее расстилать на столе, или, лучше сказать, устилала этою узорною тканью путь из шкафа на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено ли, что в такие минуты оставались незамеченными и нежные взоры и значительные вздохи. Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром.

— Полагаюсь на великодушие ваше, Клим Антипович! — сказала Дарья Власьевна, закрываясь жеманно платком.— Однако крайность заставила меня в та-

кой поздний час искать помощи в доме холостого человека.

— Помилуйте, сударыня, нет нужды, что я холостой; можете положиться на меня, как на каменную твердыню. Чем могу служить вам?.. Да пожалуйте в комнату. Вы простите меня великодушно, что я такую нежданную и дорогую гостью принимаю — не при вас буди молвлено — в халате, в туфлях и в ночном колпаке! Прошу садиться, сударыня. Вот кресла.

Дарья Власьевна снова закрылась платком, взглянув на придвинутые для нее кресла: на них лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, загнув руки за спину, и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гостья этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю попали в гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли, как флаг на башне во время безветрия.

— Позвольте мне лучше сесть на вашу софу,— сказала между тем Мурашева, отняв от глаз платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдет в кресла со своими генеральскими фижмами.

— На софу? С прискорбием должен доложить вам, что я не успел еще завести софы. Впрочем, кресла весьма мягкие,— продолжал он, обтирая подушку платком.— На них ничего уже нет, сударыня. Вот я и всю пыль смахнул! А! Вы изволите смотреть на мою дубовую скамейку? Вот она, к услугам вашим.

Взяв скамью из угла, он поставил ее к столу, прямо против окошка.

— А вот, не угодно ли полюбоваться моей Венерой? — продолжал он, глядя в лицо Дарье Власьевне.— Нечего сказать, люблю заморские хитрости — страсть моя. Извольте посмотреть: словно живая. У итальянца купил.

С этими словами поднес он свечку к окошку, продолжая глядеть в лицо Дарье Власьевне. Та ахнула и снова закрылась платком.

— Что вы, сударыня, чего вы испугались? Не думаете ли, что это святочная маска или что этот гипсовый болванчик не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет, он сделан только по пояс; во-вторых, и платье на нем по самую шею. Я сам терпеть не могу тех неприличных болванчиков во весь рост,

которые... Что за напасть! — воскликнул Тулупов, схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол.

— Исполните ли просьбу мою, Клим Антипович?

— Все готов сделать, что прикажете!

— Помогите мне, я в совершенной беде! Вам известно, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше; только глупой этой девчонке вздумалось вдруг убежать. Сгибла да пропала! Искали, искали: нет как нет! Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла, и на меня раскричаться изволил. А я в чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. Как хочешь, сыщи! Господи боже мой! Где ее найдешь к утру? Угроз-то, угроз-то сколько наговорил!.. К брату идти я не рассудила: он, кажется, сердит на меня. Я и решилась идти к вам, Клим Антипович, в надежде, что вы одною ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать эту ветреную девчонку. Уж я бы ее! Из-за нее бегай тетка по городу целую ночь! А ослушаться нельзя, сами посудите!

— Совершенная правда, сударыня! Как можно ослушаться! Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу.

— По крайней мере исполним приказание его превосходительства: будем искать целую ночь; а не сыщем — что ж делать? На нет и суда нет!

— Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролет по всем улицам и закоулкам; только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо. Мне нужно одеться, как следует. Я должен надеть... шубу. Я вмиг за вами.

Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату.

Дарья Власьевна, завернувшись в свой теплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился, в волчьей шубе и в шапке из крымского барана. Долго бродили они понапрасну из улицы в улицу и, утомясь, решились наконец идти кратчайшим путем домой. Для этого пришлось им войти в

Летний сад. Был уже четвертый час за полночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарью Власьевну, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезне и о происшедшей оттого ссоре с Дуболобовым. Бедная Мурашева, слушая это повествование чуть ли не в сотый раз, верно бы уснула, если б можно было ходя спать.

— Посмотрите, посмотрите! — вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукав.

— Что такое вам чудится? Это куст; успокойтесь... Таким образом, Дуболобов, этот изверг, чучело и гороховый кисельник, вздумал...

— Ах мои батюшки-светы! Уж не убитый ли человек лежит?

— Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится... Этот гороховый кисельник, как я вам уже докладывал...

— Да полноте, Клим Антипович! Провал возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах батюшки, как я перепугалась! Думала совсем, что лежит убитый; но нет: шевелится. Видно, хмельной какой-нибудь.

— Да где вы видите?

— Вот скоро подойдем к нему. Вон, вон, между двух кустов-то! Да вы не туда смотрите!

— А, теперь вижу! Ну что ж? Какой-нибудь пьяница. Что нам до него за дело? А я вам должен в заключение доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником...

— Да это, кажется, женщина лежит.

— Помилуйте, чему дивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Ну так, женщина и есть. Пусть ее лежит, а мы с вами мимо своей дорогой пойдем.

— Поднимите меня! — закричала женщина повелительно.

— Вот еще! — сказал Тулупов. — Сама, голубушка, встанешь! Выпила лишнее: не мы виноваты.

— Молчи, грубиян! Подними меня сейчас. Как смеешь ты ослушаться герцогини!

Дарья Власьевна бросилась к ней и помогла ей встать. Тулупов остолбенел от изумления и страха.

— Веди меня ко дворцу! — продолжала герцогиня.

Тулупов, думая, что приказ этот относился не к одной Дарье Власьевне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руку.

— Прочь, мерзавец! — закричала она.— Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!

Тулупов, струсив, униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукою, а Мурашева, поддерживая герцогиню под руку, повела ее к Летнему дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Бирона, желая удостовериться, точно ли это она? Близ дворца Дарья Власьевна увидела перед собою Ханыкова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввел ее во дворец.

— Господи твоя воля! — шептала Мурашева, уставив глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханыковым.— Не во сне ли мне все это грезится?

Ханыков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшим у двери двум часовым. Дарья Власьевна подошла к капитану.

— Скажите, ради бога, что за чудеса совершаются? Что это все значит? — спросила она.

— Вы как здесь очутились?

Ханыков не сказал ей более ничего, побежал и закричал денщику своему:

— Беги за лошадью и седлай проворнее!

Дарья Власьевна, исчезая в изумлении, побрела к Тулупову. Тот все еще стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз.

— Что за диковина, Клим Антипович, уж не сила ли нечистая над нами потешается?

— Не знаю что и подумать, Дарья Власьевна,— сказал Тулупов, взглянув на нее и подняв плечи.— И мне кажется: это все не что иное, как бесовское прельщение!

— С нами крестная сила! Пойдемте скорее вон из этого сада! Кто бы мог подумать, что здесь нечистые водятся,— наше место свято! Ведь не Муромский лес, прости господи!

Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они уже в квартире премьер-майора.

— Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? — сказал он, снимая волчью шубу и пыхтя от утомления.— Прошу сесть скорее; вы, как вижу, едва

дух переводите. Я не докладывал еще вам, что изверга Дуболобова некоторые из помещиков, моих соседей, подозревали, что он чернокнижник и колдун. Я думаю: не он ли, злодей, по вражде ко мне вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение? Я вам говорю: давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под рук пропал, его дело, что он ни говори!.. Да подождите, авось и до него доберутся!

— Ума не приложу! — сказала Мурашева.— Чем больше думаю, тем больше дивлюсь: ночью, одна, в саду, на земле! Непонятно! Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фижм! А то...

— Да, да, удивительно! Мне померещилось, что она была — не при вас буди молвлено — в одной юбке! И вам в этом же образе представилось бесовское видение?

Дарья Власьевна кивнула в знак утвердительного ответа головою и закрылась платком.

XIV

Ханыков после прощания своего с другом в глубоком унынии возвратился домой. Пробило уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли ему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при Летнем дворце, и вручил ему присланное вместе с приказом предписание фельдмаршала, в котором он требовал капитана к себе для важного поручения. Ханыков поспешил исполнить все приказанное. Капитан Преображенского полка, сдав караул Ханыкову, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дожидаться его возвращения.

От Мауса Ханыков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена в четыре часа наступившей ночи за городом, на окруженной лесом поляне, близ Шлиссельбургской дороги. Естественно, что Ханыков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульне и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре 3.

«Через час страдания моего несчастного друга кончатся!» — подумал Ханыков и глубоко вздохнул.

Вдруг вошел в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе.

— Странно! — сказал Ханыков, посмотрев пристально в лицо пришедшему. — Фельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует?

— Сам граф не далее как за двести шагов отсюда и вас ожидает, капитан; поспешите!

Ханыков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье, под густою липой, разговаривая со стоявшим пред ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. Поодаль стояли три преображенские офицера и восемьдесят солдат.

Ханыков, отдав честь фельдмаршалу, остановился перед ним в ожидании его приказаний.

— Сколько человек у вас в карауле? — спросил Миних.

— Триста, ваше сиятельство.

— Мне поручено взять под стражу герцога Бирона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружье, только без малейшего шума; никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтоб они никого не окликали. Что ж вы стоите?

— Разве акт о регентстве уничтожен, ваше сиятельство?

— К чему этот вопрос?.. Я вас всегда считал отличным офицером и именно потому назначил вас сегодня в караул.

— А я потому решился спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. Покуда акт не уничтожен, могу ли я действовать против герцога: не сделаюсь ли я виновным в нарушении моих обязанностей?

— Что вам за дело до акта? Вы должны исполнять мои приказания, а не рассуждать, вам это известно, вы не первый день служите.

— Я служу не лицу, а государю и отечеству и потому в таком важном и необыкновенном деле, как настоящее, обязан наперед все узнать основательно, размыслить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и отечеству.

— Справедливо сказано!.. Так знайте же, что акт о регентстве уничтожен.

— Кем? На это имеет право одна цесаревна Елисавета. Если есть на то ее воля, то я готов действовать, готов жизнию пожертвовать.

— Воля на то изъявлена. В чем вы еще сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание.

Ханыков, не заметив двусмысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Браун-швейгской и по ее воле, поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елисавета решилась наконец осчастливить отечество и вступить на престол.

Граф Миних, приблизясь к дворцовому крыльцу, послал Манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога.

Бирон спал. Уверенный, что ему все известно чрез его лазутчиков, охраняемый тремястами солдатами, мог ли он воображать, ложась на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что грозный для всех регент будет схвачен, как преступник, и что власть его, все его могущество мгновенно улетят вместе с прерванными грезами сна. Сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты — и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина. Ничто не могло удержать его от падения: он отогнал от себя лучшего, вернейшего охранителя — любовь народную. С одним этим стражем Петр Великий пребыл невредим посреди крамол, заговоров, измены.

Отдернув занавес кровати, на которой спал Бирон, Манштейн громко сказал:

— Вставайте, герцог! Я прислан за вами!

Герцог, приподнявшись, устремил дикий взор на Манштейна.

— Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушать сон мой?

— Я имею приказание взять вас под стражу.

— Меня? Регента? Меня под стражу? — воскликнул Бирон, соскочив с постели.— Люди, люди! Сюда! На помощь! Измена!

Крик его разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать.

Видя, что никто не является на крик, Бирон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросясь на пол, хотел спрятаться под кровать; но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Бирона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ним вместе и повез сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством ожидавшей окончания этого предприятия.

Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, выбежала в сад. Манштейн велел денщику своему отвести ее назад, в ее комнаты.

— Вот, сударыня,— сказал денщик, ведя под руку жену Бирона,— напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных земляков моих...

Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил ее за руку.

— Драться не за что, сударыня! Я вам ведь правду сказал, и то любя вас.

Усиливаясь вырвать свою руку, жена Бирона споткнулась и упала на землю. Денщик хотел поднять ее, но она его оттолкнула.

— Коли нравится вам эта постеля, так извольте лежать, я мешать вам не стану,— сказал денщик и ушел.

После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в Летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну.

XV

Гейер не знал, что в столице наделалось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то же время за городом, на окруженной лесом поляне готовил все для казни приговоренных Бироном. Скованные, они стояли между солдат, сомкнувших штыки над их головами. Враг Тулупова, Дуболобов, схваченный в своей деревне и поспешно привезенный, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная за что и к чему он приговорен.

— Скажите, ради бога, что со мною сделают? — спрашивал он Гейера в тоске и страхе.

— Сам увидишь,— отвечал тот хладнокровно.

При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянные подмостки, а на них отрубок толстого бревна. Подалее возвышался, подобно огромному улью, срезанному сверху, деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, приделанное к врытому в землю невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо суетились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до бровей шляпах. Некоторые держали факелы, другие – веревки. У одного блестела в руках секира, у другого, отличавшегося ростом и широкими плечами, железная палица, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень.

Гейер, с толпою прислужников приблизясь к осужденным, велел вести прежде тех, которых Бирон приговорил к отсечению головы. Их было осьмеро. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошел на подмостки. По данному Гейером знаку ввели сперва седого старика, в молодые лета служившего с честию во флоте и проведшего всю жизнь безукоризненно. Он живо помнил славное царствование Петра Великого и тем сильнее ненавидел Бирона, святотатственною рукою повергшего отечество с высоты славы и счастия в бездну зол и бедствий. Произнося вполголоса молитву, он с твердостью подошел к плахе и, перекрестясь, положил на нее украшенную сединами голову. Гул в лесу повторил удар секиры. Обезглавленный труп сняли с подмостков и положили на траву, подле откатившейся на несколько шагов головы.

Немедленно ввели на подмостки другого из осужденных, и скоро вторая жертва жестокости Бирона лежала рядом с обезглавленным старцем.

Одного за другим подводили к плахе, и кровь лилась; между тем тот, чья воля, чье мщение двигало секиру, лишенный власти и сана, окруженный стражею, как преступник, ехал в карете по дороге в Шлиссельбург, где ожидали его заточение и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обреченных им смерти, жертвы эти были уже для него не нужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидя в грозной будущности плаху и секиру. Со-

весть, давно усыпленная посреди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могил ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, павших на пути жестокого и мстительного временщика.

Держа в руках Библию, давным-давно уже не читанную, Бирон старался успокоить себя мыслию, что в слове божием найдет он скорое утешение и легкое средство прекратить тревогу и мучение сердца, и между тем страшился раскрыть книгу: ему казалось, что в каждой строке увидит он строгий приговор делам своим.

По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренных бровей сверкали; уста судорожно двигались. Стиснув зубы, то махал он рукою грозно и повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное, быстрое падение с высоты могущества, свое бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника, с факелами в руках, возбуждали в сердце Бирона суеверную тоску. «Это предзнаменование моего погребения,— думал он.— И точно, я уже могу считать себя умершим. Еще вчера все преклонялось, все трепетало предо мною, а сегодня я ничто! Наяву ли все это свершается? Не страшный ли сон я вижу?»

Вдруг карета остановилась. Бирон услышал, что начальник стражи, которая его сопровождала, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу.

— Как смели вы остановить нас? — кричал начальник стражи.— Кто вы таковы и что тащите? Отвечайте, не то велю всех вас схватить, бездельники!

— Тащим, как видишь, мешок,— отвечал один из толпы,— а что такое в мешке, не скажем: это не твое дело.

— Сейчас говори! — закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрямца за воротник.

В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке к берегу Невы, чтобы утопить.

— Что это значит? — воскликнул начальник.— Тут человек? Говори бездельник, что это значит? Ребята, схватите всех их! — закричал он страже.

— Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не вели своим нас трогать: худо будет! Мы исполняем повеление герцога!.. Что, любезный? Вся твоя храбрость лопнула, как мыльный пузырь! Садись-ка на свою лошадь да отправляйся, куда ехал. А вы тащите мешок. Ну, ну, проворнее! Нева уж недалеко.

Начальник стражи стоял, как истукан, глядя вслед поспешавшей к берегу толпе. По данному ему приказанию, он должен был доставить герцога в Шлиссельбург в величайшей тайне. С одной стороны, сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершавшуюся по воле Бирона, который тогда сам ожидал казни и лишен уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмеливался объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида.

— Что значит эта остановка?—спросил Бирон, опустив стекло в дверцах кареты.—Где начальник стражи?

— А вот он скачет сюда. Он зачем-то слезал с лошади,—отвечал кучер.

— Для чего мы остановились?

— Вы сами себя остановили,—отвечал грубо начальник.—Вас везут в крепость под стражею, а вы все продолжаете еще губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить, да жаль, что уж вы приказывать не можете!

— А если бы и мог, то не отменил бы своего приказания!—возразил гордо Бирон.—Что однажды я повелел, то должно быть исполнено!

Карета поехала далее. Между тем Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железною палицею, готовился раздробить ему руки и ноги одну за другою и нанести наконец удар милости в голову. Старика Аргамакова и Лельского, связанных, втащили по приставленной к срубу лестнице, опустили на накладенные в нем хворост и солому и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил из всех щелей сруба, и сухой хворост затрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двенадцатью

солдатами. Он слышал, как звенели шомполы, прибивая пули в дулах ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала.

В эту минуту сердце Валериана, до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно оледенело от ужаса: в это сердце целились двенадцать ружей; двенадцать пуль при слове «пали!» должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стесненной жизни в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг — и я уже там, там, где будут неминуемо все! Но миг этот невыразимо ужасен!

Так думал, так чувствовал Валериан. Вдруг... раздается конский топот.

— Стой! — кричит громкий голос. Кто-то подбегает к Валериану, торопливо снимает повязку с глаз его и заключает юношу в объятия.

Кого же видит перед собою изумленный, воскресший страдалец? Ханыкова, хладнокровного Ханыкова, у которого бегут радостные слезы по пылающим щекам!

— Ребята! — крикнул он солдатам, не переставая обнимать с жаром друга.— Бегите, спасайте прочих: Бирон пал! На русском престоле дочь Петра Великого!

Единодушное, радостное «ура» заглушило голос капитана.

Солдаты, ломая вдребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмостки с плахой, осыпали остолбеневшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое из солдат бросились к срубу, окруженному густым облаком дыма, вмиг приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувств на хворосте старика Аргамакова и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел еще проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубе.

Чрез несколько времени старика Аргамакова с трудом привели в чувство; но в Лельском не было заметно никаких признаков жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами.

— Поспешите спасти несчастного Дуболобова! — воскликнул Возницын.— Его понесли к Неве; ради бога, бегите за мной скорее!

Несколько солдат кинулись за Возницыным. Навстречу попались им возвращавшиеся прислужники Гейера.

— Куда вы его девали, душегубцы? — воскликнул Возницын, вне себя бросясь на одного из прислужников.— Говори — или смерть!

Один из солдат приставил штык к боку прислужника, прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны.

— Умилосердитесь надо мной! — пропищал, заикаясь, прислужник,— не я опустил мешок в воду.

— Веди нас, злодей! Покажи место, где вы несчастного бросили.

Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье, несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же; но все понапрасну: несчастного не нашли; он погиб жертвою мелочной ненависти и безыменного доноса; погиб за то, что у соседа его пропал селезень и что он когда-то за приятельским обедом, развеселенный вином, имел неосторожность в кругу друзей назвать в шутку Бирона медведем.

XVI

Наутро общая радость, возбужденная разнесшимся слухом о вступлении Елисаветы на престол, уменьшилась, когда узнали, что принцесса Брауншвейгская, с помощью графа Миниха, нарушив акт о регентстве и низвергнув Бирона, объявила себя правительницею. С нарушением акта права Елисаветы на престол делались еще неоспоримее. Через год, когда принцесса Брауншвейгская, подстрекаемая окружавшими ее иноземцами, решилась объявить себя императрицею и отдалить навсегда отрасль Петра I от престола России, им возвеличенной и прославленной, когда Елисавете грозил брак против воли или заточение в монастырь, она решилась действовать — и обрадованное отечество вскоре увидело на престоле

дочь Петра Великого. Законы, о которых Петр изрек: *«Всуе законы писать, когда их не хранить»,*— утвердились в силе; судьба граждан не зависела уже от произвола и своекорыстия иноземного пришельца; вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать делами государства и даже престолом, прекратились; тайные доносы прекратились; одни злодеи и лихоимцы, к общей радости и счастию всех честных и добрых граждан, стали бояться обличения их тайных преступлений и явной, открыто и неминуемо карающей силы законов. Науки, искусства, словесность, эти нежные растения, насажденные рукою преобразователя России и притоптанные Бироном, снова оживились лучами, ниспавшими с престола.

Вечером, накануне 1-го января 1742 года (это было чрез месяц по вступлении на престол Елисаветы), Мурашев пригласил к себе родственников и приятелей встречать Новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина на софе. Валериан ходил взад и вперед по комнате, держа за руку молодую прелестную жену свою Ольгу. Дарья Власьевна, поместившись у окна в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал ни на кого внимания и погружен был в уныние.

— Вот уж скоро, я думаю, пробьет полночь,— сказал Мурашев,— скоро поздравим друг друга с Новым годом. Бывало, при Бироне...

— Не поминай об нем, любезный сват! — прервал старик Аргамаков.

— А для чего не поминать? И в «Советах премудрости» сказано: «Человек разумной должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время». Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче, время вспомнить иногда прежние черные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному богу!

— Слышали вы, батюшка,— сказал Валериан,— что царица Бирона простить хочет?

— А где он теперь? Все в Шлиссельбурге?

— Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали

и отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пелымь[1].

В это время отворилась дверь и вошел Ханыков. Поздоровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу.

— В прежнее время,— сказал Мурашев,— верно, у всех бы сердце заныло; все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор; нынче, слава богу, уж не те времена! Что это, капитан, за грамотка? Чай, что-нибудь радостное, хорошее?

— Это стихи, да такие, каких на Руси еще с сотворения мира не бывало. Теперь во всем Петербурге их читают: все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля.

— Ах, батюшка, отец родной! — воскликнул Мурашев.— Дай списать. Неужто эти стихи лучше написаны, чем «Советы премудрости» или «Приклады, како пишутся комплименты»? Кто их написал?

— Адъюнкт академии наук Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился.

— Сын холмогорского рыбака?.. Спасибо Михаилу Васильевичу! Знай наших! Вот каковы рыбаки-то! Недаром я с малолетства любил этот промысел. Молчи же ты теперь, Бирон, не говори, что русские ни к чему не способны! Когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писанья; поневоле молчали все, как глупые рыбы. А вот нынче то ли еще сделают русские! Прочти-ка, сделай милость, стихи Михаила Васильевича, отведи душу!

Ханыков начал читать оду Ломоносова, написанную им при восшествии на престол императрицы Елисаветы. По окончании каждой строфы все приходили в движение, а Мурашев вскакивал с софы от восторга и восклицал:

— Голубчик ты мой, Михайло Васильевич! Расцелую твою ручку и золотое твое перышко! Где ты таких красных слов наудил? По живой стерляди, по двухаршинному осетру дам за каждое!

Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения, не могут ни на кого так подействовать, как

---

[1] Указом 17 января 1742 года Елисавета повелела возвратить Бирона с семейством и братьев его из ссылки и считать уволенными из русской службы. Потом повелено было Бирону жить в Ярославле, где он и пробыл до вступления на престол Петра III. Карл Бирон, по возвращении из ссылки, уехал в Курляндию и умер в своем поместье.

на слушателей Ханыкова; но тогда не мудрено было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный и сильный,— все это пленяло и поражало удивлением.

Только на Дарью Власьевну и на Тулупова стихи Ломоносова не произвели почти никакого действия. Первая не расслушала их, мечтая о замужестве и широких фижмах, а премьер-майор не мог находить ни в чем отрады с тех пор, как узнал о смерти Дуболобова: раскаяние беспрестанно его мучило. «Другу и недругу закажу,— часто думал он,— подавать на ближнего безыменные доносы. Бог свидетель, что я не хотел смерти Дуболобову; однако ж я убил его, убил, хотя и не нарочно, камнем из-за угла, как ночной вор, и погубил свою душу».

Чего бы не дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего непримиримого врага своего! Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если б этою ценою можно было поправить сделанное зло.

— Что вы так пригорюнились, Клим Антипович? — спросил Мурашев.— Скоро Новый год наступит. Надобно встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться.

— Раздумался я о Бироне, Федор Власьич. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмет. Ввек не забыть мне, что этот нехристь всем государством русским правил.

— Да много ли он правил: всего три недели!

— Конечно, однако ж... ох уж эти мне три недели!

— И, полно, любезный майор, есть ли о чем горевать? Пожалуйста, развеселись. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три черные недели бог послал нашей родной стороне три века светлые, счастливые!

— Видно, сбудется желание ваше,— сказал Ханыков.— Слышите ли: часы на адмиралтейском шпице бьют полночь? Вот и пушка грянула! Старый год улетел туда же, куда безвозвратно скрылись три черные недели и регентство Бирона.

1834

А. Пушкин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА





Береги честь смолоду

Пословица

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии послужит.
— Изрядно сказано! пускай его потужит...
. . . . .
Да кто его отец?

Княжнин



тец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка на-

нял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Славу богу,— ворчал он про себя,— кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel[1], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки,* т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам,* но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски,— и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользу-

---

[1] чтобы стать учителем *(фр.).*

ясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок,— отвечала матушка.— Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро,— прервал батюшка,— пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы

потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович,— сказала матушка,— поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь.— К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились. Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась

мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смо́лоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах, он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде.

«Это,— говорил он,— необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надо мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом,— где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь,— ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич,— сказал он мне, качая головою,— рано начина-

ешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель,* приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен»,— отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление,— да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич,— произнес он дрожащим голосом,— не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать,— прервал я строго,— подавай сюда деньги, или я тебя взашеи прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика, но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покряки-

вая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка,— невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться,— говорил он сердито,— воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я,— смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин,— сказал он, садясь на свое место,— воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — сказал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится; тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав: «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я отпустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня:

ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,— говорит она мне,— отец болен, при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша,— отвечала мне матушка,— это твой посажённый отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет,* находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться за печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги,

по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо,— сказал я хладнокровно,— если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич.— Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль,— сказал мой бродяга,— пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом.— Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать,— сказал я своему дядьке,— сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич.— Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленно-

го старостью. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каралинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое ешовые рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня.

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был

уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В*** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку;
Зарядим картечью пушку.

Солдатския песня

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече,— отвечал он.— Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда

сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она»,— отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка,— отвечал инвалид,— наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет,— сказала она,— он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить,— сказал он,— вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить,— продолжал он,— зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки»,— продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки,— сказала ему капитанша,— ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка

руки прямее...) А ты, мой батюшка,— продолжала она, обращаясь ко мне,— не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собой шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша.— Отведи господину офицеру квартиру, да почище».— «Слушаю, Василиса Егоровна,— отвечал урядник.— Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч,— сказала капитанша,— у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо,— отвечал казак,— только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку.— Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня, я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который

повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня,— сказал он мне по-французски,— что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь,— прибавил он,— нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша.— Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою.

Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка! — сказала ему жена.— Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься».— «А слышь ты, Василиса Егоровна,— отвечал Иван Кузмич,— я был занят службой: солдатушек учил».— «И, полно! — возразила капитанша.— Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она,— ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал,— сказал я довольно некстати,— что на вашу крепость собираются напасть башкирцы».— «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге»,— отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант.— У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню».— «И вам не страшно,— продолжал я, обращаясь к капитанше,— оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка,— отвечала она.— Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь

так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама,— заметил важно Швабрин.— Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты,— сказал Иван Кузмич,— баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я,— так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать.— Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV

ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейст-

ву, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице.

— Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли? Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею

спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша,— сказал он.— Коли уже мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу, не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты,— сказал он мне сухо,— без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так,— сказал он мне с довольным видом,— худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты,— я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич,— сказал он,— одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился: но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать,— сказал он мне,— надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте

сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам,— сказал он ей хладнокровно,— не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».— «Ах! мой батюшка!— возразила комендантша,— да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду; чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимью, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было,— сказал я ему сердито,— доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил,— отвечал он,— Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может»,— сказал я ему. «Конечно,— отвечал Швабрин,— вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывало.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не бы-

ло дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла,— сказала она,— когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется,— сказала она,— я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Шва-

брин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Глава V

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь,
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой по-

единок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении,— отвечал Савельич со вздохом,— все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу,— отвечал я слабым голосом.— Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он.— Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич,— сказала она.— Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме у коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна,— сказал я ей,— будь моею женою, согласись на мое счастие». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь,— сказала она, отняв у меня свою руку.— Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при пер-

вом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастию. «Но подумай хорошенько,— прибавила она,— со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостью молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна

не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановной дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой *А. Г.*»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило

меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь,— сказал он, чуть не зарыдав,— что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я.— Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами.— Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче, и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил,— повторял он,— вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня.— Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что́ нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку,— ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич,— отвечала Маша,— я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь,— сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги,— посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де

стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распут-

ство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
капитану Миронову,

ПО СЕКРЕТУ

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу.— Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла

догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша,— уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич.— Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпи-

лись в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна,— сказал он ей покашливая.— Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич,— прервала комендантша,— ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка,— сказал он,— коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе».— «То-то, батько мой,— отвечала она,— не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было

произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году.— Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уж бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что́ же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич,— али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши,— сказал комендант,— ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся,— тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну,— сказал комендант,— видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна.— Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту.— Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша.— Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка,— возразил Иван Кузмич,— оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли от-

сидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда...— Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна,— продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни.— Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро,— сказала комендантша,— так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело,— сказал комендант.— Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны,— отвечала комендантша.— Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами.— Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой,— сказал я,— прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.— Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел».— «Уехала ли Марья Ивановна?» — спросил я с сердечным трепетом.— «Не успела,— отвечал Иван Игнатьич,— дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпи-

лись все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну что? — сказала комендантша.— Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече,— отвечал Иван Кузмич.— Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька,— отвечала Марья Ивановна,— дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у дру-

гого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все вни-

мание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко,— сказал комендант,— будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята,— сказал комендант,— теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич.— Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубо-

кая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай,— сказал ему Пугачев,— государю Петру Федоровичу!» — «Ты нам не государь,— отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана.— Ты, дядюшка, вор и самозванец». Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось»,— повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька.— Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует»,— говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова приве-

ли к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками.— Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо,— что Марья Ивановна?

— Барышня жива,— отвечала Палаша.— Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом.— Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались кри-

ки пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня.— Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать?—спросил Савельич, неизменный в своих привычках.— Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что́ мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе».— «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском,— отвечал казак.— После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных

поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно

оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы,— сказал Пугачев,— затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти,
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным,— все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он за-

смеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии, это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. По-

служи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет,— отвечал я с твердостию.— Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу,— сказал он,— так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я.— Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть,— сказал он, ударя меня по плечу.— Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись.— Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай,— сказал он мне.— Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие!— Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина:— Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с

крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть»,— отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец.— Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух»,— сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

— «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее,— отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

— «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев.— Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился,— отвечал Савельич.— Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай,— сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

— «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге — четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

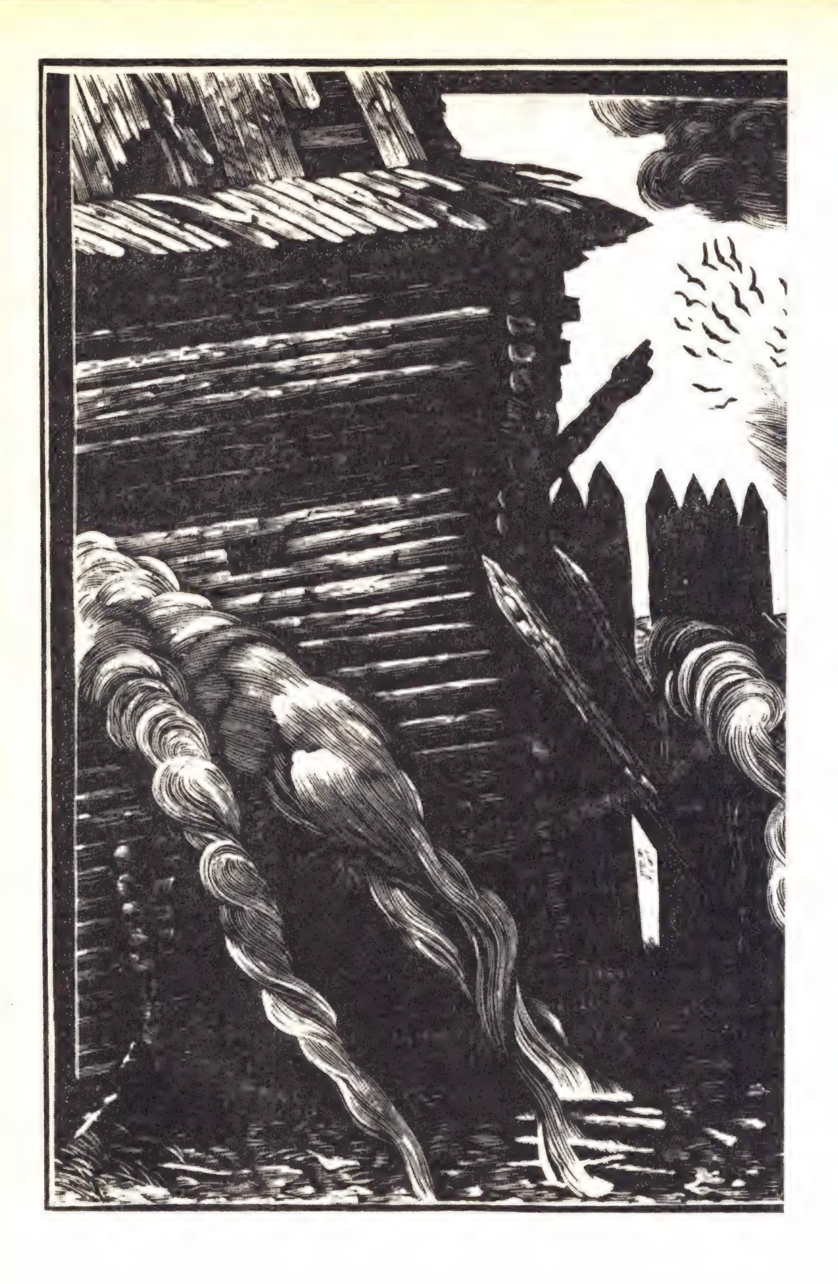
Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали ме-





ня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте,— говорила мне попадья, провожая меня,— прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще,— примолвил, запинаясь, урядник,— жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь.— Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро,— сказал я, прерывая спор.— Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше

благородие,— отвечал он, поворачивая свою лошадь,— вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь,— сказал старик,— что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов!— ска-

зал он, когда кончил я свою печальную повесть.— Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал.— Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим,— сказал он.— Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа,— продолжал он,— надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку,

то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверно-

сти удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои,— продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму,— я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам.

Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч,— сказал я ему.— Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно?— вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною,— отвечал Максимыч, положив руку за пазуху.— Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить.— Тут он подал мне сложенную бумажку и

тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился.

Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство,— сказал я ему,— прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка?— спросил изумленный старик.— Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость?— сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех,— отвечал я с жаром.— Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек,— сказал он, качая головою.— На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова,— сказал я ему,— пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm[1], и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение!— вскричал я вне себя.— А он между тем женится на Марье Ивановне...

— О!— возразил генерал.— Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

---

[1] Плут *(нем.)*.

— Скорее соглашусь умереть,— сказал я в бешенстве,— нежели уступить ее Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик.— Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсе денег? «Будет с тебя,— отвечал он с довольным видом.— Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич,— сказал я ему,— отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом.— Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе

ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать,— отвечал я старику.— Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич.— Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил са-

блю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка,— прибавил он,— волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей в углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец,— сказал один из мужиков,— сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками,— все было как в обыкновенной избе. Пуга-

чев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию.— Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них,— сказал мне Пугачев,— от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не

успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он.— Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый,— отвечал я.— Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина,— сказал грозно Пугачев.— Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить,— сказал Хлопуша хриплым голосом.— Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте.— Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая.— Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро,— сказал Пугачев.— Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу,— отвечал я,— все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев.— А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь,— подхватил старичок,— что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч,— сказал он ему.— Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов.— У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно,— отвечал Хлопуша,— и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша.— Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев.— Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться

для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах, я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен,— сказал он, мигая и прищуриваясь.— Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев.— Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что́ происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет

по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, сто́я правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый,— и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька.— Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев.— Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь.— Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрел и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что́ чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что́ станется с

Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься,— отвечал я ему.— Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев.— Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец.— Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился,— прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать,— помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да, говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом.— Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему,— управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали.

Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву.— Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

— Нет,— отвечал он,— поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай,— сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением.— Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на́ все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива,— отвечал я ему.— Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка лете-

ла по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшего времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь,— сказал он дрожащим голосом...— Государь, она не под караулом... она больна...она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней,— сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он.— Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев.— Это мое дело. А ты,— продолжал он, обращаясь к Швабрину,— не умничай и не ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди,— отвечал я ему,— можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда,— сказал, смеясь, Пугачев.— Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай,— продолжал я, видя его доброе расположение.— Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он.— Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич,— говорила попадья.— Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то».— «Полно, старуха,— прервал отец Герасим.— Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка

Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна.— Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец.— Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслуша-

ла меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья.— Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел сто-

ящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усастый вахмистр.— Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве.— Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие,— отвечал вахмистр.— Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я.— Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! — (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну,— продолжал Зурин,— так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то

Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину.— Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Ар-

хип Савельич! — сказал я ему.— Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного.

—Жениться! — повторил он.— Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся,— отвечал я,— когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он.— Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть потвоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте ненадобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом.— Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя

рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу[1].

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

---

[1] К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. См. стр. 489—499.—*Ред.*

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что́ сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не уны-

вай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо́, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV

СУД

Мирская молва —
Морская волна.

Пословица

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды.

Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан,— лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за́ ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер,— сказал он мне нахмурясь,— но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом,— возразил мой допросчик,— дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я расска-

зал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея.* Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изу-

мился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать,— как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя ви-

новницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала

вечером,— словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с; я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня,— сказала она голосом еще более ласковым,— если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Мария Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось,— и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом.— Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня.— Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что

государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговори-

лась с нею. «Знаю, что вы не богаты,— сказала она,— но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от*** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836

Пропущенная глава[1]

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись,— сказал он мне.— Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть»,— отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было,— говорили гребцы.— Парус не парус, мачты не мачты...» — Вдруг луна вы-

---

[1] Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринев именуется Буланиным, а Зурин — Гриневым.

шла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находи-

лась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в**.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит? — спросил я его, — зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь.

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замиранием...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский? — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне».

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. — Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением,— три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша,— говорил отец мне, прижимая меня к сердцу,— слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой,— говорила матушка.— Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка,— закричал я,— отопри!» — «Как не так,— отвечал из-за двери земский.— Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись,— сказал мне батюшка,— не таковский я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр,— сказал мне отец,— довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит,— сказал отец,— уж не твой ли полковник подоспел?» — «Невозможно,— отвечал я.— Он не будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалобным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай,— сказал я Савельичу,— пошли кого-нибудь верхом к* перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе — до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею.

Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь,— сказал я женщинам.— Есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертию. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что,— закричал я с сердцем.— Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу,— отвечала она спокойно.— Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что...— тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна,— сказал мой отец.— Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

— Сдаетесь ли?— кричал Швабрин.— Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей!— отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

— Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, за-

кричав: «Все за мною». Я схватил за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел,— сказал он нам.— А! вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам»,— сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки,— отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина,— бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин,— сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комис-

сию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки,— сказал он им,— зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш,— отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет.— Виноваты! Конечно, виноваты. Бог дал вёдро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет,— кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастия для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

Н. Бестужев

РУССКИЙ В ПАРИЖЕ 1814 ГОДА





Мы не столько выигрываем в свете, оказывая другим услуги, сколько принимая их. Возьмите увядающий цветок и посадите: сперва вы будете поливать его, потом полюбите, потому что хлопотали около него.

Стерн

ЧАСТЬ I

Глава I

Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление,— но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии.

На обрывистой горе Шомон, занятой исключительно русскими, подле самого обрыва, обращенного к городу, стояли четыре человека; сзади их множество офицеров русской гвардии и австрийских адъю-

---

В предлагаемом здесь рассказе все слова и все действия исторических лиц исторически верны, и все анекдоты, о них помещенные, справедливы. Самое происшествие, давшее повод к рассказу, истинно. Повествователь только связал частные случаи и дал возможное единство.

тантов. Один из четырех был высокого роста, плечист и чрезвычайно строен, несмотря на небольшую сутуловатость, которую скорее можно было приписать привычке держать вперед голову, нежели природному недостатку. Прекрасное белокурое лицо его было осенено шляпою с белым пером; на конногвардейском вицмундире была одна только звезда. Рядом с ним стоял человек довольно высокий, сухощавый, с усами, в синем мундире с двумя петлицами на красном воротнике; в его чертах можно было прочесть целую повесть долгих несчастий: но теперь лицо его выражало спокойное удовольствие. Он разговаривал с первым, который с лорнетом в руке, поднятой по особенной привычке почти выше плеча локтем, смотрел на высоты Монмартра, где еще раздавались редкие выстрелы умолкающего сражения.

Первый был душа союза и герой этого дня император Александр; другой — король Прусский, вознагражденный настоящими событиями и за свое терпение и за верный союз с Россиею. Двое других были Шварценберг и Барклай де Толли.

Скоро и войска, защищавшие Монмартр, начали отступать. Это была роковая минута, решившая взятие Парижа, а с этим вместе участь Наполеона и с ним участь всей Европы. Восхищенный Александр обнял короля прусского и, поздравив его с победою, сказал: «Бог рассудил нас с Наполеоном, теперь пусть потомство судит каждого из нас!» — Когда же первые восторги радости были разделены всеми присутствовавшими, император поздравил Барклая фельдмаршалом и обратил потом довольственный взор на Париж, как на приобретенную награду, как на залог спокойствия народов. Солнце садилось; город развертывался как на скатерти под его ногами. Малочисленные остатки французских войск поспешно отступали отовсюду и, входя из окрестностей в заставы, тянулись вдоль внешних бульваров, окружающих город. Массы их показывались в промежутках строений; можно было различить, какого рода войско проходило и исчезало за домами: по облакам пыли видна была конница; штыки пехоты сверкали мелкими алмазными искрами, отражая последние лучи дня; артиллерия, сопровождаемая глухим стуком колес, отсылала густые облака в глаза победителей;

как будто принужденная замолкнуть, все еще грозила своим угрюмым взглядом. Половина армии, направляясь на Фонтенебло, тянулась чрез Аустерлицкий мост, другая на Елисейские поля. Париж со своими серыми стенами и аспидными крышами был мрачен как осенняя туча; один только золотой купол дома инвалидов горел на закат ярким лучом — и тот, потухая, утонул во мраке вечера, как звезда Наполеонова, померкшая над Парижем в кровавой заре этого незабвенного дня.

Взоры Александра упивались этим зрелищем, этим торжеством, столь справедливо им заслуженным,— и в это время от селения Ла-Вильет, где уполномоченные с обеих сторон договаривались о сдаче Парижа, по долине показалось несколько верховых. Скачущий вперед останавливался, опрашивал и на ответы и на движения рук, указывавших на высоту Шомон, пустился во всю прыть к ней. Вскоре он явился на самой горе. Это был флигель-адъютант Александра, посланный с известием о перемирии. Теперь он приехал прямо от уполномоченных.

«Ваше величество,— сказал он, соскочив с лошади,— условия, на которых заключено перемирие, кончены. Войска имеют времени для отступления от Парижа до девяти часов завтрашнего утра. Маршалы, оставляя столицу, поручают ее великодушию вашему».

«Благодарю вас,— сказал император благосклонно,— вы вписали имя ваше в историю, остановив потоки крови, лившейся так долго в Европе».

Сказав это, император повторил известие королю прусскому и генералам; потом, взяв союзника своего под руку, отправился в главную квартиру в Бонди, где с трепетом ожидали уже его первейшие государственные люди Франции.

— Объявите моей гвардии и гренадерам,— сказал он, проходя мимо Барклая,— что завтра мы вступаем парадом в Париж. Не забудьте подтвердить войскам, что разница между нами и французами, входившими в Москву, та, что мы вносим мир, а не войну.

Барклай отвечал почтительным наклонением головы, и за сим вся свита государей и генералов удалилась.

Толпа молодежи, которая удерживалась в пределах молчаливости присутствием монархов, заговорила громким говором, когда принуждение исчезло. Радостные восклицания и поздравления сливались в одном невнятном шуме. Наконец вся толпа, насмотревшись на Париж и окрестности с того места, где стояли союзные государи, начала спускаться под гору, между кучками солдат распространяя известие о завтрашнем параде и вступлении; молва об этом полетела во все стороны.

Стан союзников представлял теперь живую картину всех ужасов сражения и торжества победы: стрелки стягивались, отряды соединялись, раненых носили сквозь биваки, которые разрастались с неимоверною скоростию; легко раненные шли, опираясь на свои ружья; все искали своих полков, и когда шумная молодежь вышла на шоссе большой дороги, между множества конных и пеших, которые толпились во всех направлениях, увидели они кирасира, который вел на поводу раненую лошадь и плакал. Это удивило любопытных; около него собрался кружок; все спрашивали, о чем он плачет?

Широкоплечий малороссиянин рассказал, что он всю службу не расставался с этою лошадью, свыкся с нею, как с родною, и теперь не может без горя видеть, что она тяжело ранена.

— Ну, куда же ты ведешь ее? видишь ли, как она мучится?

— Неужели хочешь, чтоб она издохла среди бивака? вылечить ее нельзя.

Кирасир остановился, начал ласкать бедное животное; слезы лились по загорелым щекам и порыжелым усам; когда он снимал седло и мундштук, он вытащил свой огромный палаш: «Когда так — нечего делать,— сказал он,— по крайней мере ты не будешь мучиться... прощай, Налетушко!..» — с этими словами он отвернулся, вонзил неверною рукою палаш под левую лопатку лошади — и пошел, всхлипывая, и закрыл руками глаза.

Офицеры безмолвно глядели ему вслед... но вскоре другие сцены и новые толпы развлекли их внимание.

С захождением солнца бесчисленные бивачные огни начали разливаться по всему полукружию, занимаемому войсками. Огромное зарево опоясало Па-

риж и, дрожа в небе, отражалось неверным светом на мрачные стены города, на разоренные предместья, на массы движущихся солдат и на поле битвы, усеянное мертвыми. Опрокинутые вверх колесами зарядные ящики, подбитые лафеты, убитые люди и лошади валялись на каждом шагу. Солдаты строили биваки, разбирая крыши, двери, ставни и другие вещи оставленных домов в предместьях, занятых во время сражения; другие разводили огни, не щадя соседних виноградников, мебели, словом, ничего, что было у них под руками. После жаркого сражения солдат неразборчив в неприятельской стороне, и особенно между пустыми домами. Вскоре показалось между ними и вино, чтобы приличнее торжествовать победу: одни покупали его у маркитантов, другие доставали безденежно, таская манерками из разбитых во время дела погребов, и тогда новость торжественного вступления распространилась, общая радость обнаружилась в шумных кликах и песнях.

Офицеры ходили кучками по всем полкам с радостными лицами; знакомые и незнакомые здоровались и целовались, как в Светлый праздник, рассказывая друг другу и про сегодняшнее дело, и про завтрашний парад, и про всю войну. Адъютанты, ординарцы и рассыльные скакали и суетились во всех направлениях. Одни были из главной квартиры государей, другие пробирались в главную квартиру Барклая; каждый искал и спрашивал своего назначения, фамилию, имена полков, приказания перелетали из уст в уста, и слова, торопливо сказанные и на лету перехваченные, раздавались со всех сторон.

У подошвы Шомон, где расположилась русская гвардия в лагере ...ского полка, около огня собралась кучка офицеров, и громкий смех, далеко разносившийся, возвещал веселое их расположение.

— Чему вы смеетесь, господа! — вскричал пришедший вновь офицер, вступая в кружок,— поделитесь со мной вашим весельем, и я хочу посмеяться.

— Посмотри, какого оригинала завоевали мы вместе с Парижем. Его поймали между ротозеями, которые вышли посмотреть на сражение, и теперь мы его вербуем в казаки.

В самом деле посредине их стоял полупьяный француз и размахивал казацкою пикою; на голове была казацкая шапка, у фрака одна пола оторвана.

— Но любезный Калесон, если ты хочешь быть казаком,— кричали ему весельчаки,— то надобно быть в куртке, оторви и другую полу.

Другую полу оторвали; офицеры божились, что он первый казак на свете; а мусье Калесон — клялся, что завтра пойдет с русскими cosaquer le Paris[1] и поведет их в самые лучшие домы.

В эту минуту раздался ужасный треск, подобный взрыву подкопа, и над головами смеющихся полетели огненные змеи гранат, лопавшихся и разгонявших веселые кучки. Все бросились в ту сторону, откуда послышался взрыв. Это было в лагере уланов... Что сделалось?.. что такое?..— спрашивали улан, которые ловили испуганных лошадей, оторвавшихся от коновязей — «взорвало пороховой ящик», отвечали некоторые.

На месте происшествия лежало пятнадцать человек убитых и обожженных, и между ними двое полковников и два офицера того полка; при них закапывали брошенный французами зарядный ящик, и мера предосторожности обратилась в пагубу от неосторожно брошенного ядра, давшего искру и воспламенившего все заряды. Тысячи убитых и раненых не производят в сражении на военного человека такого впечатления, как один убитый вне дела. По всему лагерю шум затих на несколько времени, пока печальное происшествие было передано из края в край; потом мало-помалу прежнее движение началось, и громы кликов раздавались везде по-старому. Офицеры опять волнами разливались по лагерю; по всей линии тени двигались, мелькали и исчезали.

Военная музыка и песни разных наций гремели; все постигали важность победы и радовались концу кампании. Высоты, господствующие над Парижем, исключительно были заняты русскими, которые также не могли отказать в движении удовлетворенного честолюбия; но вскоре их радость сделалась умерен-

---

[1] казаками в Париж *(фр.)*.

нее: песни и музыка стихли, и когда в лагерях австрийских, прусских и виртембергских войск раздавались еще голоса импровизаций на свои победы — на французов и Наполеона, русские, не имея с природы наклонности величаться своими подвигами, скромно и тихо готовились к завтрашнему вступлению, чистя ружья, задымленные порохом, и поправляли амуницию, потерпевшую от непогод и грязной бивачной жизни.

Гора Шомон служила сборищем разгульного офицерства, везде блистали эполеты, слышалось французское болтанье, шутки и смех с торговками и продавцами, пробравшимися из Парижа и незанятых окрестностей. Некоторые из смелейших жителей Бельвиля начали возвращаться в свои домы, в надежде найти что-нибудь нерасхищенным, в то время, как большая часть жителей всех вообще предместий, ушедшая в Париж с пожитками, со страхом ожидала, как поступят с ними северные варвары в стенах самой столицы.

Подле одного огня на этой высоте несколько гренадер чистили амуницию: один спарывал холстинные нашивки с воротника, предохраненного таким образом от непогод, другой починял наскоро сапоги; третьего ротный цирюльник держал за нос, соскабливая двухнедельную бороду. Все были заняты посвоему.

— Экая беда! — говорил один, стоя на коленях перед развернутым ранцем и подымая к свету порыжевший мундир,— и ночью он похож на зарево!.. что ж будет завтра? как быть, молодцы?.. давайте совет.

— Другого нечего делать как выкрасить,— сказал солдат, чистивший ружье.

— Да он ссядется,— перебил другой, который, несмотря на весенний холод, засучив рукава рубашки и поливая изо рта на белую перевязь, натирал ее мякотью голой руки, чтоб навести лоск на меловое беленье.

— Да он и не высохнет до утра,— промолвил сквозь нос страдавший под бритвою.

— А чтоб он высох и не сселся,— перехватил барабанщик, перетягивавший струны своего громоглас-

ного инструмента,— надо выкрасить его на тебе. Мы всегда так моем и белим шкуру на барабане.

Солдаты захохотали, но не менее того, надели мундир на хозяина, составили какую-то краску из бывших под рукою материалов, намочили ею щетки и начали натирать бедняка, который терпеливо стоял с распростертыми руками, как телеграф.

— Я тебе дал совет, Маслеников,— сказал чистивший ружье,— теперь ты скажи, чем выполировать ствол? отверка у меня так заржавела, что хуже царапает.

— Экой ты детина,— отвечал труженик, морщась от брызгов, летящих со щетки,— вынь шомпол из первого французского ружья, да и катай как воронилом, у них шомпола стальные, не нашим чета!

— И в забыль так,— сказал усач, оборачиваясь во все стороны и ища глазами где-нибудь брошенного ружья. Он увидел на самой крутости ската убитого француза, который, лежа навзничь, держал в руке ружье.

— Смотрите, братцы,— сказал солдат, силясь вытащить ружье из замерзшей руки.— Этот молодец и по смерти не хочет отдавать своей игрушки,— он сделал еще несколько усилий; наконец решил выдернуть один шомпол и когда в досаде тряхнул ружьем, то мертвое тело, расшевеленное попытками, покатилось по обрыву.

— Эх, брат, не ругайся над покойником,— сказал крашеный,— одно дело, что французы и сами народ не плохой, а другое, может, и тебе придется когда-нибудь считать звезды!

— Да не я, а он надо мной надругался. Только удалы же эти французы, собачьи дети: за этим не спор, что с ними с живыми надо держать ухо востро, а он и мертвый не плошает!..

Во время этих разговоров двое офицеров стояли поодаль в тени, чтоб не мешать солдатской веселости; смотрели, слушали и смеялись изобретательности русского ума. Это были два гвардейских полковника.

— Какова выдумка для крашенья? — сказал один

из них,— я сейчас пойду в свой полк и прикажу всех так выкрасить для единообразия.

Другой насмешливо улыбнулся и отвечал:

— Ты любишь мундиры, а я людей; мне гораздо больше понравилась похвала неприятелю; у наших людей она часто имеет вид брани, но всегда стоит доброго панегирика.

Разговор их был прерван отдаленным криком, перебегавшим от огня к огню и несшимся по всем бивакам; солдаты и офицеры повторяли какое-то имя и вслед за тем явился молодой офицер ...ского полка на усталой лошади, подъехал к разговаривающим и, увидев в одном из них своего полковника, передал ему какое-то приказание от дивизионного начальника.

— Кого вы ищете, Глинский?— спросил полковник, выслушав.

— Полкового адъютанта егерей. Я имел к нему приказание от полкового командира.

— Он проскакал недавно в полк. Но скажите, отчего вы до сих пор разъезжаете?

— Такое счастье, полковник: когда вы меня послали к Ермолову, я застал его одного; все адъютанты были разосланы, и я, благо на лошади, должен был съездить в главную квартиру.

— Что же новенького в главной квартире?— спросил первый полковник.

— Теперь идут переговоры о капитуляции Парижа и получено известие, что Наполеон в трех переходах отсюда; Мармон и Мортье отступают и стягивают к себе другие силы, поговаривают также, будто кампания не окончена.

— Право?..— сказал первый полковник, готовясь на новые вопросы, но второй перебил: «Пусти его,— сказал он,— ему сегодня было дела довольно, он хочет и отдохнуть. Г. поручик,— продолжал он, взяв за руку Глинского,— ищите адъютанта егерей, и ежели усталость позволит вам, приходите вместе с ним в мою палатку. Мы кончим ваше дежурство рюмкой доброго вина».

Глинский сжал руку своего полковника, вскочил в стремя, кольнул шпорами и окровавленные бока ло-

шади и исчез, временно появляясь перед огнями и снова пропадая в темноте.

— Как ты думаешь об этом известии? — спросил первый, проводив глазами молодого человека.

— Думаю, что мы поразим бездействием все дальнейшие попытки к продолжению войны. Французы не пожертвуют своею столицею, как мы Москвою, и для ее спасения готовы принять все условия от победителей.

— Но Наполеон, который в двух переходах?..

— Ты ошибся, в трех. С ним, кажется, дело кончено. Впрочем, ступай, крась своих солдат и не опоздай вступить в Париж. Если мы, и особенно в поновленных мундирах, будем там, то, конечно, нечего бояться движений Наполеоновых.

— Смейся, любезный друг, а я непременно это сделаю.

Они расстались. Один пошел в свою палатку, другой к полку и до рассвета натирал, красил и сушил мундиры на усталых солдатах.

Таковы или большею частью были таковы шумные и пестрые сцены всей ночи в стане союзников, тогда как мрачная тишина царствовала в оставленных предместиях. И в самом Париже улицы были пусты, несмотря на то, что огни сверкали во всех этажах домов, в которых граждане от мала до велика бодрствовали всю ночь, не смея предаться сну. Изумление, страх и ожидание неизвестного волновало все умы, одна мысль занимала каждого: что будет с городом и жителями, оставленными на произвол победителей и особенно русских, которых они по преувеличенным описаниям считали чудовищами и людоедами? Одни только патрули национальной гвардии, наскоро составленной, ходили по безлюдным улицам, предупреждая сборище людей, не имеющих ни крова, ни пристанища.

Но в это же время необходимость переворота и вопрос о восстановлении дома Бурбонов явились на сцену, и, посреди безмолвия Парижа и цепенелых его жителей, люди всех партий работали для достижения каждый своей цели. Всю ночь кипела битва мнений; даже рассвет застал ее неоконченною; но в по-

литике действия скрытны и следствия медленны; жертвы не погибают как на войне, мгновенно, и часто герой, отмеченный ее перстом, думая торжествовать победу, вдруг остается один среди поля и со стыдом бывает принужден воспевать собственное поражение.

Рассвело утро прекрасного дня; войска союзников, назначенные ко вступлению, тянулись вдоль дороги к Бонди; кавалерия, артиллерия, русская и прусская гвардия, два батальона австрийских гренадер, бывших при Шварценберге, несколько гренадерских полков корпуса Раевского стояли в колоннах вдоль шоссе, ожидая прибытия императора и короля прусского. У всех союзников на левой руке была белая перевязка; в киверах были воткнуты зеленые ветки, что было принято в сражении при Ратье для отличия своих от неприятелей[1]. Офицеры роились на дороге; различные толки и шумливая радость были на устах каждого. Одни готовились праздновать в Париже конец кампании и удовольствиями этой столицы заплатить за труды и лишения кровавой двухлетней войны; другие думали напротив, что это раннее торжество напрасно без уничтожения остальных способов Наполеона, и что будущее грозит новыми опасностями. Последнее могло оказаться верным, кто знал характер Наполеона, дух его войск и соображал с этим известие о приближении французских сил, разнесшееся по всему лагерю.

Уже было семь часов утра, как показался от заставы С. Мартен кто-то верхом; за ним ехал трубач, и когда он приблизился к голове колонн, то сошел с лошади. Это был человек высокого роста, приятной наружности, но бледный, и сильная грусть явно выражалась на его лице. На нем был синий сюртук, застегнутый сверху донизу, и шляпа с черным плюмажем. Лицо его было знакомо многим из гвардейских офицеров.— Это Коленкур, это Коленкур! — передавали те, которые знавали его, когда он был посланником в Петербурге, и танцовали у него на балах, — и офицеры, любопытствуя узнать ближе знаменитого челове-

---

[1] Эта мера была необходима потому, что под конец кампании к союзу пристали войска всей Европы, из коих многие были одеты сходно с французскими и что это было поводом к многим замешательствам во время дела.

ка двора Наполеонова, понемногу составили около него кружок; между тем как старший между ними подошел к нему узнать о его желании.— Я бы хотел видеть императора,— сказал он, и пока пошли доложить об этом Ермолову, он, узнав некоторых старых знакомых, вступил с ними в разговор и после нескольких учтивостей спросил: почему они в таком параде? — Мы вступаем в Париж и этим парадом празднуем окончание войны, отвечали ему. Казалось, эти слова пробудили национальную гордость француза: он поднял голову, отступил на шаг, расстегнул сюртук, из-под которого блеснул шитый мундир, и сказал: — Не знаю, все ли то может случиться, что предполагается?.. В это время Ермолов, вышед из своей палатки, увел с собою гостя, который вскоре отправился в главную квартиру государей; но менее нежели чрез час он уже ехал назад и вид его был еще печальнее прежнего[1].

Наконец император с королем прусским приехали и осмотрели все войска. Русские точно были в новой амуниции, и не только исправность, но даже щеголеватость отличали ряды русских героев. Никакой на свете солдат не имеет столько способности, чтобы помочь самому себе, как русский.

Командные слова полетели из уст в уста по всей линии, барабан дал знак к маршу; войска тронулись, заколебались и потекли рекою. Колонны их, следуя в мерных промежутках, скрывались в предместии одна за другою, как волны, которые бьют и подмывают оплот, противопоставленный их стремлению.

Там, где собрано много людей в одном месте, каждая новость пролетает подобно электрическому удару. Вчерашние известия о близости Наполеона, сегодняшние слова Коленкура были известны последнему флейтщику, и когда дружный солдатский шаг начал отзываться гулом между стенами пустых домов оставленных предместий, когда запертые двери и окна, инде выломленные силою, или разбитые сундуки посреди улиц показали, что тут нет жителей, то солдаты, почитая это уже самим Парижем, начали поговаривать между собою потихоньку, «что этот

---

[1] Он приезжал с договорами от Наполеона; но император, верный своему слову не иметь никаких переговоров с Наполеоном, не принял Коленкура.

вход в Париж похож на Наполеоново вступление в Москву».

— Что бы и нам так же не выступить отсюда, как французам,— говорил один.

— Что бы нам не попасть в ловушку,— прибавлял другой.

— Что мудреного,— перебивал третий,— да еще и *Сам* идет *по пятам* за нами[1].

Такие разговоры, как пчелиное жужжанье, разносились от головы до хвоста каждой колонны и передавались другим по мере той, как они вступали в улицы предместий. Наконец появились ворота С. Мартен. Музыка гремела; колонны, проходя в тесные ворота отделениями, вдруг начали выстраивать взводы, выступая на широкий бульвар. Надобно себе представить изумление солдат, когда они увидели бесчисленные толпы народа, дома по обе стороны, унизанные людьми по стенам, окошкам и крышам! Обнаженные деревья бульвара, вместо листьев, ломились под тяжестью любопытных. Из каждого окна спущены были цветные ткани; тысячи женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны. Здесь только начался настоящий Париж — и угрюмые лица солдат выяснились неожиданным удовольствием.

Между тем развернутые взводы подвигались посреди народа, который теснился, раздавался на стороны, но беспрестанно скоплялся впереди в таком множестве, что солдаты должны были укорачивать шаг, а задние взводы останавливаться, чтоб не набежать на передних. В одну из таких остановок первого взвода ...ского полка, у самых ворот, офицеры задних отделений забежали вперед посмотреть, что тут делается. Тут стоял караул только что утвержденной национальной гвардии, и как эта служба была слишком нова для миролюбивых граждан, то насмешливая молодежь, судя по сравнению, перебирала весь фронт, смеючись над неуклюжестью непривычных ратоборцев. Один из офицеров подошел к фронту и вступил в разговор с гражданином, который казался ему неловчее других под ружьем и сумою. С злым на-

[1] *Сам* в эту войну означало у солдат *Наполеона;* они всегда угадывали его присутствие в сражении, и если у наших шло дело худо, они всегда говорили: «Верно *Сам* здесь».

мерением спросил он его фамилию, но изумление его не имело границ, когда тот подал карточку со своим адресом: это был славный живописец Изабе[1]. Он избавлен был от замешательства раздавшимся криком: «Jean d'Astrakan, vive Jean d'Astrakan»[2], который повторялся кругом и снизу до верха самых труб. Все оборотились и увидели русского офицера, въехавшего верхом в ворота, в объятиях какого-то француза, который, повиснув у него на стремена, в исступлении бросил шляпу кверху, повторяя свои восклицания: vive Jean d'Astrakan! — перехваченные толпою. Эта загадка объяснилась рассказом офицера, что он за три года назад воспитывался в Париже в пансионе, в котором товарищи не могли выговаривать мудреной для них русской фамилии, называли его по родине: «Jean d'Astrakan» и что этот француз, бывший у них башмачником, теперь узнал его.

Войска двинулись опять. Перед одним из взводов этого полка шел знакомый уже нам немного поручик Глинский, герой этого рассказа, но не этой главы, посвященной героям истории. Ему едва минуло 20 лет, и свежесть молодости, соединенная со стройностью рослого стана и красотою лица, возбуждали всеобщее удивление французов. Каждый шаг взвода стоил ему просьб, убеждений и даже угроз штыками; любопытные беспрестанно перебегали дорогу, забегали вперед, чтобы больше любоваться русскими гренадерами и красивым их офицером. Бездна мальчишек бежала сбоку, спереди и со всех сторон, одни верхом на палочках, подражая казакам; другие подле солдат шагали вместе с ними под музыку. Беспрестанно сыпались вопросы: «au nom de Dieu, dites nous, si vous êtes des Russes? — Comme ils sont jolis ces Russes!» и проч.[3]. Несколько раз бедный Глинский был останавливаем за шарф; однажды какая-то старушка бросилась ему на шею и расцеловала в восхищении. Те же сцены повторялись и в других взводах — и тол-

---

[1] Изабе, Isabey — славный живописец миниатюрных портретов. Он писал портреты Наполеоновой фамилии, а после в картине, представляющей Венский конгресс, изобразил портреты всех государей и знаменитых людей того времени, участвовавших в конгрессе. Он первый ввел портреты на бумаге акварелью.

[2] Жан Астраханский, да здравствует Жан Астраханский *(фр.)*.

[3] Ради бога, скажите, вы русские? — Какие они красивые, эти русские! *(фр.)*

пы народа, следуя за ними, теснились, толкались, давили одни других, кричали, шумели и снова задвигали дорогу себе и взводам. Таким образом войска прошли бульвары Итальянский и Маделены и приближались к площади Людовика XV.

Вступление союзных государей было таким событием, какого ни древность, ни современная история не могут представить. Предшествуемые эскадроном лейб-казаков, государи тихо подвигались посреди скопления и криков громад народных. Нельзя представить энтузиазма, доходившего даже до исступления к победителям. Париж, сравненный одним писателем с океаном и домы его с волнами, которые окаменели и остались недвижимы, теперь походил на живое море: оно двигалось, текло, колыхалось, и волны его ожили, кипя, переливаясь и крутясь народом, покрывшим домы до самого верха,— в то время как земля стонала протяжным гулом от бури, его всколебавшей. Союзники, возникшие для парижан будто из недр земных — так мало они были приготовлены к их появлению; русские, которых они нашли вовсе не такими, как воображали; стройность их полков, блестящая щеголеватость офицеров, говоривших с жителями их языком, красота русского царя, миролюбивые его намерения, кротость в войсках, какой не ожидали,— все это было так внезапно для парижан, так противоположно тому, что они привыкли воображать, что появление союзников в стенах столицы стало для побежденных таким же торжеством, как и для победителей. Везде раздавались крики: «Да здравствуют государи! Да здравствуют освободители!..»

В один из таких моментов, когда скопление народа заставляло останавливаться торжественное шествие монархов на Итальянском бульваре, когда окружающие их толпы кричали, махали шляпами, когда задние ряды зрителей завидовали передним и, привставая на цыпочках, усиливались взглянуть на победоносных героев, на блистательную их свиту и парадирующие войска, позади всех раздавался жалобный, пискливый, но резкий голос малорослого горбунчика, который как ни силился приподняться на носках или вскарабкаться на плечи передних зрителей, но в обоих случаях несчастный рост изменял ему. «Сжальтесь, господа!.. позвольте взглянуть на союзников...

будьте добры!..» — кричал он под ухом одного рослого мельника, превышавшего головою всех впереди стоявших и который по доброте сердца, из передних рядов, уступая беспрестанно просьбам тех, которые его ниже, очутился в последних; добродушный великан тронулся несчастным положением карлика, обернулся к нему и, не говоря ни слова, посадил к себе на плечо, как обезьяну.

— Скажите мне, укажите, где Александр? который царь Московский? — кричал карлик, вместо того, чтобы благодарить своего покровителя.

— Вот он по правую руку.

— А это австрийцы?

— Нет, это русские.

— Не может быть! как же они без бород?

В эту минуту крики: да здравствует Александр! да здравствует Вильгельм! заколебали толпою. Карла визжал изо всех сил. Близко подле мельника два человека, порядочно одетых, вдруг закричали: да здравствуют Бурбоны! махая белыми платками. Впервые раздались эти звуки между народом, который вовсе не был приготовлен к мысли о Бурбонах: толпы зашумели, чтоб уняли этих крикунов, ближайшие тянулись к ним с кулаками, дальнейшие нагибались уже за каменьями, как вдруг пронзительный голос горбунчика покрыл все голоса вопросом:

— Что это за белая перевязка у союзников? — видно, они за Бурбонов?..[1]

Поднятые руки опустились; камни выпали; чернь обратила внимание на белую перевязку союзников и потом мрачно озирала бурбонистов, которые, ободрясь, громко кричали свои возгласы, начавшие повторяться во многих местах бульвара.

— Возьми мой платок, махай и кричи: за здравствуют Бурбоны! — говорила карле одна женщина, стоявшая подле мельника, — вот тебе за это два наполеона[2].

— Чтоб я стал кричать, чтоб я стал махать и продавать императора?!. вот тебе за это, негодная женщина, — кричал, горячась, карлик, раздирая белый платок, ему данный, и бросая лоскутья на воздух.

---

[1] Цвет знамени рода Бурбонов белый.

[2] Наполеондор, или просто наполеон — золотая 20-франковая монета.

— Вот бурбонские кокарды!.. белые кокарды! — кричали около стоящие, смеючись на несшиеся по воздуху лоскутья; но что для близких было смехом, то отдаленные приняли за настоящее дело: лоскутки ловили женщины, драли новые платки, белые кокарды вмиг очутились на шляпах — и крики: «да здравствуют Бурбоны» начали сливаться с криками победителей. Вскоре имена государей и Людовика XVIII были нераздельными восклицаниями. Все думали угодить этим союзникам, хотя в это время никто из них не помышлял еще о Бурбонах!..

Толпы волновались и кружились; давили друг друга, бросались под ноги лошадям государей, останавливали, осыпали поцелуями конскую сбрую, ноги обоих монархов и почти на плечах несли их до площади Людовика XV, где они остановились на углу бульвара видеть, как будут проходить войска.

Площадь захлынула народом, едва оставались для прохода взводов места, охраняемые казаками. Цвет парижского общества, тысячи дам, окружали и теснили со всех сторон государей. Военные султаны, цветы, колосья и перья дамских шляп колыхались, как нива. У каждого из адъютантов, у каждого верхового стояли на стременах дамы,— один казак держал на седле маленькую девочку, которая, сложив ручонки, глядела с умилением на императора, у другого за спиною сидела прекрасная графиня де Перигор[1], которой красота, возвышаемая противоположностию грубого казацкого лица, обращала на себя взоры всей свиты государей и войск, проходивших мимо с развернутыми знаменами, с военною музыкою, с громом барабанов, в стройном порядке, посреди непрерывных и оглушающих кликов народа. Русские более всех внушали энтузиазма: наружность всегда говорит в свою пользу, и рослые гренадеры, красивые мундиры, чистота, как будто войска пришли сию минуту из казарм, а не из дальнего похода, необыкновенная точность и правильность их движений, а более всего противоположность народной физиономии с фигурами австрийцев и пруссаков, обремененных походною амунициею, изумляла французов. Они не верили, чтоб северные варвары и людоеды были

---

[1] Бывшая после герцогиня Дино, племянница Талейрана.

так красивы; они были вне себя от восхищения, когда почти каждый офицер русской гвардии учтиво удовлетворял их любопытству, мог с ними говорить; тогда как угрюмые немцы, ожесточенные противу французов, сердито отвечали на все их вопросы: «Ich kann nicht ferstehen!..»[1]

Наконец войска прошли; государи удалились; толпы мало-помалу рассеялись; но волнение парижан еще не утихло. Партия роялистов, разъезжавшая целое утро с белыми знаменами и белыми кокардами, ободренная кликами за Бурбонов во время шествия войск, отправилась по городу, сопровождаемая множеством народа, который увлекается всякою переменою; они сбивали вензеля Наполеоновы, ломали императорские гербы, наконец явились на Вандомской площади. Там они отбили дверь, ведущую на колонну Наполеонову; множество людей взобралось на самый верх статуи, они неистовствовали; сбили изображение победы, бывшее у него в руке, заложили за шею статуи веревку, сбросили другой ее конец вниз, запрягли несколько лошадей и при бешеных криках: «a bas le tyran! a bas L'usurpateur! a bas le mangeur d'enfans...»[2] старались опрокинуть колоссальную фигуру, но образ исполина, уронив только из рук победу, остался непоколебим и посмеивался их ничтожным усилиям!..

Вскоре по городу пошли смешанные патрули союзных войск и национальной гвардии. Порядок был восстановлен — и на этот раз изображение великого человека было избавлено от поругания.

Союзники в ту же ночь были почти все размещены по казармам. На другой день офицерам выданы билеты на постой, и с этого времени начинается наш настоящий рассказ.

Глава II

Поутру, после худо проведенной ночи в так называемой Вавилонской казарме, в предместии С. Жермен, офицеры всех полков, там квартировавших, по-

---

[1] Я не понимаю *(нем.)*
[2] долой тирана! долой узурпатора! долой фанфарона... *(фр.)*

лучили от своих полковников билеты на постой в городе.

Полковник гвардии ...ского полка, один из тех, которых мы третьего дня видели у бивачного огня на горе Шомон и у которого Глинский служил в полку поручиком, был необыкновенно добрый человек, с положительным умом и твердым характером, неискательный и нетребовательный. Он получил изрядное образование, но по светским и по настоящим обстоятельствам оно было недостаточно, потому что он не говорил ни на каком иностранном языке, хотя и читал на двух или трех. Он стыдился этого недостатка, тем более что французский язык был необходимою вещью для гвардейского офицера, а особенно теперь, в Париже. Из всех офицеров своего полка он наиболее любил Глинского, как юношу, порученного ему отцом, как человека с прекрасными качествами, которые он употреблял не для того только, чтобы блистать ими подобно многим из товарищей, но для приобретения новых развитий своим способностям. Всю кампанию Глинский пользовался расположением своего полковника и вполне заслуживал его.

— Вадим,— говорил ему полковник, взяв из рук Глинского билет,— я хочу доставить вам лучшую квартиру: возьмите мой билет. Мне назначили постой в самой модной части города, у какого-то знатного и богатого маркиза.

— Где же вы сами будете жить, полковник? Каким же образом я отниму у вас квартиру? почему вы не хотите жить на ней?..

— Я буду жить в трактире: мое состояние позволяет мне это, и там я буду сам себе господин, тогда как при моем чине или буду беспокоен для почтенных хозяев, или они будут мне в тягость. Вы молоды: небольшое принуждение не должно быть вам тяжело, тем более что у вас на первый раз готово порядочное знакомство. А я каким образом познакомлюсь? на каком языке буду объясняться с модными парижанами? Возьмите билет и веселитесь в Париже.

Глинский благодарил доброго полковника как мог. Молодому человеку лестно было с первого дня вступить в лучшее общество Парижа и, следовательно, воспользоваться всем, что могло ему представить любопытного и приятного эта столица вкуса и ро-

скоши. С веселым сердцем отправился он искать своей квартиры, и первый попавшийся навстречу мальчик повел его в предместие С. Жермен, в улицу Бурбон, как значилось в его билете.

Кто бывал в Париже, тот, конечно, припомнит положение улицы Бурбон, первой вдоль берега Сены и где все почти домы знатнейшей парижской аристократии построены наподобие дворцов, имея с одной стороны обширный двор, а с другой сад. Огромный дом маркиза Бонжеленя, у которого Глинский остановился с провожатым, был подъездом на улицу и составлял с флигелями подобие буквы П. Великолепные железные сквозные ворота затворяли большой двор перед домом, сзади которого, до самой набережной Сены, простирался довольно пространный сад. По обе стороны ворот, в колоннаде, их составлявшей, были небольшие флигеля, из которых в одном помещался привратник с женою. Оба они выглянули в свое оконце, когда Глинский спросил: дома ли маркиз, и оба в один голос отвечав утвердительно, выскочили под ворота: муж проводить гостя с низкими поклонами наверх, а жена пересказать всей дворне, что к ним зашел какой-то иностранный офицер.

Русский на другой день вступления в Париж, имеющий надобность до маркиза, в ту же минуту был допущен. Его провели чрез ряд богато убранных комнат, увешанных картинами лучших мастеров; наконец в кабинете увидел он маленького сухого черного человечка, зашитого во фланель с головы до ног, в папильотках и который торопился надевать кое-как сюртук, чтобы принять гостя. Это был сам маркиз, который побежал с извинениями, что принимает в таком наряде потому только, что не желал заставить дожидаться офицера армии победителей ни одной минуты. После нескольких учтивостей он спросил Глинского, по какому случаю обязан счастьем видеть его.

— Имея билет на квартиру в вашем доме, маркиз, я решился потревожить вас; я русский офицер старой гвардии императора.

Слова: *русский, старая гвардия* заставили маркиза поднять брови и воскликнуть с видом удовольствия: «Офицер старой гвардии! Милости просим!» Видно было, что он отдавал преимущество последне-

му титулу, с которым явился к нему молодой человек. Потом, как бы желая поправить свое восклицание, он продолжал: «Милости просим! я очень рад, что могу доказать, сколько люблю и уважаю вашу нацию и сколько предан императору Александру, на которого мы возлагаем все наши надежды. Ваше имя, милостивый государь?»

Глинский сказал ему свой чин и фамилию.

— Прекрасно! M. Glinsky,— сказал маркиз, подавая руку,— с этой минуты вы узнаете, могут ли французы равняться с вами, русскими, в гостеприимстве, о котором так говорят много. Теперь позвольте мне на минуту оставить вас, чтоб кончить свой туалет и потом показать ваши комнаты. Г-н Дюбуа, прошу вас занять г. Глинского, нашего гостя домашнего, пока я оденусь,— сказал старик вошедшему человеку средних лет.— Г. Глинский, рекомендую вам друга нашего дома, г-на Дюбуа; мы живем вместе.— Сказал это маркиз и скрылся, послав рукой поцелуй нашему герою.

По-видимому, новопришедший восхищался гораздо менее маркиза приходом союзников в Париж и помещению русского офицера под одною с ним крышею. После некоторых сухих и принужденных приветствий он стал к окну, сложа руки. Это был человек лет сорока, замечательной физиономии, которая делалась еще выразительнее от черной перевязки, закрывавшей половину его лба. Крест Почетного легиона висел на его петличке. Видно было, что трудная жизнь оставила следы свои: складка между бровями, преждевременные морщины, впалые глаза и бледные щеки обнаруживали следы пылких страстей. Но, несмотря на это, невзирая на обезобразившую его черную повязку, черты лица его имели приятное выражение.

От Глинского не укрылось ни одно из этих обстоятельств; ему понравился этот человек, несколько раз он старался заговаривать с ним, но сухие, хотя учтивые ответы обезохотили его продолжать попытки. Он замолчал и обратил взоры на большой женский портрет, один только висевший во всей комнате. На нем изображена была во весь рост очень молодая, необыкновенно прелестная особа, сидевшая в саду под деревом. Есть лица, привлекающие к себе внимание, от которых нельзя отвесть глаз и которые тем

кажутся совершеннее, чем долее на них смотришь. Перед Глинским было такое лицо. Во всех чертах, в улыбке, в больших глазах светилась прекрасная душа, и очарование прелести тем было совершеннее, что в каком бы положении зритель ни находился, глаза портрета глядели прямо на него — и тот, кто однажды почувствовал впечатление этого взгляда, не решался прервать удовольствия, так сказать, упиваться этими неизъяснимо приятными взорами.

Долго стоял Глинский, задумавшись перед картиною, наконец спросил у Дюбуа, чей это портрет.

— Графини де Серваль, дочери маркиза, потерявшей при Дрезденской битве мужа, бывшего адъютантом у Наполеона.

— Она живет у отца?

— Теперь уехала с матерью в Лион, перед вступлением союзных войск в Париж.

— И не возвратится более?..

— Не знаю.

— Похож ли этот портрет на графиню?..

Дюбуа посмотрел пристально на Глинского, улыбнулся и сказал: «Графиня лучше своего портрета».

Глинский обратился снова к портрету: «Какое несчастие,— думал он,— быть лишену сообщества такой женщины!». Глаза его с жадностью пробегали все черты, все подробности картины; приход маркиза извлек его из задумчивости.

Он одет был в щегольской фрак, сшитый по последней моде, во всей одежде была изысканность, тем более видная, что замечалось желание соединить достоинство со щегольством и старость прикрыть модою. Голова была завита и густо напудрена, воротник рубашки подымался выше ушей и закрывал щеки, так что от всего лица только и видны были торчащие серые брови, сверкающие черные глаза и сухой орлиный нос. Две худые и костлявые ноги, заключенные в лосиное исподнее платье и в сапоги с отворотами и шпорами, походили более на чубуки, нежели на то, что называется у других людей ногами. На груди висел лорнет, в руках был хлыстик. «Это портрет моей дочери,— начал он,— писанный три года назад, когда она вышла замуж. Бедная Эмилия с тех пор успела уже овдоветь! В двадцать лет быть вдовою ужасно! тем более, что она решилась не выходить за-

муж снова, и я боюсь, что она с своим характером сдержит слово!» Маркиз проговорил это, обратясь к портрету, сложа руки и почти про себя. Густые его брови сдвинулись, скорбная мысль выразилась на лице; он взял табакерку, понюхал табаку и, как бы опомнясь, сказал:

«Извините меня, когда я вижу кого-нибудь перед портретом, сердце у меня сжимается!.. Знаете ли, что это chef d'oevre[1] Жерара?

— Et le chef d'oevre de la nature[2], маркиз.

— Браво, г. Глинский! — воскликнул старик, взяв за руку юношу, — это комплимент и мне. Теперь пойдемте: я покажу сам ваши комнаты. — Сказав это, он шаркнул, сделал поклон и повел с торжественным видом своего гостя.

Они сошли в нижний этаж, где одна половина определена была Глинскому.

— Не знаю, понравятся ли вам эти комнаты, — говорил маркиз, — что касается до меня, мне когда-то они очень нравились: здесь я женился и провел первый медовый год при жизни покойного отца; вверху я не был уже так счастлив: там состарелись мы оба с маркизою. Вот видите, г. Глинский, эти окна у нас на двор, а те в сад, двери в него из вашей большой залы и одни только во всем доме. Здесь комната для вашей спальни, здесь гардероб, здесь кабинет, здесь...

— Помилуйте, маркиз, на что мне столько покоев? все мои пожитки и весь гардероб в одном чемодане, сверх того, может быть, завтра же меня здесь не будет.

— Будете, будете! Ваш император останется устроить наши дела, а вы останетесь при его особе. Но где же ваши пожитки? — где ваши люди?..

— Люди, маркиз?.. Ныне прошли те времена, когда можно было в армии таскать за собою дюжину слуг и экипажей; если я не ошибаюсь, я видел уже на дворе своих лошадей с моим человеком и со всем походным богатством.

— В таком случае вот ключ от ваших дверей. Чрез час мы завтракаем: хотите ли разделить с нами трапезу, или угодно вам, чтобы завтрак принесли сюда?

---

[1] Лучшее творение *(фр.)*.
[2] Лучшее творение природы *(фр.)*.

— Я не желал бы на волос изменять ни жизни вашей, ни порядка.

— А в таком случае ваш прибор за столом и ваше место подле камина всегда будут ожидать вас наверху — итак, до свидания. Я не хочу мешать вашим хозяйственным распоряжениям.

Глинский осмотрел свои владения, расположился и в ожидании завтрака сошел в сад. Большая стеклянная дверь вела туда из его залы. Одна прямая аллея посредине могла только показать длину сада, но другие дорожки, расположенные в английском вкусе, совершенно скрывали его пространство, тем более что стены были закрыты высокими тополями и что соседние сады казались продолжением здешнего. На многих площадках в приличных местах стояли прекрасные мраморные статуи. Не прошло четверти часа, как Глинский услышал за собою походку и мужской голос, называвший его по имени. Он обернулся: молодой человек лет двадцати, в мундире национальной гвардии, среднего роста, очень приятной наружности и открытой физиономии, держал уже его за руки и со свойственною французам любезностью объявил, что он племянник маркиза, что его имя виконт де Шабань, потом без всяких околичностей просил Глинского о знакомстве и дружбе. Между молодыми людьми то и другое заводится скоро: сердца, не испытавшие несчастий, характеры, не омраченные опытом, доверчивы и сообщительны. Глинский с Шабанем, взявшись за руки, пошли по саду и после получасовой прогулки, когда их позвали к завтраку, они были совершенными друзьями.

— Надобно вам сказать,— говорил Шабань, идучи из сада,— что вы будете жить в этом доме с большими оригиналами, но с оригиналами любезными. Один недостаток моего дядюшки состоит в том, что он, несмотря на бытность в Париже при всех переворотах, не может забыть старинного двора, старинной монархии и старинных привычек. Вследствие последнего ему кажется, что человек хорошего тона не должен ничего делать, оставляя эту заботу плебеям и людям без состояния, и что одна только служба при дворе прилична дворянину с его родословною. Есть у нас другой оригинал: г. Дюбуа, вы его увидите за завтраком...

— Я уже его видел...

— Это оригинал, у которого, однако, сердце и голова на своем месте. Его странность та, что он обожает Наполеона более, нежели можно любить любовницу. Признаюсь, этот недостаток заразителен, когда слышим от него об этом человеке. Вот вам основные черты характеров, насколько позволяет краткость времени описать их.

— Но что он за человек и почему он живет в доме?

— Это тоже черта его оригинальности. Он служил в военной службе, был адъютантом при Наполеоне и в начале 1812 года, посланный в Испанию, был тяжело ранен гверильясами. Эта рана принудила его выйти в отставку. Наполеон обещал ему место: но несчастная ваша война, увлекши императора, не позволила ему сдержать слово. Дюбуа, служив вместе с де Сервалем, зятем маркиза, был ему друг, и маркиз по желанию зятя взял к себе раненого. Когда Дюбуа выздоровел от тяжелой раны, он не мог более служить в военной службе и, ожидая места, обещанного Наполеоном, не хотел оставаться на хлебах маркиза иначе, как отправляя обязанность его домового секретаря, и с тех пор дружба и уважение домашних увеличиваются более и более к этому человеку, невзирая на бесконечные его споры с маркизом и разность их мнений.

— Черная перевязка, верно, следствие раны, полученной в Испании?

— Нет, это гостинец, принесенный третьего дня со свидания с вами, г-да русские. Несколько генералов, лечившихся от ран в Париже, многие офицеры, жившие давно в отставке, а в том числе и Дюбуа,— явились к маршалам Мармону и Мортье для защиты столицы, Дюбуа ранен снова при взятии Бельвиля.

— Вы говорили, что он был друг графу де Серваль: вдова его возвратится ли из Лиона?

— А вы уже знаете все подробности. Не могу вам ничего объявить об этом. Впрочем, предостерегу вас, что если она и приедет, то ее надобно беречься!.. она прекрасна как ангел, холодна как лед и не кокетка. С такою женщиною долго ли до дурачества: можно влюбиться и безнадежно. Однако об этом после. Честный и порядочный француз сперва завтракает, а потом говорит о делах.

Говоря это, молодые приятели вошли в комнату, где ожидали их маркиз и Дюбуа к завтраку.

— Мы теперь по-семейному,— сказал маркиз Глинскому,— надеюсь, что вы ознакомились уже с г. Дюбуа и повесою племянником. Судьба нам велит, может быть, прожить и долго вместе, итак, начнем с того, чем другие кончают: примемся за дела без церемоний. Пью за здравие общей дружбы и искренности! Время, которое проводят в пустых формах первого знакомства, теряется для дружбы.

Старый, но живой маркиз одушевлял всех своим примером: завтрак был превосходный; все смеялись от чистого сердца, каждый прикладывал свое словцо к беседе, один только Дюбуа сохранял важность и грустный вид, не принимая участия в разговорах, относившихся до настоящих обстоятельств.

— Вы знаете, г-да,— сказал маркиз,— что император Александр издал прокламацию, в которой он предоставляет самим французам избрать себе такой род правления, какой им угодно. Я уверен, что Франция, наученная опытом, послушается голосу рассудка и возвратится к правлению благоразумнейшему, к отеческому правлению Бурбонов.

— Я думаю,— сказал Шабань,— что именно Франция, наученная прошедшими опытами, более будет заботиться о форме правления, нежели прежде, чтобы доставить счастие и упрочить спокойствие своим гражданам. Кто бы ни занял ее престол, но желательно бы для французов, столько потерпевших и уже усталых от перемен, что-нибудь такого, что бы обеспечило целый народ и более связывало его с своим монархом.

— Но мнение парижан выразилось, а этого только и ждал император Александр, и если Бурбон возвратится, если он законный государь, то нам от его только снисхождения должно ждать такого образа правления, какое он заблагорассудит.

— Но я слышал, что сенат и временное правление уже готовят хартию, которая предложится королю для обнародования при вступлении на престол...

Маркиз хотел возражать, но Дюбуа прервал его:

— Вы забыли, г-да, короля Римского, сына Наполеонова?..

— Мне сказывали сегодня,— начал Глинский,— что наш император и слышать не хочет ни о Наполеоне, ни о регентстве за его сына. Последнее могло бы случиться, если б поспешность Иосифа, который увез императрицу, не повредила делу короля Римского. По крайней мере, Мария-Луиза могла бы требовать этого. Теперь она за 56 миль отсюда; император австрийский остался в Дижоне; Шварценберг, не имея никаких предписаний по этому предмету, предоставил вместе с другими парижанам право избрания, и потому вопрос об этом был только мимоходящим мнением,— вчера вечером наш император, кажется, положительно выразился в пользу Людовика XVIII.

Дюбуа удержал вздох — и опустил голову на грудь.

— Кто бы подумал,— сказал старый маркиз в восхищении,— когда победоносный Наполеон собирался в Россию, что чрез два года русские придут по его следам в Париж и что мы будем пить за здравие наших гостей неразлучно со здравием Бурбонов? Кто бы подумал, что самая несбыточная мечта готова сбыться на самом деле? Г-да! за здравие Людовика и за счастливое его прибытие в столицу своих предков!..

Глинский поднял рюмку; как русский, как юноша, упоенный славою оружия победительных войск, он был здесь представителем освободителей Европы и восстановителей трона Бурбонов.

— Охотно пью за здравие Людовика и желаю, чтобы Франция была счастливее прежнего.

— Желаю благоденствия народов, долгого мира и свободы Франции для того, чтобы она отдохнула и от республиканских ужасов и от беспрестанной войны, под умеренным правлением Бурбонов! — сказал Шабань.

Дюбуа взглянул сурово на него, поднял также рюмку и произнес медленно:

— Желаю, чтобы юности слава не казалась тяжелою; пью за память храбрых и в честь великих. Дай бог, чтоб Франции возвратилось все ею утраченное.

— Дюбуа! вы грешите против провидения,— сказал маркиз,— я понимаю ваши мысли, уважаю вместе с вами великих, но это величие дорого стоило Франции. Счастью и несчастью есть конец: судьба показа-

ла тому разительный пример, проведши одного по всем степеням величия, чтобы низвергнуть с высоты,— и сохранивши посреди бедствий и нищеты другого, чтобы отдать ему престол Франции, ожидающей с нетерпением своих любимых государей.

— Извините меня, маркиз,— сказал Дюбуа,— я дышал славою своего отечества, а славу его составил один человек. Он пал, он в несчастии и потому-то именно Франции должно любить и помнить его. Но мы его забываем слишком скоро и простираем руки к тому, кто, может быть, возобновит все ужасы прежней монархии и будет стоить дороже Франции, нежели все войны Наполеона.

— Я знаю, это всегдашний ваш образ мыслей, но теперь выражать их напрасно.

— Напротив, я думаю, что выражать их было бы для меня неприлично во время владычества Наполеона. Тогда меня почли бы льстецом: а теперь мне нечего выиграть моею похвалою.

— Но зато можно проиграть этими словами.

Дюбуа улыбнулся и не отвечал ни слова.

— А вы кого любите?— спросил потихоньку Глинский у Шабаня.

— Я люблю женщин,— отвечал тот, прихлебывая из рюмки,— и все то, что принадлежит к женскому роду, я люблю Францию — но не хочу еще ни о чем думать, а если давеча и сказал что-нибудь похожее на обдуманную вещь, то каюсь в этом грехе и буду теперь жить умом дядюшки, потому что другой ум может ему повредить в настоящих обстоятельствах. За здоровье русского гостя,— прибавил Шабань, наливая снова рюмки.

Все выпили, кроме Дюбуа, который, остановив свой взор на Глинском, сказал, указывая на голову: «Г-да русские гости сделали то, что эта рюмка может быть для меня ядом», но потом, как будто стыдясь обоюдности своих слов, он с живостию прибавил: «Нет, г. Глинский, не могу поступать против своего сердца и пить за русского!»

— Вы властны в своих чувствах, и я никак не могу требовать от вас отчета, почему вы кого-нибудь любите или ненавидите,— сказал холодно Глинский.

Все встали. Шабань подошел к Дюбуа.

— У вас сегодня такой угрюмый вид, что от него вино делалось кислым в наших рюмках. Что с вами сделалось?

— Я не могу переносить вида русских: они причиною всех несчастий Франции!..

— А! Понимаю!.. Не сердитесь на этого ворчуна,— сказал Шабань, обращаясь к Глинскому,— я предупредил вас о его страсти к Наполеону.

— Это не резон, чтобы ненавидеть русских, точно так же как и все несчастья, нанесенные Наполеоном России, не заставят меня сказать, что он не был великим человеком. Не знаю, поступал ли он как должно, вошедши в Россию, но, конечно, русские сделали свое дело, пришед за ним во Францию.— Глинский сказал это довольно громко, так что Дюбуа слышал его ответ.

Глинскому неприятна была такая встреча для первого раза. Он начал говорить с Шабанем о посторонних предметах; маркиз призвал повара и рассуждал о плане обеда; Дюбуа с каким-то внутренним движением ходил по комнате в задумчивости. Глинский следил взорами этого человека. Ему хотелось найти в нем какую-нибудь странность, какой-нибудь недостаток; мы ищем этого против нашей воли, когда сердиты. В другое время Глинский не замечал бы Дюбуа, но теперь он нехотя видел, что каждое движение его тела было прилично, и когда он останавливался против какой-нибудь картины, переходил к другой или отходил снова — во всех его поворотах и приемах была какая-то приятная ловкость. Глинский признавался сам себе, что этот человек ему нравился, несмотря на угрюмый характер — и в этом случае он оправдывал его собственными своими чувствованиями: если гений Наполеона заставлял неприятеля удивляться ему, то что же должны были ощущать люди, бывшие под его непосредственным влиянием?

Наконец русский, оживляемый приятною беседою дяди и племянника, развеселился, был любезен и обворожил их обоих. В самом деле, молодой человек заслуживал любовь во всех отношениях. Прекрасный собою, воспитанный со всем вниманием нежно любящего отца, взросший в лучшем обществе столицы русской, он был уже не только 20-летний юноша, но молодой человек, проведший в кровавой войне два

года, где горькая опытность развила в нем все то, чем природа награждает своих любимцев, как в отношении сил телесных, так и душевных.

Старик маркиз вызвался показать ему все достопамятности Парижа, а племянник познакомить со всеми удовольствиями этого Вавилона. Так они расстались после первого свидания.

Глава III

В то же самое время, когда весь Париж стекался навстречу входящим союзникам к воротам С. Мартен на бульвары Маделень и Итальянский, когда прочие улицы были почти пусты,— у других застав происходило позорище другого рода. Жители всех оставленных и разоренных предместий и деревень толпились около застав без всякого пристанища. Старые и молодые люди и животные были вместе, и когда эхо доносило восклицания народные и радость парижан, встречавших войска, до сборища этих несчастных, то здесь слышались одни только вздохи и жалобы; видно было одно бедствие и слезы. С той стороны входили торжествующие — с этой несли раненых в госпитали; их стенания и плач разоренных обличали, как дорого досталось это торжество. Толпы поселян и жителей предместий стояли подле сваленных на мостовую в кучу имуществ; на них сидели плачущие жены их с грудными младенцами; одни наскоро сделали себе кой-какие шалаши из досок или из простынь; другие с целыми семействами помещались на телегах. Лошади, коровы, овцы, домашние птицы — все были перемешаны и увеличивали хаос суматохи своими разнородными криками. Первый день все эти толпы оставались почти без всякой помощи. Любопытство парижан заставило их оставить дома почти пустыми, но к вечеру, когда жители возвращались с нового для них позорища, многие брали к себе этих несчастных; отовсюду носили им пищу, вино и прикрывали тех, которых недостаток или этот случай подвергал суровости весенней ночи. Многие из жителей отправились за город, помогали носить раненых и прибирать мертвых. Заставы были уже свободны, и сострадательные и любопытные беспрестан-

но ходили в ворота и из ворот. Наутро стечение народа увеличилось из других частей города. Парижанам необходимо нужны зрелища — и скопление у застав было невероятное.

Глинский после завтрака должен был отправиться к воротам С. Дени, чтобы выполнить некоторые поручения по службе. Он поехал туда верхом; казак, ординарец его генерала, следовал за ним, и тут они встретили волнующиеся толпы жителей, которые, вопреки обычаю шумных парижских сборищ, безмолвно смотрели на несчастных, разоренных и лишенных имущества. Во всех дверях, во всех окошках видны были слезливые лица; только изредка, ежели носилки или телеги с ранеными заставляли расхлынуться толпу, она отвечала слезами и восклицаниями на стенания страждущих воинов, или с молчанием давала место патрулям соединенных войск, или потом с участием оглядывала партии военнопленных французов, которые были отпущены императором Александром тотчас по вступлении и проходили мимо пестрого сборища с мрачным видом и потупленными глазами.

В этой тесноте Глинскому надо было посторониться у одного дома, чтобы дать проехать огромной полковой фуре; в то же время носилки с тяжелораненым французским солдатом, следовавшие за фурою, поравнялись с ним. Окровавленная человеческая фигура, покрытая плащом, лежала на них. Страдания были написаны на мертвенном лице, обожженном порохом и обезображенном запекшеюся кровью. Фура, задержанная толпою, остановилась, а за нею и носилки. Раненый не произносил никакого стона, однако боль выражалась качаниями головы направо и налево: «Пить! пить!» — хрипел он слабым голосом.

Молоденькая хорошенькая мещанка, хозяйка дома, стоявшая на ступенях крыльца, против которого остановился Глинский, отерла передником слезы и побежала наверх, чтобы исполнить просьбу воина.

— Далеко ли вам нести, добрые люди? — спросил Глинский.

— Далеко, — отвечал один из них.

— До этого не было бы нужды, что далеко нести, — сказал потихоньку другой, — если б только в больнице было место, а то мы знаем, что многие ра-

неные до сих пор не помещены и лежат на улицах; а ежели этому сегодня не помогут, то, конечно, ему не жить на белом свете.

— Разве он опасно ранен?

Оба носильщика пожали вместо ответа плечами. Хозяйка выбежала с бутылкою вина и стаканом. Глинский попросил у нее позволения напоить солдата.

— Храбрый товарищ,— сказал он, наклонясь к раненому,— позволь напоить тебя русскому, который умеет ценить неустрашимость и в своих неприятелях.

Больной остановил движения головы, открыл глаза и дал знак согласия; хозяйка поддерживала голову, Глинский дал ему выпить несколько глотков; толпа зрителей стеснилась около носилок.

— Я уверен,— сказал Глинский, обратясь к хозяйке,— что прекрасная наружность неразлучна с добрым сердцем; вы тронуты положением несчастливца, не позволите ли ему остаться несколько дней в вашем доме,— я заплачу за постой и присмотр и постараюсь о помощи?

Молодая женщина, потупив глаза, играла концом своего передника.

Зрители восклицали со всех сторон похвалы русскому и уговаривали хозяйку, Глинский вынул кошелек, хотел положить ей на руку, но она, отдернув ее со слезами на глазах, дала знак рукою, чтоб носильщики следовали за нею.

— Benediction! Benediction! — шумно закричала толпа вслед Глинскому, и это была первая минута, в которую печальная тишина была нарушена. Радостные клики и хлопанье в ладоши долго не переставали.

Раненый был положен в небольшой чистой комнате. Глинский уговорил хозяйку взять деньги, купить и исправить все нужное. Он отправился по своему поручению и менее чем через час возвратился с полковым лекарем, который, перевязав опасные раны, дал надежду, что раненый может остаться еще жив при хорошем присмотре.

Это уверение обрадовало Глинского; весело отправился он домой, где дожидались его Шабань с маркизом, и остаток дня посвящен был любопытству.

Шумные происшествия нескольких дней, худо проведенные ночи и наконец роскошная постель усыпили Глинского в эту ночь богатырским сном. Было уже поздно, когда он проснулся — и открыв глаза, совершенно потерял память прошедшего. Богатство комнат, убранство постели, тонкость белья, чириканье птиц в саду, говор народа на улице казались ему продолжением сновидений, которые сменялись одни другими в его юном воображении. Наконец он собрал рассеянные мысли, припомнил вступление в Париж, маркиза, портрет его дочери, Дюбуа и Шабаня и наконец раненого гренадера, который теперь составлял всю его заботу. Он оделся и поскакал снова к нему.

Печальные сцены вчерашнего дня еще продолжались между разоренными жителями предместий, но число их уменьшилось; многие возвратились уже в свои домы; любопытных было не столько, и Глинский беспрепятственно доехал до известного ему дома. Он с нетерпением постучался у дверей. Слова: «Жив ли?» были на губах его, когда вышла хозяйка, но он по веселому лицу ее переменил свой вопрос. «Был ли лекарь сегодня?» — сказал он.

— Был, — отвечала хорошенькая мещанка. — Он говорит, что завтра снимет первые перевязки и с уверенностью ручается за его жизнь. — Говоря это, она провожала Глинского в комнату раненого.

— Может ли он говорить? — спросил Глинский.

— Лекарь говорил с ним несколько слов, однако ж запретил его беспокоить.

Когда Глинский подошел к постели, он увидел, что вчерашнее безобразие от запекшейся крови и пыли исчезло с лица больного; чистое белье, мягкая подушка, теплое одеяло, столик с прибором показывали попечительность присмотра. Глинский, окинув все это взглядом, оборотился к хозяйке и сделал ей знак одобрения. Удовольствие было написано на хорошеньком ее личике.

Раненый, услышав шорох, открыл глаза и устремил их на Глинского. Брови его сдвинулись, как будто он хотел что-нибудь припомнить, и потом медленная улыбка привела в движение страждущее лицо. Он силился вытащить руку из-под одеяла, ему хотелось подать ее Глинскому, но силы изменили; он за-

крыл глаза и отворотил голову, чтоб скрыть выступившие слезы.

Этот солдат был человек лет около сорока; наружности довольно красивой; густые бакенбарды и усы оттеняли его правильную физиономию. Бледность лица отнимала несколько суровости выражения, столь свойственному загорелому солдатскому лицу.

Не беспокоя более больного, Глинский уехал; но не проходило дня, чтоб он не побывал бы у него и часто по два раза, ежели позволяло время, и при каждом посещении с удовольствием замечал, как силы раненого прибавлялись. Наконец лекарь позволил ему говорить; первые слова были выражением благодарности, но Глинский лучше хотел говорить о другом: он знал, что нельзя более доставить удовольствия воину, как заставив его рассказывать про свою службу. Помертвевшие губы оживлялись и на бледных щеках являлся отблеск жизни, пока сраженья и слава французских войск были пред его глазами; но когда дело дошло до несчастий, претерпенных великою армиею, глаза потухали, голос изменялся, энтузиазм слабел, картины поражений сменяли одна другую, рассказ сделался отрывист. Наконец, больной не мог продолжать своего похода далее Дрездена,— силы его оставили, когда он дошел до того места рассказа, где упал любимый их полковник, убитый ядром.

В рассказе простых людей есть особенное красноречие, ежели они говорят о том, чему сами были свидетели. Раненый, не могши воздерживать своих чувств, лежал отворотясь к стене. Помолчав немного, солдат продолжал: «Извините меня, г. поручик, что я плачу, как женщина, более 20 лет служу Франции, а в эти годы привык почитать службу матерью, а доброго начальника отцом. Граф де Серваль...»

— Был твой полковник?—прервал с живостию Глинский.

— Так точно, г. поручик.

— Не он ли был адъютантом у Наполеона?

— Он самый — но он время от времени принимал команду нашего полка, где служил с юношества, и в Дрезденском деле послан был Наполеоном с колонною, чтобы оттеснить австрийские силы, напиравшие

на нас под защитою сильной батареи. Он незадолго перед русскою кампаниею женился здесь на прекрасной девушке. Я видал ее, когда бывал на посылках: она была удивительно хороша, г. поручик, и ежели бог даст мне здоровья — увижу ее опять, чтоб рассказать ей что-нибудь о муже.

— Знаешь ли? — Глинский хотел выговорить, что ее ожидают скоро в Париж, что он живет в доме ее отца, но мысль, что он может рассказать ей, как и кто помог ему, остановила молодого человека. Он столько же боялся огласки своего доброго поступка, сколько другой мог бы опасаться, чтоб не вышло наружу какое-нибудь непохвальное действие. Он прошелся в задумчивости несколько раз по комнате и, остановясь подле больного, взял его за руки и сказал:

— Графиню ожидают в Париж, может быть, я увижу ее. Я скажу, что здесь есть человек, служивший с ее мужем; она, конечно, будет стараться, чтобы сделать все зависящее от нее для твоего успокоения. Как твое имя, храбрый товарищ?

— Матвей Гравелль, гренадер 34 полка. Я рад, что вы спросили мое имя, г. поручик, — теперь я без неучтивости могу спросить и ваше, имя моего благодетеля?

Глинский покраснел. Одна и та же мысль наполняла его голову. Сказать свое имя — значило то же, что признаться в преступлении.

— Наши русские имена мудрены для французов, — сказал он, — но если ты хочешь знать, я называюсь *Серебряков.*

— Помоги нам боже, — воскликнули оба, солдат и хозяйка, — и это христианское имя!.. Однако, — продолжал первый, — я выучу его во что бы то ни стало, и буду помнить всю свою жизнь. M. célèbre coffre, célèbre coffre[1], извините, г. поручик, повторите еще раз ваше имя.

Хозяйка хохотала, радуясь случаю показать свои ровные жемчужные зубы. Сам Глинский смеялся. Он заставлял повторять свою выдуманную фамилию, на конце которой беспрестанно слышалось или Coffre или Cor, ежели выговаривал солдат, или coeur[2], ко-

---

[1] Славный сундук, славный сундук *(фр.)*.

[2] сердце *(фр.)*.

гда поправляла его хозяйка, и оставил их в заботе — твердить наизусть бог знает какие звуки, которые с каждою попыткою выходили смешнее и страннее. Забота о больном не мешала Глинскому пользоваться любезным вниманием его хозяев, которые хотели доставить ему все способы провести время приятно и полезно. Любезные качества русского офицера обворожили старого маркиза. Он не видел в нем души; Шабань не знал, как угодить новому своему другу, и таким образом протекли семь дней для русского гостя между любопытства и веселости. На осьмое утро Глинский, возвращаясь домой от своего полковника, увидел на дворе несколько дорожных экипажей. Придверник сказал ему, что это приехала старая маркиза с дочерью. Молодой человек затрепетал при последнем имени и торопливо вбежал в свои комнаты. «Кто приехал?» — спросил он своего слугу.

— Старая барыня с дочерью и внучкою,— отвечал тот.

— Разве у нее есть дочь?..

— Как же, сударь, и прекрасная; жаль только, что очень печальна и вся в черном.

— Разве у нее есть дочь, спрашиваю я?..

— Я думал, вы говорите о старой барыне. Есть, сударь, лет 3-х малютка, миленькая девочка! Я принял ее на руки из кареты. Двое слуг повели под руки старую, двое молодую барыню на лестницу.

В эту минуту вошел Шабань. «Приехали наши хозяйки,— сказал он.— Мы их сегодня не увидим с дороги; но завтра будем все вместе обедать,— в ожиданьи я пришел просить тебя о важном деле».

— Что это за важное дело, Шабань?

— Видишь ли, у нас скоро парад для встречи д'Артуа, как наместника, его ждут сюда к 12 числу. Мне надобно быть верхом, и как я желал бы показаться необыкновенным образом, то не хочу ехать на своей лошади, а желал бы купить казацкую. Это необыкновенно, а ты можешь мне в этом помочь. Помоги, Глинский!..

— Но скажи, пожалуй, казацкие лошади с хвостами. Как же ты будешь на ней во фронте?

— Тем лучше, всякий увидит, что это казацкая, а ты знаешь, какое высокое мнение у французов об

этих лошадях? Надобно блеснуть, любезный друг,— а чтобы блеснуть, надобно отличиться.

Глинский засмеялся: «Помилуй, Шабань, казацкая лошадь хороша в походе, а не в параде: нашему брату нельзя показаться на твоей лошади».

— Ах, Глинский! Ты не знаешь французов. Я первый выкину моду, и ты увидишь, что на следующем параде для встречи короля нельзя будет показаться без такой лошади: между тем целый Париж будет говорить обо мне. Каждый порядочный человек заведет непременно казацкую, а если не достанет, то, по крайней мере, будет привязывать хвост к своей лошади, и вообрази, что я сделаю эту революцию.— С Шабанем такой аргумент убедил Глинского. Он отправился с ним к своему полковнику, у которого было несколько казацких лошадей. Глинский объяснил цель посещения и причину желания Шабаня.

Полковник, смеючись, повел их в свою конюшню. Лошадей вывели. Шабань не мог решиться: он восхищался каждою.

Полковник начал рассказывать, каким образом и откуда ему достались лошади; одна из них была подарена ему Платовым.

Лишь только услышал Шабань имя Платова, он в ту же минуту побежал к лошади и сказал Глинскому: «Объяви, что выбор сделан, спроси, сколько угодно полковнику за эту?»

Лошадь стоила 2000 руб. Шабань не знал, что отвечать с радости. Он удивлялся, каким образом можно было подарок Платова отдавать за такую безделку.

Лошадь попробовали. Казак на попонке, с нагайкою в руке, заставил ее повторить все искусство, которому она выучилась в казацкой школе. Шабань был в восторге от приобретения и отправился с покупкою домой. Ему нетерпеливо хотелось поездить самому, но как он не умел сидеть на казацком седле, то надо было пригонять новое по лошади, а потому, покоряясь необходимости, Шабань отложил свои радости до завтра. Оба приятеля отправились по Парижу; Глинский восхищался чудесами его и кончил вечер в театре; у Шабаня было одно в голове: при каждой хорошей сцене, при каждом прыжке ловкой танцовщицы он восклицал одно: «Ах, какая чудная лошадь!..»

Глава IV

На другое утро старый маркиз явился к Глинскому и объявил, что жена с дочерью желают с ним познакомиться: «Теперь вам будет веселее, у нас без женщин в доме и скучно и пусто. Теперь вы увидите наш beau monde[1], наших красавиц. Я вас прошу только об одной осторожности: муж моей дочери убит под Дрезденом, избегайте случая говорить об этом деле и упоминать даже имя этого города».

Он взял за руку Глинского и пошел с ним наверх. В гостиной комнате сидели две дамы: одна лет пятидесяти, еще приятной наружности женщина, другая молодая в черном платье, и когда маркиз представил его, он ловко сказал приветствие матери, извинялся, что военные обстоятельства привели его к необходимости беспокоить их постоем, и уверял, что постарается своим поведением разуверить их в предубеждении, которое вообще все французы имели против русских. Молодой человек обратился к дочери, и когда она подняла на него свои большие глаза, взгляд которых из-под длинных шелковых ресниц, казалось, проникал в самую глубину души, когда он увидел себя перед подлинником портрета, по которому он так хотел узнать ее, краска вступила ему в лицо. Это не могло придать ему ловкости,— однако мужчина, который теряется от глаз прекрасной женщины, не теряет ничего в этих глазах, и потому молодая графиня приветливо выслушала его немногие слова, легкий румянец также пробежал по ее милому лицу — и первое и самое трудное в знакомстве было сделано.

Старый маркиз своею веселостью скоро поставил Глинского и свое семейство на такую ногу, что с первого свидания, при котором обыкновенно соблюдается весь этикет, взаимная откровенность установилась. Приветливость маркизы, непринужденное обращение графини, образованность и хороший тон юноши, любопытство с одной стороны, ясный и приятный рассказ с другой, скоро положили основанием доверенности и оправдали похвалы маркиза, которыми он превозносил своего молодого друга. Чтобы ознакомить Глинского со всем семейством, принесли

---

[1] высший свет *(фр.)*.

маленькую дочку графини. Это была прелестная двухлетняя девочка, совершенно похожая на свою мать.

«Saluez m. Glinsky, Gabrielle»[1],— сказала бабушка, и милое дитя без застенчивости протянула обе ручонки к гостю, который, услышав ее имя, с ласкою взял ее на руки. «Vive Henri IV et la charmante Gabrielle»[2],— сказал он, приподнимая малютку.

Живой Глинский сказал это без размышления: слава Генриха IV неразлучна была в его памяти со славою Габриели, равно как имя сей последней почти всегда приходило в голову с именем Генриха. Графиня покраснела, опустила глаза. Для матери казалось неприятным такое сочетание имен, но маркиз и маркиза имели другие понятия: что для новейшего поколения французов начало казаться предосудительным во всяком человеке, то для снисходительного нрава людей старого века, и по привязанности их к великому государю, не только извинялось в короле, но даже считалось славою в его любовнице.

Маркиз не заметил ни краски графини, ни смущения Глинского, который в ту же минуту почувствовал неловкость своих слов и повинным взором просил извинения у графини. «Прекрасно! — воскликнул маркиз,— нельзя приличнее сказать в нашем положении и в отношении к целой Франции, и в отношении к нашему семейству».

— Стало быть, вы знаете, кто была charmante Gabrielle? — спросила маркиза, удивляясь.

Глинский, одобренный взором графини, в котором не осталось даже следа неудовольствия, усмехнулся. «Сударыня,— отвечал он,— в самом детстве моем, когда учился еще лепетать по-французски, я знал наизусть половину «Генриады». После история великой нации сделалась мне столь же известна, как и моего отечества».

Любопытство есть сильная пружина, действующая на женское воображение. Маркиза, со всею словоохотливостью старой француженки, ожидавшая увидеть русского как редкость, на которую надо смотреть издали, обманутая совершенно в своих

---

[1] Поздоровайся с г. Глинским, Габриель *(фр.)*.
[2] Да здравствует Генрих IV и прекрасная Габриель *(фр.)*.

ожиданиях, не переставала спрашивать и не знала меры удивлению. Любопытство ее было пробуждено; оно служило ей, так сказать, микроскопом, в котором видела все неожиданные качества молодого человека в увеличенном виде.

Графиня с своей стороны довольствовалась, слушая расспросы матери и сопровождая улыбкой каждый умный или острый ответ Глинского. Она мало принимала участия в разговоре. Небольшой оттенок задумчивости был виден на ее прекрасном лице.

Вскоре начали съезжаться гости к обеду, который давал маркиз для приезда своего семейства. Он рекомендовал всем своего юного постояльца.

Энтузиазм, внушаемый императором Александром, необыкновенные события и желание узнать ближе варваров Севера, бывших причиною сих событий, все это доходило до неистовства между французами. Они не могли опомниться от удивления, глядя на русских, которых представляли бородатыми чудовищами, и видя их людьми, которые были столь же учтивыми и вежливыми, как и они, часто красивее и молодцеватее их щеголей и большею частию образованнее, нежели сии последние.

Толпа в зале волновалась, все добивались поговорить с прекрасным варваром, сделать ему какой-нибудь вопрос и когда один оттеснял другого, этот отступал, чтобы толковать по-своему полученный ответ; во всех концах залы раздавалось: «Как он красив! Какие волосы!» и проч. Одним словом, он был чудом, диковинкою этого дня.

Посреди всех восклицаний явился Шабань с сияющим лицом. Раскланявшись на все стороны, подошел к тетке и кузине, сказав по комплименту дамам, он объявил о своем приобретении прекрасной казацкой лошади, принадлежавшей Платову; расхвалил ее фигуру, стать, огонь, и прибавив, что велел привести ее на двор, просил всех посмотреть его покупку.

Все мужчины бросились на двор, дамы вышли на балкон, лошадь подвели к крыльцу. Шабань вскочил в седло; все дивились лошади. В самом деле, небольшая, хорошенькая вороная лошадка была очень красива: огнем сверкали глаза, огнем раздувались ноздри и, казалось, огонь же пробегал по всем гибким и проворным членам. Она фыркала, прядала ушами,

скребла копытом и, казалось, ожидала только позволения исчезнуть с седоком из глаз; всего более хвост ее удивлял французов, спускаясь густоширокою трубою до самой земли.

Глинский заметил Шабаню, что лошадь оседлана дурно: английское седло была так подпружено, что Шабань сидел, поджав ноги, с длинными поводьями почти на самом заду лошади. «Это ничего»,— отвечал с уверенностью Шабань, и когда маленькая Габриель на руках у няньки, сбежавшей также вниз полюбоваться лошадью, протянула к нему ручонки, Шабань не задумался, взял ее к себе и хотел пуститься с нею кругом двора. «Воля твоя,— сказал Глинский,— я не дам малютки. Я вижу, что седло сейчас свернется; позволь человеку переседлать, а без того не советую ездить на этой горячей скотине».

С сими словами он взял заплакавшую Габриель, а Шабань со смехом и уверениями попросил толпу раздаться, дал шпоры и пустился вокруг большого двора.

Несколько прыжков было сделано с отменным успехом, но худо помещенное седло сейчас съехало еще более назад, и когда щекотливая лошадь брыкнула раза два, оно повернулось при первом повороте, и Шабань полетел кверху ногами. Все дамы вскрикнули, между мужчинами начался хохот. Глинский прибежал к Шабаню, поднял его и с заботливостью спрашивал: не ушибся ли? Но Шабань смеялся своему приключению. Между тем поймали лошадь; слуга Глинского оседлал ее как надобно и подвел опять к крыльцу; «это бешеная лошадь»,— кричали со всех сторон, «на нее нельзя садиться; она не выезжена; это дикая лошадь», сказал Шабань, потирая ушибленную ногу.

— Нет, Шабань, она не дикая,— отвечал Глинский,— я езжал на ней походом, когда моя была убита, и вы увидите, как он послушна, ежели хорошо оседлана.— Он вскочил на лошадь, взял из рук слуги нагайку и, ударив по обеим бокам, поскакал как молния; лошадь повиновалась каждому желанию всадника, танцовала на задних ногах, поворачивалась на них, перепрыгнула несколько раз чрез стоявшую на дворе бочку и остановилась как вкопанная со всего скаку перед крыльцом.

Обед был готов, толпа потянулась вверх, одобрение Глинскому и насмешки Шабаню слышались во дворе, на лестнице и во всех этажах. Это, однако же, не помешало ему отвечать остротами, смеяться самому, сесть снова на лошадь и скакать как бешеному, в отмщение за первую неудачу.

Когда Глинский вошел в залу, он увидел, что испуганная графиня де Серваль держала на руках свою малютку, осыпала ее поцелуями и повторяла слова: «Шабань, Шабань, что ты хотел сделать с моею Габриелью, что ты хотел сделать? Ты бы убил ее, ты убил бы меня!» Она так была напугана воображаемым несчастьем дочери, что прижимала ее к груди и не хотела отдать, как будто опасаясь, чтоб Шабань не поскакал опять с нею. Наконец, все успокоились... Маркиз пригласил к столу, повели дам, Глинский подал руку графине. «Г. Глинский,— сказала она вполголоса,— я не могу изъяснить всей благодарности за вашу предусмотрительность. Когда я увидела, что Шабань упал, то так испугалась, как будто Габриель в эту минуту сидела у него, вообразив, что это могло случиться в самом деле, и что, конечно бы, случилось, ежели бы не вы...»

— Это бы сделал всякий, графиня!..

— Да! а никто не сделал!..

Глинский сел между графиней и девушкою Клодиной де Фонсек, двоюродною сестрою покойного графа де Серваль, привлекательною 16-летнею брюнеткою, с огненными черными глазами и греческим носиком. Эта живая и резвая парижанка осыпала Глинского шутками и вопросами. Эмилия говорила мало и спрашивала только изредка, ежели ветреная кузина пропускала какие-нибудь подробности о земле и обычаях русских, о чем наиболее они любопытствовали. Глинский не уступал наступчивой де Фонсек ни шагу, веселость и острота с обеих сторон часто развлекали важнейшие разговоры других собеседников. Молодость живет настоящею минутою, ей мало надобности до того, что ее окружает, и политические споры других гостей чужды были для слуха Глинского и вертлявой де Фонсек. Все, что ловкость молодого человека могла высказать и занимательная игривость милой девушки вызвать,— все было переговорено; малютка де Фонсек краснела от удовольствия,

когда Глинский повторял ей что-нибудь лестное. Она была совершенно довольна своим соседом, тогда как он, при всем желании сказать что-нибудь приятное и графине Эмилии, противу воли чувствовал, что не может быть так любезен с нею, как с ее кузиною; какое-то почтение, какой-то страх связывали язык, хотя ни разговор, ни выражение, ни даже лицо графини не показывали никакой строгости или суровости, обыкновенно отдаляющих от себя откровенность и веселость. Ему казалось, что это его чувствование проистекало от ее положения, он думал, что уважает ее горесть, и вместо разговора с нею смелее засматривался на ее прекрасный профиль; но и тут неугомонная де Фонсек не давала ему покоя, не оставляла пяти секунд свободы, чтобы следовать влечению своего сердца.

Наконец разговор сделался общим; маркиза спросила Глинского об обращении и о тоне в обществах петербургских.

— Тон лучшего общества точно как и здесь, в Париже: чем оно образованнее, тем проще, вежливее и любезнее,— сказал он с уклонкою головы,— напротив того, чем круг сословия ниже, тем больше церемоний, в соблюдении которых полагается учтивость, тем больше разговор становится затруднителен. Думаю, что это и здесь так же, хотя я еще не имел случая испытать этого. Что же касается до хорошего обращения с друзьями, то везде равно: оно везде зависит от характера и степени образованности.— Говоря последние слова, он обратился к Шабаню, как будто ожидая подтверждения сказанного. Шабань послал ему поцелуй рукою.

Французы, как народ живой, присвоивают себе право говорить вслух мысли, внушаемые им первыми впечатлениями, и потому немудрено, что до ушей Глинского доходили похвалы и рассуждения о его особе. «Как он вежлив»,— говорил один, «он отвечал как надобно»,— повторял другой. «C'est étonant!— восклицал третий,— ces Russes sont a peu près comme nous autres»[1]. «Эти русские так же хороши, как наши поляки»,— говорили дамы, и вслед за тем сыпались новые вопросы.

---

[1] Это удивительно! эти русские почти такие же, как мы *(фр.)*.

— Скажите, г. Глинский,— спросила бойкая де Фонсек,— каким образом вы, русские, здороваетесь со знакомыми вам дамами?

— Если вы непременно хотите это узнать, виконтесса, то позвольте мне с вами поздороваться по-русски?

Де Фонсек остановила на Глинском свои большие глаза с недоумением.

«Согласитесь, mademoiselle! доставьте всем это удовольствие»,— кричали со всех сторон мужчины и женщины. Она, затуманившись, опустила глаза.

— Я не знаю, как отвечают русские дамы...

— Я скажу вам, но с условием, чтобы вы так отвечали?

Малютка не знала, что говорить. Глинский сжалился и рассказал, каким образом мужчина, подходя к женщине, целует руку, и что она отвечает поцелуем в щеку.

Все дамы общим судом приговорили, что де Фонсек должна после обеда поздороваться с Глинским, что всем им любопытно видеть опыт этого и, как она вызвалась сама, то обязана доставить всем это удовольствие; Глинский должен был отвечать на многие вопросы: как веселятся в России, есть ли какая-нибудь зелень около Петербурга, есть ли у русских воскресенья и тому подобное; когда же маркиз рассказал анекдот de charmante Cabrielle, то ему надо было выдержать целый экзамен во французской литературе.

Когда кончился обед, де Фонсек должна была выполнить требование всего общества, и потом едва не со слезами спряталась за свою кузину.

После этого общество разошлось по разным комнатам, многие вышли на балкон. Мы сказали уже, что дом маркиза был в улице Бурбон, и что задняя его сторона была обращена к реке, балконы были с обеих сторон; с этого видна была Сена, все ее мосты, Тюльери, а чрез сад в промежутке высоких деревьев открывалась колонна Наполеонова на Вандомской площади. В дальности на вечернем небе этот монумент слабо рисовался синеватым светом. Статуя Наполеона на этой высоте казалась удивленным взорам наклоненною, от ее головы виднелось множество протянутых в одну сторону веревок, казавшихся нитями,

которые волновались, напрягались и ослабевали беспрестанно. По всем улицам народ бежал и теснился в одном направлении, к площади Вандом.

Эмилия, которая не была около двух недель в Париже, удивилась при взгляде на это явление. «Что это значит,— спрашивала она окблостоящих,— не обманывают ли меня глаза, мне кажется, что статуя Наполеона валится, что такое делают этими веревками?»

Ей объяснили, что временное правительство, уступая желаниям народа, решилось снять статую и теперь надлежащим порядком приступило к этому действию.

— Но скажите, ради бога,— спросил Глинский,— не это ли же правительство поставило караул подле колонны, и не оно ли в своем декрете, вследствие покушений на эту колонну и другие императорские памятники, запретило даже всякое обидное выражение насчет прошедшего правительства, потому что, говорило оно, дело всего отечества слишком возвышенно, чтобы действовать теми средствами, которые дозволяла себе чернь.

— Да, это совершенно справедливо,— сказал один из гостей,— но несколько дней тому назад император Александр, ехавший мимо колонны, изволил сказать, что у него закружилась бы голова на такой высоте, а потому, может быть, сочли нужным и согласно с желанием народа...

Слезы навернулись на глазах Эмилии. Глинский не мог вынести, он выбежал в залу и с жаром сказал: «Французы не знают сами, что делают. Это неблагодарно, это неблагородно, это несправедливо, так-то они платят великому человеку». С этими словами он хотел бежать к себе, но Дюбуа, не говоривший вовсе это время ни слова, остановил его, схватил с чувством у него руку. «Вы примиряете меня с русскими!» — сказал он... И когда Глинский сошел вниз в свои комнаты, Дюбуа явился за ним следом.

— Я пришел у вас просить извинения,— сказал он удивленному сим посещением Глинскому,— за первую нашу встречу, где я позволил рассудку увлечься сердцем. Вы примирили меня с русскими. Несчастья отечества дали мрачное направление моему характеру; я ищу везде оправдания Наполеону, и потому

обвиняю целый свет; но, со всем тем, это не мешает мне видеть своей несправедливости, и если я не имею никаких особенных добродетелей, ни качеств, то могу похвалиться одним достоинством: признаваться в своих ошибках и не стыдиться извинения, может быть, для этого надобно иметь также характер, и если я его имею, то тем обязан сорокалетнему наблюдению за самим собою.

Глинский с жаром подал ему руку. Странное объяснение расположило его в пользу этого человека. «Я тем более вас уважаю,— сказал он,— сколько я ни мало опытен, однако успел заметить, что недостаток самосознания бывает причиною большей половины несчастий человечества»,— и они расстались, довольные друг другом.

Сверх родства, связывавшего со времени замужества Эмилии маленькую де Фонсек с домом маркиза, она с самого младенчества была там как родная, и графиня не знала в ней души; можно сказать, что она воспитала ее; старая бабушка, у которой жила де Фонсек, не могла по старости заняться ее образованием, а если Клодина не совсем жила в доме маркиза, то потому только, что бабушка не решалась вовсе расстаться с нею. Клодина любила графиню как мать, как сестру, как друга, сколько разность лет в последнем случае позволяла ей пользоваться дружбою графини. Все ее малейшие помышления передавала она с детскою откровенностию Эмилии, будучи уверена, что каждое желание, даже каждая прихоть ее будет исполнена. Графиня, можно сказать, баловала ее, радовалась доверенности своей воспитанницы и не могла отказывать в ее невинных прихотях.

Ввечеру Эмилия была в своем кабинете; де Фонсек с нею, обе сидели на большом турецком диване и молчали. Видно было, что каждая из них занята своими мыслями. Клодина несколько раз подымала свою греческую головку и смотрела на графиню, но видя, что та в задумчивости не обращала на нее внимания, со вздохом опускала пылающую щеку на руку и продолжала молчать. Наконец, ей надоело это положение,— она взяла за руку Эмилию и сказала: «Ты очень печальна сегодня, ma cousine».— «Друг мой! ты знаешь мое положение: могу ли быть веселою, потеряв мужа, которого так любила; сверх того

сердце мое невольно участвует в политических обстоятельствах моего отечества. Муж мой был участником славы Франции — и русские в Париже, мы побеждены — и французы радуются своему унижению! Наполеон возвысил Францию из праха, создал ее величие из хаоса, и что делают неблагодарные парижане, когда он в несчастии! Ты еще не постигаешь этих чувств, Клодина, ты во всем видишь только забаву и развлечение».

Де Фонсек опустила глаза. «Но чем же русские виноваты, сестрица? Это необходимое следствие войны. Наполеон был в Москве; Александр пришел в Париж: они поквитались между собою. Если это беспокоит французов, пусть они сделают так же, как русские».

— Ты заступаешься за русских!..

— А ты на них нападаешь!..

В эту минуту нянька принесла маленькую Габриель проститься с матерью. Эмилия взяла на руки дочь, поцеловала, прижала к груди и, отдавая няньке, сказала: «Бедная Габриель, тебя не было бы сегодня на свете, если бы добрый человек не спас тебя».

При сих словах де Фонсек быстро обернулась к графине, хотела что-то сказать, но остановилась, пока не ушла няня, и потом сказала:

— Ах, какой он добрый! ведь он тоже русский, мне он очень нравится, сестрица,— сказала она, помолчав.

Графиня не отвечала ни слова.

— Мне кажется, он очень хорош собою?..

Графиня не отвечала ни слова.

— Savez vous qu'il ect très comme il faut.[1]

Казалось, графиня не слышала, что ей говорила де Фонсек, видя, что Эмилия не отвечает, наклонилась к ней и начала играть ее волосами, потом вдруг обняла, поцеловала с жаром, и две слезки выкатились из ее глаз на щеки Эмилии.— Мне он очень нравится,— повторила она.

Графиня как будто пробудилась, будто впервые поняла, что ей говорила интересная малютка.

Де Фонсек сама испугалась своего признания, прижалась к Эмилии и продолжала целовать ее шею и

---

[1] Знаете, ведь он очень хорошо воспитанный человек *(фр.)*.

руки, как дитя, которое хочет умилостивить свою маменьку.

— Это ребячество, Клодина,— начала Эмилия,— увидеть человека в первый раз и думать, что любишь его; ты дитя, он тебе нравится, как новая игрушка. Такой любви не бывает, Клодина, это существует только в романах, это выдумки праздного воображения, поверь мне, я любила и знаю любовь, она никогда так не приходит... Но чего же ты хочешь?..

— Не знаю,— сказала Клодина из-за плеча Эмилии,— я только чувствую,— прибавила она потихоньку,— что он мне очень нравится.

— Бедное дитя! — сказала тронутая Эмилия, лаская Клодину,— тебе он очень нравится? но что же из этого выйдет? Он русский... чрез месяц его не будет; еще несколько недель разделят его с твоим отечеством неизмеримым пространством. Его обычаи совершенно противны нашим; бедная холодная земля его не похожа на нашу прекрасную Францию. Нет, нет, Клодина! выкинь из головы этот вздор. Я не могу и думать, чтоб это когда-нибудь случилось...

— Что ж бы такое случилось, сестрица?..

Эмилия опомнилась и увидела, что несмотря на противуречие, собственное воображение завело ее далее признания Клодины, она испугалась и остановилась.

— ...Ничего, mon enfant[1],— я хотела сказать, что не верю этой пылкости,— я смеюсь над нею... очень смешно позволять воображению действовать против благоразумия,— я уверена, что если ты разберешь хорошенько свои чувства, то найдешь их несогласными с твоим рассудком.

— Ах! сестрица, это правда! — знаешь ли, мне стыдно сказать, что давеча, вместо того, чтоб рассердиться, мне было очень приятно, когда Глинский поцеловал мою руку!

Графиня засмеялась неожиданному обороту, какой дала Клодина всем ее увещаниям, перестала говорить и задумалась. Потом в рассеянии приподняла головку Клодины за подбородок и, смотря на нее с удовольствием, сказала как бы себе самой: «Как она ми-

[1] дитя *(фр.)*.

ла, он также недурен! — если б он не русский! какая бы милая парочка!»

Клодина вскочила, начала целовать руки Эмилии, обнимала, смеялась, плакала, стащила ее с дивана, хотела вертеться с нею, насилу унялась и потом, очень довольная собою и графинею, играючи, она встала на колени перед сидящею Эмилией, взяла ее за руки и смотрела на нее с восхищеньем.

— Ах, как ты хороша, сестрица,— сказала она, следя блуждавшие задумчиво взоры Эмилии,— какие у тебя глаза, как ты обольстительно ими смотришь! твое лицо совсем не похоже на наши; у тебя такое выражение, такая прелесть разлита в чертах, что мне все кажется, будто ты больше идеал, нежели действительность между нами! Если б я была мужчина, сестрица, я бы обожала тебя! — я не обвиняю наших молодых людей, когда они при тебе оставляют меня без всякого внимания... Ах! Боже мой,— вскрикнула она, закрыв лицо руками, как будто нечаянная мысль представилась ее воображению.

— Что с тобой сделалось? — спросила графиня.

— Ведь Глинский также мужчина; он будет видеть тебя беспрестанно! нельзя тебя не полюбить! Он полюбит тебя непременно! дай мне слово, что ты не позволишь ему любить себя?..

Графиня покраснела.

— Боже мой! какой ты вздор лепечешь,— сказала она.— Успокойся, Клодина! полюбить можно только того, кто любит сам... а я, ты знаешь мое отречение от самой себя, мое намерение не выходить замуж; ты знаешь, что я посвятила свою жизнь воспитанию Габриели. Ты видела, как я принимала всегда и как принимаю внимание молодых людей. Знаешь ли, что если бы я могла думать в моем положении, если б я расположена была выйти замуж — не по любви, но по рассудку, один только человек мог бы быть моим мужем?..

— Кто же этот феникс, сестрица?..

— Дюбуа!..

— Этот угрюмый старик, который не глядит на женщин? — ты шутишь Эмилия!..

— Для этого я и говорю тебе это, милая Клодина, чтоб показать, как мало думаю о замужестве, что же до Дюбуа, он был друг моего мужа. Между им и то-

бою разница ужасная в летах, которая увеличивается еще и тем, что ты его не понимаешь. Тебе надобна молодость — я смотрю на душевные качества, — тебе не нравится, что он ни на кого не глядит, я это в нем уважаю, вот мой образ мыслей о супружестве; я не верю сантиментальности, не верю страсти, которая вспыхивает от взгляда на красивое личико, от ласкового слова, от учтивого ответа, не верю мужчинам, которые говорят о любви, и никому не подам повода любить себя.

— Ах! Эмилия! если б и Глинский также думал; со всем тем я тебе верю. Мне кажется, ты все можешь, что хочешь, скажи мне, однако ж, неужели ты в самом деле не намерена никогда быть замужем?..

— В самом деле. Тебе известно, что я объявила об этом публично, чтобы избавиться настоящих и будущих искателей.

— Но неужели ты хочешь быть так хороша для самой только себя? Мне кажется, быть красавицей только для этого очень скучно?

Эмилия засмеялась, отвечала шуткой, и резвая де Фонсек, осыпав ее тысячею комплиментов, тысячею поцелуев, уехала к бабушке мечтать о русском офицере.

Эмилия осталась одна и рассуждала о своем разговоре с Клодиною. Это ребячество, говорила она: 16-летняя девушка думает, что любит человека, который приятно взглянул ей в глаза и которого видит первый раз в жизни, хорошо, что она сказала мне; я могу посмотреть за этим хладнокровно, а то, пожалуй, прихоть девочки от воображения так же заставит ее страдать, как бы и от сердечной наклонности. Однако, если б не жестокая зима в его варварском отечестве! если б он не русский? — но как я странна! все еще предубеждение мое сильно. Разве я не вижу теперь своими глазами, что русские не варвары. Этот Глинский образован, оригинален, его свободная ловкость нравится мне более изнеженных ухваток наших молодых людей, военная служба придала ему какое-то достоинство в обращении, но он очень молод, только 20 лет, против меня он дитя, а мне еще 22 года, но зато Клодине 16 лет; я бы желала счастье этому ребенку, желала бы ей такого мужа, как мой Серваль; как бы их соединение было для меня прият-

но! — Что, ежели я постараюсь об этом? — я непременно хочу этого! — Графиня легла спать, мечтая о том, что она будет причиною счастья молодых людей, но обещала себе на торопиться исполнением этого желания, обещала действовать с рассудком, чтобы это не походило на роман, хотела короче узнать достоинство, род, состояние молодого человека, а между тем вероломное воображение беспрестанно представляло ей уже готовую картину соединения Клодины и Глинского. Долго думала она о взаимном их счастьи, потом о каждом из них порознь, потом о Беранже, о Габриели, пока все эти лица слились в одно какое-то несвязное существо, которое принимало на себя все виды и формы, и, наконец, проясняясь, превратилось в образ Глинского на руках с Габриелью — и так уснула.

Графиня была странная женщина: с необыкновенной красотой, с какою-то неизъяснимою приманчивостью она соединяла внешнюю холодность в словах и образе мыслей. Она не верила пылкой страсти; смеялась над наружным ее изъявлением, и не прощала себе, ежели что-либо из ее внутренних ощущений выходило наружу. Выданная 18 лет за графа де Серваля, умного, красивого, но также холодного по наружности человека, она полюбила его в замужестве, приняла по привязанности его правила, и думала, что в свете не может существовать другой любви и в других формах, кроме той, которая связала ее с мужем. Несмотря, однако же, на все самоуверения, пылкое сердце изменяло ей беспрестанно; самое даже уважение и принятие правил мужа было следствием энтузиазма, возбужденного благородством его души и поступков, а где действует энтузиазм, там холодный рассудок мало имеет участия — и доказательством тому служило заключение графини, по которому она принимала наружную холодность за основу характера ее мужа. Она думала, что довольно мыслить так, чтоб чувствовать не иначе — и действительно, пока обстоятельства жизни не выходили из обыкновенного ряда происшествий, она действовала согласно с мыслями, но как скоро судьба становила препятствие или случай бросал под ноги нечаянное приключение, слова графини были в разладе с сердцем; она не переставала повторять свое и удивлялась, почему в серд-

це отзывалось совсем другое. Даже при всем старании сохранить внешность своей философии, прекрасное и выразительное лицо часто изменяло впечатлениям душевным, одним словом, графиня была милая оригинальная смесь холодных парадоксов, в которые набожно сама она верила, с живым противоречием физиономии, смесь странных мыслей с прекрасными поступками.

А что делал Глинский в это время? он также думал о резвой де Фонсек, о Габриели, о графине. Ему приятно было выдержать дебют: в присутствии парижских дам блеснуть умом, уменьем жить, и если в наше время нет рыцарских турниров, где царица карусели надевает венок на победителя, то наши гостиные представляют также поприще, где красота венчает ловкость, ум и любезность. Поцелуй де Фонсек был им получен по общему приговору как цена, как награда сегодняшнего отличия. Он видел внимание милой прекрасной девушки: это льстило его самолюбию; он припоминал ее черты, правильный носик, глаза, которых огненное выражение смягчалось при взгляде на него; эту невинную резвость юности, живой цвет щек и живость ответов при его вопросах. Все это приносило ему удовольствие, но при мысли о графине, при ее образе, который, так сказать, каждую минуту рассекал надвое призрак юной брюнетки, сердце его билось, он невольно останавливал на Эмилии взоры своего воображения и забывал похвалы, брюнетку и поцелуй, ею данный. Графиня мало с ним говорила, но каждое слово ее отзывалось в его слухе как гармония, проникавшая до его сердца. Казалось, что все его внимание обращено было за обедом на то, чтоб отвечать де Фонсек, но по какому-то непонятному внушению он не пропускал без замечания ни одного движения графини. Ее благодарность за дочь, выговоренная голосом, который заставил биться пульсы во всех жилах, казалась ему милее всех поцелуев в свете. Еще несколько времени чувствования, возрожденные суетностию, занимали его голову, но мало-помалу общество, обед, даже де Фонсек исчезли, и Глинский, полураздетый, сидя на постели со сложенными руками, с биением сердца, следил каждое движение мечты, представлявшей ему Эмилию с Габриелью на руках.

Глава V

Глинский проснулся поздно и проснулся с мыслию о вчерашнем. Посещение Дюбуа пришло ему в голову после перебора всех происшествий. Как рад был он, что человек, которого почти против воли уважал, так нечаянно сблизился с ним. Желая поскорее воспользоваться этим расположением Дюбуа, он поторопился одеться и отправился к нему — отплатить за визит. Дюбуа сидел за рисованьем. Это удивило Глинского. Он бросил быстрый взгляд кругом комнаты, которая походила более на кабинет ученого, нежели на жилище военного человека, и хотя в ней не было беспорядка, неразлучного с привычкою ученых людей, но странная смесь предметов, ее наполнявших, поражала внимание. На стенах было несколько полок с книгами разных форматов и разных эпох, в бумажках, коже и пергаменте; рукописи в тетрадях и свитках виднелись между ними. Древние и новые оружия, принадлежащие различным народам, развешаны были по стенам с географическими и топографическими картами и несколькими редкими картинами. Один шкаф занят был физическими инструментами, другой посвящен был редкостям естественной истории, в одном углу стоял скелет, на котором висели плащ и шляпа хозяина, в другом живописный манекен, а между шкафами помещено было несколько бюстов Наполеона в разных видах и возрастах.

Глинский сел возле Дюбуа и восхищался работою начатого рисунка; это была большая миниатюра, представляющая Надежду, которая, утешая удрученную печалью женщину, указывала одною рукою на заходящее солнце, а другою на восток. Все это было только набросано, но расположение и полуотделанная головка Надежды были превосходны.

— Вы художник, Дюбуа! — вскричал с восторгом Глинский.

— Нет, я могу только льститься, что понимаю художество других, и знаю, что не могу сам сделаться художником. Это не так легко достается, как вы думаете, и при моих занятиях мне надобно три жизни, чтоб достигнуть того, что я понимаю под именем ху-

дожества. Миниатюра есть игрушка, которою я забавляюсь в свободные часы, а искусство не терпит игрушек.

— Но эта игрушка превосходит многие важные работы настоящих артистов. Или вы слишком скромны, или я имею о художестве другие понятия, нежели вы.

— Когда мы познакомимся короче, и если вы любите искусство, вы узнаете мое мнение об этом. Теперь вам скажу только, что я с юности назначен был для живописи: учился, с пламенной душою искал разгадки для тайны искусства, и чем более приобретал понятий, тем более они приводили меня к отчаянию. Наконец, я устал подобно Сизифу катать на гору камень. В груди моей заговорило новое чувство: я вступил в военную службу и бросил художество. С тех пор оно сделалось для меня только отдохновением.

— Не могу спорить с вами за вас же самих, но, кажется, с вашим чувством изящного стоило бы заняться им исключительно. Чем глубже копаешь колодезь, тем вода чище. Я согласен с одним только, что это не может быть вашим постоянным занятием,— продолжал Глинский, обращая взоры кругом комнаты,— ваш кабинет дышит универсальностию.

— Не обманывайтесь в первых заключениях: все это не что другое, как только небольшое усилие, чтоб только не отстать от просвещения своего времени. Но оставим это. Скажите, не намерены ли вы посетить Музей Наполеонов? В таком случае, я прошу позволения быть вашим провожатым, и хотя мне дня два не свободно, однако, мы поспешим осмотреть все чудеса искусства, там собранные, потому что поговаривают, будто победители наши намерены отобрать от нас все памятники славы нашей, купленные кровью.

— Этого быть не может! — вскричал Глинский,— Александр публично объявил, что он не тронет никакого трофея французов.

— Александр? — станется. Но разве он один? разве он не пришел с другими, которые из нашей груди готовы вытянуть даже воздух, чем мы дышим? разве они не будут мстить за победы, над ними одержанные? разве им не больно смотреть на плоды побед,

сорванные на их земле торжествующею рукою?.. Александр достойный нас неприятель,— но эти союзники вероломные...

Разговор продолжался о Музее. Дюбуа рассказал, что он очень дружен с Деноном, директором Музея, и часто бывает там, копируя в свободное время картины лучших мастеров. Он условился с Глинским, когда посетить этот великолепный памятник искусствам, воздвигнутый Наполеоном, и оба отправились к завтраку, после которого Глинский едва только возвратился домой, как встретил слугу в ливрее графини. Он от ее имени просил у него позволения ходить маленькой Габриели с нянькою в сад чрез его комнаты, потому что единственный туда ход был из его залы. В одну минуту это было разрешено, в другую малютка явилась в саду. Как сделалась она любезна Глинскому! всякий день он угощал свою гостью; покупал ей игрушки; играл сам с нею — и признательная Габриель любила его больше всех в доме.

Любезный нрав Глинского, живость, забавный рассказ того, что он видел; благородный образ мыслей и обращения чрез несколько дней снискали ему всеобщую любовь. Маркиза полюбила его как сына и объявила на то права свои; его непритворная веселость и резвость, столь приличная юности, не выходившая никогда из пределов, часто увлекала за собою все семейство; даже важная Эмилия оставляла свой серьезный вид и принимала участие в забавах и смехе общества. Маленькая де Фонсек, приезжавшая каждый день, сначала прыгала, вертелась и потом задумчиво опускала свой носик, ежели Глинский вместо того, чтоб отвечать ей, заглядывался на графиню. Один только Шабань не задумывался и не засматривался, хотя и видно было, что он неравнодушен к Клодине де Фонсек. Он с жаром говорил комплименты, заставлял ее краснеть, опускать глаза и в ту же минуту с таким же жаром продолжал разговор о своих лошадях, или параде для австрийского императора, где Глинский так красиво шел перед взводом и салютовал, и, наконец, о ежедневных новостях. Эти французы имеют дар и любить даже особенным от других образом; и Шабань, несмотря на свое повесничество или, лучше сказать, именно потому, что он был повеса, был любезнейшим человеком.

Дня через четыре после того, как Габриель начала ходить в сад и пользоваться весеннею погодой, Глинский, проводя ее туда чрез свои комнаты, остался дома и вздумал пройтись по саду, уже тогда, как малютка, нагулявшись, ушла. Ходя взад и вперед по дорожкам, он нечаянно взглянул на следы, вытоптанные на свеже-усыпанном песке, и удивился, что кроме тяжелых ступней, глубоко отпечатанных по бокам дорожки, рядом с детскими следками легкое впечатление женского башмачка постоянно направлялось посредине всей аллеи. Частые следы малютки шли с правой стороны и на том месте, где оканчивалась дорожка, видно было, что дитя делало круг около последнего поворота женской ступни: это значило, что Габриель держалась за руку той особы, которой принадлежал такой маленький узенький и едва обозначавшийся на песке башмачок. Но кому принадлежал он? — те же следы были по всем дорожкам — и наконец, одна, без детских, у мраморной скамейки в углублении аллеи, показывали, что владетельница этого башмачка тут сидела, в то время как глубоко стиснутые следы подле Купидона Кановы, стоявшего против скамейки, толклись во всех направлениях. Это была женская же ступня; но широкая и толстопятая подошва ясно вдавлена была со всеми ее углублениями — несомненно тут ходила нянька, увесистая нормандка, с Габриелью на руках и показывала ей статую Купидона. Но кто же была эта другая? — как она попала в сад? в его двери она пройти не могла; другой выход был на набережную и никогда не отворялся, кроме садовничьих надобностей — Глинский терялся в догадках; эти соображения запутали его: потупя глаза, он ходил везде за миниатюрным следком, любовался им, и когда его позвали к завтраку, то первый взгляд на графинин башмачок разрешил его сомнения. Это она была с дочерью! но, может быть, она не придет опять? — думал он. Графиня не говорила ничего о своей прогулке; Глинский не смел спросить, но положил подстеречь ее завтра. Прошел день. Долго тянулся вечер, ночь и утро; наконец, пришла Габриель, и чрез четверть часа, к удивлению Глинского, явилась там и графиня. В первом движении радости выбежал он туда же. Эмилия была в утреннем платье; Глинский в первый раз

видел ее в белом, и никогда она не казалась ему столь прекрасною. Он хотел спросить, откуда она пришла, но взор ее и прелесть всего существа в новом для него виде привели его в волнение. Сверх того он никогда не бывал с нею один: Габриель с нянькою бегала по другим дорожкам. Он едва выговорил обыкновенное приветствие. Быстрота его появления и мгновенное замешательство заставили покраснеть и графиню. Несколько секунд они стояли, не говоря ни слова — наконец она сказала: «Я не думала, что вы дома, г. Глинский, я полагала, что вы отправились с Шабанем...»

— А куда поехал Шабань?

— Он поехал прогуляться верхом с Клодиною.

— Очень рад, графиня, что он не взял меня, я обязан этому случаю видеть вас.

— А я думала, вы жалеете, что не поехали с моей кузиной. Вы так любите с нею резвиться.

— Да, резвиться, графиня... но... но, говорить серьезно... я так мало слышу, как вы говорите, графиня!..

— Я не хочу мешать вашим разговорам, при том же в ваши лета надобно более резвиться, нежели заниматься серьезным, — вы еще очень молоды, Глинский!..

Молодые люди вообще не любят, когда им напоминают про юность. Глинский покраснел, ему показалось, будто Эмилия хотела этим напомнить разность их лет.

— Я чувствую, графиня, что это большой порок с моей стороны, но вспомните, что я от него исправляюсь каждый день; в немногие дни бытности моей здесь чувствую свое существование вдвое...

Эмилия не слыхала последних слов, потому что спешила поправить сказанное ею; она поняла по замешательству молодого человека, как он принял ее ответ.

— ...Я никогда не думала поставить этого в вину вам, Глинский, я хотела, напротив, выразить желание, чтоб вы сохранили дольше веселое ваше расположение; придет пора, и вы утратите вашу веселость.

— Неужели вы думаете, графиня, что я теперь только и способен к шалостям и шуткам, неужели вы полагаете, что два года страшной войны не умели

придать основательности рассудку и набросить тени на мои радости?..

— Что вы основательны и благоразумны, я это с удовольствием вижу из всех ваших поступков, но это не мешает пользоваться случаем веселиться.

— Я уже в полной мере пользуюсь им, графиня.

— Это комплимент, Глинский,— сказала графиня.— Вы все, мужчины, считаете обязанностию говорить непременно лестное только той, которая пред вашими глазами. Я думала, что вы не похожи на других. Скажите мне, неужели вы и в России так же вели себя?

— Я едва только год жил в свете, но никогда и ни перед кем, графиня, язык мой не произносил, чего не чувствовал я в самом деле.

— Стало быть, вы чувствовали все то, что говорили Клодине?..

— Если я говорил этой прелестной девушке, что у нее живые глаза или прекрасная греческая головка, я говорил правду, а в этом сошлюсь не только на вас, зная, что вы любите Клодину де Фонсек, но даже на каждую ее завистницу.

Здесь графиня начала доказывать ему любезность, ум и остроту де Фонсек, хвалила все ее душевные качества; Глинский молчал и каждое слово, сказанное Эмилией, применял к ней самой, набавляя собственными замечаниями к ее достоинствам. Она радовалась молчанию своего собеседника, принимая его за немое сознание в превосходстве этой милой девушки. Долго рассказывала графиня, увлеченная пристрастием к своей питомице, описывая первые годы Клодины и постепенное развитие ее характера, наконец, взглянув на Глинского, увидела, что он шел подле нее, потупив голову. Она полагала, что похвалы Клодине заставили его задуматься.

— О чем вы думаете?—спросила она его с твердою уверенностию в ответе.

— О том, графиня, как я мог сомневаться,— отвечал он, указывая на след ее,— что вы вчера гуляли в саду с Габриелью!..

Вся важность графинина расстроилась этим ответом: «Вы несносный человек, Глинский,— сказала она, смеючись,— я вижу, что мне надобно заняться вашим преобразованием так же, как я это делала с Кло-

диною; не надобно вас оставлять без совета в товариществе Шабаня, сядем здесь,— продолжала она, подходя к мраморной скамейке против Купидона.— Я хочу дать вам первый урок.

Ничто не могло быть любезнее предложения графини. Глинский с радостью сел подле нее и, как для урока надо было знать, чему он научился прежде, то он отвечал на вопросы о его воспитании, образе жизни, занятиях, о тех обществах, которые посещал; ему должно было рассказывать обычаи, представить картину обращения в обществе, рассказать, наконец, о войне и проч. В первый раз Эмилия говорила так много с Глинским, он отвечал ей с восхищением; рассказ его был жив, заманчив, и графиня, вместо того чтоб давать уроки, слушала только сама. Прошел час; она полагала, что на первый раз довольно выиграла доверенности. «Мне это нужно,— думала она,— в следующие разы буду более говорить о милой кузине; он стоит, чтобы в самом деле посмотреть за ним». Она встала, откланялась Глинскому и, прежде нежели он опомнился, исчезла в кустах и исчезла неизвестно как и куда, потому что Глинский стоял против своей двери и не видал, чтоб она туда проходила.

Он обошел весь сад; осмотрел все стены и не нашел ничего; назавтра появление графини случилось таким же образом, и на его любопытство она запретила и спрашивать, откуда приходит. Послезавтра и еще много раз она говорила ему о Клодине: он молчал или отшучивался; графиня ни на шаг не подвигалась с этой стороны, но по ее наблюдениям и замечаниям ей непременно казалось, что он любит Клодину. Взамен того взаимная доверенность подвигалась быстрыми шагами; прогулка перед завтраком сделалась необходимостью для обоих. Графиня думала, что действует для соединения двух юных сердец и не замечала, как собственное начало брать участие в живом, умном и картинном разговоре Глинского. Она считала, что любит неизменно покойного мужа и не предполагала никакой опасности; не понимала, что можно любить кого-либо вновь. Между тем Шабань устраивал почти каждый день прогулки в манеж, где Клодина училась верховой езде, и резвая де Фонсек скакала целое утро с веселым и красивым французом, а ввечеру твердила потихоньку графине, что *русский ей очень нравится!*

В таком положении были дела. Графиня не знала о самой себе; неопытный юный Глинский любил, но не смел, боялся дать почувствовать Эмилии, что ее любит. Ему казались святы чувства женщины, недавно схоронившей любимого мужа, и сверх того все это было так для него ново; он думал, как и все думают в начале первой любви, что верх счастья состоит в том, чтоб видеть ее, говорить, дышать с нею одним воздухом. Он играл, резвился с Клодиною, не спуская глаз с графини; говорил первой комплименты и довольствовался писать имя второй на стеклах, на книгах; даже в письмах к родным часто поля украшались ее вензелями.

Париж такой город, в котором надобно молодому человеку всего более сохранять кошелек и нравственность. Глинскому не нужны были увещания, чтобы он берег которую-нибудь из этих вещей: его чувствования были слишком высоки, чтобы искать таких удовольствий в Париже, которые могли бы навлечь нарекание; но несколько раз по неопытности он попадался в неприятное положение; несколько раз был обманут плутами, живущими в Париже простотою иностранцев; иногда его заставляли подписываться на издание книги; иногда надобно было откупиться от свидетельства нарочно заведенной подле него ссоры; однажды в толпе, куда привело его любопытство, ему навязали было ребенка; только Шабань, как настоящий француз, убедил по-свойски обманщицу, которая божилась, что Глинский ее соблазнитель. Все сии случаи доходили до сведения старой маркизы; Шабань не пропускал случая рассказать забавного анекдота; часто Глинский помогал ему, и маркиза всегда тревожилась в опасении каких-нибудь важнейших последствий от неопытности последнего. Мы сказали уже, что она полюбила его как сына, и в этом случае хотела употребить материнские права. Графиня Эмилия, взявшая на себя, так сказать, воспитание Глинского, также хотела, чтоб он для собственной пользы позволял маркизе и ей руководствовать любопытством своим и даже спрашивать их, если б случились ему какие-нибудь приглашения или предложения. Заботливость такого рода и радостная покорность юноши, видевшего, какое участие принимало в нем это почтенное семейство, еще более сблизило его с ним и особенно с Эмилией, которая непременно хотела поутру знать, где он будет, и требовала

отчета ввечеру, что он видел в продолжение дня. Молодой человек пускался по Парижу или с маркизом, или с Шабанем и ввечеру как пчела приносил собранный мед. Рассказ его был весел, замечания оригинальны — и часто он описывал такие вещи, которые самим парижанам казались новостями, потому что они по привычке не обращали на них внимания.

Людовик XVIII уже приехал. Несколько дней продолжались восторги фамилии Бонжелень, и каждый день он был предметом неисчерпаемых разговоров.

Однажды, после обеда, когда все семейство собралось около дивана в гостиной и когда общий предмет уже истощился, графиня Эмилия, желая дать другой оборот разговору, спросила Глинского, где он был сегодня утром?

— Я был с г. Дюбуа в Музее. По его благосклонности я теперь приобрел многие новые понятия о художестве, которые имел там случай проверить над образцами великих мастеров и тем с бóльшим удовольствием провел время, что познакомился с директором Музея, славным Деноном. Какой дар рассказа! Мы оставили его в ожидании австрийского императора. Прусский король был у него вчерашний день. Тут же я видел копию, которую работал г. Дюбуа, и был от этой копии в большем восхищении, нежели от оригинала.

— Я не знала, что вы работаете ныне в Музее,— сказала графиня, обращаясь к Дюбуа.

— Это потому, графиня,— отвечал он,— что тороплюсь сделать копию с картины, которая мне нравится. Денон и я имеем предчувствие, что этот Музей разойдется по рукам наших победителей. Я уже получил записку от Денона, в которой уведомляет, что прусский король прислал своего адъютанта с просьбою доставить к нему некоторые картины. Вероятно, австрийский император сделает то же, хотя г. Глинский и уверяет, что этому быть невозможно.

— Да, это общее наше опасение,— промолвил маркиз.

— Где же вы еще были, Глинский? — спросила Эмилия.

— Нигде, графиня; я хотел видеть короля, которого не видал с приезду, но это мне не удалось, и с большим удовольствием просто ходил по улицам Парижа и более всего любовался на парижан. Какая живость, деятельность! сколько выдумок, чтобы доставать

пропитание! Например: я остановился против церкви Нотр-Дам рассмотреть это замечательное строение. Подле меня с лорнетом в руке стоял молодой очень хорошо одетый человек. «Вы, конечно, иностранец,— спросил он с учтивостью,— и, конечно, любопытствуете узнать что-нибудь о замечательных зданиях Парижа: я за удовольствие сочту сделать для вас что-нибудь приятное». С сими словами он начал историю построения церкви, рассказал мне все значения украшений, которыми испещрена наружность здания; говорил как книга и, окончив, поклонился, потом скинул шляпу и, подставляя ее, сказал: «Могу ли я надеяться чего-нибудь от великодушия вашего?»

Я смешался, полагая, что он просит подаяния; и, судя по его платью, не знал, что дать, наконец, спросил с замешательством, сколько ему надобно.

— Сколько вам угодно: безделицу... франк?

Я бросил в шляпу наполеон, извиняясь и совестясь, что даю так мало человеку, одетому лучше меня. Я догадался после, что он требовал с меня только за свои труды, когда он в восхищении предложил мне идти осмотреть и внутренность церкви...

Все начали смеяться над Глинским. «Бедный молодой человек,— говорила маркиза,— он беспрестанно платится за свою неопытность».

— Вы слишком великодушны,— прибавила Эмилия.

— Что же вы нашли тут странного? — вскричал маркиз.— Иностранец дал двадцать франков вместо одного? Я знаю опытных шалунов, которые бросают сотнями так же за вещи, не стоящие франка.— Он взглянул на Шабаня, который, стоя против зеркала, расправлял свой шейный платок и поглядывал на резвую де Фонсек.

— Завтра же,— продолжал маркиз,— пойдемте, Глинский, я поведу вас в одно место, где можно научиться узнавать людей, населяющих парижские улицы и живущих на чужой счет.

— Что же вы еще видели? — спросила опять графиня.

— Я все сказал,— отвечал Глинский.

— Нет, не все,— подхватил Шабань,— я видел вас на углу улицы Д... перед столиком какого-то сидевшего там человека...

— Да, я познакомился с ним сегодня и хотел видеть его искусство. Вы знаете, что мне нельзя пройти этого места, идучи в Вавилонскую казарму, где стоит наш полк. Меня удивляло, что я всегда видел этого пожилого человека, в опрятной гороховой шинели, напудренного и в треугольной шляпе, с зонтиком в руках от дождя или от солнца, сидящего перед маленьким столиком, на котором никогда ничего не было. Всякий раз, как я проходил мимо, этот человек вставал, снимал свою треугольную шляпу и делал низкий поклон. Сегодня я подошел к нему и учтиво спросил, что он тут делает?

— Вырабатываю свое пропитание, м. г.

— Но каким образом? у вас ничего нет.

— Если угодно, я покажу вам,— я кивнул головою, он нагнулся; вынув из-под своего стула закрытую клетку, поставил на стол и когда ее открыл, я увидел в ней прекрасную канарейку.

— Eh bien! M-lle Bibi, voila un monsieur, qui veut faire votre connaissance. Soyez sage[1].— Он отворил дверцы, и канарейка выскочила оттуда, чирикая.— Faites la reverance a M...[2],— и канарейка прыг, прыг, подскочила на край стола, присела передо мною, поджала одну ножку и глядела в глаза, как бы ожидая приказания. В это время напудренный человечек, вынув из кармана колоду карт, перетасовал ее и рассыпал по столу; на затылках карт написаны были азбучные буквы.

— Не угодно ли сказать ей какое-нибудь имя,— продолжал мой знакомец в гороховой шинели,— она вам сложит его сию минуту...

Я сказал имя. Канарейка присела снова, потом прыг, прыг, начала попискивать, разбрасывать и перебирать носиком и ножками карты; выбрала первую букву сказанного имени, схватила карту за уголок, притащила и положила передо мною. Таким образом перетаскала все буквы, и заданное имя было вполне сложено.

— Знаете ли, какое имя задавал Глинский? — сказал Шабань, лукаво улыбаясь...

Глинский покраснел, смотрел ему в глаза, упрашивая взорами молчать — повеса смеялся. Все видели

---

[1] Слушай, Биби, этот господин желает познакомиться с тобою. Будь благоразумна.

[2] Поклонись этому господину.

замешательство молодого человека и приступили к Шабаню, чтоб он сказал, какое это было имя.

— Это было... но г. Глинский лучше скажет сам, чье это было имя.

— Императора Александра,— сказал, запинаясь, Глинский.

— Сестрицы Эмилии,— перехватил Шабань, кланяясь графине.

Общая веселость разразилась смехом — «он влюблен в тебя, сестрица!»,— шептала ей де Фонсек. Глинский горел; Дюбуа побледнел; замешательство самой графини, потупившей глаза на свою работу, обнаруживалось розовым цветом шеи. Глинский желал, чтобы земля расступилась в эту минуту под его ногами, но когда он увидел положение Эмилии, то не мог долее выдержать своего смущения: он вскочил и, уходя из комнаты, бросил сердитый взгляд на Шабаня.

Этот смеючись вышел за ним следом.

— Как тебе не стыдно, Шабань,— начал Глинский с горячностию, услышав его смех за собою,— выставлять публично такие пустяки, которым я не хотел бы сделать четырех стен свидетелями!..

— И для того делал это на площади? — прекрасный способ сохранить тайну. Но не сердись, cher[1] Глинский, ты не хочешь понять собственной выгоды: à present la glâce est rompue[2] — теперь дорога открыта. Эмилия знает, что тебе нравится — а ты, вместо того, чтоб сердиться, благодари, что я тебе сократил половину дороги.

— Как, Шабань? ты полагаешь, что я осмелюсь думать о сестрице твоей в ее положении? что я не уважу ее горести? Я поступлю недостойно ее и себя, ежели захочу теперь обратить ее внимание. Знаешь ли, что бывают в жизни торжественные минуты, которых нарушать ничем не прилично?

— Видно, что романические идеи зашли к нам с севера, беда, ежели все русские такие же, они перепортят наши нравы! Послушай, Глинский; le devoir de tout honnete homme, est de faire la cour à une jolie femme[3] — а ты поступаешь против приличия, не следуя этому правилу: vous manquez à une femme[4].

---

[1] дорогой *(фр.)*.

[2] теперь лед сломан *(фр.)*.

[3] Обязанность всякого порядочного мужчины ухаживать за хорошенькой женщиной *(фр.)*.

[4] Вы пренебрегаете женщиной *(фр.)*.

— Какая странная логика! ты шутишь, Шабань! может ли это быть приятно женщине с достоинством? и когда же? — в самые горестные минуты?..

— Может быть, это ей будет неприятно, но, верно, еще неприятнее твое равнодушие; во всяком случае, она примет это как дань, должную красоте, а во Франции эта дань, эта подать взыскивается строже всех регалий. Но, одним словом и чтоб начать откровенностью, скажу тебе, что я влюблен в ветреную кузину моей сестрицы — и, как я заметил, что она засматривается на нашего русского гостя и краснеет при каждом его слове, то хотел показать ей, что ты занят Эмилией, помочь твоей нерешительности или застенчивости, а любезной сестрице доставить хоть небольшое развлечение. Мне уж надоела ее кислая рожица!..

— Но помилуй, Шабань, ты говоришь так легко о любви, как о твоем завтраке или параде!

— Да кто же тебе сказал, что я говорю о любви?..

— Стало быть, действительно, я тебя не понимаю, или наши нравы слишком разнятся от ваших.

Шабань засмеялся.

— Поймешь, любезный друг, поймешь, если проживешь подолее в Париже, но пойдем в гостиную.

— Ни за что на свете! я сгорю со стыда — и если ты хочешь сохранить мою дружбу, то ступай сам и извинись в своем повесничестве, скажи, что ты пошутил, что ты выдумал...

— И я скажу: ни за что на свете! как, ты хочешь, чтоб я разрушил то, что должно произвести прекраснейшее впечатление?

Здесь два приятеля расстались. Глинский не мог играть своим сердцем и не в состоянии был, почувствовав однажды влечение к прелестной женщине, давать такую форму своему обращению с нею, чтобы из наклонности сделать одну забаву, способ для препровождения времени. Не менее того, он не сердился уже на Шабаня, даже... ему приятно было, что графиня сведала о его чувствах, и хотя не знал, куда поведет его эта склонность, но, как человек, который любит в первый раз, не знал сам, для чего он любит, и сам не зная для чего, желал, чтобы его любили.

Когда Шабань возвратился в гостиную, там все было спокойно; старик маркиз со своею женою и с Эмилией сидели вместе и разговаривали; Дюбуа подле дивана в креслах, облокотясь на руку, погружен был

в задумчивость; де Фонсек, надув губки, сидела поодаль одна, не принимая участия в разговорах. Шабань сел подле нее и с усмешкою спросил:

— Могу ли узнать, о чем думает моя прекрасная кузина?

— Я думаю о том, Шабань, как вы ветрены; как вы нерассудительны; как мало вы думаете о том, что говорите.

— Прекрасно! шестнадцатилетняя кузина называет меня ветреным; читает мораль! — это хоть бы и графине Эмилии, — но за что это?..

— Именно за нее. Как вам не совестно наговорить таких пустяков при всех. Эмилия смешалась; Глинский должен был уйти; я бледнела за вас, Шабань.

— Будто за меня, Клодина?.. мне показалось, что это было за себя.

— Неправда, mon cousin, неправда, — перехватила Клодина, отворачиваясь, чтоб скрыть смущение, — видите, Шабань, вы прибавляете злость к вашей неразборчивости!

— Ежели б я знал, что мои шутки или ветреность, как вы называете, вам неприятны, я бы старался исправиться, но я впервые это слышу. Знаете ли, кузина, я в самом деле замечаю, что мой характер неоснователен и желал бы от чистого сердца, чтоб кто-нибудь порассудительнее останавливал меня, замечал мои шалости, исправлял недостатки. Вы вызвались теперь сами: хотите ли быть моею наставницею?..

Девушка в 16 лет очень желает казаться рассудительною; новобрачная в 20 лет хочет носить чепец; женщине в 40 лет не хочется надевать его. По всем этим причинам Клодина с живостию отвечала Шабаню:

— Охотно, mon cousin, но буду поступать с вами как можно строже.

— Тем лучше, тем скорее исправлюсь. Только прошу, милая кузина, пристальнее наблюдать за мною.

Условие было сделано. Молодые люди с важностию начали толковать, с чего надобно было начать исправление. Клодина, гордясь званием наставницы, обещала не спускать с него глаз — и лукавый Шабань достиг желаемого. Он очень хорошо сумел пользоваться таким обстоятельством. Ему надобно было только обратить внимание милой кузины: чтоб под-

держать его, он достаточно имел способов при остром уме, доброте и необыкновенной ловкости.

Графиня улучила первую минуту, когда маркиз с женою о чем-то заспорили, она обратилась к Дюбуа, который все еще сидел в задумчивости.

— Здоровы ли вы? — спросила Эмилия с заботливостью,— не беспокоит ли вас ваша рана?

— Нет, графиня, я не болен; рана не беспокоит меня; голова моя совершенно здорова.

— Но отчего же вы так печальны, Дюбуа?

— Оттого, графиня, что все надежды мои лопаются одна за другою, как мыльные пузыри. Вся будущность моя, которая рисовалась радужными красками на этих пузыриках, исчезла от одного легкого дуновения.

— Я вас не понимаю, Дюбуа. С некоторого времени вы переменились со мною совершенно. Ваша искренность исчезла, обращение приняло какие-то угрюмые формы и, если я не ошибаюсь, это началось с моего несчастия, тогда как ваша дружба для меня была нужнее, нежели когда-нибудь.

— Я уважал вашу горесть, графиня, приближаясь к вам, я боялся пробудить неприятные воспоминания.

— Принимаю вашу причину, но не простирайте слишком далеко вашей деликатности. Я плакала вместе с вами и это меня облегчало, но чем мне было легче, тем более вы от меня отдалялись. Даже по приезде моем из Лиона мы с вами ни разу не разделяли ваших чувствований о несчастиях отечества; вы знаете мое положение при известном вам образе мыслей в кругу моего семейства, и вы — я жалуюсь вам самим — вы оставили меня в одиночестве!..

Казалось, что глаза Дюбуа заблистали необыкновенным светом, но мало-помалу опять приняли обычное выражение, и он сказал:

— По приезде вашем, графиня, я сам желал бы сблизиться с вами, потому что много тяжести лежало и лежит еще на этой груди, желал бы и не мог ни однажды. Я льстился быть успешнее сегодня, нежели вчера, и завтра более, нежели сегодня, но надежды мои были напрасны. Вы так заняты, графиня!.. Мне казалось, будто вы разделяете общее торжество, и я не хочу своею суровою фигурою мешать ничьим радостям... Не хочу возбуждать никаких напоминаний и портить тем настоящих ощущений.

Изумленная графиня смотрела на Дюбуа; она хотела понять смысл его слов и, наконец, медленная краска вступила ей в лицо.

— Я занята? — повторила она, — я разделяю общее торжество? Мои новые ощущения? теперь вижу, что вы хотите сказать, но как вы могли это подумать, Дюбуа, знавши меня.

— Мог потому, графиня, что я за вами замечал лучше, нежели вы сами за собою, и сегодняшнее ваше замешательство, при нескромности Шабаня...

— Нет, Дюбуа! — прервала Эмилия, — никогда женская слабость не будет иметь доступа к сердцу жены вашего покойного друга. Много надобно времени, чтобы изгладилась моя к нему любовь; еще более, чтобы родилось какое-нибудь новое чувство. Верьте, Дюбуа, что если б я в самом деле могла сделаться неверною своим обетам и чувствам, если б этот русский заставил меня поколебаться в моих намерениях, — вы первый узнали бы, — вашей дружбе доверила бы свои ощущения!..

— Я, графиня, моей дружбе?.. нет! нет! избавьте меня! увольте меня от этой доверенности! — он вскочил, хотел еще что-то сказать, но вдруг обернулся и почти выбежал из комнаты. Эмилия долго смотрела ему вслед, потом со вздохом опустила голову на грудь и сказала: «Он подозревает меня — я докажу, как он обманывается... Но он не хочет моей доверенности, что все это значит?..» — она погрузилась в задумчивость.

Глава VI

Глинский встал рано поутру, посмотрел на окошки графини, еще задернутые зелеными занавесями, вздохнул, по обыкновению влюбленных, и сел писать письмо в Россию к своему отцу. Он писал, думал о вчерашнем повесничестве Шабаня, засматривался на окошки Эмилии, катал восковые шарики со свечи, горевшей перед ним для запечатания письма, наконец, внимание его совершенно устремилось на окна, когда он увидел, что занавеси начали отдергиваться одна по одной, и появление слуги, отворявшего окошки, возвестило ему, что графиня также встала. В эту минуту кто-то тихонько постучался в двери, но Глинский был так занят, что не слыхал этого зна-

ка — и старый маркиз вошел в комнату, не дождавшись ответа. Он остановился в дверях, увидя юношу, сидевшего в задумчивости перед письмом. Глинский был полуодет; тонкая рубашка богатыми складками драпировала легко стянутый стан, высокую грудь и руки, — и там, где она прилегала плотнее, розовый цвет ее обнаруживал живую краску молодого тела.

Здоровье, молодость, мужество рисовались по всем его чертам; даже самая образованность видна была в каждом движении. Маркиз любовался им и медленно осматривал его с головы до ног. На губах старика показалась улыбка, вслед за нею вырвался вздох. «Если б у меня был такой сын!» — сказал он, и слова его пробудили Глинского. Он вскочил, извиняясь в своей рассеянности, хотел одеться, но маркиз непременно настаивал, чтобы он дописал письмо. «Я хочу видеть, как вы пишете по-русски», — сказал он, опершись на спинку стула за молодым человеком. Глинский начал писать, маркиз смотрел через плечо.

— Прекрасный почерк, — вскричал сей последний, — я думал, что вы пишете от правой руки к левой.

Глинский посмотрел на него и улыбнулся:

— Вы хотели сказать, что мы пишем как татары?

— Да... нет!.. я хотел сказать: как все восточные народы. К кому вы пишете, Глинский?..

— К моему отцу, маркиз.

— Счастлив отец, у которого есть такой сын! Как бы я желал иметь сына! — но богу не угодно было даровать мне этого утешения! Я думал, что фамилия Бонжеленей, получившая начало вместе с Франциею, будет жить вместе с нею и с нею только исчезнет: но у меня только дочь — но у меня только внучка — даже судьба отняла и зятя... И эта древняя фамилия... — голос маркиза дрожал, сверкающие глаза потускли, — и эта древняя фамилия, — повторил он, задувая свечу, когда Глинский запечатал письмо, — со мною потухнет, как эта свечка!..

Бывают минуты, в которые слова и утешения излишни. Глинский молча подал руку маркизу.

Одеванье Глинского было скоро кончено; минутное облако, потемнившее воображение маркиза, прошло, и веселый его характер снова принял обыкновенное направление. Шутя, смеючись, рассказывая,

он повел своего гостя для исполнения вчерашнего обещания; они вышли из дому и пошли по парижским улицам, где еще очень мало показывалось народу. Кой-где выглядывали из домов заспанные и полуодетые фигуры; кофейные дома и трактиры отворялись только еще для того, чтобы выпустить слугу с чашкою кофе на подносе, или впустить какую-нибудь гувернантку старого холостяка за завтраком своему хозяину.

Ранние посетители улиц: трубочисты, мальчики, с гвоздиком, вбитым в палку, с мешком за плечами для собирания старых лоскутьев; водоносы — одни только были в полной деятельности. На углу улицы Глинский увидел человека, который сдирал со стены старые афиши и объявления, которыми улеплены все углы домов на перекрестках.

— Посмотрите на этого доброго человека,— сказал маркиз,— может быть, вам покажется его занятие слишком ничтожно, однако я могу заверить, что оно доставляет ему безбедное пропитание; теперь он в старом сюртуке, в изорванной шляпе, но ввечеру вы увидите его порядочно одетого, в лучшем кофейном доме, с газетами в руках, с рюмкою мороженого или ликеру — услышите, как он говорит о политике, о литературе, о театре, о науках и, конечно, не подумаете, что он почерпнул все эти сведения из афиш,— и это такое место, которого добиваются многие и получают очень редкие. Вы вчера удивлялись промышленности парижан, она неисчислима: этот питается от афиш; другой по окончании театра платит несколько су женщине, отворяющей ложи, за позволение осмотреть их — и с неимоверным проворством, прежде нежели успеют погасить огни, ищет потерянных перчаток, оставленных платков, уроненных булавок и живет этим ремеслом; третий... но где исчислить их — скажу только, что каждый промысел имеет свои выгоды, свои наслаждения по своему состоянию. Этот идет в трактир, другой, кому деньги не позволяют подняться во второй этаж, сходит в подвал и завтракает так же весело, как и первый, с тою разностью, что его ножик и вилка прикованы цепочками к столу.

В эту минуту навстречу нашим путешественникам тащился фиакр, в котором седок спал, а дремлющий кучер машинально помахивал бичом, не столько для пробуждения тощих лошадей, которые не переменя-

ли своей степенной походки, сколько для собственного пробуждения.

— Как переменились времена! — воскликнул маркиз, заглядывая завистливо в фиакр, — бывало и я не возвращался домой ранее этой поры! — это, видно, какой-нибудь запоздалый танцор едет только теперь с бала. Да, Глинский! я жил в веселые времена; тогда мы забавлялись от сердца; едва доставало суток на удовольствия, но проклятая революция переменила нашу радость на слезы, а потом железное царствование Наполеона предписало какие-то военные формы веселостям французов; нельзя было отступить от них ни шагу по своей воле, чтобы полиция не напомнила вам должного порядка. Веселость, даже и в предписанных правилах, не обходилась без жандармов: они определяли всему меру и известность, — чем великолепнее был праздник, тем их было более, или, лучше сказать, чем более было жандармов, тем праздник считался великолепнее. Конечно, находили люди и тут удовольствия: но это было не то, что прежде.

— Не думаю, маркиз, — сказал Глинский, — чтобы вы жалели о прошедшем времени, в которое ненаказанность со стороны сильного слишком обременяла слабого, когда дворянство...

— Вижу, — прервал старик, — что революционные мнения приманчивы, это речи всей нынешней молодежи. Но я соглашусь с этим. Я жалею только об утрате одной истинной народной веселости и не люблю Бонапарта за то, что он занял чужое место.

— Не лучше ли сказать, маркиз, что не народная веселость исчезла, а переменились вы сами; что же до Бонапарта, то он доставил Франции славы и благосостояния в течение 15 лет более, нежели Бурбоны в несколько веков.

— Послушайте, Глинский, — говорил маркиз вполголоса, — я все наперед знаю, что вы мне представить можете. Между нами будь сказано, я люблю царствование Наполеона, удивляюсь его гению не меньше другого, но я увидел его уже тогда, как мой характер образовался, а потому не мог до сих пор ни привыкнуть к его царствованию, ни отстать от старой привычки — любить Бурбонов. Сверх того, я думаю, лучше держаться одной какой-нибудь стороны, нежели переменять свои мнения при каждом перевороте. Знаете ли, Глинский, — сказал он с некоторою гордостию, — постоянству образа мыслей обязан я тем ува-

жением, каким пользуюсь в публике, тем снисхождением, какое оказывал мне Наполеон, несмотря на то, что я не хотел принимать при нем никакого места и, наконец, тою милостью, какою взыскал меня Людовик XVIII с самого приезда!..

С этими словами они подошли к великолепному магазину, над дверьми которого золотыми готическими буквами надписано было: Habillements d'hommes à vendre et à louer[1].

— Вот цель нашего путешествия,— сказал маркиз.— Мы покажем вид, будто нам надобно купить платья, и посмотрим, что тут делается.

Несколько огромных комнат уставлены были по стенам шкафами красного дерева, в которых висело и лежало платье, белье, обувь и все принадлежности к мужской одежде всякого рода. Несколько человек выбирали, примеривали разные вещи пред зеркалами во всю стену, другие одевались с головы до ног за ширмами. Маркиз обратил внимание Глинского на человека, который вышел из стеклянных дверей внутренней стены залы. Глинский видел, как он сходил боком с лестницы, лежащей против двери, остерегаясь, чтоб не растерять туфель, или, лучше сказать, подошв отрезанных сапогов, едва державшихся на босых ногах. Голова была всклокочена и, по странному противоречию, несмотря на то, что он никогда не сыпал на перьях, бог знает отчего, была в пуху, борода не брита, на плечах накинут старый фризовый сюртук, столь выношенный, что нитка с ниткою держалась только одними сальными и дегтярными пятнами. По заботливости, с какою этот посетитель придерживал свой сюртук одною рукою около шеи, а другою около колен, можно было подозревать, что эти обе руки дополняли недостаток остальной одежды.

— Посмотрите на этого молодца,— сказал маркиз,— вы видите, что он по костюму принадлежит к революционистам двух наций, к испанским дескамизадосам и французским... Вы понимаете, Глинский?— продолжал маркиз, смеючись собственной шутке,— теперь вы увидите его превращение.

В самом деле, чудака отвели в особую комнату, посадили на некоторое возвышение, дали в руки газеты и начали его мыть, чистить, стричь, завивать и

---

[1] Мужская одежда продается и отдается напрокат.

помадить; надели чистое белье, щегольское платье, сунули в карман платок, в руки лорнет, поклонились и выпроводили на улицу.

Глинский смотрел на эту сцену с удивлением. Маркиз взял его за руку и повел вон.— Если б достало у нас времени и терпения,— сказал он,— та же комедия повторилась бы перед нами двадцать раз. Но довольно этого образчика. Все, что вы видели, и с наймом платья на день, стоит не более двух с половиною франков. Ввечеру этот человек должен явиться сюда же: с него тем же порядком снимут до нитки все, что было надето поутру, и он отправится на свой чердак отдыхать от дневных трудов, а завтра может начинать снова. Таким образом мужчины, женщины, не имея лоскута прикрыть наготу, являются пред публикою в щегольском наряде, который помогает им заработать свое дневное пропитание. Полюбуйтесь теперь на эту гусеницу, превращенную в блестящего мотылька, посмотрите, как он порхает между людьми, поглядывает в лорнет и с важным видом, играя зубочисткою, предлагает свои услуги прохожим. Вы вчера видели такого же человека. Теперь отправимтесь домой, мы сделали необыкновенную прогулку и возвращаемся с добрым аппетитом.

— Извините меня, маркиз,— сказал Глинский,— мне есть надобность побывать у полковника, я надеюсь увидеться с вами за обедом,— и они разошлись в разные стороны.

Глинский у полковника застал несколько человек офицеров, которые собирались посетить музей, торопясь видеть его по разнесшимся слухам, будто уже разбирают картины для короля прусского и австрийского императора. Он согласился сопутствовать им, несмотря на то, что был там вчера.

Глинский увидел перемену со вчерашнего дня в музее. Многие лучшие картины исчезли со стен, некоторые были сняты со своих мест и укладывались в ящики; в первой же комнате, на месте Наполеонова портрета, висело изображение коронации Людовика XVI, ее чистили и поправляли, видно было, что она вынута из какого-нибудь магазина, где лежала долго без присмотра.

Довольно большого роста человек в очках, почтенной и приятной наружности и грустной физиономии, ходил твердою поступью взад и вперед по гале-

рее с заложенными за спину руками и потупленной головой. Это был известный Денон, директор музея.

Глинский, как уже знакомый, подошел к нему и вежливо спросил, что значит такая перемена?

— Что делать, господа,— отвечал, пожав плечами, Денон,— мы побеждены — и цена крови и трудов наших переходят в руки победителей. Наполеон собрал этот музей как памятник славы французов; теперь слава наша погибла — на что нам и память о ней! — он с горькой усмешкой выговорил слова эти: видно было внутреннее движение, которое не позволило ему продолжать более.

— Но что же это значит? куда отправляются эти картины? — спрашивали вдруг многие из офицеров,— неужели слухи справедливы, что?..

— Ах, господа, простите, мне больно, как отцу расставаться с детьми своими. Но вы русские, а до сих пор император Александр вел себя с побежденными как прилично герою-победителю,— я могу вам сказать, что это такое. Посмотрите,— говорил старик, идучи вдоль галереи,— вместо моего Рафаэля, за которого отдал бы охотно последние годы своей жизни, остался только этот гвоздь; его взял сегодня император Франц. Вот пустая подставка, на которой подле окошка стоял Поль-Поттер! Поль-Поттер, каким не обладал никто на свете — он отправился к королю прусскому! Здесь это четыреугольное неполинявшее пятно на стене заменяет мне ничем не заменимое Корреджево распятие; о нем еще немцы и пруссаки мечут жребий — и я боюсь, что они вновь распнут Христа и раздерут его одежды!..

Печаль старика была непритворна, глаза его отуманились, он снял очки, вытер их, как будто они были тому причиною, и продолжал свои жалобы, водя молодых людей от одного пустого места к другому.

— Я думаю,— сказал по-русски один молодой офицер, только что произведенный при вступлении в Париж,— я думаю, после потопа в первый раз посетители ходят по картинной галерее, чтоб смотреть на пустые места!

— Замолчи, шалун,— сказал ему Глинский,— уважь печаль достойного человека и не смейся над горестью оскорбленной национальной гордости.

— Я могу похвалиться, милостивые государи,— говорил Денон, продолжая рассказывать историю многих картин, их приобретения и водя своих

посетителей из залы в залу,— могу похвалиться, что я создал этот музей; я был везде с Наполеоном, везде как пчела собирал свои соты и сносил в этот улей. Я имею причину отчаиваться, когда перуны победителей поражают вокруг детей моих, оставляя меня, как Ниобею, одного на голой и пустынной скале. Вот еще несутся новые громы,— прибавил он, побледнев, увидя по длинному ряду комнат идущего адъютанта прусского короля.

Все посетители остановились и обернулись вместе с Деноном; каждому была понятна скорбь человека, который видит разрушение собственного здания, на сооружение которого он положил многие годы своей жизни.

Денон выступил навстречу адъютанту, который подал ему бумагу и какой-то красный сафьянный футляр. Оба вместе, разговаривая, подошли к окну. Денон читал, лицо его переменялось; он бросил на окно футляр, поднял на лоб очки, с недоумением посмотрел на посланного, как бы не доверяя читанному, потом, в восторге схватив обеими руками лист, бросился к русским, восклицая:

— Господа! друзья мои! я спасен, я оживаю; я клеветал несправедливо — читайте!..

Глинский прочел вслух приветствие прусского короля и изъявление благодарности за посещение музея, в знак чего просил принять табакерку, осыпанную брильянтами с его портретом, прибавил просьбу прислать своих людей, чтобы получить обратно картины, которыми он долго любовался у себя дома. Вместе с тем он успокоивал его насчет безопасности музея и свидетельствовал это обещанием своих августейших союзников.

Старик осыпал учтивостями и ласковостью адъютанта, который с немецкою флегмою снова подал ему брошенный без внимания футляр с табакеркою. «Это портрет его величества»,— говорил он, видя, что Денон в радости не заботился посмотреть подарка; «это портрет его величества короля прусского»,— повторил он, когда старик с прежнею рассеянностью опустил его в карман, прося благодарить короля за милость, оказанную музею.

Восторги доброго Денона не прекращались; и в это время, когда русские от чистого сердца поздравляли его, сзади послышалось шарканье многих шагов и шелест шелкового платья. Все обернулись — пе-

ред Глинским была графиня Эмилия, де Фонсек и Шабань... шепот похвал и лестных выражений раздался между офицерами.

Графиня никак не ожидала найти здесь Глинского, даже когда видела мундир его полка, но как скоро он обернулся лицом к лицу, она вспыхнула и остановилась. Глинский, действуя по первому впечатлению удовольствия при виде графини, подошел к ней, но, заметя краску и вспомнив вчерашнее происшествие, едва выговорил свой bon jour[1] и рад был, когда Денон с сияющим лицом начал рассказывать графине свое торжество и когда Клодина стала хвалиться ему покупками, сделанными вместе с Эмилиею.

— Мы завтракали вместе у бабушки,— говорила она,— и поехали потом по магазинам. Эмилия сегодня не в духе; она бранила меня за вкус, не хотела покупать ничего, что мне нравится,— а я не понимаю, как очутилось в карете все то, чего мне хотелось. Ах! Глинский, какие прекрасные вещи,— потом встретили мы одного господина, который настращал нас, что завтра же не останется в музее ни одной картины, ежели мы не захотим посмотреть на них сегодня.

— Здравствуй, Глинский! — сказал ему Шабань, раскланявшись с некоторыми уже ему знакомыми офицерами,— надеюсь, ты будешь добр и пойдешь с нами. Эмилия сердита на меня за вчерашнее,— прибавил он потихоньку,— и ты видишь, как мы хорошо разделались. Только брось свои предрассудки, Глинский!

— Повеса,— сказал Глинский, качая головою.

Графиня сама не знала, отчего она покраснела.

«Это от неожиданности,— думала она,— как дурно иметь такие слабые нервы». И когда Глинский подошел к ней в другой раз:— Вы не соблюдаете наших условий, Глинский,— сказала она шутливо,— вы и не объявили — где сегодня будете.

— Это случилось нечаянно, графиня, сегодня я не имел счастия видеть вас, а вчера я не смел...— Эти слова привели Эмилию именно к тому предмету, о котором она хотела говорить.— «Я должна поступить решительно,— думала она,— я не хочу, чтоб Шабань или Дюбуа могли возобновить вчерашние сце-

[1] здравствуйте *(фр.)*

ны».— Кстати,— сказала она вслух,— будем говорить откровенно: о чьем имени вчера была речь! не правда ли, что это выдумка шалуна Шабаня?..

Глинский потупил глаза, он чувствовал, что ему предстоит важный шаг: первое признание. Дрожь пробежала по всем его членам, но когда он взглянул на милое, ясное и совершенно спокойное лицо Эмилии, которая внимательно ждала ответа, то смутился совершенно.

— Графиня! я не смел бы сказать этого никогда,— не подумал бы дать какого-нибудь о том подозрения, но как скоро это уже сделалось вам известно; когда вы спрашиваете... я не смею солгать... это было ваше имя, графиня!..

— И, полноте, Глинский, я вижу, что вы делаете успехи под руководством Шабаня... Вы обещали слушать меня? не так ли?.. хорошо... скажите же, не говорил ли вам Шабань, как вы должны со мной обходиться? Que vous... Que vous devéz il faut finir cela. Que vous devéz me faire la cour?[1] — сказала она, не придавая никакой важности этому выражению и стараясь принять на себя вид наставника.

— Правда, графиня.

— Я угадала,— что же вы отвечали?..

— Отвечал, что могу только любить, но не способен играть своими чувствами.

— А я готова биться об заклад, что вы это теперь говорите в первый раз. Вижу, что нельзя исправить вас,— я вам запрещаю слушать вздоры этого несносного Шабаня...

Графиня остановилась и размышляла о сказанном: «Какое несчастье,— думала она,— что эти молодые люди помешаны на комплиментах всякой женщине. Я хочу добиться от него, что он чувствует к моей Клодине, а он думает оскорбить меня, не сказав чего-нибудь лишнего на мой счет. Впрочем, это может быть с его стороны скромность: он не хочет показать, что любит ее — истинная любовь скромна,— но я узнаю, что у него на сердце...»

— Вы меня не понимаете, Глинский,— продолжала она,— я не люблю того, что составляет нашу фран-

---

[1] Что вы... что вы должны... ну, словом, что вы должны ухаживать за мной *(фр.)*

цузскую вежливость с дамами — и один раз навсегда скажу вам, что не буду слушать ваших льстивых выражений. Я хочу откровенности: предлагаю вам свою дружбу, хотите ли вы заслужить ее, Глинский? в таком случае, требую только чистосердечия.

Дух сжался у Глинского при первых словах, как у птички, посаженной под пневматический колокол, но точно как у ней же возобновляется жизнь при отворении крана, последние слова графини двинули быстрее кровь по его жилам. Он с чувством руку свою прижал к груди своей и ничего не мог выговорить.

Они разговаривали, продолжая идти по галереям из залы в залу, останавливаясь против некоторых картин и слушая красноречивые описания Денона; прелесть обращения этого человека и искусство рассказа очаровывало все общество. При его словах картины оживали, при его рассказе видел всякий живописца: как он соображал свою картину, накладывал краски, под каким вдохновением кончал оную, и каждая тайная мысль художника разоблачалась пред обольщенными глазами и слухом посетителей. Один только Шабань с Клодиною летали как мотыльки, уходили вперед, возвращались, судили картины, и в то время как общее внимание было устремлено в рассказ, резвая де Фонсек нападала на Глинского, или Шабань подсмеивался над графинею. Между тем товарищи Глинского, несмотря на красноречие Денона, чаще засматривались на графиню, нежели на картины, которые толковал он — и как скоро позволяло приличие, перешептывали друг другу свои замечания и ощущения.

— Это хозяйка Глинского,— говорил один,— какой он счастливец! какой стан! какое ангельское выражение лица! какие благородные, восхитительные приемы! — повторял другой,— во всяком случае,— шептал третий,— я бы уверен был, что нельзя найти прекраснее этой интересной попрыгушки, что ходит с нашим приятелем Шабанем, но теперь не вижу между ними и сравнения.— Глинский и сам молодец,— сказал его капитан,— я от чистой души радуюсь, видя их вместе!..

Все это говорено было по-русски, и хотя графиня не понимала этого языка, но лицо Глинского как зеркало отражало впечатления. Иногда он улыбался,

ловя жадным слухом мимолетные слова. В другое время краска и потупленный взор его показывали, что говорилось о нем; иногда же Эмилия подстерегала пламенный и исполненный любви взор его, когда грудь надмевалась гордостью и лицо выражало самодовольствие, ежели хвалили графиню. Кто истинно любит, тот счастлив достоинствами любимого предмета.

Графиня замечала все его движения и понимала их. Первый раз удовольствие самолюбия проникло в ее душу против ее ведома. Она чувствовала, что была предметом похвал, но они доходили к ней так косвенно и такою приятною дорогою! Очень лестно слышать похвалы, особенно ежели почтение мешает им выразиться слишком явно: в этом случае шепотная похвала русских могла нравиться графине больше похвал громогласных французов.

Глинский был полон восторга. Сверх того, ему графиня предложила дружбу. В эту минуту он думал, что выше его нет никого на свете. Он еще был новичок в любви.

Таким образом все общество переходило из залы в залу, пришло туда, где сидел Дюбуа, копируя мадонну Карлино Дольче. Он удивился, увидя графиню и Глинского, с которым вчера был в музее, но более обрадовался известию Денона, которым тот успокоил его насчет музея.

— Как хороша эта мадонна! — сказала графиня, — какое прекрасное выражение дали вы ей, г. Дюбуа.

— Я не нахожу в ней много прекрасного,— сказал Шабань,— во-первых, у нее голубые глаза, а она была иудеянка; во-вторых, я бы желал видеть ее моложе для мадонны с этим младенцем.

— Я не вижу ни в том, ни в другом недостатка,— сказал Глинский,— но здесь изображена только кротость на хорошеньком лице, здесь выражение слишком земное. Боже мой! — воскликнул он,— если б я был живописцем, какую бы святость пролил в эти черты. Я понимаю, в чем должно состоять выражение этого взора, в котором смотрится и отражается небо; я чувствую, какая гармония может быть в чертах, пред коими должно благоговеть каждому человеку!

— Вы поэт, Глинский,— сказала ему Эмилия.

— Нет, графиня! Не имею к тому способности и не чувствую расположения, но желал бы быть живописцем, чтобы передавать кистью впечатления, получаемые моими глазами. Как часто мне случалось видеть портреты, которые казались идеалами совершенства, но как скоро я узнавал подлинники, эти chef d'oeuvres[1] делались для меня только разноцветными пятнами. Для этого я желал бы сделаться художником, чтоб воспользоваться таким качеством моего зрения и понятия, которое позволяет видеть все различие и все недостатки портрета.

— Не думайте, чтоб вы могли легко достичь до того, что постигает ваше понятие,— сказал Дюбуа.— С вами бы случилось то же, что случалось со многими; кисть осталась бы мертва, краски побледнели бы пред вашим воображением. Вы предпочитаете живопись поэзии — я напротив. Живопись так мертва, так неподвижна; художник может схватить одно положение. В поэзии я могу дать жизнь, действие, разговор; облечь изображаемое мною существо во все краски, до каких доступен язык человеческий; в каких выражениях могу я описать лицо, предмет, который мне нравится, показать все оттенки его характера, развернуть все склонности, развить все страсти, вдохнуть высокие чувства, неуловимые для красок! Вы правду говорите, что все портреты кажутся только разноцветными пятнами, но оттого, что кисть не может быть совершенна, говорит несовершенному органу глаза. Тогда как поэзия пробуждает все благороднейшие чувства души нашей — и если я умею владеть пером, если я буду говорить людям с воображением, мой идеал, мой образец отразится в душе каждого; я заставлю любить его, как люблю сам, всякий узнает, кого я хотел представить — и когда чувства мои горячи, написанный портрет будет живее и восхитительнее всякого портрета Жерара! Да, Глинский, и я так же, как вы, не был никогда доволен ни одним живописным портретом, а всего менее теми, которые делал сам! Сверх того, век живописи переходчив, а истинная поэзия не стареет от времени. Мы скоро не будем узнавать Рафаэля, тогда как Сафо,

---

[1] лучшее творение *(фр.)*

Тибулл и Проперций, Тасс и Петрарка завещали векам память об их любезных!

— Если б Дюбуа был помоложе,— сказал Денон, обратясь к графине,— право, я бы подумал, что он влюблен, однако, он говорит правду: со всею моею любовью к художествам и я скажу, что творения великих писателей принадлежат всем векам и всем людям, тогда как живопись и ваяние — вы видите сами,— прибавил он со вздохом,— каждую минуту могут принадлежать сильнейшему; да и самое существование этого музея, по правде сказать, есть разительный тому пример. Горация и Вергилия никто у меня не вырвет из памяти, тогда как, несмотря на настоящую неприкосновенность этого собрания, какое-то предчувствие говорит, что я должен буду расставаться с Рафаэлем и Праксителем, а это для меня то же, что проститься с жизнию.

— Пойдемте с нами, Дюбуа,— сказала графиня,— Денон обвиняет вас, а мне кажется, что он влюблен также в свои картины. Вы смотрите на живопись особенными глазами, и потому приятно будет услышать несколько различных мнений о том же предмете. Начнемте с французской галереи.

Дюбуа, положив кисть, пошел вместе с графинею и, рассказывая достоинства различных знаменитых художников, остановился пред коллекциею Пуссеня.

— По-моему,— говорил он,— мы, французы, не имеем своей школы; то, что у нас называлось старою школою, есть подражание итальянской: посмотрите, как Пуссень мертв колоритом и, несмотря на плодовитость, он имеет более учености, нежели воображения; Ле-Сюер, прозванный французским Рафаэлем, холоден как лед; я не хочу говорить о манерном Менгсе и Ванло. Новая же школа наша недостаточна — и в отношении к живописи то же, что барельеф в сравнении со статуею. Из французов один только Вернет был истинен, из итальянцев один Рафаэль высок, чист и неподражаем. Кисть живописца должна быть так же благонамеренна, как и перо публичного писателя. Обязанности того и другого состоят в пробуждении благородных чувствований, и горе тому, кто уклонится с дороги истины и добродетели, чтобы ввести в заблуждение другого. Тицианы и Веронезы, несмотря

на таланты свои, не поняли великого призвания художества; их произведения дышат роскошью и негою и не могут внушить того чистого энтузиазма, какой возносит человека выше человечества, когда он смотрит на творения Рафаэля.

— Графиня,— сказал веселый Денон,— вам угодно было вызвать нас на турнир с Дюбуа. Он бросил мне перчатку; перед судом красоты буду с ним биться до последней капли крови, до последнего вздоха — и значит, я посвящаю это вам. Во-первых, мой друг Дюбуа, с которым мы давно знакомы и давно спорим, любит итальянцев более, нежели должно патриоту. Как можно сказать, что у нас нет школы? Один Пуссень, этот поэт живописцев, составляет целую школу: какое богатство и разнообразие воображения! какой неисчерпаемый источник мыслей! какое поприще для науки!

— Я знаю, почему вы пристрастны к Пуссеню,— сказал, смеючись, Дюбуа.— Никто более его не может возвысить искусство гравера, потому что он в эстампах лучше, нежели в картинах, а вы — гравер. По-моему, Сальватор Роза в ряду живописцев стоит наравне с Пуссенем.

— C'est un blasphème![1] — воскликнул с комическим жаром Денон.— Как! этот человек, который бесился всю жизнь за то, что его почитали живописцем de genre[2] и который остался им навсегда, несмотря на четыре или пять исторических картин, написанных перед смертью, этот человек может быть сравнен с Пуссенем? Вспомните, что этот был творец также исторического пейзажа,— продолжал Денон, обращаясь к двум картинам,— и что этот потоп, и Диоген, разбивающий чашку, превосходят все, что написал Сальватор в роде пейзажей в отношении к мысли и даже колорита. Что же до композиции, до важности и до философии в истории, Пуссень, может быть, первый из живописцев.

Дюбуа подал ему руку.

— Если я не убежден,— сказал он,— то побежден вашею патриотическою горячностию к земляку живописцу; зато он, несмотря на ваше предчувствие,

---

[1] Это святотатство *(фр.)*

[2] жанровым *(фр.)*

один останется верен своему покровителю — его, верно, не возьмут от вас!

— Графиня,— сказал Денон,— вы видите, что он посреди честного бою употребляет кинжал. Как судья, обезоружьте взором вашим этого человека, который преступает правила поединка, употребляя против меня оружие насмешки, а против моего Пуссеня выпускает Сальватора со всеми его бандитами.

В таких спорах и рассуждениях общество обошло верхние картинные галереи, спустилось вниз, где стояли статуи и, когда все было осмотрено, когда все поблагодарили и простились с Деноном, он взял за руку Дюбуа и сказал ему потихоньку:

— Мое воображение так настроено напрасным страхом, что, несмотря на уверение союзных государей, все еще не верится неприкосновенности музея. Может, это в самом деле предчувствие. С тех пор, как пал великий человек, для меня все кажется возможным. Велика наша потеря, Дюбуа! Для меня нет его дружбы! — для тебя предмета жаркой любви твоей!

— Подождем,— сказал еще тише Дюбуа,— можно надеяться, что глупости Бурбонов сделают эту потерю не вовсе невозвратимою!..

Денон взглянул на него, ожидая объяснения, но тот не продолжал более.

Глава VII

Объяснение графини Эмилии в музее не изменило нисколько обращения между ею и Глинским. Ей казалось, что она обеспечила себя довольно, сделала все, что должно, сказав ему, как понимает светские учтивости, других же чувств она не предполагала в молодом человеке. Итак, в полной безопасности графиня, однажды предложив дружбу свою, не могла не отдаться приятному впечатлению этого благородного чувствования; большая откровенность придала новую прелесть их обращению; Глинский был вне себя от радости: слово друг и друг прелестной женщины, возвысило его выше всех людей в собственных глазах.

Последовавший вечер и утро были для него продолжительным восторгом.

Проходя чрез кабинет маркиза после завтрака, за которым графиня показала ему новые знаки своего расположения, он остановился против ее портрета, перебирая в уме своем все счастливые минуты с тех пор, как узнал ее. В это мгновение часы ударили двенадцать и напомнили ему намерение навестить раненого гренадера, которого он полюбил всей душой. Больной начинал уже выздоравливать, садился на своей постеле и временно, с позволения лекаря, делал несколько шагов по комнате. Глинскому не хотелось, возвратив только жизнь, оставить без помощи человека, для коего служба была уже невозможна и способы к существованию ничтожны, потому что он мог иметь только пенсию за крест Почетного легиона. Независимое состояние Глинского дало бы ему способы осчастливить этого человека, но здесь, вдалеке от родины, денежные обстоятельства самого Глинского часто были затруднительны. Не менее того, он положил непременно собраться со всею возможностью и не оставить без помощи этого человека, как скоро ему здоровье позволит располагать своею будущностию.

Эти рассуждения следовали одно за другим, перемешиваясь с мыслями о графине, пред портретом коей он остановился.— «Как часто,— думал он,— мы бываем добры оттого только, что любим. Не знаю, пожелал ли бы я сделать больше того, что внушало мне первое движение, если бы имя графини не отозвалось в моем сердце устами этого человека. Если бы я не знал ее, я бы вел рассеянную жизнь — может, забыл бы его. Он думает, что я великодушен,— а я только люблю Эмилию, и вот моя добродетель. Нет, я не хочу присвоивать того, что принадлежит ей одной! я знаю, как это сделать, знаю, как сказать, знаю, как указать ему настоящего, а, может быть, и будущего благодетеля. Я скоро оставлю Францию: до того времени он не выздоровеет и не изобличит меня, а притом он знает только мое подложное имя».

Глинский хотел уже идти, но все еще стоял пред милым ему изображением, как Дюбуа вошел в комнату и застал его перед портретом, со сложенными руками и пылающим взором. Дюбуа остановился, на лице его изобразилось какое-то меланхолическое чувство. Глинский, совестясь, что его подстерегли,

подошел с опущенными глазами к нему, взял его за руку, и оба не могли выговорить ни слова, оба были в замешательстве, но в эту минуту вбежала Габриель с нянькою и ласками своими развлекала их обоих. Малютка взяла их за руки, лепетала, показывала свое новое платье, подвела к портрету матери, просила, чтоб ее подняли поцеловать у нее руку, заставляла Глинского и Дюбуа сделать то же и побежала к маменьке спрашивать, почему они не хотят целовать у ней ручки?

— Куда вы намерены идти? — спросил Дюбуа Глинского, который, поклонясь, хотел отправиться.

— В улицу С. Дени,— отвечал тот.

— Я иду туда же, и ежели вам не скучно мое сообщество, то эта дальняя дорога нам будет короче, если пойдем вместе.

Они пошли. Глинский не говорил ни слова, сердце было его полно: он хранил там образ Эмилии и любовь к ней; это было его сокровище: но он не мог пользоваться один богатством, ему хотелось разделить свою тайну. Он был дружен с Шабанем, но ветреность его и легкие понятия о любви всегда удерживали Глинского от доверенности. Мы любим говорить о первой любви нашей, пока это не сделалось еще нескромностью, но Глинский хотел, чтоб и тот, кому он доверится, принял бы его тайну как святыню. Давно он искал дружбы Дюбуа и, несмотря на его угрюмую наружность, разгадал, что под нею скрывается горячее сердце, которое может понять его чувства. Теперь он обдумывал, каким бы образом приступить к этому, тем более, что Дюбуа часто заставал его перед портретом графини и теперешнее замешательство могло дать ему большое подозрение.

— Я всегда отдыхаю чувствами, когда вижу детей,— начал Дюбуа, как бы относя слова свои к Габриели.— Как прелестны их телодвижения, как милы даже гримасы, с каким радостным чувством иногда прижимаю к груди своей младенца, как весело гляжу за его резвостью, как люблю наблюдать за всеми развитиями его способностей. Но когда приходит на мысль, что судьба отказала мне в счастии семейной жизни, когда вспомню, что никакое существо на свете в детском лепете своем не назовет меня отцом,

глаза мои невольно отвращаются, и вместо радостного чувства заступает какая-то зависть. Как больны бывают мне иногда материнские похвалы своему ребенку! Но я все люблю детей, потому что они одни отвечают мне тем же.

— Одни дети,— возразил Глинский,— может быть, вы сами не хотите, чтобы к вам приближались люди: потому что тот, кто узнает вас, не может отказать в уважении, а если бы вы пожелали, и в дружбе.

— Дружбе, говорите вы? — сказал Дюбуа, вздохнув, и в то же время усмешка показалась на губах его, но выражение этой усмешки было так печально, что она, конечно, была для него болезненнее вздоха.— Дружбы? — повторил он,— я сорок лет искал друга — и не нашел. Один, с кем я сближался короче других, был граф де Серваль, и тот похищен от меня завистливою судьбою!

Пламенный Глинский схватил руку своего спутника.

— Дюбуа! — воскликнул он,— душа моя жаждет другой, с которою могла бы она слиться! Не презрите моей дружбы: будьте моим другом, моим руководителем!

Дюбуа сжал руку Глинского, потупил голову, несколько мгновений он не отвечал ничего ожидающему юноше, наконец, сказал:

— Благодарю вас, благородный юноша, за вызов, но прошу извинить, ежели уклонюсь от столь лестного предложения. Выслушайте меня терпеливо и судите мои причины, Глинский, я слишком уважаю название друга, чтобы предложить вам вместо живой действительности один мертвый призрак; мне уже сорок лет, чувства мои охладели, тогда как ваши только что загораются, я не в состоянии отвечать с такою горячностью, с какой вы сделали предложение и с какою вы способны чувствовать. Притом же узел дружбы не завязывается в один день, и вы обманетесь, ежели будете думать, что сорокалетний человек может быть вашим другом. В юные только лета и неприметно свыкаются сердца, назначенные одно для другого, но сердце, которое отвердело от одиночества в своих формах, не способно ни делиться, ни принимать впечатлений от другого. Сверх того, вы чужой, скоро вас здесь не будет и мы расстанемся навеки. На что же за-

водить связь, которая сделает только тяжелее разлуку и отравит воспоминания, не принесши нам пользы краткостию существования. Может быть, вы не испытали еще, как горько разлучаться с теми, кого любишь, как больно расторгать нити наших привязанностей, и как кровенится оттого растерзанное сердце!..

Глинский не мог ничего говорить: столько его поразил неожиданный отказ и столько тронули последние слова, которые могли относиться к настоящему положению его сердца.

Дюбуа продолжал:

— Я уважаю, даже люблю вас, Глинский, и чувствую, что если бы судьба свела нас, я бы сам попросил дружбы — столько мне известны прекрасные качества души вашей — но теперь... мне должно сказать вам, что я желал бы истребить из собственного сердца все, что может еще его привязывать к чему-нибудь в этом мире, чтобы равнодушнее расстаться с жизнию. Я стою на краю гибели — и не хочу, чтобы она нанесла кому-нибудь самомалейшее прискорбие, а меня заставила пожалеть о свете.

— Гибель, говорите вы? Что это значит, Дюбуа?

— Это значит, Глинский, что я противу воли отдаюсь чувству привязанности и высказываю свою тайну, чтоб отказаться от дружбы, так великодушно вами предложенной. Но оставим это: я не могу выражаться яснее, со временем вам не нужно будет объяснений, вы узнаете это сами, поговорим теперь о другом.

В самом деле, Дюбуа переменил разговор, но вскоре мысли его пошли привычною стезею. Каждая минута этих незабвенных для Франции дней была эпохою в истории всего человечества; невозможно было мыслящему человеку, если даже он был и не француз, не увлекаться настоящими происшествиями. Оба сопутника приближались к Тюльери, куда несколько дней тому назад приехал сам Людовик XVIII.

— Какое странное положение моего бедного отечества, — сказал по некотором молчании Дюбуа, — какие перевороты судьбы, какое стечение обстоятельств! Какое странное позорище представляла несколько дней тому назад Франция? Временное правительство и с ним измена в стенах Парижа; регентство

с Марией-Луизой в Блуа, с ним трусость и слабость; настоящий император в Фонтенебло, преследуемый несчастьем; владыки Европы в сердце Франции; в Мальмезоне — остатки лучших и счастливых дней Наполеона — Жозефина! и в то время как подавленный силою, несчастный изгнанник садится в одном краю на корабль, долженствующий отвезти его в постыдную ссылку,— в другом в это же время, только не ранее, Бурбон осмеливается занести ногу свою на берега Франции[1]. И вот он окружен толпами придворных, которые друг перед другом торопятся приветствовать нового владыку, ступая на собственные следы, еще не простывшие с тех пор, как они с благоговением толпились около Наполеона, и произносят новые клятвы, тогда как эхо еще не успело повторить им старых! Извините меня, Глинский,— продолжал Дюбуа,— мне бы неприлично было говорить об этом с вами, с одним из тех, которые, по-видимому, призвали все эти беды на нашу голову, но вы знаете лучше многих, что ваше дело было отплатить нам за бедствие отечества. Причина моих сетований есть следствие непостоянства самих французов, я уже не хочу быть несправедливым и приписывать другим вину своих соотчичей!

Говоря это, они прошли королевский мост и вступили на площадь перед Тюльери. Скопище народу теснилось перед балконом дворца, и восклицания пестрой толпы обратили внимание Глинского. Народ кричал vive le roi![2] и повторением этих слов вызывал короля показаться на балконе для жадных взоров их праздного любопытства. Двери на балконе были растворены, все ожидали появления короля и с нетерпением повторяли свой позывный крик.

Несмотря на то что Глинский не видал короля, будучи задержан службою в тот день, когда он въезжал в Париж, несмотря на любопытство видеть его, он хотел пройти мимо, не желая, из уважения к мнениям Дюбуа, остановиться в то время, как этот с чувством раскрыл перед ним свою страждущую грудь, но Дюбуа понял эту деликатность.

---

[1] Наполеон выехал из Фонтенебло 20 апреля, сел на фрегат во Франции 28 числа. Людовик вышел на берега Франции 24 апреля, а в Париж въехал 3 мая н. с.

[2] Да здравствует король! *(фр.)*

— Остановимтесь, Глинский,— сказал он, удерживая молодого человека и подводя его к цепям, которые фестонами от столбика к столбику окружали площадь перед балконом.— Вы еще не видали Людовика.— Сказав это, он поставил Глинского на выгодном месте и стал подле него боком, смотря не на дворец, но на волнующуюся толпу народа.

— Парижанам надобно,— сказал он,— какое-нибудь позорище — чем оно новее, тем для них приятнее. Я уверен, что если б Людовик вместо торжественной колесницы въезжал на гильотине, которая секла бы головы направо и налево, сборище парижан еще более бы теснилось и сильнее кричало: vive le roi!

В эту минуту, вызванный криками народа, может быть, в двадцатый раз того дня, Людовик XVIII вышел на балкон, сзади него показалось несколько человек придворных. Король уже был дряхлый старик; открытая физиономия отличалась бурбонским орлиным носом, наследственным от Генриха IV. Довольно высокий стан Людовика казался мал от сутуловатости и толщины. Зеленый фрак, на котором настегнуты были эполеты, и плисовые сапоги на ногах, едва передвигавшихся от болезни, составляли весь его воинственный наряд.

В то время, как народ приветствовал короля своими восклицаниями, под самым балконом, у ворот дворца двое часовых, гренадеры старой Наполеоновской гвардии, медленно ходили взад и вперед с угрюмыми лицами, с ружьями на плечах. Король также медленно переступал с ноги на ногу, тащась с одного конца балкона на другой.

— Ecoutez,— сказал вполголоса один из часовых, подошед к другому,— Celui la n'ira pas loin![1]

— Il n'ira pas a Moscou![2] — отвечал, поворачиваясь, другой.

Острое слово действует на французов быстрее электрического удара; глухой шепот повторений разлился по всей толпе, и вскоре общий смех заглушил приверженцев бурбонского дома, которые напрасными криками vive le roi! в нескольких отдельных ме-

---

[1] Послушай — этот не далеко уйдет.
[2] Он не пойдет в Москву!

стах старались поддерживать первое расположение народа.

—Теперь пойдем,—сказал Дюбуа, который во все время стоял почти спиною к балкону,—вы все видели в короле, все слышали об нем. Верьте, что слова этих солдат могут служить выражением общего мнения всей армии.

— Странно,—сказал с усмешкою Глинский, следуя за ним,—как непостоянна парижская публика! мне казалось, что народ с радостью принял короля, но теперь вижу, что эта радость может быть нарушена малейшею шуткою!..

— Одна причина—непостоянство, другая, что парижане не думали бы никогда о Бурбонах, если б несколько смелых приверженцев этой партии не уверили императора Александра, что их желания—есть голос всего народа. Сверх того, новость простыла уже. Людовик принят был холоднее, нежели д'Артуа, а теперь, когда к нему уже привыкли, не мудрено, что народ кричит vive le roi! чтоб он показался, и потом смеются смешному.

Дорога сократилась в разговорах. Они уже близко были того дома, где лежал раненый. Дюбуа несколько раз видел, что Глинский покушался уйти от него, и вместе примечал замешательство, но не мог понять причины. Молодой человек, не желая показать, куда он идет, хотел пройти мимо дома, но когда молодая женщина, выбежавшая на крыльцо, стала дружески манить его рукою, Глинскому нечего было делать: он неловко поклонился своему сопутнику и отправился за нею. Дюбуа, прощаясь, погрозил ему пальцем и отправился далее.

— Что это значит?—думал он,—неужели здесь есть какая-нибудь шалость? этот молодой человек заслуживает лучшую участь, неужели он ищет здесь каких-нибудь недостойных развлечений? Он иностранец, молод, его надобно предостеречь, я узнаю, что это такое!

В это время Глинский уже сидел у больного.

— Пьешь ли ты вино?—спрашивал он, заметя, что бутылка, поставленная вчерашний день по приказанию лекаря, почти была не начата.

— Худо пьется без товарища, г. поручик, а хозяйка моя, Барбара, не умеет и губ мочить в рюмке.

— Если тебе надобно товарища, позволь мне выпить за твое здоровье,— сказал Глинский, наливая рюмку себе и больному.— Желаю тебе скорого выздоровления! Скажу, что графиня де Серваль прислала тебе эти деньги, которые просит принять на память мужа и вместе с сим обещается обеспечить тебя вперед. Все, что ты получал и что получишь, графиня принимает на себя. Она не хочет, чтобы чужой человек помогал товарищу ее покойного мужа.

Солдат приподнялся на постеле.

— Vive Dieu![1] — вскричал он,— моему полковнику нельзя было лучше выбрать хозяйки! Скажите, г. поручик, точно сказала она: товарищу моего мужа?

Глинский усмехнулся и кивнул головою.

— Значит, она примет и спасибо от товарища своего мужа. Как только буду бродить на костылях, тотчас поплетусь к ней.

— Боже тебя сохрани! — вскричал испуганный Глинский,— она именно просила тебя беречь свое здоровье и не выходить без позволения лекаря. Скажи лучше, каково ты себя чувствуешь?

— Стыд да и только, г. поручик! Барбара учит меня поворотам без конскрипта!

Глинский, видя, что хозяйки не было, спросил:

— А каково она обращается с тобою? доволен ли ты своим содержанием?

— Как не быть довольну, г. поручик! только теперь, как я начал выздоравливать, желал бы лучше лежать в госпитале.

— Что же это значит? — спросил удивленный Глинский.

— Изволите видеть, г. поручик: пока я без языка лежал, как подбитая пушка, я не знал ничего, что случилось в Париже, что делалось в армии; даже я думал, что лежу где-нибудь в предместье, и что войска ваши только что расположены около города. Но, когда мало-помалу узнал я от Барбары, что я в самом Париже, что он взят союзниками, что наш petit caporal[2] должен идти в отставку, что его место займет Людовик, которого мы вовсе не знаем, тут я почув-

[1] Слава богу! *(фр.)*

[2] Маленький капрал, так называли французские солдаты Наполеона.

ствовал все мое одиночество, и когда слеза готова была пробиться, ее поняли бы товарищи, но у меня перед глазами была Барбара. Sacre Dieu[1] — мне было стыдно плакать перед женщиною! в другое время, когда я рассуждал о том, что толкуют кумушки с моею хозяйкой и, перебирая все несчастия от измены французов, представляя Наполеона, как он сидит под бесчестным караулом в постыдной ссылке, мне хотелось облегчить душу, я в сердцах пускал залпом проклятия. Без этого нельзя жить солдату. Барбара была опять тут: не кричи, любезный Гравелль; твоя грудь слаба, а ты клянешься так, что дрожат окошки. Грудь слаба, чтобы я не кричал; грудь слаба, чтобы я не курил, у меня в горле как клин, а на груди больше тягости, нежели может на нее лечь от трубки табаку!

— Но, любезный Гравелль, все то, что ты говоришь, она делает в твою пользу; если же говорят о несчастиях твоего отечества, о несчастиях императора, почему тебе стыдиться слез своих пред Барбарою?

— Почему? почему, г. поручик? потому, что я говорю о Наполеоне, а она рассказывает, что я за него ранен, что за него Франция беспрестанно воевала. Как будто я ранен в первый раз и как будто войска для того сделаны, чтоб им никогда не драться! — вчера я хотел с нею выпить рюмку вина за здоровье, знаете? а она помочила только губы за вечный мир. Я миру терпеть не могу, г. поручик!

— Успокойся, милый Гравелль, слава императора так велика, оружие ваше завоевало столько земель, что не для чего было бы воевать более; притом же кто осмелится испытывать счастия в войне, когда оно изменило самому великому Наполеону?

Глинский давно понял характер французского солдата и потому смело говорил эти фразы, которые для всякого другого не имели бы никакого смысла. Гренадер задумался, покачал головою и тихо промолвил:

— Правда ваша.

— Стало быть, Барбара права: она только не умела тебе объяснить того, что чувствовало и что желало ее женское сердце; сверх того, она ходит за тобою как за братом, помогает тебе, перевязывает, исполня-

---

[1] Черт возьми *(фр.)*.

ет все твои желания с таким усердием, которое далеко превосходит всякое вознаграждение.

— Правда, правда! Но этого-то мне и не хочется. Покуда я лежал без сил, мне все равно было, кто меня ворочает, кто мне перевязывает раны — теперь совсем не то: когда она ворочается около меня, или растирает мои немеющие суставы — г. поручик, мне становится очень неловко: жар, озноб, не знаю, худо ли это, или хорошо, а знаю то, что мне лучше, если б щетка фельдшера, а не пухленькая рука Барбары ходила около моих ребер!

Глинский улыбнулся.

— Ты скоро выздоровеешь, Гравелль,— сказал он,— а до той поры потерпи. Я бы желал доставить тебе товарища, но ты знаешь, что в Париже нет ни одного солдата, а в госпитале я спрашивал, нет ли кого-нибудь из твоего полка, мне отвечали, что все, которые были, умерли от тяжелых ран своих.

— Так, так,— я знал это, потому что мы дрались не для шутки — носом к носу, а тут не дают царапин.

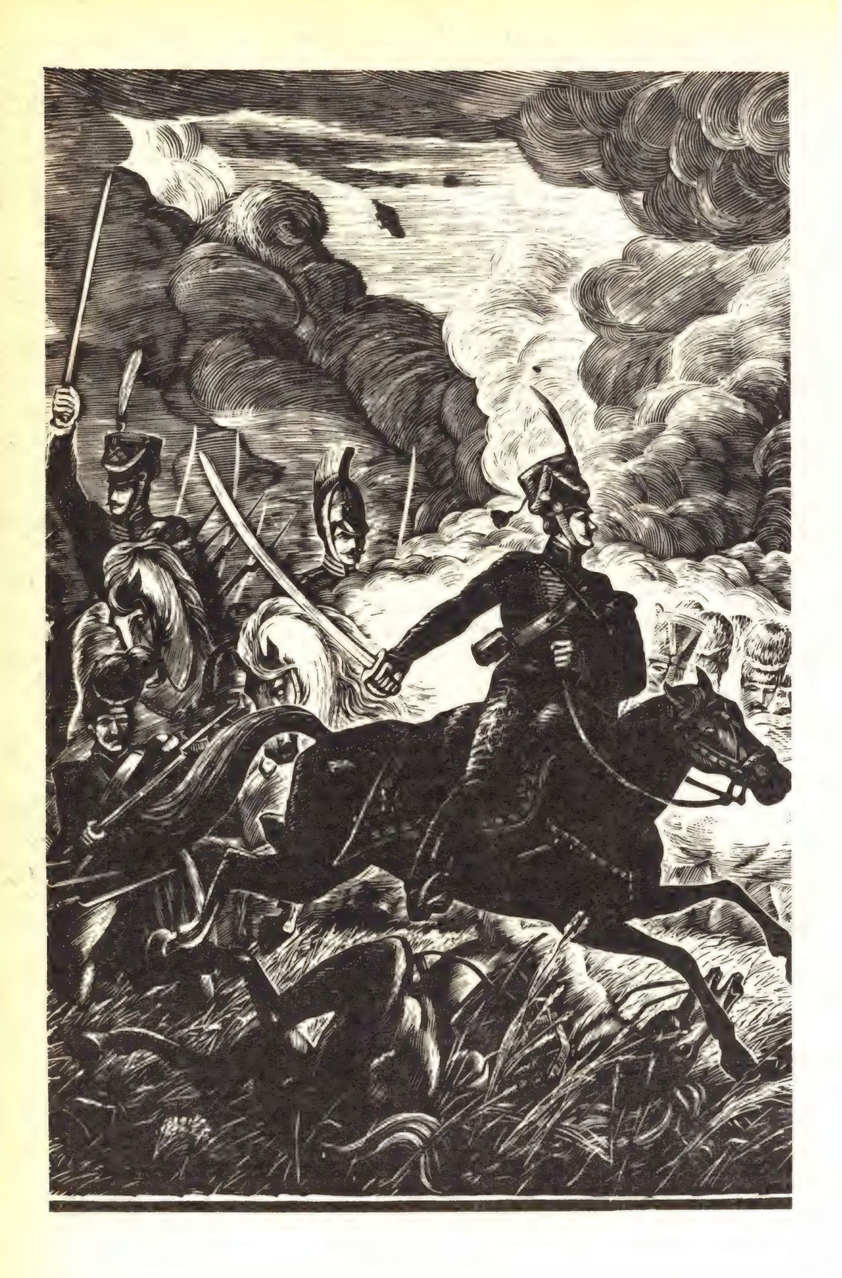
Глинский простился с ним, вышел в другую комнату и встретил хозяйку, которая, остановив его, сказала:

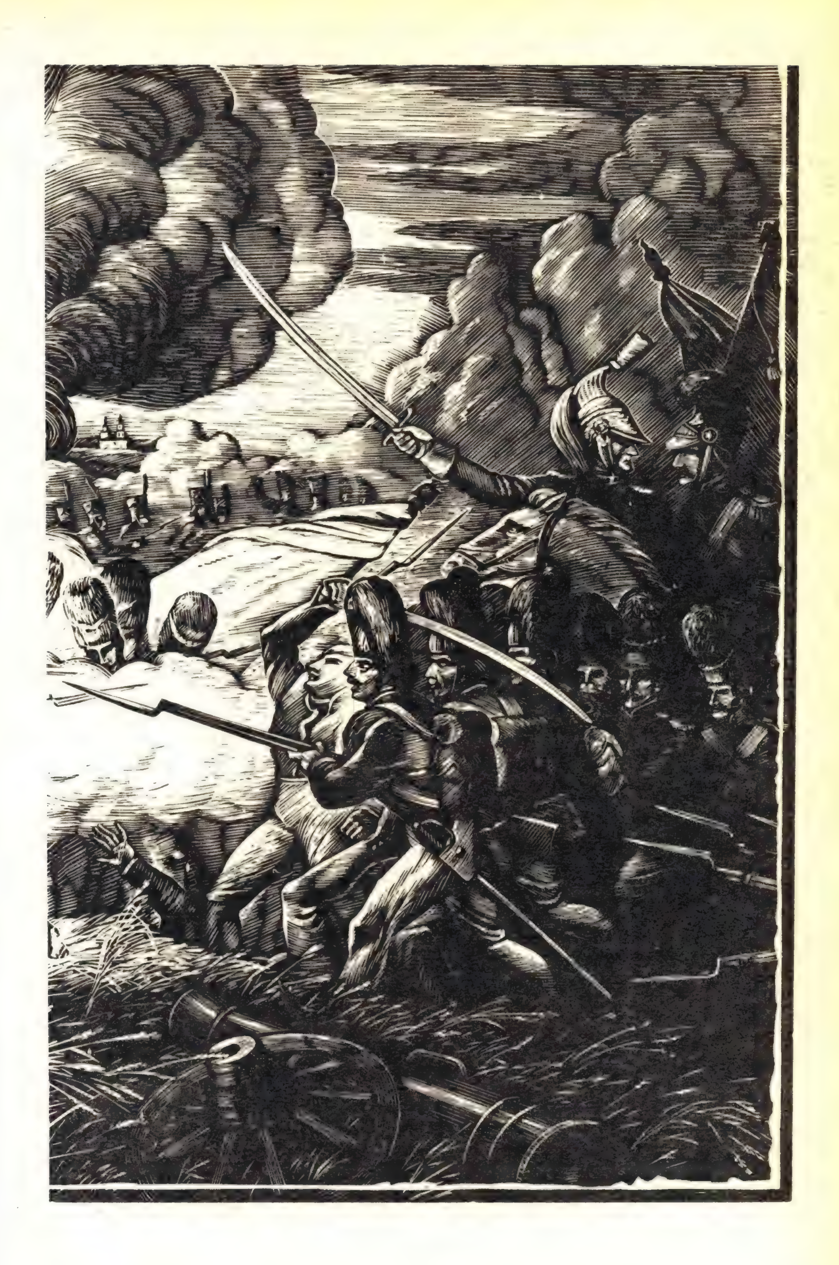
— Больной наш упрямится и не позволяет растирать своих ран, хотя это строго приказано. Я сказывала об этом лекарю, который велел ему носить на теле фланелевую рубашку, если не позволяет, чтоб его растирали. Я не знаю, почему этого Гравелль не хочет.

— Потому,— сказал Глинский, взяв круглую руку хозяйки,— что он боится допускать это опасное оружие близко к своему сердцу,— я пришлю вам фланелевую рубашку.

Хозяйка опустила глаза свои, прибегла к переднику, чтобы скрыть свое удовольствие, и молча проводила Глинского.

Если путешественник, посещавший Париж, останавливался в трактире, слуги, чичероне, весь трактир и весь Париж, смотря по его деньгам — были готовы к его услугам. Но тот, кто живал в этой столице, нанимая укромный уголок и довольствуясь умеренным столом в пансионе какой-нибудь вдовы, тот знает, что такое значит коммисионер квартала, где была его квартира и услугами которого он должен был до-





вольствоваться. Это человек, которого можно назвать *старик везде и нигде.* Только проворство дает ему способ размножать свои услуги в разных местах. В каждом доме своего околодка он явится несколько раз в сутки, в каждом найдет себе какую-нибудь работу, какое-нибудь поручение, он знает каждый час надобности каждого и, сверх того, при случае необыкновенном, его можно найти на известном месте.

Нет ни одного дома бедного или богатого, который не имел бы коммисионера. Богатый платит ему деньгами; бедная кумушка, которой он помогает таскать воду, починивает ему локти, пришивает пуговки, выводит сальные пятна из платья; молодая прачка моет две с половиною рубашки, составляющие его гардероб, за то, что он носит с нею на реку корзину с бельем. Коммисионер всегда весел, всегда доволен, всегда ласков и всегда его посещение приятно, потому что он лучше всякого знает все новости своего околодка.

Такой именно человек попался навстречу Дюбуа вскоре после того, как он расстался с Глинским.

— Mon colonel![1] — приветствовал коммисионер, сгибаясь пред Дюбуа и снимая свою ветхую шляпу.

— Здравствуй, Мишо,— сказал, останавливаясь, Дюбуа,— ты мне надобен. Поди и узнай в улице С. Дени, близ ворот № 64, кто такая молодая женщина живет в этом доме.

Дюбуа описал ее приметы и велел завтра прийти с известием.

Мишо согнулся и исчез.

На другое утро он в каморке привратника держал в руках какой-то большой пакет, запечатанный сургучом в нескольких местах. Около него ухаживала жена привратника, тогда как несколько грязных мальчиков и девочек вешались ему на шею и ползали на коленях.

— Странно,— говорила привратница,— с чем бы мог быть этот пакет? Нельзя ни с которой стороны заглянуть, даже пальца негде просунуть, везде проклятый сургуч. Кому же, г. Мишо, наш русский офицер посылает это?

— Вдове Барбаре Казаль, в улице С. Дени № 64.

---

[1] Полковник *(фр.).*

— Nôtre Dam de Paris![1] — воскликнула привратница,— что это за знакомство!

— Не знаю, м. Урсула, мне известно одно, что вчера, когда я по поручению г. Дюбуа шел узнать, какая женщина живет в этом доме, то встретил вашего русского в дверях, когда она его провожала и дружески с ним прощалась, а сегодня я было шел к г. Дюбуа, как русский офицер увидел меня и приказал мне отнести этот пакет к ней.

— А что, она молода и хороша собою?

— Как бы вам сказать: она теперь почти так, как вы были лет пятнадцать назад, только немного поменьше вас и глаза не так живы, но прощайте, мне еще надобно побывать у г. Дюбуа.

— Выпейте чашку кофе, м. Мишо, вы видите, я нарочно для вас поставила кофейник на чугунную печку — пейте без церемоний, нынче сахар стал гораздо дешевле, когда порты наши отворились для торговли. Как мягко,— продолжала она, ощупывая пакет.— Это, наверное, шаль или, по крайней мере, платок?..

— Я думаю, что-нибудь похожее, потому что недаром вчера г. Дюбуа...

Дверь отворилась и Дюбуа стоял перед разговаривающими; он отдал ключ от своей комнаты привратнице, спросил Мишо, зачем он ему понадобился.

Мишо вертел пакет и, пойманный в нескромности, шептал ему вполголоса:

— Я желал видеть вас и сказать вам, что получил сегодня от г. русского офицера посылку на имя вчерашней вдовушки.— Тут Мишо рассказал некоторые подробности о вдове Казаль, которые нисколько не успокоили Дюбуа насчет Глинского.— Вот посылка,— продолжал Мишо, подавая пакет.

— Хорошо. Отдай мне и скажи г. Глинскому, что я взялся доставить. Впрочем, я скажу, что сам...

С этими словами Дюбуа взял пакет и, прежде, нежели изумленный Мишо мог что-нибудь выговорить, он вышел из ворот и был далеко на улице.

Это подало повод ко многим благочестивым догадкам мадам Урсулы, пока она поила кофеем болтливого Мишо.

---

[1] Матерь божья *(фр.)*.

Как велико было общее удивление, когда Дюбуа взошел в комнату раненого и когда гренадер узнал своего старого подполковника. Обрадованный Гравелль впервые только мог излить всю полноту своего сердца с таким же ветераном, как сам, и, наконец, рассказать — каким образом русский офицер возвратил ему жизнь, и как графиня де Серваль заботилася о нем, доставляя малейшие потребности.

Хозяйка распечатала пакет, в нем была фланелевая рубашка, и Дюбуа, который все еще подозревал какую-нибудь любовную шалость, убедился в сердце Глинского. Дав слово навещать больного, он ушел от него, унося в сердце теплое чувство, которое рождается в честном человеке, ежели он видит счастие своих ближних или благородное действие там, где думал найти одно заблуждение.

ЧАСТЬ II

Глава I

Пословица говорит правду, что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, так точно и с нашею повестью: было уже почти два месяца, как Глинский вступил под гостеприимный кров маркиза, как он дышал очарованною атмосферою, которая окружала милую графиню Эмилию и которая глубже и глубже проникала в состав его; душа графини, ее характер, оригинальный образ мыслей разливали какую-то благотворную теплоту на всех ее окружающих — и Глинский по чувствам ближе всех обращавшийся около этого солнца, больше всех чувствовал, что он готов воспламениться каждую минуту — но к этому нужна была какая-нибудь посторонняя искра или толчок, могший еще более сблизить его с графинею; равным образом Эмилия с каждым днем открывала новые качества в русском юноше, и что сначала было только следствием любопытства, то сделалось теперь необходимостью участия, сверх того, она вызвалась руководить им; он так верно следовал ее советам.

Так точно передавал ей все свои впечатления, все последствия ее советов, что она каждое его слово, поступок,— каждый благородный порыв считала уже своею собственностью, но не подозревала ничего за собою, не замечала, как собственное сердце перестало принадлежать ей самой.

Казалось, ничто не нарушало прежнего порядка вещей и каждый следовал своим привычкам; Клодина вертелась пуще прежнего с Глинским, но зато была скромнее с Шабанем, а графиня, несмотря что резвая кузина уже не говорила ей о русском и что она сама почти не упоминала русскому о кузине, была уверена, что вертопрашество первой и угодливая резвость второго были следствием взаимной их склонности; если же темная мысль и рождалась в ее сердце, что она сама любит Глинского, то это было за Клодину, думала она. В такой странной и почти неестественной неподвижности были дела маленького общества в доме маркиза.

Было воскресенье. Маркиз по какому-то случаю давал в этот день большой обед. Глинский, исправив некоторые обязанности по службе, возвращался верхом домой. У самых ворот, на мраморном столбике сидела худо одетая и, по-видимому, больная женщина. Привратник, вышедший принять лошадь Глинского, с грубостью начал гнать ее прочь и она, не говоря ни слова, встала и хотела идти, но слабость ее так была велика, что она, покачнувшись, должна была опереться о стену.

— Не тронь ее, Базиль,— сказал Глинский,— она нездорова.

— Есть здесь всякой дряни,— отвечал Базиль,— им только позволь тут останавливаться, так неловко будет проезжать в ворота.

— Скажи мне, бедная женщина, что с тобою сделалось? — спросил Глинский, подошед к больной.

— Я больна уже несколько месяцев,— отвечала она,— и сегодня с раннего утра далеко ходила.— С этими словами бледность ее увеличилась, она бы упала, если бы Глинский не взял ее за руку и не отвел в каморку придверника.— Не сердись, Базиль,— говорил он,— мы с тобой можем также быть несчастливы.— Привратник нахмурил брови и шел сзади Глинского, качая головою.

Больную посадили, дали ей рюмку вина: оно видимо ее укрепило. Это была женщина лет 30, довольно приятной наружности, но болезнь, нищета и неопрятность одежды много ее безобразили.

— Где ты живешь? — спросил у нее с участием Глинский.

Больная назвала ему улицу и номер дома.

— Есть ли у тебя муж?

Она отвечала отрицательно.

— Дети?

— Трое, — сказала она с тяжелым вздохом.

— Почему ты вздыхаешь, добрая женщина?

— Потому, — сказала она, помолчав немного, — что я должна прийти к ним с пустыми руками, — а они... они уже другой день сидят без хлеба!

Глинский содрогнулся.

— Базиль, — сказал он, — позови сюда фиакр. Отчего же я вижу тебя в таком положении? — продолжал он, расспрашивая больную.

— Я вдова портного; он оставил мне только долги, которые надобно было платить; несколько человек остались должны и ему, но коммисары отняли у меня все имущество прежде, нежели я могла получить копейку долгу. Я сделалась больна, не могла работать, скоро должна была продать последнее, а сегодня решилась снова побывать у одного должника, но напрасно!

Глинский уже готов был посадить бедную женщину в приведенный фиакр и сесть вместе, чтоб везти ее домой, как вдруг застучали колеса и графинина коляска подъехала к воротам.

— Что это за фиакр? — спросила она Базиля.

Придверник рассказал ей с неудовольствием, что Глинский велел нанять его для какой-то нищей. Эмилия выскочила из коляски и вбежала в комнату придверника. Глинский оторопел, увидев ее, и на вопрос, что это за женщина, рассказал в коротких словах ее историю.

— Что же вы намерены делать? — спросила Эмилия.

— Я хотел отвезти ее домой и пособить, как могу.

Графиня в нерешительности боролась со своими чувствами, но верная правилу, чтоб не показывать на-

ружно никаких признаков происходящего в сердце, сказала потихоньку Глинскому:

— Вы иностранец; здесь много притворной нищеты, живущей легковерием добрых сердец: вы увлеклись горячностию вашей. Позвольте мне с холодным моим рассудком расспросить эту женщину.

— Но, графиня, она два дня ничего не ела!

Эмилия поспешно оборотилась к больной и что-то тихо с нею говорила. Глинский в это время, сжимая в кармане кошелек, с нетерпением ожидал конца этой сцены.

Графиня стояла к нему спиною и, как она ни старалась, чтоб ее движения были не видны, однако, заметно было, что она чего-то искала в своем ридикюле и не нашла, потом, в замешательстве оглядываясь на стороны, сняла что-то с шеи и отдала бедной женщине украдкой — после чего с краской на лице оборотилась к Глинскому и, принимая на себя равнодушный вид, сказала:

— Вы очень хорошо сделали, что велели нанять фиакр. Мой слуга отвезет эту женщину и посмотрит, точно ли она нуждается в помощи — и если в самом деле она говорит правду,— я обещала ей помочь... теперь пойдемте наверх, Глинский,— продолжала графиня, сделав на ухо приказания своему слуге.

Глинский с некоторою досадою выпустил кошелек из руки и подал его графине.

— Надобно быть очень осторожным в Париже,— говорила Эмилия, идучи по двору и вертя своим ридикюлем.— Где вы сегодня были, Глинский? — продолжала она с притворною беспечностию, стараясь переменить разговор.

Глинский был в странном положении: ему помешали оказать помощь; графиня, по-видимому, так холодно приняла участие в этой женщине; он не знал, что думать о характере прекрасной Эмилии.

Он коротко отвечал на вопрос и, проведя ее в комнаты, извинился, вышел на двор и, видя нерасседланную лошадь, которую проваживали кругом, вскочил в стремя, дал шпоры и поскакал в дом несчастной больной, которую графиня, так сказать, вырвала из его рук. Он скоро нагнал фиакр; видел, как он останавливался в разных местах, как слуга выходил и чрез несколько минут являлся с корзиной или связкой,

или бутылками. Глинский следил их и, когда слуга проводил больную в дом, он отыскал под самою кровлею жилище этой женщины; здесь увидел он такое позорище, которое возмутило его душу, еще не привыкшую к бедствиям человечества, он остался тут один, отослал слугу, взявшись вместо его дать отчет графине в ее поручении, и когда увидел, что его помощь не нужна более, отправился домой, полный горестных впечатлений, им полученных, и представляя себе виденную им картину.

Мы сказали уже, что маркиз в этот день давал большой обед, и потому графиня Эмилия, окончив свой туалет, явилась в гостиную, где уже собрались все домашние и в том числе Глинский. Она вошла в то самое время, когда его расспрашивали о некоторых подробностях, откуда взялась больная женщина, потому что это происшествие сделалось известно всему дому.

После нескольких слов, сказанных отцу и кузине, Эмилия обратилась к Глинскому — и с притворною холодностью спросила, не видал ли он слуги, посланного с больною?

Глинский ожидал этого: скрывая внутреннее движение, он хотел отплатить графине за ее холодность, и начал рассказ в том же тоне, но не выдержал, и на средине слова его были так же горячи, как и чувства, их внушавшие.

— Видел, графиня,— начал он,— Этьен поручил рассказать вам, что там нашел. Когда он привез эту больную женщину и проводил на чердак, где она живет, то увидел трех маленьких детей, которые, свернувшись клубком, лежали в кучке на соломе. Двое вскочили к ней навстречу и детскими криками выражали свою радость, когда она поставила на столе привезенное с собою кушанье. Она подошла к третьему: это был больной ребенок. Представьте ужас матери, когда увидела она, что дитя было мертво и уже охолодело!..

— Мертвое дитя! — вскричали все слушатели Глинского, не исключая Эмилии.

— С пронзительным криком она бросилась на мертвое тело, называла по имени, трясла его, как бы желая разбудить... Дети кричали вместе с нею. «Маменька,— твердили они,— не буди Лизы, она заснула;

она недавно просила нас согреть ее, и мы легли к ней,— нам было жарко, маменька, только Лиза, как засыпала, все холодела, да холодела»,— говорил старший. «Она недавно уснула, маменька, ты сама бранишь нас, когда мы кричим — не буди Лизы»,— повторял другой...

— Потрудитесь, Шабань, задернуть занавес,— сказала Эмилия перерывчиво,— этот свет прямо в глаза...

Но прежде, нежели занавес бросил тень на лицо Эмилии, Глинский увидел слезу, блеснувшую на ее ресницах.

— Что же она?.. что эта бедная женщина,— говорили маркиза и муж ее. Шабань стоял, нахмурясь и крутя свои крошечные усы, у де Фонсек выступили слезы.

— Этьен хотел утешить ее, но она не слушала его слов, сидела с остановившимися глазами, как статуя, только по тяжелому дыханию видна была ее жестокая горесть. «Если она заплачет,— думал Этьен,— ей будет легче, если заговорит о дочери, ей будет легче вдвое»,— он попал на счастливую мысль. «Какое прекрасное дитя!» — сказал он. Слезы матери полились. Она схватила бездушный труп и целовала голову, щеки и руки. «Ах! вы не знали ее живую!» — промолвила она, приводя в порядок бедные лоскутья на ней и приглаживая волосы на голове, чтоб показать ее в лучшем виде: — «Вот так, друг мой, ты всегда любила так носить волосы... Вы не видали ее глаз. Дай мне, друг мой, взглянуть еще на глаза твои»,— она подымала опавшие веки, целовала их и продолжала: «Этот ротик улыбался так приятно — у нее зубки были беленькие, как у мышки». Говоря это, она называла ее всеми именами, какие материнская нежность может придумать, твердила раздирающие сердце ласки, точно как говорила бы их живой. Этьен дал ей волю и, когда горесть матери стала спокойнее, он уговорил ее подкрепиться пищею. Она взяла кусочек пирога, молча села на кровать, взяла руку дочери и в рассеянии протянула к ней кусок, как будто рука эта могла принять его, потом поднесла ко рту — и залилась опять слезами... «Я делила с ней каждый кусок!» — сказала она...

Все были тронуты. Глинский прервал свой рассказ — голос изменил ему; графиня не примечала, как

слезы капали на платок, из коего она вертела между пальцами разные фигуры, как будто это очень ее занимало.

В сию минуту вошел Дюбуа и удивился положению, в котором застал все общество. Молча сел он, осматривая с удивлением каждого из собеседников. Эмилия, чтоб скрыть замешательство, села к фортепиано, прелюдировала, брала аккорды, импровизировала без порядка, наконец, не прерывая игры, первая прервала общее молчание вопросом: что же, M. Glinski, как осталась больная?

— Все, что знаю,— отвечал он.— Этьен был уже с лекарем. Завтра, может быть, узнаем что-нибудь более.

Дюбуа обратился потихоньку к Глинскому, чтоб он рассказал ему, в чем было дело. Глинский повторил свой рассказ. Маркиз с маркизою толковали, как часто случаются в Париже примеры, что люди умирают с голоду и без помощи; Шабань, желая развеселить свою кузину, говорил ей:

— Этот Глинский такое поселил в нас участие к своей больной, что если она умрет, мы непременно наденем траур. Ах, ma cousine! как должно идти к вам черное платье!.. посмотрите, как хороша в нем Эмилия!.. но я желаю, чтоб не более как по этому случаю видеть вас в трауре...

— Fi donc! Шабань! Fi... — говорила Клодина,— как вам не стыдно смеяться в то время, когда все мы так глубоко тронуты!.. и для того, чтоб сказать мне комплимент в желании вашем, вы играете жизнию людей... как будто... как будто у вас злое сердце... я теряю надежду исправить вас...

— Это оттого, кузина, что я не рожден для печали; оттого, что в каждом горе я ищу какой-нибудь придирки, чтобы повеселиться. Мое горе особенного рода — вы плачете, а я пою...

— Нет, Шабань, вы чувствуете всякое горе наравне с другими, но ваш ветреный характер не может останавливаться долго на одном предмете... как хорош этот вальс Глинского, что играет Эмилия!.. Я вам повторяю беспрестанно: вы не можете говорить даже о важной вещи, чтобы каждая безделица не развлекла вас... пойдемте в ту залу и сделаем круга два вальса под эту музыку... и потому, Шабань, какое же

обеспечение дадите вы в ваших чувствах, когда слова ваши, выражая их...— Они начали вертеться, и Клодина продолжала:—Если чувства ваши так же переменчивы, как слова, кто же будет вам верить?.. не подпрыгивайте в вальсе, Шабань; Глинский говорит, что это наша дурная французская привычка...

В эту минуту растворилась из передней дверь и вертящаяся пара едва не сшибла с ног напудренную фигуру в черном фраке и с шляпой под мышкой. Эта фигура сделала несколько прыжков в сторону, и, поклонясь изумленным юношам, которые в стыде извинились перед ним, пошла по зале на цыпочках, кошачьей походкой, вертя хвостом своего фрака, в то время как лакей, стоя в дверях, провозглашал во весь голос:

— Маркиз де Пла-Пантен!..

Хозяин и хозяйка вышли навстречу знатному гостю и осыпали его приветствиями.

— Он сделал настоящее entrechat[1],— сказал, смеючись, Шабань.

Гости один за другим начали съезжаться. Разговор начинался и прерывался при громких звуках имен маркизов, графов, виконтов и других роялистов, стекавшихся в это время в Париж со всех четырех сторон света.

С начала обеда, как и всегда это бывает, за столом царствовала тишина, нарушаемая стуком ложек и вилок по тарелкам и перерываемая изредка полувнятными вопросами, которые делали соседи друг другу об имени того или другого собеседника. Глинский сидел между Дюбуа и каким-то незнакомым человеком; против него была графиня Эмилия, подле нее по одну сторону резвушка де Фонсек, по другую маркиз де Пла-Пантен.

—Его величество король,— говорил Эмилии маркиз де Пла-Пантен,— приказал сказать вам, графиня, что он ожидает того времени, когда вы украсите вашим присутствием двор его. Ему будет приятно видеть дочь столь верного подданного, как маркиз. Для нас, придворных,— продолжал он с уклонкою головы,— будет праздником тот день, когда вы снимете

---

[1] антраша *(фр.)*.

траур, но я боюсь, чтоб этот же день для многих наших дам не был днем печали.

Эмилия сухо поклонилась за комплимент и отвечала «что по окончании траура не забудет своего долга в изъявлении преданности за столь лестный отзыв о ее семействе».

Наконец, мало-помалу беседа стала оживляться. Сперва начались просьбы положить того или другого кушанья, которое стояло иногда далее, нежели желающий мог достать; потом подчивания вином; с ним шуточки, за ним частные фразы сделались связнее и вскоре все гости, увлекаемые неодолимою силою настоящих обстоятельств, вдались в общий политический разговор. Хартия, которую Людовик готовился объявить, была поводом к рассуждениям в сенате, в народе и за каждым столом.

Графиня Эмилия, слышавшая предложение Глинского и видя, что Дюбуа сидит, в самом деле, очень угрюм, сказала первому: помните ли, Глинский, начало нашего знакомства, когда вы воскликнули: vive Henri IV[1] — я предлагаю всем господам тост за этого великого короля; надеюсь, что г. Дюбуа не откажется?..

— Никогда, графиня! — отвечал Дюбуа, кланяясь и поднимая к губам рюмку,— тем более, что этот государь сам умел завоевать свой трон и Париж.

— Vive Henri IV! Vive Henri IV! — кричали гости в позыве благочестивой набожности к королям, не предполагая никакой колкости в словах Дюбуа. Обед продолжался — различные здоровья предлагались.

— За здоровье союзных государей,— говорил один.

— За здоровье иностранцев, которые избавили Францию,— кричал другой.

— Et qui forcèrent les Français à devenir heureux![2] — повторял с важным видом Шабань, пародируя этот Волтеров стих и делая знак глазами Дюбуа и Глинскому[3].

---

[1] Да здравствует Генрих IV *(фр.).*

[2] И которые принудили французов стать счастливыми! *(фр.).*

[3] В первом издании «Генриады» Вольтера вместо нынешнего стиха: et fut de ses sujets le Vainqueur et le pére (и который был победителем и отцом своих подданных) сказано было — et força les Français à devenir heureux! (и принудил французов стать счастливыми).

Наконец, излияние патриотических чувств умолкло. Отложа в сторону свои политические мнения, каждый француз становится любезен в обществе, и сколько устарелые эмигранты могли казаться смешны в политическом мире своими дореволюционными понятиями, столько же они были милы в обращении, оставшись представителями старинной учтивости и любезности французов, о которой так многие даже жалеют, но возвращения которой, однако, никто не желает. Разговор принял было новое, приятнейшее направление, но это было ненадолго, и сколько старая маркиза и графиня Эмилия с другими дамами ни старались поддержать беседу в этом расположении, когда разговор, проникая быстро с одного конца стола на другой, останавливался для того только, чтоб вызвать веселую шутку или острое слово,— но настоящие происшествия явились опять на сцену. Один из гостей, рассказывая анекдот за анекдотом, наконец, дошел до отъезда Наполеонова из Фонтенебло. Здесь каждый из собеседников спешил приобщить к общей материи все, что знал сам об этом предмете. Можно представить, что Наполеон не был пощажен при этом случае.

Обед кончился — все встали из-за стола и вышли в гостиную, но тот же разговор продолжался, везде составились кучки и та, которую занимал Наполеон, была многочисленнее других, потому что образовалась подле дивана, где сидели дамы. Дюбуа с Глинским случайно были в этой, хотя и не принимали участия, но Глинскому было любопытно слышать мнения и видеть людей, начавших играть такую важную роль во Франции, а Дюбуа полуусмешкой, худо прикрывавшей его негодование, стоял, потупя глаза и следя за всеми подробностями рассказа.

— Я вчерашний день имел счастие рассказывать его величеству, моему королю,— говорил маркиз Пла-Пантен,— анекдот, случившийся с Наполеоном недалеко от Валанса; вы знаете, с какою радостью многие из благонамеренных маршалов присоединились к временному правительству и приняли сторону короля. В этом числе был и благородный Ожеро, командовавший войсками на юге и который пожертвовал своими республиканскими правилами, как скоро узнал, что Франция вверяется своим законным госу-

дарям. Он написал жестокую прокламацию против хищника! Была ли Наполеону известна его прокламация? не знаю: но когда он, путешествуя к месту своей ссылки, встретил Ожеро, то остановил свою карету и выскочил ему навстречу. Ожеро сделал то же, и оба в виду союзных коммисаров бросились в объятия друг к другу. Наполеон снял шляпу — Ожеро остался накрывшись. «Не ко двору ли ты едешь?», — спросил отставной император. «Нет, — отвечал маршал, — я пока еду в Лион». «Ты дурно вел себя против меня», — и Ожеро, заметя, что Наполеон говорит ему ты, отвечал тем же. «На что ты жалуешься? — сказал он. — Не твое ли ненасытное самолюбие довело нас до этого положения; не всем ли ты пожертвовал ему? — не всем ли, даже и счастием Франции? и потому не дивись, что мне до тебя мало надобности!» — Здесь Наполеон сухо поклонился маршалу и сел в карету.

— Что же сказал на это король? — спросил Дюбуа.

— Он не сказал ничего; но я прибавил, что г-н маршал поступил как патриот, как истинно благородный человек.

При этих словах Дюбуа не мог более воздерживать негодования. «Нет, государь мой, — сказал он с жаром, — этому благородному человеку так надобно было говорить в Тюльери — но в дороге на Эльбу такой поступок есть низкая наглость!» [1]

Вся толпа как бы магическим действием отступила от Дюбуа — и в ту же минуту Глинский сделал к нему два шага. В благородных душах есть порывы, которые не подчиняются никаким расчетам. Спешить на помощь оставленному или обиженному есть внушение сердечного инстинкта, а не рассуждения.

Кто это такой? что это за человек? это наполеонист? это зараза! шептали между собою роялисты. «Какое благородство в поступках Глинского!» — говорила маркиза дочери, сидевшей подле нее и вспыхнувшей от удовольствия при безмолвном действии Глинского.

Эта сцена была прервана появлением слуги, который подошел к графине Эмилии, вслед за ним знакомый нам гренадер вступил в комнату на костылях и,

---

[1] Этот анекдот есть и у Бурьеня от слова до слова.

неожиданно смущенный собранием, остановился в самых дверях с приложенною к киверу рукою. «Прошу извинить, прошу не беспокоиться, господа»,— бормотал он, видя, что все взоры на него оборотились. Разговоры перестали; Эмилия встала и подошла к нему; Глинский обмер, увидя своего приятеля, и спешил спрятаться за гостей.

— Ты хотел меня видеть, любезный друг? какую ты имеешь надобность? — спросила графиня трепещущим голосом, увидев мундир полка, в котором командовал ее муж.

— Самую святую, самую необходимую, графиня,— отвечал гренадер, ища слов, как бы лучше выразить свои чувства: — я притащился на этих костылях, чтоб благодарить вас за благодеяния и за остаток этой жизни, которою вам обязан.

— Каким образом, друг мой? я ничего не знаю.

— Я Матвей Гравелль, гренадер 34-го полка, теперь, конечно, знаете, графиня?

— Еще менее, чем прежде!..

Удивленный гренадер отступил на шаг и не знал, что сказать более.

— Я Матвей Гравелль,— повторил он,— гренадер 34-го, я служил в полку супруга вашего и здесь, в Париже, по вашей милости мне возвращены жизнь и здоровье.

— Ты служил в полку моего мужа? — ты ранен? сядь, добрый солдат.— Графиня взяла его за руку и подвела к столу.

— Так, так,— бормотал тронутый Гравелль,— он правду сказал, что вы не хотите, чтоб другой помогал товарищу вашего супруга.

Но графиня не слыхала этих слов; она расспрашивала о графе де Сервале, и, прерывая слезами слова свои, забыла, зачем пришел к ней Гравелль. Добрый гренадер описал со всеми подробностями Дрезденскую битву и смерть храброго своего начальника. Маркиз и маркиза, боясь последствий столь неожиданного появления и рассказов того, о чем они всегда боялись произнести слово, хотели увести Эмилию, но это было напрасно. По счастию, гренадер развлек ее горесть, начав благодарить снова за возвращение ему жизни.

— Но каким образом я возвратила тебе жизнь, до-

брый человек,— сказала Эмилия,— я этого никак не могу постигнуть.

— Как же, графиня, не вы ли два почти месяца заботились о том, чтобы меня посещал лекарь, платите за мою квартиру и присмотр и наделяете меня всем сверх моей надобности.

Эмилия, смотря на него в удивлении, качала головою.

— Помилуйте, графиня! мне все рассказал г. поручик. Он говорил, что вы никак не хотите, чтоб чужой человек помогал сослуживцу и товарищу вашего мужа; он поручился честью, графиня, что вы это сказали, и я, в надежде на это, собравшись с первыми силами, прибрел сюда, чтоб исполнить долг честного человека и поблагодарить вас.

Любопытство собрало всех собеседников в кружки около солдата. Все, слушая, ожидали развязки.

— Но кто же этот г. поручик? — спросила Эмилия.

— Русский офицер.— Тут француз к общему удовольствию начал переиначивать фамилию Серебрякова, сказанную ему Глинским; наконец, остановился на том, что ему показалось ближе к правде: célèbre coffre[1],— воскликнул он с восторгом.

— Я не знаю этого господина,— сказала Эмилия с удивлением,— и не желаю принимать на себя незаслуженной благодарности, ни похвалы за его поведение, но рада случаю, который мне доставил твое знакомство.

Гренадер стал в замешательстве, не ожидая такого оборота дела:

— Может быть, вы думаете, графиня, что я с какою-нибудь хитростью пришел к вам?..

— Графиня,— сказал Дюбуа, выступив из круга,— я могу сказать вам, что это значит. Г. Глинский сделал этот обман под чужим именем,— я это знал давно, но обманывался сам, думая, что вы точно помогаете этому человеку. Здравствуй, Гравелль,— прибавил он, подавая руку обрадованному солдату.

— Желаю здравствовать, г. подполковник! — изволите видеть, графиня, я знал, что говорю правду!..

Все обратились и искали взорами Глинского, но его уже не было. Громкий говор гостей разливался в

---

[1] Славный сундук *(фр.)*

похвалах русскому офицеру. Эмилия стояла, потупив глаза, против гренадера, который с детскою радостью рассказывал, что сделал для него Глинский и как он с ним обращался.

— Vive Dieu! c'est un brave garçon![1] — восклицал он, — как он славно обманул меня! — ну кто же думал, что он отопрется от доброго дела!..

Этот случай был поводом к разговорам всего вечера, пока не стали разъезжаться гости. Мало-помалу церемониймейстер двора его величества остался один, наконец и тот простился с хозяевами и, уходя, сказал с важным видом: «Я буду иметь честь сегодня же доставить большое развлечение его величеству, рассказав при дворе нынешний анекдот!..»

Эмилии живо представлялись картины целого дня: Глинский во всех видах и во всех формах являлся ей на первом плане, как говорят живописцы en grandeur héroïque[2] и во всем блеске и свежести красок ее пробужденного воображения. Образ этот, размножавшийся пред ее глазами, не мог быть фантасмагорическою мечтою; он был действителен; все явления совершались в ее глазах, а различие положений, в которых она его рассматривала, было не что иное, как только строгий разбор ее *холодного рассудка*. Надобно сказать, что этот разбор был в совершенную выгоду Глинского, и, несмотря на *холодность* рассуждения, как говорила графиня самой себе и другим, неприметно согревал ее сердце.

Подали чай; графиня посматривала на дверь, кого-то ожидая; маркиз и маркиза спрашивали, где Глинский; слуга был готов бежать за ним, как он вошел с Шабанем, который уговорил его явиться в гостиную.

После некоторых вопросов: почему он ушел так скоро после обеда; после неловких отговорок на нездоровье, занятия и тому подобное, бедный Глинский должен был вытерпеть то, чего он более всего боялся: разговор о его добром деле. Одна графиня не участвовала с другими, сидя в растворенных дверях бал-

---

[1] Ей-богу! Он добрый малый! *(фр.)*
[2] в героическом величии *(фр.)*.

кона в сад и слушая издали похвалы молодому человеку; единственное участие с ее стороны состояло в том, что сердце ее билось быстрее обыкновенного при сих разговорах.

Наконец, Глинский освободился и сел подле Эмилии. Вечер был прекрасный, казалось, будто сквозь отворенную дверь наступающая ночь дышала прохладою и умолкающий Париж шептал своим отдаленным гулом и ропотом экипажей какое-то усладительное самозабвение. Эта природа, этот говор очаровательны и сладки для души, ищущей успокоения. Эмилия и Глинский долго молчали, наконец, первая, голосом, который, казалось, сливался с общей гармонией вечера, сказала:

— Какое вы странное имя выдумали для доброго гренадера! Кстати, Глинский, я до сих пор не знаю вашего крестного имени?

— Меня зовут Вадимом, графиня.

— Вадим! звучное и прекрасное имя! Бедному раненому легче бы его выговаривать; но не довольно того, что вы обманули благодарность обязанного вам человека, вы хотели сделать меня участницею обмана. Вадим! Вадим, вы не имеете доверенности к своим друзьям!..

Графиня нечаянно против воли обмолвилась именем Глинского, и если бы он взглянул на лицо ее, он бы даже в сумраке увидел краску, покрывшую щеки ее продолжительным румянцем; но он столько поражен был кротостью выговора, пленительным выражением голоса и более всего восклицанием имени, что мог только заметить собственное смущение, слышать биение собственного сердца.

— Глинский, для чего вы лишили меня удовольствия разделить с вами доброе дело? — сказала Эмилия, когда замешательство ее прошло.

Глинский, желая избегнуть этого разговора, шутливо отвечал:

— Я знал ваш характер, графиня! Вы с холодным рассудком стали бы удерживать меня; ваше состояние не позволило бы лично и подробно видеть крайнего положения раненого, и пока вы осведомлялись, этот добрый человек простился бы со светом.

Эмилия никак не полагала, что Глинскому известна вся история бедной женщины, а потому, невзирая на шутливый тон, с каким отвечал Глинский, она приняла это за наличные деньги и потому продолжала:

— Есть случаи, где самое благоразумие не велит медлить помощью. Раненый солдат совсем другое дело, нежели больная женщина, каких здесь, может быть, половина Парижа.

— Но, кажется, вы были тронуты положением этой бедной женщины.

— Нисколько.

— Право? а мне казалось, будто вы прослезились.

— Не думаю; а ежели слезы выступили у меня, то это не что иное, как слабость нерв и это очень дурно — этому быть не должно!.. Однако, что сделалось с нашею больною, куда девался Этьен?

— Не знаю. Во время обеда кто-то вызвал его, и я не видал его до сих пор.— Здесь Глинскому пришло в голову подшутить над графининым притворным равнодушием и потому он, помолчав немного, начал:

— В самом деле, здесь, в Париже, очень много плутовства. Не более часа назад у меня был один из товарищей и рассказывал, что утром он видел неприятную сцену, как тащили одну женщину к полицейскому комиссару за продажу какого-то краденого бриллиянтового крестика.

— Крестика? — воскликнула Эмилия,— она его не украла.

— Может ли это быть, графиня? откуда бедной женщине взять бриллиянты? Товарищ мой рассказывал, как эта обманщица клялась всеми божбами, что этот крест ей дала какая-то знатная дама в своем доме вместо денег, когда узнала, что она нуждается в помощи. Она просила, чтобы отпустили ее к детям, умиравшим с голоду, и рассказывала еще множество подобных бредней. Но вы сами судите, графиня, кто этому поверит? какая знатная дама в своем доме не найдет столько денег, чтобы помочь нищей, и станет снимать с себя крест?..

— Бога ради, пошлите!.. поезжайте сами, помогите этой женщине,— говорила Эмилия, вскочив со стула.

— Рассудите, графиня, как помогать воровке?..

— Она не воровка! Она честная женщина, я ручаюсь за нее,— поезжайте, Глинский!

Глинский не мог воздержать своей усмешки и восхищения.

— Успокойтесь, графиня. Я только желал испытать ваше хладнокровие — это шутка, но которая могла бы сделаться печальною истиною, если бы я не поспешил взять у этой женщины вашего крестика, который вы давеча дали ей.— Графиня! я предложу теперь ваш же вопрос: для чего лишили вы меня удовольствия разделить с вами доброе дело? и, чтобы не открыть передо мной прекрасной души вашей, дали такую вещь, которая вместо помощи могла бы сделать ей несчастье? — С этими словами Глинский протянул руку с крестиком к Эмилии.

Эмилия долго стояла перед ним, потупя наполненные слезами глаза; наконец, не подымая их и подав ему руку, сказала: помиримтесь, Вадим?..

— Эмилия! — воскликнул Глинский, держа крестик левою рукою и протягивая правую: — Эмилия!.. — он хотел говорить еще, но графиня, сжав ему руку, исчезла.

Глава II

Союзникам наступало время оставить Францию, где новый порядок вещей уже утвердился и где, казалось, спокойствие сильными потрясениями восстановилось. Такова, по крайней мере, была наружность этого волкана, называемого Франциею, но внутренность его скрывала противное. В Париже, бывшем всегда представителем целого государства, уже гнездились зародыши новых бурь, новых бедствий. Восстановление Бурбонов, которое сначала казалось способом примирения всех партий, принесло с собою множество злоупотреблений — и одно из величайших: призвание эмигрантов. Все люди, созданные Наполеоном, заслуги, оказанные империею, стали ничтожны пред эмигрантами, которых невознаградимое достоинство состояло в бегстве из отечества, приписанном теперь усердию и верности к бурбонскому до-

му. Французы должны были платить тому, кто имел что-нибудь до революции; доставлять выгодное место, кто не имел ничего; уступать начальство, кто сохранил какое-нибудь обветшалое дореволюционное звание в войсках или во флоте и отдавать старшинство таким, которые, вместо кровавой и славной службы, вменяли в заслугу пред отечеством постыдное пресмыкательство по чужим краям, где они проклинали Францию и французов; все государственные места и должности были отданы титулам и родословным; ничтожество заступило место дарования и место опытности. Казалось, что министерство Блакаса и его клевретов с своей стороны употребляло все, чтобы уронить во мнении народном новое правительство и развернуть сожаление о старом. Налоги увеличились; издержки двора превосходили меру; награждения сыпались на грязь мимо талантов и достоинства; гвардия была сменена швейцарцами, крест Почетного легиона, священное украшение любимцев славы, раздавался без всякой заслуги полными пригоршнями в унижение целой армии, где старики эмигранты или дети их заменяли начальство наполеоновых ветеранов. Можно судить после сего о духе и чувствованиях армии. Всем известен ответ солдат, которые при вопросе: довольны ли они новыми начальниками, отвечали: oui, oui, ils sont tres bien, tres gentils; mais quand nons aurons de la guèrre, nous ésperons q'ont nous donnera d'autres[1].

Такое положение дел более и более возбуждало общее неудовольствие, даже охлаждало самых жарких приверженцев восстановления, которые, не имея счастия принадлежать к сословию эмигрантов, обманулись в своих ожиданиях. Нечего говорить о тех, которые думали воцарением Бурбонов доставить Франции счастие и спокойствие в свободных постановлениях благоразумной хартии. Общие надежды были обмануты — и прежде, нежели можно было ожидать и приметить, даже во время присутствия союзников, старинные партии соединялись под свои знамена — и

---

[1] Да, да, они очень хороши, но мы надеемся, что во время войны нам дадут других.

под шум праздников беспечного правительства приготовляли втайне орудия к новым переменам.

Мы видели, к какой партии принадлежал Дюбуа. Глинский как юноша, как энтузиаст привязан душою к славе Наполеоновой, и потому мудрено ли, что беседа с Дюбуа была ему самою приятною; мудрено ли, что последний, находивший наслаждение говорить о своем герое, нашед поклонника великих подвигов и гения Наполеонова, видя превосходные качества молодого человека и уступая естественной наклонности любить тех, которые нас любят — несмотря на отказ в дружбе, сблизился с ним, и часто раскрывал ему, если не свои тайны, по крайней мере, образ своих мыслей. Но, мало-помалу, Дюбуа стал чаще отлучаться; забота и задумчивость явственнее выражались на его лице; Глинский реже мог заставать его дома и напрасно хотел проникнуть причину скорби человека, которого он начал почитать душевно. Дюбуа и прежде не был ни очень молчалив, ни очень разговорчив, но теперь он реже говорил с самим Глинским, с которым охотнее делил время. Впрочем, это не имело вида скрытности, и Глинский только мог жаловаться на недостаток случаев.

Русские войска, простояв два месяца в Париже, готовились к выступлению. Глинский начал задумываться; чем чаще и ближе он видел графиню, тем робче становился, а случаи видеть ее ближе и чаще наполняли почти все существование молодого человека.

С возвращением Бурбонов приверженцы их восстановлены были в прежних правах; маркиз, который и без того почти не бывал дома, получил место при дворе, а маркиза была приглашена посещать дворец и ездила туда почти ежедневно. Кроме того, что последняя всегда заботилась о Глинском, как о сыне, осведомлялась о малейших его нуждах, дружба ее и уважение со времени происшествия раненого гренадера стали неограниченны. Казалось, она замечала склонность Глинского, и это ей не было противно. И так он почти беспрестанно был с Эмилией; они гуляли в саду, они читали вместе, и как траур графини не позволял ей никуда выезжать, то день с утра до вече-

ра проходил, не разлучая ни на минуту двух друзей, как говорила Эмилия. Сверх того, привлекательная Клодина реже вертелась с Глинским, реже говорила о нем своей кузине, но зато чаще задумывалась, и как настоящее время было богато новыми театральными произведениями, то Шабань беспрестанно доставлял новую музыку; эту музыку надобно было разыгрывать, петь; фортепиано стояло подле комнаты, где обыкновенно сиживало все семейство, и потому Глинский с Эмилией почти всегда оставались одни.

Несмотря на это, молодой человек, как мы сказали выше, становился робче, и чем ближе подходила пора разлуки, тем труднее ему было открыться в своих чувствах. Он знал любовь только из романов, где она начинается со вздохов, питается пламенными разговорами, объясняется на коленях и запечатлевает взаимными клятвами. Но здесь все было напротив: графиня была очень проста в обращении, она не вздыхала; чуждая всякого кокетства, она не любила никаких нежностей, которые при ней замирали на губах каждого или принимались ею очень холодно. Глинский несколько раз желал привести разговор к тому, чтоб можно было выразить свои ощущения: но Эмилия смеялась над всякою сантиментальностию, ежели он, увлекаемый пылкостию характера, вдавался в область романических мечтаний. Не менее того, дружба ее к нему увеличивалась; даже нежные и короткие названия друг друга по именам не страшили более ни Эмилии, ни Глинского; взаимная доверенность не оставляла ничего скрытного в их помышлениях и поступках, но все это было не более, как дружба для Глинского, и сколько это чувство прежде казалось ему лестно, столько теперь оно было для него холодно; так что при одном слове дружбы он вздрагивал невольно.

В один из таких часов, когда Глинский, задумавшись, мечтал о своей любви, о счастье соединения с графиней, о невозможностях и препятствиях, окружавших со всех сторон его несчастную страсть и, наконец, о близкой разлуке, явился к нему Дюбуа. Это

обрадовало Глинского; он вскочил с софы, где лежал он в татарском халате, и подал гостю руку.

— Какие вы странные люди, г-да русские,— сказал, смеючись, Дюбуа,— я не понимаю в вас соединения живости, деятельности, неутомимости в трудах военной жизни, с беспечностью, даже ленью, ежели служба вас не требует. Я знавал в прежние мои походы много русских пленных, которые, доказав на опыте, как много могут перенести в нужде, оставались недвижимы, нежась по целым неделям на диване и куря табак. Видя их в этом положении, никто бы не поверил, что они способны ко всем лишениям.

— Это еще остаток наших азиятских привычек; впрочем, я не следую им и ежели вы застали меня лежащего, я нахожу это положение всего приличнее, когда голова полна мыслей или сердце щемит от грусти. Это бывает тогда, как я один: но всякая нега чужда мне, как скоро могу с кем-нибудь разделить свои ощущения. Вы нас почти оставили, г. Дюбуа, даже за обедом редко вас видно.

— У меня есть дела, которые требуют неослабной деятельности. Сверх того, вы видите, какие люди ныне посещают дом маркиза. Молчать я не могу; накликать неудовольствий не хочу, и потому за лучшее считаю удаляться.

— Но, удаляясь от них, лишаете и друзей ваших удовольствия видеть вас. Что я говорю, друзей! вы не желаете их иметь, г. Дюбуа! вы ничего не хотите делать с теми, кто нуждается в вашей дружбе!

Дюбуа приметно был тронут упреком, он видел положение юноши: но, как бы страшась его откровенности, после минутной борьбы он отвечал:

— Не сердитесь на меня, Глинский. Повторю, что я желал бы истребить из своего сердца и прежние впечатления. Я как пловец, который, осмеливаясь переплыть быстрину, не только должен сбросить с себя всякую тяжесть, но даже последнюю и одежду, чтобы легче достигнуть желаемого берега. Как же ему думать о том, чтоб возложить на себя новое бремя...

— Я не спрошу вас, куда вы намерены плыть, но желал бы охотно стеречь то, что вы оставите на берегу,— сказал шутливо Глинский.

— Всего менее вам желал бы я навязать какую-нибудь заботу. Что же до плавания: что жизнь моя и

прежде была исполнена трудностей, а теперь, в эту политическую бурю, без солнца, закатившегося за морем, она состоит из беспрестанных опасностей, тем более, что я не доверяю ни одному из ложных маяков, светящих теперь на нашем горизонте.

— Странно, что вы видите бурю там, где другие видят ее конец. Мне кажется, Дюбуа, что в ваших словах есть какой-то отпечаток мизантропии,— сказал Глинский, усмехаясь.— Неужели поводом к ней могут служить одни только нынешние обстоятельства вашего отечества, или это чувство давно свойственно характеру вашему?

Дюбуа улыбнулся и отвечал:

— Это не мизантропия. Это, может быть, брюзжание старости, которой всегда кажется настоящее хуже прошедшего. Молодые люди говорят о том, что намерены делать взрослые, что делают, а старики — что делали: и чтоб вы не осуждали меня в скрытности, я расскажу вам некоторые черты моей жизни, образовавшей мой характер.

Глинский, обрадованный доверенностью уважаемого им человека, уселся спокойно в уголок дивана; Дюбуа ходил взад и вперед по комнате. День уже вечерел; становилось темно и слуга хотел подавать свечи, но Дюбуа остановил его.

— Сумерки летнего вечера,— говорит он,— располагают к искренности; я люблю эту пору, когда шумный день проходит, когда чувства наши отдыхают и воображение, не развлекаемое окружающими предметами, становится живее. День топит нас в волнах своего света, в океане людей и сует, сумерки прогоняют заботы. День уходит от них с докучною своею свитою; мы останемся одни, и — сдавленная грудь дышит свободнее. Давно, Глинский, давно я не пользовался удовольствиями сумерек! — теперь послушайте.

Я говорил вам, что начало моей жизни посвящено было художествам, но что слава увлекла меня под свои знамена. Не буду рассказывать, как и почему вся армия почитала Наполеона полубогом; почему я вместе с другими разделял это пристрастие; скажу только про случай, который познакомил меня с ним и заставил привязаться к нему душою. В Иенском деле я был уже капитаном, адъютантом у Нея. Меня послали с донесением, что значительная батарея, защи-

щавшая наш фланг, взята неприятелем. Ней требовал подкрепления.

«Молодой человек, — сказал мне Наполеон, — возьмите эту батарею назад, это будет подкреплением вашему маршалу». Восхищенный таким поручением, я исполнил приказание; сражение было выиграно, и Наполеон на поле битвы сам надел на меня крест Почетного легиона и оставил меня при своем штабе, и с этой минуты жизнь моя была посвящена этому необыкновенному человеку.

Наступил мир. Занесенный мощною рукою Наполеона в круг высшего сословия, увидел я собственное ничтожество: на войне храбрость дает первенство — мир требует других достоинств. Я был беден, чин мой ничего не значил, воспитание было небрежно; а в свете богатство, чины и познания играют важные роли. Я видел людей, которые ослепляли и изумляли меня; это были мои идеалы — к ним желал я подойти, к ним приблизиться. С какою завистью смотрел я на их успехи в свете, с каким подобострастием слушал их оракулы; в одном я видел глубокую ученость, в другом римский характер, в третьем все добродетели. Я употребил невероятные усилия, посвятил себя совершенно учению; честолюбие подстрекало меня, и несколько лет чтения, наблюдений и размышления развернули мои способности. Мало-помалу, я стал видеть яснее меня окружавшее, но с этим потерял способность удивляться прежним идеалам, восхищаться теми людьми, пред которыми толпа курила жертвы: в светской учености я увидел одни брякушки; я узнал, что люди, которые считаются светом великими характерами, приобретают эту славу, тратя характер только на безделицы; но там, где настает нужда показать истинную твердость духа, они уклоняются, чтобы снова над мелочами высказывать пышные своей непоколебимости. Я разлюбил людей с так называемыми пылкими чувствами, которые вздымаются на ходули или становятся в театральную позицию, чтоб выразить эти чувства. Я видел, что всего легче прослыть нравственным человеком, осуждая чужие проступки и предписывая всем законы поведения, тогда как истинная добродетель — признавать собственные недостатки и оправдывать чужие — подвергается всесветному осуждению. Нако-

нец, я испытал, как мало значат все публичные добродетели, которых достоинство состоит не в том, чтоб учить человека, что делать должно в каком-нибудь важном случае, но в том, что ему тут не делать и чего надобно избегать.

Поставленный обстоятельствами между таких людей и осужденный понимать их, я желал бы действовать невидимо и независимо: но участь общества такова, что столкновение необходимо. Я сказал, что я был беден: это останавливало меня на каждом шагу; мне надобно было искать, чтоб делать добро; употреблять невероятные усилия, чтоб только стать наряду с ничтожеством. Часто меня гнали; много я испытал ненависти; ни то ни другое не трогало меня: одно только глубоко язвило сердце мое, когда эти пустые и надутые люди удивлялись мне, если случалось сделать что-нибудь необыкновенное или показать особенное дарование, как будто бедный человек не может по природе, и не должен сметь по приличию показывать ни достоинств, ни дарований, которых они сами не смели считать своим уделом. Как бы то ни было, я заставил уважать себя. Со всем тем, мне было скучно в большом свете и при дворе — я больше жил в поле, и хотя там есть своего рода интриги и обманы, но они обозначаются явственнее, на них указывают откровеннее и отплачивают им решительнее. Пороки и добродетели там положительны, тогда как в свете большая часть так называемых честных людей богаты только отрицательными добродетелями.

— Какими красками описываете вы людей,— сказал Глинский,— после этого не удивляюсь, что сделались ненавистником человеческого рода!..

— Ненавистником? — напротив. Я люблю людей, люблю общество. Ежели вижу их такими, это мне не мешает любить их — знаю, что они иначе быть не могут. Ежели бы я, в самом деле, ненавидел их, болело ли бы у меня сердце при несчастиях французов? если б чувство ненависти могло вмещаться в душе моей, было ли бы в ней место для горячности, с какою люблю того, чье имя другие теперь не смеют произносить громко; искал ли бы дружбы с Деноном и братской связи с графом де Сервалем; мог ли бы привязаться к дому старика Бонжеленя, несмотря на различие наших мнений? Я уважаю характер маркиза, его постоянство, неизменчивое направление на политиче-

ском поприще и снисхожу даже его слабостям. Например — извините меня, Глинский,— я бы хотел, чтобы француз сохранял побольше достоинства в обращении с теми, которые силою предписали ему законы — а он торжествует свое поражение. Но я вхожу в образ его мыслей, понимаю, и если не оправдываю, то не могу обвинять. Например: знаете ли, зачем, с какою просьбою от него пришел я к вам?

— Рад очень выполнить все, что могу.

— Маркиз и жена его просят вас доставить им случай быть завтра в вашей придворной церкви; они уговорили и графиню Эмилию завтра выехать впервые после шестимесячного ее траура.

Глинский вскочил от радости, что в состоянии будет доставить какое-нибудь удовольствие своим хозяевам.

— Скажите им,— говорил он,— что я сию же минуту еду доставать билеты; вы меня извините, г. Дюбуа, что я оставляю вас?..

Подали огня. Глинский торопился одеваться и, как обыкновенно случается, что торопливость худо помогает во всяком деле, то правый сапог надевался на левую ногу, пуговки были обстегнуты и шпага едва не осталась в том же углу, где она стояла.

— Мне, право, совестно,— говорил Глинский в то время, как Дюбуа с улыбкою смотрел на него,— что вы видите меня в такой суматохе. После нашего разговора я боюсь показать какую-нибудь слабую сторону моего характера!

— Не бойтесь; молодому человеку так и быть должно. Сверх того, за мое о вас мнение верною порукою наш разговор. Если бы это не была доверенность к человеку, мною уважаемому, если бы сердце не было согрето чувством признательности за ваше ко мне внимание, если бы я не отдавал справедливости даже тому, который принадлежит нации, неприязненной французам, то мои слова были бы только презренным болтаньем!..

Глинский обнял его с жаром. В эту минуту ему казалось, что только любви графининой недостает для его полного счастия.

Он отправился в кабриолете.

«Прекрасный юноша! — думал Дюбуа, смотря ему вслед.— Жаль, что он русский! Каждый из союзников должен быть врагом моим, пока он на земле Франции — и если я уважаю этого — то потому, что он лю-

бит Наполеона... но он также любит и... Дюбуа! будь великодушен, забудь все... пожертвуй всяким посторонним чувством одной высокой мысли, которой ты обрек себя!..»

Глава III

Император Александр каждый праздник присутствовал в своей походной придворной церкви, устроенной в доме, так называемом: garde meuble[1]. Любопытные парижане толпами собирались смотреть, как молится русский царь, и стечение их увеличивалось с каждым разом до такой степени, что сперва надобно было отворить ряд задних комнат для помещения посетителей; потом должно было пускать дам по билетам, а мужчинам позволено приезжать только в мундирах.— Весь парижский beau-monde[2] почитал обязанностию бывать у обедни, где, кроме новости видеть службу греческой церкви, слушать превосходных певчих, кроме удовольствия смотреть на прекрасного собой императора, присоединялись выгоды съезда лучшей публики и развлечения на несколько часов.— Все только и толковали, что о величии обряда, о пении, о красоте русского царя. Словом сказать, обедня сделалась самою модною вещью в Париже, и хозяевам Глинского надобно было видеть также царя у обедни.

Все заботы о российской армии и о дворе императора возложены были на князя Волконского; даже раздача билетов для входа в церковь производилась под его именем. Глинский отправился прямо к нему, велел о себе доложить, и когда князь позвал его, объявил о своем желании.

Соединение многих должностей за границею; беспрерывное занятие по оным; мелочные подробности места начальника штаба с важною ответственностию за армию, стоящую в завоеванной земле, и заботы других обязанностей приближенного человека к императору в эту суматошливую эпоху положили отпечаток суровости на характер князя и даже вспыльчивости, когда похищали у него на пустяки драгоценное время.

---

[1] для хранения мебели *(фр.)*.
[2] высший свет *(фр.)*.

Он вышел к Глинскому с нахмуренным лицом, и когда этот высказал свою просьбу, он вспылил.

— Я думал, милостивый государь, что вы пришли говорить о каком-нибудь нужном и важном деле, но что важно для вас, молодых людей, то может быть совсем не важно для меня. Г-да гвардейские офицеры думают, что весь свет обязан угождать вместе с ними их хорошеньким хозяйкам. Триста билетов уже роздано; я не могу дать более ни одного и не могу терять на вздоры времени.— Он хлопнул дверью и ушел. Глинский отправился в большом горе.

Адъютант Волконского, встретивший Глинского, удивился его печальному виду. Глинский объявил свою неудачу.

—Князь правду сказал,— говорил адъютант,— что ты, почитая важною свою просьбу, хочешь, чтоб и другие также ее принимали. Если б ты мне прежде объявил свою нужду, я бы удовлетворил тебя без всяких хлопот и беспокойства самого князя. Но, впрочем, вот тебе билеты; желаю твоим хозяевам, а более прекрасной графине Эмилии, удовольствия.

Глинский был знаком со всем штабом; вся молодежь завидовала его квартире. Графиня де Серваль была предметом удивления всех гвардейских офицеров, которые имели случай когда-либо видеть ее.

Наступило воскресенье. В церкви русского императора собиралась публика. Дежурные гоф-фурьеры стояли в дверях и отбирали билеты, указывая каждому место: дамам направо, мужчинам по левую сторону. Маркиза Бонжелень с графиней Эмилией и Глинский со старым маркизом показались, и жужжанье похвал следовало по всей левой стороне за графиней. Она в первый раз оставила свой траур и была в белом платье, но черный пояс показывал, что оно надето было только для этого дня. Князь Волконский, стоявший посредине в ожидании государя, развел морщины своих бровей, когда увидел графиню, и, взглянув с улыбкою на Глинского, проводил мать и дочь на первые места. Он, конечно, оправдывал вчерашнюю просьбу молодого человека, потому что подозвал своего адъютанта и расспросил подробно, кто были эти дамы.

Вскоре суеты в передних комнатах, появление флигель-адъютантов, генералов и придворных чиновников известили о прибытии императора. Он вошел в церковь в обыкновенном своем костюме, кава-

лергардском вицмундире. Редко можно было видеть мужчину статнее и красивее; сверх того, он был император, завоеватель и победитель, и потому не только женщины, которые с энтузиазмом смотрели на освободителя Европы, но даже мужчины отдавали ему полную справедливость. Он стал налево, помолился; сделал поклон на все стороны и обратил на несколько секунд лорнет на дам. Графиня де Серваль была против него.

Обедня началась, но набожность девяти десятых из присутствовавших подвержена была большому искушению. Русские были по должности, иностранцы из любопытства; обе половины, левая и правая наблюдали друг друга и взаимно засматривались на русского самодержца, который один набожно и скромно молился. Другой молившийся от искреннего сердца был старый хозяин Глинского. Когда певчие начинали петь, маркиз приходил в восторг, поднимал слезящиеся глаза к небу, колотил себя в грудь и вздыхал на всю церковь. Глинский также молился, но ему много было развлечения: всякий раз, как он поднимал глаза на алтарь — он видел Эмилию — и едва ли в это время он был хорошим христианином, ежели не совсем язычником.

При конце обедни император подозвал Волконского и тоже что-то расспрашивал; когда же служба отошла, священник по обычаю поднес императору на золотой тарелке просвиру. Александр подозвал маленького певчего и, дав ему нести за собою тарелку, подошел к графине де Серваль.

— Графиня,— сказал император, поклонившись с обыкновенною ему очаровательною улыбкою,— по нашему обычаю после обедни священник выносит хлеб, над коим совершалась служба, и отдает его первому лицу в церкви. Сегодня он сделал это по привычке, позвольте мне поправить его ошибку и предложить вам благословение нашей церкви.

Графиня не ожидала ни видеть так близко императора, ни слышать его лестного приветствия: она покраснела и сделалась еще прекраснее. Приняв из рук императора просвиру, она отвечала со скромностию:

— Бог всегда посылает это чрез своих благословенных; государь! но и люди также благословляют своих любимцев; счастлив тот, кто носит оба эти венца, потому что глас народа то же, что глас божий.— Александр, поклонившись за комплимент,

простился с нею, и раскланявшись опять на все стороны, вышел из церкви, сопровождаемый свитою. Посетители начали разъезжаться; Глинский посадил в коляску своих хозяев и отправился с маркизом.

Кому не было дорого торжество любимой особы? Глинский был в восторге, и пока продолжалось передобеденное время, он в нетерпении ходил взад и вперед по комнате, ожидая возможности поздравить графиню, потому что ему не удалось ей сказать и двух слов по выходе из церкви.

На графининой половине происходили другие сцены: все нянюшки и мамушки Габриелины дожидались приезда графини от обедни, чтобы как-нибудь услышать словцо о русском императоре. Знакомка наша Урсула, жена привратника, была в первом ряду любопытных. Вскормив своею грудью графиню, она осталась навсегда в доме и считала себя вправе часто навещать молочную дочку, говорить перед нею откровенно и даже лепетать всякую всячину.

Когда Эмилия вошла к себе и обняла Габриель; когда несколько домашних приказаний и вопросов было сделано, нетерпеливая Урсула завела речь о предмете своего любопытства и стала расспрашивать графиню, которая, снисходя старой своей мамке с детскою добротою, рассказала ей все обряды, каким она была свидетельницею; описала ей русского царя; но вопросам Урсулы не было конца: она хотела знать, как русские молятся, как понимает бог, что говорят они ему на варварском своем языке; и как можно быть священником с бородою?

Мало-помалу, однако же, вопросы сделались реже, зато словоохотная мамка выступила сама на сцену: она судила и рядила Россию и царя и веру; толковала о сегодняшнем утре, о маркизе отце и маркизе матери, о самой графине, о Глинском, вдруг имя сего последнего остановило весь поток ее красноречия — она вдруг вскликнула:

— Мати божия! мне еще надобно его видеть! — и, сделав шаг вперед, остановилась в нерешимости. Графиня, которая переодевалась во все время ее болтанья и почти не слыхала ее разговоров, удивилась внезапному молчанию; точно так путешественник, убаюканный качанием кареты, просыпается, когда карета вдруг остановилась.

— Кого тебе надобно видеть? — спросила Эмилия.

— Нашего русского,— отвечала Урсула, попавшая опять на колесо болтовни от вопроса графини.— Видите ли, моя графиня, надобно сказать, что его требуют непременно и как можно скорее в улицу С. Дени № 64, за ним приходили в то время, как вы ездили. Да, я пойду,— нет, я еще не все у вас расспросила, графиня. Впрочем, не худое дело, он всегда поспеет.— Последние слова Урсула выговорила, значительно кивнув головою — и видя, что графиня ничего ей не отвечала, но устремила на нее вопросительный взор, она прибавила вполголоса: — Ведь он ходит давно туда, в улицу С. Дени № 64, к молоденькой вдовушке Казаль; недавно наш коммисионер Мишо носил ей какой-то подарочек от г. офицера, он был запечатан в толстую бумагу — и если это была не шаль, то, наверное, платок,— я сама щупала, графиня, а сегодня эта самая вдовушка была у наших ворот и спрашивала Глинского; когда же я сказала, что его нет дома, то она куда как умильно просила, чтоб он приехал к ней и как можно скорее. Ну вот, я и думаю, графиня, что ему торопиться не для чего.

Эмилия в продолжение этого монолога испытывала самое неприятное чувство. Верила ли она сплетням Урсулы? — нет! — но и то уже было ей прискорбно, что могли говорить так о Глинском. Впрочем, подозрение есть такой тать, который приходит к нам нечаянно и похищает нашу доверенность прежде, нежели мы успеем принять какие-нибудь меры. Что ощущала в сии минуты Эмилия, нельзя еще объяснить: это чувство было темно, сбивчиво и неприятно по своей борьбе с теми убеждениями, какие мог представить рассудок. Не менее того, она чувствовала собственное достоинство и неприличность Урсулина рассказа.

— Урсула! — сказала она,— я запрещаю тебе говорить такие пустяки передо мною! Это ваши подворотные сплетни,— иди к г. Глинскому и объяви ему о поручении, тебе сделанном.

Бедная мамушка не ожидала выговора: она смешалась, видя, с каким неудовольствием графиня отвернулась от нее.

— Что же я сказала, графиня? — бормотала она,— я только повторила, что знают все в доме, от первого до последнего, сам г. Дюбуа *известен* об этом!

— Ступай же и делай свое дело! — повторила Эмилия.

Урсула пошла вон из комнаты тихой походкой, сморкаясь, кашляя и оглядываясь на все стороны, как обыкновенно делают люди, которые не знают, куда деваться, а для поддержания самостоятельности хотят показать, что нисколько не потерялись.

Чрез несколько минут графиня видела, как подвели оседланную лошадь Глинскому, потом услышала топот, и когда взглянула в окно, то одни искры от подков, осветившие свод под воротами, засвидетельствовали поспешность, с какою поскакал Глинский.

Вздох вырвался из груди Эмилии.

Конечно, многим случалось иногда видать, что делается с холодною водою, когда ею брызнут на красно-раскаленное железо: она дробится в шарики, которые прыгают, подскакивают, шипят и вертятся над железом, пока сильный жар огня отбрасывает их от раскаленной поверхности; но как скоро это железо потемнеет и начнет простывать, оно не отбрасывает более шариков; вода начинает превращаться в пары и в это время, но не ранее, способствует уже охлаждению железа.

Это состояние можно применить к душевному положению Эмилии. Если б она была хладнокровна к тому, что относилось до Глинского, то ей ближе всякого другого можно было отгадать или, лучше сказать, просто видеть, что значит рассказ Урсулы: Глинский несколько раз после сцены с гренадером рассказывал ей, где и у кого живет раненый Гравелль; но теперь, при возмущенном состоянии ее души, всего предшествовавшего уже не существовало, и гренадер с вдовою Казаль для нее были то же, что два антипода между собою.

Мы сказали, что Эмилия вздохнула: и это был первый вздох, он был тяжел, — хотя она не могла дать отчета в своих чувствах.

Глинский едва поспел к обеду, вид его был задумчив, речь рассеянна. Несколько приветствий, сказанных им графине о утренних сценах, получили холодные ответы, и это его изумило. Эмилия сердилась на самое себя: несколько раз она хотела спросить молодого человека, где он был до обеда, но какая-то гордость заграждала ей уста; она продолжала молчать и, хотя ни в чем не могла еще обвинять Глинского, но приметное неудовольствие вырывалось против воли

в ее ответах не только ему, но даже и другим гостям. Только маркиз и маркиза были веселы и не замечали происходившего в сердце дочери: они оба рассказывали и повторяли всем и каждому про русскую обедню и любезность царя с их дочерью; только Шабань и ветреная де Фонсек лепетали всякий вздор и занимали своих соседей. Дюбуа, заметив скучный вид Глинского и его позднее появление к обеду, спросил о причине и узнал, что бедный Гравелль сегодняшним утром едва не изошел кровью из раны, которая открылась от неосторожно сделанного усилия, и что посольство за Глинским было по этому случаю.

Как не было неприятно положение Глинского, однако, он должен был отвечать на многие вопросы маркиза и маркизы. Его расспрашивали обо всем дворе и свите императора Александра, начиная с князя Волконского до последнего из флигель-адъютантов,— и как маркиза принадлежала к знатнейшей аристократии из фамилии д'Аркур, принятой и ее мужем при женитьбе, следовательно, высоко ценила род и титла. Она осведомлялась о роде каждого, кого именовал Глинский. Наконец, перебрав всех, она кстати вспомнила, что еще не однажды не расспрашивала самого Глинского о древности его фамилии.

Он улыбнулся насильно при ее вопросе.

— У нас в России,— сказал он,— мало дают цены родословным: Петр Великий показал дорогу для сравнения всех сословий одним только достоинствам. Последний солдат может выслужиться до высших чинов, и первые князья и графы должны начинать службу с солдатского звания. Каждый чин приобретается заслугою. В доказательство того, как мало мы смотрим на родовые достоинства, я скажу вам, что дед мой, происходивший от владетельных князей Глинских, добровольно перестал называться князем, не имея никакого владения при титуле. Несмотря на это, отец мой, простой дворянин, был женат на дочери грузинского царя,— и опять, несмотря на это, сын его, царского рода, только поручик гвардии и то благодаря двум годам войны.

— Как! вы потомок царей грузинских?

— Да, маркиза.

— И владетельных князей русских?

— Точно так.

— Боже мой! и я ничего этого не знала!

— Потому, маркиза, что я не считал этого важным; я не хотел тщеславиться тем, что нисколько не уменьшает моих недостатков. Я даже не думаю, чтоб это могло придать мне цены в ваших глазах.

— Напрасно, князь Глинский, напрасно,— говорила набожно маркиза.— Я прежде сама предложила вам дружбу; теперь вы имеете полное право ее требовать.

— Бога ради! маркиза, не называйте меня князем! меня сочтут хвастуном, потому что более ста лет как мы не имеем этого титла. Я повторяю вам, что мое княжеское происхождение и грузинская царская кровь не имеют никакого значения ни в моих понятиях, ни в моих отношениях к обществу или дружбе.

— Нужды нет, нужды нет! тем более вам чести и тем более это имеет цены в глазах моих! — Маркиза замолчала, потом, вероятно, какая-нибудь приятная мысль представилась ее воображению, она взглянула на дочь, на Глинского — и улыбнулась.

Графиня Эмилия, которая показывала, будто не слушает их разговора, заметила, однако же, последнее движение маркизы, невольно последовала взорами за ее глазами, и когда угадала мысль матери, когда при этом сознании встретила глаза Глинского, на лице ее изобразилось удивление нечаянности и с ним нечто гордое.

Бедный юноша побледнел. Он закрыл глаза, чтоб не видеть более этого выражения. Стиснув зубы, он крепился, чтоб не дать воли слезам, которые готовы были выкатиться.

Когда первое движение прошло, молодой человек начал придумывать причину холодности ответов и непонятного поведения графини. Наконец, он думал, что ошибается и старался снова завязать с Эмилией разговор, в котором мог бы найти разгадку жестокой для него тайны, старался не замечать и не принимать в дурную сторону ее слов, но чем более он казался невнимательным к тону графининых ответов, тем более смущение его увеличивалось, и тем холодность графини выражалась яснее, потому что в ее мнении рассеянный вид Глинского при появлении — и возрастающая неловкость в разговорах с нею, служили уликами собственной его совести и внутренним сознанием вины, в которой она уже подозревать его начинала.

Странно, что в таком приятном чувстве, какова любовь, редкая минута проходит без мучений и они бывают тем жесточее, чем больше воображение в них участвует. В этой страсти нет средины: в ней обожание идет рядом с ненавистью; при малейшем подозрении ангел кажется демоном, и как скоро затронутая любовь начинает рассуждать, то все предположения, чем они смешнее и нелепее, тем кажутся справедливее; влюбленные, занимательные в романах от искусства повествователей, бывают чрезвычайно смешны на самом деле. С Глинским случилось все это в продолжение обеда. Если графиня с упрямством отказывала бедному юноше в снисходительном и ласковом слове, он, с своей стороны, приписывал ее холодность самым несбыточным причинам: он перебирал все обстоятельства того дня; строго ценил свои слова и поступки, но не находил никакой вины за собою; наконец, неясная идея представилась его воображению, он не смел еще на ней остановиться, столь она самому казалась безрассудна; однако ж, подобно боязливым людям, которые при лунном свете, принимая издали обломанный пень за признак мертвеца, сперва смеются своему страху, потом вглядываются пристальнее, и потому, чем более смотрят, тем сильнее убеждаются в действительности привидения: Глинский начал верить своей мечте и хотя смутно, без определенного понятия, но отдался на волю своего воображения, которое, как будто забавляясь его мучениями, сколько поутру делало его счастливым от мысли, что император говорил с прекрасной Эмилией, столько же разрушало все его надежды и волновало несчастную душу, показывая этот разговор, это торжество в неблагоприятном для него свете. Глинский не мог определить еще сам, что он думал, он чувствовал только, что страдал — страдал, не смея признаться самому себе в причине своего страдания.

Несколько попыток, сделанных еще после обеда, обезохотили его к дальнейшим домогательствам; к огорчению присоединилась досада; к тому же до его слуха долетело несколько слов из разговоров между молодыми людьми, которые, может быть, столько же были недовольны этим днем, как и Глинский, испытав большую, нежели обыкновенно, холодность Эмилии.

Двое шалунов заключили, что милость императора Александра вскружила ей голову, что ее аристо-

кратическая гордость обнаружилась при этом случае; двое других говорили тише, что Эмилия, наверное, оставит свой траур, чтоб явиться ко двору до отъезда русского царя, одним словом, говорили все, что может внушить злословие парижской гостиной,— и хотя Глинский едва ли слышал какую-нибудь полную фразу, но довольно было намека, полуслова, чтобы прибавить чужие нелепости к собственному дурачеству. Он не мог долее оставаться и сердитый, огорченный и расстроенный ушел к себе вниз.

Когда он пришел домой и в досаде ходил из угла в угол, чрез несколько времени явился к нему один из офицеров его полка и, прежде чем Глинский успел опомниться, ветреный товарищ уговорил его ехать вместе на бал к какой-то графине, заставил его одеться, закричал слуге, чтоб он привел карету, и посадил его с собою.

Глава IV

Глинский позволил везти себя, но думал, что едет добровольно и, несмотря на свою грусть, назло хотел веселиться; — «если графиня, думал он, нарочно хочет огорчить меня, я должен показать ей, что не поддамся этому огорчению. Сверх того, она, конечно, шутила, называя дружбою наше взаимное обращение, которое исчезло с ее стороны при малейшем... но что я для нее в самом деле?.. а если ее сегодняшнее поведение в отношении ко мне было для того только, чтобы доказать мое ничтожество, то неужели я не имею столько гордости и самостоятельности, чтобы пренебречь этим унижением?»

Так думал Глинский, так думал бы почти каждый на его месте — но веселиться назло худо — это бывает именно назло тому, кто хочет веселиться.

В улице*** большой дом освещен был великолепно; куча экипажей стояла у подъезда; но когда карета Глинского подъехала ближе, он увидел, что это были большею частию фиакры; порядочных экипажей почти не было. Молодые товарищи вошли в залу; музыка уже играла; странное смешение общества

представилось им: несколько русских гвардейских офицеров в мундирах и фраках, пруссаки, австрийцы, англичане в своих красных мундирах с расходящимися полами, раскрытыми ртами; гости во фраках толпились по зале, толкались около дам. Несколько пар, и в том числе гвардейский юнкер, кружились в вихре вальса.

В гостиной несколько дам сидели порознь и около каждой был особенный кружок; веселые кучки в разных местах свободно двигались во все стороны: мужчины сходились, толковали, рассеивались; женщины смеялись шуткам и остротам окружавшей их молодежи, и громкий говор этой комнаты неприятно подействовал на слух Глинского, когда его товарищ вошел с ним туда, чтобы представиться хозяйке, сидевшей на большом диване в углу комнаты. Она была лет 30 женщина, еще очень недурна собою, великолепно одета, но, как показалось Глинскому, без всякого вкуса. Несколько разноцветных перьев развевалось на ее токе во все стороны, пять или шесть ниток жемчугу с большим бриллиантовым фермуаром обвивали ее шею, обнаженную до невозможности; на руках в запястье и выше локтя были огромные браслеты, серьги, висевшие почти до плеч и пояс перевивались бриллиантами; в выборе цветов для накладки платья была такая же пестрота; даже самое приветствие, которым она встретила двух молодых гостей, топорщилось, как и ее наряд, и так же украшено было не под тень и краски подобранными цветами.

Наши русские гости, по-видимому, прервали занимательный разговор между хозяйкою и сидевшим подле нее с крестом Почетного легиона в петлице высоким мужчиною с огромными усами и бакенбардами, который, не слушая фигурных фраз хозяйки, заметно был недоволен длиною сего приветствия; он перекладывал одну ногу на другую, кашлял, сморкался, заговаривал с нею и показывал явные знаки нетерпения. Ветреный товарищ Глинского не замечал этого и продолжал разговор, пока учтивая хозяйка не предложила им обоим принять участие в общих удовольствиях. Глинский был рад отделаться от ее беседы, потому что ему начинало становиться нелов-

ко от быстрого взгляда, которым она преследовала его взоры, и от комплиментов, которыми его осыпала.

Вздохнув свободнее, он пошел дальше; в другой зале множество игорных столиков стояло около стен; игроки пересыпали кучами золото; технические выражения экарте и других игор раздавались во всех углах; играющие окружены были гостями: одни дожидались очереди, другие держали пари, и вся сия зала оживлена общим движением; толпы волновались от стола к столу; многие, участвуя в нескольких играх, с громкими восклицаниями призывались в разные места к дележу выигрыша или к расчету проигранного.

В следующей зале также играли, но тут не было шуму; один только большой стол и около него куча игроков. Это был банк. Мечущий хладнокровно и методически клал направо и налево, и все глаза играющих следовали за движением его руки. Некоторые полуголосные восклицания изредка слышались между партнерами, которые больше походили на осужденных, нежели на тех, о которых можно сказать, что они играют. Конечно, банковая игра в насмешку названа игрою.

Все это было скучно для Глинского. Его намерение веселиться исчезло; он не знал, что делать; для пристойности проиграл два заклада в экарте, от скуки проставил несколько червонцев; ходил из комнаты в комнату, следовал за различными толпами и, наконец, очутился с некоторыми ему знакомыми офицерами в богато убранной спальне; штофные занавеси кровати с золотою бахромою, спускаясь от балдахина, поддерживались четырьмя алебастровыми купидонами; по какому-то странному вкусу стена возле изголовья, возвышение в ногах и потолок были зеркальные. В комнате подле спальни была мраморная ванна, роскошные диваны, расположенные около стен, осенялись еще роскошнейшими картинами, которые дышали соблазном над ними. Это удивляло Глинского; чистое сердце его при всей неопытности ощущало что-то неприятное; ему казалось, что самый воздух здесь не столько чист, как подле Эми-

лии — он вышел оттуда, — но везде то же ощущение встречало его: в некоторых комнатах сидели попарно мужчины и женщины и доверчиво шептались; в гостиной подле хозяйки по одну ее сторону сидел тот же усатый человек, по другую молодая девушка, которая шутила свободно с русским офицером и без застенчивости сняв с его шеи орден, примеривала на свою. Далее музыка гремела; резвые пары прыгали в кадрилях очень свободно, часто громкий и неумеренный смех раздавался со всех сторон. Глинский сделал было покушение уехать; ему не нравился этот бал, но резвый его товарищ, принимавший живое участие в веселостях, упросил остаться; сверх того, по некотором размышлении Глинский сам <решил> не уезжать ранее полночи, для того, чтоб не быть обязанным являться к маркизе, где он мог бы еще застать Эмилию, итак, он смотрел на часы, ждал 12 и не мог дождаться. Наконец, хозяйка заметила, что Глинский ничем не был занят: она подошла к нему, сожалела, что он не находит удовольствия на ее бале, ходила с ним между танцующими, называла их имена, потом посадила возле себя в углу залы и завладела им на целый вечер. Здесь она рассказывала ему о своих знакомствах, об увеселениях, пересчитывала театры, где она имеет свои ложи, предлагала ему располагать ими, если удостоит ее знакомством; одним словом, она осыпала его ласкательствами, и когда бедный Глинский вздыхал при каждом бое четвертей больших бронзовых часов, стоявших над камином, она удвоивала свои нежности и восхищалась смущением бедного юноши, которое увеличивалось с каждою минутою, протекавшею за полночь. Несмотря на то, что он не хотел приехать ранее этого часа, он чувствовал также неприличность позднейшего приезда: но неумолимая хозяйка бала не выпускала его, и пока не ударило двух часов, пока он не дал обещания быть утром у ней к завтраку, ему не позволено было встать с места. Прощаясь с нею, он заметил, что высокий усатый мужчина бросил на него сердитый взгляд и начал что-то громко говорить с хозяйкой.

Гости начинали разъезжаться. На дворе шел проливной дождь, и когда Глинский сошел с лестницы,

то увидел пять или шесть дам, вышедших за несколько минут прежде его, которые стояли, прижавшись на крыльце и не могли идти по грязи и мокроте. Это его удивило. Он изумился еще более, когда все сии госпожи вскочили в поданную ему карету, и когда кучер стал им говорить, что это не их экипажи. Comment! — à qui donc est cette carrosse? — nous avons crus qu'elle est à louer![1] и тому подобное лепетали они все вдруг, и потом, не выходя из кареты, начали просить Глинского, чтоб он отвез их по домам. — Всякий француз на его месте вывел бы за руку всех этих госпож, но совестливому русскому ничего другого не оставалось, как согласиться. Он видел, что ему скорее пришлось бы самому идти пешком, итак, он вскочил в карету и велел кучеру ехать.

— Я не поеду, сударь, — кричал тот с козел, — вы меня наняли в улицу Бурбон, а теперь по этому дождю я не намерен мучить своих бедных скотин.

— Ступай, я заплачу тебе за все! — кричал Глинский.

Французские простолюдины не скупы на ругательства, и бедные седоки должны были вытерпеть целый залп. Глинский не хотел заводить ссоры. — Все заплачу, что хочешь дам, только поезжай, — кричал он, прижавшись в угол. Кучер поехал с бранью.

Незастенчивые дамы извинялись, смеялись, затрогивали Глинского, но он попросил извинения, что не будет им отвечать, и с душевным огорчением ждал конца этой незабавной для него комедии. Он видел, наконец, в какое попал общество, и тысячу раз проклинал свое намерение ехать на бал, приветливую хозяйку этого бала и с нею целый Париж.

Три битых часа карета ездила из улицы в улицу, и когда Глинский, освободясь от своих неприятных собеседниц, подъехал к дому маркиза, городские часы пробили пять. Сонный придверник выскочил из своей конурки, жена высунула голову из окошечка.

— M. Glincky, — сказал Базиль, — маркиза и графиня

[1] Как это? Чья же это карета? — мы думали, что она свободна! *(фр.)*

дожидались вас до полночи и очень беспокоились, что вас еще не было.

— Что делать, Базиль, так случилось; дай мне фонарь и расплатись с извощиком: вот мой кошелек.

Пока Урсула зажигала фонарь, муж ее спросил извощика, сколько ему надобно.

— Сорок восемь франков,— отвечал тот.

— Не с ума ли ты сошел!— воскликнули муж и жена вместе.

— Сделай милость, дай ему все, что он хочет, лишь бы он не делал шуму,— сказал Глинский, взяв фонарь и уходя домой.

— Сойдешь с ума,— говорил извощик,— стоять четыре часа на проливном дожде и потом сверх ряды развозить по всему Парижу бог знает какую сволочь: если бы не господин русский офицер, я ни за какие деньги не пустил бы в карету такой дряни!

— А где вы были и кого возили?— спросила Урсула и, несмотря на дождь, выскочила из-под ворот.

Пока Базиль считал франки, извощик рассказал, как они ездили в игорный дом и каким образом Глинский был столько вежлив, что предложил свою карету пяти грациям. Извощик иначе и не думал, что это было собственное желание Глинского; он не понимал, как можно было не вытолкать этой дряни, ежели бы он не захотел пустить их в карету.

— Да что же дивиться,— примолвил он,— дело молодое! иностранцу и повеселиться в Париже.— Сказав это, он протянул руку за деньгами, хлопнул бичом и уехал.

Глинский вошел к себе и прежде, нежели зажег свечу, взглянул в окошко на комнаты графини. Ему показалось, что у ней в спальне горит огонь; отстоторонив свой потайной фонарь, он ясно увидел свет в окошке. Не больна ли она, думал он, зажигая свечу, или я ошибся, приняв окно детской за ее спальню? Он хотел удостовериться вновь, но с появлением его огня свет в графининой комнате исчез.

Сколько странных мыслей было в голове Глинского! В огорчении он перебирал снова свои слова и поступки и ни в чем не мог упрекнуть себя, кроме намерения ехать на бал,— но и это увеличивало еще его

мучения. Он бросился в постель и долго не мог уснуть.

Поутру молодая графиня встала с постели бледна и с покрасневшими глазами. Горничная, подававшая одеваться, удивилась перемене; в эту минуту вошла Урсула.

Болтливая мамка, получив накануне выговор, готова была разбудить сегодня графиню, чтоб высказать ей доказательства вчерашнего болтанья, и насилу дождалась, когда она встала. Между тем, надобно было осторожно высказать все, что она знала, ибо просто злоречие не имело доступа к графине; надобно было выбрать другую дорогу.

— Каково ты поживаешь, Урсула? — спросила, по обыкновению, Эмилия.

— Что мне делается, графиня; с тех пор, как я живу в вашем доме, не знаю ни горя, ни печали; сегодня немножко только не доспала.

— Отчего же, Урсула?

— Как отчего, графиня? вчера мы с Базилем не прилегли до 5 часов утра; M. Glincky только что воротился об эту пору,— а его нельзя не подождать: он такой добрый! мы же знали, что вы и сами изволили дожидать его за полночь.

Графиня отворотилась.

— Бедный M. Glincky,— продолжала Урсула,— он совсем не знает счету деньгам и вообразите! вчера заплатил сорок восемь франков извощику за то, что привез его.

— Верно, он далеко был, Урсула?

— Нет, не далеко, но бездельник извощик поднял такой шум, что бедняжка дал ему все, что тот требовал, лишь бы он уехал. И по моему счету, несмотря на то, что он ездил сверх ряды, ему приходилось заплатить не более 20 франков. Сами посудите, графиня: от 9-ти часов до 2-х стоять на месте в улице S. Honoré, а потом три часа езды. Ряда 10 франков, да за каждый час езды по 3 франка и франк pour boire[1], вот и весь счет,— а он? — шутка ли, графиня, взял сорок восемь. Вот кошелек Глинского; муж отдал мне, чтоб отнес-

---

[1] чаевые *(фр.)*.

ти к нему, и пустым пустехонек! вчера утром, когда он давал моей Матильде экю на лакомство, я видела, что он был полон. Мне жаль этого молодого человека, графиня, он такой ласковый, прежде за ним этого не бывало: но когда увижу его, я скажу ему потихоньку, что это не годится. Здесь в Париже долго ли до беды с такими знакомствами...

— С какими знакомствами, Урсула! — встревоженная Эмилия сделала этот вопрос машинально, и лукавая мамка, видя, что хитрость ее удалась, продолжала смелее.

— Как же, графиня! я уж не говорю о вчерашней вдовушке, куда он поскакал сломя голову: это шалость; а то, видите ли? он вчера был на бале в игорном доме, а потом целую ночь развозил по Парижу бог знает каких потаскушек. Извощик сказывал, что он всю дорогу слышал в карете шутки да хохот, ну мудрено ли, что после этого воротился домой с пустым кошельком!..

Эмилия побледнела. Сердце ее защемило, она не знала, что говорить, руки ее дрожали, она едва могла одеваться. Бедная графиня не понимала, что происходит с нею.

В это время послышался на дворе лошадиный топот и стук колес. Урсула выглянула в окошко и увидела въехавший на двор прекрасный кабриолет, запряженный парою лошадей. Муж ее разговаривал с красивым и щеголевато одетым жокеем. Словоохотная мамка передала в комнату все эти подробности.

— Кого ему надобно? — продолжала она сама с собою.— Глинского? муж показывает ему комнаты нашего постояльца... у него записка... посмотрите, как он ловко вертит ею... чей это экипаж, любезный друг? — вскричала она в окошко.

Голос со двора отвечал ей: «Графини Гогормо, у которой вчера M. Glinsky был на бале».

— Графиня Гогормо... графиня Гогормо... — повторяла Урсула,— вот тебе раз! что это за графиня Гогормо? я знаю все фамилии, я жена придверника в знатном доме, а такой не слыхивала! пойду посмотреть и расспросить, что это за графиня...— с сими словами она побежала вниз.

Эмилия была в ужасном положении; без самосознания в своей любви, она уже любила Глинского; она

выпила весь яд этой страсти под именем дружбы и теперь чувствовала все муки оскорбленного и растерзанного сердца. Гнев, обиженная гордость, даже ревность волновала ее душу.

— И я почтила дружбою человека с такими низкими наклонностями,— думала она...— В эти лета, с такою наружностью так презренно вести себя!.. нет, он не стоит дружбы... не хочу, не могу быть его другом!..

Глинский давно уже был у старой маркизы, которая велела попросить его к себе, лишь только встала. Она рассказала ему, как вчера они обеспокоились, когда его не было за полночь. «Мы не знали, что думать,— говорила она ласково,— все театры в это время уже заперты... прогулки нигде так поздно не продолжаются, а мы знали, что вы уехали в карете с вашим товарищем и, стало быть, куда-нибудь в новое место, иначе собственное ваше намерение было бы нам известно. Успокойте меня, Глинский, не случилось ли с вами чего-нибудь необыкновенного. Мне сегодня рассказали, что вы приехали в пять часов утра и прибавляли еще кой-какие подробности»,— сказала она, улыбаясь.

Глинский рассказал о вчерашнем бале со всеми обстоятельствами, о впечатлении, какое на него он сделал; объяснил ей, почему он ездил по Парижу до 5 часов; наконец, каким образом его сопутницы дали ему ясное понятие об этом бале.

Маркиза смеялась описанию, тем более, что негодующий Глинский говорил с жаром и живо представлял свои ощущения; она с участием сказала ему:

— Извините, Глинский, что я по материнским чувствам напомню о вашем обещании: сказывать о новых знакомствах. Не потому хочу этого, чтобы вмешиваться в ваши дела или лишать удовольствия,— но чтоб избавить от подобных неприятностей. Вы вчера были в игорном доме, который содержат вопреки запрещениям правительства и где собирают игроков под видом бала. Теперь судите, каково должно быть общество и каковы те, которые служат приманкою для корыстолюбивых и презренных видов этих чудовищ, занимающих чужое имя, чужой дом, деньги, до последней нитки, чтобы с этого поль-

зоваться барышами на счет кармана и нравственности неопытных иностранцев.

Приход слуги прервал маркизу. Он принес Глинскому записку от вчерашней графини. Глинский извинился перед маркизою и прочел следующее:

«Милостивый государь!

Вчерашний день у меня было слишком много людей и я не могла в полной мере воспользоваться любезностью вашего обращения. Сегодня я одна дома. Посылаю кабриолет в надежде, что Вы исполните обещание Ваше и будете к завтраку, после которого, как мы говорили, поедем прокатиться по городу. От Вас будет зависеть воспользоваться всеми удовольствиями, какие может предложить,

преданная Вам Г. Гогормо».

Стыд покрыл ярким румянцем щеки Глинского. Он сообразил, он ясно видел, какую роль назначала ему эта женщина. Молча подал он записку маркизе.

Она прочитала. «Вы видите сами,— сказала она,— что это за люди. Я не имею надобности прибавлять вам ничего,— продолжала она, подав ему руку,— я вижу ваше благородное негодование. Теперь извините меня, что я пойду одеться к завтраку. Я поспешила видеть вас, потому что не хотела говорить об этих вещах при многих».— Сказав это, она ушла.

Глинский остался, держа в руках записку; он смотрел на нее, рассуждая о случившемся. В эту минуту отворилась дверь и показалась Эмилия. Она не ожидала найти Глинского. Смертельная бледность покрыла ее лицо; первое движение было уйти, но Глинский увидел ее и сделал шаг — она остановилась.

— Графиня!— воскликнул Глинский в замешательстве, видя ее перемену и пораженный необыкновенной холодностью встречи, и остановился на месте, когда графиня повелительно сделала ему знак рукою.

— Вы чудовище, Глинский,— сказала она.— Я не думала, чтоб в ваши лета можно так хорошо носить маску. Я ненавижу вас... стыжусь, что предложила вам дружбу... я не увижу вас более... вот мои последние слова!..

Она хотела идти, но Глинский, как громом пораженный, остановив ее, насилу мог выговорить:

— Выслушайте, графиня! и не осуждайте меня так жестоко.

— Что вы хотите сказать, когда свидетель вашего срама в руках ваших?

— В доказательство чистосердечия отдаю вам эту записку; но прежде выслушайте!..

Он хотел продолжать. Эмилия снова сделала знак рукою; пробежала быстро написанное; щеки ее запылали, глаза наполнились; она кинула записку, не могла выговорить ни слова и выбежала из комнаты, хлопнув дверью перед самым Глинским, который бросился за нею. Он всплеснул руками, закрыл глаза и прислонился в отчаянии к дверям. Мрак во всех чувствах; лихорадочная дрожь и холод по членам сковывали его. Не понимая, что с ним случилось, долго оставался он в этом положении, наконец, с растерзанным сердцем, с воображением, полным несправедливостию Эмилии, он пошел медленными шагами домой.

Там встретил его слуга графини Гогормо, ждавший ответа. «Что прикажете сказать графине?» — спросил он. Глинский опомнился: «Скажи твоей графине,— начал он вспыльчиво, но потом умеря свое движение,— скажи, что хочешь, я отвечать не буду»,— сказал он. Слуга посмотрел на него изумленными глазами, улыбнулся, поклонился и исчез.

Между тем, на дворе около кабриолета собралась дворня. Одни хвалили экипаж, другие критиковали упряжь, третьим нравились лошади. Изо всех окошек высовывались лица с вопросами, что за коляска и зачем приехала. Услужливая Урсула успела расспросить и разведать о графине Гогормо во всех этажах дома и, стоя посреди двора, рассказывала и рассуждала о графском достоинстве Гогормо. Когда жокей вышел от Глинского, допросы ему посыпались со всех сторон.

— Не из Гаскона ли твоя госпожа? — спросила Урсула.

— Чистая парижанка,— отвечал жокей.

— Так, верно, граф оттуда? — сказал придверник.

— И граф был здешний.

— А где поместья графини, где ее замок? — спросил кучер старого маркиза.

— На зеленом поле, между меховыми горами, построен из карт,— сказала Урсула. Хохот раздался кругом коляски и повторился по всем окошкам, «ай да графиня!» кричали со всех сторон. Рассерженный жокей вскочил в кабриолет, погрозил бичом и поехал. В эту самую минуту Глинский вышел из дверей и, слыша хохот и шутки вдогонку жокея насчет Гогормо, с зардевшимися щеками прошел через двор под ворота. Здесь ожидала его новая пытка: Урсула, отдавая кошелек, начала обещанные наставления — и пять франков едва избавили его от усердия и советов старой сплетницы.

Куда же шел Глинский?.. куда глаза глядят, как говорит поговорка. Ему было душно в комнате, крыша этого дома давила его всею тяжестью; долго он бежал по улице не зная сам куда, останавливался, ускорял шаги, толкал, и его толкали; он не замечал ни того, ни другого.

Из этого положения пробудило его восклицание Шабаня: «Morbleu! voilà une figure renversée![1] Глинский! что с тобою сделалось? ты, верно, болен?..» — спросил он с участием.

— Ах, Шабань, как рад, что встретил тебя; сделай милость, пойдем со мною, я расскажу все свои несчастия.

— Несчастье? что это значит? пойдем. Я было обещал кузине де Фонсек ехать с нею верхом. Mais que m'importe[2], мы успеем с нею увидеться. Итак, чем таскаться по улицам, пойдем aux «mille colonnes[3]». Мы теперь близко Пале-Рояля. Я утешусь за завтраком, что не поехал с Клодиною, а ты — все же лучше горевать на сытый желудок. La bonne chère avant tout, mon ami[4].

— Мне везде равно, лишь бы не дома,— отвечал Глинский. Молча шли они до Пале-Рояля, и хотя Шабань заговаривал, но, видя, что сопутник не отвечает, и заключая по расстроенному его виду о состоянии душевном, он перестал спрашивать, принял свой беспечный вид, начал свистать; однако добрая душа его была тронута. Он, не замечая, насвистывал похорон-

---

[1] Черт возьми! Что за кислая физиономия! *(фр.)*
[2] Но неважно *(фр.)*.
[3] в «дом с колоннадой» *(фр.)*.
[4] Добрая еда — прежде всего, мой друг *(фр.)*.

ный марш Людовика XVI. Когда они пришли в кофейный дом, Шабань велел подать завтрак, бутылку шампанского и, выбрав незанятый столик поближе к углу, уселся с Глинским.

Огромная зала, убранная великолепными зеркалами во всю стену, поставленными между мраморных колонн, давших имя дому, беспрерывно была наполнена людьми разного звания, приходившими пить кофе, шоколад, завтракать. Против дверей на возвышении и на троне, купленном от Вестфальского короля, сидела прелестная женщина лет двадцати осьми, принимала плату и распоряжалась прислугой. Красота этой женщины, прозванной la belle limonadière[1], привлекала множество посетителей. За завтраком, пока Шабань с горя убирал котлеты и запивал шампанским, Глинский рассказал ему вчерашние приключения, историю извощика и, наконец, записку графини Гогормо. Он не упомянул, однако, ни слова о том, что произошло между ним и графиней Эмилией.

— Так что же во всей этой истории может тебя беспокоить? Я не думаю, чтобы одна твоя совесть мучила тебя за то, что ты побывал в игорном доме; я бывал в двадцати и не чувствую никакого упрека.

— В этом случае не совесть упрекает меня, но мне стыдно, что весь дом знает происшествие и как я всем не могу рассказать того, как маркизе или тебе, то меня беспокоит эта гласность; впрочем, все это не заслуживает внимания, но вот что поразило меня, Шабань. Графиня Эмилия сделала мне такой выговор, что нельзя более показаться ей на глаза.

— Что же она сказала?..

Глинский было остановился; какое-то чувство деликатности запрещало ему сказать все, что говорила графиня, но одна минута соображения поставила его на дорогу, он отвечал:

— Не помню слов — но смысл был таков, что она не намерена более меня видеть.

Шабань задумался.

— Вот это другое дело,— сказал он,— эта добродетельная женщина скажет и сделает. Теперь понимаю, отчего ты, бедняжка, расстроен. Ты неосторожно последовал моему совету и, вместо того, чтоб с нею

[1] прекрасная лимонадница *(фр.)*.

только быть любезным, ты влюбился, не красней, друг мой!.. я сам влюблен и parbleu[1] мне стыднее в этом признаться, тем более что это в четвертый или пятый раз! Да, Глинский, я боюсь сам выговора этой женщины более, нежели ареста нашего conseil de discipline. Mais que le diable emporte[2] все эти неснисходительные добродетели: она не хочет допустить ни одной слабости ни сердцу, ни уму, ни воображению... называет все это романическими бреднями, а и не замечает, что эта строгость, с которою она требует совершенной чистоты слов и поступков, также чувство романическое, то есть похожее больше на сказку, нежели на правду.

Шабань распространился еще более в своих выводах о характере графини, но это вовсе не утешало Глинского. Впрочем, Шабань, хотя и называл любовью четыре или пять волокитств своей жизни, но в сердце женском для него оставалось еще много тайного, а следственно, и святого. Несмотря на свою ветреность, возвышенность чувств и благородство души отличали его на каждом шагу от других молодых людей, на которых он старался походить, то есть желал казаться хуже, нежели он был в самом деле, и потому-то он принимал и понимал буквально выговор графини, не подозревая в нем ничего более, кроме строгости добродетельной женщины, оскорбленной неделикатностью человека, которого она почтила своею доверенностию и дружбою.

— Это тебе в наказание,— продолжал Шабань,— ты было отбил у меня ветреную кузину — но я объяснил ей, что ты влюблен в Эмилию, и Клодина перестала на тебя посматривать с той же нежностью, как бывало, даже... Ах, Глинский, я влюблен, как дурак!.. она со мною совсем не та, что прежде. Как Даламбертова мамка, узнавшая после сорока пяти лет своей с ним жизни, что он умен и тот самый, о ком говорит вся Европа,— так и кузина не понимала до сей поры, что можно любить человека, с которым знакомы от детства. Но полно грустить, Глинский! теперь маркиза, верно, рассказала Эмилии твои похождения и она, конечно, сама жалеет о излишней строгости.

---

[1] черт возьми *(фр.)*.
[2] дисциплинарный совет. Но черт бы побрал *(фр.)*.

Пей шампанское и утешься, а я пойду рассчитаться avec la belle limonadière[1].— Сказав это, он отправился к красавице, которая, сидя на своем троне и принимая в лайковых перчатках двумя пальчиками деньги, улыбалась толпившимся у ног ее поклонникам и вздыхателям.

Глинский выпил бокал шампанского и как внимание его было не занято, он услышал сзади себя разговор двух французов, из коих один всячески бранил русских, а другой старался умерить горячность своего собеседника. Глинский обернулся, и глаза его встретились с глазами вчерашнего усатого мужчины с крестом Почетного легиона, который с видимою досадою продолжал свою брань. «Эти русские варвары,— говорил он,— думают, что они здесь победители во всех отношениях!.. но как смешны они!.. эта гвардия, вместо того, чтоб быть наградою ветеранам, напичкана мальчиками, которые со своим муравьиным станом более похожи на воспитанников, нежели на воинов. Несмотря на то, что император Александр позволил им здесь докончить курс воспитания, они не умеют еще вести себя как должно с порядочными людьми».

Глинский был во фраке и думал, что усатый человек не узнал его, он встал и, подошед к нему, сказал:

— Милостивый государь, я не знаю ваших причин, по которым вы говорите так дурно о русской гвардии, и не хочу знать их; но я должен объявить, что я русский и, следственно, продолжение вашего разговора в этом тоне будет не у места.

Усатый человек узнал и прежде Глинского, но, мстя ему за вчерашнее предпочтение, а может быть, и за сегодняшний отказ графине Гогормо, он продолжал говорить по-прежнему, не обращая внимания на слова Глинского.

Глинский во всякое другое время вспыхнул бы, но сильная грусть придала ему хладнокровия; он подступил ближе к человеку с большими бакенбардами и сказал твердым и спокойным голосом:

— Вы ошибаетесь, государь мой, говоря, что мы не умеем обращаться с порядочными людьми; чтоб

---

[1] с прекрасной лимонадницей *(фр.)*.

доказать вам, что мое воспитание кончено и я могу дать урок в учтивости самому французу, позвольте мне спросить ваше имя?

Кавалер Почетного легиона надел шляпу, протянулся на стуле, сложил руки на груди и засвистал «Vive Henri IV»! Эта ария означала, что он роялист; она служила как будто масонским знаком для всех эмигрантов.

— Впрочем, это для меня все равно,— продолжал Глинский,— если вы не сами надели на себя этот крест, то, конечно, он ручается за ваше имя, и если все, что вы говорили насчет русских, клонилось к тому, чтоб затронуть меня,— я к вашим услугам и требую удовлетворения.

Усач продолжал насвистывать, глядя насмешливо в глаза Глинскому.

— В таком случае ты подлец и негодяй,— сказал Глинский.

— Sacré tonnerre![1] — заревел усач, вставая.— Я научу, как должно говорить с такими людьми, как я! не угодно ли сделать прогулку au pré aux cerfs?[2]

— Я требую этого,— отвечал Глинский, и когда Шабань, возвратясь, подошел, он обратился к нему.

— Любезный друг! — сказал он,— мы с этим господином хотим взаимно давать уроки вежливости — хочешь ли ты быть моим секундантом?

Шабань остолбенел. Он попеременно оглядывал обоих противников. «Что тебе сделали?.. за что вы хотите драться?» — сказал он в удивлении.

— Об этом после — теперь поедем.

— Но, может быть, тут есть какое-нибудь недоразумение.

— Слушай, Шабань, ты можешь быть моим учителем, как обращаться с женщинами,— но как защищать честь русских и собственную — извини меня, я сумею сам!

Шабань обнял Глинского.— Если так, рад, что могу служить тебе,— сказал он.— Какое же оружие?

— Шпаги,— сказал кавалер Почетного легиона.

— Пистолеты,— возразил Глинский.

— Я худо стреляю.

---

[1] Гром и молния! *(фр.)*

[2] в олений луг *(фр.)*.

— Мы будем стреляться на два шага.

В это время несколько русских офицеров, тут случившихся, подошли, услышав крупный разговор; один из них вызвался быть секундантом Глинского, но Шабань ни за что не хотел уступать этой чести. Глинский попросил только офицера, чтоб он научил Шабаня, что должно делать. Французы в это время еще не привыкли к поединкам на пистолетах и предпочитали шпаги, но русские в бытность в Париже кончали все ссоры пулями и тем отучали многих сварливцев и охотников до дуэлей, заводивших сначала беспрестанные ссоры. Француз, разговаривавший с противником Глинского, согласился быть его секундантом и вступил в переговоры с Шабанем, который, хотя и против себя, но требовал по желанию доверителя самой строгой дуэли. Постановлено стреляться чрез общий барьер, от которого противники могли расходиться на 10 шагов. Это очень не нравилось человеку с усами, но надобно было покориться необходимости и убеждениям секунданта, который, по-видимому, был офицер и, негодуя на нерешительность своего героя, с досадою заставил его принять условие сделанного ими договора.

В четверть часа было все кончено, чрез другую четверть явился мальчик, посланный Глинским домой с запискою к слуге за ящиком с пистолетами, и две кареты покатились к заставе de l'étoile.

Дорогою Глинский рассказал Шабаню происшествие и этот, пораженный холодностью рассказа и тоном голоса молодого человека, невольно спросил: «Ты хочешь быть убит, Глинский?»

— Может быть.

Это было последнее слово, сказанное в карете.

Все дуэли похожи одна на другую. Когда приехали на место, секунданты отмерили от общего барьера, для которого была воткнута в землю сабля, по 10 шагов в обе стороны, поставили противников друг против друга, дали им в руки пистолеты и сказали: «Начинайте!» В это время Глинский, сделав шаг вперед, остановился и сказал своему противнику: «У вас выкатилась пуля из вашего пистолета». В самом деле, пуля лежала у ног его; секунданты взяли пистолет, чтоб снова зарядить — и это ли обстоятельство, которого никто не заметил и которое доказывало благо-

родство Глинского, или мысль о том, какой опасности подвергался кавалер Почетного легиона, стреляя пустым порохом и подставляя грудь под пулю на верную смерть — или оба эти ощущения вместе, только они видимо поколебали храбрость француза. Он побледнел, переступал с ноги на ногу и пока длилось освидетельствование пистолета, не высыпался ли вместе с пулею и порох, разряженье и новый заряд — лицо его во все продолжение времени быстро изменяло внутренним чувствованиям. Правда, что нет ничего мучительнее, как долгие приготовления к казни. Наконец, пистолеты снова в руках противников, и со словом «начинайте!» Глинский поднял пистолет, прямо подошел к барьеру, но француз, целясь на каждом полшаге, выстрелил не более как в двух шагах от своего места. Глинский пошатнулся и схватил себя за левую руку. «Это ничего,— сказал он,— теперь пожалуйте ко мне поближе, г. кавалер Почетного легиона», но г. кавалер не в состоянии был этого сделать: мысль о том, что жизнь его теперь совершенно зависела от Глинского, отняла у него последние силы. Колени затряслись, пистолет выпал из руки, и он почти повалился на руки секундантов, подбежавших поддержать его.

— Это не дуэль... это убийство! — бормотал он несколько раз едва внятным голосом.

Глинский опустил пистолет.

— Я знал это наперед, милостивые государи,— сказал он,— истинно храбрый человек никогда не бывает дерзок. Теперь ему довольно этого наказания; но в другой раз я употреблю оружие, которое наведет менее страха, но сделает больше пользы.

Можно сказать, что противник Глинского остался на месте; он не мог встать на ноги с дерна, куда его бросили секунданты, и никто его не хотел взять с собою в карету. Рана Глинского была бездельная: пуля задела неглубоко мякоть руки выше локтя; он завязал рану платком, не допустив никаких других пособий, и так все отправились в город. Шабань был вне себя от восторга; эта дуэль ему казалась plus ultra[1] храбрости, хладнокровия и великодушия Глинского, которого он не уставал обнимать и осыпать компли-

---

[1] пределом *(лат.)*.

ментами; другой секундант расстался с ними, прося извинения у обоих, что он, по необходимости, должен был служить свидетелем трусу.

Как ни весел был Шабань и как ни уверял он Глинского, что нельзя печалиться, сделав такое славное дело, этот был пасмурен и никак не соглашался окончить день, как обыкновенно кончают его после удачного поединка, т. е. шампанским. «Мне не для чего радоваться,— говорил он Шабаню,— победа над трусом немного приносит чести, сверх того, я жалею, что это так случилось и дуэль кончилась иначе, нежели я желал!»

— Ты жалеешь, что его не убил?..

— Я и не имел этого намерения.

Как ни ветрен был Шабань, но такие мысли могли его расстраивать, он взглянул на Глинского, и при его нахмуренном виде, кивая головою, пробормотал: «как глупы влюбленные!..»

За этими словами последовал опять похоронный марш Людовика XVI, и молчание не прерывалось в карете до тех пор, пока они не въехали в улицу du Bac.

— Куда же мы поедем? — спросил Шабань.

— Завези меня к полковнику, чтоб известить о дуэли; надобно, чтоб император знал о ней прежде, нежели известие дойдет до него чрез парижскую полицию. Он не любит дуэлей, но если обстоятельства представлены ему верно, он смотрит на это сквозь пальцы; напротив того, бывали случаи, в которых оба противника наказывались за то только, что хотели утаить свое дело.

— C'est superbe! c'est magnifique![1] — вскричал Шабань и, оставив Глинского у дверей трактира, где жил его полковник, отправился к маркизе расправить язык, засохший от принуждения.

Глава V

Интересная Эмилия лежала на своей постеле и плакала. В первые минуты она судила только Глинского; но, когда слезы облегчили грудь ее, она суди-

---

[1] Это превосходно! это великолепно! *(фр.)*

ла уже и самую себя. Чем сильнее было первое движение, тем более теперь ясный ум ее показывал, сколько она преступила меры благоразумия. Добродетельная женщина ни к кому не может питать ненависти, а она выговорила это слово и чувствовала, что сказала неправду. Она видела, разбирая поведение Глинского, что оно не похвально, но никак не могла понять, отчего оно так показалось ей обидно и отчего она могла сама его обидеть столь неприличным ожесточением. Собственный ее поступок начал более занимать ее, нежели вина Глинского, но не менее того, всякий раз, когда она приводила эту вину в свое оправдание, невольное движение руки к сердцу показывало, с какою быстротою оно начинало биться. Таково действие неожиданных случаев в любви, они раздражают: они приводят в напряжение все силы нашего духа, и тогда рассудок молчит, оставляя страстям полную волю действия.

Горничные и няньки суетились около спальни графининой, но она не хотела ни на кого глядеть и не выходила к завтраку. Мало-помалу, однако же, она почувствовала надобность успокоиться и показаться матери, которая могла прийти к ней наведаться, что с ней случилось, застать ее в этом положении и тем самым поставить в необходимость рассказать все происшествие, о котором и мысль так была ужасна для Эмилии. Она встала, умыла свое прекрасное лицо; но все еще глаза ее были красны; чтобы освежить их, она ходила по комнате, отворила окно, воздерживалась, гляделась в зеркало, дышала на платок и прикладывала его к глазам, чтобы осушить простывшие слезы; но вероломное сердце против ее воли надрывало грудь, снова туманило глаза и отускняло зеркало вздохами.

Наконец, волнение чувств утихло; она решилась идти к маркизе и вошла в комнату вместе с Шабанем, только что приехавшим с поединка. Маркиза, обеспокоенная видом дочери, поспешила навстречу и с нежной заботливостию спрашивала, что с нею случилось. Эмилия успокоила мать насчет своего здоровья, сказав, что головная боль, не давшая ей спать ночью, теперь уже проходит и позволила ей выйти из своих комнат.

Успокоенная маркиза села и, полагая, что Эмилия ничего не знает о Глинском, рассказала ей все подробности бала, все ощущения, все замешательство молодого человека, который не знал почти сам, как попал туда. Графиня жадно слушала; несколько раз чувствовала желание заплакать; большая перемена видна была в ее чертах; чистая душа светилась из глаз, и все существо выражало какое-то внутреннее удовольствие.

Однако это было не надолго; новое облако задумчивости бросило тень на ее прекрасное лицо; ресницы опустились; сомнение видимо выразилось в милых чертах,— она позвонила, велела вышедшему слуге принести письменный прибор и на маленьком лоскутке бумаги написала сии слова: «Кто такая вдова Казаль? — Вы, конечно, поймете, для чего я спрашиваю?»

— Отнеси эту записку к г. Дюбуа,— сказала она, запечатав ее облаткою,— и попроси, чтоб он отвечал теперь же.

Повесливый Шабань нетерпеливо желал рассказать собственные похождения, но видя, что графиня слушала о бале, как о новости, тогда как за него разбранила Глинского, и замечая впечатления своей кузины, удерживался радостью, что друг его оправдан и восстановлен во мнении графини. Качаясь на стуле и думая, как бы мало поверила ему Эмилия, если б он вздумал сам оправдывать Глинского, он воображал, как она повторяла бы ему, что он повеса и стоит за все дурное — потом, видя перемену графини: «постой, милая кузина,— твердил он про себя,— я отплачу тебе за повесу и за его друга», и только маркиза кончила — он начал.

— A propos, ma tante![1] эта проклятая история бала на том не кончилась, что вы рассказали,— с этими словами он взглянул на Эмилию, которая, думая, что он хочет рассказать ее сцену с Глинским, не знала, что с нею делается в эту минуту.

— Что ж еще случилось?

— Безделица, ma tante! я сегодня поутру встретил на улице Глинского после того, как вы его видели; он был чрезвычайно мрачен и так расстроен, что почти

[1] Кстати, тетушка *(фр.)*.

не узнал меня и, хотя он сказал мне, что сожаление в причиненном вам беспокойстве и насмешки целого дома не позволяют ему более у вас оставаться, но это было не все, что скрывалось у него на душе; он был как сумасшедший. Это рассказал он, пока я завтракал aux mille colonnes, куда я завел его, чтоб расспросить — и, только что я отвернулся расплатиться, у Глинского была уже готовая дуэль.

— Дуэль? — вскрикнула маркиза. Эмилия подняла трепещущие ресницы.

— Да, ma tante, и именно с этим усатым человеком, которого видел Глинский у мадам Гогормо. Вероятно, их дела были заодно. Вчера он показывал Глинскому, что сердится за предпочтение, а сегодня за его отказ этой графине. Вот мы и поехали.

— И ты допустил Глинского?..

— Я бы охотно отвратил этот случай, но первое — что Глинский знаком с порохом более моего; второе, что дело шло об обиде русских, а в-третьих, он был в таком расположении, что охотно желал быть убитым — я это по всему мог видеть. К тому же я так рад был, что могу ему услужить и быть у него секундантом.

— Боже мой, Шабань! по твоим словам можно подумать, что ты бы рад был его смерти! — Что же далее?..

— Ах! ma tante! Если когда-нибудь мне даст бог дуэль, и я буду драться так же, как Глинский, — об этом будут говорить целый месяц в Париже.

Едва Шабань начал рассказывать, вошел в комнату Дюбуа, который, получив записку графини и узнав, что она в общих комнатах, счел за лучшее отвечать лично. Он ждал повторения вопроса графини, но как в сию минуту внимание ее было устремлено на происшествие важнейшее, то он, не прерывая рассказа Шабаня, сел и выслушал всю историю поединка. Маркиза восклицала; Эмилия едва воздерживалась, и когда Шабань кончил, когда Дюбуа расспросил все подробности этой повести, она обратила свои глаза на него, как бы ожидая ответа; он подошел к ней и, не полагая вопроса ее в ином смысле, как ему самому казалось, сказал вполголоса:

— Это очень порядочная женщина, вы можете быть уверены в ее усердии, потому что ее стараниями

нашему раненому уже гораздо легче. Сестра не может лучше ходить за своим братом. Нет ли у вас каких-нибудь видов на нее и Гравелля? — прибавил он, улыбаясь.

В один миг вся кровь, собравшаяся к сердцу графини от ожидания, бросилась ей в лицо: эти слова Дюбуа вдруг привели ей на память все, что говорил Глинский, и все, что она сделала ему от своей забывчивости. Никто, кроме добродетельного человека, не в состоянии так сильно испытывать чувство, которое рождается в его сердце после того, как он обидел напрасно невинного человека. Эмилия быстро встала, но едва имела сил держаться, так что внимательный Дюбуа должен был подать ей руку, чтобы проводить из комнаты. Верный и проницательный глаз его отгадал, что происходило в этом сердце. Вчерашняя холодность Эмилии, сегодняшнее расстройство, печальный Глинский, дуэль, вопрос о вдове Казаль и ответ, которого, как видел Дюбуа, графиня не ожидала, притом же мгновенная мысль о Урсуле и Мишо — все сцепление идей одна за другою развило ему ясно то, чего графиня не хотела, но желала бы прочесть в собственном сердце.

Графиня все еще молчала: на губах Дюбуа была горькая усмешка, которая показывала удовольствие, что он убедился в справедливости своей мысли и, вместе с тем, что убеждение в ней было неприятно.

— Итак, графиня,— начал он, проводив до ее комнат и откланиваясь,— итак, я вижу, что вы не забыли обещания мне первому сказать, если русский заставит вас поколебаться; вижу, что виноват сам, прервав неуместным ответом начало нашей откровенности.

В этих словах заключалось много горького, но они сказаны были с таким прискорбием, что графиня, чувствуя всю их справедливость, не заметила едкости упрека; этого, однако же, довольно было, чтоб испугать бедную Эмилию.

— Нет, Дюбуа, нет, этому быть невозможно. Вы видите то, чего я не хочу, не могу, чего даже я подозревать в себе не в состоянии.

Дюбуа молча поклонился и исчез.

Между тем Шабань торжествовал. Маркиза нетерпеливо хотела видеть Глинского, хотела обнять, бранить, хвалить его. Ее чувствования смешивались: за-

ботливость и энтузиазм, сродный француженкам, страх и удовольствие попеременно занимали ее мысли. Женщины боятся сражений и поединков, но любят отважных людей — одна из странных противоположностей женского характера! Как будто можно быть храбрым, не дравшись!

Слезы графини теперь смешивались с приятным ощущением, которое наполняло ее сердце оттого, что она могла оправдывать Глинского. Человек, которого мы обвиняли и который выходит чист из подозрения, является глазам вашим в большем блеске, нежели прежде, и даже в собственном мнении стоит выше нас, пока совесть наша не успокоится; притом же графиня понимала жестокость своего упрека, видела, до чего Глинский доведен был им, и живо чувствовала, чему подвергался. Сердце человеческое слабо: но чем выше его чувствования, тем более видит он свои слабости, тем охотнее признается в них и тем скорее желает их исправить... Эмилия готова была принести в жертву свое самолюбие, лишь бы примириться с Глинским, с самой собою, но не знала, что делать, с чего ей начать.

В этой нерешимости она подошла к окну и смотрела сквозь занавесь на открытые окошки Глинского. Он уже был дома и ходил в большом волнении по комнате. Эмилия видела, как образ его мелькал мимо того и другого окошка, видела также, что слуга суетился, сбирал и укладывал разные вещи. Сердце Эмилии затрепетало; она поняла, что это значит. В эту минуту все соображения, все препятствия, все выговоры Дюбуа были забыты — она бросилась к письменному столу и написала:

«Я виновата, Глинский, очень виновата! но не будьте строги к чувствованиям женщины, которая думала, что потеряла друга и что вы были причиной этой потери. Придете ли вы в сад сказать, что прощаете меня?..»

Няньке, с Габриелью шедшей в сад, велено было отдать записку.

— Дай Габриели, маменька,— кричала малютка, вырывая записку,— Габриель сама отдаст ему,— и записка была отдана ей.

Глинский никак не воображал, что такое подала ему Габриель и, когда нянька сказала, что это от гра-

фини, когда он увидел содержание милых строк, он не верил слуху, не верил глазам, допрашивал няньку, целовал Габриель и отправил их в сад, сказав, что идет за ними. Первое движение точно было броситься туда, но мысли были в таком беспорядке, сердце его так билось, колени дрожали, что он принужден был остановиться у дверей и дать хоть немного успокоиться чувствам. Он видел, как графиня показалась на аллее, как дочь ее подбежала, как Эмилия обнимала ее и отирала свои слезы. Маленькая Габриель скрылась; Эмилия пошла к мраморной скамейке; Глинский, не помня себя, побежал с крыльца и очутился перед нею.

— Глинский! — сказала в замешательстве графиня, протягивая к нему руку, и не могла более произнести ни слова; милое лицо ее покрыто было румянцем, на глазах плавали слезы. Глинский с жаром целовал поданную руку.— Сядьте, Глинский, сядьте, Вадим, я вам скажу... я расскажу вам...— говорила графиня и села на скамью; он сделал то же, но рука ее осталась в его руках; они говорили оба, говорили вдруг; слова графини прерывались слезами, Глинский переставал говорить для того только, чтоб целовать руку Эмилии, и он был так счастлив! — Наконец графиня заметила, что Глинский овладел ее рукою — тихонько отняла ее, но это было ненадолго, потому что в пылу разговора, где он оправдывался с силою истины и невинности, другая потупляла глаза, признаваясь в несправедливости обвинения, рука Эмилии опять являлась в руках Глинского залогом примирения, и новые пламенные поцелуи румянили нежные пальчики графини.

Наконец пылкость сердечных излияний миновалась и несвязность разговора получила спокойнейшее направление. «Как я обязан этому балу, графиня! — начал Глинский,— я бы никогда не был так счастлив, как теперь»,— говорил он, снова прижимая к губам ее руку.

— Перестанем говорить об этом,— отвечала она, отнимая руку в четвертый раз.

Глинский не выпускал добычи; глаза его умоляли графиню.

— Глинский! — сказала она, улыбаясь,— посмотрите, есть свидетель наших поступков!..

Он обернулся, следуя движению руки графининой: она показывала на мраморного купидона Кановы, который, стоя на подножии как живой против скамьи, лукаво грозил пальцем. Неожиданность мысли, что его подсмотрели, и искусство Кановы, вдохнувшего жизнь в этот кусок мрамора, живо подействовали на Глинского: он опустил руку Эмилии и смешался, как будто в самом деле какое-нибудь живое существо явилось пред его глазами.

Победа была на стороне графини, она в первый раз смелее взглянула на Глинского и с удовольствием видела, как его прекрасное лицо выразило сперва замешательство нечаянности, потом улыбку и за нею маленькую досаду на невинный ее обман.

— Вы волшебница, графиня; вы одним словом одушевили камень и окаменили меня. Я до сих пор не могу избавиться от мечты, так живо она подействовала,— говорил он, протирая левою, раненою рукою глаза, как бы желая изгнать впечатление преследовавшего образа.

— Кровь!.. кровь!..— закричала побледневшая Эмилия и вскочила со скамейки, увидев окровавленную руку Глинского.

В самом деле, завязанный кое-как около раны платок сдвинулся; кровь текла из-за рукава и капала с пальцев.

— Это ничего, графиня. Это царапина,— говорил он.

— Нет!.. нет,— восклицала она,— вы ранены, пойдемте наверх... к матушке... мы пошлем за доктором... а пока... Вы покажете нам!.. нет, Шабаню!.. нет, вы покажете Дюбуа, не опасна ли рана!.. он понимает это... Бога ради пойдемте.— Говоря это, графиня насильно почти вела Глинского из сада.

— Ах, графиня! — шептал он,— пусть кровь моя вытечет капля по капле, только не лишайте меня счастия, каким я наслаждался в эти полчаса! — графиня! если вы уходите сами — пустите меня!.. я не хочу теперь видеть людей... но куда вы меня ведете? — спросил он, видя, что Эмилия подвела его к стене дома.

— Я боюсь отпустить вас домой... после того, что вы говорите, вы не придете наверх; я поведу вас сама, поведу той дорогой, по которой хожу в сад.— Сказав это, она подошла к стене, тронула пружину у решет-

ки одного из низменных окон, и решетка с окном, повернувшись на петлях, открыла лестницу, ведущую вниз, они сошли по ней, и взорам Глинского открылся длинный коридор, шедший под всем домом. Он слабо освещался фонарем, висевшим посредине; по одну сторону между сводами сквозь решетки видны были бочки, другая сторона была забрана глухо.

Испуганная и озабоченная Эмилия только и думала о раненом. Сердце ее замирало при виде, даже при мысли о крови; она сошла вниз, забыла затворить решетку, и едва они оба ступили несколько шагов, как порыв ветра хлопнул сзади их окном, пробежал по коридору, закачал фонарем и погасил огонь — они остались в совершенной темноте.

Эмилия в первом движении вскрикнула. Глинский по первому же движению прижал ее к груди.— Чего вам бояться со мною?— сказал он. Она не отвечала, но, трепеща всем телом, легонько высвободилась из его объятий, взяла за руку и повела за собою.

В первый раз дыхание Глинского стеснилось новым для него образом; сердце билось, в нем было такое множество ощущений. Он слепо следовал за Эмилией — и ни один благодетельный камушек не запнул его, не заставил упасть к ногам Эмилии и сказать ей: *люблю,* и вырвать из ее трепещущей груди признание. Рука ее дрожала в руке Глинского, но Эмилия бежала от самой себя, боясь проговорить какое-нибудь слово, чтоб это признание не слетело с губ ее. Одним словом, они вышли из этого лабиринта на дневной свет рука с рукой, оба с бьющимися сердцами.

Эмилия вздохнула легче на чистом воздухе; Глинский вздохнул также... но вздох его был так тяжел!

Наверху уже собирались обедать; но появление Глинского сделало там суматоху и заставило дважды подавать простывавший суп; старая маркиза хлопотала и упрашивала слезящими глазами юношу, который никак не хотел, чтоб посылали за лекарем для его бездельной раны. Наконец он, попросив позволения, удалился в особую комнату и дал привратнику Базилю, служившему некогда в войнах Вандеи, перевязать себя. Маленькая де Фонсек беспрестанно закрывала рукою глаза, представляя в своем живом воображении, что Глинский уже умирает, и опять от-

крывала их с детским любопытством. Он снова так был интересен для нее в эту минуту.

Было поздно, когда встали из-за стола. Шабань не обедал дома: он ездил и рассказывал про дуэль; маркиза собиралась ехать ко двору; Клодина беспрестанно вертелась около Глинского, вздыхала, складывала свои ручонки, заботилась о его здоровье; большие черные глаза ее увлажались слезами, когда счастливый Глинский, порывами выходя из задумчивости, высказывал ей то, что бы ему хотелось говорить Эмилии. Графиня была молчалива, наблюдала и краснела, когда он с жаром говорил с Клодиной; тайное чувство сердца сказывало ей, что она сама была предметом его разговоров, но это же сердце замирало, когда она замечала, какими глазами Клодина смотрела на Глинского. Ей было жаль своей кузины! Хорошенькая де Фонсек, с своей стороны, была убеждена, что Глинский любит Эмилию; но не менее того впечатление настоящего, ласковость и веселость его увлекали ее. Она возвращалась мысленно к первым дням знакомства, и румянец выступал на щеках ее, когда встречала оживленные взоры Глинского или когда он в бешеной радости схватывал ее и вертелся с нею по комнате в вальсе.

Потрясение чувств, испытанное Эмилиею сегодня, неожиданность происшествий, за тем последовавших, заставили ее глубже заглянуть, что там происходит нечто новое. Она видела, что еще несколько минут в саду, еще одно мгновение в подземном коридоре привели бы Глинского к признанию и чувствовала по состоянию своего сердца в то время, что не в силах была бы сказать, что его ненавидит; но теперь, когда эти опасные минуты прошли, она припоминала все, что создала в своем воображении об обязанностях к самой себе, к дочери, к обществу и в отношении к Клодине. Эмилия задумывалась, глядя на нее — невольные вздохи вырывались, и все еще она не могла дать полного и ясного отчета в чувствах своих.

Глинский то был рассеян, то весел до безумия; он перебирал все случаи этого дня: иногда ему представлялось, так как это бывает всегда, когда пропущен случай, как он был близок к своему благополучию и как мало умел этим воспользоваться, и тогда уныние овладевало им: но утешаясь опять надеждою, что

чувства сердца не могут быть так же переходчивы, как случаи, он видел в каждой будущей минуте исполнение своих желаний и место задумчивости заступала болтливость, резвость, даже какая-то отчаянная веселость. Такое положение, такое волнение чувств наконец произвело волнение крови, стеснило ему грудь, он стал в отворенных дверях балкона подышать чистым воздухом.

Эмилия и Клодина сидели, не говоря ни слова; наконец первая, воспользовавшись тем, что Глинский не мог слышать их, спросила с беспокойством свою кузину:

— Милая Клодина! ты любишь Глинского?..

Клодина вспыхнула и потупила глаза. Она давно уже не говорила ничего о Глинском по двум причинам, первое потому, что ей известна была склонность его, второе, что он реже ей приходил на память с тех пор, как она перестала считать Шабаня братом. Маленькое сердце ее уже понимало, что она питала к нему более, нежели сестринскую любовь и, хотя она никогда не скрывалась от Эмилии, но совестилась сказать ей о быстрой перемене своих чувствований. Теперешний вопрос графини пробудил ее от настоящего забвения: она почувствовала, как много отдалось влияния минутного впечатления, и потому вопрос показался ей упреком. Она не знала, что отвечать.

— Ты очень его любишь? — повторила Эмилия.

Клодина бросилась к ней на шею.— Я виновата пред тобою, Эмилия,— сказала она вполголоса и запинаясь...— Довольно! Довольно! — прервала графиня,— не говори мне более!..— Она произнесла эти слова в большом волнении, думая также, что в словах Клодины заключается тайный упрек за ее расположение к Глинскому; стыд, что Клодина понимает ее чувствования, а может быть, считает соперницею, вогнал в лицо краску, и в этом положении Глинский застал обеих сестер.

Де Фонсек, возвращенная самой себе, вспомнила, что Шабань долго не едет; она вставала, смотрела на часы, трогала репетицию; потом оставила совершенно графиню с Глинским и ушла в другую комнату бренчать аккордами на фортепиано.

Глинский, который думал, что такая минута будет для него благополучием, теперь трепетал духом и телом. Роковое слово вертелось в мыслях, но язык отказывался служить ему; как мог он выговорить это слово? с какой стати сказать?.. счастливые обстоятельства прошли, а первая любовь так боязлива! Он начинал говорить, не оканчивал речи — останавливался, думая слушать графиню; у него только звенело в ушах, а она не говорила ничего, почти ничего; нельзя было начать и привести разговора к тому, чего желал Глинский. Его положение было тягостное, графиня не подымала глаз с своего рукоделия.

Несколько минут продолжалось совершенное молчание. Только было слышно тяжелое дыхание Глинского и стежки иголки Эмилии. Наконец, он начал дрожащим голосом:

— Графиня! в жизни нашей бывают такие минуты, которые мы переживаем целые годы; есть такие шаги, которыми переступаем ужаснейшие пространства; есть магические слова, которые делают счастливейшими людьми самых несчастных...

Иголка выпала из рук графини — в эту минуту послышался шум; раздался голос Шабаня; он вошел, напевая какую-то арию — Глинский в большом волнении духа остановился на средине приготовленной им речи.

— Ah! vous êtez en tête à tête! Pardon! Que je ne vous dérange pas[1], — вскричал ветреный Шабань, — я только приехал сказать вам bon soir, ma cousine[2]. Это сделалось для меня необходимостью. Bon soir, Glincky[3], — сказал он, подавая руки обоим, — но где же сестрица Клодина?.. я сейчас из театра.. Ah! ma cousine![4] что за новый водевиль!.. хотите ли, я спою куплет, который я удержал в памяти... — и не дожидая ответа, запел чистым и приятным тенором:

Malgré nous, un destin tutélaire,
Tu le vois, nous protége en secret.
Par dépit, tu t'éloignais ma chère,
D'un amant que ton coeur aimait,

---

[1] Ах! вы наедине! Простите! Я не хочу вам мешать *(фр.)*.
[2] добрый вечер, кузина *(фр.)*.
[3] Добрый вечер, Глинский *(фр.)*.
[4] Ах, кузина *(фр.)*.

Notre folie à tous est pareille...
la, la, la, la...[1]

Здесь он остановился — потирал лоб, запевал снова la, la, la, la; потом, топнув ногою, сказал: — Проклятая память!.. а я все время его напевал дорогой! — и, не замечая смущения графини, он встретил вошедшую де Фонсек, хлопая хлыстом по сапогу; играл лорнетом; смеялся выговорам Клодины, целуя ее руку; рассказывал Глинскому, что его дуэль известна уже всему Парижу; после этого сел подле Эмилии, объявляя с восхищением, что он приглашен завтра на охоту за 10 миль от Парижа,— звал с собой Глинского; одним словом, он тормошил всех, шутил со всеми: не было никакой возможности продолжать важного разговора, но даже сохранить важный вид; беседа сделалась общею и вечер кончился приездом маркизы, которая, рассказав несколько придворных анекдотов, раскланялась со всеми.

— Графиня! — сказал заманчиво Глинский, прощаясь,— вы не сердитесь более на меня? — позвольте же возобновить нашу прежнюю доверенность: будете ли вы завтра в саду?

— Глинский! — отвечала она.— Бог свидетель, что я дорожу вашей дружбою, дружбой,— повторила она, ударяя на этом слове,— и потому хочу именно искренности и доверенности. Я буду в саду, но не забудьте, что там есть свидетель всех наших поступков,— прибавила она полушутливо и полусерьезно.

Это слово «дружба» сделалось теперь для Глинского совершенною насмешкою со стороны Эмилии: — И эта вздорная царапина!.. и этот купидон! — думал он, усмехаясь от досады,— все было против меня сегодня! даже мрамор смеялся моему несчастию!.. но я отплачу ему за испуг... он не будет более издеваться над моей неловкостью.

Почти всю ночь он вертелся на постеле; различные мысли теснили грудь и голову: то казалось ему, что он уже близок вершины своего счастия, и сколь-

---

[1] Ты видишь, что судьба-покровительница
Тайно защищает нас вопреки нам.
С досады ты уходила, моя дорогая,
От милого твоему сердцу возлюбленного.
Наше безумие похоже на всякое другое *(фр.)*.

ко он ни был неопытен, сердцу его сдавалось, что чувства графини дышали нежностию; — то вдруг слово *дружба*, ею произнесенное, убивало холодом цветок надежды, распускавшийся в его воображении. Ему представлялись все препятствия: решимость графини, образ ее мыслей насчет любви, приближающаяся пора выступления, отдаленность родины от Франции, народные предрассудки,— одним словом, все, что могло лишить его Эмилии. Потом надежда снова светлелась блистающей звездою и, по мере того, как эта звезда всходила пред его глазами, свет ее увеличивался и она прогоняла мрачные призраки, порожденные сомнением.

Завтрашний день решит, жить ли мне в мире с Эмилией или умереть без ее любви, думал он; сердце мое так полно, что я выскажу ей все. Завтра я не испугаюсь тебя, злой купидон; я найду средство не видеть твоей лукавой усмешки и не бояться твоего пальчика — он заснул в веселом расположении духа — и в веселом расположении встал утром, с твердою решимостию действовать по тому плану, который составило пылкое и красноречивое его воображение.

Эмилия пришла к себе домой, разделась и в легком спальном платье отправилась, по обыкновению, в ванну, помещенную подле ее спальни. Она в рассеянии села на табурет, спустила с плеч свое платье и осталась в задумчивости размышлять о всем, что случилось с нею сегодня. Одна ее нога поставлена была на край ванны, врезанной ровно с полом, другая, спущенная вниз, легонько бороздила воду; левая рука ее придерживала на груди единственный покров; правая, облокоченная на колено, подпирала голову; казалось, будто Эмилия пристально рассматривала что-то в воде и забыла, для чего она пришла сюда. Сзади ее стояло большое трюмо, освещенное двумя канделябрами; против ванны пылающий камин разливал приятную теплоту и яркий свет по всей комнате. Прекрасная Эмилия была освещена со всех сторон; распущенные волосы проливались густыми волнами между тоненьких пальцев руки, скатывались на обнаженные плечи и ревниво закрывали лицо графини, шею и грудь, которая подымалась и опускалась, как лебедь на волнах. Зеркало сзади повторяло этот милый образ в другом виде: прозрачная батистовая

рубашка, проникнутая со всех сторон волнами света, изменяла каждому изгибу, всем обводам черты, обрисовавшей живописные формы рук и стана графини; в ванне отражалось задумчивое лицо и темные, как вечернее небо с вечернею росою — глаза.

Ни поэт, ни живописец не умели бы сказать, которая из этих картин очаровательнее; тот и другой, конечно бы, списали эти три картины вместе!

Но что же думала она?.. перед нею вполне открылось все ее положение. Ей теперь нельзя было сомневаться ни в своих чувствах, ни в любви Глинского. Но собственные ощущения были для нее так удивительны, что она никак не понимала, отчего с нею сделался такой быстрый переход от прежнего спокойного положения к тому волнению душевному и сердечному, которое теперь ощущала. «Неужели это,— думала она,— происходит оттого, что я увидела привязанность Глинского в ином виде, нежели представляла: может быть, это для меня неприятно? — нет,— говорила она со вздохом, перебирая происшествия,— нет, я чувствую, что люблю его; чувствую, отчего мне так больно было слышать клевету и так приятно примирение!..»

Эмилия, думая это, играла своим обручальным кольцом, любовалась им; примеривала с левой на правую руку — вдруг оно выпало, скатилось по ноге и кануло в воду; струи взволнованной жидкости блеснули от света канделябров, и отраженный блеск заиграл зайчиками по потолку, сбежал змейкой по стене и вылетел молнией сквозь занавеси окошка.

Это испугало Эмилию, как будто она верила предзнаменованиям и как будто падение кольца что-нибудь предвещало. Она опомнилась от своего рассеяния: горничная, ее ожидавшая, спала в углу на стуле, свечка, поставленная на полу, догорела, вода была холодна!.. Эмилия ушла в свою спальню и бросилась на постель.

Здесь ей представилась другая сторона предмета: все, что говорила прежде Клодине о ее любви, пришло ей на память. Глинский был также чужестранец и теперь, каким был тогда; она осуждала Клодину за неуместную склонность, осуждала с жаром каждого, чье сердце не повинуется рассудку, и теперь была сама виновата в том же. В сегодняшнем ответе Клоди-

ны видела она ее любовь и справедливый упрек себе, потому что сама дала ей повод и надежду, она, которая называла хитрою любовь и порывы сердечных чувствований слабостью, она как будто нарочно пробудила ожидания юной Клодины, чтобы перехватить самой все ее надежды.

С другой стороны, мнение целого Парижа о любви графининой к покойному мужу, о ее намерении остаться навсегда вдовою было так утверждено; она сама с такою искренностью объявила об этом отцу, матери, родным и знакомым; даже при дворе, составленном теперь большею частию из ее родных и коротких людей, это столько считали верным, что она трепетала при одной мысли, какого бы шуму наделала новая любовь, если бы она имела слабость отдаться ей,— а это могло случиться, потому что Клодина, Шабань, сам Дюбуа и даже маркиза, одним словом, все, что ее окружало, подозревали ее и каждый посвоему выразил о том свое мнение. Но она никого столько не боялась, как Шабаня, который по ветрености готов был распустить об этом слухи, и никого ей так не было стыдно, как Дюбуа, кому она столько раз ручалась за свои чувства.

Все ужасы ее положения явились тогда пред глазами; она скрыла горящее лицо в подушку и старалась отыскать в самой себе столько спокойствия и силы рассудка, чтобы воспротивиться своему сердцу.

— Принуждение недолго,— думала она,— еще неделя, может быть, две, а там!.. Предвижу, какая сцена ожидает меня завтра в саду, но я предупрежу ее; скажу ему, чтоб он был тверд, подобно мне, скажу все, что велит благоразумие!..— Я люблю, но не покажу этого, и мое хладнокровие остановит его. Сегодня я была робка, потому что не знала, что со мной случится; завтра буду смелее, предвидя бурю!..

Так рассуждала Эмилия, так ободряла себя, старалась казаться самой себе твердою — пересчитывала, что ей завтра надобно будет говорить и улыбалась в обольщении самодовольствия, воображая, какие сильные доводы представит, какие убеждения употребит, чтобы возвратить Глинскому власть над самим собою; наконец, она составила целую речь, которая, казалось, должна была привести ее прямо к предполагаемой цели.

Глинский с раннего утра гулял по саду; вид его был веселый; можно было приметить на лице, что надежды льстили его воображению. Он ходил неровными шагами, улыбался, смотрел рассеянно перед собою и всякий раз, когда проходил мимо мраморного Купидона, с усмешкою грозил ему, приговаривая: «Теперь я не боюсь тебя!» Он ожидал долго: терпение его было подвержено большому испытанию; он целую ночь боялся, что придет в сад, теперь думал, что графиня опаздывает; наконец она показалась; он бросился к ней навстречу.

Казалось, что желаемая для обоих минута наступила; оба приготовились встретить друг друга, но надобно было видеть, что сделалось с ними: все приготовления были забыты: Эмилия остановилась, отвечала с замешательством на робкий поклон Глинского, потом пошла, потупя глаза; он боязливо следовал за нею; оба молча подошли к мраморной скамейке, сели; Глинский начал первый:

— Вы требовали от меня вчера, графиня, совершенной откровенности и потому я должен сказать вам, что у меня на сердце.

Бледная Эмилия трепетала как лист.

— Постойте, Глинский,— прервала она,— ради бога, постойте... я запрещаю вам говорить, пока не скажу того, что мне надобно сказать вам...

— Но, графиня, вы не знаете, как это мучит меня, как это раздирает мое сердце... я лю...

Испуганная Эмилия закрыла своею рукою губы Глинского.

— Нет, Глинский, нет!.. мне очередь говорить,— лепетала она дрожащим голосом.

Глинский вместо ответа овладел рукою, и как она ни силилась отнять, как ни повторяла, что рассердится — он не выпускал ее — «вы забыли, что за нами присматривают»,— сказала Эмилия и с сими словами, взглянув на статую, вскрикнула в ужасе! — Купидон стоял перед нею с завязанными глазами и спутанной рукою! — Глинский недаром приговаривал, что теперь его не боится.

Эта неожиданность так поразила Эмилию, она так испугалась повязки, как будто с глазами и пальцем Купидона лишилась покровительства! Она потерялась, не знала, что делать; закрывала, как дитя, ру-

кою ту руку, которую Глинский осыпал поцелуями, и теперь обе были в его власти, а у нее не было силы отнять их. Такие минуты жгут, взрывают человека; юноша схватил трепещущую Эмилию, сжал ее в своих объятиях с такою силою, что из ее груди только мог вырваться невольный стон, и тот был задушен бешеным поцелуем. Глинский упал на колени — Эмилия, люблю тебя,— повторял он...

Но первое действие свободы Эмилии было убежать: только на это достало ее присутствия духа. Она чувствовала себя не в силах бороться с своим сердцем и страстью Глинского; она не думала, что слово *люблю* любимого человека может иметь такое действие над женщиною. Она бежала!

Беги, Эмилия! беги! одно средство для того, кто понадеялся на защиту вероломного Купидона!

Глинский долго оставался один с раздирающей досадой, с горьким отчаянием в сердце.

Глава VI

Слухи о выступлении русской гвардии подтвердились приказами по всем войскам и назначением очереди полков. Это известие пришло к Глинскому в самый день его несчастия: через три дня он должен был выступить. Все офицеры спешили воспользоваться последними минутами пребывания в Париже, один только Глинский не принимал участия ни в общих веселостях, ни в приготовлениях. Казалось, он умер для всего, кроме тоски: его положение было жестоко. Все надежды его рушились. Графиня, как говорили, была нездорова и не выходила из своей комнаты; Глинский два дня уже не видел ее, и эти два дня были для него веком. Старушка маркиза с удивлением замечала эту перемену, спрашивала, выпытывала и качала головою, когда он отзывался нездоровьем, впрочем, она наверное полагала, что разлука томит его, но никак не думала, что Эмилия страждет тою же болезнию. Она видела дружбу ее к Глинскому, даже казалось ей иногда, будто чувство нежнейшее обнаруживалось в обращении Эмилии с молодым человеком, и старушка втайне радовалась, что милая дочь ее может отступить от своего обета; притом же русский имел

столько блестящих качеств, имел независимое состояние и был в ее глазах такого знатного происхождения, но, не менее того, она знала твердую волю дочери, была уверена в неизменности ее правил, слышала беспрестанное повторение того же и горевала, что скорое отправление разрушает надежды ее в исполнении приятной мечты о человеке, которого столько полюбила.

Мучения Глинского превосходили душевные силы. Эмилия оставила его без ответа: он не знал, чего надеяться, чего желать — и так как нет страдания пронзительнее неизвестности, ему казалось лучше, если б графиня решительно сказала, что его ненавидит; теперь же что мог он думать?.. Два дня колебался он, ожидая каждую минуту видеть графиню, и каждую минуту был обманут в надежде; оставался только один день, и Глинский решился написать к ней письмо. Оно было следующего содержания:

«Вы ненавидите! Вы презираете, вы не хотите меня видеть, графиня! довольно одного из сих оружий, чтоб убить, а вы поражаете всеми тремя — и за что? За то, что я люблю вас, что сказал это, что запечатлел это печатью священнейшею самой клятвы? Графиня! я сам себе нашел мученье в этом поступке: он жжет меня, он сушит мозг в костях моих — не удвоивайте же кары, скажите, что заслужил я от вас, ненависть или презренье? в обоих случаях буду уметь сам наказать себя, но не томите неизвестностью. Скажите, напишите, дайте знак: лишь бы я понял, что вы обо мне думаете. Вы не имеете надобности убегать моего присутствия, скажите ответ — и меня здесь не будет!»

Все молодые влюбленные люди думают, что они пишут очень красноречиво и убедительно; иначе они бы не писали. Неизвестно, что думал Глинский, но письмо его свидетельствовало более беспорядок его мыслей, нежели выражало то, чего хотел он.

— Скажи графине,— поручал он няньке Габриелиной, отдавая, однако же, самой малютке письмо,— что я послезавтра выступаю с полком и, теряя надежду видеть ее лично, осмеливаюсь послать мое прощанье в письме.

Бедный юноша! он рассчитывал на завтрашний день, но поутру этого дня получил приказание явить-

ся в полк. Выступление было ускорено целыми сутками, и в 11 часов утра Глинский оставлял стены Парижа, не получив никакого ответа, не зная ничего о своей участи.

В это печальное утро графинины окошки, против обыкновения отворяемые ранее других, в девять часов еще задернуты были розовою тафтою. Сердце Глинского сжималось при мысли, что Эмилия не выйдет к завтраку и он даже не увидит ее более! Все бремя обиженной любви легло на его сердце. Долго для него тянулось утро, наконец, ударило девять часов, и с последним ударом колокольчика явился к нему Шабань.

— Я хотел к тебе быть ранее,— сказал он,— но меня задержал проклятый портной и отнял, по крайней мере, час твоей беседы. Надобно последний день провести вместе.

— Торопись, любезный Шабань, мы получили повеление в 11 часов выступить с полком.

— Peste![1] — воскликнул Шабань, сделав два шага назад.— Почему же не завтра? — но знаешь ли, что этому быть невозможно: кузина Эмилия поручила мне сегодня звать тебя на чай к ней на половину. Она не может выходить, но желает с тобой проститься; мы все там — и Дюбуа тоже.

— Если графиня,— сказал Глинский с судорожной улыбкой,— не удостоит меня принять теперь или выйти к завтраку, то мне останется одно воспоминание о том, что называла она дружбою!

Изумленный Шабань подбежал к окну:

— Скажи пожалуй,— говорил он,— еще спит!.. неужели она не проснется к завтраку! Пожалуй, она и не узнает, что ты уехал!

— Она того и хочет! Но оставим это, друг мой, и поговорим о тебе. Мне надобно видеть счастливых людей, хотя я и завидую их счастию.

— Не меня ли ты хочешь назвать счастливым? Я самый несчастнейший человек в свете! я целые сутки ничего не ел с грусти и целую ночь не мог заснуть с тоски; а ты знаешь, как для меня важно то и другое. Эта негодная вертушка свернула мне голову, и я не узнаю сам себя. Вчера мы поссорились с нею за пустя-

---

[1] Черт возьми! *(фр.)*

ки и если не помиримся сегодня, я, верно, умру с голоду!

— В самом же деле ты несчастлив! — сказал Глинский с усмешкою, но видя, что Шабань, несмотря на свои шутки, едва не плакал, спросил его с участием: — Но за что же поссорились вы?..

— За что? — За то, что я имел глупость в нее влюбиться! Лучше бы было, если бы ты сошелся с нею, потому что моя кузина непременно хочет, чтоб я вздыхал подобно ей, — кто бы этого от нее ожидал! — жаль, что я не полюбил Эмилию, она не охотница до сентиментов. Ну, Глинский, ты погубил меня вконец своим безвременным отправлением; а я думал, что ты помиришь меня с Клодиною. — Но что же! пойдем наверх, теперь нечего ждать завтрака, я побегу уведомить всех о твоем выступлении и, может быть, успею известить Эмилию.

Они взошли вместе наверх. Шабань побежал, и Глинский остался один в кабинете маркиза. Долго стоял он против портрета Эмилии и мрачные мысли, одна другой прискорбнее, рождались в его сердце, впивались в него змеями и исчезали, сменяемые еще злейшими, наконец, небольшой шорох заставил его оглянуться. У окна стоял Дюбуа, сложа руки, точно в том же положении, в каком Глинский увидел его в первый раз. Вид его был столь же мрачен, как и тогда.

— Прощайте, Дюбуа, — сказал Глинский, бросаясь к нему, — в 11 часов я оставляю Париж.

— Я сам еду из Парижа сего же дня и пришел проститься с вами, но не хотел мешать вашему забвению. Глинский, вы любите эту женщину?

Юноша покраснел вместо ответа.

— Я это знаю, — и знаю более, нежели вы мне сказать можете. Не вправе давать вам советов, но скажу, что ваше общее счастье здесь — вам не должно упускать его. Не краснейте, Глинский; всякому человеку суждено любить раз в своей жизни; любовь пристала юноше, но горе тому, кто пропустит свое время; нет ничего страннее влюбленного старика: он смешон, ежели обнаружит свою любовь, и жалок, ежели должен скрывать ее; перед юношею все надежды, перед ним... один ужас отказа!

Сказав это, Дюбуа прошелся несколько раз по

комнате, потирая свой лоб, как будто желая разогнать мысли, теснившиеся в его голове.

Глинский не мог опомниться от изумления, каким поразила его доверенность человека, удалявшего доселе всякий разговор об этом.

— Итак, вы знаете, что я люблю графиню, и говорите, что она должна составить мое счастие, тогда как я осужден не видать ее более — когда я расстаюсь с ней навеки?..

— Прежде, нежели буду отвечать, скажу нечто о себе. Я не имел ни брата, ни сестры, ни родного в целом мире. Суровая жизнь и трудное поприще отдаляли от меня нежные склонности сердца, и я остался до сих пор одиноким; но это дорого мне стоило и еще дороже стоит теперь. Часто при моих горестях, при счастливых удачах, я не мог ни с кем разделить чувств моих! как иностранец, как отверженец посреди толпы, я не встречал ничьего взора, в котором выразилось бы участие; не было ни одного существа, которому бы стало прискорбно мое горе или понятно мое торжество, и я, со смертью в душе, дожил до сей поры. Глинский! не доживайте холостым до моих лет и не выпускайте из рук счастия потому только, что оно трудно достается. Я только теперь благословляю бога, что он в трудную минуту, для меня наступившую, оставил руки мои несвязанными и сердце... сердце, над которым я еще имею власть. — Теперь выслушайте мой ответ на ваши вопросы: я вижу давно, что вы любите графиню, но еще не уверен был в ее к вам расположении; сверх того, я имел посторонние причины не говорить с вами об этом предмете. Теперь я знаю, что графиня любит вас...

— Она любит меня? вы ошибаетесь, Дюбуа! три дни как она не хочет меня видеть, не хочет отвечать, не хочет даже проститься!

— Вы ошибаетесь также. Я прочитал в ее сердце и лице совсем другое; я не солгу, если скажу, что даже знаю это от нее изустно. Эмилия должна быть ваша!

— Но как я могу? — теперь я не вижу ее, а если и увижу, то на минуту.

— Одна минута решает участь нашей жизни. Я бы не советовал вам, если бы не собственная сердечная потребность меня к тому принуждала. Я уважаю графиню; желаю ей добра; участь ее беспокоит меня; но

я знаю и вас и ваше соединение отнимет у меня последнюю надежду!.. я хотел сказать, последнее препятствие, т. е. все, что меня удерживало здесь и мешало выполнять предпринятые намерения. Итак, если выступите к полдню, возвращайтесь вечером и будьте у графини к чаю; ведь она пригласила вас. Но, если желаете успеха, не говорите об этом.

В сердце Глинского любовь боролась с надеждою, сомнением и досадою. Он стоял, смотря на портрет Эмилии. «А если она не любит меня? — сказал он задумчиво,— а если мне суждено никогда не видеть ее более? — Я не хочу ее видеть!»

Дюбуа молчал и потупил глаза, чтоб скрыть какую-то радость, выразившуюся в его чертах; однако за этою радостью последовала борьба, потом он сделал приметное усилие над собою и сказал:

— Знаете ли, что этот портрет есть славнейшее произведение Жерара? У меня сделана была с него копия, и долго я хранил ее с другими моими работами — но теперь мне надобно ехать, может быть, надолго; может быть, не возвращусь никогда, и эта копия тогда попадет бог знает в какие руки. Хотите ли вы иметь этот портрет?..

Глинский с жаром бросился к нему в объятия. Дюбуа потихоньку высвободился и вышел из комнаты.

Можно представить положение взволнованного юноши! Не успел он раздумать о словах Дюбуа, как замок стукнул снова и он, остановясь в полуотворенной двери, протянул к нему руку с портретом. Лицо его было необыкновенно бледно, рука дрожала, и когда Глинский подбежал взять портрет, он отворотил голову, чтоб не показать своего смущения, и сказал:

— Отдаю залог вашего счастия с условием, чтобы вы сегодня были ввечеру. Теперь прощайте, Глинский, может быть, навсегда; теперь я пойду прямо к цели; меня ничто более не остановит.— Сказав это, он сжал руку Глинского и скрылся.

Закрытый стеклом портрет был тепел, и на лайке, закрывавшей затылок, обозначались следы золотой рамки, из которой как будто поспешно его вынули. Глинский ничего этого не видел, кроме портрета.

Не станем говорить о том, что происходило за завтраком. Старик маркиз и маркиза плакали, прощаясь, и благословляли Глинского; Шабань переступал

с ноги на ногу, крутил усы, барабанил в окно; несколько раз брал руку уезжающего и отходил к окну, не сказав ни слова. Одной Эмилии не было; напрасно маркиза извиняла ее нездоровье и уговаривала Глинского остаться с ними до вечера пить чай и проститься с дочерью; он отговаривался невозможностью и едва ли он не в самом деле так думал, потеряв надежду увидеть Эмилию, а Дюбуа тут не было, чтобы поддержать колеблющуюся веру шаткою надеждою на будущее.

Наступила минута прощания. Юноша переходил из рук в руки, наконец вырвался из объятий и с стесненным сердцем сбежал с лестницы; но тут в огромных сенях ожидала его вся дворня маркизова. Все в доме любили его от мала до велика; каждый по-своему изъявлял свои сожаления и напутствия; он вынул кошелек: червонцы посыпались и вся дворня, провожая, кричала ему из всех сил благодарственные восклицания.

Глинский сел на лошадь, которая давно уже обливала удила пеною, и тронул поводами. В эту минуту он оборотился взглянуть последний раз на окна Эмилии: ему показалось, что занавесь зашевелилась, отдернулась и графиня, вызванная криками толпы, махала ему рукою.

— Только теперь?.. в эту минуту? — подумал Глинский, отвечая ей низким поклоном — и вонзил шпоры в бока лошади. Бедный конь взвился на дыбах, дал отчаянный поскок и вылетел за вороты!

В самом ли деле Эмилия была больна? — В самом деле; но болезнь ее была нравственная; ужасная борьба происходила в ее сердце. Любовь боролась с ложным стыдом, с ложно принятыми правилами; к тому же ложные заключения о склонности Клодины, которую она сама вызвала на сцену; намеки родных, мнение света казались ей упреками в такой слабости, — в такой вещи, о которой она пред целым светом дала торжественную клятву, не могши сдержать оной. Она получила письмо Глинского: сперва не знала, что сказать ему, потом отвечала отказом; написала еще — тут были надежды — оба ответа остались дома; в обоих положение сердца графинина светилось сквозь набор строгих сентенций, громких слов и воззваний, худо прикрывавших ее чувства. Волнение

страсти перемогало нежное сложение графини; бессонные ночи, больное сердце, напряженное воображение привили ей лихорадку, которая увеличивалась еще более нерешительностию духа и поступков.

— Нет! — говорила она, когда бессонница гнала ее с постели,— нет! я боюсь его видеть, боюсь отвечать ему. Скоро его не будет! — это преходящее чувство исчезнет, я сдержу слово пред людьми, пред лицом Неба,— и никто не увидит моей слабости!.. Но почему же во мне эта слабость?.. Нет! для меня есть мечты, на коих непозволительно даже останавливать мысли!.. но что подумают обо мне другие, ежели узнают, что боязнь удержала меня в постеле; что я не смею сделать шагу, не изменив сердцу, против которого столько вооружалась и столько была тверда некогда?.. Столько ли я больна в самом деле, что моя болезнь могла изменить меня в нежелании видеть его — проститься с ним, с человеком, который был так короток в доме? эта лихорадка не оправдание!.. но я могу сказать, что очень больна... Нет! я стыжусь притворства!.. Но если увижу его, в состоянии ли буду скрыть свои чувства?.. Боже мой!.. буду, по крайней мере, плакать; этого он не увидит... однако, я позову его к себе, но с другими; должность хозяйки не оставит мне ни одной опасной минуты.

Так думала Эмилия, откладывая приглашение до последнего дня, и эта решительная минута не приближалась; два дни протянулись для нее веками. Сколь ни твердо было намерение Эмилии расстаться навсегда с Глинским, но все еще она хотела проститься с ним, хотела еще раз увидеть его. Бессонная ночь, расстроившая Эмилию, заставила ее остаться в постеле, когда уезжал Глинский. Она лежала, забывшись легким забвеньем, мечтая о сегодняшнем вечере, когда крик на дворе, звяканье подков, ржание лошадей и напутные желания, пробудив ее, высказали горькую истину отъезда и неожиданной разлуки, без свидания, без прощанья, без дружеского привета.

Пусть судит каждый, что было в это время с Эмилией. Прошел жестокий час: подушка ее была взмочена слезами; в комнате было темно, когда старая маркиза на цыпочках вошла к ней.

— Кто тут? — спросила Эмилия. Маркиза, отдернув занавесь, села подле нее на кровати и спрашива-

ла, что с нею случилось сегодня и отчего она так долго лежит в постеле. Маркиза имела причину спрашивать об этом, потому что два раза она подходила к дверям и отходила прочь, не смея потревожить сна дочери.

— Все прошло, милая матушка! все кончилось! я хочу встать — я надеюсь угощать вас у себя сегодня.

— Не лучше ли, друг мой, тебе остаться в постеле и не беспокоиться для своих. Знаешь ли ты, что Глинский уехал? — Я не могу пересказать всего, что он говорил, сколько он препоручал сказать тебе, я очень плакала, друг мой, — я люблю этого прекрасного молодого человека.

Несколько секунд Эмилия молчала, потом спросила трепетным голосом: «Уехал и не будет более?»

— Не будет, милая!

— Маменька! я хочу, чтоб вы были у меня, мне будет легче, мне будет лучше. Все кончено!.. я не ожидала так скоро!..

— Впрочем, твоя лихорадка была бездельная, ей и надобно было скоро миноваться — но все-таки лучше успокоиться.

В комнате с задернутыми занавесями было темно; слезы Эмилии катились неприметно. Маркиза, успокоенная уверениями дочери, встала и ушла, обещаясь быть у ней к чаю.

Ввечеру семейство Бонжеленя собралось на половине у Эмилии. Все были скучны; маркиза говорила о Глинском, пересчитывая его добрые качества, и каждая похвала стрелою вонзалась в сердце Эмилии, которая была бледна, старалась занимать общество, несмотря на то, что голос изменял ей и сухие глаза горели огнем лихорадки. Маленькая де Фонсек, надув свои губки, сидела отвернувшись от Шабаня, который кусал ногти с досады и время от времени делал односложные вопросы или отвечал такими же словами присутствующим. Старого маркиза не было дома.

— Где же Дюбуа? — спросила Эмилия.

— Где же Дюбуа? — повторила маркиза.

Шабань позвал слугу, приказывая от имени графини звать Дюбуа.

— Он уехал еще поутру перед завтраком, — отвечал слуга.

— Куда же он уехал?

— Не знаю. Он оставил письмо к маркизу, который, прочитав, приказал запереть комнату г. Дюбуа и принести к себе ключ.

Все взглянули друг на друга с изумлением. Вопросы были напрасны. Каждый мог об этом думать, как ему угодно. Темное предчувствие шептало графине, куда уехал Дюбуа. При первой мысли она невольно вскрикнула: несчастный! он погибает для своего героя! Все оборотились к ней и ждали объяснения на это восклицание, как вдруг на дворе послышался лошадиный топот и развлек общее внимание. Шабань подошел к окну.

— Приехал какой-то верховой,— говорил он.— Базиль светит ему фонарем. Они идут к подъезду графини.

Глаза всех были обращены на Шабаня; ожидали, что он скажет еще.

— Это не Дюбуа,— сказал он, приглядываясь.

— Кто же? — спросила невольно графиня, хватаясь за стол как бы с намерением встать. Как будто инстинкт говорил, что ей должно бежать, но дверь растворилась и явился Глинский.

Все в один голос вскрикнули; все вскочили и бросились к нему навстречу. Одна графиня осталась в том же положении, бледная, без сил встать, не в состоянии выговорить ни слова и с сухими глазами, которые красноречивее слез говорили, что происходило в ее сердце.

Глинский был одет по-походному, в сюртуке, в шарфе и знаке: на лице видны были следы душевного расстройства; волосы в беспорядке; но все это вместо того, чтобы вредить его физиономии, делало ее еще интереснее. Слабая краска подернула его лицо, когда он подошел к Эмилии.

— Я бы не смел беспокоить вас, графиня, зная, что вы нерасположены, что вы нездоровы; но услышав, что вы сами желали видеть меня, употребил все способы, чтобы иметь возможность поблагодарить вас за...— здесь он остановился, не смея более довериться своему голосу, который начал изменять внутреннему чувству.

— Да, Глинский, я хотела видеть вас... и думала, что не увижу... По вашему лицу видно, что вы уста-

ли... садитесь, Глинский...— говоря это, графиня не смела поднять глаз. Ему было не лучше.

Эмилия как хозяйка должна была поддерживать разговор; несколько раз она начинала обыкновенными вопросами, он отвечал коротко — и, несмотря на первую радость, которую все показали, увидев Глинского, прежнее расположение снова овладело всеми. На дворе шел проливной дождь и гремел в крышу и в окна; ручьи с желобов журчали, разливаясь по двору лужами. Погода совершенно была согласна с расположением собеседников. После первых приветствий, после сожалений о путешествии верхом в такую дурную погоду Эмилия сделала еще несколько вопросов, на которые Глинский отвечал как бы задерживая дыхание.

— Боже мой! — воскликнула маркиза.— Что с вами сделалось, Глинский? Вы с Эмилией говорите точно как чужой!

Глинский печально взглянул на Эмилию и отвечал:

— До сих пор обращение ваше заставляло меня заблуждаться и думать, что я не чужой в доме вашем, но настоящее положение невольно напоминает, как горестно я ошибался и как далек от того, чтобы назваться вашим!..

В словах и выражениях Глинского было что-то такое, которое не могло быть прямым ответом на сказанное маркизою, но скрывало другое значение — однако маркиза приняла это просто.

— Да! — сказала она со вздохом.— Судьба всегда играет людьми! В самом деле, не шутка ли с ее стороны, что она вас привела сюда с краю христианского мира, поселила у нас в доме, заставила полюбить вас — и зачем же все это?.. чтобы горестнее сделать разлуку!..

— Так, маркиза! я не сомневаюсь, что вы жалеете меня, но я был для вас только временным гостем, явлением преходящим; по вашим прекрасным качествам вы обласкали бы каждого. Но для вас это чувство было не ново, ничего не значило и, следственно, должно оставить легкое впечатление; тогда как я, обласканный на чужбине как между родными, что я считаю благодеянием, в молодости лет, когда впечатления живы и остаются на всю жизнь, я унесу

глубокое чувство в душе моей. Уверен, что меня забудут, маркиза! Мысль об этом забвении будет преследовать меня,— но я... но мое единственное мщение будет — любить тех, которые могли внушить мне это чувство!

— Полноте, Глинский. Перестанем говорить об этом; вы, пожалуй, станете уверять что мы, заставили вас назло полюбить себя. Лучше провести последние часы веселее. Вы и то расстроили сегодняшний день, сказав, что не приедете. Если же приехали, то помогите развеселить нашу больную, которая угощает нас по вашей милости.

— Я знаю, как графиня строго наблюдает обязанности светские, и уверен, что она готова сделать это для всякого, если того потребует приличие.— Глинский выговорил это с некоторой колкостью. Краска выступила в лицо Эмилии. Маркиза посмотрела значительно на обоих. Видно было, что она догадалась, к чему клонилась речь, и замолчала. Эмилия, чтобы скрыть замешательство, подозвала Шабаня и посадила подле себя, а Глинский встал и подошел к де Фонсек, сидевшей на стуле поодаль дивана, и начал с нею вполголоса:

— Отчего вы так печальны, прекрасная Клодина?

— Неужели можно быть веселою, когда вы прощаетесь навечно с нашим домом?

— Значит, вы жалеете чужого; что же будет, если вы узнаете, к какому новому лишению готовит вас судьба?

Любопытная и встревоженная де Фонсек живо обернулась к нему с вопросом: «Говорите, Глинский, что это такое?..»

— Скажу вам за тайну, что Шабань вступает в нашу службу; сегодня все решено; я приехал за ним, и мы едем вместе.

Бедная Клодина побледнела и не могла выговорить ни слова. Глаза ее перебегали от Шабаня на Глинского, недоверчивая улыбка полуоткрыла ее ротик.

— Не выдавайте меня: я говорю для того, что вы еще имеете время уговорить его. Я не мог ничего с ним сделать. Он совершенно как безумный, не хочет слушать никаких советов.

— Ах! Глинский! что вы сказали? зачем он это сделал?

— Шабань говорит, что он несчастлив; что не может более оставаться во Франции; что все, привязывавшее его к отечеству, для него не существует более; что он, потеряв спокойствие, не дорожит собою; что все счастие, какого он надеялся, все мечты будущего разрушены с любовию той особы, которую он почитает выше всего на свете. Это собственные его слова, Клодина.

Слезы теснились на вопрошающих глазах малютки.

— Скажите правду... он не поедет? — сказала она, положив свою руку на ручку кресел, в которых сидел Глинский.

— Скажите и вы мне правду, Клодина, хотите ли вы, чтоб он уехал?

— Нет! Бог свидетель, не хочу,— промолвила Клодина, схватив его за руку.

Глинский именно привел малютку Клодину к тому, чего ему хотелось, и между ними начались объяснения. Мало-помалу он признался в своем обмане; она говорила от сердца, слезы увлажали ее прекрасные глаза. Эмилия разговаривала с матерью и Шабанем: но внимание всех троих более или менее устремлено было на Глинского с Клодиной. Впрочем, Шабань один только понимал, что там делалось. Старая маркиза, однажды постигнув мысли Глинского и Эмилии, замечала за дочерью. Опытная женщина понимала, что между ними случилась какая-нибудь ссора, которая заставляет их отдаляться друг от друга, и думала в разговоре Глинского с Клодиной видеть обыкновенную хитрость для возбуждения ревности или досады Эмилии. Но лицо этой не выражало ни того, ни другого. Она понимала в разговоре Клодины совсем другое, ей казалось, что горесть малютки обнаружилась в признании,— и как она заметила, с каким жаром Клодина брала руку Глинского,— как холодно отвечал он ей,— все это было для Эмилии жестоким упреком за состояние, в котором, по ее мнению, была милая девушка. Итак, на лице Эмилии была одна скорбь, и старая маркиза терялась в догад-

ках. Между тем нетерпеливый Шабань встал и ходил по комнате.

— Что говорят они? — спросила маркиза, воспользовавшись этим случаем.

— Ах! маменька! Клодина любит Глинского!

— Любит Глинского? — сказала удивленная старушка.— Я думала совсем другое... я полагала, что Глинский напротив...

Эмилия затрепетала при мысли, что мать постигает ее тайну. Но Клодина в это время кончила разговор с Глинским, и последние слова ее были произнесены так громко, что прервали дальнейшие объяснения Эмилии с матерью.

— Ах, Глинский! я все бы сделала, чтобы внушить то же, что сама чувствую,— сказала Клодина, вставая.

Эти слова отдались в глубине души Эмилии.

Глинский сделал знак Шабаню. Влюбленные обменялись взорами, и в комнате было уже двое счастливых. Все сели кругом стола. Шабань, украдкою сжав ручку Клодины, развеселился. Клодина более не морщилась, и сам Глинский, довольный добрым делом, несмотря на свою грусть, время от времени вмешивался в разговор, но не менее того, все его порывы замирали, сдерживаемые печальным расположением Эмилии, и вся беседа походила на мрачный осенний день, когда густые облака, гонимые ветром, раздвигаясь на минуту, пропускают солнечный луч и он, быстро пробегая полосою по полю, умирает, стесненный снова тучами и увеличивает еще более мрак картины. Таким образом прошел вечер. Было уже поздно; за Клодиной приехала карета; Шабаню надобно было проводить ее. Она, растроганная сегодняшними происшествиями, плакала горько, прощаясь с Глинским. Наконец они пошли; старая маркиза провожала их до дверей, приказывая что-то такое бабушке Клодины, и в это время Глинский подошел к Эмилии, сказал ей:

— Вы меня презираете, графиня.— Она взглянула на него с видом упрека.

— Да, графиня, потому что не удостоиваете даже и теперь меня ответом. Только двух минут прошу у вас... Грудь моя полна... Не убейте меня отказом, пото-

му что мысль о вашем презрении сведет меня в могилу...

Маркиза, возвратясь, села с ними, незначащий разговор продолжался. Глинский умоляющим взором смотрел на Эмилию, но минуты улетали за минутами, время проходило, и отчаяние начало заступать место слабых надежд в сердце несчастного юноши.

— Неужели вы поедете верхом назад, в эту погоду и так поздно? — спросила маркиза. Глинский отвечал, что велел нанять коляску, ожидает ее с минуты на минуту и совестится, оставаясь у них так долго — дольше, нежели надобно. Нельзя сказать, с какою горестью выразил он последние слова, взглянув на Эмилию — и они как будто пробудили ее.

— Вы уезжаете навсегда отсюда, Глинский,— сказала она,— вы так любили мою Габриель... я слышала, что русский крест, русское благословение приносят счастие... хотите ли благословить дочь мою?..

Радость блеснула в глазах Глинского.

— Тысяча благословений, графиня! — воскликнул он.— Жизнь свою отдал бы и тогда, когда я еще дорожил ею!..

— Подите, дети,— сказала маркиза,— ты, Эмилия, прекрасно вздумала! — и когда графиня, взяв под руку Глинского, пошла вон из комнаты, она, смотря за ними вслед, качала головой, приговаривая про себя: — Бедные дети! они не понимают друг друга!..

Глинский искал слов, чтоб выразить чувства, переполнившие грудь его, и не находил. Он чувствовал, как билось его сердце, и это еще более увеличивало его смущенье. Несколько секунд молчали они. Голос Глинского дрожал, когда он начал:

— Неужели, графиня, я должен унести с собою стрелу, меня уязвившую и которая доведет меня до гроба?

Графиня также собиралась со всеми силами, чтоб отвечать.

— Глинский,— сказала она,— дружба моя к вам останется вечною. Я знаю вас, уважаю, буду жалеть о вас; но я мать; в моем сердце не может вмещаться другое чувство — я горжусь им, я им счастлива!.. вы заслуживаете лучшего сердца... будем друзьями.

— Не произносите этого слова! — я не могу вас обманывать и не хочу быть вашим другом-самозванцем — любви вашей ищу я, Эмилия!..

— Нет, Глинский! — сказала графиня нетвердым голосом.— Нет! все противится нашему соединению.

Они прошли сквозь ряд слабо освещенных комнат и вступили в детскую Габриели. Там в богатой колыбели, на розовых подушках покоилась глубоким сном невинности малютка. Две няньки подошли со свечами, когда Эмилия с Глинским приближались к колыбели. Дитя лежало, разметав ручки; в одной была игрушка, подаренная Глинским на прощанье: она не хотела и на ночь с нею расстаться. Долго смотрел Глинский на спокойный сон милой малютки, потом наклонился, поцеловал ее в голову и благословил по русскому обыкновению тремя крестами. Эта минута была торжественна; обе няньки рыдали. Глинский был тронут до глубины души; одна Эмилия не плакала,— но лихорадочная дрожь пробегала по ее членам: она принуждена была держаться за стул.

Поцелуй, яркий блеск свеч перед глазами спящей Габриели пробудили ее: она села и в удивлении осматривала околостоящих; тонкая рубашечка спустилась, большие черные полусонные глаза медленно переходили с одной фигуры на другую; милый румянец детского сна играл на ее здоровых щеках,— как различен бывает взрослый человек после сна с дитятею!

— Глинский! — сказала она, протягивая к нему ручонки.— Зачем ты здесь?

Он взял ее на руки:

— Я пришел проститься с тобою, милая Габриель,— сказал он.

— А куда ты едешь?

— К своей маменьке, друг мой.

— Не езди!.. Габриель не хочет, чтоб ты ехал!..

— Но маменька твоя не хочет, чтоб я оставался.

— Маменька! не вели ему ездить,— лепетала Габриель, протягивая графине руку, и когда Глинский поднес ее к Эмилии, малютка схватила обоих за шею и твердила: — Не пускай его, маменька!.. не езди, Глинский, вот тебе маменька... вот она... не езди!..

Волосы Эмилии коснулись лица Глинского; дыхание обоих смешалось. Они затрепетали. Эта сцена... где простое детское сердце и невинный язык лепетали им общую тайну, потрясли Эмилию. Она едва держалась на ногах. Малютку насилу могли успокоить, и Эмилия снова подала руку Глинскому.

— Вы ссылались на вашу дочь,— сказал он, выходя.— Сама природа говорит языком Га̀бриели. Эмилия, скажите одно слово, и вы сделаете меня счастливейшим человеком.

Глаза Эмилии были сухи и красны, дыхание тяжело, походка неверна; ей нужно было опереться на руку Глинского.

— Нет!..— произнесла она едва внятно.

— Все кончено!.. Все кончено!..— вскрикнул Глинский, ударяя себя в голову и удвоивая шаги, так что бедная Эмилия едва могла следовать. Несколько шагов было сделано безмолвно. Потом Глинский голосом, который показывал какое-то отчаянное спокойствие, сказал: — Теперь мне осталась одна только просьба: не забудьте гренадера и бедной женщины!

До этой минуты Эмилия сберегала свои душевные силы: она приготовилась к этой борьбе и выдержала ее; когда же просьба Глинского показала, что опасность миновалась, это принуждение как будто оставило ее, но вместе с тем она утратила и твердость; они были уже в двух шагах от двери, ведущей в зал; еще она сбиралась отвечать, как Глинский остановился.

— Эмилия! — сказал он потрясающим душу голосом.— Еще шаг, и вечность ляжет между нами! Эмилия, одно слово...

Судорожное движение пробежало по ее членам; она опустилась в бессилии на его руку, и в эту минуту послышался стук въезжающей на двор коляски Глинского.

— Слышите, Эмилия? этот звук гремит нам вечную разлуку!.. одно только слово!..

Первая борьба Эмилии истощила ее; она не в состоянии была сделать нового усилия. Смертная бледность покрыла ее щеки; грудь высоко вздымалась; она хотела что-то сказать,— но один невнятный, рез-

кий крик вырвался из ее губ, и она упала на руки Глинского, как статуя, поверженная со своего подножия!..

Испуганный юноша подхватил ее — вытолкнул ногою дверь и посадил в зале на первые кресла. Это был не обморок; это был перелом чувств. Эмилия лежала в креслах, склонив голову на плечо, закрыв глаза; крупные капли слез катились из-под опущенных ресниц; всхлипывания приподымали ее судорожными движениями.

Маркиза бросилась к дочери, к Глинскому, но он не замечал ничего: он держал Эмилию за руки и называл ее нежнейшими именами — пожатия рук были единственными ответами Эмилии. Наконец он спросил ее восторженным голосом: «Эмилия! еще ли ты выговоришь *нет?*»

— Ах! что же скажет об этом Клодина?..— промолвила она, не открывая глаз.

В эту минуту вошел старый маркиз.

— Что это значит? — вскричал он, бросившись к Глинскому.

— Оставь их,— сказала маркиза потихоньку,— это наши дети!..

1831—1840

А. Вельтман

НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!





I

Мы, люди, вообще многого не знаем, многого не видим, что около нас делается, не ведаем всего, что на свете есть и чего нет. Такова, верно, природа людей; в этом-то, может быть, и заключается сущность дела: видеть и в то же время не видеть, знать и в то же время не знать. Например, все знают, что Москва сгорела во время нашествия французов; а кто знает, что сгорело в ней, кроме домов и кроме имущества жителей? Москва отстроилась напоказ, на славу, стала великолепнее и в то же время грустнее, скучнее,— точно как будто внутренний свет, эта беззаботная веселость духа вылилась наружу и оставила сердце в потемках.— Что ему там делать?— Сидит себе ни гугу. Отчего это?— Оттого, что, кроме зданий и имущества, погорели в Москве старинные домовые.

Как это ни странно кажется теперь, но в старину было правдой. Старинный дедушка-домовой был не призрак, не привидение, не гороховое пугало, а вот что: как говорится, во время оно каждый родоначальник, укореняясь на новоселье, с каждым новым

поколением принимал почетные звания отца, деда, прадеда, прапрадеда, все жил да жил и рос в землю; год от году все меньше и меньше и наконец хоть снова в колыбельку. Дадут ему с ложечки молочка, он и заснет спокойно; а вся семья ходит на цыпочках, чтоб не потревожить дедушкина дедушку. Достигнув до возраста семимесячного ребеночка, дедушка, проснувшись в последний раз среди белого дня, говорил: «Детушки, и на печке стало мне холодно, оденьте-ка меня в белый балахончик, окутайте да уложите в печурочку. Я сосну, а вы себе живите да поживайте, не заботясь обо мне, а поминать поминайте: пищи мне не нужно, только в сорочины блинков напеките да крещенской водицы поставьте. Белого дня мне уже не вынести, а придет иное время — проснусь в ночку, посмотрю, сладок ли сон ваш. Мирно все будет, и я буду мирен; а как постучу, так смотрите, оглядывайтесь, помните, что дедушка стучит недаром. Ну, вот вам последнее слово: держите совет и любовь».

Боясь дедушки-домового, все от старого до малого свято исполняли его последнее слово. Им в семье хранился мир: жили к старшим послушно, с равными дружно, с младшими строго и милостиво. Ладно и весело на сердце. А чуть что не так, дедушка стукнет, все смолкнут, оглянутся — дедушка, дескать, стучит недаром. Стерегись.

Бывало, деревянный дом, а стоит-стоит — и веку нет; стены напитаются человеческим духом, окаменеют; вся крыша прорастет мохом — гниль не берет.

То были времена, а теперь другие: и теперь есть домовой — да внутри нас; тоже заголосит подчас, да про глухого тетерева. Вот в чем беда.

До нашествия французов много было еще таких домов, со старинными домовыми, а после того, сколько мне по крайней мере известно, только два, по соседству, рядышком.

Старинные дома были как-то не то, что теперешние. Старинные дома были гораздо хуже, и сравнения нет, да в старинных домах были такие теплые углы, такие ловкие, удобные, насиженные места, что сядешь — и не хочется вставать. Про печки и говорить

нечего: печки были, как избушки на курьих ножках, с припечками, с печурками, с лежанками; и на печке, и за печкой, и под печкой — везде житье, а теплынь, теплынь какая! И домовому был приют. То были времена, а теперь другие. Бывало, все в полночь спит мертвым сном. Не спалось, бывало, только тому, чей день был грешен. Зато он и наберется страху от грозы домового, заклянется от греха: век, говорит, не буду! И теперь тоже говорят: век не буду, да по пословице — «день мой, век мой» — с наступлением зари нового века принимаются за старые грехи, а пугнуть некому: старинных домовых нет, и внутренний голос осип.

Один из старинных, упомянутых нами домиков, в которых водились еще дедушки-домовые, принадлежал одной старушке. Это было чудо, не просто старушка, а молодая старушка; зато дедушка-домовой и лелеял её сон, ходил на цыпочках и, как домовой «Чуровой долины», вместо обычной возни наигрывал на гуслях и распевал любовные песни. Дедушка в самом деле был влюблен в нее, как домовой «Чуровой долины» в княжну Зорю. И был прав: при неизменчивости душевной красоты и наружная не вянет, по крайней мере в памяти. У старушки неизменны были и ангельская улыбка, и приятный взор. Морщинки как будто украшали ее личико; недостаток зубков как будто придавал нежность речам: ведь выпадают же у детей молочные зубы, и это нисколько их не портит; а добрая старость то же младенчество.

У старушки был внучек Порфирий. Она так любила его, нежила и берегла, что даже в комнате для предостережения от простуды он ходил в чепчике и грудка его сверх курточки обвязана была большим платком. Так как по старому обычаю молодой человек лет до 20 считался ребенком, то и старушка смотрела на внучка своего, как на дитя, хотя ему было уже около 18 лет. Он в самом деле был премилый ребенок, и, когда летом сидел в мезонине у открытого окна, в чепчике и бабушкином платке, чтоб не пахнул ветерок на грудку, проходящие и проезжающие современные юноши заглядывались на него, воображая, что это сидит в тереме красная девушка. Не ху-

же красной девушки он потуплял глаза свои от нескромных взоров. Старинный дом по соседству был как родной брат дому старушки и также с мезонином, которого боковое окно обращалось к соседу; но стекла от времени сделались перламутровыми.

Соседский дом принадлежал старичку больному, дряхлому, мнительному и капризному и от лет и от бед, которые от перенес в жизни. У него оставалось одно утешение — внучка Сашенька, ребенок — душка, каких мало. При Сашеньке была старая няня, а при самом старичке старый Борис, дряхлее своего господина, который по ночам, во время бессонницы, заговаривался уже с домовым.

В продолжение дня старик сидел в глубоких креслах, обложенный подушками, тяжело дышал от удушья и, посматривая на внучку, которая играла подле него куколками из тряпочек, все бормотал что-то про себя. Иногда и разговорится: няня свернет Сашеньке новую куколку, внучка подбежит к дедушке и похвастается своей куколкой: «Дедушка, куколка!»

— А! куколка? — скажет старик. — Хорошо... вот постой... я куплю тебе настоящую куклу...

— Да только все обещает дедушка, — отвечает вместо Сашеньки няня.

— А вот... будет хорошая погода... так мы и поедем в город... — скажет старик, посматривая в окно сквозь тусклые стекла летних и зимних рам. — Видишь, какая пасмурная погода...

— Бог с вами, какая пасмурная, — скажет няня, — если уж эта пасмурная, так светлой-то нам и не дождаться.

— Сырость в воздухе, — проговорит старик, — это я чувствую по себе... так и душит...

Во время ночей старик мается на постели и также все бормочет:

— Совсем сна нет... вить уж скоро, чай, заутреня? Заутреня скоро!.. О-хо-хо!

— Ого, — ответит домовой, повернувшись за печкой с боку на бок.

— Смотри пожалуй... где это стучат? Чу, стучит... а?

— Ага! — отзовется домовой.

Старик начнет прислушиваться, потом кликнет сонного Бориса и спросит:

— Где это стучит?

— Нигде не стучит.

— Что-о?

— Нигде не стучит,— крикнет Борис на ухо.

— Что ж это... в голове, стало быть, стучит?..

И старик снова начинает прислушиваться, где стучит: в голове или вне головы. А Борис, уходя, бормочет себе под нос: стучит! Черт, домовой стучит, прости господи! Ляжет, а домовой и начнет его душить за ложь и брань.

II

Так проходили годы. Сашенька подрастала, старик дряхлел и час от часу становился мнительнее и боязливее за внучку. Соблазн ему представился во всем ужасе. Припоминая свою храбрую молодость, он знал, что девушка в 15 лет как кудель: стоит только бросить огненный взор — и загорелась. Не доверяя и глазу старой няни, он без себя не стал отпускать Сашеньку даже в церковь. Напрасно няня представляла ему, что это великий грех.

— Когда ж вы соберетесь-то сами? — говорила она ему.

— А вот... погода будет получше... поедет в соборы... в соборы поедем... покуда дома помолится... все равно...

— Нет, не все равно! грех!

— Ну, ну, ну, ты дура... По-вашему, не грех женихов выглядывать!..

— Что ж такое? А по-вашему как? По-нашему, дай бы бог, чтобы нашелся женишок Александре Васильевне,— отвечала няня с сердцем.

Старик пришел в ужас.

— Молчи!.. дура!.. Я прогоню тебя! — вскричал он.— Видишь, что говорит!.. научит еще ребенка под окном сидеть, напоказ!.. окон на улицу у меня ни под каким видом не отворять!.. слышишь? а не то заколочу! Я тебя заколочу и окна заколочу!

— Слава тебе господи, дослужилась до доброго слова! — проговорила няня, залившись слезами.

Тревожное опасение за внучку день ото дня увеличивалось. Только и думы у старика: как бы скрыть свое сокровище от обаяния какого-нибудь чародея.

«Где ж усмотришь за девочкой, — думал он, — выглянет на улицу — и беда! Вон, эво, так и шныряют проклятые ястребы — нет ли в окне добычи».

Подозрительный глаз старика так и преследовал всех молодых людей, проходящих по улице. Как назло ему, большая часть останавливалась, чтоб посмотреть на два старинных домика. В самом деле, после 12-го года они одни красовались посреди пожарища и казались такими завидными для всех погоревших, что, проходя мимо, каждый останавливался и восклицал: «Смотри пожалуй, кругом все обгорело, а эти чертовы избушки стоят себе, как будто бы ни в чем не бывало!.. Ей-богу, на удивление!» Но вскоре все соседство как будто разбогатело после пожара — вместо деревянных домов выстроило себе каменные палаты, и снова все прохожие, вместо умилительного взгляда на почтенную древность, восклицали: «Смотри пожалуй, две чертовы избушки втесались между каменных палат! Ей-богу, на удивление!»

Эти остановки проходящих и любопытство взглянуть на обросшие зеленым мохом домики мнительный старик понимал по-своему.

— Ох, эти мне, — бормотал он про себя, — глазом не видят, так чутьем слышат.

Долго придумывая, как бы охранить внучку от соблазна, старик наконец ухитрился.

— Постой, погоди, молодцы, — сказал он, — я вас проведу мимо двора щей хлебать!..

И тотчас же, несмотря на горе покорной внучки, ни на слезы и ропот ее няни, показал обстричь под гребешок прекрасные волосы Сашеньки. Потом велел Борису вынуть из сундука все старое платье и принести к себе.

Притащив груду рухляди, Борис, кряхтя, сложил ее перед стариком и, казалось, начал приподнимать по очереди слежавшиеся дружно тени нескольких поколений огромного некогда семейства. Память о

далеком прошедшем ожила перед двумя стариками, но барин думал о своем.

— Тут должна быть курточка Кононушки! — сказал он.

— Где ж тут курточка? — ответил Борис, перебирая и рассматривая мужские и женские платья прошедшего столетия. — Это не курточка!

— Покажи-ко: какая ж это курточка, это камзол дедушкин...

— Эка, — проговорил Борис со вздохом, — носить бы да еще носить!.. бархат-то! а?.. Это робронт!.. Кажись, покойницы матушки... Дай бог ей царство небесное.

— Покажи-ко. Какая ж это курточка?..

— Какая ж курточка, кто говорит... кафтан-то ваш... а? шитье-то какое!.. Кажись, Пелагея-то Васильевна своими руками вышивала... материал-то! Не то, что теперь!..

— Не матерчатая, а суконная, я тебе говорю!..

— Суконная? Так бы вы и сказали... Какая ж суконная?.. Вот суконный-то ваш мундир весь моль съела...

— Как моль съела? Покажи-ко.

— Словно решето.

— И Кононушкину курточку-то моль съела?..

— А бог ее знает: вот ведь тут ее нету... Разве в другом сундуке.

После долгих поисков курточка была найдена. Старик обрадовался, призвал Сашеньку и велел ей надеть, а на шейку повязать платочек.

— Для чего же это, дедушка? — спросила она.

— Для чего! Ты у меня будешь амазонка... Посмотрись-ко в зеркало... хорошо? Ты у меня будешь амазонка...

— Да что ж это, для чего ж это, сударь, нарядили так барышню-то?

— А для того, что я так хочу. Ты, дура, не знаешь ничего, так и молчи. Немножко широка... сошьем новенькую, поуже, к празднику... так и ходи. Ты у меня будешь амазонка, в амазонском платье.

— Вы говорили, дедушка, что в амазонском платье верхом ездят... Помните, проехали верхом какие-то дамы?.. Вы будете меня учить верхом ездить?

— Верхом!.. Видишь ты какая!.. погоди... вот, подрастешь, лет через десяток... а теперь и так хорошо... и под окошко сядешь... не простудишься... а то грудь и шея открытые... не годится...

— Да, смотрите, смотрите!.. Каков у меня внучек? Хорош мальчик? а?.. Что ж не смотрите? Это, верно, не девочка? Такой же небось юбошник, как вы?.. Да! как же, так и есть!.. Нет! милости просим мимо двора щей хлебать!..

III

Заколдованная дедушкой от всех глаз, которые ищут предметов любви, долго Сашенька была еще беспечным ребенком, которого занимали сказки няни, птички, цветы и даже порхающая бабочка в садике. Но вдруг что-то стало грустно ей на сердце, чего-то ей как будто недостает, время от утра до вечера что-то тянется слишком долго: сидеть с дедушкой скучно, рассказы няни надоели, все бы сидела одна у окошечка да смотрела на улицу — нет ли там чего-нибудь повеселее?

— Нянюшка, отчего это мне все скучно? — говорит она няне.

— Отчего же тебе скучно, барышня? — отвечает ей няня.

— Сама не знаю.

— Оттого, верно, тебе скучно, что подружки нет у тебя.

— Подружки? — проговорила Сашенька призадумавшись. — Где ж взять ее, няня?

— А где ж взять? Откуда накличешь?

«Накликать», — подумала Сашенька, когда няня вышла, и она стала накликать заунывным голосом под напев сказки про Аленушку:

Подруженька, голубушка,
Душа моя, поди ко мне;
Тоска-печаль томит меня.

Вдруг показалось ей, что голос её как будто отзывается где-то. Она прислушалась: точно, кто-то напевает в соседском дому.

Сашенька приотворила боковое окно, взглянула, вспыхнула, сердце так и заколотило.

— Ах, какая хорошенькая! — проговорила сама себе Сашенька. — Вот бы мне подружка!

И долго-долго смотрела она стыдливо сквозь приотворенное окно на Порфирия, который также разгорелся, устремив на неё взоры, и думал: «Ах, какой славный мальчик! вот бы нам вместе играть!»

«Я поклонюсь ей», — подумала Сашенька. Но вошла няня, и, как будто боясь открыть ей свою находку подружки, захлопнула окно.

На дворе стало смеркаться, а няня сидит себе да вяжет чулок. Так и вечер прошел. Легли спать; а Сашеньке не спится, ждет не дождется утра.

Настало утро. Надо умыться, богу помолиться, идти к дедушке поздороваться, пить с ним чай, слушать его рассказы, а на душе тоска смертная.

— Не хочется, дедушка, чаю.

— Куда же ты? Сиди.

Ах, горе какое! — Сашенька с места, а дедушка опять:

— Куда же ты?

— Сейчас приду, дедушка.

Сашенька наверх, в свою комнату, а там няня вяжет чулок.

Так и прошло время до обеда; а тут обед. А дедушка кушает медленно, а после обеда, покуда заснет — сиди, не ходи.

Господи! Что за мука!

Но вот дедушка уснул. Няня вышла посидеть со старым Борисом, за ворота. Сашенька одна; приотворила тихонько окно, тихонько запела: «Подруженька, голубушка», но никто не отзовется, в соседском доме окно закрыто.

Ах, какое горе!

Прошел еще день. Сидит грустная Сашенька подле няни, призадумавшись. Вдруг послышался напев её песни, сердце так и екнуло.

— Ну, уж хорошо как-то там курныкает, нечего сказать! — проговорила няня.

— Нянюшка, пить хочется.

— Ну что ж, испей, сударыня.

— Мне не хочется квасу, мне хочется воды.

— Э-эх, ведь вниз идти надо!

— Пожалуйста!

— Ну, ну, ладно.

Няня вышла — а Сашенька к окну. Приотворила — глядь, ей поклонились.

— Здравствуйте! — сказал Порфирий.

— Здравствуйте! — произнесла Сашенька.

Они посмотрели друг на друга умильно и не знали, что еще сказать друг другу.

— Приходите к нам,— сказал, наконец, Порфирий.

— Нет, вы приходите к нам; меня не пускают из дому,— отвечала тихо Сашенька.

— Экие какие!

Этим разговор и кончился; послышались шаги няни, Сашенька захлопнула окно.

На следующий день Порфирий целое утро курныкал песенку под окном. Сашенька все слышала, с болью сжималось у ней сердце от нетерпения, покуда дрожащая рука ее не отворила снова окна с боязнью.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Послушайте... выходите в садик!

— В садик? Ну, хорошо.

Порфирий притворил окно. Сашенька также и побежала в садик.

— Здравствуйте, сударыня-барышня,— сказал ей Борис, беседовавший с няней на крыльце.

— Здравствуй, Борис,— отвечала ему Сашенька.

— Куда вы, барышня? — спросила ее няня.

— В садик.

— Посмотрите-ка, сударыня-барышня, какую я вам дерновую скамеечку сделал под липой-то, извольте-ка посмотреть.

И Борис потащился следом за Сашенькой.

Ах, какая досада!

— Вот, видите ли, барышня... Извольте-ка присесть.

— Спасибо тебе.

— Кому ж и угождать мне, как не вам, барышня: вы у нас такое нещечко... Дай вам господи доброго здравия да женишка хорошенького.

— Ах, полно, Борис,— проговорила Сашенька, покраснев,— ступай себе.

— Ничего, сударыня-барышня, что тут стыднова...

В соседском садике послышалось курныканье Порфирия.

«Ах, какой этот несносный Борис»,— подумала Сашенька.

— Ничего, сударыня-барышня... да и красавицы-то такой не сыщем... и дедушка-то не нарадуется на вас... Скупенек немножко, бог с ним. Вас бы не так надо было водить... в золоте бы водить, барышня, да не все дома держать... чтоб женишки...

— Ступай, Борис, оставь меня.

— Экие вы какие! Я ведь к слову сказал... Вот, сударыня-барышня, попросите-ка у дедушки на сапоги мне... Извольте посмотреть, совсем развалились.

— Хорошо, хорошо, я попрошу.

— Извольте посмотреть: пальцы вылезли.

— Хорошо, хорошо, ступай.

— Да, вот оно: у солдата купил, три рубля заплатил... солдатские-то, говорят, крепче...

Сашенька от нетерпения и досады вскочила с дерновой скамьи и пошла прочь от Бориса.

— Что ж вы, барышня, не изволите сидеть? Дерн-то какой славный.

И Борис начал поглаживать скамью и обирать с дерна желтую и завядшую травку.

Между тем Сашенька прошла подле забора.

— Здравствуйте,— раздалось в скважинку за кустами малины.

— Здравствуйте,— тихо проговорила и Сашенька, остановясь и оглядываясь, не смотрит ли на нее Борис.

— Как я вас люблю,— сказал Порфирий.

— Ах, как и я вас люблю... Если бы мы были всегда вместе!

— Барышня, а барышня, где вы, сударыня? Чай кушать зовут,— крикнул Борис.

— О, боже мой, какая скука,— проговорила Сашенька.

— Приходите после,— шепнул Порфирий.

— После? Хорошо.

И Сашенька побежала домой.

После чаю она двинулась было с места, но дедушка усадил ее подле себя перебирать старые письма.

— О, господи, когда ж после? — проговорила Сашенька про себя, почти сквозь слезы.

Старик ужинал рано; хотелось ему спать или не хотелось, но он ложился в постель в определенное

время. А тут, как нарочно, сидит себе да раздобарывает[1] с внучкой и с ее няней, потешается, что у них глаза липнут. Рассказывает себе про житье-бытье своего дедушки, какой у него был полный дом, какой сад, какое имение, какое богатство, великолепие и этикет. Призванный Борис, как живая выноска примечаний к рассказу, стоял у дверей, заложив руки назад, и по вызову барина подтверждал его рассказ.

— Помнишь, Борис? а?

— Как же, сударь, не помнить...

— А гулянье-то было по озеру, с роговой музыкой, в именины покойной бабушки Лизаветы Кирилловны... Вот, надо рассказать...

— Никак нет-с, батюшка: это было не в именины, а как раз в день рождения ее превосходительства... Как раз, сударь, в день рождения.

— Как в день рожденья?.. Постой-ка, врешь!

— Да как же, батюшка, именины-то ее превосходительства, покойной Лизаветы Кирилловны, дай бог ей царство небесное, когда были? В октябре, сударь?

— Да, да, да!.. Экая память!..

— Дедушка, мне спать хочется,— проговорила Сашенька, зевая и привстав с места.

— Спать? А отчего ж мне не хочется? а?

— Не знаю, дедушка.

— То-то, не знаю, а я знаю. Это потому, что дедушка любит внучку и ему приятно провести с ней время.

— Да что ж, сударь, пора ночь делить,— проговорила и старая няня, зевая.

— Ты дура, ты все потакаешь ребенку! Пошли! спите!

Дедушка рассердился. Сашенька и няня, потупив глаза, молчали и ни с места.

И дедушка молчит, сурово нахмурился. И это гневное молчание тянулось обыкновенно до тех пор, покуда не вытянет душу.

Сашенька прослезилась, но утерла слезку: дедушка не любит слез.

— Ну, ступайте спать,— сказал наконец дедушка смягченным голосом, довольный, что дал урок в терпении.

---

[1] растабарывает, болтает.

Сашенька простилась с ним, побежала наверх, бросилась в постелю и залилась слезами. В первый раз почувствовала она тяготу на сердце, в первый раз воля дедушки показалась ей невыносимой. Ей так и хотелось броситься в окно, чтоб хоть умереть на свободе.

Няня, уговаривая Сашеньку, что грех так огорчаться, раздела ее и легла спать. Но у бедной девушки не сон в голове: душа взволнована, сердце бьётся, в комнате душно; так бы и дохнула свежим воздухом.

— Когда же после? — повторяла Сашенька.— Когда мене было после прийти?.. Ах, как голова болит!.. Пойду в сад...

И она обулась, надела капотик, прислушалась, спит ли няня, осторожно отворила дверь и вышла. Сени запирались задвижкой. Из сеней два шага до садика. Ночь светлая, прекрасная. Только что она подошла к липе, под которой старый Борис устроил ей дерновую скамью, вдруг что-то зашевелилось.

Сашенька затрепетала от страха.

— Это вы? — тихо проговорил Порфирий, бросаясь к ней из-за куста и схватив ее за руку.

Сашенька долго не могла перевести духу.

— Чего ж вы испугались?

— Так, что-то страшно,— проговорила Сашенька.

— Страшно? Отчего?

— Так.

— А я ждал-ждал, ждал-ждал.

Держа друг друга за руку, они присели на дерновую скамью и долго молча всматривались друг в друга с каким-то радостным чувством.

— Ах, как хорошо мне с вами! — сказал Порфирий.

— Ах, и мне как хорошо! — произнесла Сашенька, приклонясь на плечо Порфирия.

Высвободив руку из бабушкина салопа, который был на нем, он обнял Сашеньку, приложил свою щеку к ее горячему лицу и поцеловал ее.

— Ах, если б всякий день нам быть вместе!

— Дедушка меня никуда не пускает,— сказала Сашенька, вздохнув.

— Экой какой! И меня бабушка никуда без себя не пускает.

— Экая какая!

— Да, ей-богу, это скучно!.. Вот с вами как бы мне весело было.

— И мне,— произнесла тихо Сашенька.

И они обнялись.

— Как вас зовут?

— Сашенькой. А вас?

— Меня зовут Порфирием.

— Как же это так? Такой святой нет у дедушки в календаре,— сказала Сашенька, которая и по дедушкину календарю, и по напоминанью няни знала наизусть всех святых и все праздники.

— Как нет? — отвечал Порфирий.— Нет есть; у бабушки в святцах есть. Мои именины 26 февраля, в день святого отца Порфирия архиепископа. И дедушка у меня был Порфирий.

— Мужское имя!

— А какое же? Что, я девушка, что ли? Я не девушка.

— Ах, боже мой! — вскрикнула с невольным чувством испуга Сашенька, отклоняясь вдруг от плеча Порфирия.

— Что такое? Что вы испугались? — спросил Порфирий, осматриваясь кругом.— Какие вы боязливые... Не бойтесь!

— Пустите,— проговорила Сашенька.

— Куда, Сашенька? Нет, не уходи, пожалуйста!

— Пустите, пустите! — проговорила Сашенька, и, вырвавшись из рук Порфирия, она быстро побежала вон из саду.

— Сашенька! дружок! послушай! — крикнул вслед ей Порфирий.

Но Сашенька уже дома, испуганная, взволнованная.

IV

На другой день няня, удивляясь, что барышня заспалась, вошла в её комнату. Сашенька, вместо спокойного сна, лежала в какой-то болезненной забывчивости, лицо её горит, дыхание тяжко.

Няня перепугалась; не горячка ли, подумала она. Но Сашенька очнулась, и пылкий жар лица заменила вдруг бледность, живой взор стал томен, и все она

как будто чего-то ищет и не находит. Когда в мезонине соседнего дома раздается напев её песни, Сашеньку бросит в огонь; как испуганная, она вскочит с места и не знает, куда ей идти.

Так прошло несколько времени. А между тем старушка, бабушка Порфирия, отдала богу душу. Она водила его с собою только в храм божий да к своим старым знакомым обвязанного, окутанного. Теперь он свободен, хозяин дома, а располагать собою не умеет, его понятия обо всем — еще детские понятия.

Привычка к безусловной покорности бабушке передала его в распоряжение дядьке Семену и бабушкиной ключнице Дарье. Старая Дарья видела в нем еще ребенка и хотела водить его как ребенка, по обычаю бабушки; но Семен твердил ему по-свойски:

— Что вы, сударь, бабитесь, стыдно! И то бабушка-то вас продержала в пеленках, покуда все невесты ваши замуж повышли!

Слова Семена быстро подействовали на молодого человека, и он приосанился, как будто вдруг подрос. С потерею детских чувств исчезло в нем и страстное желание познакомиться с хорошеньким соседом. Он перестал напевать заунывную песенку Сашеньки.

По завещанию бабушки ему следовало навестить одного из дальних родственников, который обещался определить его на службу. Вот Порфирий и собрался к нему. Семен, сходив за извозчиком, начал одевать своего молоденького барина и, по обычаю, разговаривать сам с собою:

— Эка, ей-богу, кажется, живые люди, а похлопотать о похоронах некому.

— О каких похоронах? — спросил Порфирий.

— Да вот, в соседском доме старик-то умер, а кругом-то его кто? Молоденькая барышня-внучка, да дура старая баба, да старый хрен слуга; туда же в гроб глядит.

— Где это, где? В каком соседском доме?

— Да вот рядом, через забор. Что за внучка-то, что за девочка, ах ты, господи!

— Тут рядом? с мезонином-то? Какая же внучка? У этого старика молоденький внук.

— Вот! Я своими глазами видел барышню. Что это за раскрасавица такая!.. Плачет!..

— Семен, пойдем посмотрим,— прервал Порфирий,— сделай милость, пойдем!

— Да пойдемте, пойдем, отчего ж не сходить. Оно, по соседству, следовало бы и помочь в чем-нибудь. Барышня-то молодая, а кругом-то ее что?

Порфирий схватил шляпу и побежал. Семен за ним, на соседний двор.

Сквозь толпу гробовщиков, стоявших в передней, трудно уже было пробраться. Ни в одном роде торговли нет такого соперничества и перебою. Старый Борис, отирая слезу, бранился с ними.

— Что, брат, что просят? — спросил его Семен.

— Пятьсот рублей за гроб! Мошенники!

— Не за гроб, сударь, а за покрышку, дроги и мало ли что.

— Ты молчи, воронье чутье! Барин только что заболел, а уж эта рыжая борода приходил сюда рекомендоваться! И имя узнал! Прошу, говорит, Борис Гаврилыч, не оставить своими милостями: барин умрет, так уж мы, говорит, поставим знатный гроб и покрышку, и все что следует... Ах ты, чертова пасть! Пошел вон!

Между тем как Семен помог старому Борису уладить торг насчет длинного ящика, Порфирий вошел в комнату, где лежал покойник. Он не обратил внимание ни на покойника, ни на толпу любопытных, вымерявших глазами длину умершего; все внимание его вдруг поглотилось наружностию девушки в черном платье, которая стояла подле стола, приклонясь на плечо старой женщины. Слезы катились из ее глаз.

Сердце Порфирия забилось как будто от испуга. Он не верил глазам своим: лицо так знакомо, это Сашенька... Нет, это, верно, его сестра... Она нежнее, белее его, у ней чернее глазки, думал он. И взор его оцепенел на ней.

— Барышне-то дурно, водицы надо... постой, я принесу,— сказал какой-то неизвестный человек с растрепанными волосами, в стареньком сертучке, пробираясь в другую комнату.

— Куда! — крикнула няня.— О господи, и присмотреть-то некому!.. Постойте, барышня...

И она бросилась за заботливым незнакомцем.

Сашенька пошатнулась от порыва няни. Порфирий успел ее поддержать. Она взглянула на него, и

все чувства ее как будто замерли, голова приклонилась к плечу молодого человека.

— Не троньте! Извольте идти сюда! А не то закричу! — раздался голос няни из другой комнаты.

— Что ж... я ничего... я прислужиться хотел... водицы подать...— говорил, пошатываясь, неизвестный, выходя из дверей.

— Вишь, нашел водицу на гвозде! Пошли-те вон отсюда!

— Что ж... пойду... Я вашему же покойнику поклониться хотел... последний долг отдать...

— Да, да, знаем мы вас! — продолжала няня.— Спасибо, батюшка, что поддержал барышню мою,— сказала она Порфирию.

— Позвольте мне принять участие в вашем горе и помочь вам распорядиться,— сказал Порфирий Сашеньке, когда она очнулась и стыдливо отклонилась от него к няне.

— А вы кто такой, батюшка? — спросила няня.

— Я сосед ваш. Если угодно, я и мой человек к вашим услугам... Вы можете положиться.

— Да вот бы надо было послать кого-нибудь на кладбище, заказать могилу.

— Я сам съезжу,— вызвался Порфирий и, поручив Семена в распоряжение Сашеньки, отправился на кладбище. Приехав на ниву божью, он долго ходил между могил, не встречая никого, покуда не увидел выходящего из ворот дома старика священника.

— Где мне, батюшка, отыскать тут могильщиков? — спросил его Порфирий.

— Что вам, могилку, что ли? — сказал священник.

— Да, батюшка, не знаю, к кому обратиться.

— Могилку? хорошо, хорошо, доброе дело, мы очень рады, пойдемте... Чай, выберете место, а то у нас и готовые есть.

— Это все равно, я думаю.

— Все равно: здесь славные места, славные места! Сухие, грунт песчаный... Эй! Ферапонт!.. Где ты?

— Здесь,— отозвался могильщик из глубины могилы, которую он рыл.

— Что, это заказная или так, на случай? — спросил священник.

— Заказная.

— Так вот и господину-то выройте могилку.

— Ладно. Младенцу, верно?

— Нет, старику,— отвечал Порфирий.

— Так бы уж и говорили. Ладно.

Заказав могилку, Порфирий отправился назад. Истомленная бессонными ночами во время болезни дедушки, Сашенька заснула. Но за нее было уже кому хлопотать. Порфирий обо всем озаботился и, провожая покойника, шел рядом с его внучкой. Когда опустили гроб в могилу, Сашенька, почти без чувств, упала к нему на руки.

— Это, верно, жених ее,— говорили в толпе народа, собравшегося около могилы,— вот парочка.

И Порфирий и Сашенька это слышали.

Порфирий проводил ее до дому и хотел проститься.

— Куда же вы? — сказала она ему.

Порфирий вошел в дом.

Сели и молчат, боятся даже смотреть друг на друга.

Посидев немного, Порфирий встал.

— Куда же вы? — повторила Сашенька.

— Вы утомились, вам надо отдохнуть.

— Когда же вы к нам будете?

— Если только позволите...— проговорил несвязно смущенный Порфирий.

На следующий же день он явился к соседке узнать об ее здоровье.

На этот раз она была разговорчивее, Порфирий смелее.

Слово «здравствуйте» напомнило и ему и ей первое сладостное ощущение сердца. Они произнесли его, и оба вспыхнули.

Няне ужасно как понравился скромный молодой человек.

«Вот бы парочек барышне»,— думала она.

— Уж если б вы видели, Порфирий Александрович, как покойник наряжал барышню — смех, да и только! Совсем не по-девичьему! мальчик, да и только.

«Да, не видал!» — подумали в одно время и Порфирий и Сашенька, взглянув друг на друга и невольно улыбнувшись.

— Это амазонское платье я носила, нянюшка,— сказала Сашенька,— ко мне оно лучше шло. В чепчике хуже.

Порфирий вспыхнул. Она заметила это, поняла, что некстати упомянула о чепчике, и, также покраснев, опустила глаза и замолчала.

— Я вас и принял за мужчину,— сказал Порфирий, оставшись наедине с Сашенькой.

— А я думала, что вы девушка.

Порфирий рассказал ей, как бабушка берегла его от простуды и рядила в чепчик, платок.

— Я хоть бы опять надеть чепчик,— прибавил он.

— Ах боже мой, для чего это?

— Так... вам нравилось.

— Ах, нисколько, так гораздо лучше,— опрометчиво вскрикнула Сашенька.

— Тогда вы мне сказали...— начал было Порфирий с простодушною откровенностию сердца, но вспомнил испуг Сашеньки и замолчал.

Сашенька, казалось, также все припомнила, покраснела и потупила глаза.

Но, верно, в самой природе женщины есть хитрость.

— Что ж я вам сказала? — спросила она, не поднимая взоров.

— Вы сказали... «Если б мы были всегда вместе»,— произнес тихо Порфирий.

Сашенька снова вспыхнула и, стыдясь своего смущения, закрыла лицо руками.

V

Первая любовь пуглива, как вольная птичка; много, много проходит времени, покуда она сделается «ручною». Природа ведет себя необыкновенно как умно, стройно и отчетливо. Порфирий был свободен, Сашенька также; за ними ничей глаз не присматривал, ничье ухо их не подслушивало, чувства так и влекли их друг к другу; а между тем самый строгий, ревнивый к благочестию присмотр не упрекнул бы их ни в чем. Казалось бы, им опасно сидеть вместе на дерновой скамье, под липой; сладкое воспоминание

первого поцелуя должно бы было взволновать их чувства, давало право на полную откровенность; напротив, тут-то чувства их и становились боязливее. И это продолжалось до тех пор, покуда любовь взросла, созрела на сердце и вдруг в одно утро расцвела, как махровая роза. И в глазах, и в выражении голоса явилась какая-то особенная нежность. Все в них стало ясно друг для друга, они взглянули один на другого и обнялись.

— Помните, я сказал: как я люблю вас! — прошептал Порфирий.

— Помню!

— А вы сказали: ах, как и я вас люблю; если б мы были всегда вместе! Помните?

— Помню, помню!

Казалось бы, это блаженное мгновение надо было продлить, скрыть от всех свое счастье, но Сашенька вскрикнула опять: пустите! И, вырвавшись из объятий Порфирия, побежала вон из комнаты.

— Куда вы? Чего вы испугались? — и Порфирий вообразил, что Сашенька опять также испугалась чего-то, как в первый раз в садике.

Но Сашенька побежала поделиться своим счастьем с няней.

Порфирий задумался, сердце его сжалось, вдруг слышит голос Сашеньки: «Пойдем, пойдем скорее».

И, притащив няню за руку, она вскричала:

— Смотри, нянюшка!

И бросилась на шею к Порфирию.

— Ах вы, баловники, греховодники! — вскричала няня, всплеснув руками и качая головою.

Вырвавшись снова из объятий Порфирия, Сашенька бросилась на шею к няне и задушила ее поцелуями.

— Ну, ну, ну, пошла от меня, бесстыдница! Пошла к своему любезному на шею! Вот погоди, поп-то вас обвенчает, а посаженый-то отец плетку даст на тебя.

Начались сборы к свадьбе.

Природа очень умно взлелеяла любовь в юноше и девушке, решила взаимное желание их быть и жить вместе; но не дело природы было решать, где им жить.

Кажется, все равно, где бы им жить, лишь бы жить вместе. Но, верно, не все равно: покуда длились сбо-

ры к свадьбе, между женихом и невестой зашел спор: в котором доме им жить? Сашеньке хотелось непременно жить в доме Порфирия, потому что это был дом Порфирия; а Порфирию — в доме Сашеньки, потому что это был дом Сашеньки.

— Я продам свой дом,— сказал Порфирий,— мы будем жить в твоем доме.

— Ах нет, ни за что! — вскричала Сашенька.— Мы будем жить в твоем доме; лучше мой продать.

— Ах нет, ни за что! — сказал, в свою очередь, Порфирий.— Мне твой лучше нравится.

— А мне твой.

И вышел спор из самого чистого доказательства взаимной нежности. Ни Сашенька, ни Порфирий не хотят уступить один другому в том чувстве.

— Тебе хочется все по-своему делать,— проговорила Сашенька, надувшись,— если ты свой дом продашь, то я продам свой!..

— Посмотрим! — подумал Порфирий, вспыхнув. Его затронул упрек.

Взволнованное сердце Сашеньки скоро улеглось. Она подошла к Порфирию, но он отвернулся от нее.

Новая искра огорчения. Сашенька отошла от Порфирия, села в угол, закрыв лицо руками и задумалась сквозь слезы: он не любит меня!..

— Сашенька,— сказал Порфирий, взглянув на нее. И он бросился к ней.

— Подите прочь от меня! — проговорила Сашенька.

Обиженное чувство снова возмутилось. Порфирий не перенес его, взял шляпу; мысли его были в каком-то тумане. Он пришел домой.

Там, как на беду, его ждал уже покупщик дома. Решившись продать дом, Порфирий поручил это дело Семену, который и сам то же советовал ему.

— Вот, сударь, извольте получить деньги,— сказал Семен, входя с каким-то мещанином,— я решил дело.

Мещанин отсчитал деньги, положил их на стол перед Порфирием и поднес ему подписать бумагу.

— Да что ж вы, сударь, подписываете, не считая,— сказал Семен.

— Как раз тысяча двести серебром, так-с?

— Так,— отвечал Порфирий, перевертывая ассигнации без внимания.

На другой день поутру тот же покупщик явился в соседний дом к Сашеньке.

— Я, сударыня,— сказал он ей,— купил дом у вашего соседа, да место маленько. Не продадите ли и вы свой? А я бы хорошие дал бы деньги.

— Он продал дом свой! — вскричала Сашенька.

— Что ж, он хорошо сделал, барышня,— сказала няня.— Он и мне говорил, и я советовала ему продать. А нам-то уж продавать не к чему: насиженное гнездо, и вы привыкли, и я. Дал бы бог и умереть в нем...

— Он продал,— повторила Сашенька.

— Продал мне, сударыня. Дрянной домишко; признательно сказать, пообмишулился я, дал четыре тысячи двести, а теперь не знаю, что и делать. Продайте, сударыня! За ваш дом пять тысяч.

— Да, видишь какой! Пять тысяч! Барышня, а барышня, пожалуйте-ка сюда,— сказала няня торопливо, вызывая Сашеньку в другую комнату,— продавайте, барышня!

– Да, я продам, непременно продам! — проговорила Сашенька с обиженным чувством.

— Продавайте! Дедушка-то заплатил всего две тысячи за него, за новый!.. Пять тысяч дает! Да уж вы не мешайтесь, оставайтесь здесь: шесть возьму!..

— Продавай! Я не хочу в нем жить,— проговорила со слезами на глазах Сашенька.

— Пять тысяч капитал, а мы квартерку найдем рубликов за двести, так без хлопот будет.

И няня вышла к покупщику.

— Пять тысяч не деньги, любезный,— сказала она ему,— барышня и не подумает отдать за эту цену... Шесть, если хочешь.

— Как можно! Да уже так, дом-то мне понадобился: двести набавлю.

— И не говори!

— Пять тысяч пятьсот угодно? А нет, так просим прощенья,— сказал мещанин, обращаясь к двери.

— Ну, погоди, спрошу барышню.

Дело уже было решено, дом продан, задаток взят, пришел Порфирий.

— Здравствуйте,— проговорил он тихо, как виноватый, подходя к Сашеньке.

— Здравствуйте,— отвечала она ему, не поднимая глаз.

— Ты на меня сердишься, Сашенька,— сказал Порфирий после долгого молчания.

— Сержусь,— отвечала Сашенька.

— За что ж?

— Я вас просила, вы не послушались, вы продали свой дом.

— Он очень стар: на него на починку надо было издержать, Семен говорит, тысячу рублей...— начал Порфирий в оправдание себя.— Я и нянюшке говорил, и она советовала мне продать, а жить в вашем...

— А я по совету нянюшки продала свой,— сказала Сашенька.

— Продали!

— Продала.

— Ну, если так...— проговорил Порфирий.

— Куда вы?

— Мне надо идти нанимать квартиру,— отвечал он и бросился вон.

— Порфирий!—хотела вскрикнуть Сашенька, но голос ее замер.

VI

Покупщик двух домов распорядился умнее Порфирия и Сашеньки: соединил оба дома пристройкой, подвел под одну крышу, и вот не прошло месяца, из двух старых домиков вышел один новый, превеселенький дом: обшит тесом, выкрашен серенькой краской, ставни зеленые, на воротах: «дом мещанки такой-то», «свободен от постоя» и в дополнение: «продается и внаймы отдается».

Один бедный чиновник, но у которого была богатая молодая жена, тотчас же купил его на имя жены и переехал в него жить. Но в доме нет житья.

Покудa домики были врозь, все было в них, по обычаю, мирно и тихо и на чердаке, и на потолке, и за печками, и в подполье; ни стены не трещали, ни мебель не лопалась, ни мыши не возились. Но едва домики соединились в один, только что чиновник с чиновницей переехали и, налюбовавшись на свое новоселье, легли опочивать, рассуждая друг с другом, что необыкновенно как дешево, за двадцать за пять тысяч купили новый дом, с иголочки, вдруг слышат в

самую полночь: поднялись грохот, треск, стук, страшная возня в земле, по потолку точно громовые тучи ходят то в одну сторону дома, то в другую.

Молодые супруги перебудили людей.

— Э-эх, почивали бы лучше в полночь-то, так и не слыхали бы ничего,— сказала кухарка, которая всегда крепко спала в законный час, а во время дня только дремала.

Но старик дворник, выслушав рассказ господ, качнул головой и решил, что дело худо: верно, домовому не понравились жильцы!

— Ах ты старая баба! — сказала кухарка.

— Я ни за что не останусь здесь жить! — вскричала перепуганная молодая хозяйка.— Ни за что!

И на другой же день муж ее выставил на воротах: «отдается внаем» — и тотчас по требованию жены должен был нанять квартиру и переехать.

Вскоре один барин, проезжая мимо, остановился, прочел: «Продается и внаймы отдается, о цене спросить у дворника»,— осмотрел дом и решил нанять.

— Так ты сходи же к хозяину, узнай о последней цене,— сказал он, давая дворнику на водку.— Ввечеру я заеду.

— Слушаю, слушаю,— отвечал дворник.

Ввечеру он опять приехал.

Это был Павел Воинович.

— Ну что?

— Да что,— отвечал дворник, который успел уже клюкнуть на данные ему деньги и не мог ничего таить на душе.— Я вот что вам доложу, дом славный, нечего сказать... славный дом...

— Да что?

— А вот что: кто трусливого десятка, тому не приходится здесь жить.

— Отчего?

— Отчего? А вот отчего: я по совести скажу... тут водятся домовые.

— Э?

— Право, ей-богу! По ночам покою нет.

— А днем? — спросил Павел Воинович.

— Днем что, днем ничего, только по ночам.

— Так это и прекрасно,— сказал барин,— я не сплю по ночам, а сплю днем, так ни я домовых, ни домовые не будут меня беспокоить.

— Э? Разве? Да оно и правда, что у господ-то все так... Ну, если так, так что ж, с богом... другой похулки на дом нельзя дать... хоть у самого хозяина спросите, он сам то же скажет.

Таким образом, несмотря на предостережение дворника, барин нанял дом, переехал. На первый же день новоселья пригласил он пять-шесть человек добрых приятелей к обеду и в ожидании гостей, похаживая себе с трубкой в руках и в халате и в туфлях, посматривал, так ли накрывают люди на стол, полон ли погребок, во льду ли шампанское, греется ли лафит, все ли в порядке. Гости-приятели съехались. Обед на славу, вино, как слеза.

Присутствовавший тут же поэт, подняв бокал, возгласил:

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель.
Где до утра слово «пей!»
Заглушает крики песен,
Где просторен крут гостей,
А кружок бутылок тесен.

— Ну, извини, любезный друг, до утра у меня пить нельзя,— сказал хозяин,— невозможно!

— Это отчего? Это почему?

— А вот почему: этот дом я нанял у самого дедушки домового с условием, чтобы ночь я проводил где угодно, только не дома. А так как скоро полночь, то я отправляюсь в английский клуб. Вы видите, господа, что причина законная. Извините.

Пушкин захохотал, по обычаю, а за ним захохотали и все. Но хозяин сказал серьезно, что он не шутя это говорит, и в доказательство крикнул: «Эй! Одеваться скорее!»

На этот барский крик никто не отозвался: оказалось, что и в передней, и в людской — ни души. Люди, уверенные, что господа занялись делом, пошли справлять новоселье.

— Ну, нечего делать, оденусь сам,— сказал Павел Воинович,— но на кого же оставить дом?

— А домовой-то,— крикнул Пушкин.

Эй, дедушко! ты не засни!
По-своему распорядися с вором,

Ходи вокруг двора дозором
И все, как следует, храни!

— Ха, ха, ха, ха!

— Ага! — раздалось с обеих сторон дома.

— Слышишь? Отозвался, — сказал поэт, — теперь можно отправляться спокойно. Слышали, господа?

— Слышали, слышали!

— Если слышали, так можно отправляться, — сказал хозяин.

И все отправились.

Только что господа со двора, а люди на двор пришли, смиренно присели в передней, как будто нигде не бывали, моргают глазами, думают, господа забавляются себе.

— Чай, до утра просидят? А?

— Фу, как спать хочется!..

— Ну, здоров пить!..

— Вот это что, так ли пьют... да я...

— Тс! черт ты! ревет!

— Что, ничего.

Только что эту беседу в передней заменило всхрапыванье и свист носом, вдруг в комнатах поднялись стук, треск, возня.

— Вася! Слышишь?

— А?

— Что это, брат, господа-то передрались, что ли, а?

— Что?

— Господа-то... слышишь, как возятся?..

— А бог с ними!

— Ну, и то.

И Вася и Петр задремали.

А между тем в дому как будто ломка идет.

Верь не верь, а вот произошла какая история. Мы уже сказали, что в обоих старых домиках было по домовому. Они преспокойно жили себе за печками и, видя, что все в порядке, хозяева благочестивы, лежали себе, перевертываясь с боку на бок. Когда Порфирий и Сашенька продали домики, пристройка и соединение их под одну крышу потревожили домовых, но они еще довольны были, воображая, что идет починка накатов и крыши. Только что постройка кончилась и чиновник, купив новенький дом с иголочки,

переехал на новоселье, домовой Сашенькина домика, с левой стороны, приподнялся в полночь осмотреть, по-прежнему ли все в порядке.

«Хм, чем-то пахнет»,— подумал он, выходя в пристроенную между домиками залу.

Домовой с правой стороны точно таким же образом отправился по дому дозором.

«Э-э-э! вот тебе раз! — подумал он, прислушиваясь.— Это что?..»

Только что он вышел в залу, вдруг что-то стукнуло его в лоб.

— Кто тут? — гукнул он.

— Кто тут? — отозвалось над его ухом.

— А?

— А?

— Кто тут?

— Хозяин.

— А-а-а! как хозяин? Я хозяин.

— Нет, я хозяин.

— Как — ты хозяин?

— Так, я хозяин.

— Нет, я хозяин! Вон!

— Вон? Сам вон!

Слово за слово, схватились, подняли такую возню, такой стук, грохот, что никак невозможно было чиновнику и особенно жене его не испугаться до смерти и не выбраться поскорей из дому.

VII

Каждую ночь домовые поднимали возню и драку на чья возьмет; но ничья не брала. То же было и в первую ночь, когда барин, нанявший дом, отправился со своими гостями в клуб.

Стало уже рассветать, когда он возвратился домой; но что-то невесел, ему нездоровилось. Ночь не спал, и день не спится. Послал за Федором Даниловичем.

— Что?

— Нездоровится.

— Э? Понимаю.

И Федор Данилович прописал что-то успокоительное.

— Это порошки?

— Порошки; принимать через час.

— Очень кстати! Я бы теперь принял лучше деньги.

— Это, конечно, лучше,— сказал Федор Данилович, отправляясь к другим пациентам.

Барин протосковал вечер; настала ночь, и он, исполняя условия с домовым, лег спать и против обыкновения заснул.

На правой половине дома, где был дом старушки, бабушки Порфирия, барин устроил свой кабинет, а вместе и спальню. Тут же за печкой жил и домовой. Только что настала полночь, он встрепенулся, как петух со сна, и собрался с новым ожесточением на бой с соперником. Вдруг слышит, кто-то всхрапнул.

— Это кто?

И домовой подкрался к спящему, приложил ухо к голове.

— Ух, какая горячая голова! — проговорил он, отступив от постели.

— Идет! — крикнул барин во сне, так что домовой вздрогнул и на цыпочках выбрался вон из комнаты.

— А? Ты еще здесь? — гукнул домовой с левой половины, столкнувшись с ним в дверях.

— А ты еще не выбрался вон? — сказал, стукнув зубами, домовой с правой половины, вцепясь в соперника.

Пошла пыль столбом. Возили, возили друг друга — уморились.

— Слушай: ступай вон добром!

— Ступай вон, как хочешь, добром или не добром, мне все равно.

— Слушай: домов много.

— Много, выбирай себе.

— Ты выбирай, я постарше тебя.

— Это откуда... я и сам счет потерял годам.

— Не считай по годам, а мерь по бородам.

— У меня обгорела в 12-м году.

— Слушай, пойдем на мир.

— На мир так на мир. Давай мне дом с богатым убранством, со всеми угодьями, дом теплый, сухой, да чтоб в доме ни одной человеческой души не жило, чтоб дом был про меня одного, про дедушку-домово-

го: я знать никого не хочу! Чтоб дом был игрушечка, а не дом.

— Видишь! Смотри, какой дом придумал: про тебя одного. А кто такой дом будет про тебя строить?

— Не мое дело.

— Молоденек надувать.

— Ну, как знаешь.

— Постой, подумаю.

— Подумай.

— Подумаю,— повторил сам себе домовой с правой стороны,— подумаю, нет ли такой хитрости на свете.

Воротился за печку и стал думать; не лежится; вылез, ходит по комнате да твердит вслух: «Хм! Игрушечка, а не дом! Игрушечка, а не дом!»

— Что? — проговорил барин во сне.

— Построить дом, чтоб был игрушечка, а не дом! — отвечал дедушка-домовой, занятый своей мыслью и продолжая ходить из угла в угол.

— Игрушечка, а не дом,— затвердил и барин во сне,— игрушечка, а не дом!

Ночь прошла, домовой ничего не выдумал, а барин встал с постели, закурил трубку, велел подавать чай и начал ходить, как домовой, задумавшись и повторяя время от времени:

— Игрушечка, а не дом!.. Что за глупая мысль пришла мне в голову, ничем не выживешь — построить в самом деле игрушечку, а не дом?.. А что ты думаешь? Построю!

Продолжая ходить по комнате, курить трубку за трубкой и рассуждать сам с собою о постройке не простого дома, а игрушечки, барин выведен был из этой думы докладом человека, что пришли из магазинов за деньгами.

— Ах, канальи! Я им велел вчера приходить! — крикнул барин.— Мошенники! Просто ждать не будут!.. Надо им еще что-нибудь заказывать... Кто там?

— Да там фортепьянный мастер, мебельщик, из хрустального магазина, да и еще из каких-то магазинов.

— Позови фортепьянного мастера.

Немец вошел.

— За деньгами?

Немец поклонился.

— Отчего ты вчера не пришел? А? — прикрикнул барин.

— Все равно,— отвечал немец.

— Нет, не все равно! Вчера был день, а сегодня другой... Ну, слушай, вот еще что мне нужно: можно сделать вот такой маленький рояль, в седьмую долю против настоящего?

— Хм! игрушка? я игрушка не делаю,— отвечал немец.

— Нет, не игрушка, а настоящее фортепьяно, в эту меру.

— Это что же такое?

— А у меня есть такой маленький виртуоз, карлик,— ему играть... Можно?

— Хм! можна, отчево не можна, все можна за деньги делать.

— Так, пожалуйста, сделай... В седьмую долю...

— В седьмая доля? Хорошо. Только эта будет стоить то же, что настоящая рояль.

— О цене я ни слова,— сказал барин,— только сделай, а потом мы и сочтемся.

— Хм,— произнес, углубившись сам в себя, немец, которого заняла уже тщеславная мысль сделать крошечный рояль на славу.— Das ist ein kurioses Werk![1] — сказал он, выходя и забыв о деньгах.

Вслед за ним явился мебельный мастер, потом приказчик из хрустального магазина. Одному заказал барин раскошную мебель рококо, в седьмую меру против настоящей, другому в ту же меру — всю посуду, весь сервиз, графины, рюмки, форменные бутылки для всех возможных вин.

Таким образом началась стройка и меблировка игрушечки, а не дома. Знакомый живописец взялся поставить картинную галерею произведений лучших художников. На ножевой фабрике заказаны были приборы, на полотняной — столовое белье, меднику — посуда для кухни,— словом, все художники и ремесленники, фабриканты и заводчики получили от барина заказы на снаряжение и обстановку богатого боярского дома в седьмую долю против обычной меры.

---

[1] Ну и забавная же работа! *(нем.)*

Барин не жалел, не щадил денег.

Вот и готов не дом, а игрушка. Стоит чуть ли не дороже настоящего; остается, по обычаю, только застраховать да заложить в Опекунский совет.

Барин и призадумался об этом.

— Странная вещь,— говорил он сам себе,— князь Василий построил же гораздо глупее игрушечку, а не дом, в котором жить нельзя; его приняли в залог, а мой, я уверен, что не примут. А между тем закладывать дом необходимо: в старину закладывали до постройки, а теперь очень умно и расчетливо закладывают после постройки. Нельзя не закладывать!

VIII

Во все время, когда игрушечка, а не дом строился и снаряжался, дедушка-домовой с правой стороны был вне себя от радости и по ночам ходил вокруг него и потирал руки.

«Вот оно,— думал он,— как ухитрился свет-то... Барин этот должен быть колдун: только что я показался, тотчас узнал; только что задумался, как бы ухитриться, а он в угоду мне и выдумал!..»

— Ну, будет дом по твоему вкусу,— говорил дедушка-домовой с правой стороны своему сопернику.

— Посмотрим,— отвечал тот.

— Увидишь,— говорил этот.

— Ну, ладно, покажи.

— Постой, не готов.

— Э, лжешь!

— Верь, право слово!

— Ну, смотри.

Прошло еще несколько времени до совершенного окончания и отделки домика. Дедушка нетерпеливо похаживает и сам дивится, как люди-то ухитрились.

— Истинно игрушечка, а не дом! Ну, надул же я его!

Наконец дом совершенно готов, дом на семи четвертях, состоит из великолепного салона и столовой — она же и бильярдная. Салон — пол парке[1], обои

---

[1] паркетный.

шелковые, мебель роскошная — люстры, лампы, канделябры, зеркала, картины, рояль, словом, все.

— Ну, пойдем! — сказал домовой с правой стороны домовому с левой и привел в кабинет. Барина, по обычаю, не было дома. Ночь светлая; месяц отразился в окно на лаковом парке домика, на бронзе, на мебели: светло, как днем.

— Ну, где же?

— А вот, полезай за мной.

— Да это стол.

— Полезай!.. Ну, видишь? Что?

— Постой, борода зацепила... А-а-а! — проговорил с удивлением домовой с левой стороны, входя в резные золоченые двери салона.

— Что? а?

— Да! ах какая бесподобная вещь! что твоя печурка!

И домовой присел на кресла, потом на диванчик, потом прилег на подушку, шитую синелью по буфмуслину.

— Ну, спасибо. А это что? гусли?.. а? славная вещь!.. вот будет мне житье... роскошь! не то что за печкой...

«В самом деле роскошь...— подумал дедушка с правой стороны.— Жаль и уступить... право жаль!..»

— Бесподобно! ай спасибо! — продолжал дедушка с левой стороны, растянувшись на диване.— Так уж ты владей всем домом, живи за которой хочешь печкой, а я уж здесь и расположусь...

— Э, нет, погоди еще: ты видишь, что в доме еще и печей нет.

— В самом деле, печей нет, как же это забыли печи выложить?

— Без печей нельзя... зима настанет, замерзнешь.

— Нельзя, нельзя; да скоро ли их сложат?

Уверив соперника, что к зиме сложат непременно, хитрый домовой спровадил его, а сам залег на диванчик и начал потягиваться и расправлять кости.

— Нет, приятель, извини: не видать тебе, как ушей, этого домика, я сам в нем буду жить... Как же это я прежде об этом не подумал? Какое спокойствие, удобства какие!.. Все как по мне делано... и зеркала какие... и все... фу, как люди-то ухитрились... Это что в засмоленных бутылках, постой-ка?..

И домовой отыскал между посудой и приборами штопор в меру, раскупорил бутылку шампанского.

— Мед!.. мед-то какой!Фу, как люди-то ухитрились!..

Буль-буль-буль... выпил всю бутылку и заморгал глазами, прилег на диван и заснул.

А между тем и барин, построив не дом, а игрушечку, тотчас же, по современному обычаю строителей, заложил его. Поутру пришли за ним и понесли на носилках к заимодавцу.

В полночь очнулся домовой. Что за стук такой? что за гам? что за свет колет глаза? Взглянул — и ужаснулся.

Народу тьма, музыка гудит; какие-то пестрые шуты и шутихи шаркают, ходят, кривляются, кричат, бормочут что-то не по-русски — страшный содом! От яркого света потемнело в глазах у домового, запрятал голову в подушку, свернулся клубком, лежит — чуть дышит.

Так прошло несколько дней. Измучился: ни дня, ни ночи покою. И днем свет, и ночью свет. Но, наконец, выдалась одна темная ночка; прислушался — кругом все тихо; присмотрелся — никого нет. Вылез из домика, побрел на цыпочках по комнатам... искать печки. Ходил-ходил — нет печки в целом доме.

«О-хо-хо! Куда это я попал!..» — подумал дедушка.

Вдруг почуял он запах печки, откуда-то несет теплом. Глядь — труба.

— Что за чудеса такие? Бывало, трубы проводят наружу, а теперь внутрь.

Влез в трубу, полз-полз, смотрит — печь, преогромная печь посреди сырого подвала.

Что было делать? Погрустил-погрустил, подумал: «Не рыть было другому ямы, сам в нее попадешь», да и прилег, с горем, в печурке привилегированной амосовской печи.

IX

Между тем, помните, Порфирий, вспылив на Сашеньку, ушел нанимать квартиру, нанял и переехал.

Дня три дулся он и не хотел показываться невесте на глаза. Наконец не выдержал: грустно стало, от-

правился к ней, подошел к дому и ужаснулся. И его дом и дом Сашеньки стояли уже без крыш, огорожены по улице общим забором.

— Братцы,— спросил он у плотников, пробравшись по наваленному лесу на двор,— не знаете ли, куда переехала из этого дома барышня?

— Барышня? А кто ж ее знает,— отвечал один плотник, потачивая свой топор на камне.

— У кого б узнать?

— А у кого ж узнать? Кто знает? а?

— А кто ж ее знает, разве у соседей спросить,— отвечали прочие.

У Порфирия облилось сердце кровью. Долго ходил он около дома, добивался у соседей, куда переехала Сашенька: никто не знает. Пошел вдоль по улице, выспрашивает у ворот каждого дома: не переехала ли сюда такая-то барышня? Нет, не переезжала. Обошел все переулки — ни слуху, ни духу.

В отчаянии Порфирий. День прошел, другой прошел — ищет, а следа нет. Избегал всю Москву; дворники гоняют его из края в край своими догадками.

— Барышня? молоденькая? Так! У нее женщина? Ну так! переезжала, да не понравилась квартира, так она вчера съехала на Разгуляй... как раз против бань.

Порфирий бежит на Разгуляй.

— Барышня? вчера? Переехала.

— Где же она тут живет?

— А вот ступайте за мной.

И угодливый дворник ведет Порфирия в мезонин, постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос.

Порфирий вздрогнул.

— Вас спрашивают,— крикнул дворник.

Дверь отворилась, вышла девушка, взглянула на Порфирия с улыбкой довольствия.

— Пожалуйте!

Порфирий, вообразив, что нашел Сашеньку, бросился в двери.

— Здесь Александра Васильевна? — спросил он, смутясь, у вышедшей из другой комнаты женщины.

— Александра Васильевна? Не знаю, жила, может быть, а теперь мы здесь живем... Пожалуйте, садитесь, прошу быть знакомым.

— Извините,— сказал Порфирий,— я тороплюсь...

И он выбежал из мезонина с тяжким вздохом обманутой надежды.

«Куда ж я пойду теперь?.. Где я ее найду?..» — думал Порфирий, повесив голову, в совершенном отчаянии, и шел бессознательно к бывшему своему дому.

Взглянув на новый дом, который стоял уже на месте двух старепьких, Порфирий вздрогнул, прислонился напротив его к забору и стоит, как опьянелый.

— Не придет ли и Сашенька взглянуть на бывшее свое пепелище?

Но уже смеркалось, а ее нет.

— Ах, барин, барин, что с вами сделалось? — говорит ему Семен, качая головой.

— Ищи ее, Семен,— отвечает ему Порфирий и идет снова на поиск, справляется по спискам жителей в частях: в списках нет.

Походит-походит и снова придет к дому: не придет ли и Сашенька взглянуть, что сталось с ее домиком!

Однажды, прислонясь к забору, Порфирий закрыл лицо и стоял, как над могилой. Вдруг раздался подле него громкий голос:

— Порфирий! Порфирий!

Он оглянулся, Сашенька бросилась ему на шею.

— Ах, счастье! — вскричал Порфирий, обнимая ее.— Теперь ни шагу от меня!

— Ах, несчастье! — проговорила, рыдая, Сашенька.

— Что с тобой? что это значит?

— Я погибла! я замужем!

Порфирий помертвел.

— Я думала, что ты забыл, оставил меня, и вышла с горя замуж.

Сашенька залилась горькими слезами.

Порфирий стоял безмолвно, смотрел в землю.

— Барышня, барышня, Александра Васильевна, матушка, пойдемте, беда будет! — сказала испуганная няня Сашеньки, приблизясь и узнав Порфирия.

— Порфирий! — повторяла Сашенька, приклонясь на грудь его.

— Сударыня, люди идут! — крикнула няня, схватив за руку Сашеньку.

— Порфирий! Порфирий! — проговорила Сашенька.

Няня увлекла ее. Порфирий замер.

X

Спустя несколько месяцев известный уже нам барин, нанимавший дом, составившийся из двух старых, сидел однажды, по обычаю, против окна, с трубкой и стаканом чаю.

В эту минуту он смотрел во внутренность себя, но глаза его были устремлены на улицу. Казалось, что он рассматривает архитектуру дома и забора, обонпол[1] улицы.

Барин был близорук, и потому все проходящие казались ему движущимися пятнами. Но вот несколько уже дней сряду обратило его внимание постоянное пятно против забору, которое двигалось на одном месте.

Это его побеспокоило: «Это уже не наружный предмет, это, должно быть, что-нибудь в глазу», — думал он.

Кстати, приехал Федор Данилович.

— Федор Данилович, посмотрите-ко, не бельмо ли у меня в глазу?

— А что?

— Да вот, в комнате ничего, а как посмотрю на свет, против чего-нибудь белого, тотчас является огромное пятно, потом пройдет, потом опять явится.

— Глаз чист, никакого бельма нет.

— Не понимаю!.. Вот против забора опять пятно.

Федор Данилович взглянул на улицу.

— О! Понимаю!.. Так это-то у вас как бельмо в глазу! Славное бельмо.

— Что такое?

— Бесподобное! Дайте-ка лорнет... чудо!..

— Что такое?

— Прелесть!..

— Что такое? — вскричал барин, схватив лорнет из рук Федора Даниловича и также смотря на ули-

[1] противоположную сторону.

цу.— Ах, скажите пожалуйста!.. молоденькая женщина!

— Не сводит глаз с окна! Браво!.. Поздравляю!.. Ну, сглазили, ушла!

— Право, я ничего не знаю,— сказал барин,— ушла!

— Верно, придет опять... Прощайте, желаю успеха.

— Куда?

— Мне надо ехать. А где же дом? — спросил вдруг Федор Данилович, приостановясь в зале.

— В закладе.

— Вот тебе раз!

— Будет: и вот тебе два, три, четыре и т. д., благо есть теперь что закладывать.

Федор Данилович уехал. Барин сел у окна, вооружился лупой, смотрит на белый забор, как астроном на небо в ожидании прохождения нового светила.

— Вот она! — вскричал барин, вскочив с места.— Эй! Васька, Петр! Одеваться.

Оделся и на улицу, прямо к забору, где стояла незнакомка.

«Она еще тут»,— думает барин, прищурившись и подходя к забору.— Что ж это такое? — спросил он сам себя, всматриваясь в лорнет.

Он подошел еще ближе, смотрит: перед ним молодой человек и молоденькая женщина в черном платье стоят как прикованные друг к другу объятием; казалось, поцелуй радостной встречи спаял их уста навек.

— А-а-а! — проговорил барин почти над их ухом.

Они очнулись и с испугом взглянули на барина.

— Ничего, ничего, не пугайтесь,— сказал он,— я только посмотрел, не бельмо ли у меня в глазу.

— Порфирий, пойдем скорей,— проговорила молоденькая женщина, взяв за руку молодого человека, который совершенно обеспамятел,— пойдем, Порфирий!

И они скорыми шагами удалились.

— А-а-а! — повторил барин.— Это очень мило.

1850

КОММЕНТАРИИ

М. Муравьев

ОСКОЛЬД

Повесть, почерпнутая из отрывков древних готфских скальдов

Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — русский писатель, историк, деятель просвещения. Активный сотрудник Вольного собрания любителей русского слова, в трудах которого печатались его ранние произведения.

Повесть М. Н. Муравьева «Оскольд» впервые была опубликована посмертно в собрании сочинений писателя, изданном в 1810 г. М. Н. Карамзиным.

Стр. 21. *Варяги* — древнерусское название жителей Скандинавии. На Руси в IX—XI веках, как свидетельствуют «Русская правда», летописи и другие источники, было немало варяжских воинов-дружинников.

Готфы — готы, племена восточных германцев. В первые века нашей эры заселяли побережье Балтийского моря и область нижнего течения Вислы.

Один — верховное божество в древнегерманской мифологии, бог ветра и бурь, покровитель живых и павших героев и волшебник.

Скальды — поэты-певцы древней Норвегии и Исландии. Творчество древнейших норвежских скальдов относится к IX веку, в Исландии скальды появляются позднее: в X—XII веках.

Артус или Артур — овеянный легендами предводитель западнобританских кельтских племен, возглавивший их борьбу с предводительствуемыми Цердиком племенами англосаксов. По народному преданию, Артур жил, окруженный несколькими сотнями блестящих рыцарей, двенадцать наиболее отважных из которых в дни торжеств и ответственных военных решений восседали вместе с ним за круглым столом.

Альбион — древнее название британских островов (без Ирландии).

Стр. 22. *Нейстрия* — западная часть франкского королевства Меровингов, охватывавшая область между реками Шельдой и Луарой.

Оскольд, или Аскольд — согласно летописным преданиям, киевский князь (правил во второй половине IX века), совершивший еще до легендарного призвания варягов первый поход на Константинополь. Летопись рассказывает, что Аскольд вместе со своим «соправителем» в Киеве, князем Диром, был убит новгородским князем Олегом (ок. 882 г.), захватившим княжеский престол в Киеве и объединившим новгородские и киевские владения.

Борисфен — древнегреческое название Днепра.

Кривичи — племенное объединение восточных славян (VI— IX вв.), занимавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и Западной Двины, а также южную часть бассейна Чудского озера.

Стр. 23. *Добрыня*— дядя и воевода киевского князя Владимира I Святославича. Постоянный участник его военных походов. Был наместником в Новгороде, «крестил» новгородцев. С летописными свидетельствами о воеводе Добрыне связаны многие народные легенды о Добрыне Никитиче.

Стр. 24. *Вадим*— Вадим Храбрый. Некоторые древнерусские летописцы сообщают, что вскоре после так называемого «призвания варягов» между новгородцами оказалось немало недовольных правлением варяжского князя Рюрика. Предводительствовал ими новгородец Вадим, который в разгоревшейся борьбе за власть был вскоре убит Рюриком. В современной научной литературе существуют разные мнения о степени достоверности т. н. «легенды о призвании варягов». Изучение всей совокупности дошедших до нас археологических и письменных источников свидетельствует, что древнерусское государство было основано не варягами, а славянами.

Стр. 25. *Синеус*— легендарный брат Рюрика, прибывший в 862 г. в новгородские владения. Синеус княжил в Белоозере — центре заселения веси. Умер в 864 году.

Рогдай— один из русских богатырей, упоминаемый в Никоновской летописи «яко наезжаще сей на триста воин».

Меря— одно из восточнофинских племен Поволжья. Согласно летописным свидетельствам, «первые насельници в Ростове меря, в Белоозере — весь».

Стр. 26. *Валгалла*— в скандинавской мифологии место пребывания воинов, павших на войне. Валгалла изображалась как окруженный лесом дворец, перед фронтоном которого висел символ войны — волк, а над ним восседал орел (священное животное божества Одина).

Стр. 27. *Рюрик*— согласно древнейшей русской летописи — так называемой «Повести временных лет»,— первый русский князь, вместе со своими братьями Синеусом и Трувором призванный на княжение в Новгород в 862 г. «из варяг» для прекращения «внутренних усобиц». Как повествует летопись, Рюрик сначала «срубил город» (т. е. построил крепость) в Ладоге, а позже овладел Новгородом. После смерти Рюрика (879 г.) князем в Новгороде стал варяжский военачальник Олег. Позднейшая легенда называет его родственником Рюрика.

Тирас—древнегреческое название Днестра. Согласно Геродоту, Тирас являлся рубежом Древней Скифии.

Сарматы— прежде всего имя, обозначающее отдельную народность, а также одновременно и географическое название, под которым в разное время и у различных исторических авторов подразумевались разные народы и регионы. По Геродоту, сарматы жили к востоку от Дона, в то время как их соседи - скифы населяли более западные районы Северного Причерноморья.

Истр— древнее название реки Дунай, известное грекам со времен Геродота (VIII век до н. э.).

Стр. 28. *Понт*— древнегреческое название Черного моря.

Н. Полевой

ПОВЕСТЬ О СУЗДАЛЬСКОМ КНЯЗЕ СИМЕОНЕ

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — известный русский журналист, писатель и историк.

Повесть «Симеон, князь Суздальский» издана в 1828 году. В основе сюжета лежат подлинные события конца XIV в., обусловленные борьбой сына Дмитрия Донского великого князя Василия I за присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества.

Рассказывая о сведении в 1392 г. с «княжеского стола» нижегородского великого князя Бориса Константиновича (дяди кн. Семена Суздаль-

ского) и утверждении в Нижнем Новгороде власти Василия I, Полевой, как правило, строго придерживается летописной версии. Более вольно излагается в повести последующая судьба кн. Семена Суздальского, о котором в летописях почти не сохранилось известий. О событиях, связанных с присоединением к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, см. в книге: Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. (М., 1984, с. 229—231).

Стр. 38. *Князь Семен* (Симеон) Суздальский — сын нижегородского великого князя Дмитрия. После смерти отца (в 1383 г.) вел совместно со своим братом Василием длительную борьбу с дядей (младшим братом отца), князем Борисом Константиновичем, бывшим в 1383—1392 гг. на великом княжении в Нижнем Новгороде, за восстановление своих наследственных прав на нижегородский «княжеский стол». В борьбе активное участие принимают Золотая Орда и Москва, первоначально поддерживавшая претензии князя Семена.

Стр. 39. *Князь Борис Константинович* — городецкий князь, в 1383—1392 гг. великий князь нижегородский. Сотрудничал с татарами, вел активную антимосковскую политику, чем вызвал недовольство широких кругов нижегородского боярства и купечества, связанного с Москвой.

Князь Дмитрий (Фома Константинович) — князь суздальский, одновременно великий князь владимирский (1360—1362) и великий князь нижегородский (1363—1383). Основные вотчинные владения князя Дмитрия находились в Суздале.

Стр. 43. *Василий I Дмитриевич* (1371—1425) — великий князь московский с 1389 г., старший сын Дмитрия Донского, продолжал политику отца по объединению вокруг Москвы русских земель. В 1392 г. присоединил к Московскому княжеству суздальско-нижегородские земли путем получения от золотоордынского хана Тохтамыша ярлыка на нижегородское великое княжение и посылки в Нижний Новгород своего наместника. Вел успешную борьбу против татарской и литовской агрессии.

Стр. 68. *Тохтамыш* — хан Золотой Орды. В 1380 г., после разгрома в Куликовской битве татарских войск золотоордынского темника Мамая воцарился в Орде. В 1382 г. обманным путем захватил и сжег Москву. В отношении Нижегородского княжества проводил крайне вероломную, двурушническую политику, постоянно стравливая нижегородских и великих московских князей. В 1389 г. напал на среднеазиатские владения Тимура, но потерпел полное поражение. В 90-х годах потерял все свои владения восточнее Волги и бежал в Литву.

Тимур (европ.— Тамерлан) (1336—1405) — среднеазиатский полководец, эмир (1370—1405) созданной монголо-тюрками военно-феодальной державы в Средней Азии. Вел упорную и многолетнюю борьбу с ханом Золотой Орды Тохтамышем. После трех больших походов (1389, 1391, 1394—1395) Тимур разгромил Золотую Орду и разграбил ее столицу Сарай-Берке.

Стр. 72. *Киприан* — митрополит киевской и всея Руси. Прибыл в Москву в 1390 г. при вокняжении Василия I. Пользовался большим влиянием на молодого великого князя.

Н. Карамзин

МАРФА-ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — выдающийся русский писатель и историк.

Повесть Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» впервые напечатана в «Вестнике Европы» в 1803 году. Работая над повестью, Карамзин тщательно изучает древнерусские летописи, известия которых о присоединении Новгорода к Москве в 1471 году и послу-

жили главным источником для написания этого произведения. Реальным историческим лицом является и центральный персонаж — Марфа-посадница, вдова новгородского посадника Исаака Борецкого, возглавившая после смерти мужа антимосковскую партию в Новгороде, и другие герои повести.

Идеализация новгородского «народоправства», вечевого строя IX—XV вв.— характерная черта исторических взглядов Карамзина. Позднее они оказали влияние на писателей-декабристов. В 40-е годы XIX века выводы Карамзина, бесспорно, использовал Герцен в своем апофеозе новгородских «вечевых начал» и осуждении «московского деспотизма» XV—XVII веков.

Стр. 97. *Иоанн Васильевич* — Иван III Васильевич, великий князь московский с 1462 г. (1440—1505 гг.), старший сын Василия II Темного. Настойчиво проводил политику присоединения русских земель к Московскому великому княжеству. При нем к Москве были присоединены Ярославское (1463 г.), Ростовское (1474 г.), Тверское великое княжество (1485 г.), вятские и часть рязанских земель. После войн Ивана III с Литовским великим княжеством к Москве отошел ряд западнорусских земель (Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск). В 1471 году Иван III с московской «ратью», разбив новгородское ополчение в битве на р. Шелони, вступил в Новгород, фактически ликвидировав независимость Новгородской вечевой республики. Окончательная ликвидация «новгородской вольницы» произошла в 1478 году.

Стр. 98. *Катон* — Катон Старший, Марк Порций (234—149 гг. до н. э.), известный политический деятель и писатель Древнего Рима. Убежденный республиканец, Катон был против уступок Цезарю в борьбе последнего за власть в Риме. После того как стало ясно, что дело республики проиграно, Катон покончил жизнь самоубийством, пронзив себя мечом.

Стр. 99. *Князь Холмский* — князь Данила Дмитриевич Холмский. Принадлежал к родовитому московскому боярству. Стал одним из виднейших полководцев великого московского князя. В походе Ивана III на Новгород в 1471 году Д. Д. Холмский вместе с Ф. Д. Пестрым-Стародубским выступил во главе крупных военных сил, участвовал в битве на реке Шелони.

Олег — первый киевский князь из рода Рюрика. После смерти Рюрика (879 г.) Олег три года оставался в Новгороде, а затем предпринял поход на юг, достиг Киева и, как гласят летописные свидетельства, хитростью вызвал из города и умертвил правивших тогда в Киеве князей Аскольда и Дира. Вскоре Олег сделал Киев столицей новообразованного русского государства. В 907 г. Олег предпринял морской поход на Константинополь, завершившийся заключением договора с византийским императором, известного под названием «договора Олега с греками» и упорядочившего взаимоотношения Древней Руси с могущественной Византией.

Стр. 100. *Святослав* — великий князь киевский, сын великого князя Игоря и княгини Ольги. Летописные свидетельства относят рождение Святослава к 942 году. В историю вошли успешные военные походы Святослава против хазар, а также его упорная борьба с Болгарией и Византией. Святослав был убит в 972 г. в сражении с печенегами.

Цимисхий — Иоанн I Цимисхий, византийский император с 969 г. Происходил из знатного малоазийского армянского рода Куркуасов. Известен тем, что пошел на ряд принципиальных уступок византийской церкви. Иоанн Цимисхий вел долгую борьбу с Болгарией и войсками киевского князя Святослава, в результате которой ему удалось подчинить своей власти северо-восточную Болгарию. Умер в 976 г.

Владимир — великий князь киевский, сын князя Святослава. Летописные сказания о нем носят в значительной мере легендарный характер. В упорной борьбе за власть в Киеве, разгоревшейся между ним и его братом Ярополком, Владимиру благодаря опоре на мощное новгородское войско удалось одержать победу. В 988 г. Владимир принял решение об

утверждении православного христианства в качестве официальной религии в пределах своих владений. Умер в 1015 г.

Ярослав — великий князь киевский, сын Владимира Святославича, прозванный Мудрым. Окончательно утвердился в Киеве в 1019 г., после победы в междоусобной борьбе с братом, Святополком Окаянным. При Ярославе Мудром значительно укрепилась государственная власть в Киевской Руси. Во время правления Ярослава в Киеве было развернуто широкое строительство (Софийский собор и др.), переведен ряд византийских и других книг на церковнославянский и древнерусский языки, активно развивалось летописание.

Стр. 101. *Казимир* — польский король, Казимир III Великий. Занял королевский престол в 1333 г., последний из династии Пястов. Провел ряд важных внутренних реформ (денежная реформа, учреждение самостоятельных высших судов «немецкого права»). Казимир III прекратил борьбу с Тевтонским орденом ценой уступки ордену Восточного поморья. В 1349—1352 гг. Казимир захватил Галицкую Русь, а позже часть Волыни.

Стр. 102. *Дмитрий* — князь Дмитрий Иванович Донской, являлся великим князем московским с 1359 г. В 1368 и 1370 гг. войска Дмитрия Донского отразили нападение на Москву литовского великого князя Ольгерда. В 1378 г. на р. Воже Дмитрий Донской разгромил крупный татарский военный отряд, а в 1380 г. возглавляемые им объединенные русские военные силы разбили войско татарского темника Мамая. Это крупнейшее сражение, в котором Дмитрий Иванович проявил незаурядный талант полководца, вошло в историю под названием Куликовской битвы. За победу в ней Дмитрий Иванович и был прозван Донским.

Стр. 107. *Александр* — князь Александр Невский. В 1240 г. разбил шведов во главе новгородского войска в битве на р. Неве, затем в 1242 г. одержал крупнейшую победу в битве с ливонскими рыцарями, стремившимися покорить Псковскую и Новгородскую земли. Это сражение известно под названием Ледового побоища.

Сартак — сын татарского хана Батыя, управлял ордой вместо своего немощного отца.

Стр. 108. *Ахмат* — хан Большой Орды с 1465 по 1481 г. В 1472 г. заключил военный союз с польским королем Казимиром IV, направленный против великого московского князя Ивана III. В 1476 г. Ахмат потребовал от Ивана III признания вассальной зависимости от Большой Орды. Стремясь военной силой подтвердить свои притязания, в 1480 г. предпринял поход на Москву, который окончился полным провалом.

Стр. 118. *Исаак Борецкий* — новгородский посадник Исаак Андреевич Борецкий, второй муж Марфы Борецкой, избран посадником до 1428 г., умер в 1460-х годах.

А. Марлинский

ИЗМЕННИК

Бестужев (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — русский писатель-декабрист.

Совместно с Рылеевым А. А. Бестужев издавал знаменитый в литературной истории России альманах «Полярная звезда», где опубликовал повесть «Замок Нейхгаузен», «Роман в письмах» и другие произведения.

Повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Изменник» была впервые напечатана в альманахе «Полярная звезда» в 1825 г. Содержание повести посвящено «смутному времени» в России в начале XVII в., когда войска польско-литовского ставленника Лжедмитрия II («тушинского вора») осадили в 1608—1609 гг. Москву, где находился сидевший тогда на престоле боярский царь Василий Шуйский, и захватили многие русские города.

Помимо руководителей польской шляхты, в окружении Лжедмитрия II — его ставка располагалась в селе Тушине под Москвой — находились некоторые изменившие Василию Шуйскому бояре и воеводы. Среди них упоминается в источниках князь А. И. Ситцкий. Факт перехода на сторону Лжедмитрия II отдельных представителей этого известного боярского рода и был, видимо, использован писателем для придания большей художественной реальности повествованию, в котором он довольно точно следует исторической канве подлинных событий (в основном в изложении и интерпретации Н. М. Карамзина в его «Истории государства Российского»). Правда, сам главный герой повести князь Владимир Ситцкий и его младший брат Михаил — вымышленные художественные образы.

Обращение Бестужева-Марлинского к событиям «смутного времени» отнюдь не случайно. Иностранная интервенция вызвала небывалый подъем национального самосознания и патриотизма в России, созвучный настроениям широких слоев русского общества после Отечественной войны 1812 года.

Стр. 149. *...кличет себе из Польши царей...* — московские бояре, недовольные правлением Василия Шуйского, вели с польским королем Сигизмундом III тайные переговоры о приглашении на русский престол его сына — королевича Владислава.

...вор Сапега обложил Троицу... — Ян-Петр Сапега, усвятский староста и родственник литовского гетмана Льва Сапеги, был одним из главных советчиков и военачальников при Лжедмитрии II. В сентябре 1608 г. поляки под его командованием начали осаду Троице-Сергиева монастыря под Москвой. Бежавшее под защиту крепостных стен монастыря окрестное население, монахи, военный гарнизон героически отбивали все атаки поляков. Осада была снята лишь в январе 1610 г.

Стр. 152. *Шуйский* — князь М. В. Скопин-Шуйский (1586—1610), племянник царя Василия Шуйского, талантливый военачальник, успешно боровшийся с вторжением в пределы Русского государства польских войск. Он возглавлял русские полки, направленные из Новгорода на освобождение Москвы. В марте 1610 г. Скопин-Шуйский освободил Москву от польско-тушинской осады.

Стр. 154. *Иван Хворостин* — князь И. А. Хворостин, дворянский публицист первой половины XVII в. В годы «смуты» был связан с окружением Лжедмитрия I. При царе Василии Шуйском подвергался гонениям. Сумел возвыситься при Романовых, но вскоре был сослан за религиозное вольнодумство. Раскаявшись и вернувшись в Москву, написал свою известную историческую повесть «Словеса дней и царей и святителей Московских, еже есть в России», главная цель которой — оправдать свое поведение в годы «смутного времени» и свою связь с Лжедмитрием I и поляками. Повесть была известна Бестужеву-Марлинскому и оказала явное влияние на изображение им предательской роли Хворостина в переходе на сторону поляков князя Владимира Ситцкого. Особенно созвучны ей воспроизводимые писателем «прелестные речи» Хворостина.

Стр. 156. *Лисовский* — польский полковник Александр-Иосиф Лисовский, политический авантюрист, стоял во главе войск Лжедмитрия II, захвативших и разоривших Коломну и ряд других московских городов.

Стр. 157. *Шуйский* — князь Василий Иванович Шуйский (1552—1612), с 1606 по 1610 г. был русским царем. Ставленник наиболее реакционных боярских кругов.

Стр. 159. *...на столах Годунова и Дмитрия...* — имеются в виду царские пиры при Борисе Годунове (1598—1605) и Лжедмитрии I (1605—1606).

Ф. Глинка

ЗИНОВИЙ БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ИЛИ ОСВОБОЖДЕННАЯ МАЛОРОССИЯ

Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — писатель-декабрист. Литературную известность приобрел прежде всего как поэт и автор военных мемуаров. Его стихотворения «Тройка» («Вот мчится тройка удалая»), «Не слышно шума городского» и др. стали народными песнями.

Повесть «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» впервые отдельно напечатана в «Соревнователе Просвещения» (1819, тт. V и VI). Произведение относится к числу ранних историко-художественных опытов писателя. Вслед за знаменитыми «Письмами русского офицера о Польше, Австрийских владениях в Венгрии с подробным описанием похода россиян против французов в 1805 и 1806 годах» (изданы в 1808 г.) оно принесло ему всероссийскую известность. Следует особо подчеркнуть, что вместе с этим произведением Ф. Глинки в русскую историко-художественную литературу впервые по-настоящему вошла украинская тема.

Стр. 171. *Хмельницкий Зиновий Богдан* (ок. 1595—1657) — гетман Украины, крупный государственный деятель и полководец, возглавлявший освободительную борьбу украинского народа против панской Польши в 1648—1654 гг. О юных годах Хмельницкого сохранилось очень мало данных. Известно, что он родился в семье мелкого украинского шляхтича, происходившего из рода Богданов, разорившихся молдавских бояр XV в. Первоначальное образование получил в киево-братской школе, а затем, согласно польским известиям, учился в иезуитском колледже во Львове. Участвовал в польско-турецкой войне 1620—1621 гг., во время которой под Цецорой был убит его отец, а сам он попал в плен к туркам и два года прожил в Константинополе. Получив свободу, начал устраивать морские походы запорожцев на турецкие города. В 30—40-х годах участвовал в борьбе украинского казачества против польского господства, возглавлял украинские войска. В 1648 г. избран гетманом и поднял общенародное восстание против Польши, завершившееся воссоединением Украины с Россией (1654).

Стр. 174. *Вильгельм Телль* — легендарный народный герой Швейцарии в период борьбы страны за независимость от господства Габсбургов в начале XIV века.

Густав Ваза (1523—1560) — шведский дворянин, возглавивший народную борьбу против господства датских феодалов и впоследствии ставший королем Швеции под именем Густава I.

Вильгельм Нассау — Вильгельм I Оранский, первый штатгальтер Нидерландов, основатель королевского рода Оранских. Возглавлял борьбу Нидерландов против испанского владычества.

А. Корнилович

АНДРЕЙ БЕЗЫМЕННЫЙ

Корнилович Александр Осипович (ок. 1795—1833) — талантливый писатель-декабрист, историк.

Повесть «Андрей Безыменный» написана им во время заключения в Петропавловской крепости. Впервые напечатана в Петербурге в 1832 году отдельной книгой, без указания имени автора. То, что авторство повести «Андрей Безыменный» принадлежит Корниловичу, явствует из письма Корниловича А. Х. Бенкендорфу от 25 ноября 1825 года (Литературный архив, т. 1, 1938, с. 418). Об историко-художественных задачах повести подробно говорится в письме автора брату, М. О. Корниловичу, написанном в ноябре 1831 года.

Описываемый в повести случай с Андреем Безыменным (он же дворянин Горбунов), которого путем подлога пытались лишить дворянского звания и отобрать в пользу кн. Александра Меншикова его родовое имение и которого только личное вмешательство царя спасло от позора и разорения, наглядно характеризует быт и нравы в России петровского

времени. Ближайшее окружение Петра I изображено в повести весьма реалистично. Очевидно, как историк Корнилович ставил перед собой задачу раскрыть перед читателем лицо петровской эпохи, «живописать» ее в художественных красках. Эта задача была им талантливо выполнена. Вместе с тем следует учитывать, что, стремясь быть предельно исторически точным, Корнилович все же не мог выйти за рамки исторических представлений своего времени.

Стр. 227. *...государыни Натальи Кирилловны* — царица Наталья Кирилловна, вторая жена царя Алексея Михайловича. От этого брака родился царевич Петр, впоследствии царь Петр I. Наталья Кирилловна принадлежала к дворянскому роду Нарышкиных, не отличавшемуся в допетровской Руси ни особой знатностью, ни заслуженностью.

Стр. 228. *Государь Алексей Михайлович* — русский царь, сын Михаила Федоровича Романова, первого представителя этого рода на царском престоле (род. в 1629 г., умер в 1676 г.). Для своего времени Алексей Михайлович был достаточно образованным человеком, непосредственно участвовал в ряде военных походов (под Смоленск, Вильно, Ригу).

Князь Меншиков — Александр Данилович Меншиков, фаворит Петра I и Екатерины I, открывший собой ряд русских временщиков XVIII века. По рождению сын придворного конюха, с 1686 г. денщик Петра I, Меншиков добился высочайших титулов и почестей: титула светлейшего князя (1702 г.) и звания генералиссимуса (1727 г.).

Участвовал в Азовских походах Петра в 1697—1698 гг. Во время Северной войны командовал крупными военными силами. Одержал ряд побед над шведами: 18 октября 1706 г. при Калише, 27 июня 1709 г. Меншиков в Полтавском сражении разбил корпус генерала Росса, поражение которого во многом предрешило победу русских войск.

Вместе с тем Меншиков отличался непомерным корыстолюбием и тщеславием, особенно развившимися в последние годы его жизни. После смерти Петра I, 28 января 1725 г., он способствовал возведению на престол Екатерины I, став реальным правителем России. После смерти Екатерины в 1727 г. старая родовитая знать во главе с князьями Долгорукими и Голицыными сумела отстранить Меншикова от власти. По обвинению в государственной измене и хищении казны Меншиков был сослан с семьей в Березов, где и умер в 1729 г.

Стр. 272. *Княгиня Мария Андреевна Меншикова, урожденная Арсеньева* — в действительности супругой Меншикова была Дарья Михайловна Арсеньева. При верности основных данных о ней, сообщаемых в повести, имя является вымышленным.

Стр. 273. *Екатерина* — Екатерина Алексеевна (Екатерина I), российская императрица (род. в 1684 г., ум. в 1727 г.), дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского, до принятия православия — Марта Скавронская. Попав в русский плен в августе 1702 г., вскоре стала фактической женой Петра I. Церковный брак был оформлен в 1712 г., в 1724 г. состоялась коронация. После смерти Петра I Екатерина была провозглашена императрицей. Не обладая достаточным образованием, Екатерина не занималась государственными делами. Номинальная власть была предоставлена Верховному тайному совету, реальная находилась в руках А. Д. Меншикова.

К. Масальский

РЕГЕНТСТВО БИРОНА

Масальский Константин Петрович (1802—1861) — русский писатель и журналист. Является автором известных в свое время исторических романов и повестей: «Терпи, казак,— атаманом будешь» (1829), «Стрельцы» (1832), «Русский Икар», «Осада Углича» (1841), «На ледяных горах» (1848)

и других. Масальскому принадлежит также первый русский перевод «Дон Кихота» М. Сервантеса (1838).

Публикуемая повесть К. П. Масальского «Регентство Бирона» посвящена событиям, последовавшим за смертью 17 октября 1740 г. императрицы Анны Иоанновны, когда, согласно ее завещанию, регентом при двухмесячном наследнике престола Иване VI Антоновиче (сыне ее племянницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейгского) был назначен фаворит императрицы курляндский герцог Э. И. Бирон. Его поддержала укрепившаяся при дворе Анны Иоанновны немецкая знать, в руках которой находились важнейшие посты в армии и государственном аппарате, а также связавшая себя с Бироном часть высшей русской бюрократии (генерал-прокурор кн. Н. Ю. Трубецкой, кабинет-министры кн. А. М. Черкасский, Г. И. Головин, А. П. Бестужев-Рюмин), надеявшаяся использовать нового регента в своих интересах. Но в так называемой «немецкой партии» не было единогласия. Давала о себе знать и ненависть к засилью немцев среди широких слоев русского дворянства и купечества. Регентство Бирона продолжалось три недели и проходило в ожесточенной борьбе между регентом и его скрытыми и явными врагами.

Подробное описание политической борьбы в придворных кругах и гвардии во время регентства Бирона приводится в труде С. М. Соловьева «История России» (т. XI, М., 1963, гл. I). Марксистская оценка «бироновщины» дана в «Очерках истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти XVIII в.» (М., 1957, с. 256—266).

Стр. 299. *Анна Ивановна (Иоанновна)* (1693—1750) — русская императрица в 1730—1740 гг., дочь царя Ивана V Алексеевича, племянница Петра I. Время ее правления характеризуется засильем при дворе немецкой знати и глубокой политической реакцией.

Стр. 300. *Бирон Эрнст Иоганн* (1690—1772), (граф с 1730) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, курляндский дворянин. С 1718 г. находился при дворе Анны Иоанновны в Курляндии. Имел на нее огромное влияние, которое особенно возросло после ее избрания в 1730 г. на русский престол. В 1737 г. при содействии императрицы был избран герцогом Курляндии. Отличался крайней жестокостью и корыстолюбием. В 1740 г. регент империи. В ноябре 1740 г. был свергнут гвардией и отправлен в ссылку. Возвращен из ссылки при Петре III. Екатериной II восстановлен в правах герцога Курляндского.

Стр. 305. *Миних Бурхард Христофор* (1683—1767) — фельдмаршал русской армии. По происхождению немец. На службе в России с 1721 г. Командовал русской армией в войне с Турцией 1735—1739. Отличался крайней жестокостью в обращении с солдатами. В 1740 г. организовал арест Бирона и передачу власти Брауншвейгской фамилии. При императрице Елизавете находился в ссылке.

Стр. 345. *Бирон Карл* — старший брат регента. Служил в польских войсках. В 1730 г. вызван братом в Россию. Командовал гвардией. После свержения Э. И. Бирона и прихода к власти имп. Елизаветы сослан в Ярославль.

Стр. 353. *Анна Леопольдовна* (1718—1746) — внучка царя Ивана V Алексеевича (старшего брата Петра I), «правительница» России в 1740—1741 гг. за малолетием ее сына Ивана VI Антоновича, родившегося от брака с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским в октябре 1740 г. При ней фактически власть находилась в руках придворной партии. Свергнута гвардией в ноябре 1741 г. Умерла в ссылке.

Стр. 364. *Волынский Артемий Петрович* (1689—1740) — русский государственный деятель, сторонник политики Петра I. При Анне Иоанновне, расположением которой он сначала пользовался, выдвинул ряд проектов государственных и политических реформ, добивался свержения немецкой придворной клики (т. н. «дело Волынского»). По выдвинутому

Бироном обвинению в подготовке государственного переворота был арестован и казнен в 1740 году.

Стр. 386. *Остерман Андрей Иванович* (Генрих Иоганн), (1686—1747)—государственный деятель и дипломат. Выходец из Вестфалии. Приглашен на русскую службу Петром I. Содействовал возведению на престол Анны Иоанновны. После возведения на престол в 1741 г. Елизаветы был арестован за сокрытие завещания Екатерины I и сослан в Березов.

Стр. 403. *Манштейн Христофор*—подполковник, адъютант фельдмаршала Миниха, командовал отрядом гвардейцев, арестовавших Бирона. Автор «Записок», где излагает организацию заговора и арест Бирона (см. Записки Манштейна о России. СПб., 1875).

А. Пушкин

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — великий русский поэт и писатель.

Замысел художественной повести, посвященной времени крестьянского восстания Емельяна Пугачева, возник у Пушкина в начале 30-х годов. Повесть была вчерне готова к осени 1834 года. Но окончательно работа над «Капитанской дочкой» была закончена Пушкиным лишь осенью 1836 года. В письме цензору П. Корсакову, после представления повести в цензуру, Пушкин писал, что «Капитанская дочка» в целом основана на слышанном им предании о помиловании Екатериной II одного из офицеров, связанного с «пугачевскими шайками» в период восстания, отмечая, впрочем, что он допустил в этом произведении значительную долю художественного вымысла.

Первая публикация «Капитанской дочки» состоялась в «Современнике» в 1836 году (т. IV). В этой публикации, по цензурным соображениям, Пушкиным была изъята особая глава, которая в черновике рукописи именовалась «Пропущенной главой» и была посвящена восстанию крестьян в симбирском имении отца Гринева.

Стр. 415. *Эпиграф*—взят из комедии Княжнина «Хвастун» (1786).

Стр. 417. Придворный календарь — издание, ежегодно появлявшееся с 1745 г. и содержавшее список придворных служащих и лиц, награжденных орденами.

Стр. 430. *Андрей Карлович*—оренбургским губернатором был Иван Андреевич Рейндорф. Он и послужил прототипом изображенного в повести персонажа.

Стр. 432. *Взятие Кистрина и Очакова* —осада Кюстрина (город не был взят русскими войсками) имела место в 1758 г., взятие Очакова в 1737 г.

Стр. 433. *Швабрин*—прототипом этого образа послужила реальная фигура, гвардейский офицер Михаил Александрович Шванвич, перешедший на сторону Пугачева.

Стр. 441. *«Капитанская дочь»*—народная песня из собрания народных песен И. Прача (1790).

Стр. 442. *Воинский артикул*—законы о военных преступлениях, изданные в 1716 г. и действовавшие до 1839 г.

Стр. 484. *Лизавета Харлова*—жена коменданта Нижнеозерной крепости майора Харлова. О ее судьбе Пушкин пишет в «Истории Пугачева» (гл. 2 и 3).

Стр. 487. *Берда*—Бердская слобода, главная ставка Пугачева зимой 1773 г., во время осады Оренбурга.

Стр. 489. *Белобородов Иван Наумович*—один из главных сподвижников Пугачева, отставной артиллерийский капрал, поднял восстание среди уральских горнозаводских рабочих и организовал изготовление пушек для восставших. Присутствие Белобородова в Бердской слобо-

де не соответствует действительности, поскольку впервые он встретился с Пугачевым позднее — лишь в начале мая 1774 года в Магнитной крепости.

Афанасий Соколов (Хлопуша) — один из главных помощников Пугачева, произведен им в полковники. В начале восстания находился в Оренбургской каторжной тюрьме, откуда был послан Рейндорфом к Пугачеву с «увещевательным манифестом», но сразу перешел на его сторону.

Стр. 494. *Сражение под Юзеевой* — поражение, нанесенное повстанцами отряду Кара 8 ноября 1773 г.

Стр. 506. *Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева...* — сражение произошло 22 марта 1774 г.

Взятие Казани — город был захвачен отрядами Пугачева 12 июля 1774 г. В это время восстание перекидывается на правобережье Волги, где главной силой движения становятся уже не казаки, а крепостные крестьяне. Восстание охватывает Казанскую, Симбирскую и соседние им губернии.

Зурин получил повеление переправиться через Волгу... — в этом месте Пушкин хотел поместить специальную главу (именуемую «Пропущенной главой»), которая сохранилась лишь в черновом варианте.

Стр. 512. *Волынский и Хрущев* — в 1740 г. были казнены по обвинению в попытке организации государственного переворота, направленного против придворной клики Бирона.

Н. Бестужев

«РУССКИЙ В ПАРИЖЕ 1814 ГОДА»

Бестужев Николай Александрович (1791—1855) — писатель-декабрист, историк, ученый, художник. Начиная с 1818 года в журналах и альманахах регулярно появлялись стихи, путевые очерки и разнообразные статьи Н. А. Бестужева. Существенное место в его творчестве занимала переводческая деятельность. Ему принадлежат переводы Д. Байрона, Т. Мура, В. Скотта.

Однако большинство лучших литературных произведений Н. А. Бестужева, в том числе рассказы «Шлиссельбургская станция» (ок. 1830—1832), «Похороны» (1829), повесть «Русский в Париже 1814 года» (точная дата написания неизвестна, повесть датируется 1831—1840 гг.), созданы в период сибирской ссылки.

Повесть «Русский в Париже 1814 года» впервые напечатана в книге «Рассказы и повести старого моряка Н. Бестужева» (М., 1860, с. 221—444). Н. А. Бестужев считал повесть недостаточно законченной, сообщая в письме к сестре Елене от 24 октября 1840 года: «...у меня есть начатая повесть, составленная из одного анекдота в бытность наших русских в Париже 1814 года. Если время позволит кончить ее и переписать, я пришлю ее к тебе...» (М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири, вып. I. Ред. и примеч. М. К. Азадовского и И. М. Тронского. Иркутск, 1929, с. 59—60).

Стр. 531. Эпиграф взят Бестужевым из главы «Париж» «Сентиментального путешествия» Л. Стерна.

Стр. 532. *Король Прусский* — Фридрих-Вильгельм III (1770—1840).

Шварценбергер Карл-Филипп (1771—1820) — князь, австрийский фельдмаршал.

Стр. 539. *Ермолов Алексей Петрович* (1772—1861) — русский генерал, являвшийся во время походов 1813—1814 годов начальником артиллерии и главной квартиры союзной армии.

Мармон Огюст-Фредерик-Людовик (1774—1852) — один из маршалов Наполеона, принимавший участие фактически во всех главных военных кампаниях французского императора. После разгрома Наполеона Бонапарта перешел на сторону Бурбонов.

Мортье Эдуард-Адольф-Казимир (1768—1835) — маршал Франции. После занятия французами Москвы был назначен губернатором города.

Стр. 541. *Раевский Николай Николаевич* (1771—1829) — генерал кавалерии, один из героев Отечественной войны 1812 г.

Коленкур Арман-Огюст-Луи (1772—1826) — французский дипломат, бывший посланником в Петербурге. Влиянию Коленкура на Александра I традиционно приписывается предоставление отрекшемуся от трона Наполеону острова Эльбы.

Стр. 552. *Дрезденская битва* — одно из крупных сражений в августе 1813 года между союзной армией под командованием К. Шварценберга и армией Наполеона, ставшее последней победой Наполеона в военной кампании 1813 года.

Стр. 555. *Гверильясы* — испанские партизаны, активно действовавшие во время испанской войны при Наполеоне.

Стр. 556. *Король Римский* — Наполеон-Франц-Иосиф-Карл (1811—1832) — сын Наполеона и Марии-Луизы. После первого падения Наполеона был отправлен в Австрию, где вместе с матерью жил у своего деда, австрийского императора Франца I.

Стр. 557. *Иосиф Бонапарт* — старший брат императора Наполеона, в 1808—1813 годах являвшийся королем Испании.

Стр. 567. *Платов Матвей Иванович* (1751—1818) — атаман донских казаков, прославившийся в период Отечественной войны 1812 года, когда во время отступления французской армии нанес ей целый ряд крупных поражений.

Стр. 569. *Генрих IV* — король Франции в 1589—1610 годах. *Габриэль д'Эстре* — его любовница.

«Генриада» — поэма Вольтера (1694—1778), посвященная Генриху IV.

Стр. 591. *Денон Доминик Виван* (1747—1825) — французский гравер, рисовальщик, писатель и дипломат. В 1803 году занял пост главного директора национальных музеев Франции. По поручению Александра I приобретал в Париже картины для Эрмитажа.

Стр. 602. *Дескамизадос* — демократическая часть городской бедноты, участники испанской революции 1820—1823 годов.

Стр. 604. *Поттер Поль* (1625—1654) — голландский художник.

Стр. 609. *Карлино Дольче* (Дольчи Карло) (1616—1686) — итальянский художник.

Стр. 610. *Жерар Франсуа* (1779—1837) — французский исторический живописец и портретист.

Стр. 611. *Пуссень* (Пуссен) *Никола* (1594—1665) — французский художник.

Ле-Сюер (Лесюер) *Эсташ* (1617—1655) — французский исторический живописец.

Менгс Антон-Рафаэль (1728—1779) — немецкий художник.

Ванло или ван Ло — фамилия нескольких нидерландских художников, обычно причисляемых к французской школе живописи. Наиболее известны Луи (1641—1713) и Жан-Батист (1684—1745) Ванло.

Вернет (Верне) — семья французских художников. Из них наиболее известны Клод-Жозеф (1714—1789) и Карл (1758—1836) Верне.

Стр. 612. *Роза Сальватор* (1615—1673) — итальянский художник, поэт и музыкант.

Стр. 637. *Ожеро* или Ожро Пьер Франсуа Шарль (1757—1816) — маршал Франции, участник многих кампаний Наполеона. В походе 1812 года не участвовал, т. к. командовал войсками, занимавшими Берлин. В 1813 году участвовал в Лейпцигской битве.

Стр. 638. *Бурьень Луи-Антуан Фовела* (1769—1832) — секретарь Наполеона, автор воспоминаний «Memoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, lé Empire et la Restauration» (Париж, 1929). В русском переводе С. Де-Шаплета эти воспоминания вышли под названием «Записки Бурienна о Наполеоне, директории, консульстве, империи и восшествии Бу́рбонов» (СПб., 1831—1836).

Стр. 645. *Блакас* (Блака) д'О Пьер Луи (1771—1839) — французский дипломат. После Реставрации 1814 года был назначен министром двора.

Стр. 649. *В Иенском деле...* — имеется в виду так называемое Иена-Ауерштадское сражение 14 октября 1806 года, в котором войска Наполеона разгромили прусскую армию.

Ней Мишель (1769—1815) — маршал наполеоновских войск. За битву при Бородине получил титул Князя Московского.

Стр. 653. *Волконский Петр Михайлович* (1776—1852) — генерал-фельдмаршал, князь, министр императорского двора и уделов. В описываемое время начальник русского генерального штаба.

А. Вельтман

НЕ ДОМ, А ИГРУШЕЧКА!

Вельтман Александр Фомич (1800—1870) — русский писатель, историк, археолог.

Активной литературной деятельностью Вельтман занимается с конца 1820-х годов. Первый его роман-путешествие «Странник», который начал печататься в 1830 году, сразу обратил на себя внимание и выдвинул автора в ряд лучших беллетристов того времени. В 1833 году выходит в свет первый исторический роман А. Вельтмана «Кащей Бессмертный», затем ряд новых исторических романов — «Лунатик» (1834), «Святославич вражий питомец» (1835), «Предки Калимероса» (1836), «Генерал Калимерос» (1840).

К концу 30-х годов наступает новый период в творчестве А. Вельтмана. Он обращается к современной ему действительности и создает ряд социально-бытовых романов, лучшим из которых по праву считается «Саломея» (1846), первая книга из цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского».

Повесть Вельтмана «Не дом, а игрушечка!» была завершена в 1850 году и отпечатана автором самостоятельно в очень небольшом количестве экземпляров. В числе персонажей повести не случайно введены А. С. Пушкин и его близкий знакомый П. В. Нащокин, с которыми Вельтман находился в дружеских отношениях. В основе сюжета лежат реальные факты. Вторая часть повести «Не дом, а игрушечка!» практически целиком посвящена знаменитой в свое время истории «домика Нащокина».

Стихотворение, читаемое Пушкиным в повести во время новоселья, было впервые опубликовано в журнале «Мнемозина» в 1834 году под названием «Вечер». В четверостишии, с которым Пушкин обращается к домовому, узнаваемы (в несколько измененном виде) строки из его стихотворения «Домовому», которое впервые было опубликовано в 1824 году в альманахе «Полярная звезда».

Стр. 719. *«Чурова долина»* — опера А. Н. Верстовского «Чурова долина, или Сон наяву».

Н. Е. Носов, С. Н. Носов

СОДЕРЖАНИЕ

Р 89 **Русская историческая повесть первой половины XIX века**/Сост. В. Т. Башкирова; Вступ. ст. Н. Е. Носова; Ком. Н. Е. Носова, С. Н. Носова; Ил. С. М. Харламова.— М.: Правда, **1986.**— 768 с., ил.

В настоящий сборник входят повести, отражающие историю русского государства, написанные отечественными авторами первой половины XIX века. На примере представленных повестей прослеживается процесс становления и развития этого важнейшего литературного жанра.

Наряду с широко известными именами — А. С. Пушкин, Н. М. Карамзин, А. А. Бестужев-Марлинский — в сборнике представлены произведения целого ряда писателей, ныне почти забытых: М. Н. Муравьева, Ф. Н. Глинки, А. О. Корниловича и др.

Р $\frac{4702010100-870}{080\ (02)-86}$ 870—86 84 Р I

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Составитель
ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВНА
БАШКИРОВА

Редактор Н. А. Преснова
Художественный редактор Н. Н. Каминская
Технический редактор Л. Ф. Молотова

ИБ 870

Сдано в набор 12.12.84. Подписано к печати 26.07.85.
Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр.-отт. 40,74. Уч.-изд. л. 40,43.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—150 000 экз.).
Заказ № 513. Цена 3 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды». 24.

Отпечатано в типографии «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.




РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ